

СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА

Дмитрий Биленкин

У ЗВЕЗДНОГО КОСТРА

**Сборник фантастики,
дополненный иллюстрациями,
из первых журнальных публикаций**

выпуск 1

**серия
«НИГДЕ НЕ КУПИШЬ»
2020 год
2**

Публикации и иллюстрации:

«Откуда он?» Техника молодежи №12 1958
Иллюстрации Н. Кольчицкого

«Зримая тьма» Техника молодежи №8 1959
Иллюстрации Р. Авотина и К. Арцеулова

«Усилитель памяти» Техника молодежи №9 1959
Иллюстрации А. Побединского

«Гость из девона» Изобретатель и рационализатор №12 1959 Иллюстрации Н. Гришина

«У звездного костра» Смена №5 1962

«На изгибе пространства» Сельская молодежь №5 1962 (иллюстрации пока недоступны)

«Последняя пустыня» Пионерская правда №62 1962
Иллюстрация Л. Смехова

«На грани» Уральский следопыт №12 1963
Иллюстрации Н. Мооса

«Ошибка» Искатель №5 1965

«Незапертая дверь» Техника молодежи № 7 1965
Иллюстрация А. Побединского

«Двое в пустыне» Искатель №4 1966

«Появление жирафы» Знание—сила №6 1966
Иллюстрация Н. Гришина

«Как на пожаре» Юный техник №2 1968
Иллюстрация В. Кащенко

«Во всех галактиках» Искатель №4 1968
Иллюстрации В. Колтунова и В. Ковынева

«Запрет» Искатель №6 1968
Иллюстрация В. Колтунова

«Демоны Тевтобургского замка» Наука и религия №1 1969 (иллюстрации пока недоступны)

«Гол в свои ворота» Юный техник №3 1969
Иллюстрация Р. Авотина

«Операция на совести» Уральский следопыт №10 1969
Иллюстрации Ю. Ефимова

«Давление жизни» Искатель №1 1970
Иллюстрации В. Колатозова

«Город и волк» Искатель №6 1970
Иллюстрации В. Колтунова

«Дырка в стене» Уральский следопыт №11 1970
Иллюстрации З. Баженовой

«Холод на Трансплутоне» Юный техник №1 1971
Иллюстрации А. Черенкова

«У глухого озера» Уральский следопыт №7 1971
Иллюстрации Е. Стерлиговой

«Чужие глаза» Юный техник №9 1971
Иллюстрация В. Кащенко

«Проверка на разумность» Искатель №2 1972
Иллюстрации К. Эдельштейна

«Ученик чародеев» Юный техник №7 1972
Иллюстрация Б. Кыштымова

«Встреча» Уральский следопыт №7 1972
Иллюстрации Е. Стерлиговой

«Чужая природа» Уральский следопыт №9 1972
Иллюстрации Е. Стерлиговой

«Догнать орла» Вокруг света №1 1973
Иллюстрация С. Прусова

«Нонсенс» Уральский следопыт №4 1973
Иллюстрация Е. Стерлиговой

«Принцип неопределенности» Искатель №6 1973
Иллюстрации В. Вакидина

«Однажды ночью» Юный техник №6 1973
Иллюстрации Р. Авотина

«Невысказанный мир» Уральский следопыт №7 1973
Иллюстрации Е. Стерлиговой

«Пересечение пути» Вокруг света №10 1973
Иллюстрации Н. Гришина

«Затмение на рассвете» Памир №1,2,3 1974
Иллюстрации В. Манина

«Цель—летать!» Юный техник №6 1974
Иллюстрации Р. Авотина

«Земные приманки» Уральский следопыт №8 1974
Иллюстрации В. Меринова

«Звездный аквариум» Вокруг света №11 1974
Иллюстрации В. Колтунова

«Сокровища Нерианы» Уральский следопыт №2 1975
Иллюстрация Е. Стерлиговой

«Снега Олимпа» Искатель №1 1976
Иллюстрации В. Колтунова и Г. Новожилова

«Небо в алмазах» Юный техник №1 1976
Иллюстрация Р. Авотина

«Гениальный дом» Уральский следопыт №4 1976
Иллюстрации Е. Стерлиговой

«Исключение из правил» Уральский следопыт
№12 1976 Иллюстрации Н. Павлова

«И все такое прочее» Уральский следопыт №1 1978
Иллюстрации С. Малышева

«Вечный свет» Искатель №4 1978
Иллюстрации Г. Филипповского

«Все образы мира» Уральский следопыт №4 1979
Иллюстрации В. Меринова

Ознакомительный тираж: 1 экземпляр.

Работа с текстом и иллюстрациями: by formally.

Юрьев все еще не решается выступить с научным сообщением о появлении на Земле в июне 1958 года неведомого творения природы. Я его понимаю. В подтверждение своих слов он не может представить толстого журнала наблюдений, диаграмм, фотографий и таблиц анализов — тут легко прослыть мистификатором.

По-моему, однако, все же лучше выслушивать упреки в ротозействе, чем дальше молчать о случившемся.

Упреки мы, конечно, заслужили. Нас подвела будничность обстановки. Никто из нас, даже Юрьев, хотя он теперь и отрицает это, не допускал и мысли о том, что можно встретиться с необыкновенным явлением природы в дачном подмосковном поселке. Улицы с гуляющими дачниками, крючкохвостыми дворнягами и белыми инкубаторными курами, приусадебные делянки, за оградой которых зреет садовая клубника, редис и огурцы, сутолока перрона в момент прибытия электрички так мало подходят для поразительных открытий. Это не оправдывает нас, но по крайней мере поясняет наше тогдашнее поведение и первоначальное скептическое отношение к мысли о необычной природе Неведомого.

Быть может, невольный виновник всей истории Степан Кузьмич Мизгин сухонький старичок с неулыбчивым взглядом табачных глаз из-под насупленных бровей. Уже несколько лет живет он пенсионером, а своем маленьком домике на станции Малаховка с женой и младшим сыном. Степан Кузьмич, бывший портной одного из московских ателье, страстный цветовод.

В подборе цветов Мизгин руководствуется исключительно собственным вкусом. С грядок и клумб изгнаны, например, пышноцветная гортензия и лишенные аромата "стружечные", как он называет, астры. Зато роз, чайных, белых, махровых, ремонтантных, плакучих, сорта "мадам

Баттерфляй", масса. Степан Кузьмич мечтает вывести воспетую поэтами Востока несуществующую в природе голубую розу. Ему даже удалось заставить лепестки одного из сортов бель" роз принять голубоватый оттенок, но, голубой розы, он еще не получил и, я думаю, никогда не получит: слишком шаблонными способами он пытается достичь этого.

Числа двадцатого июня Степан Кузьмич вскопал возле скамейки перед кустом бело-голубых роз клумбу, удалил из замусоренной земли фарфоровые черепки, осколки кирпича, ржавую дверную петлю и посеял ноготки, после чего прикрыл посев шатром из еловых веток, чтобы соседские куры не устроили на клумбе пылевой ванны.

По замыслу Степана Кузьмича желто-красный цвет ноготков должен был лучше выделить нежную голубизну выведенного им сорта.

Утром на следующий день Степан Кузьмич заметил в просвете еловых лап что-то синеватое. Решив, что это черепок, не замеченный им ранее, старик нагнулся, чтобы выбросить его. К счастью, в эту минуту на носу Степана Кузьмича находились круглые портновские очки. Поэтому рука его вдруг замерла над клумбой: то, что Мизгин принял за черепок, оказалось фиолетовым ростком растения, Рассмотрев остроконечный сантиметровый побег, Степан Кузьмич только пожал плечами. Фиолетовые ноготки были для него новостью.

Я художник. Профессия требует от меня умения различать тончайшие оттенки красок, ведь цвет – это, настроение картины.

Цветы, как ничто другое, учат нас, художников, видеть цвет первозданно-свежим, звонким и гармоничным. Они настоящий учебник цветовидения, притом неисчерпаемый.

В то лето я жил на даче неподалеку от Мизгина. Любовь к цветам, хотя источники этой любви и не совсем совпадали, сблизила нас. К вечеру ближе, после того как уставшие пальцы отказывались держать кисть и в глазах от напряжения начинали дергаться прозрачные волнистые полосы, я

иногда заходил к Степану Кузьмичу посидеть часок-другой, послушать неторопливые старческие рассуждения.

Во второй половине дня двадцать четвертого июня я зашел, по обыкновению, к Степану Кузьмичу.

Хозяин не повел меня, как обычно, смотреть распустившийся бутон какой-нибудь розы и не стал угощать клубникой со сливками. Он казался озабоченным.

— Хорошо, что вы зашли. — Степан Кузьмич взял меня за локоть. — Может быть, вы назовете мне это растение.

Он подвел меня к клумбе с посеянными ноготками и снял закрывавшие ее ветки. Я увидел взрыхленную, в сухих комочках землю. Ростки ноготков еще не показались, и на первый взгляд единственной достопримечательностью клумбы могла служить только высохшая шкурка дождевого червя в центре.

— Вы не туда смотрите, — указал Степан Кузьмич, — вот оно.

Теперь я обратил внимание на торчащее сбоку клумбы пятисантиметровое растение. Матовая, без блеска, поверхность шестигранного стебля казалась покрытой густым слоем темно-фиолетовой сажи. Стебель венчала толстая луковица, испещренная белыми крапинками, рисунок которых напоминал пучок силовых линий магнитного поля, выделенный редкими крупинками железа. Полюсом рисунка служило острие луковицы.

От стебля под острым углом отходили прямые и плоские ланцетовидные листья, заканчивающиеся овальным срезом, что делало их похожими на лезвие столового ножа. Листья тоже были фиолетового цвета, но отличались глянцевой поверхностью. В крае они слегка просвечивали, словно мутное стекло.

Я наклонился к клумбе, чтобы лучше разглядеть заинтересовавшее меня растение, и тут же отпрянул назад. Луковичка вдруг раскрылась. С легким щелчком из нее на тонком волосяном стебле выдвинулся матово-серебристый полумесяц, который мгновенно повернулся ко мне плоской

стороной, словно приглашая полюбоваться. Едва я отскочил, как полумесяц спрятался, и створки луковички опять сомкнулись с прежним щелчком, напоминающим щелчок фотографического затвора.

Над нами шумели березы, сквозь листву на кусты роз, цветники, голую клумбу сыпался золотой дождь солнечных бликов, вспыхивая на цветах языками разноцветного пламени. За изгородью кричали соседские гуси, скрипела детская коляска, слышался сердитый женский голос: "Васька-а! Не кидай камни в нашего петуха — уши оборву!" Это был привычный мир, в котором не найти места чудесам. Я протянул руку к луковичке, и ее створки снова распахнулись.

— Степан Кузьмич, что это такое?

— А вы не знаете?

— Нет, я же не ботаник. Почему оно раскрывается, да еще щелкает?

— Стручки акации, когда созревают, тоже щелкают — не велико диво.

— А полумесяц? Поворачивается, прячется...

— Полумесяц, полумесяц! — с видимым раздражением ответил Степан Кузьмин. — Что особенного в полумесяце? Росянка вот мух заглатывает, и то никто не удивляется. А насыпьте росянке опилок, думаете, она будет их есть? Как бы не так. Я вот другое думаю: какой шутник подкинул в семена моих ноготков семечко этого фиолетового урода?.. Позор ведь на мою голову! Узнают, чего доброго, соседи, так засмеют: сеял, мол, Степан Кузьмич, репу, а вырос у него арбуз! А я, главное, и не знаю, что это такое выросло.

"А может быть, это какое-нибудь экзотическое растение?" — вертелся у меня на языке вопрос. Но я вспомнил о карликовых криптомериях японцев, о семье тюльпанов, рожденной упорным трудом многих поколений голландцев, о десятках тысяч различных сортов цветов, выведенных за века армией цветоводов во всех странах мира, и промолчал. Кто знает, может быть, в Копенгагене этим "экзотическим" растением обсаживают бордюры газонов?

— Так вот о чем я хочу вас спросить, — прервал мои размышления Мизгин, — нет ли случайно среди ваших знакомых ученого, который знал бы цветы! А то прямо не знаю, что с ним и делать, — выполоть как сорняк, или оно, может быть, на что-нибудь годится... Цвет-то великолепный.

Я ответил, что знаю нужного Степану Кузьмичу ученого.

Старик обрадовался.

— Вот хорошо! Вы сманите его по-приятельски к себе на воскресенье отдохнуть. Скажите, воздух хороший, купанье, клубника. Приедет — тут уже его легко будет завернуть ко мне.

Меня задержали кое-какие дела, и в Москву я попал лишь двадцать шестого. Юрьева я застал в университете.

Юрьев — биофизик. Он окончил в свое время Тимирязевскую академию, а потом заочно физико-математический факультет университета, так как считал, что биолог без глубокого знания физики — неуч. Я не встречал человека более влюбленного в точность математического анализа и физического эксперимента.

Юрьев работал, когда я вошел. Перед ним на столе ворохом лежали какие-то фотографии и диаграммы. Он изучал в то время, если не ошибаюсь, вопросы, связанные с коллоидной формой переноса растениями минеральных веществ. Мой рассказ, достаточно сбивчивый, он слушал рассеянно. Но когда я коснулся эпизода с серебряным полумесяцем, он перестал перебирать фотографии и, сняв четырехугольное пенсне, стал машинально растирать пальцем красные вмятины дужки на переносице.

— Вот что, — сказал он, когда я кончил. — Сегодня в шесть у меня доклад в Московском обществе испытателей природы. Завтра утром я читаю лекцию. В два совещание кафедры, вечером я должен консультировать дипломников. Меня заинтересовал ваш цветок, поэтому дипломников я перенесу на послезавтра и в освободившийся вечер съезжу туда.

На следующий день восьмичасовой поезд доставил нас в Малаховку.

До мельчайших подробностей помню тот вечер. Солнце зашло, но его лучи били из-за горизонта. Свет облаков, розовый, рассеянный и неверный, уничтожил теми и придал окружающему бестеневому миру — замолкшим в безветрии березам, темной листве роз, горящей лилово-золотистой мозаике стекол веранды — налет нереальности, которая так подходила к течению нашей беседы.

За прошедшие два дня с растением произошли большие перемены. Оно выросло и имело теперь в высоту сантиметров тридцать. Серебристый полумесяц горделиво венчал ствол. Стала заметна вогнутость серпе, углубление которого хранило розовую каплю закатного света. Листья, казалось, стали прозрачней, чем были: сквозь них неясно просвечивала земля.

Юрьев только что закончил осмотр, за процедурой которого мы, профаны, следили с благоговением. Теперь он сидел на скамейке перед растением, подав туловище вперед и подперев рукой склоненную голову, в черном узком костюме похожий на мудрого ворона.

— Мы встретились с из ряда вон выходящим явлением, — так начал Юрьев. Прежде всего поразителен цвет этого растения. Природа щедро раскрашивает лепестки цветов, но для листьев она предпочитает строго зеленую форму одежды. Отдельные отклонения, как голубые мхи Заполярья, желтый рисунок на листьях некоторых маслин, прельщающие глаз садовода оранжевые и красные разводы бегонии, — не более чем цветной кант на защитной гимнастерке пехотинца. Зеленая форма предписана растениям Его Величеством Хлорофиллом, магом и гением растительной клетки, который в содружестве с солнечным светом творит крахмал и другие органические вещества. Для своей химической лаборатории хлорофилл отбирает из видимого света энергию оранжевых, желтых, синих, фиолетовых и большинства красных лучей, отбрасывая в пространство как

излишние лучи зеленой и частично красной области, чем и определяется окраска растения. Я неоднократно говорил нашему милейшему художнику, что он будет неточен в передаче цвета освещенной зелени по примеру всех пейзажистов от Тициана до Бакшеева, пока химики не синтезируют краску, обладающую адекватным с хлорофиллом спектром поглощения. Но он до сих пор не верит мне, что зелень живой природы не зеленая, а красно-зеленая. Только на Севере или в горах, где для поддержания жизни в течение короткого, сурового лета растениям не хватает красных лучей солнца, хлорофилл использует и зеленые лучи, сообщая растениям голубой марсианский облик.

Юрьев приподнял плечи и показал на растение:

— Спрашивается, с какой стати природе потребовался этот фиолетовый цвет стебля и листьев? Прилети я на Землю с какой-нибудь другой планеты, не видя еще ни одной земной травинки, но зная физико-химические условия, господствующие на земной поверхности, и то я назвал бы такой цвет растения анормальным. Я сейчас перебрал в памяти все растения с необычной окраской и могу сказать твердо: растений с такой окраской я не знаю.

Дальше. Чем объясняется странная форма цветка, если только этот полумесяц — цветок? В природе цвет, толщина стебля, форма венчика — все закономерно. Блеск лепестков лютика и тот не случаен. Лепестки лютика фокусируют солнечные лучи на пестик, тем самым обогревая его. Но каково предназначение этого полумесяца?.. Подождите! Что это?

Полумесяц, дотоле неподвижный, вдруг ожил и стал медленно, но заметно вращаться. Затаив дыхание, мы следили за его движением, повинующимся зову неведомых нам сил.

— Он уже вертелся раз, только тогда было утро, — прошептал Степан Кузьмич.

— Стойте! — Юрьев сорвался с места, торопливо захлопал себя по карману. — Спички скорей!

Я протянул ему коробок. Он схватил его, чиркнул спичку от волнения не тем концом, отшвырнул ее, достал новую и, когда она вспыхнула, поднес бледный огонек к вогнутой поверхности полумесяца. И тот прервал вращение, словно потянулся к огню. Удовлетворенно засмеявшись, Юрьев стал



медленно водить спичку вокруг полумесяца, который покорно пошел за ней.

— Термистор! Этот чертов цветок — термистор! Я должен был догадаться об этом сразу после вашего рассказа!

Заметив недоумение на наших лицах, Юрьев загасил спичку и, дуя на обожженные в спешке кончики пальцев, что не помешало ему принять вид профессора, читающего студентам лекцию, дал короткое объяснение:

— Термистор – это, полупроводниковый прибор, улавливающий тепло. Такие термисторы могут, например, навести ракету на любой объект, излучающий тепловые, инфракрасные лучи, как-то: костер, труба теплоцентрали, человеческое тело.

— Так, значит, этот лунный серп — полупроводник?

— Не думаю. Механизм, заставляющий венчики некоторых растений искать тепло, совсем не похож на полупроводниковый. Но я просто не мог подобрать более подходящего слова. Вы особенно не удивляйтесь этому свойству нашего незнакомца. Обыкновенный подсолнух в том смысле, в каком я употребил это слово, тоже термистор. Его шляпка строго следует за движением солнца, стремясь получить как можно больше живительных лучей. Мне кажется более необыкновенным другое свойство фиолетового растения: двупреломление прозрачной ткани листьев, подобное двупреломлению минерала кальцита.

— Какое двупреломление? — не понял я.

— Взгляните внимательней сквозь лист. Что вы видите?

— Что-то мутное. Постойте, вот сейчас я отчетливо вижу сучок на земле.

— Прекрасно. Вглядитесь в него лучше. Вам не кажется, что он...

— Двоится! Он двоится!

— Да, он двоится, как буква, если смотреть на нее сквозь пластинку кальцита. Это следствие двупреломления светового луча в кристаллической решетка вещества. Но что бы это значило? Что структура растения аналогична

минеральным структурам типа кальцита? Органические вещества не дают столь высокого двупреломления. Но об этом после, иначе наши рассуждения непоправимо запутаются, а это может вредно сказаться на ходе наших будущих исследований. Итак, подведем итог. Один шанс из тысячи, не больше, что перед нами незнакомое науке растение. Я даже считаю, что мы видим на этой клумбе не только неизвестное, но и в высшей степени необыкновенное растение.

— Но... но я ведь сажал не его, а календулу. — Из чувства почтения к фиолетовому незнакомцу Степан Кузьмич уже не решился назвать ноготки ноготками, а назвал их ученым именем "календула". — Откуда же взялся этот термистор? Не мог же он вырасти из ничего!

— Из ничего он точно не мог взяться. Точка зрения средневековых монахов, что мыши рождаются от навоза, а цветы от грязи, давно и бесповоротно похоронена. Всякое явление имеет свою закономерную причину, тысячами нитей связанную с массой сопутствующих явлений. Я подчеркиваю: каждое явление имеет свою закономерную причину. Нас ставит обычно в тупик неумение уловить эту причинную связь закономерности. Вы где покупали семена, которые высеяли здесь?

— В Москве, на улице Кропоткина. Там живет мой старший сын, к которому я нередко захожу. По дороге к нему я обязательно заглядываю в цветочный магазин.

— А-а! Маленький магазинчик неподалеку от Дома ученых? Знаю, знаю. Боюсь только, что и дирекция этой почтенной торговой точки не сможет нам объяснить случившегося. Но все же попытаемся понять, откуда взялся в Малаховке сей неведомый представитель растительного мира. Уверен, что через несколько дней наблюдений он выложит нам свою биографию и анкетные данные.

Можно предположить, что в семена ноготков случайно попало семя неизвестного науке растения, скрывающегося... где? Не знаю. С равной вероятностью можно назвать Уссури, Тибет, Якутию. Это предположение сразу вызывает целый

ряд серьезных возражений. Как могло такое бросающееся в глаза растение остаться до сих пор незамеченным? Как попало его семя в московский цветочный магазин? А может быть, в Малаховку оно попало благодаря ветру?

Не окажется ли, что этот цветок — результат какой-то уродливой мутации? Сомнительно. Слишком закономерно и целесообразно действуют его органы, и слишком он не похож на известные нам растения; я затрудняюсь даже определить его класс. Ставим поэтому после слова "мутация" большой вопросительный знак.

— А тут, — голос Юрьеве зазвучал почти торжественно, — учитывая все особенности растения — странный цвет, двупреломление ткани, цветок, жадно тянущийся к теплу, — я невольно спрашиваю себя: а земное ли это растение?

От неожиданности я даже подскочил.

— Как не земное? А какое же, космическое? Но это беспочвенная фантастика.

Юрьев пожал плечами.

— Эта последняя гипотеза не более фантастична, чем предыдущие. Укажите мне на ее научную несообразность, и я откажусь от нее тотчас. Как семя пересекло космическое пространство? Даже атмосфера Земли своей подвижностью напоминает кипящую воду. Могучие воздушные потоки беспрерывно поднимаются из тропосферы в стратосферу. На многих других планетах воздушная оболочка еще подвижней. Достаточно вспомнить ураганную атмосферу Юпитера или облачное покрывало Венеры. Вполне возможно, что вертикальные токи воздуха на Юпитере или другой подходящей планете подхватывают с поверхности мельчайшие споры и семена растений и выносят их за пределы атмосферы. Там они подвергаются действию светового давления, которое словно "выдувает" их из зоны притяжения. Так, мельчайшие, порядка 0,00016 микрона, споры и семена — а на большие по размеру световое давление оказывает слабое воздействие — невольно становятся путниками вселенной, странствуя по ее просторам до тех пор, пока их не захватит

гравитационное поле какого-нибудь небесного тела. Такие споры, вылетев, допустим, с Земли, могут достичь Марса за 20 дней.

— Но чудовищный холод, отсутствие воздуха и воды, наконец смертоносные ливни космических лучей! Вы забываете о них!

— Ничуть. Физик Беккерель доказал, что обезвоженные споры папоротника, некоторых мхов и водорослей переносят температуру жидкого гелия, то есть —271. Доказано также, что отдельные споры, особенно при низких температурах, когда замедляются все химические процессы, могут веками сохранять жизнеспособность без воды. А воздух, точнее — кислород воздуха, не нужен даже некоторым живым существам: серобактерии могут, например, обходиться без него. Что касается ультрафиолетовых и космических лучей, то в значительной дозе они губительны для всего живого. Но смертельны-то они не вообще для живого вещества, а для живого вещества



Земли, которому незачем было приспосабливаться к их воздействию. Атмосфера и озоновый экран неплохо защищают Землю как от космических, так и от ультрафиолетовых лучей. И заметьте, к той дозе лучей, которая достигает дна воздушного океана, земные растения приспособились отлично. Так почему мы должны отрицать способность живых организмов к приспособлению? Отчего мы так уверены, что в других условиях они не могли привыкнуть к большей дозе космических и ультрафиолетовых лучей? Какие у нас есть доказательства против? Никаких. Следовательно, почему бы в атмосферу Земли не могли попасть споры и семена, благополучно переправившиеся через мировое пространство? Конечно, чтобы такое семя попало на Землю и нашло здесь благоприятные условия для произрастания, требуется исключительно счастливое сцепление обстоятельств. Исключительное, но все-таки не невозможное. Так, к примеру, можно заранее сказать, что среди миллиардов, скатанных водой и воздухом камней по теории вероятности, обязательно окажется один, принявший форму человеческого черепа!

Если представить, что местом рождения этого растения действительно является другая планета, то его необъяснимые с земной точки зрения свойства становятся почти понятными. Климат той планеты суров — отсюда необходимость темно-фиолетовой, почти черной окраски, вбирающей максимум световых лучей. О суровости климата говорит также чуткость цветка к теплу. Меня смущает, правда, серебристый цвет полумесяца. Он должен быть скорее черным, чем белым.

— А почему он поворачивается в определенное время?

— Потому, очевидно, что в это время там, над поверхностью той планеты, проносится чужое нам солнце, лучи которого полумесяц и ловит.

С понятным чувством волнения мы невольно подняли глаза вверх, к темнеющему небу, где в просвете потухших

облаков бледно сиял лунный диск, испещренный полустертыми письменами гор.

— Я вижу людей, скептически пожимающих плечами, — продолжал Юрьев. — Я понимаю их, хотя и не могу оправдать. Мы слишком привыкли думать, что необычное живет в научной лаборатории, в глубинах моря, в горных высотах и пустынях, но никак не в окружающем нас мире. Это ошибка. Необычное живет рядом с нами. Но мы удивительно невнимательны и равнодушны. Сколько не сделано открытий только из-за рыбьих свойств нашего глаза, кто подсчитает? Ведь в банальном падающем яблоке увидел необычное только один человек Исаак Ньютон. Надо уметь отыскивать необычное в обычном мире. И фантазировать тоже надо. Без фантазии весь мир окажется заслоненным ближайшим к глазам предметом — собственным носом.

Впрочем, хватит философии. Быть может, все гипотезы, выдвинутые здесь, окажутся неверными. Завтра с первым поездом я привезу необходимую аппаратуру, и мы начнем исследования.

Голос, небрежно напевавший: "Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка?" прервал Юрьева. На дорожке из-за кустов показался длинноногий парень, ведущий за руль велосипед, — сын Степана Кузьмича, студент электротехнического техникума. Темные светофильтры, надетые несмотря на сумерки, делали его продолговатое, бледное лицо похожим на лицо слепого. Это был юноша, искренне считающий мотоцикл новейшей марки высшим достижением человеческого ума, а удачный гол — лучшим проявлением мужской силы. Иногда в разговоре с ним мне казалось, что он смотрит на жизнь как бы со дна глубокой ямы, края которой резко и навсегда очертили его умственный горизонт, а спасительная глубина надежно укрыла от волнений ум и сердце.

— Олежек, — позвал Степан Кузьмич сына, — посмотри, какое у нас чудо выросло!

Олег прислонил велосипед к кусту, сунул руки в карманы брюк и, продолжая мурлыкать "Мишку", подошел к нам.

— Чудеса в решете, вроде твоей голубой розы, милый папа. В наш атомный век все делается наукой, — снисходительно поправил он отца. — А цветочек симпатичный. Дай его мне, он ужасно понравится моей девочке.

— Что ты, что ты! Этот цветок, может быть, попал к нам с другой планеты!

— Ха-ха-ха-ха! Ой, уморил, па! Вечно у тебя фантазия. А цветочек был бы неплох в букете, ребята лопнули бы от зависти. Правда, папа, где ты такой достал? Впрочем, сейчас мне некогда смотреть на твое "чудо". Гуд бай!

Когда он укатил, Степан Кузьмич, словно извиняясь, сказал:

— Только девушки да футбол на уме. Известно, дело молодое.

— Пора ехать, — Юрьев поднялся, — Степан Кузьмич, на вас возлагается наблюдение за растением на время нашего отсутствия. Записывайте все и обязательно с точным указанием времени: это очень важно. А завтрашний день, я надеюсь, одну из наших гипотез превратит в теорию. Пока что я возьму образчик вещества.

Достав перочинный нож, Юрьев попытался отрезать конец листа. К нашему удивлению, нож скользнул по кожице.

— Новый факт! Это растение тверже стали! Попробуем отколоть.

Степан Кузьмич принес молоток и небольшую наковальню. Лист оказался хрупким и обломился от первого же удара. Юрьев завернул обломок в носовой платок и положил в футляр пенсне.

Рано утром следующего дня я был разбужен стуком в окно. У крыльца стоял Юрьев, тяжело нагруженный аппаратурой.

— Скорей, скорей, — торопил он меня, пока я одевался. — Ах, сколько времени зря потеряно!

— Вы определили растение?

— Нет. Я установил только, что оно не известно ботанике. Как досадно, что вы сразу не поехали ко мне!

На полпути мы неожиданно увидели бегущего к нам Степана Кузьмича. С нечесаными, развевающимися волосами, размахивающий руками, он нелепо выглядел на безмятежной перспективе спящей улицы.

— Несчастье! — задыхаясь от бега, прокричал он нам еще за десять, шагов. — Цветок исчез! Начисто...

— Как исчез?

— Нету! Пусто.

Через минуту мы стояли перед голой клумбой. На том месте, где рос удивительный цветок, зияла воронка. У нас было чувство, словно мы стоим перед могилой. Юрьев сжался, точно его придавила тяжесть аппаратуры. Степан Кузьмич кружился по саду, натыкаясь на кусты и издавая, бессвязные восклицания. Я молчал, убитый нелепостью случившегося.



Придя в себя, Юрьев немедленно организовал поиски. В то утро нашей энергии мог позавидовать Шерлок Холмс. Но поиски не дали результатов. Растение исчезло, точно испарилось.

Дело разъяснилось только к вечеру. В исчезновении цветка не были виноваты силы природы. Часа в два ночи, когда все спали, Олег, наломав букет белых роз, на который пошли и бело-голубые розы Степана Кузьмича, решил увенчать его красивым фиолетовым растением.

В этот же вечер мы явились к девушке, которой был подарен букет. Наш вид в первую минуту напугал ее. На вопрос Юрьева: "Где букет?" — девушка, словно защищаясь, прикрыла лицо рукой.

— Он завял, и я его выбросила... Нет, нет, не весь! Розы целы!

В помойном ведре, указанном девушкой, мы нашли, нет, не чудесное растение, а комок грязной слизи — все, что от него сохранилось.

Так и остались предположения Юрьева непроверенными. Потому и молчит Юрьев, что у него нет никаких доказательств реальности появления неведомого растения, кроме нашего свидетельства, впрочем, у него есть кое-что еще. Не так давно Юрьев спросил меня:

— Вам не показалось странным, что я в то утро так рано примчался?

— Нет, вы же сами сказали, что приедете с первым поездом. А что?

— Дело в том, что накануне вечером гипотеза о космическом происхождении растения мне самому казалась фантастичной, и я увлекся ею, как юнец. Но приехав, я не удержался и в ту же ночь, в то самое время, когда милый сынок Степана Кузьмича губил неповторимое явление природы, я проанализировал отколотый образец ткани растения.

— И?

— И оказалось, что это кремнийорганический полимер, который в природе Земли не встречается. Ведь

органический мир Земли построен из углеродных полимеров, а не из кремний углеродных. Понимаете? А впрочем, и этот факт бесполезен: что и кому мы сможем доказать, имея такой скудный материал? Ведь второй раз именно здесь таинственное растение не появится. Правда, и это растение было обречено. Под микроскопом в ту ночь я наблюдал, как быстро разрушали его ткань обыкновенные сапрофитовые бактерии. Растение не сопротивлялось. Оно погибло бы дня через два. Сорванное, оно погибло быстрей. Поэтому я и не удивился, обнаружив вместо него только комок слизи. Оно могло, как мы видели, приспособиться к физико-химическим условиям Земли: влажности, температуре почвы и воздуха, — нам известны растения, живущие в широких интервалах этих параметров. Но приспособиться к земному органическому миру чужак, конечно, не мог: такое приспособление может быть только результатом длительной эволюции. Однако какие неоценимые сведения мы могли бы получить за оставшиеся два дня!

Юрьев прав. Мы непоправимо упустили случай разгадать интереснейшую тайну природы; сознание этого гнетет нас. Но, перебирая я памяти прошлое, я думаю: кто знает, может быть, подобные явления не так уж редко встречаются нам, только мы проходим, не замечая их? Ведь и я тоже чуть не прошел мимо...

Я сделал, конечно, большую глупость, что в тот поздний октябрьский вечер пошел от станции к даче Вовы Минаева не по шоссе, делавшему крюк, а через картофельное поле напрямик.

Едва за пригорком скрылись пристанционные огни, я очутился в полнейшей темноте. Сделав сотню шагов, я сбился с тропинки. Чтобы найти ее, я даже землю ощупал руками, но не отыскал ничего, кроме гнилой картофельной ботвы.

Далеко впереди сквозь ветки редкого леса мерцали фонари поселка. Мне не оставалось ничего другого, как идти на них. Я ставил ноги, но видя куда, и они проваливались в рытвины, тонули в рыхлой земле, подворачивались, скользили, спотыкались о грядки.

Вдруг откуда-то сбоку из мрака донесся мужской голос:

— Зачем вы мучаетесь, когда рядом замечательная тропинка?

— Не для собственного удовольствия, конечно! Чем задавать такие вопросы, лучше скажите, как выбраться на тропинку.

Я шагнул влево и угодил в яму, на дне которой оказалась вода.

— Ах, боже мой! — забеспокоился человек. — Стойте: я лучше проведу вас.

Через минуту рядом со мною смутно обозначилась длинная фигура. Человек осторожно взял меня за рукав, и мы двинулись. Но буквально через несколько шагов я поскользнулся и чуть не сбил спутника с ног.

— Знаете, что, — нерешительно сказал тот, — пожалуй, мне лучше дать вам очки. Только...

— Чем здесь могут помочь очки? — удивился я.

— Это не совсем обычные очки. Они позволяют видеть ночью. Я вам их сейчас надену, только не трогайте ничего.

— Хорошо, — ответил я несколько заинтригованный.

Тяжелый, но гибкий металлический обод охватил мою голову. Пальцы незнакомца укрепили на переносице дужку, и мои глаза оказались плотно закрытыми.

— Теперь зажмурьтесь, — сказал незнакомец. — То, что вы увидите в первый момент, вероятно, несколько поразит вас. Но вы не беспокойтесь. По дороге я вам все объясню.

Незнакомец щелкнул возле моего виска каким—то рычажком и сказал:

— Можете смотреть.

Батюшки! Куда я попал?! Я был перенесен в фантастический мир, великолепный, но мрачный. Темнота пропала. Вокруг все казалось залитым светящейся краской. Прямо передо мной лежало пылающее поле, которое к горизонту тускнело оксидированной медью. Там, словно от вкопанных по фитиль в землю свечей, поднимались неподвижные язычки желтого пламени.

Небо, трепещущее светом грозовых туч, бороздили пятнистые пурпурные молнии. От них на поле вокруг бугров ходила двухцветная тень. Я глянул под ноги — и испугался. Подо мной была вода, вздрагивающая в глубине мутно—рыжими вихрями. Испуг мой увеличился, когда я оглянулся. Рядом стояла человеческая фигура в наглухо застегнутом пальто печеночного цвета. На раскаленном почти добела лице зловещими углями горели глаза.

«Я схожу с ума!» — мелькнула ужасная мысль. В страхе я схватился руками за голову.

— Осторожней! — предостерегающе закричала фигура, и к моему лицу протянулась кроваво-красная рука.

Но было поздно: я нажал что-то в очках и провалился в калейдоскопический вихрь. Хаос туманных светящихся шаров, колец, пятен, меняющих ежесекундно форму, очертания, окраску, кружился вьюгой.

Инстинктивно я поднял руку, чтобы защититься от летящего прямо в лицо огненного облака. Руки не было! Мое тело исчезло. Верней, оно превратилось в неясно

очерченную, словно сотканную из пара, массу. На мгновение мне показалось, что я умер, но моя мысль еще продолжает существовать в каком-то эфирном мире.

Вдруг ослепительный луч света прорезал эфир. Я ошалело метнулся и побежал. Ниоткуда, из пустоты несся отчаянный вопль: «Стойте! Стойте!..»



Я бежал, задыхаясь, спотыкаясь, падая, не в силах ни прорвать толщу светового хаоса, ни остановиться. Верней, бежало мое тело, оставшееся в прежнем вещественном мире. Оно чувствовало боль, когда ветки хлестали по лицу, слышало удаляющийся топот чьих-то ног.

В конце концов я потерял сознание.

Прийти в себя заставил холод. Я лежал на земле, щекой чувствуя мокрую траву. Болела голова. Не открывая плаз, я ощупал очки. Они охватывали затылок толстым ободом, переходящим на висках в ребристую маску, которая закрывала глаза. Против глаз оказались гладкие, желудеобразные выступы.

«Первое, что надо сделать, — это избавиться от очков», — подумал я. Крепко зажмурив глаза из боязни новых неприятностей, я стал нажимать на все выступы, отдаленно напоминающие кнопку или замок.

Едва я надавил какой-то штырек, обод раскрылся. Я снял очки. Кругом попрежнему была темнота, непроницаемая у земли, слабо белесая а небе.

Я встал. Теперь, когда подо мной снова находилась старая, милая, чернеющая у ног земля, я, наконец, сообразил, что ничего сверхъестественного со мной не приключилось, а что очки, очевидно, каким-то непонятным способом изменяли попадающие в глаза световые волны. Мне захотелось опять надеть очки. Уверенность, что я в любую секунду могу их сбросить, придала смелость.

Едва я надел очки, — для этого потребовалось только сомкнуть концы обода, — как вокруг снова закружился эфир.

Я сделал несколько шагов. Но в завихрениях эфира изменений не произошло, будто я стоял на месте. Танец светового эфира удивительно однообразен. Когда он мне наскучил, я в поисках новых ощущений нажал рычажок, расположенный возле виска с правой стороны. Картина мигом изменилась. Опять пламенели язычки свечей, только теперь они находились ближе, горели ярче и были уже не

сплошными, как в первый раз. Казалось, из огненных стволов росли спутанные клубки застывших, кривых молний.

«Вроде дерева», — подумал я, вглядевшись. И тут же сообразил, что это и есть дерево. Вот ствол. Морщины коры выделялись темным прихотливым узором и придавали ему объемность. Сучья слегка шевелились под слабыми порывами ветра, создавая иллюзию золотых змеиных жал.

Итак, я оказался обладателем столь же изумительного, сколь и непонятного прибора. Но где хозяин очков? Как мне его найти? Обдумав положение, я решил, что лучше всего зайти к Минаеву, почиститься, а затем отправиться на розыски незнакомца.

Я включил «Светящийся мир» — это давало мне возможность пусть в непривычном свечении, но все же в знакомых очертаниях видеть окружающее. Неподалеку находился пригорок.

Очутившись на вершине пригорка, я замер в восхищении. Из гущи деревьев, как из костра, глыбой раскаленного камня высилось здание церкви. Лохматые ветви, точно языки пламени, лизали багрово-матовые стены.

Церковь была мне знакома. Она находилась на окраине поселка, в полукилометре от дачи Минаева.

Спустившись с пригорка, я направился мимо нее к домам, которые в обрамлении деревьев-факелов двумя шеренгами разноцветных китайских фонариков выстроились вдоль улицы.

Отыскав дачу Минаева, я вошел в неосвещенную переднюю и нажал кнопку звонка.

— Кто там? — послышался Вовин голос.

— Это я.

— А... Сейчас открою и зажгу тебе свет.

— Свет? Зачем? Тут очень светло, — ответил я со смехом.

— То есть как светло? — удивился Вова, отпирая дверь. — Темно, как в погребе.

Он щелкнул выключателем.

Свет семидесяти свечовой лампочки ослепил меня. Инстинктивно растопырив руки, я двинулся вперед на ощупь.

— Что с тобой? — услышал я сдавленный голос.

— Как что? — удивился я. — Ничего.

— Да нет же... Ты — весь в грязи... И потом, зачем ты надел маску?

— Грязь? — Я осмотрел полу пальто. — Разве это грязь? Это же светящиеся сгустки звездной материи, слепец! А маска... О, это не маска, а очки, магические очки, в них видишь сущность вещей. Выключи, пожалуйста, свет в комнате, а то здесь слишком светло.

— Ты... ты нездоров?

Вместо ответа я загадочно изрек:

— Перед тобой император «Светящегося мира» и великий князь «Танцующего светового эфира», а ты, безглазая сосулька, болтаешь тут о каком-то здоровье!



Я услышал позади себя поспешный стук захлопнувшейся двери.

Нашарив выключатель лампы (обстановка комнаты была мне хорошо знакома), я выключил свет, уселся в кресло, облегченно вытянул усталые ноги и принялся с любопытством разглядывать знакомые предметы комнатной обстановки в их новом виде.

Стены были словно выложены темным янтарем. Потолок напоминал закатное небо.

Розовую чернильницу на светло-вишневом столе наполняла золотая вода.

Я передвинул рычажок очков. Стены комнаты затуманились и отлетели в бесконечность. Опять закружился световой эфир.

Дверь приотворилась. Я переключил рычажок и увидел на пороге Вову. Его тощая фигура, выражающая растерянность и боязнь, показалась мне комичной. Я засмеялся.

Вова вздрогнул и исчез. Но мне уже надоело шутить. Пора было почистить одежду и поужинать. Все еще не снимая очков, я вышел в соседнюю комнату и зажмурился от невыносимо яркого света. Тут же кто-то крепко схватил меня за руки.

— Что за шутки?! — вскричал я.

— Спокойно, спокойно, — услышал я голос одного из тех, чьи смутные фигуры маячили в окружающем световом тумане.

Меня потащили из комнаты. Напрасно я звал на помощь.

На улице я, наконец, разглядел своих противников. Их было трое. На рукавах их халатов я увидел кресты. Крест был изображен также на дверце автомобиля. За автомобилем прятался перепуганный Минаев.

— Стойте! — завопил я, поняв, что стал жертвой мнительности своего приятеля. — Я же не сумасшедший!

Но санитары не слушали меня. Третий, очевидно, врач, говорил Минаеву:

— По-моему, у вашего друга (далее последовала какая-то латынь). Вы правильно сделали, что позвонили нам.

Но вдруг перед врачом появилась длинная фигура моего незнакомца в пальто печеночного цвета.

— Я инженер Сизов! — кричал незнакомец, размахивая перед лицом опешившего врача какой—то бумажкой. — Вы не смеете его задерживать! Он проводит ответственный опыт по трансформации световых лучей!

Час спустя Сизов, я и Минаев, с лица которого не сходила сконфуженная улыбка, сидели за чашкой чаю. Сизов курил

и с задумчивой улыбкой рассказывал историю одного из интереснейших открытий.

— Вы, конечно, знаете, — говорил он, — что глаз человека из всего спектра электромагнитных колебаний воспринимает лишь узкую область световых лучей. Коротковолновые лучи — ультрафиолетовые, рентгеновские, космические, равно как и длинноволновые — инфракрасные, радиоволны, словно не существуют для зрения. Современная техника, правда, косвенным путем делает некоторые из них видимыми. Так, ваша рубашка, если она сделана из некоторых сортов искусственного шелка, даст вам знать об ультрафиолетовом излучении: под действием концентрированного пучка она засияет голубым. Экран, покрытый сернистым цинком, вспыхнув зеленым, доложит о рентгеновском излучении. И так далее.

Пять лет назад институту, где я работаю главным инженером, предложили улучшить конструкцию существующих типов «ночных биноклей».

Мы видим окружающие нас предметы лишь потому, что они отражают свет. Заход солнца означает для нас наступление темноты. Но кто думает, что с наступлением ночи гаснет всякий свет, тот ошибается. Камень, дерево, металл — все эти вещества светятся, и светятся по-разному. Они посылают в пространство длинноволновые инфракрасные лучи, лежащие в спектре непосредственно за красной областью. Их еще называют тепловыми лучами.

Чем выше температура тела, тем инфраизлучение сильней. Спектр обыкновенной электрической лампочки, к примеру, только на пять процентов состоит из видимого света. Остальные девяносто пять падают на долю инфракрасных лучей. Это они раскаляют стеклянный баллон так, что к нему невозможно прикоснуться.

Вам приходилось наблюдать остывание расплавленного чугуна? При температуре свыше 1200 градусов он ослепительно белый. Охлаждаясь, металл становится последовательно желтым, оранжевым, красным, наконец, черным. Но

эпитет «черный» неверен. Металл принимает не черный, а инфракрасный цвет. Этот цвет, как и любой видимый, имеет множество оттенков.

«Ночные бинокли» с помощью электронно-оптических преобразований позволяют видеть инфрасвет. Пользуясь им, летчик может рассматривать окутанную ночной мглой местность. Но все существующие до сих пор типы «ночных биноклей» несовершенны. Они «видят» много хуже, чем человеческий глаз днем. Особенно плохо они различают холодные предметы, инфрасвет которых слаб.

Инженер положил на скатерть кисти рук. Пальцы правой руки были испещрены мелкими белыми шрамами.

— Полупроводники, — продолжал он, — сейчас совершают в технике революцию. Успехи в этой области сделали возможным создание очков, которыми вы так несчастливо пользовались.

Мы установили, что пластинка чистого кремния, обработанная с поверхности парами редкого элемента скандия, исключительно чувствительна к диапазону длинноволнового электромагнитного излучения. Даже то ничтожное количество инфрасвета, которое дает лед, вызывает на границе слоя «чистый кремний—кремний+скандий» незначительный, но вполне уловимый электрический ток. Такая полупроводниковая пластинка оказалась волшебным глазом, увидевшим, как светятся «темные» тела. С помощью каскадного усилителя и плоской электронно-лучевой трубки изображение предметов, полученное полупроводником и переведенное в электрические сигналы, мы спроецировали на светящийся экран, создали нечто, подобное крохотному цветному телевизору.

— Простите, — перебил я, — «Светящийся мир» — это мир инфрасвета. А мир «Танцующего светового эфира», если вы мне позволите так его называть?

— Инфралучи граничат с радиоволнами в спектре электромагнитных колебаний. Признаюсь, для нас в свое время явилась полной неожиданностью способность кремне-

скандиевых пластинок «видеть», помимо инфрасвета, еще и радиоволны.

— Так, световая буря, в которую я попал...

— Вы видели радиоволны.

— А луч, который так напугал меня?

— Вероятно, вы попали в зону направленной радиолинии Москва—Рязань.

— Ну, все хорошо, что хорошо кончается. — Я поспешил перевести разговор в прежнее русло. — Что у вас за шрамы на пальцах?

— Вещественная память о маленьких препятствиях на пути создания очков.

— Очки, вероятно, будут иметь большое практическое значение?

— Они позволяют ночью видеть не хуже, чем днем, — вы уже имели случай убедиться в этом. Но кроме того... Вот вчера мною получено письмо из Крымской астрофизической обсерватории, где испытывается сейчас прибор. Помните, что я сказал вам о лампочке? Делая невидимый свет видимым, прибор в десятки раз усиливает яркость звезд. Кроме того, он заставляет «вспыхнуть» инфразвезды. Астрономы пишут, что с помощью нашего аппарата удалось сфотографировать планетную систему Сириуса. Как видите, это уже его второе практическое применение. Каким будет третье? Мы, инженеры сегодняшнего дня, осторожны. Поэтому на вопрос о практическом применении «видения» радиоволн я отвечу: «Оно, несомненно, будет использовано».

УСИЛИТЕЛЬ ПАМЯТИ

— Капризная штука память! — Игорь Зорин медленно обвел взглядом книжные стеллажи. — Меня преследует мысль о несовершенстве нашего разума. Здесь сотни томов по различным отраслям знаний. В свое время я прочел все, а что помню? Десяток формул, груду разрозненных фактов, кое-какие цифры, лишь немногие, из которых я могу назвать вполне уверенно, отдельные положения, выдвигаемые авторами. Грустный итог, не правда ли?

Я сидел в кресле, с удовлетворением чувствуя, как неслышимые инфразвуковые волны снимают усталость. Поэтому отозвался лениво:

— Что ж, это естественно, нельзя запомнить всего.

Зорин и я, мы оба очень занятые люди. Однажды мой друг задумался, каким способом лучше всего возвращать работоспособность мозгу, утомленному напряженной умственной работой. Результатом явился аппарат инфразвуковой музыки. Беззвучные колебания лучших мелодий действовали волшебно. Вечер, проведенный в молчании за чашкой чаю, две-три сонаты Бетховена, исполненные в инфразвуковом ключе, позволяли каждому на неделю забыть об утомлении. Но в этот вечер Зорин, о чем—то напряженно думал. Он вышагивал по кабинету, наклонив голову, и я уже решил, что отдых будет испорчен спором.

— Ты считаешь это естественным? — Зорин резко повернулся ко мне.

— А ты нет?

— Помнишь, когда-то на Брюссельской выставке была кибернетическая машина—память? Она отвечала на некоторые вопросы науки, искусства, литературы, истории.

— Так то, машина...

— Вот именно. Запас памяти у человеческого мозга огромен. Он в десятки тысяч раз превосходит запас памяти самой лучшей кибернетической машины. Равноценный ему в

этом отношении электронный мозг занял бы площадь Москвы. Кладовые нашего разума пусты, вот в чем беда.

— Положим, у некоторых людей с феноменальной памятью...

— Тоже, тоже! Ум рядового человека способен вместить все знания, какие только существуют, — квантовую механику, искусствоведение, таблицы навигации, рецепты всех национальных кухонь, стихи всех поэтов. Но ум — это дырявая сума. Мы — нищие памятью. Ретроактивное торможение безжалостно стирает записанное в нервных клетках коры больших полушарий.

— Так чем, собственно говоря, ты возмущаешься? Заманчиво, конечно, иметь лучшую память, но я не вижу способов получить ее.

— В том-то и дело, что способ есть, — пробормотал Игорь. Он смотрел на меня так, словно от моего ответа зависела судьба способа.

— Выкладывай, — коротко сказал я.

— Если ввести в состав диэфиры сибазиновой кислоты, то при взаимодействии с ионами фтора...

— Что, что?

— А? — Мой друг словно очнулся. — Прости, пожалуйста, — он смущенно улыбнулся, — меня весь вечер мучит догадка, что затруднения, возникшие при работе с «усилителем памяти», можно преодолеть, если воспользоваться особыми качествами одного органического соединения. Я мучительно пытался вспомнить некоторые его побочные свойства и как—то невольно завел этот разговор.

— Усилитель памяти? Ну-ка... Это становится интересным. Выключи, пожалуйста, инфрамузыку, она настраивает на ленивый лад.

Зорин щелкнул выключателем. Как всегда, осталось ощущение приятной свежести и отчетливости мыслей.

— Понимаешь, — начал он, — со мной произошло нечто странное. Ты, конечно, знаешь о действии химических веществ на психику. Скажем, кислорода, спиртов. Человек

делается шумным, возбужденным, не в меру болтливым. Среди отравляющих веществ известны газы, вызывающие чувство страха, подавленности, заставляющие людей истерически смеяться. Биохимики пошли дальше: они сначала выделили из мозга, в потом искусственно синтезировали препараты, которые являются носителями некоторых психических функций, например галлюцинаций. Кто-то сравнил мозг с фотопленкой, на которой отпечатывается все увиденное, услышанное, прочитанное, прочувствованное. Если продолжить сравнение, то можно сказать, что за день на пленке-памяти оказываются миллионы снимков. Время работает как проявитель. И тут-то выясняется, что пленка пуста. Сила впечатления в девяноста девяти случаях из ста настолько слаба, что изображение остается неуловимо скрытым в мозговой ткани и выпадает из картотеки памяти. Но мне удалось получить вещество, которое ведает в мозгу записью памяти. Я его назвал ТГК — тринитроглиоксидинамит калия.

— И ты...

— И я задался целью усилить ту скрученность молекул ТГК, от степени которой зависит сила нашей памяти. Тебе случалось ловить рыбу под камнями?

— Предпочитаю удить.

— Напрасно, это интереснее игры в шахматы. Полуденная жара (рыба тогда вся на дне), ты стоишь по пояс или по грудь в воде, осторожно шаришь ногами по дну. Есть, нашел! Окунаешься с головой в теплую воду. Перед глазами зеленоватая расплывчатая муть и в ней мохнатый камень. Закрываешь боковые выходы, потом запускаешь руку. И какое блаженство, когда твои пальцы касаются вздрогнувшего тела рыбы! Дальше самое увлекательное: она может уйти, если не схватить ее за жабры, — тут-то и начинается борьба. Успеешь нащупать жабры раньше, чем кончится дыхание, — добыча твоя. Вот и сейчас вертится у меня в пальцах скользкое тело усилителя, а ухватить не могу.

— А практически тебе удалось чего-нибудь добиться?

— С помощью препарата мы заставили подопытного попугая зазубрить детскую передачу радио. Но всего на десять минут. Впрочем, и эти десять минут осчастливили бы иных лекторов.

— Изумительно! Ты не представляешь грандиозность своего открытия!

Теперь уже я вышагивал по кабинету, а Зорин спокойно сидел в кресле, чуть улыбаясь.

— Полный переворот в обучении! Люди учатся десять пет в школе, пять — в институте, три — в аспирантуре. Целых восемнадцать лет они напрягают ум, зрение и память, чтобы заучить жалкие крупицы тех знаний, которые в них вкладываются. Все изменилось в мире со средневековья: мы ездим не в карете, а мчимся в автомобилях, поездах, самолетах; паровые игрушки древности превратились в наших руках в гигантские турбины; мы опоясали земной шар дорогами, радиоволнами, связали континенты. Только в одном мы не сдвинулись с места. Школьники и студенты как пятьсот лет назад зубрили лекции, так зубрят их и теперь, монотонно бубня под нос и мерно раскачиваясь. Что мы сделали за века для облегчения запоминания? Если мы и дальше не сыщем способа обучать людей по-новому, человечество в недалеком будущем зайдет в тупик. Знания свяжут прогресс, ведь для творчества нужны знания, в время их накопления будет измеряться чем дальше, тем большим числом лет.

И твое открытие, Игорь, это... выход! Оно обратит все умственные силы человека только на творчество, причем на такое, основой которому будет служить не та неимоверно малая доза полузнаний, которую держит в своей голове современный человек, а все сведения, добытые людьми за тысячелетия. Образованнейшим человеком сможет легко стать каждый.

Игорь весело смеялся.

— Да, если «усилитель» предстанет в таком виде, какой мне рисуется, школьники, верно, поблагодарят нас, ученых. Что же касается других последствий, то... нет, я не социолог,

не буду гадать. Но думаю, что освобождение психической энергии человека для творчества — вещь более важная, чем даже обладание атомной энергией.

— Во всяком случае, обещай, что, когда «усилитель» будет создан, первым из посторонних, кто познакомится с его работой, буду я.

— Обещаю.

Я расстался с Зориным убежденный, что скоро стану свидетелем самого дерзкого вторжения человека в мир высшей нервной деятельности, какой происходил, когда—либо. В смелый, оригинальный ум своего друга я поверил еще с детства — так поразила меня встреча с десятилетним Игорем.

Я спускался по откосу, поросшему кустами ежевики. Выбравшись из цепких лап кустарника, я очутился на поляне у подножья обрыва. Наклонясь над камнем, стоял мальчик в коротких штанишках и лил что-то на него из бутылки. Камень шипел и пузырился. «Что это ты делаешь?» — изумленно окликнул я его. «Обогреваю землю, — без тени улыбки ответил тот. — Содержание углекислого газа в атмосфере можно немного увеличить без вреда для человека, и тогда всюду будет вечное лето. Вот я и разлагаю соляной кислотой известняк, нужно выделить оттуда углекислоту. Хочу, чтобы под Москвой росли пальмы».

С годами Игорь изменил своему детскому желанию обогреть мир. Он увлекался последовательно физикой, химией и биологией. Интуиция ученого в нем сочеталась с образным мышлением писателя.

Несколько лет назад руководитель Института физической биохимии рискнул дать Зорину большую лабораторию. Он позволил вчерашнему студенту подобрать толковых работников.

Риск оправдал себя. Зорин и его сотрудники — фанатики науки, как и он сам, — работали с энтузиазмом, и лаборатория буквально фонтанировала открытиями, ошеломлявшими научную общественность.

Поэтому я нисколько не удивился, когда через три недели после памятного вечера Зорин позвонил мне и, ликуя, сообщил, что, наконец, схватил «усилитель» за «жабры».

— Приезжай ко мне, если задержусь, подожди. Ключ от квартиры на обычном месте, — услышал я в телефонную трубку.

С понятным интересом я ожидал Зорина, сидя у него в кабинете. Наконец дверь отворилась. Дальнейшее, однако, послужило темой не только серьезных разговоров, но и анекдотов.

— Добрый вечер, — приветствовал я друга.

— Добрый вечер, гуд (ивнинг, мутен абенд, бон суар, буэна сера...

— Да ты, никак, занялся лингвистикой?

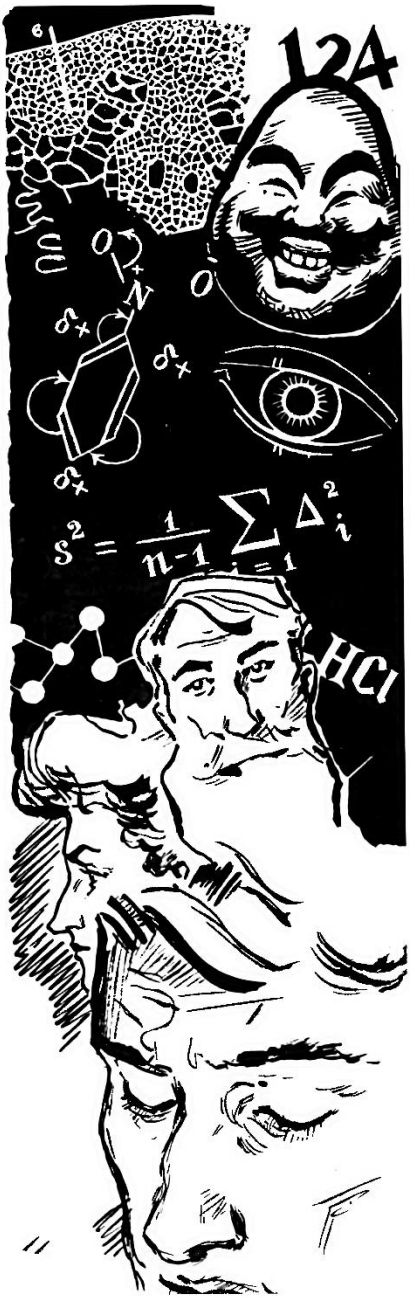
— Лингвистика... Языковедение, языкознание, наука о языке. Подразделяется на фонетику, семантику, лексикологию, этимологию, грамматику, орфографию, орфоэпию. Лингвистика возникла в XIX веке. Ее еще можно подразделить на изолирующую лингвистику, агглютинирующую, флексирующую, но |важней этого генеалогическое разделение. «Лингвистику, филологию и хиромантию за науки не считаю», — сказал...

— Что с тобой?! — вскочил я. Тут только мне бросилось в глаза странное состояние друга.

Его живой взгляд потух, неподвижные зрачки блестели, как стеклянные. Он тупо смотрел на пепельницу. В опущенных плечах, ссутулившейся спине была какая-то манекенная деревянность.

Я схватил его за плечи. Голова его откинулась внезапно, как от толчка, Зорин стал говорить, словно читая книгу:

— Уравнения, выражающие математическую зависимость отклонения гальванометра от числа спаев, площади приемника, термоэлектродвижущей силы, материалов спая, требуют прежде всего знания термоэлектрических параметров материалов термоспая, их взаимной электродвижущей



силы, электропроводности, теплопроводности и теплоемкости. Для этих вычислений нужно также знать оптические свойства воспринимающих излучение поверхностей, коэффициенты их излучения и отражения для различных длин волн...

Он продолжал в том же духе, но я не выдержал и эакричал в отчаянии:

— Игорь, голубчик, тебе плохо? Скажи, что случилось!

На мгновение у него в глазах мелькнуло осмысленное выражение. Недоуменно глядя на меня, будто не соображая, зачем я и кто, он потер лоб движением, казалось, стирающим невидимую, но липкую паутину. Однако затем в его мозгу словно опять щелкнул какой-то клапан. Он закрыл глаза ладонями.

— Лица, лица... всех людей, которые мне встречались. Ужасно!.. Они плывут. С прямыми носами, крючковатыми, бесформенными, как раздавленная слива, маленькими, утиными; лбы то морщинистые, то юношески гладкие,

иные узкие, другие со слоновьими мудрыми выпуклостями; губы пухлые, надменно сжатые, вывороченные, вялые, лапотные. Миллионы Лиц! Толпа... Они идут через мой мозг, все идут...

Тут для меня было хоть что—то понятное. «Поток лиц» знаком тем, кто имеет дело с лепкой образов словом ли, кистью или резцом. Его приход мучителен, но почти неизбежен. Со мной это случалось, когда бывала бессонница. Приходила череда движущихся выпукло-четких лиц, бесконечных в своем многообразии.

— Тебе нужен врач, — сказал я как можно мягче и снял телефонную трубку.

Игорь сделал слабое отрицательное движение рукой.

— Н-не надо... — с усилием проговорил он. — Это... это пройдет... уже проясняется. Не мешай.



Он повалился в кресло, уткнулся головой в обивку спинки и затих, глухо бормоча что-то.

Я растерянно стоял возле с гудящей телефонной трубкой, не зная, что делать. Не послушаться и вызвать «Скорую помощь»? Интуиция мне подсказывала, что «помощь» была бы здесь бессильна.

Положив. трубку на место, я распахнул штору. Город глянул сотнями освещенных окон, розовых, золотистых, белых, зеленых, синих. Невеселые были у меня мысли...

— Крепкую чушь я только что молол?

Вздрогнув, я обернулся. Игорь сидел в кресле прямо, смотрел облегченно и весело, капельки пота блестели на висках.

— Порядочную.

— Надо думать. Счастье, что эта штука действует пока недолго.

— Ты о чем?

— Об «усилителе», конечно. Препарат был готов, то есть он казался мне готовым. Я решил проверить его действие на себе. «Усилитель» — это не вакцина, действие которой можно проследить на кролике или морской свинке. Тут нужен для опыта человеческий мозг. Не без трепета я три часа назад выпил небольшую дозу жидкости. С таким ощущением человек будет, наверно, пить марсианскую воду. Потом взял книгу Д. Стронге «Техника физического эксперимента» — первую, оказавшуюся под рукой, — и стал читать страницу за страницей (отрывок я, кажется, воспроизвел тут). Ничего особенного я не чувствовал, лишь немного щипало язык. Минут через десять я закрыл глаза и стал припоминать текст. И заметил, что без напряжения вспоминаю абзац за абзацем. Строчки выплывали из памяти все быстрее и быстрее, как детали снимка в ускоренном проявителе. Тогда—то я и позвонил тебе. Но что потом началось, уф!

— Он оказался ядовитым?

— В обычном медицинском смысле «усилитель» совершенно безвреден. Он просто сделал свое дело — разбудил и

чудовищно усилил память. Да как! Я оказался в положении того богача из сказки, который утонул в груде золотых монет. Все прожитое, познанное, перечувствованное ожило и захлестнуло сознание. Ничто, как выяснилось, не проходит бесследно. Я вспомнил даже, какие у меня были тапочки в четырехлетнем возрасте и какие в пятилетнем. Я мог наизусть продекламировать всего Льва Толстого. Ассоциативное, логическое мышление было сметено и подавлено. Не знаю, что подразумевают психиатры под «сумеречным состоянием души», но мое точней всего можно было назвать «сумеречным». Упрощенно говоря, произошло то же самое, как если бы в Ленинской библиотеке все книги в беспорядке поставили на полки корешками внутрь. Мой рассудок уподобился ошалевшему читателю такой библиотеки. Последствия ты видел.

— Значит, полная неудача?

— Наоборот, все отлично. В науке есть прекрасный закон: неудача — лучший ключ к познанию закономерности. Возьмем Лобачевского. Он пытался доказать пятый постулат Эвклида — и неудачно. Но доказательство, как выяснилось, недоказуемого подвело его к мысли о существовании иной геометрии, чем эвклидова.

Во время обострения памяти, вызванного препаратом, я вспомнил содержание некогда читанного мной учебника психиатрии. Забытые строчки стояли перед глазами так же ясно, как те, что чернеют на страницах вот этой раскрытой книги. Оказалось, что я искусственно вызвал у себя один из видов умственного расстройства, связанный с чрезмерной обостренностью памяти, — сходились все симптомы. Помню охватившее меня тогда гнетущее чувство неудачи. Тупик! Но теперь, спокойно размышляя над случившимся, я вижу, что это не тупик, в резкий поворот, к которому я пришел, следуя дорогой познания. Ведь суметь вызвать болезнь — значит уже наполовину вылечить ее. Однако я вижу и другой путь применения «усилителя». Как ты сам заметил, в начале его действия была такая минута, когда туман,

окутывавший истинное значение «усилителя», вдруг дал просвет и я вовремя обнаружил ту стену, в которую уперся .и которую, без сомнения, долго бы еще не замечал. Ты понимаешь, я говорю об усилении памяти, которое мы стремились вызвать, не очень задумываясь над тем, а так ли это уж нужно и не изобретаем ли мы психически вредный препарат? Зачем человеку пусть всеобъемлющий, но механически заученный груз знаний? Силой своего разума он создал кибернетические машины, электронные ячейки которых держат и мгновенно отдают по приказу человека все те сведения, которые ему необходимы для творчества. Их—то и можно, пожалуй, назвать настоящими «усилителями памяти». Другое дело полноценно использовать накопленные знания. Только в сложных и неожиданных, недоступных машине сочетаниях рождается новое. Как найти то чудесное состояние, когда человека, бившегося годами над решением трудного вопроса, вдруг «осеняет» блестящая идея? Что, если попытаться это качество ума из мгновенной категории перевести в более длительную? Я увидел пока только проблески такой возможности, только зарницу. Так давай. же пойдем на эту зарницу. Путь темен и ухабист, да! Тем лучше. Скучно идти по накатанному асфальту. О, я вижу массу отличных трудностей, с которыми повозиться будет просто счастье.

Зорин пока еще возится со своими «отличными трудностями». Точнее сказать, «мы с Зориным», потому что мне выпала честь стать его сотрудником. И я не раскаиваюсь в этом, ибо тропа познания — самая увлекательная из всех. Счастлив по ней идущий!

К вечеру горы приобретали странное обаяние. Днем их мелкозубчатая цепь скромно замыкала пустынные просторы, но едва солнце, ширясь и багровея, клонилось к горизонту, они точно придвигались к лагерю. С их снежно-белых кварцитовых склонов спадала голубая вуаль расстояния. Выступали провалы, гребни скал, черная пена кустарника у подножия. Под скользящими лучами солнца бронзовела зыбь барханных валов; в расселинах гор копились и крались тени; медленно, будто прогреваясь изнутри, розовели белые выступы.

Юрию Аралову свет в эти минуты казался беззвучной музыкой. Надменные силуэты верблюдов, искрошенные веками саманные стены казахских мавзолеев, возле которых находился лагерь, горы на заднем плане были ее аккордами.

«Все меняется на Земле, — размышлял он, — стираются и вновь возникают континенты, высыхают старые и появляются новые полноводные океаны, преобразуется атмосфера, рождаются и гибнут формы жизни. И само вещество нашей Вселенной, завершив свой цикл развития, перейдет, когда-нибудь из теперешнего состояния материи в какое-то новое, нам еще неведомое. Это симфония вечности...»

— Дорогой гидрач! Скважина уже давно ждет тебя на свидание, — палеонтолог Вася Лесин хлопнул задумавшегося гидрогеолога по плечу. Он уже минут десять стоял за спиной Аралова, с насмешливой улыбкой наблюдая за ним.

— Да, да... Извини. Забыл, — очнулся тот.

Он вынес из палатки и торопливо запихнул в рюкзак пробоотборник, пару пустых бутылок и ящичек походной гидрохимической лаборатории.

Скважина, к которой они пришли, была напорной. С негромким фырканьем вода лилась из обсадной трубы, изогнутой бурильщиками полутораметровым вопросительным знаком. Водою в песке был уже вымыт небольшой бассейн.

Лесин зачерпнул горстью воду, понюхал и удивленно сморщил нос.

— Определенно пахнет морем, — заявил он. — Йодом.

— Ты прав. В соседней скважине, которая не дала фонтана, анализ показал высокую, причем именно морскую минерализацию: есть натрий, магний, хлор, бром, йод, немного радона. Когда-нибудь тут возникнет курорт. Между прочим, перед нами совершенно уникальная скважина. Судя по всему, она попала в замкнутую полость. Глубоко под нами, — Аралов топнул по песку ногой, — расположен подземный грот, заполненный водой.

— А может быть это просто грунтовые воды, почему ты думаешь, что там пещера, — усомнился Лесин.

Аралов ответил сразу, чувствовалось, что он ожидал этого вопроса.

— Во-первых, все соседние скважины оказались сухие. Значит, водоносного слоя здесь нет. А во-вторых, бур последние метры проходил без всякого сопротивления. Значит, существует грот. Все очень просто. Вода тысячелетиями растворяла и размывала известняк и гипс, образуя огромный, погруженный в вечный мрак подземный зал.

— Но откуда же взялась вода, не унимался палеонтолог, — ведь ты говоришь, что грунтовых вод здесь нет?

— Кто знает? Возможно, что когда-то они были. Но скорее всего это сделало море, бушевавшее здесь триста миллионов лет назад. Ты же сам показывал мне раковину моллюска, найденного на месте нашей стоянки.

— Да, это гониатит. Они жили в морях девонского периода палеозойской эры. Но все же мне не ясно. Моря давно уже нет, грунтовых вод тоже нет, а фонтан бьет! Откуда же взялась вода?

— Естественный вопрос, — кивнул головой гидрогеолог. — По всей видимости, донные осадки и коралловые отложения запечатали горловину, сохранив в подземной полости воду девонского моря.

— Стало быть, мы вскрыли консервную банку, в которой находится вода трехсотмиллионнолетней давности?

— Именно. Твоя рука смочена водой девонского моря. Правда, теперь она уже разбавлена межпластовыми водами.

Лесин со смешанным чувством недоверия и почтительности посмотрел на свои пальцы. До сих пор палеонтология была для него сухой сводкой латинских названий животных и перечнем признаков, по которым определялись их костные останки. Ему неведомо было удовольствие мысленно бродить по влажным лесам гигантских каменноугольных папоротников, дышать озонированным воздухом докембрийских морей, любоваться миражами на берегах соленых озер перми. Раньше эпохи минувшего были для него таким же отвлеченным понятием, как математический знак бесконечности.

Сейчас с совершенно новым ощущением он задумчиво смотрел на воду, красноватую в вечернем освещении.

— Путешествие во времени, — продолжал Аралов, — реальнейшая вещь. Не нужно даже «машины времени», чтобы очутиться в прошлом. На Земле есть пейзажи любого геологического периода. В вологодских болотах мы найдем леса папоротников и плаунов. Шум третичных сосен усыпляет курортников на Абхазском побережье в Пицунде. Мысленно уберите эту железную трубу двадцатого века, оглядитесь и заставьте свое воображение сделать маленькое усилие. Видите — огромный и алый шар солнца, не нашего будничного солнца, а солнца — космического тела, клонится к пустынному горизонту. Вокруг оранжевые безжизненные пески, скалы первозданно-голой коры планеты. Мы в девоне, нет, даже в архее, в мире, удаленном от человечества на миллиарды лет. И в этой лужице тепловатой морской воды кружатся первые комочки живой протоплазмы, из которой, когда—то еще вырастут леса и травы, чтобы одеть планету, и животные, чтобы заселить ее. Видишь эти комочки в пене?

— Вижу... — прошептал Лесин. — Сейчас я их даже поймаю.

Он нагнулся. А когда поднялся, Аралов разглядел на его ладони крошечный прозрачный шарик.

— Это что такое?! — вскричал он.

— Твоя архейская протоплазма. По-моему, она очень похожа на новорожденную медузу.

Секунда — и гидрогеолог с палеонтологом, забыв о пробах и анализах, лежали на животе у края бассейна и шарили руками в воде.

У себя в палатке Аралов внимательно разглядел пробирку с находкой. Опалово-голубой на просвет комочек вещества неподвижно висел в мутноватой воде. В середине его чернели какие-то точки и запятые.

«Надо заспиртовать и отдать в городе зоологам, пусть разберутся, — решил он. — Вот только Сергеича долго придется умолять. Завхоз, как же! Наверняка подумает, что на выпивку спирт прошу...»

Мысль о загадочном комочке не покидала Аралова весь вечер. Затих уже лагерь. Бледной дугой изогнулся в ночном небе Млечный путь, а он все ворочался на кошме с боку на бок. Наконец, не выдержал. Выбрался из спального мешка, оделся и пошел к скважине.

Хрустел песок под ногами, и лишь этот единственный звук нарушал тишину. Редкие кустики яктака и пустынной полыни в свете взошедшей луны казались черными, настороженно замершими зверьками. Их тени выделялись на осеребренном песке резко, как мазки туши.

Уже был слышен фыркающий звук фонтана и видно темное зеркало воды, в котором, дрожа, разбегался спиралями лунный свет. Дальнейшие события напоминали кошмар по сне. Все было страшно и нереально. Навстречу Аралову из темноты медленно плыло по воздуху зеленоватое фосфоресцирующее пятно.

Гидрогеолог вскрикнул от неожиданности. Пятно затрепетало, как пламя под дуновением ветра, красная точка, родившаяся при звуке голоса в ее середине, мигнула и брызнула ослепительным светом.

В глаза Аралову словно впились иголки. Но то было мгновение. Он даже не ощутил своего падения. А он был не просто отброшен светом, как ударом: его тело сначала распластанной птицей взлетело на воздух, и уж потом свалилось на землю, обрушив сыпучий барханный гребень.

...К утру Лесин обычно оказывался в углу палатки. Тому виной был коллектор Жора Баймаков, который спал рядом. Ложились вечером они всегда честь-честью: ногами к выходу, головами на ватники, накрытые для чистоты полотенцем. Однако ночью медвежье тело Баймакова стремилось почему-то расположиться не вдоль палатки, а обязательно поперек.

Оттого Лесин и проснулся в то ставшее далеко не обычным утро раньше всех. Во сне Баймаков так повернулся, что скатившаяся с импровизированной подушки голова Лесина очутилась на кучке неотпрепарированных образцов. Порция ископаемой пыли, втянутая ноздрями, подействовала, как понюшка табака. Чихнув, Лесин поднялся, посмотрел на часы и вышел из палатки.

На востоке уже стоял отвесный розовый луч — предвестник всходящего солнца.

Лесин лениво курил и, позевывая, следил, как оживает лагерь. Вылез из своей одноместной палатки и, почесываясь, направился к машине шофер Кугин, — угрюмого вида мужчина, к которому студенты-практиканты испытывали боязливое уважение после того, как он на глазах у всех выдрал себе клещами два больных зуба. Встал начальник партии и первым делом бросил взгляд на кухню — не запаздывает ли повариха с завтраком. Но из глиняной печки исправно вился жиденький дымок горящего кизяка, и от крышек котлов, возле которых возилась Настя, поднимался пар.

Скоро на ногах был весь лагерь. Но тщетно Лесин ждал появления Аралова, с которым хотел поделиться кое—какими возникшими насчет вчерашней находки вопросами.

Не найдя гидрогеолога и в палатке, он удивленно пожал плечами. «Дернула же гидрача нелегкая спозаранку бежать



на скважину! Точно не мог сделать этого на сытый желудок. Чудак!» Насвистывая «Подмосковные вечера», он пошел звать Аралова к завтраку.

Потом он всем и каждому повторял, что беззаботность спасла его. «Эти звери на версту чуют, идет ли кто-нибудь с перчатками, чтобы изловить их или так просто, прогуливается».

Но никому он не признавался в том, что струсил. Едва он поднялся на бугор, откуда была хорошо видна скважина, его губы чуть не пролепетали «мама!»

И было отчего. Из бесформенного куска «студня» — таким показалось на первый взгляд Лесину животное — на него в упор смотрели три аспидно-черных глаза. Само тело пульсировало бирюзово-зеленоватым светом.

При виде Лесина окраска студнеобразного слизняка, сгущаясь, побежала темно-синими разводами. Лесин утверждал, что они бежали подобно тем волнам, которые электрические зайчики вырисовывают на флюоресцирующем экране катодного осциллографа. Поскольку работу осциллографа он видел всего раз — на физпрактикуме второго курса — скептики легко могут взять это наблюдение под сомнение. Но все те, кто потом наблюдал, как «студень» сердится, указывали на волновой характер движения разводов.

Когда в сгущениях запрыгали красноватые точки, Лесин почувствовал, будто чья-то невидимая рука мягко подсунулась под низ сапог. Он покачнулся, пытаясь сохранить равновесие, но взмах рук неожиданно поднял его в воздух «Мне показалось, что я возношусь», — рассказывал он впоследствии.

Так они смотрели друг на друга — комок слизи снизу, Лесин сверху, некоторое время, показавшееся тому по понятной причине нестерпимо долгим.



Потом окраска «студня» стала гаснуть, и человек благополучно плюхнулся на песок, причем тело ею сразу точно налилось ртутью.

А слизняк, как вертолет, взмыл вертикально вверх, сделал небольшой круг по воздуху и спланировал в бассейн, где и исчез. В воздухе он походил на лягушку с недоразвитыми конечностями.

Некоторое время Лесин сидел с тупым видом, похлопывая себя по карманам, словно самым важным в создавшемся положении было закурить. То, что случилось, было слишком неожиданно и неправдоподобно, и поэтому даже не вызвало испуга. Лишь

увиденное им поодаль тело Аралова придало событию какую-то логичность.

Он бросился к неподвижному гидрогеологу, суетливо захлопотал, и зачем-то стал ему делать искусственное дыхание, сгибая попеременно его, точно окаменевшие, руки. Потом уже сообразил нащупать пульс. Тот еле бился.

Лесин с отчаянием стал озираться. Теперь фыркающий звук скважины вселял в него страх. Кто знает, что еще несла с собой из земных недр ее светлая струя!

Подхватив странным образом оказавшееся легким тело Аралова, он побежал к лагерю, ругаясь и чуть не плача оттого, что вязкий песок замедлял шаги.

...Взошедшее солнце осветило первую в истории Земли схватку самого молодого обитателя планеты — человека с одними из древнейших, которые так непостижимо стремительно развились в водоеме из недавних зародышей. Люди цепочкой рассыпались за барханными гребнями вокруг скважины.

Вода долго оставалась тихой. Затем поверхность дрогнула, побежала кругами и неожиданно из их центра вверх взмыло существо, с которым только что повстречался Лесин. Ахнули выстрелы, засвистел вспоротый картечью и пулями воздух, вода вскипела мелкими фонтанчиками. Загадочное существо упало обратно в водоем, и вдруг оттуда вылетели три новых слизняка. К людям, шипя и кружась, побежали, точно выбитые из земли ударами мощных воздушных струй, песчаные облака, срезая, как бритвой, все неровности почвы.

Назад! Это гибель! — отчаянно закричал Лесин.

Слизняки не преследовали людей. В воздухе они продержались всего минуту и ушли обратно под воду. Это видели те, кто не успел отбежать далеко. Все со страхом смотрели на воду, с минуты на минуту ожидая появления врагов, обладающих столь загадочным, сколь и могущественным оружием. Но слизняки не появлялись.

...Шофер Кугин полз, как ящерица, петляя между буграми. В рюкзаке за спиной лежал тол, в нагрудном кармане куртки позвякивали капсюли, полоской отточенной стали блестело острие черенка саперной лопаты. Бывший солдат снова выполнял боевое задание

Палящее солнце висело в небе. Расплываясь, дрожали в мареве белесые овалы песчаных гребней.

Когда до скважины оставалось метров тридцать, Кугин бесшумно вынул из рюкзака два брикета желтоватого тола и вставил в гнезда запалы с отрезками бикфордова шнура. Прислушался. Все было неподвижно — земля и воздух. Лишь монотонный звук льющейся струи однозвучно болтал, о чем-то своем.

Взрывы обратили воду в дождь. Задушенная струя издала предсмертный хрип и прервалась. Когда сверху перестали шлепаться комки мокрого песка, Кугин вскочил с земли.

— Ну, вот и кончено, — глухо сказал он, стирая платком песок с мокрого лица.

Через два дня между Араловым, который уже смог совершить прогулку к скважине, и Лесиным состоялся примечательный разговор.

Как и в тот раз, когда они ловили студенистые зародыши, был вечер. На месте уничтоженного водоема ветер уже плел из песчаных змеек кружево. Только искореженный огрызок трубы напоминал о прежнем

— Так все-таки завтра уезжаете? — спросил палеонтолог.

— Надо. Радиограмма вызвала в Академии наук недоумение. Эфир забит вопросами. Расскажу в Москве все как было. Отвезу заспиртованный зародыш. Буду добиваться специальной экспедиции и нового бурения.

— Не поверит Москва. Ведь мы даже никак не можем объяснить случившегося.

— Почему же? Мне кажется, это не так.

— А что же ты сможешь сказать?

— Прежде всего, что слизняки были гравитериями.



— Палеонтология не знает таких животных!

— Разумеется. Она знает о моллюсках, потому что в земле сохранились их раковины. О зверях по останкам их скелета. О растениях по отпечаткам в глине и мергеле. О червях по следам их ползания. Но какой след могло оставить в породах студенистое тело гравитерия?

— Тогда объясни название.

— Охотно. Гравитерием я назвал это создание потому, что оно обладает способностью перемещаться по своей воле в гравитационном поле, поле сил тяготения Земли и, вероятно, концентрировать его энергию.

— Ну... ну... знаешь ли, да ни один палеонтолог, что там, ни один разумный человек не поверит такой, извини меня, я говорю по—дружески, чепухе!

— Хорошо, разберем по порядку, чепуха ли это. Ты не станешь отрицать, что гравитерии передвигались в воздухе без крыльев и даже без видимого усилия своих явно недоразвитых конечностей?

— Согласен.

— Дальше. Мы оба испытали на себе таинственное действие гравитерия. Точно чья-то могучая рука отрывала нас от земли. После возвращения сознания я, кстати сказать, чувствовал себя некоторое время более легким, чем обычно. Проверить себя я не мог — был слишком слаб. Но я уверен, что тут не было субъективной ошибки. Вероятно, имела место наведенная антигравитация, ведь существует же наведенная магнитность.

Теперь давай посмотрим, допускают ли законы природы существование гравитериев. Не торопись сказать «нет». Ты, конечно, слышал, что звездные лучи искривляются под действием солнечного притяжения. Это доказывает, что Эйнштейн был прав. Электромагнитные и гравитационные поля взаимодействуют друг с другом. А значит, не исключена возможность, что силами тяготения можно научиться управлять. Ведь справились же люди с их «родственниками», электромагнитными силами. Человеку свойственно в машинах и технологических процессах повторять то, что давно уже воплощено природой в различных организмах. С электричеством человек более или менее хорошо научился обращаться лет сто назад А рыбы умеют вырабатывать электроэнергию уже сотни миллионов лег. Электрические скаты, например, дают разряды силой тока в восемь ампер при напряжении в триста вольт. Некоторые виды угрей создают напряжение, достигающее шестисот вольт. А палеонтологи считают, ты это должен знать, что в прошлом рыбы обладали еще более мощными электрообразующими органами. Так что прогресс в животном мире в этом отношении до некоторой степени обратен человеческому.

Возьмем такое достижение двадцатого века, как локация. Прошло не более двадцати лет с того дня, как посланное локатором эхо впервые дало на экране изображение летящею самолета. Рыбы же отряда Gymnarchus пользуются радиолокацией уже бесчисленное количество лет.

Наши самолеты до сих пор не могут прокладывать свой путь по сгущениям магнитных силовых линий. Люди еще

должны понять, каким образом такая ориентировка осуществляется голубем. Как видишь, животные «запросто» обращаются с электроникой.

— С твоей эрудицией можно доказать все, что угодно. — пробормотал Лесин, — но ты не возьмешь меня голыми руками в одном пункте. Рыбы, голуби — это высокоорганизованные существа. Твои гравитерии — нет.

— Во-первых, радиолокационным аппаратом обладают рыбы, а не млекопитающие, то есть существа не самые высокоорганизованные. Во-вторых, сколько лет существует органическая жизнь?

— Приблизительно восемьсот миллионов.

— Это не так. В породах восемьсотмиллионнолетней давности найдены первые останки живых организмов, да. Но можно ли считать отрезок пути от первых живых комочков протоплазмы до водорослей, червей и первых скелетных короче отрезка эволюции от них до человека? Органическая жизнь существует не восемьсот миллионов лет, а по меньшей мере два миллиарда. Значит, гравитерии, которых отделяют от нас какие-то триста миллионов лет, по развитию стоят ближе к нам, чем к простейшим.

— Но почему гравитериев нет в современных водах?

— Прежде всего, не доказано, что их нет. Недавние находки в африканских водах кистеперых рыб, считавшихся вымершими, убеждают нас, что море еще хранит немало живых «палеонтологических окаменелостей». Но даже, если гравитериев нет в водах современных океанов, это вовсе ничего не опровергает. Палеонтология знает немало примеров, как целые классы исчезали с поверхности Земли мгновенно, будто сдутые ветром. Некоторые, быть может, и бесследно.

— И все-таки я не верю в гравитериев. Решительно не верю.

— Отчего же так?

— Они противоречат здравому смыслу.

Аралов устало улыбнулся и промолчал.

Они сидели полукругом, молодые геологи-полевики, в твердых от пота ковбойках, и по их загорелым лицам бежали прозрачные отсветы костра. Из темноты при вспышках вдруг выдвигались лбы нависших скал, искры с треском взлетали в небо и мешались со звездами.

Только недостаток воображения мог бы помешать ребятам представить себя путешественниками во времени, греющимися у первобытного очага. И точно: их мысли в ту ночь покинули сегодняшний день. Однако не ради прошлого, а ради будущего...

— Мне кажется, лунная экспедиция могла бы помочь нам. Возможно, она даже выручила бы.

Сказавший украдкой потрогал редкую бородку. Он отпустил ее, чтобы поразить московских друзей, сфотографироваться, а затем сбрить.

— Это ты чересчур...— возразил коллектор с облупленным носом. — Как будто мы и без Луны не знаем, где искать нефть.

— А почему же тогда мы наткнулись на нефтепроявление здесь, а кристаллическом массиве, и не энаем, стоит ли разведывать дальше, так как нефть — по учебникам — это след жизни, продукт деятельности водорослей, бактерий и еще невесть чего? Следовательно, в мертвом камне ее нет и быть не может. А она есть, но кто скажет, много ее или мало?

— И поэтому надо лететь на Луну? Проще разбурить массив.

— Хорошо, разбурим. И что же, сформулируем новый закон нефтеобразования? Как бы не так. Может быть, здешняя нефть — чистая случайность. Разве не могла она просочиться из осадочных, богатых органикой пластов в трещины массива, когда тог был погребен? Нефтеносные пласты давно развеяны водой и ветром, а мы открываем просочившиеся капли нефти и громогласно трубим: ах, нефть может

образовываться неорганическим путем в глубинах Земли, где раскаленный водяной пар взаимодействует с карбидами металлов! Ах, немедленно шлите машины, вертолеты, станки, всаживайте деньги в нефтеразведку горных массивов! Ошибка-то пахнет миллиардами!

— ...и десятками миллиардов, если нефть действительно образуется неорганическим путем, а мы не будем искать ее в глубинах гор, — возразил коллектор.

— Вот—вот! А на Луне природа поставила чистый опыт. Жизнь там отсутствует, и если мы обнаружим или не обнаружим нефть на Луне, то блуждание в потемках прекратится...

Порыв ветра шевельнул рыжие лохмы огня. Парень с бородкой закашлялся от дыма и, гася залетевшие в бородку искры, выскочил из круга.

— Вот как опасно витать на Луне! —сострил кто—то. И уже серьезно добавил: — Все же наше забота — Земля. Мы геологи, ими и останемся.

Дотоле молчавшая девушка не выдержала:

— Витать! Чушь-то какая! Три, пять, пусть десять лет пройдет — и нам, понимаешь, нам придется стучать молотком по лунным скалам. И профессия у нас будет иная: космо-ло-гия.

— Эго что еще за невидаль? — фыркнул коллектор с облупленным носом. — Название выдумать легко, а смысл какой?

— Не видишь смысла? — обиделась девушка. — А за литературой ты следишь? Не отпирайся; вижу, что нет. Иначе не задавал бы глупых вопросов.

— Почему же глупых?

— А потому, что с космологами ты здороваешься за руку.

— Уж не с тобой ли?

— И со мной... в будущем. Володьку Лебедева знаешь?

— Встречался. Он заканчивал факультет, когда я туда поступил.

— Так вот, Лебедев исследовал изотопный состав лунной поверхности. И установил, что там встречаются атомы, которых нет на Земле. Что это, геология в нашем понимании? А Хабаков, который открыл, что Луна пережила несколько фаз горообразовательной деятельности, — он кто?

— Дайте слово сказать, — вмешался опять геолог с бородкой, предусмотрительно усаживаясь подальше от огня. — Главное — точность. Космология — это слишком общо. Сейчас зарождаются новые науки: космохимия, космофизика и планетология. Кое-кому из нас, видимо, суждено будет стать именно планетологом. В ближайшее двадцатилетие.

— Защитите от «логий»! — иронически взмолился парень с облупленным носом. — Уж не хочешь ли ты сказать, что тебе известны цели и методы вышеозначенной науки, коей мы должны служить? Быть может, ты сообщишь и расписание лекций по курсу планетологии в 1980 году?

— Не язви. Дело не так просто. Ты хочешь знать, чем будут заниматься планетологи? Отвечу. Во-первых, они станут изучать рудные жилы на Луне, складчатость марсианских гор. вулканы на Венере, брать пробы из оловянных озер Меркурия. Это будут геологи иных планет — лунологи, марсологи и так далее. Вот первая ветвь планетологии. Возражений нет? Тогда дальше.

Удобно ли иметь Землю, так сказать, в одном экземпляре? Сами видите, что даже нашей работе помогло бы сопоставление здешних пород с лунными. Каково же тем, кто пытается понять законы движений земной коры, направленность горообразующих сил, историю своей планеты? Они в положении человека, который фактически по одному кадру должен догадаться о содержании всего фильма. Причем, если предыдущие кадры он еще может посмотреть, хоть они более чем на девять десятых и попорчены временем до неузнаваемости, то о последующих он может лишь догадываться.

Удивительно ли, что мы до сих пор не знаем точно, почему вздымаются горы и опускаются равнины, почему

бывают оледенения? И отчего слои одних веков богаты марганцем и железом, а слои других бедны? Между тем есть предположения, что на Марсе мы, возможно, увидим будущее нашей планеты, а на Венере — ее прошлое. Трудно даже представить, сколько ключей к земным загадкам лежит там, на этих светлячках, мерцающих в бездне у нас над головами! Вот вам и вторая ветвь науки будущего — сравнительная планетология. На курс лекций наберется?

— Мало! — почти крикнула девушка. — Разве человек шагнет за десять миллионов километров пустоты лишь затем, чтобы исследовать? Нет, он понесет туда жизнь. Он сам будет творить миры.

— Вечер фантастики продолжается. На повестке вечера следующий вопрос: «Будет ли жизнь Марсе?» — хмыкнул «облупленный нос".

— Ох, уж мне эти Чайльд-Гарольды в ковбойках! А знаешь ли ты, что создание на Луне воды и атмосферы уже сейчас принципиально возможкая вещь?

— Ты бы лучше факты, факты...

— Будут и факты. Установлено довольно точно, что на Луне много минералов, содержащих в себе до трети кристаллизационной воды. На лабораторных занятиях ты сам, небось, из подобных земных минералов, разлагая их, получал воду. Значит, все дело в масштабах. Завезем на Луну оборудование; солнечней энергии там сколько угодно, не хватит — дополним атомной. И кто нам помешает, если будет нужно наполнить водой какое-нибудь море Спокойствия? Из воды же простейшим электрохимическим путем несложно выделить кислород. Найдутся на Луне, конечно, и нейтральные газы: не азот, так гелий, не гелий, так ксенон. Вулканические извержения там ведь бывают? Бывают. Ну, а где вулканы, там и газ. Думаю, если не твой сын, то уж внук, вероятно, будет сидеть в тени деревьев и ловить рыбу удочкой в реке, впадающей в Море Снов.



— Прости, что перебью, — протянул руку юноша с бородкой. — Вы слышали о проекте нашего советского ученого Игоря Михайловича Забелина?

Все с недоумением уставились на юношу.

— Так вот. Забелин выдвинул проект переделки венерианской атмосферы. И что знаменательно, после него, но независимо от него, подобные проекты выдвинули и зарубежные ученые. Значит, идея носится в воздухе. Вы хотите спросить, что же это за проекты? Сейчас отвечу. В атмосфере «утренней звезды» много углекислого газа, мало водяных паров, еще меньше кислорода. Чтобы люди могли осваивать Венеру без скафандров, надо каким—то способом снизить содержание углекислого газа и увеличить количество кислорода и водяного пара. Что предлагают ученые? Весьма возможно, что некоторые земные водоросли могли бы существовать в верхних, более плотных, чем на Земле, слоях венерианской атмосферы. Не встречая конкуренции в безжизненном воздухе, рассеянные с Земли водоросли могут расти, размножаться и вырабатывать кислород с невероятной быстротой, поглощая углекислый газ и водяные пары. Что водоросли способны сделать это, показывает опыт Земли.

— Земли?!

— Да-да, Земли. Миллиарды лет назад наша планета не была похожа на теперешнюю. В воздухе почти не было кислорода и азота, зато преобладали углекислый газ, аммиак, метан и прочие более или менее ядовитые вещества. Преобразовали земную атмосферу водоросли, способные жить в бескислородной атмосфере. Именно они благодаря фотосинтезу напоили воздух кислородом. На это ушли сотни миллионов лет. На Венере в наших силах ускорить, погнать вскачь эту эволюцию. Расчеты, конечно, очень примерные, говорят, что на изменение тамошней атмосферы потребуются считанные годы.

— А если на Венере есть жизнь? Она погибнет тогда!

— Коль скоро там жизнь, тогда... тогда проект отпадает сам собой. Но скорей всего там одни раскаленные камни. Радиолокацией Венеры, как вы знаете, установлено, что на ее поверхности царит трехсотградусная жара. Кстати, переделав атмосферу Венеры, мы сильно понизим и температуру. Ведь углекислого газа станет меньше, а он плохо пропускает тепло и действует поэтому, как парниковая крыша. Ну что, назовем третью ветвь нашей науки преобразовательной планетологией?

...Трещали сучья костра. Огненные языки лизали звездное небо, будто вглядывались в лица ребят. Много разговоров слышал костер за свою жизнь. Тысячи лет назад, сидя у его светлых берегов, люди спорили, стоит ли делать топоры из бронзы. Шли века... В обществе костра коротали непогоду искатели полюса и первые авиаторы. Первые слова нового века — слова о земле, воле, мире, грядущей светлом царстве коммунизма — тоже слышал он холодной осенью 1917 года на Дворцовой площади Петрограда.

— А все же, если вдуматься, — прошептала девушка, неотрывно глядя на синие огоньки, бегущие по рдеющим углям, — все то, к чему мы протягиваем руки, заучит как невероятная фантастика, как сказка, как сон, в котором человеку все под силу...

— Не в этом фантастика, — отозвался парень с бородкой. — Какой тут сон, если все, о чем мы говорили, уже обдумывается, рассчитывается, выверяется. Фантастично другое. Каждому из нас немногим больше двадцати лет. Значит... значит, многое из того, о чем мы говорили, нам же предстоит и осуществлять. Удивительная нас ждет жизнь!

НА ИЗГИБЕ ПРОСТРАНСТВА

(НАД СОЛНЦЕМ)

ПИСЬМО ПЕРВОЕ, ОНО БЫЛО ПОЛУЧЕНО

Радист долго жаловался на магнитные бури, загруженность эфира, но я убедил его дать несколько минут для разговора с тобой. Для этого мне пришлось битый час рассказывать ему о московских новостях.

Все в порядке, мы на Меркурии. Самое непривычное здесь знаешь что? Солнце!

Оно грандиозно. Оно заставляет светиться сам воздух. Его испепеляющую силу чувствуешь даже сквозь светофильтры кругового обзора меркурианской станции.

Нигде нет отдыха глазу. Меркурий — слепящая белая равнина с близким и крутым горизонтом, падающим к Солнцу. Вдаль уходят правильные ряды игольчатых кристаллов. Остриями они тоже повернуты к Солнцу. Оно здесь центр всего. Свет хлещет по камням, оттого породы сделались прозрачными и вытянулись к небу зеркальными сосульками. Это самозащита. Вещество стремится отразить излишек энергии или же утопить его в своей стеклянной глубине. Космический очаг слишком жарок даже для камней.

Каково же тут людям?!

Час назад мы сидели у кругового обзора и совещались об отлете. Пластиковый купол пропускал менее десятой доли льющегося на Меркурий света. Но и этот ослабленный свет необычен. Волосы у всех нас пепельные, почти седые. Коричневая кожа лиц цветом напоминает засохшую глину. Глаза... в них нет зрачков!

Алунитов (начальник здешней станции) перехватил тогда мой взгляд. Он поднялся со стула, отчего костлявое тело его распрямилось с грацией раскрываемого перочинного ножа, и сказал:

— Здесь вам, — он дружески похлопал меня по плечу, — не Марс и не Венера, тем более не Земля. Рядом — Солнце. Не все его действия поддаются математической оценке. Здесь порой творится такое... Да смотрите сами.

Я оглянулся. Каменный лес качался, то исчезая в ртутном тумане, то возникая вновь. Иглы кристаллов как бы сминались под невидимым ветром и вдруг повисали в воздухе. Горизонт полз и горбился, точно гусеница.

Антонов, наш астрофизик, схватился за диктофон.

— Это... Ведь это искривление пространства!

Алунитов засмеялся.

— Эхо! Всего лишь эхо! Шуточки с пространством Солнце проделывает близ своей поверхности. Меркурия достигает слабая рябь. Но это-то чепуха. Все давно рассчитано и понято. Не забывайте о другом, капитан...

Он строго посмотрел на меня.

— ...Я знаю, вы не новичок. Ваша посадка на Сатурн — есть чему позавидовать. Но вы никогда не летали над Солнцем. Тут совсем особое дело. Солнце, его излучение, я не знаю, что, и никто не знает, действует на человека сквозь все обшивки, защитные поля и так далее. Человеку трудно выдержать соседство с Солнцем.

— Оставьте, Алунитов! — прервал его Сбоев. — Будто мы все ничего не знаем о "солнечной болезни". Знаем, что, кроме воли, от нее нет других лекарств. Ну и что? Мы знаем другое, и в этом мы расходимся с авторами космических романов. "Ах, невероятные трудности космоса! Ах, сверхчеловеческое мужество!" — восклицают они. А высший предел выносливости, силы, стойкости давно достигнут человеком на Земле. Нет в этом отношении никакой разницы между штурмом Джомолунгмы и путешествием сквозь джунгли Венеры. В обоих случаях нужна равная мера сил. У человечества была хорошая школа мужества на Земле, и космос здесь ничего не прибавил. Так-то!

— Насчет физических трудностей вы правы, — не сразу ответил Алунитов. Что же касается психики, то Солнце вас

переубедит. Вероятно... Не будем спорить. Лучше скажите, куда вы девали котенка, которого обещали привезти нам?

Антонов вышел и вернулся минут через пять с пушистым комочком в ладонях. Алунитов необычайно оживился. Он захлопотал, заторопился, достал откуда-то плошку с порошковым молоком. Нет, на это стоило посмотреть! Розовой лопаточкой язычка котенок жадно ловил капли молока. Над ним со счастливой улыбкой склонился Алунитов, кто—то еще из сотрудников станции. А раскаленный мир за куполом колыхался тем временем, как мираж... Я понял, почему обитатели станции молили нас о котенке: в их меркурианских буднях так не хватает земного!

Что—то нас ждет? Мы стучимся в дверь великолепного и неисследованного мира. Алунитов почему—то упорно хочет подчеркнуть риск полета именно к Солнцу. В свое время ему предлагали участвовать в экспедиции (вместо меня) — он отказался. Он не трус: лет десять назад он первым пробился сквозь облачные бури Венеры. Но когда Алунитов смотрит на Солнце, я читаю в его глазах смирение. Может быть, так на него подействовало длительное созерцание меркурианских равнин? Кто знает...

На Солнце очередная вспышка, связь нарушается. И не ревнуй меня к экспедиции, как это ты делала дома. Я же люблю тебя...

ПИСЬМО ВТОРОЕ, ЗАТЕРЯВШЕЕСЯ В КОСМОСЕ

Вика, здравствуй!

Меркурий уже далеко. Летим к Солнцу, чтобы у верхней границы хромосферы лечь в орбитальный полет. После невероятных пейзажей покинутой планеты ощущение такое, будто каюты корабля — с детства привычный дом.

Нейтринная обшивка глушит шум мощных двигателей. Они тихонько шелестят за стенкой, словно мокрые деревья на ветру.

Теперь я совсем-совсем далек от тебя.

Но у себя в каюте я беру твою фотографию, поворачиваю пластинку под углом к свету, чтобы создался объем, и беседую с тобой — живой, телесной, близкой. Ты стоишь на столе, упираясь ногами в рамку снимка, — загорелая, озорная, в тонком купальнике. Капли соленой морской воды дрожат на твоих плечах и груди. Твои синие глаза щурятся лукаво и ласково.

Сегодня я снова вижу в них недоумение и вопрос: зачем?

В самом деле, зачем? У меня на Земле было все. Все, что нужно для счастья. Друзья на всех континентах, работа, которую я любил. И ты... И нам с тобой принадлежал огромный благодатный мир — березовые перелески Владимирщины, ласковый песок гавайских пляжей, музеи Италии, хрустящий под лыжами снег Антарктиды...

А я ушел туда, где нелегко, где всякое может случиться.

Все очень просто, хотя и очень сложно. Наш полет — следствие того великого закона, что для людей есть только два пути; путь вперед и путь назад.

Наши прадеды испытывали на себе новые вакцины. Под красными знаменами шли навстречу пулям. Даже коченея, не сворачивали с пути к полюсу. Мы поступаем так же, как поступали они. Хоть и обладаем всем, что было для них мечтой.

...Меня зовут, до свидания, любимая. В трех миллионах километров от Солнца мне как-то ясней, чем обычно, видится, как должен жить человек. А также и то, почему в нашем "земном раю" нет лазурных счастливчиков, кругом довольных собою и своей жизнью. И почему любое трудное дело тотчас вербует миллионы добровольцев.

Ты не подумай, что я оправдываюсь. Просто при прощании мне показалось, что я вижу в твоих глазах этот невысказанный вопрос: "зачем?" Он тревожит меня, ведь мы должны понимать друг друга до конца. Но я уверен: в душе ты сама великолепно понимаешь: покой — не для нас. Может быть, счастье — в этом.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ, НЕОТПРАВЛЕННОЕ

Я опять возле тебя, моя единственная. Связи нет и долго теперь не будет, но все равно я вынимаю записывающий кристалл и говорю тебе, что мы... что все идет успешно.

Настолько успешно, что штурман недоволен. Сейчас посвящу тебя в сложности взаимоотношений Сбоева с "его электронным величеством".

Представь себе комнату в виде сферического многогранника, стены которой выложены пластинками полупроводниковой пластмассы. Пластинки похожи на соты. В крошечных ячейках тлеют разноцветные искры. Вверху — купол цвета топленого молока, кое-где экраны. Это и есть "мозг" ракеты.

Дежурный сидит внутри него. То, как "мозг думает", мы не видим. Свои выводы он докладывает нам в форме кривых, мелькающих на экранах. Все очень" просто, никакой кабалистики, и все очень сложно.

"Мозг" с непостижимой для человека быстротой и точностью управляет бегом астроплана сквозь электромагнитные и гравитационные вихри, рождаемые звездой; регулирует напряжение энергии; ведет сбор научной информации; обеспечивает круговорот воды, воздуха и пищи; повелевает еще тысячами других дел.

Наши дежурства у пульта, если разобраться, занятие крайне однообразное. Корабль автоматизирован так, как не был автоматизирован еще ни один планетолет.

Конструкторы на Земле проявили чудеса изобретательности. Траектория полета, скорость, моменты ускорений, торможение — все тщательно выверено еще на Земле, сообщено "мозгу", и он пунктуально выполняет приказ, сообразуясь с внешними условиями. Корабль катится словно по бархатным рельсам. Мы ждем толчков на ухабах, а ухабов нет, а хотя мы знаем, что они должны быть, и как мы ни доверяем автоматам, на незнакомой дороге приятней чувствовать руль в своих руках.

Впрочем, я напрасно говорю "мы, мы". Ухабы ради ухабов, что может быть глупее? Раньше в путешествиях меня больше всего интересовали приключения, теперь — то новое, что встречается по дороге. Ты, надеюсь, простишь меня, если я не привезу рассказа о головокружительных ситуациях. В то, что их совсем не будет, мне, однако, что-то не совсем верится...

Иного мнения об "электронном мозге" Валя Сбоев. Он штурман. Он должен вести корабль. А здесь он... безработный. По—человечески можно понять его досаду. Он ветеран космоса, ему приходилось летать на старых кораблях, где машина помогала штурману, а не подменяла его. Свыкнуться с новым положением Сбоеву нелегко.

Вчера я дежурил с ним. Экран гравилокатора был, как всегда, включен. Вогнутый диск звезды занимает уже две трети неба. Даже на экране Солнце гневно и грозно. Кипит голубовато-красная материя. Она похожа на пену. Пузыри часто лопаются, брызжут огненными фонтанами. Раскаленные струи газов за несколько минут вырастают в гигантские грибы. Точь-в-точь мухоморы, только длина ножки такого "гриба" — несколько радиусов Земли.

Это впереди. Сзади, на фоне жемчужно-серого сияния, сплетаются розовые лапы протуберанцев. Будто ткут для нас паутину.

Какой разительный контраст со спокойствием приборов!

Не прошло и пятнадцати минут нашего дежурства, как Сбоев, внимательно следивший за курсографом, обнаружил, что корабль слегка отклонился от расчетной орбиты. И тут многоопытный Сбоев допустил ошибку, за каковую был немедленно наказан. Привыкнув, что обязанностью электронных машин старой конструкции было наблюдение за точным выполнением программы полета, он решил, что внешние условия исказили показания датчиков, и обрадовался случаю исправить ошибку автоматов. Быстро рассчитав поправку, штурман ввел ее в приемное устройство. "Мозг"

промигал Сбоеву неожиданный ответ: "Ваше приказание не будет выполнено".

Сбоев — человек выдержанный. Но кровь вольных казацких предков тоже кое-что значит. В эту минуту мне показалось, что он был готов запустить стулом в одно из полушарий "мозга".

Спустя секунду недоразумение, конечно, рассеялось. Штурман вспомнил, что наш "мозг" может объяснять свои поступки, и потребовал ответа. "Спереди по курсу опасные магнитные бури, иду в обход", — заявил "мозг".

Тогда штурман сел за пульт и стал что-то считать на табуляторе. Спустя некоторое время он бросил это занятие, вздохнув, пододвинул к себе стопку пластиковой бумаги и стал... писать... Да, да! Он не диктовал, а именно писал. Ручкой. Как обычно писали лет сто назад и как теперь уже почти никогда не пишут. Сердито черкал, комкая написанное.

Клочок бумаги слетел к моим ногам. Я поднял. Это были... стихи. О шепоте листьев, о соловьях...

За все дежурство Сбоев всего раз взглянул на экран. Поморщился и сказал:

— У нас на Дону девчата до сих пор зовут любимых: "Красное мое солнышко".

И неожиданно добавил: "Стареем..."

Это пока единственное происшествие, но оно меня обеспокоило, Дело в том, что Алунитов кое в чем прав. Космос предъявляет к человеку новые требования, в основном чисто психологического порядка. Вот "солнечная болезнь"... Случай со Сбоевым — ее рук дело. Если отбросить мудреные термины, то вот что на сей счет говорит наука. Человек привык к земному Солнцу, к его ласковому теплу и к его экваториальному жару. Свет Солнца неотъемлемая часть нашей жизни. Но возле самого Солнца свет совсем другое! Все разно что погладить ребенка в миллион раз сильнее, чем нужно... Так и здесь, свет приобретает яростную, ни с чем не сравнимую мощь. И, что самое главное, он как—то действует на нервы сквозь все фильтры. Так, вероятно, действуют

обнаженные провода высокого напряжения, пока к ним не привыкнешь. Даже если они находятся за стеклянным экраном, все равно трудно быть спокойным. Никто еще не знает, как передается на нас, детей тенистой Земли, влияние солнечного света. Но оно передается, это факт. Пока все в порядке, но как отзовутся нервы моих спутников на опасность? Не сдадут ли?

Вот почему мне пришлось крупно поговорить со Сбоевым. Кажется, он взял себя в руки.

И все же "солнечная болезнь" может доставить нам...

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ, ТОЖЕ НЕОТПРАВЛЕННОЕ

Меня, Вика, прервало чрезвычайное обстоятельство: "мозг" на минуту потерял курс. За направлением он следит по звездам и по силовым линиям поля тяготения Солнца. Внезапно на Солнце произошел взрыв. Все закружилось в фиолетовой мгле. Видимо, исказилось и поле тяготения. "Мозг" — умница: он продолжал вести корабль, никак не пытаясь исправить траекторию. А потом ориентировка восстановилась. И все же это тревожный сигнал.

Я собрал экипаж. Предстояло решать судьбу экспедиции. Мы были готовы ко всему. При создании средств защиты учитывался весь опыт космонавтики. Конструкторы обезопасили корабль и от метеоритов, и от нагрева солнечных лучей, и от магнитных бурь, и от скачков силы тяготения. Но потеря ориентировки была кратковременной. Приборы не записали достаточно данных, чтобы инженеры смогли бы разобраться и надежно перестроить систему ориентации. А без этих данных никто уже больше к Солнцу не полетит: слишком опасно лезть в неведомое, потерять ориентировку и свалиться на звезду. И вот ведь в чем трагедия: даже если полетят — раз будет благополучно, два, десять, а на одиннадцатом корабль может погибнуть.

Вот мы и решали, что нам делать.

Повернуть — и все опасности позади. Повернуть — и полеты над Солнцем надолго станут недостижимой мечтой.

Повернуть — и наука замедлит свое развитие. И еще долго мы не будем знать, как же именно Солнце искривляет пространство.

А оно искривляет. Возле него близкое становится далеким, и наоборот. Непонятный нам покуда взрыв тайных свойств материи! Тяготение строит здесь мгновенные вакуумные тоннели, они соединяют точки пространства подобно тому, как твое дуновение заставляет сомкнуться листы бумаги, если держать их близко и дуть меж ними. Нет, конечно, не совсем так, даже совсем не так... Но ты представь: не ползти с околосветовой скоростью годами от звезды до звезды, а мощным ударом проломить пространство и сразу выйти на простор — какова перспектива? Этому надо учиться у Солнца, долго, смиренно, дерзко, рискуя всем. Ведь оно умеет перестраивать пространство, умеет, а мы нет. И приходится принимать его условия игры.

Так что же, повернуть и отказаться от мысли выведать у природы одну из важнейших ее тайн?

Минуты бегут, мы спорим, каждый надеется, что слова "повернем" или "полетим дальше" скажет не он. И все посматривают на меня: мол, ты капитан, ты и решай.

— Значит, возвращаемся? — спрашиваю.

Никто не говорит "да". Простого, короткого "да".

Никто не сказал: "Повернем". И мы летим дальше.

И — представь себе! — все повеселели. Даже врач шутит. А Сбоев стал показывать теневой театр. На гранях "мозга" в ярком отсвете солнца скачут, кувыркаются уморительные зайчата.

ПИСЬМО ПЯТОЕ, МОЖЕТ БЫТЬ, ПОСЛЕДНЕЕ

Похоже, Вика, это последний наш разговор. Солнце поймало нас. Ракета вдруг очутилась в участке искаженного пространства. Приборы захлебнулись от обилия новых сведений. Ни нам, ни "мозгу" теперь не определить, где же находится масса Солнца: вверху, внизу, слева, справа? Все смешалось, мы летим вслепую. Стоит астроплану снизиться

на сотню-другую тысяч километров ниже расчетного потолка — в наших условиях дело десятка минут, — и мощности двигателя не хватит остановить падение.

Локаторы вышли из строя. Мы включили купол визуального обзора. Какая невероятная картина!

Пылающая мохнатая сфера, подернутая багровыми пеленами вокруг. Медленно ползущие белые пятна, отороченные волосками синего огня. Пламенный хаос и ад. Как завороженный, я делаю шаг к прозрачной стенке. Что со мной? Тело легче пылинки, в висках стучит кровь. Кажется, что сейчас упадешь в огонь.

— Гасите!

Это кричат мне. В глазах людей страх.

Какая сила у света! Прыгаю к панели управления. Моя прозрачная тень мелькает на потолке. Щелчок — и темнота, в которой робко набирают яркость лампочки.

Ощущение, как после сильного удара о землю. А ведь мы только смотрели. Смотрели сквозь фильтры на Солнце.

Хватит! Надо что—то предпринять: в таком состоянии мы не сможем найти выхода. У всех такое же самочувствие, как и у меня, если не хуже.

— А ну! — кричу и не узнаю собственного голоса. — Приказываю всем: голову вверх! Слышите: вверх! Для нас нет ничего невозможного, слышите! Включаю обзор. Всем смотреть, думать и искать выход!

И я опять включаю Солнце. Мы заглядываем в его недра. Оно сильно, но мы все же сильней. Это я вижу по лицам. В них ни кровинки, но мы кладем друг другу руки на плечи, и нам становится легче. Кто сказал, что смотреть в Солнце страшно? Да, страшно, но можно.

— Достаточно, — говорю. — Есть выход. Дайте программу приборам: пусть ищут закономерности в прыжках силовых линий поля. Она должна быть. Найдем ее и дадим "мозгу" команду.

Приборы ведут битву без нас. Нет, неправда. Это наш приказ оживил зеленые волны электронных лучей, которые

скрещиваются на экранах, как сабли воинов. Кто кого осилит: мы ли природу, она ли нас?

"Есть упоение в бою и в бездне мрачной на краю..." Поэту и не грезился, конечно, полет к звездам, черкесский резвый конь никак не походил на фотонную ракету. Но я жму твою руку, поэт, так что с хрустом ломается зажатое в твоих пальцах гусиное перо: ты писал о восторге борьбы, ты писал о нас!

Я верю, что привезу тебе и это письмо.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ, НА ЭТОТ РАЗ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОСЛЕДНЕЕ

"В начале всего был хаос, — говорят мифы, — из хаоса произошли и земля, и небо".

Была крупица истины в этих наивных мифах. Хаос, огненный хаос, где ни одна сила не дремлет, а все сплетены в клубок борений, — вот изначало материи. Из него произошло все: горы, растения, планеты, мы сами. И мы победили своего праотца.

Как? Мой рассказ, Вика, будет очень несвязным. Почему, суди сама.

Со стороны это выглядело так. Капитан (то есть я) стоял и смотрел на Солнце. Мы знали уже, что приборы не могут нам помочь: они не в состоянии разобраться. И внезапно капитан задал "мозгу" курс. Ускорение вдавило нас в кресла. Потом — нечто вроде обморока. Честно. Помню лишь, что я изо всех сил упирался ногами в пол, точно лишь усилий человека не хватало двигателям, чтобы вырвать корабль из объятий Солнца.

И в огненной пелене вдруг мелькнула чернота. Чернота космического неба, прохладная, спасительная.

Вот и все. Мало? Но для меня в эти минуты разверзлись вселенные. Такие, что любой рассказ о них будет ложью.

А внешне... Да, говорят, что внешне так оно и выглядело: очень неэффектно, просто и... необъяснимо. В старину такое пышно именовалось "чудесным избавлением". А что же

было не внешне? Пытаюсь вспомнить и не могу. Почему я задал кораблю именно тот, единственно верный курс? Совсем откровенно: не знаю.

Нас учили верить автоматам и его командиру — "электронному мозгу". Правильно учили. "Мозг" соображает быстрее человека. Но чему было верить тогда? Я поверил своей интуиции, поверил в те тайные возможности человека, к которым в обычной обстановке мы склонны относиться с иронией и сомнением. А поверив, отдал команду. Дальнейшее ты знаешь. В ту минуту я не рассуждал и не колебался, я доверился себе, ибо другого выхода не было, хуже быть не могло.

Все же и это полуправда. Это я уже придумал потом. Знаешь, что странно? Что инстинкт сработал над Солнцем. Там, где все непривычно, дико и чудовищно. Где нет ничего знакомого. Если инстинкт, это мгновенно реализованный опыт бессчетных поколений предков, то при чем здесь он? Не могли же наши предки летать над Солнцем... Кажется, пытаясь найти одно, мы попутно нашли другое. Пытаясь вырвать тайну грозных сил Солнца, мы ощутили на себе веяние сил более мощных, веяние неизвестных сил человеческого разума. Говорю это без рисовки. Вот я сижу в кресле, обыкновенный, не очень талантливый человек, и вспоминаю, как я только что был... кем? Гением? Не то... Я честно не подозревал в себе ничего такого. И теперь я не только не могу повторить эту минуту озарения, но даже понять, откуда что пришло. Пришло и ушло, оставив меня прежним. А почему прежним? Я всегда хочу быть таким, как в тот момент! И каждый, думаю, захочет, ведь это скорей всего в каждом... Но где искать, в безднах какого Солнца ключ к этой вот тайне? Не знаю, не знаю...

Сбоев сказал об этом проще:

— Спасибо, капитан, что вы доверились себе и пошли на риск. Люди только тогда и побеждали, когда они верили себе, а не чужому дяде. Потому вера и движет горами.

Кажется, Сбоев не в силах забыть, как его посрамила машина. Не знал, что он злопамятен.

Меня хотели качать, я отбился. А потом мы прощались с Солнцем и грозили ему пальцем. Теперь мы знаем многие его каверзы, и второй раз ему труднее будет застигнуть нас врасплох.

Мы летим домой. Пройдет несколько дней, и причалы Меркурия примут наш корабль. В детстве домом для меня была улица, где я родился, сад, куда меня водили гулять. Домом потом стала вся Земля. Теперь и Меркурий для меня тоже дом. От него рукой подать до Родины. Какие-то сотни миллионов километров знакомого и безопасного пути. Вероятно, наш с тобой. Вика, сын, возвращаясь откуда-нибудь с Магелланового облака и влетая в нашу Галактику, тоже скажет:

— Ну, вот я и дома!

Стоит ради этого рисковать, правда, Вика?

Гравилет вдруг резко пошёл навстречу собственной тени. Толчок, треск чахлых кустов под колёсами напомнили Шихматову аккорды «Звездной сонаты», то место, когда вспоротый галактическими метеоритами гибнет корабль...

— Ну, что? — спросил он, когда лётчик повернулся к нему.

— Первый случай в практике, — развёл тот руками. — Лопнула обкладка, и жидкий гелий испарился. Расскажешь — не поверят.

— Свяжись с городом.

— Невозможно. Аккумуляторы разрядились полностью.

Зелёные глаза пилота смотрели на Шихматова виновато. Рука, измазанная маслом, теребила светлые, растрёпанные ветром волосы. Они потемнели, склеились, и ветер сбросил на худое лицо прядь, похожую на сосульку.

— Ждать, пока разыщут, или пешком идти к Преобразователям? Их лагерь километрах в тридцати.

— Пешком! Конечно, пешком.

Шихматов вылез из кабины. Горизонт очерчивал ровный круг, лишь с востока тронутый гуманной зыбью холмов. Опалённая солнцем земля казалась островом, летящим в бескрайнюю голубизну знойного неба.

Они остались наедине с нетронутой природой. Она вызывала сложные полузабытые чувства прикосновения к чему—то большому, странно волнующему, почти нереальному после долгих лет пребывания среди дрессированной природы окультуренных лесов, прочёсанных химией лугов, рек и гор.

— Я почему-то думал, что пустынь больше не осталось.

— Одна из последних. А может быть, последняя. Ненадолго. Преобразователи уже здесь.

— Жалко. Следовало бы оставить её заповедной. Это тоже не оставят?

Певец кивнул в сторону. Там, извиваясь среди засохших колючек, полз щитомордик.

— Случайно уцелел. Ты же знаешь, сорок лет назад на планете уничтожили всех ядовитых змей. Заодно с волками, комарами, москитами... Костюм хорошо работает?

— Отлично.

В костюме, точно, было нежарко. Полупроводниковая ткань, преобразовывая тепло в холод или наоборот, в зависимости от погоды, всегда создавала телу приятную прохладу. Обжигающее дыхание горячего ветра ощущали только лицо и руки.

Шихматов пытался представить себя без спасительного костюма, обливающегося потом, и не мог.

«А когда-то люди работали на жаре в обыкновенных рубашках», — подумал он.

Солнце, раскалённый ленивый шар, медленно скатывалось к горизонту. Путники устали, но до цепи невысоких гор, за хребтом которых был лагерь Преобразователей, осталось совсем немного. Гранитные, похожие на истёршиеся зубы, утёсы будто впитали кровь заката и пламенели. Синие тени лежали на шершавых склонах глубокими морщинами древности. Каждый шаг словно удалял обоих из настоящего в дальнюю дальность тысячелетий, когда человек стоял против враждебного мира, не имея за плечами даже энергии пара.

— Как ты думаешь, Сергей, наши далёкие предки меньше устали бы, чем мы?

— Вероятно. Они ходили больше нашего.

— Это подтверждает слова моего сына, которые меня беспокоят. «Благоустроенность изнеживает человека. Никто из нас не в силах повторить подвига, скажем, Амундсена».

— Кому сейчас взбредёт мысль на собаках идти к полюсу? Зато Амундсен не мог бы долететь до Веги.

Они сели на выступ. Небо вызвездилось.

Сквозь неподвижные очертания созвездий толчками двигались яркие оранжевые и жёлтые точки —

искусственные спутники. Скалы стояли, точно осыпанные звёздной пылью.

— Колдовство... — заметил Шихматов.

— Да, — согласился Сергей.

Он протянул певцу термос. Глотки пахнущего клубникой напитка бодрящей волной смыли усталость.

— Час добрых фей, лютых волшебников, радостных чудес, — задумчиво промолвил Шихматов. — Это мы утратили. В Элладе такими ночами рождались мифы.

— Кажется, ты снова подумал о детях.

— Верно. Похоже, им становится скучно на Земле. Всех влечёт зов Галактики. Там нет благоустроенности, но есть ради чего ломать шею.

— Скучно? Не то, не то! Прадеды выкорчевали капитализм, деды создали изобилие, отцы рвались в отряды Преобразователей. Помнишь? Первое цветение лип на Южном полюсе, чайки над Сахарским морем, последний комар в стеклянной клетке зоопарка... Сделано почти всё, о чём мечталось. А мальчишки не хотят кибернетических нянек, угадывающих и выполняющих малейшие желания, им осточертели плоды, падающие прямо в руки. Мальчишки остаются мальчишками. Да, они предпочитают ломать шею ради далёких планет, ради извлечения каких—то энергий, творящих звёзды. Не беспокоиться надо, а гордиться молодёжью.

— Может быть, может быть...

Они стали спускаться с гребня. В амфитеатре гор стояла темнота, неподвижная, густая, как вода подземных озёр. Вершины гор, озарённые луной, айсбергами высились над ней.

Склон выровнялся, под каблуками захрустел песок. Внезапно Шихматов схватил пилота за руку:

— Ты слышишь?

Беззвучную ночь наполнило непонятное движение. Зашевелилась земля. Что-то лопалось, дышало. Сергей нажал



кнопку фонаря. Пятно света выхватило невероятную картину.

Из почвы лезли какие-то мясистые отростки. Они тянулись вверх, их стволы то и дело набухали почками, те выбрасывали новые побеги. Буквально через несколько минут путников окружила роща колышущихся змееподобных растений.

— Всё—таки земля не перестаёт удивлять, — проговорил растерянно Шихматов.

— Подозреваю, что это штучки Преобразователей...

— Эй! — послышалось сверху.

Вниз прыгнул слепящий луч. Скоро у истока луча наметилась человеческая фигура. Сергей отвёл фонарь, в ответ раздался щелчок, вдвигаемого поляризационного фильтра. Пилот, досадуя на своё промедление, сделал то же самое.

— Почему вы не дали знать о своём приближении? — накинулся юноша. — Хотя... Шихматов?! Тут так волновались за вас!

— Что мы, маленькие? Скажи лучше: это ваши преобразовательские фокусы?

— А-а... это! — Преобразователь махнул рукой. — Это кактусы с Толимака. Планетка есть такая. Химики нашли в них интересные вещества и. попросили нас засеять кактусами последнюю пустыню. Кактусам нужен безводный климат. Но и тут пришлось с ними повозиться. Никак не хотели привыкать к нашей земле. Видите?

Юноша поднял ладонь. Её испещряли мелкие белые шрамы.

— Следы колючек. Простите, вы не устали?

Певец и летчик посмотрели друг на друга.

— Нет, мы славно прошлись. Побродили в прошлом, подышали будущим. Пустыня настраивает на философский лад.

— Ну, и каким вы увидели будущее?

— Трудно сказать. Всё равно оно окажется не совсем таким, каким представляется издали.

— Но в основных чертах...

— Основные черты наметили, милый, ещё до нас, эдак лет полтораста, назад. Наметили и стали строить.

— Добротная постройка. На мою долю осталась какая-то плюгавая пустынька да кактусы с Толимака.

— Ничего, дела ещё много во Вселенной.

— Нет, у меня другая мысль. Теперь никакая мошка уже не оживёт, и, я думаю, можно позволить лесам дичать. Кончу с кактусами — займусь этим.

Шихматов рассмеялся:

— А мы чуть не отпели Преобразователей.

Стебель кактуса коснулся шихматовской руки. Певец отпрянул, потом с недоумением посмотрел на пальцы:

— Где же колючки? Преобразователь довольно улыбнулся:

— Генетический отбор, и никаких чудес. Теперь кактусы можно гладить, как щёки ребёнка.

— Не поторопиться ли? — вмешался пилот. — Я обязан доставить гостя неутомлённым. Завтра ему выступать не только у вас.

По небу побежала молния. Её огненный след перечеркнул Млечный путь. Видимо, с межпланетной станции ушёл в Галактику рейсовый звездолёт.

— Нет, нет! Я с тобой совершенно не согласен! Со-вершен-но! — Стремительно повернувшись на каблуках, Сергей круто остановился против кресла, в котором сидел высокий худощавый мужчина в белом костюме. Большой орлиный нос на узком лице, хитрый прищур умных серых глаз, неимоверно длинные и худые ноги и руки, которые ему постоянно мешают, — это Петти Крикк, нейропсихолог, прославившийся открытием психодинамическото поля.

Создаваемое нейронами мозга, это поле распространяется в пространстве, не зная преград. Оно проникает сквозь экранированные стенки, сквозь толстые свинцовые плиты, пронизывает глубины океана и толщу земной коры. Физическая сущность его пока ускользает от понимания ученых. Однако в том, что оно существует, уже никто не сомневается...

Весь во власти открытия, Крикк попытался со своих позиций атаковать сложнейшие проблемы современной физики и теперь расплачивался за это. Даже не выслушав до конца, методично разбивал его положения давний друг и оппонент физик Сергей Сомов.

— Диалектика учит нас, что во Вселенной происходят принципиально близкие, но отличающиеся процессы, кото...

— Но позволь!.. — возмущенно воскликнул нейропсихолог, — я же с этим вполне согласен! Я не понимаю, в чем меня обвиняют...

— Не перебивай! Тебе дадут слово.

Заложив руки за спину и задрав гладко выбритый подбородок, Сергей нервно ходил по комнате.

— Есть и другая, не менее важная особенность. Это наличие во Вселенной так называемых узловых переходов.

— Ты хочешь сказать, что Пространство неоднородно в различных областях Вселенной и что каждая область

Пространства соприкасается с соседними областями, отличными по свойствам? Я это знаю.

— Но ты, видимо, не представляешь, что в области этого соприкосновения могут существовать явления, к которым вообще неприменимы наши физико-химические законы и наши представления о материи. Что это terra incognita![1]

«Надолго сцепились» — машинально отметил про себя Космонавт, третий человек в комнате, неподвижно сидевший у окна.

В помещении было светло и прохладно. В окно лились потоки золотистого света. За стеклом, в беспощадном зное полудня, застыли перистые листья пальм. Словно бриллианты, сверкающие в лучах солнца, порхали разноцветные колибры.

Космонавт сидел молча. Он не принимал участия в спорах, вспыхивавших всегда, когда встречались эти двое.

Ровный, чуть слышный рокот моря, синей стеной вставшего за красными скалами, пробуждал воспоминания.

— Чего ты от меня хочешь? — кипятился нейропсихолог. Он утонул в глубоком креоле и сейчас безуспешно пытался подняться. — Я ведь не отрицаю наличия узловых переходов, я не отрицаю возможности каких—либо невероятных, необъяснимых свойств Пространства в этих загадочных областях. Наоборот! Я хону... Пойми, это не утверждение, а только свободное предположение, гипотеза, так сказать!.. Я предполагаю, что сущность психодинамического поля мозга как раз имеет нечто общее с силовыми полями Пространства в областях узловых переходов.

— Ну да, — иронизируя, подхватил Сергей. — Ты, по-видимому, считаешь, что поскольку эти поля пока не поддаются изучению, значит, они идентичны! Это вроде доказательства от противного.

— С тобой невозможно говорить!.. Я, конечно, не физик. Но я представляю эти узлы Пространства.

---

[1] Неизвестная земля.

Он огляделся, схватил со стола соломенную шляпу и быстро нахлобучил на голову.

— Вот смотри! Моя голова — наше Пространство с положительной кривизной. На голове, как видишь, шляпа. Она имеет вогнутость по форме головы, то есть как бы отрицательную кривизну. А граница их соприкосновения — это один из видов узловых переходов. А!?

— Возможно! Но ты должен представить себе узловой переход не только как поверхность. Ведь чужеродные области могут не только соприкасаться между собой, но и пронизывать друг друга, существовать одновременно в одном и том же объеме Пространства, причем нисколько не мешая одно другому. Настолько различны все их физические и химические свойства.

— Я это знаю, — заметил Петти. — Простейший пример я взял для наглядности. Вообще же можно только предполагать, насколько сложны явления, имеющие место в этих переходах Вселенной. Конечно, ты прав, когда говоришь, что земному наблюдателю они покажутся необъяснимыми и даже сверхъестественными.

— Интересно, как ты это представляешь?

— Я не физик, а всего лишь...

— Короче!.. Это я уже слышал...

— Ну, например, небо со звездами наоборот. Там поле тяготения вывернуто наизнанку...

— Как это наизнанку? — изумился Сергей.

— Ну... я не физик, я всего лишь... — замялся Петти. — Возможно, там тела не притягиваются, а отталкиваются...

— Так-так... Ты уже близок к абсурду, Петти. Но... продолжай.

— Почему близок к абсурду? Ты представь, что там все навыворот... Ну, понимаешь, я не физик и не могу объяснить, но я все это отлично представляю.

— Твоя фантазия поистине безгранична...

— Я видел этот мир! — глухо проговорил Космонавт. Сергей вздрогнул.

Космонавт подошел к спорящим. Они знали его как очень уравновешенного, выдержанного человека, не терявшего самообладания в самых критических положениях...

— Я видел, — повторил Космонавт.

В комнате на короткое время воцарилась тяжелая тишина.

— Ты, верно, шутишь? — вымолвил, наконец, подозрительный Петти.

— О, нет!

— Рассказывай! — коротко бросил Сергей, пододвигая кресло Космонавту и усаживаясь сам.

— Это было девять лет назад. С экипажем в пять человек я шел на «Кристалле» к Эпсилон Эридана с грузом продовольствия и оборудования для колонистов, шел по хорошо изученной — заметьте: хорошо изученной! — трассе, к четвертой планете Эпсилон Эридана, к Лоре.

— Я слышал об этой планете! — воскликнул Петти. — О ее чудовищах, полуптицах-полуящерах. Их называют...

— Не все ли равно, как их называют! — перебил Сергей,

— Да, эти сине-желтые дьяволы. Их свирепость равняется их живучести. — Космонавт вздрогнул и раздраженно поморщился. — Представьте их невероятное чутье, их мстительность, скорость, с которой они носятся в непроходимых джунглях Лоры, представьте зловонные испарения болот, отравляющие воздух, и вы поймете, в каких условиях находились наши колонисты. Драконы напали на них. Люди оказались запертыми в подземной сейсмологической станции. Было уничтожено и отравлено все и, главное, склады с продовольствием и водой. Все погибло.

— А как же вы узнали об этом?

— Они успели передать сообщение о нападении. Потом Лора замолчала... И молчание было красноречивее любого «SOS». «Кристалл» пошел на Эпсилон Эридана.

Космонавт внимательно посмотрел на притихших друзей.

— Маршрут был хорошо известен, и я не видел в рейсе ничего такого, что потребовало бы от экипажа особых усилий. Однако на пятнадцатой неделе по независимому времени звездолета произошли события, которые я считал бы сном или бредом, если бы не исчез астробиолог Белое.

— Постой! Это не тот Белов — Аркадий Белов, автор гипотезы о псевдорезонансных явлениях в нейронах? — осведомился Петти. — Я его знал...

— Да! Тот самый... На пятнадцатой неделе полета Эпсилон Эридана, дрожавшая на перекрестье курсового локатора, совершенно неожиданно, сначала тихо, затем все быстрее поплыла вправо. Я видел это собственными глазами. И штурман видел! Это было невероятно, я несколько раз ударил себя кулаком по лбу... Ведь при скорости в ноль восемьдесят пять резкое отклонение от курса хотя бы на полградуса приводит к мгновенной гибели всего живого на звездолете. Да и сам звездолет превращается в облачко электронов,

А тут в течение полуминуты Эпсилон Эридана на моих глазах перешла с центрального экрана на бортовой! Иными словами, звездолет резко изменил направление полета!..

— Невероятно! — вскричал Сомов.

— Да! Невероятно! Но тем не менее я видел это так же ясно, как вижу сейчас вас. — Космонавт остановился перед физиком и нейропсихологом и посмотрел на них спокойным взглядом. — Странно. Верно? С одной стороны, приборы фиксируют поворот, с другой — физическая невозможность поворота. Впрочем, на наших организмах это сказалось. Я почувствовал дурноту, в глазах поплыли радужные круги. Не помню, сколько это длилось. Как я потом узнал, вся команда чувствовала то же. А когда пришел в себя, то увидел...

— Ну? И что же ты увидел? — воскликнул Петти.

— Представьте себе небо Ленинграда в период белых ночей. Белесое, слабо и равномерно освещенное изнутри, но покрытое...—Космонавт остановился посреди комнаты и снова посмотрел на собеседников. — Покрытое черными

точками звезд! Черные звезды! Казалось, все небо было затянуто светящейся тканью, в которой иглой в беспорядке накололи дырок и сквозь них просвечивало Черное Ничто.

— Н-небо навыворот! —заикаясь от волнения, произнес Петти. — Я же говорил...

— Помолчи, Петти! — с досадой сказал Сергей.

— С удовольствием, но ты должен признать, что я удивительно точно...

— Я еще не кончил, — сказал Космонавт. — «Небо навыворот»! Этого мало! Созвездия были совершенно незнакомы, и, только увидев их отраженными в оправе прибора, я понял, что небо не только «навыворот», оно — зеркальное отображение нашего, из которого мы прибыли. После этого мы смогли определиться и поняли, что находимся в той же точке Пространства, только Эпсилон Эридана не светится, а чернеет. Мы перестали удивляться, попытались выбраться из зоны Белого Неба. Однако звездолет вышел из повиновения. Скорость равномерно возрастала и скоро достигла нуля целых девяноста восьми сотых C^2. Мы убеждались, что все более и более отклоняемся от цели.

Космонавт подошел к окну.

— Да! Мы были совершенно уверены, что «Кристалл» уходит от курса по прямой, к нему перпендикулярной. И не могли что-либо предпринять. Ни одному прибору нельзя было верить. Показания менялись быстро и беспорядочно. Мы шли вслепую. И в это время исчез Белов...

Космонавт повернулся и озабоченно потер пальцами виски.

— Я хорошо помню день, когда это произошло. Белов, впервые за весь рейс, пришел в центральный пост. Петти, ты ведь помнишь Белова? Невысокого роста, полный, с густыми черными кудрями на круглой голове. Всегда жизнерадостный, общительный... А тут вдруг серьезный, даже торжественный... Он пришел на центральный пост в

---

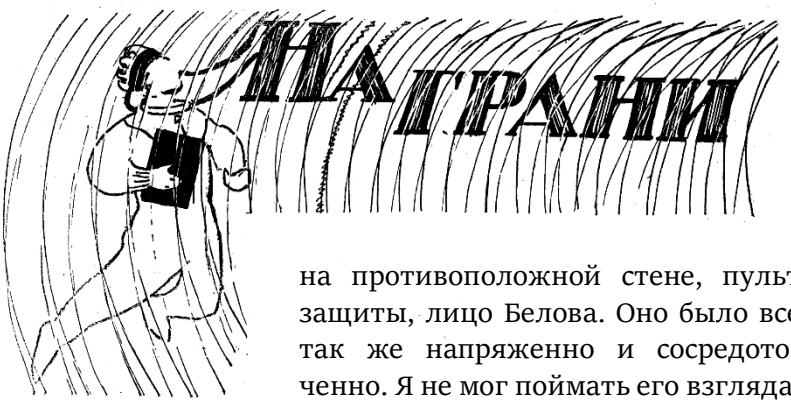
[2] Скорости света.

тропическом шлеме, снял его, и мы увидели, что голова Белова начисто обрита. В левой руке он держал большую тетрадь, а под мышкой какое-то странное приспособление — корону с зубцами, загнутыми внутрь. На каждом зубе чернела мягкая присоска. От блестящего, по-видимому, полого кольца тянулся длинный экранизированный кабель. Белов подключил его к клеммам наружной антенны дальней связи и плотно надел корону на голову. Мы молча следили за этими манипуляциями. Я спросил Белова, что это значит. Он посмотрел на меня и сказал:

— Если со мной что-нибудь случится, капитан, передай это в Институт Физики Пространства. — Он потряс тетрадью, которую так и не выпустил из рук, посмотрел на всех нас по очереди и щелкнул тумблером на маленькой черной коробочке, подвешенной к карману.

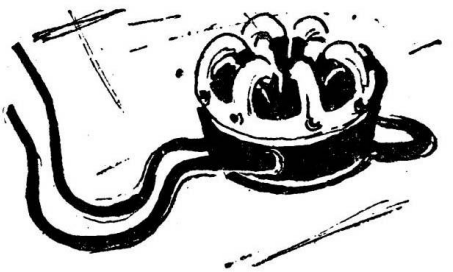
Я глянул ему в лицо и почувствовал, что не могу оторваться от его взгляда... Мне стало жутко, но я был бессилен сделать хотя бы малейшее движение. Зрачки Белова, увеличившись, словно поглотили меня, я вошел в их тьму и вдруг увидел, как на аспидно-черном фоне, стремительно увеличиваясь, протянулись жемчужно-серые нити. Они, плавно колеблясь и перемещаясь, плавали в пространстве. В точках пересечения бесшумно взрывались и завивались в бешеном вращении оранжевые, алые, бело-фиолетовые, голубые спирали. Они были равномерно разбросаны по всему видимому полю: одни ближе, другие дальше — я отчетливо чувствовал перспективу, — и все они вращались в одну сторону. Временами то одна, то другая спираль сжималась в шар, который, быстро уменьшаясь в размерах, испускал жемчужную нить. Она лучом пролетала по черному полю и порождала новые спирали.

Я не чувствовал своего тела, не ощущал ни тепла, ни холода, ни времени, не замечал окружающего. Прошла, кажется, вечность, когда сквозь ослепительно-черный фон постепенно начали проступать смутные пятна. Они прояснились, и я, наконец, понял, что вижу приборы, укрепленные



на противоположной стене, пульт защиты, лицо Белова. Оно было все так же напряженно и сосредоточенно. Я не мог поймать его взгляда, хотя по-прежнему смотрел в глаза. Неожиданно лицо и вся его фигура поплыли, исказились, как будто прозрачная волокнистая дымка прошла, между нами. Тело Белова плавно скользнуло к стене. Лицо его стало смутным. А потом сквозь его тело стали проступать предметы, которые были сзади... Белов словно таял, делаясь все более прозрачным!..

Последнее, что я увидел, было темное пятно тетради, которую он забыл отдать нам. Потом исчезло и это... Я вздрогнул, услышав, как упала, загремев на полу, корона. Я видел все своими глазами. И другие видели, но они не могут подтвердить, они погибли на Лоре. А Белов так и не вернулся... Я слышал ваш спор. Вы говорили об узловых переходах. Может быть, мы оказались в одном из них? Но куда делся Белов? Он словно растворился... Мы тогда записали в журнале: «Погиб при проведении опыта». А потом... Это, может быть, смешно, но мне стало казаться, что все было сном, было не так. Но корона... Ну, скажите, куда он исчез?





— Понимаете, взволнованно ответил нейропсихолог, — как бы вам это объяснить? Я уже говорил... Представьте себе: наше Пространство — это вроде бы моя голова, а шляпа... — он потянулся за шляпой, но Сергей отодвинул ее подальше.

— Послушай, Крикк! — сказал он странным голосом и замолчал, борясь с волнением. — Но ведь это же открытие! Теперь совершенно ясно, что взаимопроникающие пространства — уже не досужий вымысел. Они действительно существуют! Понимаешь, су-ще-ству-ют!

— И граничный переход между ними имеет прямую связь с психодинамическим полем мозга! — Петти смотрел на Сомова восторженными глазами. — Самую прямую! Эксперимент Белова произведет переворот в нейропсихологии. Эффект Белова! Это...

— Подождите, — сказал Космонавт. — Мне грустно. Вы говорите: эффект Белова, переворот в науке, а я бы хотел, чтобы все это мне пригрезилось. Но это было! Было!.. На обратном пути я шел с новым экипажем тем же курсом и в душе надеялся, что Белов вернется. Но «эффект Белова» не повторился.

Космонавт надолго замолчал, потом вздрогнул и спросил:

— А, может быть, он... жив?

Сомов покачал головой.

— Я думаю, что переход в сопутствующее пространство ведет к полной внутримолекулярной перестройке вещества, а может быть, и внутриатомной. Никто не знает, как переносит этот процесс живое существо, но... скорее всего...— Сергей развел руками, — он был уже мертв, когда начал исчезать, делаться прозрачным. А может быть, и еще раньше, когда ты перестал видеть этот чужой мир. — Слово «чужой» Сергей странно выделил.

— Чужой мир? — воскликнул Космонавт. — Значит, ты думаешь, что эти спирали, это и есть?..

— Да, думаю. Белов видел его, и непонятным образом его зрительные ощущения индуцировались в твоем мозгу. А может быть, и не только в твоем? Ты, помнится, говорил, что при эксперименте присутствовали и другие. Они тоже... видели?

— Я не спрашивал... Ты же знаешь. Я говорил, что мы... боялись признаться друг другу в безумии... Глупо, конечно. А потом было поздно.

— Да... Вы, видимо, попали в пояс, где свойства загадочных полей сопутствующего пространства сказывались особенно сильно и Белов воспользовался этим для проверки своей гипотезы. Это поле было настолько мощным, что смогло вызвать резонанс с психодинамическим полем мозга Белова. Резонанс оказался достаточным, чтобы вызвать излучение мозга и действовать на нервные системы окружающих...

— Да, да! По-видимому, так и было!

— Резонанс — страшная штука, — заметил Петти и добавил: — Значит, корона, которую надел Белов, была...

— Да, корона была чем-то вроде связующего звена между двумя мирами... Поэтому-то она и не исчезла вместе с Беловым. «Я покажу вам ее», — тихо сказал Космонавт.

— Белов знал, мог предполагать, что не вернется. Но кто на его месте не поступил бы так же? Он первый подошел вплотную к грандиозной разгадке... Взаимопроникающие

пространства, — задумчиво проговорил физик. — Заманчивая, головокружительная проблема!..

Петти Крикк первым нарушил наступившую тишину.

— Что же было дальше?

— На девятнадцатой неделе, — ответил Космонавт, — мы опять перенесли ощущение дурноты, словно на птерокаре, когда попадешь в воздушную яму. Потом увидели снова черное небо с нормальными звездами. Нормальные созвездия. И Эпсилон Эридана сияла в перекрестье курсового экрана, словно и не сходила оттуда, и уже были видны девять ее планет...— Космонавт помолчал и добавил: — Это было очень странное приключение.

— Вы успели?..

— Да, мы успели! Мы пришли даже раньше, за счет увеличения скорости в зоне перехода. Только не прибыл на Лору астробиолог, которого они ждали.

— Какая жалость, что записи Белова исчезли с ним! Ведь без них дорога, по которой он пошел, для нас сейчас не более чем дорога в никуда.

— Петти, перестань декламировать, — раздраженно сказал Сергей. — «В никуда»! Есть же какой-то выход.

— Какой? — спросил Петти. — Снова лететь на Лору? И надеяться, что опять появятся эти... черные звезды.

— А хотя бы! — вдруг жестко сказал Космонавт.

— Да... Но...— заволновался Крикк. — Это же... нельзя так сразу. И, кроме того, врачи. Я, откровенно говоря, боюсь врачей.

— И я тоже, — улыбнулся Космонавт. — Я их очень боюсь.

Окна смотрели в бесконечность неба, откуда медленно и густо выплывали облака, наполняя зал мягким снежным светом, — рассеянным отражением бело-голубых далей. Там ежеминутно творились облачные города, расплывчатые и мгновенные, как фантазия.

— Следующий! — крикнул доктор Решетов.

Фотоэлементы беззвучно распахнули дверь, и в черном проеме появился юноша, почти мальчик, его бледное от волнения лицо.

— Садитесь! — приказал доктор.

Юноша сел в троноподобное кресло, по сторонам которого свисали серебристые плети контактов.

— Так кем вы хотите стать?

Решетов произнес традиционную фразу так же и тем же тоном добродушного одобрения, каким он произносил ее уже тысячи раз.

Ответом был взмах ресниц, густых темных ресниц, смущенный взгляд синих глаз, трогательный румянец щек, кожу которых еще ничто не успело огрубить. Тонкие пальцы юноши терзали подлокотник.

— Поэтом...

— Отлично! — чересчур шумно обрадовался Решетов. — Вас зовут...

— Сережа... Сережа Югов. Сергей Александрович Югов, — тотчас поправился он.

— Почти Александр Сергеевич Пушкин, — неудачно сострил доктор. Встретив взгляд юноши, осекся. — Пожалуйста, карточку, — угрюмо кивнул он ассистенту.

Тот подошел к высокой мозаичной стене, присел в углу за пульт и набрал комбинацию цифр. Послышалось щелканье реле, потом словно вздох пронесся по стене; открылась узкая щель, и в руки ассистента порхнул желтый листок

негибкой пластмассы, испещренный значками генетического кода, снятого еще в первые дни жизни Югова.

Взгляд юноши наполнился тревогой, потемнел — так темнеет око лесного озера, пугливо спрятанного в чащобе, когда зенит застилает грозовая туча. Решетову захотелось похлопать мальчика по плечу, он ему нравился.

Но доктор сдержался. Взял листок, поднес его ближе к глазам. При этой операции его редко смущал взгляд мальчиков и девочек, усаженных в кресло, — привык. Но не сейчас. Что-то сдуло покров будничности с того, что он делал.

Ассистент в белом халате — вежливое и вполне земное подобие судьбы быстро и аккуратно укрепил контакты на запястьях, шее и затылке Югова. Тот вздрогнул — может быть, от холода металла, может быть, от волнения.

Где-то в недрах стены послышалось гудение. Электронные недра машины переваривали информацию, текущую по контактам из самых глубин человеческого "я". Юноша — он весь сжался — смотрел на стену в упор, с вызовом. Потом отвел взгляд.

Решетов встал спиной, барабаня пальцами о подоконник. Он был уверен, что юноша глядит ему в затылок.

Но на этот раз доктор ошибался. Сергей смотрел мимо него — на облака. На их торжественную, неслышимую поступь, которая всегда вызывала в его душе неясное томление, настойчивое и желанное, схожее со смутным предчувствием счастья, которое ждет его в необозримом и туманном будущем.

Зажглась контрольная лампочка, циклоп за стеной подмигнул красным глазом: послышался мелодичный звон. Решетов, не оборачиваясь, протянул руку, и ему на ладонь лег прохладный глянцевый листок. Он взял его, сравнил со старым.

"В их возрасте каждый третий мечтает быть поэтом, — подумал он. Каждый третий. Но отказ обычно бывает легким".

Но спокойствия эта мысль не принесла. Доктор внезапно почувствовал усталость. Нет, это ему только казалось, что он привык. Слишком велика ответственность, чтобы не беспокоиться о последствиях. Тысячи раз переживать за других — тяжело, тяжело.

Ему захотелось оттянуть мгновение ответа, но он понимал, что этого делать нельзя, что нет хуже неопределенности.

— Вот что, мой друг, — сказал он наконец. — Поэта, к сожалению, из вас не получится.

Он пристально посмотрел на юношу.

— Вот ваша карточка, возьмите. Ваши способности выделены там красным.

Он положил ему на колени холодно поблескивающий листок пластмассы. На юношу глянул узор значков — черных значков и красных значков. Трассирующие пунктиры кода. Пулеметная очередь из будущего.

Ничто не изменилось в лице Сергея Югова. Но оно словно сделалось старше. "Ну вот, — с облегчением и одновременно с безотчетным разочарованием вздохнул доктор, — операция закончена. Сейчас он, как и многие до него, сунет листок в карман. Небрежно, снисходительно глянет на обломки юношеских мечтаний. И уже взрослым человеком встанет с кресла. Чего тут больше — хорошего или плохого?"

Доктор давно уже старался избегать этого вопроса, но он приходил вновь и вновь. Почему? Разве неясно, что определенность лучше неопределенности, знание лучше неведения, а правда — самообмана? Да, ясно. Он и шел на этот эксперимент, воодушевленный благородством задачи, он видел себя рыцарем добра, которому наука дала на испытание копье, могущее сокрушить многие беды... Откуда же сомнения, которых раньше не было?

Доктор нахмурился. Лица. Их не выгонишь из памяти. Тысячи лиц тех, кто садился в это кресло, чтобы на себе испытать целительный удар копья. Очень разные лица. И чем-то становящиеся похожими друг на друга после

традиционных слов "Ваше призвание в...". Иные ребята вначале даже пускают слезу: "Нет, нет, скажите, что вы ошиблись..." Другие выслушивают рекомендацию спокойно. Третьи вежливо говорят "спасибо" и уходят насвистывая. Но соглашаются в конце концов почти все. Пожалуй, слишком легко соглашаются. Не потому ли, что многие в душе мечтают снять с себя бремя ответственности за свою судьбу? А лучшую возможность трудно представить... И они с легким сердцем уходят отсюда навстречу тому призванию, которое открыла для них наука. Призванию, которое сулит наибольшие успехи в жизни для них самих и наибольшую пользу для общества. Полная гармония. Не нужно блуждать в поисках самого себя. Плата же невелика: иллюзии (а может быть, мечты?) детства.

А Югов не видел в эту минуту ни доктора, ни самой комнаты. Он шел среди манящих звуков, тихой капели берез, просквоженных солнцем, мелодии, которые они ему навевали и которые просились наружу, как порыв, как песнь, когда хочется петь. Над головой плыли облака, причудливые, зыбкие, зовущие взгляд за собой — вдаль, в бесконечность. Но уже грохотал железный каток, готовящийся подмять все это. Уже сузились горизонты будущего, в них пролегли рельсы, черные, как строчки генетической карты, и эти рельсы шли мимо, мимо звуков, мелодий и строф.

— Нет, нет! — закричал он, вскакивая с кресла. — Вы ошиблись! Скажите, что вы ошиблись...

Он дрожал, синева глаз померкла. Ассистент кинулся к сифону с водой.

Решетов вскинул голову от удивления. Оно было вызвано не самими словами — он ожидал чего-нибудь подобного, — а тем, как они были сказаны. В них слышалась неподдельная боль.

— Успокойся, мой мальчик, — Решетов ласково взял его за локоть. — У тебя великолепный талант, щедрый, большой. Но не в поэзии, не в искусстве. Посмотри, какой великолепный набор профессий ожидает тебя...

Он ногтем подчеркнул красные значки на листке. Юноша послушно проследил взглядом. Да, великолепные способности, отличные профессии, спору нет.

— Но я не хочу их! — вырвалось у него. — Я хочу своего!

Лицо Решетова сделалось строгим.

— Ты пришел сюда сам. Чтобы узнать правду о себе, не так ли?

— Да, я верю науке! Но себе я тоже верю!

— Я тоже верю науке, мой мальчик. И потому не советую пренебрегать ее рекомендациями. Конечно, никто не неволит тебя. Но вспомни: свобода есть осознанная необходимость. Вот мы и помогаем тебе, другим, а если эксперимент удастся — всем найти себя и свое место в мире. Никто не может быть талантлив во всем, увы, это исключено природой. Но у каждого человека — повторяю, у каждого! — обязательно есть две-три творческие способности к чему-либо выше средних. Каждый талантлив по-своему, понимаешь?

— К чему все это? — тихонько сказал юноша.

— А к тому, что все это было известно давно. Но каким именно талантом обладает тот или иной человек, наверняка сказать никто не мог. И юность вслепую искала свое призвание. Ей помогали учителя, но тоже вслепую! Иногда человек находил свое, а иногда нет — даже при самых благоприятных условиях. И становился неудачником. И не было ему счастья, и он не мог понять почему. Счастливый человек не бывает злым, а такие люди очень часто становились циниками, подлецами, пьяницами и делали несчастными других. То, что мы делаем сейчас, это выстрадано, пойми. Если этот эксперимент кончится хорошо, каждый человек по достижении зрелости будет узнавать от нас, в чем его призвание. И он уже будет застрахован от всех этих мук прошлого — разве это не великолепно? Ты участвуешь в великом опыте, который должен резко увеличить меру счастья людей, отнесись к нему со всей ответственностью.

— Знаю! — юноша отстранился. — Знаю, на что и ради чего шел!

Теперь его глаза были сухи. Он стоял лицом к окну, и в его глазах плыли крохотные отражения облаков, причудливые, как фантазия, яркие, как огоньки. Глаза юноши вмещали в себя небо, всю бесконечность его далей и весь его простор.

— Да, — устало сказал Решетов. Его обволакивающий голос опытного психолога зазвучал глухо. — Да, ты можешь стать поэтом. Ценой неимоверного труда, самовоспитания ты можешь стать... средним поэтом. Хорошим никогда! По крайней мере до тех пор, пока мы не научимся перестраивать аппарат наследственности в соответствии с мечтами и пожеланиями каждого. Но это будет не скоро.

Юноша взял со стола свою карточку. Покрутил ее в руках, потом смял и швырнул в окно. Листок упрямо распрямился, ток воздуха подхватил его и понес в сияющую синеву.

— А все—таки я буду хорошим поэтом! — крикнул юноша, исчезая за дверью.

— Дубликат будет ждать тебя здесь! — прокричал ему вслед Решетов.

И комнату наполнила тишина, бело—голубая тишина неба.

— Иногда мне кажется, что это слишком жестоко — лишать юность уверенности в том, что она может все, — сказал ассистент, не глядя на Решетова.

— Любая операция причиняет боль, — отозвался доктор, в задумчивости расхаживая по комнате. — Но ведь она быстротечна, эта боль. Зато спасительна: она ограждает от худших бед — от разочарования, от неверия в себя. Нет, мы поступаем гуманно, очень гуманно.

— А некоторые все же кричат вот так... Они надеются, что мы ошиблись.

— Ошибка невозможна, ошибка невозможна, — повторил несколько раз доктор.

Но думал он о другом. Не о Югове. Он думал о тех, кто безоглядно доверяет им, настолько доверяет, что уж не терзает себя никакими сомнениями, а берет призвание

готовеньким, невыстраданным и уходит отсюда, насвистывая, самоуверенным шагом, словно по разостланному ковру, навстречу предопределенному будущему. Маршрут указан, и человек, быть может, еще не успев почувствовать любви, уже вступает в брак с профессией. А ведь талант еще не все, ох, далеко не все, мало его найти, надо его и воспитать. Уж не дарим ли мы им вместе с карточкой иллюзию легкости? Иллюзию, что и впредь от них не потребуется усилий, раз бремя ответственности за их судьбу принял на себя кто—то другой.

"Ладно, опыт только начат, будущее покажет", — наконец успокоил себя доктор фразой, которой все сомневающиеся успокаивали себя испокон века.

— Следующий, — крикнул он.

Черный металл, выплавленный в песок. Железная рвань обломков, хаос, гарь. Зеленоватые брызги кристаллических ячеек вокруг. То немногое, что уцелело при ударе и вспышке.

— Пошли, — сказал Огнев. — Все ясно.

Напоследок он обернулся. Даже скалы опалены. Тень катастрофы запечатлелась в граните. И где-то посреди хаоса, уже неотделимая от марсианской почвы, крохотная деталька, небрежно сработанная там, на Земле. Пустяк, мелочь. И нет ракеты, нет сотен тонн долгожданного груза.

Молчаливый спутник Огнева пожал плечами.

— Главное, что там не было человека.

"Разумеется, главное! — хотел воскликнуть Огнев. — Но человек-то там был... Тот, который сработал на авось. Там, на Земле. Человек, лишенный теперь доверия".

Но вслух он этого не сказал. К чему? Они шли по склону, и пейзаж казался им безотрадней, чем всегда. Тусклый песок, угрюмый свет маленького солнца, синюшные вздутия эретриума на камнях. Цвет марсианских растений словно предостерегал о яде, который их пропитывал.

Ветер уныло свистел. Он тоже был ядовит. Можно было сколько угодно трубить о победе над Марсом, о покорении планеты — пустые слова. Люди вынуждены окружать себя земным воздухом, есть земную пищу, бояться булавочного прокола в стене изоляции, отделяющей их от всего марсианского. Они чужаки, они живут здесь благодаря рейсам грузовых ракет — этой ненадежной миллионокилометровой пуповине, протянувшейся через космос. Чужие в чужом мире—к этому трудно привыкнуть.

И меньше всего Топу — овчарке Огнева, которую тот привез "в целях исследования воздействия марсианских условий на животных". Пес, комичный в шлеме, опустив голову, трусил сейчас у ног хозяина. Впрочем, резвость давно

покинула его. Первые дни в его горле клокотал вой. Потом Топ свыкся, притих, но, печально поймав взгляд Огнева, словно вопрошал: "Нам плохо тут, хозяин. Давай уйдем".

Огнева раздражало молчание шагавшего рядом Серегина. "Хоть болтовней бы отвлечься..." Неудача с ракетой, конечно, еще не была катастрофой, Серегина того она почти и не касалась. Что ему, геологу, имеющему дело с камнями? А тут думай, как расширить гидропоническую станцию, чтоб не экономить каждый грамм, ломай голову, как разнообразить блюда из хлореллы, как избавиться от солей в трубах системы очистки. Ведь полиокисловые трубы, на стенках которых вода, извлеченная из атмосферы Марса, не отлагает солей, погибли с ракетой. И запчасти для вездехода тоже. Черт возьми, его "героическая" работа первопроходца чересчур напоминает обязанности домоуправа! Трубы, очистка, ремонт. А он — исследователь, черт возьми! И еще постоянная зависимость от всех этих мелочей. Не менее четверти усилий уходит на поддержание той самой стены изоляции, которая так стесняет жизнь. Иногда ему казалось, и нелегко было отделаться от навязчивой мысли, что крохотные, герметично изолированные комнаты станции — это своего рода тюремные камеры. И скафандры тоже камеры, только движущиеся.

— Что, скоро починим вездеход? — как будто назло спросил Серегин. Надоело пешком топать.

Огневу захотелось выругаться.

Но ответить он не успел. Топ внезапно рванулся — шерсть дыбом, глухое рычание рвалось из-под шлема.

— Топ, что с тобой?

Еще не закончив вопроса, Огнев получил ответ. Из—за скалы на людей выкатился приземистый шмек, видимо пасшийся в зарослях эретриума. Паучьи лапы несли животное бесшумно и быстро, как колеса, и он мгновенно очутился в опасной близости. Роговидные глаза шмека отливали красным.

Ему наперерез бросился Топ. Трубки от баллона прыгали на спине собаки.

— Топ, назад! — заорал Огнев, выхватывая пистолет. Ничего страшного в нападении шмека не было. Даже безоружный человек в скафандре с гидроусилителями мог ударом бронированного кулака обратить шмека в прах. Немножко ловкости и знания повадок, чтобы избежать острых когтей, — вот и все.

Но Топ встретился с такой диковиной впервые. Он не подозревал, что его прыжки только мешают людям. Им владел многовековой инстинкт, воспитанный человеком: на хозяина, нападают, надо отвлечь нападение.

— Назад, Топ, назад! — кричали Серегин и Огнев, опустив пистолеты. Стрелять было невозможно из-за собаки.

Слишком поздно. Шмек был слабым, но необычным противником: его подогнутые внутрь тонкие лапы могли распрямляться с молниеносностью пружины. Прыжок лапа шмека со свистом опустилась на собаку. В следующее мгновение взъяренный Топ грудью ударил противника. Тело шмека развалилось с сухим шорохом.

Серегин подбежал к собаке первым.

— Все кончено, — глухо сказал он.

Лапа шмека, как бритва, полоснула по воротнику шлема, и тот сполз с головы собаки. Топ лежал на боку, по высунутому языку катилась пена.

Огнев тщетно пытался приладить собаке шлем или хотя бы зажать порез. Бесполезно. Топ дышал наружным воздухом. В нем было достаточно кислорода, но окислы азота убивали хоть не мгновенно, но неотвратимо.

Казалось, и Топ понимал это. Он попытался лизнуть руку Огнева. Из его глаз катились слезы, бока судорожно опадали.

— Прекрати... — отвернулся Серегин. Огнев поднял пистолет. Глаза собаки взглянули на него с укором и тоской. Пистолет заходил в руке.

— Не могу, — глухо сказал Огнев.

— И я тоже, — тихонько ответил Серегин. — Но так будет лучше.

Он прицелился.

Вой прокатился над скалами, эхо умножило его, вознесло к фиолетовому льдистому небу, В этом вое будто прорвалось давно сдерживаемое отчаяние пса, вся его ненависть к холодным красным равнинам Марса, чужому солнцу, негреющему свету. И словно ненависть придала ему силы, он вскочил, бешено закрутился. Но в конвульсивных движениях все же была какая—то определенность. Топ словно искал что-то среди камней и песка. Брюхо и задние ноги волочились, но он упрямо полз к ему одному известной цели.

Огнев попытался сглотнуть комок в горле. Пес грудью упал на бугорчатый вырост марсианского растения, рвал губчатую, склизкую массу...

Серегин спрятал пистолет.

— Инстинкт. Сейчас он — обезумевшее животное, которое помнит, что от смерти иногда спасают травы.

— Здесь нет трав...

— Инстинкт этого не знает. Он повелевает — ищи... Земля, Марс... Страх смерти стирает разницу, отчаяние приемлет обман. Что ж, по крайней мере, он нашел быстрое избавление от мучений.

Огнев отвернулся, чтобы не видеть конца. Но когда он снова обернулся. Топ еще жил. Огнев заставил себя наклониться. В неподвижных глазах пса черной волной вставала смерть. Взгляд остекленел, он шел оттуда, откуда уже не ждут ответа. Огнев невольно тронул свой шлем движением, каким на Земле в таких случаях обнажают голову.

— Морские свинки погибли от яда эретриума через тридцать секунд, — сказал Серегин, — собака держится дольше.

Педантизм Серегина даже не возмутил Огнева. "Прости меня, Топ. Мы по доброй воле пришли сюда, где даже жизнь поражает смертью. Ибо знали зачем. Тебе же Марс не был нужен, тебе было трудней. Прости".

И он, уже не колеблясь, навел пистолет.

— Подожди, — остановил его Серегин. — Опыт надо довести до конца.

— Это жестоко.

— Это необходимо. Ради науки. А он... он все равно ничего не чувствует.

Глаза Топа закрылись. Только легкая дрожь еще выдавала жизнь.

— Нет, это жестоко, слишком жестоко!

Крик хозяина как будто разбудил Топа. По мышцам ног прошли сокращения, глаза открылись, пес поднял голову. Серегин и Огнев попятились. Топ уже стоял на подкашивающихся ногах. Бока проваливались при каждом выдохе, но он дышал, дышал все более шумно и радостно — марсианским воздухом.

— Что это? — прошептал Огнев.

Топ шагнул к нему, но чуть не упал. Серегин подхватил его на руки. Пес благодарно лизнул стекло шлема.

Так они стояли долго и глядели на чудо — живого Топа. Со страхом, что чудо вдруг кончится, что голова Топа бессильно упадет и надежда, ошеломляющая, ослепительная надежда угаснет. Но Топ жил и даже удивленно повизгивал: почему так необычно молчат люди?

— Да-а... — проронил, наконец, Огнев. Он неловко потоптался. По-прежнему ничего не понимая, протянул руку, коснулся шерсти пса.

— Мышьяк, — вдруг отчетливо сказал Серегин, в упор глядя на Топа. — А мы... мы узколобые тупицы.

— Как? — Огневу показалось, что он ослышался.

— Мышьяк, — повторил Серегин. — Оружие отравителей. Или фосфор. Яды, которые не только убивают, но и лечат. Так, кажется? Органические соединения и того и другого составляют ткань эретриума. Впрочем, тебе видней, как и что. Ты ведь еще и биолог,



— Да, конечно, мне видней, — машинально согласился Огнев. Он все еще плохо понимал. — Ага! — у него мелькнула догадка. — Уж не хочешь ли ты сказать...

— Вот именно.

— Но это же общеизвестно! Яд, который можно нейтрализовать ядом...

— Ах вот как, общеизвестно, — Серегин уже не скрывал иронии, — почему же тогда никто даже не попытался дышать марсианским воздухом и есть марсианскую пищу одновременно? Не подумал, что целиком ядовитой биосферы не бывает? Почему потребовалось вмешательство случая, чтобы отворить дверь, которая считалась заколоченной? Не знаешь? Идем, Топ, славный ты мой песик.

Он погладил Топа. Нежно, так нежно, как никто никогда пса не гладил. Пес ткнулся носом Серегину в ладонь. Потом вопросительно глянул на хозяина.

Но Огнев не заметил взгляда. Он пытался собраться с мыслями. Они были горькими.

"Ну... — покрутил он головой, — ну и... ладно, не додумался сам поставить опыт, — куда ни шло. Но не сообразить, что к чему, когда Топ ожил... Скверно, очень скверно..."

«Будем на месте через двадцать минут», — сказал Борис. Воеводин кивнул. Они шли легким, мерным шагом — две крохотные точки посреди бесконечной пустыни. Под ногами, слабо пружиня, хрустели колючки; у бедер ритмично покачивались планшеты. Далекие горы пучились над горизонтом странными сизыми грибами: их основание подсекала белесая полоска мглы.

Борис сплюнул загустевшую слюну. Она упала на землю, свернулась шариком и тотчас обволоклась пылью.

— Напрасно, — заметил Воеводин. — Суше будет во рту.

Борис промолчал: слишком жарко. Однако еще не настолько, чтобы человек превратился в шагающий автомат. Это состояние наступит, когда потеряешь ощущение времени. Последнее случалось теперь с Борисом редко. Двадцать минут! Через двадцать минут они будут возле черного, как головешка, холма. Там они будут ждать машину.

Все просто, слишком просто. Уверенность хозяина, чувствующего себя в пустыне, как на улицах родного города. Как и там, нерушимое значение минут: «Алло, я буду у тебя через... нет, нет, не опоздаю!» Вот и вся романтика. И это спустя два месяца после того, как он, городской мальчишка, впервые очутился в пустыне.

Какой она виделась издали! Загадочной, однообразной, барханной, полной неожиданностей и приключений. Нет барханов, нет загадочности; неожиданностей, пожалуй, не больше, чем в городе. Вряд ли кто поверит, что одно из приключений было связано с комарами. Да, да, с комарами!

Как-то они обнаружили крошечную рощицу: видимо, снизу по трещине подступали грунтовые воды. Они ринулись к диковинному здесь клочку зелени, но не дошли, отступили, окруженные тучей комаров. Огромных, невиданно рыжих и невероятно злых. Комары преследовали их километра два, не меньше.

Экзотичным, пожалуй, был момент, когда он, Борис, небрежно беседуя в маршруте с напарником, словно дело происходило посреди улицы Горького, наступил на змею щитомордника, чей укус смертелен. Полураздавленная змея попыталась скрыться, но он добил ее геологическим молотком. Вот самая опасная опасность, с которой он здесь встретился. Впрочем, на змею можно наступить и в Подмосковье.

Непонятно, в чем тут дело: то ли пустыня здесь не такая, то ли он слишком привык к ней. Скорей второе: рассказ кого-нибудь о встрече с волком не занимал у вечернего костра и минуты разговора — обыденность.

Интересно, а что думает обо всем этом Воеводин, проведший в пустыне не один год?

Утомительная все-таки вещь — ходьба. Вокруг, как в тамерлановы времена, ничего не изменилось. Безлюдье, выжженная земля, быстро забывающая о шагах человека, горы, которые были миллионы лет назад, есть и будут через миллионы лет все такие же. Полное одиночество природы. Угрюмые шаги людей. И это двадцатый век.

— А ведь сейчас, возможно, над нами проносится спутник, — сказал Борис.

Холм, похожий на головешку, приближался. Они шли к нему (шаг — облачко пыли, шаг — облачко пыли) с размеренной скоростью, словно по расписанию. Так и есть: прошло пятнадцать минут ходьбы, еще пять. В ушах монотонно, усыпляюще свистел ветер, успокоительно потрескивали под ногами колючки, которые здесь образовывали сплошной покров.

Неожиданно включился какой—то посторонний звук. Непривычный, не похожий на знакомые: пронзительное «з-з-з-ж-ж» под ухом.

Борис недоверчиво прислушался, не веря себе, сказал:

— Пчела...

Прислушался и Воеводин.

— Две пчелы...

Усиливающееся «з-зз-ж-ж» неприятно врезалось в сознание: пчелы узили круги. Борис замахнулся шапкой.

— Не дразни, — остановил Воеводин.

И тут они увидели точку. Черную точку в чистом блеклом небе. Она стремительно близилась, росла мохнатым шевелящимся клубком.

Борис не понял, что это означает. Не понял и не испугался даже тогда, когда Воеводин крикнул:

— Рой!

Страх пришел раньше понимания. Страх передался от Воеводина, от тона его слов. На мгновение Бориса сковала неожиданность — нелепая, неотвержимая, как во сне, когда под ногами разверзается пропасть и ты летишь в нее с немым криком.

Он видел, как рой приближается к ним — черное живое облако.

Секунду он еще стоял парализованный страхом, не понимая до конца его причину. А когда понял, то побежал, как не бегал никогда. Сзади шла смерть.

Теперь он вспомнил, чем грозит такая встреча: рой пчел может облепить человека, сотни жал вопьются в кожу. А на нем легкая открытая рубашка, ее ткань никак не может служить защитой. И он не в Подмосковье, где много кустарника, — можно ринуться сквозь хлещущие ветви. Здесь на десятки километров нет и водоема, в который можно было бы нырнуть. Здесь пустыня, где нет укрытия, где нет защиты, ничего, кроме пыльной земли в колючках и жаркого равнодушного неба. И нет людей, могущих прийти ему и Воеводину на помощь. Здесь можно одно — бежать. Его остановил крик Воеводина:

— Ложись!

Не рассуждая, повинуясь опыту старшего, он упал ничком, прикрыв лицо, хотя все в нем протестовало: бежать, только бежать!

И тут его облепили пчелы. Мгновение он различал боль, потом пришла тоска отчаяния, потому что он был один и беззащитен и оставалось лишь ждать конца.

Сквозь пальцы он видел пыль, зазубренные колючки. Разум был смят, подавлен. Где-то подспудно мысль еще металась в поисках спасения: взбешенная гордость человека — последнее, что не желало в нем сдаться нелепому стечению обстоятельств. Та гордость, которая была воспитана всем укладом жизни, тысячами побед над стихиями земли и космоса. Она еще вела бой.

Ни тогда, ни после Борис не мог вспомнить, как он догадался протянуть руку в карман брюк. Просто он отлепил руку от лица, сжался от новых укусов, нашарил в кармане коробку спичек, чиркнул — какая-то пчела опалила крылья, коснувшись пламени, — подвел прозрачный на солнце огонек к ближней колючке. Она вспыхнула, как порох, стреляя язычками огня. Языки перекинулись на соседнюю колючку и дальше. В лицо дохнул жар, затрещали волосы, с лица негодующе слетели пчелы.

— Жги, жги! — в исступлении прокричал Борис Воеводину.

Они ныряли в низкие волны огня и дыма, почти бросаясь ничком в пламя, и пчелы кусками отваливались от них.

...Потом они еще долго шли — черные, опухшие, опаленные. Среди безлюдья пустыни, в котором они едва не перестали быть хозяевами.

Заслонка пошла вниз, на лабораторию глянуло розовое око муфельной печи. Свод и стенки камеры светились; ворвавшиеся пылинки высекали из них искры.

Валя бережно подхватил щипцами фарфоровый тигель, внес его в печь и осторожно утвердил в ячейке. Среди жаркого сияния накаленных стен снежная белизна хлопьев, лежащих в тигле, казалась противоестественной.

— Все стряпаете?

Валя обернулся. Сергей стоял, покачиваясь на носках, подтянутый, весь от сияющих глянцем ботинок до победной стрелочки галстука — аккуратный. Валя невольно бросил взгляд на свой халат — прожженный, с оторванной пуговицей, вполне заслуженный халат молодого химика. И в душе пожелал, чтобы Сергей побыстрее убирался. До прихода Светки желательно.

Он что-то пробурчал в ответ.

— Мощная аппаратура, — все также иронически— насмешливо протянул Сергей, поглаживая бок муфельной печи. — Вполне современная конструкция из металла, шамотного кирпича и ручки-манипулятора.

Валя поспешно щелкнул заслонкой. Розовое око погасло.

— Между прочим, мы синтезировали новое соединение.

— Да-а?

Валя слишком поздно сообразил, что так отвечать не следовало. Сергей бесил его своей небрежно-самоуверенной манерой разговора, которая так сочеталась с обаятельнейшей улыбкой, что любые попытки отбрить насмешника выглядели грубо и неловко. Валя это понимал и малодушно стушевывался перед этим напором иронии и самовлюбленности с тех самых пор, когда Сергей нежно пропел ему в коридоре: "Все химики ноль, только физики соль", и в ответ на его взбешенную реплику лишь удивленно повел бровями. "Вот, мол, чудак, шуток не понимает..." Окружающие

покатились с хохоту. Да, тот, кто злится и теряет самообладание, всегда не прав.

— Гений! Бойль-Мариотт!

Сергей схватил Валину руку и потряс ее. Затем поправил стрелочку галстука и, прищурясь, оглядел лабораторию. Что говорить, вид неказистый. Потемневшее стекло змеевиков, кишки резиновых трубок, под тягой булькает мутная вонючая жидкость, на столах хаос и невытертые лужицы. "Ну, Светка, — пообещал Валя, — ох, и выдам же я тебе за грязь!"

— Так, новое вещество, значит, синтезировали, — кротко сказал Сергей. Вы, химики, плодовиты, как мыши. Говорят, если теперь дипломант не представит какого-нибудь нового соединения, то комиссия смотрит на него как на недочеловека. Правда или треп?

— Треп.

— Я так и думал. И чем замечательно твое открытие?

— Это не открытие...

— Не скромничай, не скромничай. Знаем мы вас, тихонь. Сидите кашеварите, вонь разводите, а потом бух, трах — шум в газетах! "Молодой талантливый ученый Валентин Мороз получил новый препарат, одна крупинка которого убивает всех клопов в радиусе ста километров!"

Валю передернуло.

— Можно подумать, будто ты сам что-то свершил...

Сергей перестал улыбаться. Изящно смахнул со стола мокрые комочки фильтровальной бумаги, отодвинул газовую горелку и сел, скрестив ноги.

— Нет, старина, ничего я пока не свершил. Ни-че-го!

— Приятно слышать самокритику...

— Эх, Валюша, Валюша, я серьезно... Тебе не осточертела эта жизнь? Сидишь копаешься, словно крот... А небось и тебя манило летать орлом. Знаешь, как в сказке об Иванушке-дурачке: лежал Иванушка на печи, то бишь на муфеле, и вдруг узрел он чудо чудное, диво дивное...

— Что ты хочешь этим сказать?

— Да так, ничего. Заедает серость буден, вот и захотелось отвести душу...

— Отвел?

— Разве с тобой отведешь? Ты еж—трудяга. Зарылся в мокрые фильтровальные листья — и ш-шу... А попробуй тебя вытащить, так сразу об иглы уколешься. Шушара ты. Серая такая шушара, знаешь?

— А, иди ты...

— Ну вот и обиделся. Первый признак шушары. Ведь не ждешь уже чуда чудного, дива дивного, а?

Валя не сразу нашелся, что ответить. Скажешь, что-нибудь всерьез засмеет. Ответишь на треп трепом — и того хуже: таким прикинется серьезным, деловитым, что сам себе пустельгой покажешься.

— Делать тебе нечего, Сергей, вот что.

— Верно! Потому как осваиваем новое помещение. Прямо над вами. Вот мозги и простаивают. И лезут в них всякие черные мысли. Такие вот, например. Работаешь ты, парень, в своем химическом захолустье, корпишь над пробирками, что—то получаешь, о чем в журнале несколько строк тиснут и о чем вскорости все забудут. А где-то в других лабораториях сидят другие парни и корпят над тем же самым. Так ведь? Так! И видят все одно и то же. Но рано или поздно кто-то из вас сделает Открытие. С большой буквы. Один! А остальные будут стонать и плакать: «Ах, мы бедные, ведь и мы наблюдали то же самое, как же это так вышло» ... Чуешь?

— Лучше о себе побеспокойся.

— Не веришь? Зря. Будет такая минута, будет, когда рядом с тобой окажется чудо чудное, диво дивное. А ты, ибо ты шушара, или пройдешь мимо, не заметив, или, не поверишь. Знаешь, как тот посетитель зоопарка, который увидел жирафу и сказал: "Быть такого зверя на может!"

— К себе ты это не относишь? Ну, конечно, нет. Ты гений. Все физики уже с первого курса гении.

— Значит, согласен?

— Да с чем?!

— О господи, объясняешь ему, объясняешь... Вот ты синтезировал новое вещество. Ждешь ли ты от него чего-нибудь эдакого необыкновенного?

— Показывай свою химическую неграмотность, показывай. Мы отчетливо представляем себе свойства нового соединения еще до того, как приступаем к синтезу. Ясно?

— Куда уж ясней... — Сергей вздохнул. — По философии, конечно, пятерка была?

— Пятерка...

— Оно и видно.

Валя даже от самого себя полускрывал истинную причину раздражения, которое вызывал этот разговор. Чего греха таить, он, как и многие, сомневается в своих силах. Это так. Понятно, естественно, так обычно! Но что за удовольствие с ужимочками, усмешечками бередить тайные мысли! Добро бы сам Сергей что-нибудь путное сделал...

В Вале медленно закипала злость.

— Сам-то ты уж, конечно, не удивишься жирафе. Ну да, вы все теоретики. Вы предсказываете ее появление за много лет вперед. А потом удивляетесь, почему она оказывается не такой.

— Ты, Валя, глянул в самый корень проблемы. Могучий ум! В том-то и дело, что жирафа всегда оказывается не такой. Кстати, где Светка?

"Ага! — с мстительной радостью подумал Валя. — Вот чем заканчиваются все твои умные разговорчики!"

— Зачем она тебе?

— Затем же, зачем и тебе.

Валя подался вперед. "Сейчас ты у меня вылетишь отсюда... Пижон, павлин, пошляк... Шушар он, видите ли, не любит..."

Хлопнула дверь, в лабораторию, напевая и пританцовывая на каблучках, влетела Светка. Сергея как ветром сдунуло со стола. Он полуобнял девушку за плечи, что-то зашептал ей на ухо. И она покорно замерла, потупив взгляд и перебирая складки платья.

— Света! — заорал Валя. — Почему не прибрано на столах? Почему здесь лужи, и здесь, и здесь?

Он тыкал пальцем и кричал, и ему было противно слушать собственный голос, но остановиться он не мог.

Светка высвободилась из объятий Сергея, кивнула ему и лишь потом взглянула на Валю.

— Чего ты кричишь? Ты же знаешь, что меня услал Михаил Герасимович...

— Светка, переходи-ка лучше к нам, — сказал Сергей, — мы не зануды.

Валя было шагнул к нему, но Сергей, как ни в чем не бывало, озабоченно спросил:

— Слушайте, который час?

— У меня нет с собой часов... — сказала Светка.

Сергей схватил Валю за руку, по—хозяйски отвернул обшлаг халата, взглянул на циферблат.

— Противоударные, антимагнитные, водонепроницаемые... Блеск часы. Ну, а мои ломаются, стоит лишь чихнуть погромче. Пока, ребята, засиделся я. Ш-шу...

И он исчез. Светка взяла тряпку и вытерла столы. Получилось это у нее быстро, ловко, играючи. Валя отвернулся.

— Легкий парень Сергей, но веселый, — сказала Светка.

Вале от этого утешения стало еще поганей. Он копался под тягой, без толку переставляя колбы, чтобы Света не видела выражения его лица.

Но когда он обернулся, ее уже не было. Бледное осеннее солнце пробилось сквозь тучи и нехотя осветило лабораторию. Жидко заискрилось стекло змеевиков, на стены лег пыльный отсвет.

Так как веществу надлежало прокаливаться еще минут десять, делать пока было нечего. В лаборатории стояла тишина как в сонном царстве. И Валя ощутил странную пустоту и потерянность. Он будто увидел себя со стороны одинокого, невзрачного, и ему показалось, что так будет еще многие, многие годы, что так будет всегда, — ровная неторопливая жизнь среди колб и бюреток. И что так же мерно,

без потрясений и взлетов он будет стареть, набираться опыта, обзаводиться степенями и почетными трудами, которые, разумеется, будут важны и нужны, но которые не обязательно принесут ему радость. Неизвестно, откуда и почему пришла эта убежденность, но она пришла и от нее некуда было деться.

Внезапно что—то его насторожило. Какой-то звук. Он обернулся.

Массивное тело печи легонько колыхалось на своем постаменте. Валя моргнул. Печь приподнялась и повисла в воздухе.

Валя уцепился за край стола. В тягостном недоумении он следил за тем, как печь медленно поплыла вверх, как натянулся шнур, как выскользнула из розетки вилке, как она маятником закапалась в воздухе. Печь коснулась потолка и замерла.

И тут Валя испугался. На высоте четырех метров, под потолком, ни на что, кроме воздуха, не опираясь, висели добрые полторы сотни килограммов!

Зачем-то он потащил стул, потом стал шарить в карманах, пока, в пальцах что-то не хрустнуло, и он несколько секунд с удивлением разглядывал осколки стеклянного наконечника для промывалки. Как наконечник мог попасть в карман?

И только тут до него дошел невероятный смысл происходящего.

Он мотнулся к двери, потом к месту, где только что стояла муфельная печь, словно желая убедиться, что ее там действительно нет. Потом опять к двери, и здесь нос к носу столкнулся с входящей Светкой.

— Опять кричишь? — сказала она.

— Я?.. Кричу?

— Еще как! Да что с тобой?

Валя схватил ее за локоть и потащил, нечленораздельно бормоча. Света испуганно упиралась.

Потом она ойкнула и присела. Она тоже увидела это.



Как ни странно, это привело Валю в чувство.

— Что ты, что ты... Вот пустяки...

— Боюсь...

— Не надо, Свет, не надо... Беги к Михаилу Герасимовичу! Только тихо.

Почему профессора надо было звать тихо, Валя и сам не знал. Света еще раз пискнула и убежала пригибаясь.

Печь нерушимо висела под потолком, будто приклеенная. В окна по—прежнему тускло светило солнце. И оттого невероятное казалось совсем невероятным. "Не может этого быть, не может", — как заклинание шептал Валя, втайне еще надеясь, что произошла какая—то нелепица и сейчас все вернется на свои места, как это бывает во сне.

Но все и так было на своих местах. Кроме муфельной печи и Валиных мыслей.

Вошел Михаил Герасимович, на ходу, как всегда в затруднительных случаях, извлекая очки из нагрудного кармана. Он выглядел учителем, который входит в класс, заранее зная, что там его ждет какая-то очередная проказа. Из—за его плеча выглядывала Светка.

— Так, — сказал он. — Что у вас тут случилось, Валентин Захарович?

Валя молча показал на потолок.

— Что—о? Да кто вам разрешил...

И он осекся.

— Она сама... — пискнула Света.

Очки запрыгали в руках профессора. Хорошо отглаженный костюм как—то сразу обвис на нем, словно из профессора выпустили воздух.

— Объясните, что произошло... — почти умоляюще прошептал он.

— Она сама... Я поставил туда тигель с нашим НК, только... Ну и... Вот поднялась...

— Точное время начала явления? Скорость подъема? Время подъема?

Теперь голос профессора гремел.

— Я... я... не знаю... Растерялся...

Михаил Герасимович посмотрел на Валю так, словно видел его впервые.

— Поставьте стул на стол! — скомандовал он. — А, уже стоит... Надо опустить муфель. Да нет же, не голыми

руками! Достаньте динамометр, приладьте... Что вы, не знаете! Нет, опоздали...

Голос профессора опять спал до шепота, ибо муфель ни с того, ни с сего отделился от потолка и стал плавно опускаться.

— Секундомер!!! — зарычал профессор.

Валя повиновался, как автомат. Секундная стрелка торопливо склевывала деления циферблата, но Валя никак не мог сообразить, сколько она показывала вначале.

— Да подхвати же... Черт...

Печь уже висела над постаментом. Валя схватился за ее край, и она аккуратно встала на место. Тут Валя услышал чье—то прерывистое дыхание. И не сразу догадался, что это дыхание профессора.

— Михаил Герасимович, что это такое было? — как ни в чем не бывало, прощебетала Светка.

— Это? Ну, конечно... С одной стороны... Спокойно, товарищи, никому пока...

И словно ища поддержки, он обернулся к Вале.

— Могут засмеять... Или нет? Как вы думаете?

Однако Валя начисто лишился способности, о чем—либо думать.

— Так вот, значит... — профессор неуверенно взялся за ручку задвижки. Говорите, там ничего нет... такого?

— Там НК... То новое соединение...

— Ага! Но это невозможно! Вообще антигравитация... Все чушь... Нет, надо посмотреть... Да, где же мои очки?

Заслонка пошла вниз. Теперь на лабораторию глянуло уже черное око. Стенки успели поостыть, пылинки на них больше не вспыхивали.

— Что вы мне голову морочите! Никакого тигля здесь нет!

Лицо профессора побагровело от волнения.

Валя с замиранием сердца тоже глянул внутрь печи. Тигля на месте не было.

— Вот он, — глухо сказал Валя.

Тигель покоился под сводом печи. Он прилип к нему точно так же, как перед этим муфель прилип к потолку.

Профессор посмотрел на Валю и Свету, словно сомневаясь уже в их реальности.

— А-а... как вело себя НК при других прокаливаниях? — наконец решился он спросить.

— Обычно... Как еще оно может себя вести?

— Я сам знаю, что не может! Ладно, разберемся... Достаньте тигель. Только осторожно, осторожно...

Валя подхватил тигель щипцами. От свода он отделился легко. Но странно было чувствовать его полную невесомость. Рука вздрогнула. Платиновые наконечники щипцов соскользнули...

— Ах!!!

Тигель не упал. Он плавно, словно в задумчивости, повис, потом стал медленно подниматься.

— Держите! — закричал профессор.

Валя поймал тигель, обжегся о еще горячий фарфор, но боли почти не ощутил.

— Щипцами надо, кто вас учил!

Профессор ловко перехватил тигель щипцами. На дне его уже не было белоснежных хлопьев. Они спеклись в бурую невзрачную массу.

— Самый обыкновенный НК... — растерянно сказал профессор.

— Да, — сказал Валя.

— Чудовищно... Ну-ка, посмотрим... — И он внес тигель обратно в муфель и ослабил хватку щипцов. На этот раз тигель не достиг свода. Ом просто повис в воздухе.

— Как воздушный шарик... — сказала Света.

— Сфотографируйте явление, — к профессору возвращалось самообладание. А я сейчас пойду приглашу Ивана Владиславовича и Аркадия Степановича. И не давайте муфелю остыть!

Он быстро пошел по проходу, неуклюже задевая углы столов.

— Да что же это такое... — бормотал он, и неясно, к чему это относилось — к предательскому поведению мебели или к проклятому НК.

Дверь захлопнулась.

Валя сел. Он невероятно устал. Обожженные пальцы болели все сильней. И он ничего не понимал. Совсем ничего. Его мутило от собственных мыслей. "Хоть бы скорей вернулся Михаил Герасимович..." — тоскливо подумал он. Войдут Иван Владиславович и Аркадий Степанович, все сразу станет легко и просто.

Муфель бесстрастно глядел на него своим черным оком. Валя вспомнил напоминание профессора, через силу встал, закрыл задвижку и включил обогрев.

И тут же испугался чуть не до обморока. "Что, если этого делать не надо? Нельзя? Выключить? А вдруг еще хуже? Я могу погубить явление..."

Голова шла кругом, он взывал к стенам, к человечеству. Но не было в лаборатории — что там, во всем мире! — ни ответа, ни опоры. Он уже был готов просить совета, хоть какого-нибудь, хоть глупого, у Светки, чье личико теперь выражало одно только любопытство. Лишь бы только разделить ответственность...

И тут он услышал в коридоре знакомый голос. Валя вскочил. "Сережка! Вот хорошо, он физик..."

— Сережа! — позвал он. — Сережа!

Тот сразу влетел, будто только и ждал приглашения.

— Ну как, алхимики? — его голос излучал лукавство. — Что-то лица у вас какие-то придавленные. Муфель летал, да? Это пустяки, я в одной редакции статью читал, неопубликованную, конечно, так в ней описывался факт полета гробов в одном семейном склепе...

— Так тебе рассказали...

— Хм! Нет, брат, никто мне ничего не рассказывал. Не пучь так глаза выстрелят... Неужели вы ни о чем не догадались? Ну, знаете... Ха-ха-ха...

Он залился смехом, и чем недоуменней выглядели Валя и Света, тем сильней забирал его хохот. В восторге он шлепал себя по коленям, показывал на ребят пальцем, сгибался в три погибели и смеялся, смеялся — искренне, до слез.

— Да это же... Да муфель... — смех мешал ему говорить. — Ведь я его поднял! Из своей лаборатории! Электромагнитом... Ха—ха! Спроста, что ли, я завел тогда разговор...

Ответом было молчание, такое выразительное молчание, что Сергей разом оборвал смех.

— Что, склянку какую-нибудь раздавил? Простите великодушно: погрешность расчета... Я ведь даже насчет часов проверил, чтобы не повредить... А здорово выглядела "жирафа"? Сознайтесь! Да что вы на меня так смотрите?

Сергей терялся все более и более. Он не понимал, что происходит. Его слова не находили отзвука у этих двоих, верней, отзвук был, но совсем не такой, какого он ожидал. Его разглядывали — в упор, пристально, и взгляд их был странен.

Потом Валя поманил его пальцем.

— Подойди. Ближе, ближе.

Сергей смешался. Покорно, словно завороженный взглядами, подошел. Последний шаг был исполнен смятения.

— Что вы, ребята... Ну, пошутил...

— Возьмись, пожалуйста, за эту ручку, — ласково проговорил Валя. — Не бойся, не бойся... Теперь загляни в муфель.

И Валя увидел, как отшатнулся Сергей от черного ока муфеля: в глубине его все еще парил фарфоровый_тигель.

ВКЛЮЧИЛАСЬ ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Аппарат лег в дрейф вокруг Звезды. Раскрылись щитки, выдвинулись локаторы. Тело, скользящее в холодных пространствах, стало похоже на махровую черную розу.

Датчики, как губки, впитывали информацию. Иногда по бокам аппарата вспыхивали язычки огня. Тогда его орбита петлей захлестывала бег то одной, то другой планеты. Но к их поверхности разведчик не приближался.

Внезапно приборы разведчика поймали радиопередачу.

ВКЛЮЧИЛАСЬ ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Аппарат сошел со звездоцентрической орбиты. Теперь он узил круги над избранной планетой. Его аналитический блок ловко и быстро препарировал все радио— и видеосигналы, идущие оттуда. И когда структура языков чужого мира перестала быть тайной, ВКЛЮЧИЛАСЬ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.

— "Эридан", с ума спятили!!! На четвертую, говорю, четвертую! Что-о?! "Плутон", вас еще не хватало...

Что "Эридан" валился из космоса с неисправными двигателями — ладно, это было полбеды. Что сеть внеземных станций уподоблялась теперь посудной лавке, куда попал слон, — тоже, но авария "электронного мозга" в расчетном центре! Теперь все зависит от самообладания Тан Ростова, проворства рук главного диспетчера и крепости его голосовых связок. Если бы в диспетчерской разом занялись огнем все четыре угла, суматохи было бы меньше. Видеофоны неистовствовали, как болельщики в минуту гола, наземные службы орали сразу по пяти каналам, на пульте бились в истерике операционные сигналы, а тут еще вышел на связь "Плутон"!

— Немедленно! — взмокшие помощники вздрогнули, как от удара тока. Всех переключить на вспомогательные центры, всех!



— "Плутон" не получил от вас команды, непорядок, — жирным голосом напомнил о себе орбитальный грузовик.

— Катитесь к черту! — взвешенно огрызнулся Ростов, отчаянно нажимая кнопки на пульте. — "Эридан", эй, "Эридан"!

— Буду жал...

Главный диспетчер локтем (пальцы были заняты) вырубил связь с "Плутоном". Ему было не до орбитального, ни до чего на свете, кроме "Эридана". Он с силой оттолкнул руку помощника, сующего трубку видеофона. И тут, как назло, заглушая слова, на волну "Эридана" полезла посторонняя передача! Ростову захотелось стукнуть олуха по темени.

— Эй, на волне 8119, убирайтесь прочь! Сию же секунду!!! Да не тебе "Эридан", не тебе... 17—15, даю "Эридану" 17—15, сектор "В"! Подтверждения не слышу!

Еще бы! Наглец и не думал убираться с волны. Он шпарил что-то свое, и голос "Эридана" тонул в помехах, как писк комара в реве буйвола. Тан зашелся от ярости.

— Вон из космоса!!! — заорал он так, что дневной свет в глазах пошел красными пятнами. — 8119, убирайся вон!

Кажется, помогло. Волна очистилась. "Эридан", наконец, уразумел, что от него требуется, расчетный центр справился с повреждением. Уф!.. Паника спадала.

И только теперь, когда можно было сесть в кресло и закурить сигарету, память выплеснула в сознание обрывки фраз из той, посторонней передачи. Главный диспетчер не донес сигарету до рта. Он так и замер, выпучив глаза.

Аналитический блок разведчика трижды оценил ситуацию. Ошибки не было. В ответ на дружеское послание с планеты последовал энергичный и недвусмысленный приказ убраться. У автомата не было гордости, но она была у его создателей. Они предусмотрели возможность враждебного отказа, и потому немедленно ВКЛЮЧИЛАСЬ ЗАПАСНАЯ ПРОГРАММА.

Локаторы мгновенно убрались в гнезда, щитки захлопнулись, включился главный двигатель. Уже через час система негостеприимной Звезды, отвергнувшая дружбу древней цивилизации Галактики, скрылась из виду.

Справа склон был ослепляюще-белым, слева непроницаемо чёрным. Они ехали дном ущелья по самой границе света и мрака, жары и холода, но разницы между крайностями не ощущали. Свет был безжалостно неподвижен, и темнота тоже; жёсткая нагота камня была там и здесь; одинаково мрачное небо катилось над вездеходом, повторяя изгибы ущелья. Даже камни стучали под гусеницами не так, как на Земле, — резче, грубей. Проводником звука был металл, только металл; и отсутствие воздуха лишало его привычных обертонов.

И сами люди находились в футлярах-скафандрах, да и скафандры тоже были вложены в футляр — коробку вездехода. Уже пять часов в скафандре, где воздух вроде бы воздух, но какой-то процеженный, химический, безвкусно—неприятный. А снаружи — мрак и пламень, оцепеневший костёр безжизненной материи. Ни одной земной краски!

Голова в шлеме уже казалась чужой. Тело устало от неподвижности одних мышц и от тупой борьбы с тряской других. Все: и мысли, и чувства, и плоть — жаждало отдыха. И прежде всего отдыха от, Луны. Энергией их могла наполнить одна-единственная зелёная былинка. Но увидеть её можно было лишь во сне.

— Ну, теперь близко, — сказал Преображенский, облизывая губы.

Он сидел за рулём, непоколебимый как скала, и даже скафандр на его плечах был не округлым, а угловатым.

“Близко...” — повторил про себя Крамер.

Близко было и час назад. Просто им хотелось, чтобы было близко. Ради этого они и поехали напрямую, благо геологи вольны выбирать себе маршрут.

При слове “близко” Романов оживился и восторженным тенорком заговорил о петрографическом составе мелькавших по сторонам пород. Он заговорил об этом не потому, что

его взволновало какое-то новое соображение, и не затем, чтобы помочь другим скоротать время. Как всякий новичок, он боялся не проявить должного, по его мнению, энтузиазма, боялся, что его заподозрят в равнодушии к лунной геологии. Они все были энтузиасты, только об этом не было принято говорить вслух, как не принято говорить вслух о любви, а принято было ругать Луну, благо в такие минуты, как сейчас, они искренне ненавидели её. Но Романову это было ещё невдомёк.

— Помолчи! — вырвалось у Преображенского. Романов осёкся.

— Да, — сказал Крамер, пытаясь сгладить неловкость. — Не так это просто — Луна.

Он замолчал. Нигде они так не ощущали бессилие слов, как здесь. Самые простые слова приобретали тут иное, чем на Земле, эмоциональное содержание. Лунная темнота была не той темнотой, что когда-то дала человечеству это понятие. И свет. И многое другое тоже. Вот почему они не любили рассказывать о Луне. Их описания Луны оставались ложью, как бы тщательно они ни подбирали слова. Правильно их воспринять мог лишь тот, кто сам побывал на Луне. А ему не надо было рассказывать.

Крамер ограничился тем, что похлопал Романова по плечу. Тот растерянно-благодарно улыбнулся за стеклом шлема.

Любили ли они Луну? Да, на Земле они не могли без неё жить. Ненавидели? Да, когда оставались с ней один на один.

Ущелье, петляя, шло под уклон, и ЭТО они увидели вдруг, обогнув очередной выступ.

Они воскликнули разом.

Вездеход дёрнулся и застыл на тормозах.

Все здесь было как в других котловинах: огненные клинья света на склоне, кромсающие их провалы теней, колючие осыпи камня и то беззвучие лунного мира, которое нестерпимо хочется нарушить криком.

Что здесь было не так — это скала. Её шапкой-невидимкой накрывала тень, и все равно в ней светился вход. Он был озарён изнутри: так глухой ночью озаряется окно дома.



Молча все трое вылезли из вездехода. С каждым шагом неправдоподобное становилось неправдоподобней. Наконец они очутились перед входом, и всем захотелось протереть глаза.

Не было никакого порога. Угловатые лунные камни сразу, без всякого перехода сменялись окатанными голышами. И за этим переходом начинался другой мир.

В нем было небо, затканное перистыми облаками, было озеро в кольце скал и был лес. Солнце угадывалось за облаками, янтарное солнце в жёлтом небе. Его рассеянные лучи несли покой и мир. Палевый отсвет лежал на воде, настоящей воде, ласково зовущей искупаться в тепле и тишине.

Меж озером и деревьями, чьи длинные оранжевые листья росли прямо из стволов, пролегала полоска песка, тонкого и шелковистого, — такой песок хочется бесконечно пересыпать из ладони в ладонь.

Позади леса нависали скалы, задумчивые, как древние философы.

Но было в этом озере, в этом небе, в этих скалах нечто большее, чем мудрое спокойствие. Была в них та красота, которая успокаивает и возвышает. Одно прикосновение к ней смывало накипь, все нечистое, всю усталость.

Они чувствовали себя словно в струящемся прозрачном потоке — все трое. Они были там, на янтарном берегу, там они вели неторопливый разговор со скалами, там им кивали листья деревьев, там они пересыпали меж пальцами тонкий песок, там они были счастливы.

Они стояли, забыв о времени...

У Крамера — настолько было велико очарование — даже не возникало желания войти.

— Там инопланетники! — разбудил его хриплый голос Преображенского. — Они, их база!

Очарование спало. Крамер увидел, как Преображенский порывисто шагнул вперёд, чтобы ступить на берег озера, и как пустота вдруг отразила этот шаг.

Преображенский закачался, едва не потеряв равновесия.



Сзади быстро подошёл Романов и деловито пошарил перед собой. Ничто, казалось, не ограждало вход, и тем не менее протянутые руки упёрлись в невидимую стену.

Желанный мир пришельцев был недостижим.

Так и должно было быть по законам логики, они это поняли и подавили разочарование.

— Спокойно, — сказал Преображенский. — Приступим к делу.

Они стояли плечом к плечу у входа, и каждый слышал шумное дыхание другого. Открытие навалилось на их плечи, как тяжёлый груз. Все, они уже не могли смотреть на озеро прежним радостно-безмятежным взглядом — это было печально и неизбежно. Сколь бы прекрасное ни было прекрасным, оно подлежало теперь исследованию и холодному анализу.

Они вычислили площадь входа, замерили радиоактивность скалы и преграды, определили силу отражённого озером света, привычно проделав все, что проделать было необходимо. Но что-то протестовало в них против этих действий: тем злее и сосредоточенней они работали.

Тем временем ничто не менялось за преградой. Все так же призывно мерцала вода, все так же мягко струился свет, все так же нежился берег.

Они провели киносъёмку.

— Надо оценить прочность преграды, — сказал Преображенский.

Романов поспешно сбегал в вездеход, притащил буровое сверло, упёр рукоять себе в грудь и включил мотор.

Сверкающее жало уткнулось в пустоту, вращаясь и подрагивая.

Словно паутинка повисла на кончике сверла.

Остолбенев, Крамер смотрел, как от вибрирующего острия бегут, пересекаясь, невесомые нити.

— Стой!!! — не своим голосом закричал Преображенский.

Но Романов уже и сам отшвырнул сверло, точно оно обожгло ему руки.

Поздно.

Трескалась не преграда. Множась, разломы охватывали озеро, скалы, лес, небо. Мир распадался, как алмаз под ударом молота. Он крошился, тускнел, гас...

И погас совсем. Прощально вспыхнув, исчезло последнее облачко.

Людям в глаза смотрела тьма.

Когда они, ошеломлённые, ничего не понимающие, дрожащей рукой включили фонарики, то увидели голую плоскость камня там, где только что было озеро.

Они растерянно и тщетно, в отчаянной надежде шарили по её поверхности. Камень всюду был гладкий, точно отполированный. Под пальцами засохшими лепестками осыпалась чёрная эмаль, кое—где ещё покрывавшая скалу.

Они брали эту эмаль с тем чувством, с каким на пожарище берут горсть пепла.

Она была необходима для анализов.

И когда было сделано все, что надо, исполнен весь ритуал погребальных исследований, Преображенский отошёл в сторонку, сел на плоскую глыбу и закрыл лицо руками.

— Я полагаю, что у пришельцев это было чем-то вроде телевизора... — неуверенно проговорил Романов. — Кто же знал...

Плечи Преображенского вздрогнули.

Крамер поднял лицо к небу. Там в угольной черноте сияла вечная арка Млечного Пути.

— Нет, — сказал он глухо, с какой—то непоколебимой уверенностью. — Нет. Это была не база. И не телевизор. Тот мир был слишком прекрасен, техника не могла создать его таким... — Он запнулся. — Таким человечным.

Крамер помолчал, глядя в небо и не видя его. Никто не перебил его.

— Мы убедили себя, что величие любой цивилизации воплощается прежде всего в технике, — проговорил он быстро. — Почему? Пришельцы тоже не роботы. Здесь, на привале,



вдали от дома, им были ведомы те же чувства, и они мимоходом создали то, чего им не хватало: образ родной природы. Друзья, это была картина.

Преображенский встал, задумчиво посмотрел на глыбу, словно она ещё хранила тепло тех загадочных существ, что побывали здесь до них.

— Собирайтесь! — сказал он, резко повернувшись.

Потом он тронул Крамера за плечо.

— Твоя гипотеза, конечно, правомочна. Но она уязвима с позиций логики.

Крамер кивнул.

— Да, разумеется. И все-таки в миллионах лет отсюда, на других планетах и в других галактиках, в царстве любой сверхтехники художник останется художником, под влиянием минуты, рисующим где попало, чем попало и на чем попало. Иначе он не может, вот вся логика.

По мере того, как Стигс осторожно развивал свою мысль, лицо шефа хмурилось все больше и больше.

— Лево-спиральные фотоны! — перебил он, наконец, Стигса. — Да, да, я понял: вы собираетесь искать лево—спиральные фотоны. Почему бы вам заодно не поискать принцип вечного двигателя? Или координаты райских врат? Вы что, книги Гордона не читали?

— Я читал Гордона, — стараясь сохранить спокойствие, проговорил Стигс. — Опыты были поставлены восемнадцать лет назад, когда не был известен «эффект Борисова». Теоретически есть надежда...

— Теоретически! — шеф уже не скрывал раздражения. — А деньги на эксперимент я должен давать практически. Два миллиона.

— Миллион. Два миллиона стоили опыты Гордона. «Эффект Борисова» позволяет...

— Это я слышал. Вы как будто забываете, кто такой Гордон. Или вы полагаете, что он не познакомился с «эффектом Борисова»? Гордон велик не только тем, что создал единую теорию поля. Известно ли вам, что он ни разу не ошибался в своих выводах и предсказаниях? Известно ли вам, наконец, что опыты Гордона по левоспиральным фотонам повторяли, пробуя все мыслимые варианты, Фьюа, Шеррингтон, Бродецкий — лучшие экспериментаторы мира! И ни-че-го! Лево-спиральные потоки света — это миф, теплород, философский камень, мираж...

Шефу было под шестьдесят, резкие морщины, как ни странно, молодили его, а не старили, костюм на нем был преотличный, все это не имело ни малейшего значения. Кем бы ни был человек, сидящий в этом кресле, как бы он ни одевался, главным было то, что он распоряжался ассигнованиями, управлял многосотенным коллективом, был администратором и в этом качестве не мог поощрять авантюры,

стоящие денег. И даже просто сомнительное не могло рассчитывать на его благосклонность. Естественно, что он был взбешен. Но Стигс не терял надежды. Он предпочел бы не иметь дела с шефом, но и великому Гордону приходилось в свое время уламывать таких же вот администраторов. Интересно, стал бы Гордон великим, если бы ему это не удалось?

— По-моему, все ясно, Стигс, — жестко заключил шеф и пододвинул к себе папку с бумагами, давая понять, что аудиенция закончена.

— Но вы не посмотрели отзыв Ван-Мерля! — воскликнул Стигс.

— Ван-Мерля? Да у меня завтра же будет десять отзывов виднейших профессоров, и в каждом будет сказано то же, что я вам сказал! Идите, Стигс, занимайтесь делом.

Стигс встал и почувствовал, что у него дрожат руки.

— Еще одно только слово...

Шеф поднял голову.

— Пожалуйста, только без громких фраз о величии проблемы, необходимости риска и тому подобного оперения.

— Нет, я не об этом. Что, если... что, если сам Гордон скажет: опыты ставить надо?

— Са-ам?

Шеф удивленно откинулся на спинку кресла. Постучал кончиком ногтей друг о друга. Изучающе посмотрел на Стигса.

— Думаете переубедить Гордона? М-да... Примет ли он еще вас...

— Примет, — Стигсу показалось, что он ступил на тоненький лед.

— Ну, если Гордон... Тогда посмотрим.

«...Какое счастье, что Гордон еще не умер! — подумал Стигс, подходя к загородному коттеджу великого физика. — Если бы он умер, спорить пришлось бы не с ним, а с его авторитетом. А авторитет не берет своих слов назад».

Стигс подбадривал самого себя. Вчера после разговора с шефом он десять раз поднимал трубку и десять раз клал ее обратно, прежде чем набрал номер Гордона. Вопреки всем ожиданиям тот согласился сразу. Сразу! Вот что значит настоящий ученый. Болен, стар, замкнут — и сразу же отзывается на мольбу о помощи! Именно так скорей всего прозвучало его объяснение по телефону, которое Гордон выслушал молча и на которое минуту спустя — Стигс чуть не умер — коротко ответил: «Жду вас завтра в девять».

Завтра! В девять! Ждет! Он, живая легенда, ждет его, Стигса, рядового из рядовых! Ночь Стигс провел тревожно, обдумывая каждое слово, каждую интонацию, взлетая как на качелях от отчаяния к уверенности, что все будет хорошо.

И вот теперь, у самых ворот, протянув руку к кнопке звонка, он с ужасом ощутил, что его голова пуста. Он забыл все, что хотел сказать, он не может связать двух слов, он не может двинуться с места!

Уф! Стигс опустил руку. Спокойно, спокойно... Ведь кто такой Гордон? Гений, равный Эйнштейну, но не папа же римский, не бог — ученый, человек... У него болят почки, он любит сажать розы, он безукоризненно честен и, говорят, добр.

Стигс даже не заметил, что жмет кнопку изо всех сил. Он не помнил, как распахнулись ворота, как кто—то провел его в комнаты, что-то на ходу ему втолковывая, как он снял плащ, как переступил порог...

— Здравствуйте. Садитесь.

Гордон полулежал в кресле, и все равно Стигсу показалось, что тот возвышается над ним. Возвышается его голова, величественная, как купол собора, возвышаются его плечи, а грива седых волос — та и вовсе плывет облачком к недоступной вышине. И взгляд как будто издали, от мерцающих льдов великих мыслей, взгляд, видящий сокровенные тайны природы и туманные просторы вечности. Он сам уже принадлежал вечности, бронзе истории, этот светлый, отрешенный взгляд.



— Рассказывайте.

Гордон шевельнулся и поправил плед, которым были прикрыты колени, Стигс заговорил, не слыша собственного голоса.

Минуты через три Гордон прервал его слабым движением руки.

— Понятно. Это не ваша ли статья была два года назад в «Анналах физики»?

— Моя... — у Стигса пересохло в горле.

— Вы красиво решили проблему флюктирования гравитонов. Почему вы не продолжили работы в этой области?

— Потому что... Потому что я увидел оттуда мостик к лево—спиральным фотонам...

— И это вас увлекло? Вы ни о чем другом не можете думать?

— Да... То есть... Не сами фотоны, а то, что за этим стоит...

— Что же за этим стоит?

Стигс ошеломленно посмотрел на Гордона. Проверяет? Смеется? Играет как кошка с мышью?

— Движение против хода времени, — выдавил он.

— А еще?

Стигс окончательно растерялся. Еще? Что еще? Какое «еще» он, великий, видит там, в своей вечности? Какие тайны открыты его уму, какие сокровенные свойства природы он прозревает за этим словом? Какие?!

Гордон едва слышно вздохнул.

— Хорошо. Как, по—вашему, в чем цель науки?

Нет, Гордон не смеялся. Он менее всего был склонен смеяться — Стигс это понял. Взгляд Гордона был обращен к нему, он требовал и вопрошал — мягко, настойчиво, сурово.

— Цель науки в познании... в отыскании истины.

— Какой истины?

— Какой... что? Всеобщей истины! Природа...

— Оставим природу в покое. Расскажите лучше о себе. Все, с самого начала.

Гордон прикрыл глаза.

Переборов замешательство, Стигс начал было рассказывать, но очень скоро Гордон остановил его слабым жестом.

— Нет же, — проговорил он мягко. — Забудьте, что существуют семинары, лаборатории, научные библиотеки. Я хочу услышать о вашей жизни, а не о том, что вы думали о стационарной Вселенной на третьем курсе и какие экспериментальные трудности преодолели в своей первой самостоятельной работе.

Стигс изумился. Он же рассказывал именно о жизни! О том главном, что в ней было. Чего же еще хотел Гордон? Неужто великого ученого могла интересовать история двух—трех его кратковременных увлечений или тщеславная мечта студента быть нападающим факультетской команды? Стигс быстро перебрал прошлое, все, что не имело связи с наукой, но припомнились такие житейские пустяки, о которых здесь было даже неловко говорить. Когда машина ныряет в тоннель, что, кроме гирлянды фонарей и серых полос бетона, может запомнить погруженный в свои мысли пассажир? Стигс вдруг с удивлением подумал, что его жизнь вне стен лаборатории похожа на такой тоннель, хотя в ней были и развлечения и мелкие (тогда они казались крупными) неурядицы. Многое было, но все слилось в какую—то неяркую однообразную полосу, особенно бесцветную по сравнению с теми переживаниями, которые ему доставляла работа.

Все же Стигс покорно продолжил рассказ, явственно ощущая, что от него чем дальше, тем все более веет скукой.

И вдобавок непонятно было, слушает ли его Гордон, думает, о чем-то своем или по-стариковски дремлет.

Наконец Стигс запнулся и умолк. Гордон открыл глаза,

— Должен разочаровать вас, друг мой. Лево—спиральные фотоны — это иллюзия...

«Он говорит как шеф!» — побледнел Стигс.

— ...Не все теоретически возможное осуществляется в природе. Манящий огонек, болотный дух — вот что такое лево-спиральный фотон. К сожалению, такие огоньки всегда

горят по обочинам науки. Я сам погнался за ним и потерял пять лет — каких лет! И Фьюа, Шеррингтон, Бродецкий тоже. Не хватит ли жертв? Вы молоды, судя по вашим статьям, талантливы, не теряйте зря времени. Вот мой совет.

— Но «эффект Борисова»... Вы стучались в парадный вход, а там голая стена... может быть, с черного хода...

— Ни с черного, ни с парадного нельзя проникнуть в то, чего нет. Едва Борисов открыл свой эффект, я тотчас пересмотрел все выводы. Ошибки нет. Ваш путь нереален.

— Но почему? Почему? Где я ошибся? В чем? Покажите!

Это было почти кощунством — требовать объяснения у Гордона, дряхлого восьмидесятилетнего Гордона. Требовать после того, как он твердо дал понять, что его слова — истина. Но нет, сейчас в этой комнате, где возникла единая теория поля, это не было святотатством. Оба они — и Стигс и Гордон — подчинялись одному закону, который был выше их, и этот закон обязывал Гордона представить доказательства. Он не мог его нарушить, иначе бы наука превратилась в религию, а он — в первосвященника.

— Что ж...

Стопка бумаги лежала на столике перед Гордоном. Он взял чистый лист, бережно разгладил, узловатые, плохо гнущиеся пальцы зажали ручку, и из-под пера суровыми шеренгами двинулись математические символы.

Это был приговор. Запрет очерчивался неумолимо, частокол знаков был крепче надолб, выше железобетонных стен. Гордон спокойно перегораживал мечте путь, и просвет делался все уже, уже... Холодея, Стигс следил за неотвратимой поступью строк, за уверенным бегом пера, за жестокой логикой доказательств. Вот сейчас перо клюнет бумагу в последний раз...

Перо чуть загнулось, дрогнуло, помедлило...

— Дальше и так, надеюсь, ясно, — устало проговорил Гордон, отстраняя бумагу.

Он зябко потер руки и спрятал их под плед.

Стигсу показалось, что он сошел с ума! Приговор был написан, на нем стояла подпись и печать, но в доказательствах была брешь! Крошечная, почти неразличимая… С молниеносностью, его самого поразившей, Стигс разом охватил всю цепь доводов, мысль Гордона стала его мыслью, он додумал ее и…

Этого не могло быть!!! Но это было. Брешь не закрывалась. Ее нельзя было закрыть.

Стигс поднял глаза и едва не закричал. Перед ним был другой Гордон. Сгорбленный, немощный, с запавшим ртом, коричневыми пятнами старости на дряблых щеках. Он уже не возвышался, тусклые волосы не парили облачком — Стигс увидел его таким, каким он был на самом деле, а не таким, каким его дорисовывало воображение. И Стигс чуть не разрыдался.

Догадались все-таки… — прошелестел голос Гордона, и голова старика опустилась еще ниже. — У вас хватило смелости не поверить, и вот… Да, ваш путь тоже реален. Реален, потому что лево-спиральные фотоны существуют. Я это обнаружил восемнадцать лет назад…

Стигс был безмолвен. В нем рушился мир. Падали звезды, обваливалось небо, умирали боги. Умирал он сам.

Рука Гордона узкой сморщенной ящерицей выскользнула из-под пледа и коснулась его плеча.

— Соберитесь с духом… Я спросил вас — помните? — что стоит за свойствами лево-спирального фотона. Вы не ответили. Вы не думали над этим. Отвечу я. В чем цель науки?

— В чем? — эхом ответил Стигс.

— В счастье человечества. Если наука не будет делать людей счастливей, то зачем она? Знания — это оружие, и если ученому безразлично, куда оно повернуто, то чем он отличается от солдата-наемника? Вы и над этим не думали, Стигс. Вы хотите найти лево-спиральные фотоны — частицы, которые движутся к нам из будущего. Вы их откроете, как в свое время открыл я. А дальше? Дальше практика. Люди научатся видеть будущее. И управлять им, поскольку

естественный ход событий, если знать, каков он, корректируем. Счастливым ли станет человечество? Оглянитесь вокруг, Стигс. Банкир пойдет на все ради сохранения своих капиталов, диктатор — ради сохранения своей диктатуры, карьерист — ради сохранения кресла. Тьма людей заинтересована в сохранении сегодняшнего порядка. Будущее им враждебно, ибо они догадываются, чем оно им грозит... Они и сейчас пытаются его предотвратить — вслепую. Этим людям вы дарите власть над будущим. Они уничтожат его, Стигс.

Помолчите, вы еще не все помяли. Утверждают, что Роджер Бэкон, открыв порох, засекретил свое открытие от всех, ибо предвидел, чем оно обернется. Благородный, но бесполезный жест. Полвека назад физики добровольно ввели самоцензуру, чтобы информация об их работах по расщеплению ядра не попала к нацистам. Поступив так, они тут же отдали свои знания Америке. Кончилось это Хиросимой. Но даже если бы они заперли свои лаборатории, то нашлись бы другие, которые все равно сделали бомбу. Не обязательно из чувства патриотизма; вполне достаточно чистой любознательности. Обдумав уроки прошлого, я решил поступить иначе, когда открыл лево-спиральный фотон. Я объявил его несуществующим. Я сказал мировой науке, что искать его бессмысленно. Доказательством были результаты экспериментов — фальсифицированные результаты. И мой авторитет. Я положил его, как колоду, поперек тропинки. О, я не обольщался! Я знал, что, когда-нибудь, где-нибудь появится такой юнец, как вы, которого не устрашит мой запрет. Но мне важно было выиграть время. К счастью, опыты по обнаружению лево-спирального фотона требуют денег. Оттянуть открытие во что бы то ни стало! Ведь еще полвека — нет, меньше! — и в мире все разительно переменится. Тогда люди станут заглядывать в будущее лишь затем, чтобы предвидеть стихийные бедствия, лечить болезни до их возникновения. В это я верю. Я нарушил законы науки. Но не добра! И не вам меня судить.

— Я не сужу... — с трудом, точно ему не хватало воздуха, выговорил Стигс. — Но как же Фьюа, Шеррингтон, Бродецкий?! — вдруг закричал он.

Гордон вскинул голову.

— Покойный Фьюа, покойный Шеррингтон, покойный Бродецкий были моими друзьями, — торжественно проговорил он.

И внезапно Стигс снова почувствовал себя маленьким — маленьким перед этим стариком, чей взгляд был полон гордого достоинства, чье лицо сейчас было точно таким, каким юный Стигс видел его на страницах учебников.

— Они были моими друзьями, и они тоже пожертвовали своей репутацией бесстрастных служителей истины! Мы вместе сказали «нет», когда было «да», и, если бы они были живы, они снова сказали бы «нет». Тысячи раз сказали бы «нет».

А теперь уходите, — голос Гордона упал. — Я мог бы позвонить шефу и высмеять ваш проект. Но стать подлецом не в моей власти. Я напишу, что опыты ставить нужно... Вы найдете лево-спиральный фотон. И ваши портреты будут во всех учебниках. Если же вы не найдете... найдете его так, как нашел я... вы здорово повредите себе. И оттянете время еще на десятилетия. Выбирайте.

ДЕМОНЫ ТЕВТОБУРГСКОГО ЗАМКА

(НОЧЬ КОНТРАБАНДОЙ)

— О, погляди: кроме нашего, здесь, оказывается, собрался еще один конгресс...

Я читал висевшее у подъезда объявление об открытии в Тевтобурге международного симпозиума демонологов с тем чувством веселого недоумения, которое только и может испытывать человек моей профессии при встрече с нелепостью.

Но само объявление выглядело прозаично. Никаких черепов, змей, привидений, сатанинских рыл. Просто большой картон со скупым типографским текстом: время заседаний, повестка дня — совсем как в программе любого научного совещания. Секретариат симпозиума, судя по объявлению, помещался в доме, перед которым мы остановились.

Я взглянул на часы: до начала скучного заседания секции слабых взаимодействий, где мне надлежало присутствовать, оставалось минут сорок. Почему бы не развлечься?

— Зайдем? — предложил я своему спутнику.

Тот кивнул.

Мы поднялись на второй этаж. В светлом помещении, обставленном канцелярской мебелью, хорошенькая девушка бойко стучала на «Рейнметалле». Мини-юбка приятно открывала взгляду ее стройные ножки.

— Не иначе — ведьма! — шепнул я приятелю и с вежливым поклоном осведомился у нее, к демонологам ли мы попали.

— К ним, — любезно улыбнулась девушка, отрываясь от пишущей машинки и поправляя крашеными коготками прическу. — Вы по какому делу?

— Видите ли... — сказал я, заранее наслаждаясь предстоящим спектаклем. — Разрешите представиться: Виктор Новгородский, физик...

— А! — перебила девушка. — Физики часто заглядывают к нам. Я доложу секретарю Общества, герру Шенку!..

И она легко упорхнула за дверь.

— Зачем издеваешься? — с упреком проговорил Юрий Мизигин.

— А ты бы хотел, чтобы я с этими, с ними... серьезно? Ну, знаешь!

Если бы не упрек Мизигина, возможно, ничего бы и не произошло. Но такое соглашательство, да еще со стороны физика, меня всегда бесит, и потому, едва девушка ввела нас в кабинет, я демонстративно понюхал воздух.

— Проверяю, не пахнет ли тут серой, — поздоровавшись, с ехидной учтивостью пояснил я.

Демонолог, широкоплечий, массивный, сидел за письменным столом, и свет, льющийся сзади из окна, алюминиевым сиянием зажигал его седые волосы, оставляя в тени черты крупного лица. На нем был клетчатый твидовый костюм, под узлом темного галстука прозрачно мерцал какой—то камень. Слева дремало штук пять телефонов — совсем как в кабинете директора какого-нибудь крупного института.

— Коллега, — сказал он, — вы оскорбляете не меня, а высшие силы.

— Неужели? — спросил я, опускаясь в предложенное кресло. — Да разве их можно оскорбить?

Хозяин кабинета рассмеялся. Странный его смех был похож на шипение дряхлых часов перед боем. Глаза демонолога при этом совсем исчезли под морщинами, щеки вспухли, по горлу прокатился и спрятался кадык. Смех оборвался так же внезапно, как начался.

— Прекрасно, — сказал герр Шенк, пристально глядя на меня. — Замечательно. Не вы один — многие насмехались до того, как встретились с потусторонними силами. Но никто еще не смеялся после. И не советую, молодой человек, не советую...

— Что — «не советуете»?

— Встречаться! Распространенная ошибка заключается в том, что нас считают союзниками дьявола. Наоборот, вся наша деятельность сводится к ограждению жителей Земли от случайных столкновений с потусторонними силами.

— Знаете, что, — разозлился я, — морочьте голову кому-нибудь другому! Я—то прекрасно знаю, никаких потусторонних сил не существует...

— Ах, знаете? — с неподражаемым сарказмом произнес демонолог. — Не существует, значит? А нейтрино существует?

— Разумеется!

— Откуда вам это известно?

Я возмущенно пожал плечами.

— Та-а-к, — произнес демонолог, даже не сказал, а промурлыкал, снисходительно улыбаясь. — Да, вы отлично знаете — нейтрино существует. Но миллиарды людей этого совсем не знают. То есть нейтрино они принимают на веру от вас. Так же обстоит дело и с потусторонними силами. Посвященных в тайну здесь тоже немного.

— Чушь! — не выдержал я. — Если мы ставим опыт, его может повторить каждый! И каждый увидит то же, что и мы.

— Но для этого ему в лучшем случае придется потратить несколько лет на обучение. Наши опыты не требуют от людей таких жертв, да и аппаратуры, стоящей сотни миллионов долларов. Но они опасны, смертельно опасны... Поэтому—то мы и держим их в тайне, как бы ни упрекали нас за это ученые.

— Вот что, — сказал я, вставая — Софизмы дешево стоят. Ни одному образованному, трезвомыслящему человеку вы никогда не рискнете показать действие ваших так называемых потусторонних сил. Я прямо в лицо вам это говорю!

К моему изумлению, демонолог не вскочил, не разразился ругательствами.

— Та-ак, — в его голосе послышалось сожаление. — Это, конечно, против наших правил... Но скажите, если я вам дам возможность... Впрочем, нет, мне жаль вас...

— Давайте, давайте! — закричал я, почти как болельщик на трибуне. — Давайте сюда ваши силы, чертей давайте, только чтоб был яркий свет! Произнесите заклинания — я жду!..

Демонолог покачал головой, и камень в его галстуке при этом насмешливо мигнул.

— Мы же не требуем от вас, чтобы нейтрино без промедления возникло здесь — вот на этом столе, — сказал он. — А вам немедленно подавай демона, сию минуту... Впрочем, пусть так! Он появится сегодня и при ярком свете.

— Где? Когда?

— Здесь, в Тевтобургском замке.

— Надеюсь, в замке сидят высококонцентрированные демоны?

— Проверите сами, если только знакомство с историей этого замка не отобьет у вас охоту нанести туда визит.

— Не отобьет! — пообещал я.

— Хорошо, — демонолог вздохнул с таким сожалением, что даже ореол его волос, казалось, потускнел. — Жду вас в десять вечера у подъезда Тевтобургского замка...

В отношениях с людьми я очень не люблю двусмысленностей. Человек должен быть ясен, иначе с ним нельзя иметь дело. Раньше Мизигин мне нравился. Ему была свойственна какая-то деликатная мягкость. Он часто уступал желаниям других, держался незаметно. У меня иногда даже появлялось к нему прямо-таки покровительственное чувство, хотя он и был немного старше меня. И вот, оказывается, он, физик, не чужд мистики!

— Скажи, Виктор, — сказал он мне, когда мы возвращались к себе в гостиницу, — ты серьезно решил идти в этот замок? На твоем месте я бы крепко подумал. Демоны, знаешь ли, штука опасная...

От неожиданности я чуть было не споткнулся.

— Как! — вскричал я, опомнившись. — Неужели и ты веришь в демонов и всю эту белиберду с потусторонними силами?

Мизигин тихо взял меня под руку.

— Понимаешь, — сказал он после недолгого молчания, — в потусторонние силы я не верю. А в демонов... Смотря в каких. Короче говоря, ты не будешь против, если я пойду с тобой в замок?

Я тут же честно сказал Мизигину, что человек, относящийся к мистике так, как он, объективно вряд ли сможет способствовать успеху разоблачения.

— Человек даже сам о себе не знает достаточно, — рассеянно ответил Юра, кивая какому-то проходившему мимо ученому (мы уже стояли у входа в зал конгресса). — Нас, конечно, поместят в разных комнатах, и я не буду тебе мешать. А такой свидетель, как я, может оказаться весьма полезным.

Некоторый резон в его словах был. Кроме того, уважение к человеку — мой принцип. Скрепя сердце я переменил решение...

Часы на ратуше уже били девять, когда я, поужинав, подходил к собору. Ночь окутывала город.

Мизигин ждал меня.

— Я познакомился с историей Тевтобургского замка, — сказал он — Зловещая... И не тем, что там появлялись привидения, а тем, что после полуночного бдения многие выходили оттуда сумасшедшими. Или... совсем не выходили.

Я усмехнулся.

— Исчезали?

— Нет, их выносили ногами вперед. Инфаркт...

— Выдумки, конечно?

— Ничуть. Я перелистал подшивки местных газет. И у меня появилось одно соображение.

Я вспылил:

— Какие к дьяволу соображения! Глупость, чудовищная глупость все эти байки о привидениях и потерявших из-за

них разум! В любом старом доме жили люди, которые пугались собственной тени, сходили от этого с ума, умирали от сердечного приступа. Немного лжи, немного страха, немного воображения плюс эти факты — вот и готова легенда! А ты уж и поверил!

— Ну что ты! Я хотел только...

— И слушать не желаю! Милое дело — заранее настраиваться на всякую чертовщину. Испуганному человеку палец покажи — он сойдет с ума. Знаем мы эти штучки!

Мизигин пожал плечами. Из-за гребня гор выплыла луна. Справа забелел широкий фасад дома с колоннами и неосвещенными окнами.

— Здесь, — произнес Мизигин.

Я заметил, что иначе представлял себе замок.

— Так это же не десятый век, а восемнадцатый, — пояснил мой товарищ.

Ворота решетчатой ограды были распахнуты. Пока мы шли по мощеной дорожке парка, парадная дверь медленно приотворилась, и хлынувший лунный свет озарил высокую фигуру демонолога.

— Пришли? — глухо сказал он. — Что ж... — и жестом пригласил нас следовать за собой.

Я уже хотел было отпустить ехидное замечание насчет экономии электроэнергии, но демонолог, пропуская нас, щелкнул выключателем, и в обширном вестибюле вспыхнули три пыльные лампочки, криво сидящие в кольце люстры. Унылое молчание усыпальницы охватило нас. Наверх вела широкая мраморная лестница, зеркала слева и справа мутно отражали каменный паркет и позеленевшую улыбку бронзовых грифонов у входа. Нас в зеркалах не было, хотя мы и стояли напротив.

— Предупреждаю, — сказал демонолог, — в комнатах, где вы разместитесь, есть кнопка. Как только станет опасно, нажмите ее. Я немедленно приду на помощь и постараюсь усмирить потусторонние силы заклинаниями. Иногда я успеваю это делать...

— Не будем зря тратить время, — сказал я, взглянув на свои часы.

Они стояли.

Демонолог медлил. Он был в том же костюме, что и днем, но его лицо почему-то приобрело неприятный серо-синий оттенок.

— У тебя тоже стали часы? — шепнул я Мизигину.

— Нет, — ответил он, скашивая взгляд на запястье. — А что? Зеркала, по-моему, любопытны.

— Заметил?

— Тс!.. — прошипел демонолог, не оборачиваясь.

Паркет хрустел под нашими шагами. В тенях ниш по обеим сторонам прятались уродливые статуи каких—то индусских богов. В их глазницы, видимо, были вставлены стекляшки — статуи провожали нас угрюмым, поблескивающим взглядом.

Коридор свернул. Тут не было электричества, луна била в окно, и по полу расстилалась белая дорожка, как шахматная доска, разграфленная трещинами паркетных стыков. Где-то вдали что-то тихо гудело, как в трансформаторной будке.

Демонолог остановился:

— Ваша комната здесь. А ваша, — он повернулся к Мизигину, — чуть подальше.

Я отворил дверь. Комната как комната. Ее заливал яркий свет молочных плафонов, ослепительный после темноты коридора. Никаких занавесей, штофных пологов, кроваво—черной обивки и тому подобных аксессуаров. Вполне современная мебель, голые, оклеенные светлыми обоями стены.

— Кнопка под выключателем, — показал демонолог.

Его лицо снова приобрело обычный цвет. Ничего сатанинского в его облике не было, глаза смотрели сонно.

— Спокойной ночи, — вежливо кивнул он и притворил за собой дверь.

Я внимательно оглядел комнату. Все, как в любом гостиничном номере: диван, пара кресел, два шкафа, несколько стульев...

У меня появились кое—какие соображения, пока нас вели сюда. Но теперь, при виде этой банальной комнаты, они рассеялись. Все их фокусы элементарно просты: зеркала, очевидно, были чуть повернуты под углом — такие вещи не всегда определишь сразу, лицо демонолога изменила полутьма, а часы...

Я покрутил завод. Секундная стрелка дернулась, но тотчас снова замерла. Ясно, просто некстати сломались.

Было очень тихо. За широким окном открывался голый пустырь, синевато освещенный луной. Мои шаги глохли в мягком пластике пола. Надвигалась глупая, скучная ночь, неся досаду, похожую на разочарование. Я ругал себя за глупость и злился на обман. Впрочем, утешало предстоящее посрамление демонолога. И, конечно, две-три ехидные остроты достанутся легковерному Мизигину.

Подойдя к книжному шкафу, я стал выбирать, чтобы почитать перед сном.

Что-то скрипнуло у меня за спиной.

«Ага!!» — почти обрадовался я и быстро обернулся.

Комната была пуста и светла. Не совсем, впрочем, светла: из—за неплотно прикрытой двери вползала какая—то тень.

С некоторым замешательством и, может, чуть поспешно я подошел к двери и толкнул ее. Тень походила на луч мрака, бьющий из коридора. Дверь подалась туго, в ней что—то жалобно всхлипнуло. Внезапно будто невидимая рука схватила конец тени и очертила ею круг, замкнувший меня! Чье-то ледяное дыхание коснулось моего затылка. «Не переступай круга!» — раздался шепот.

Одним прыжком я перемахнул круг. Он исчез, но во мне тотчас зазвенела нота животного тошнотворного ужаса. Поле моего зрения резко сузилось, заметалось в беспорядке, теряя четкость. Стены побелели, лампы неистово запылали в молочных плафонах. Ярчайший поток белизны затопил

комнату. Что-то с шумом ударилось, дзинькнуло стекло, а из черного окна на меня глянуло белое, перекошенное — мое лицо!

Его исказила судорога, и тот ужас, что был во мне, и тот, что смотрел на меня, слились.

Я метнулся к двери. И оттуда, как из зеркала, призраком проступило мое обезумевшее лицо...

Я отпихнул воздух ладонями и внезапно почувствовал, что уже не властен над мускулами своего лица, что оно пляшет, гримасничает в такт тому, другому лицу. Какое-то безумие! Сжав кулаки, я кинулся на свое призрачное изображение, мелькавшее перед глазами, как сквозь туман...

Плохо помню, что было потом. Кажется, я бил по двери, кажется, бил себя по щекам, не ощущая боли. Я дрался с собственным лицом! Дрался, теряя понимание, где оно находится. На мне? Или вне меня? Одинаково чужое, оно было везде в бешеном сиянии ламп, наступало отовсюду — со стен, с потолка...

Не помню, как я очутился на полу. Вдруг обвалом упал мрак, и в нем тяжело грянули чьи—то шаги. Неумолимая поступь в тишине и темноте — ближе, ближе, сквозняк распахнувшейся двери...

— Чего кричишь? — раздался знакомый голос.

Как пробуждение в кошмарном сне, проступили очертания дверного проема, фигура Мизигина, свет фонарика...

— Стул-то брось!..

Он взял из моих онемевших рук стул, которым я, оказывается, прикрывался, и быстро потащил меня к выходу.

Опомнился я только на воздухе.

— Сволочи! — тихо ругался Мизигин, пока мы поспешно пересекали двор. — Сволочи! Демонов-то они украли у науки. А завтра могло бы быть в газетах: «Встреча с нечистой силой закончилась безумием смельчаков».

— Как? — ошеломленно переспросил я. — Как?..

— Да вот так!.. Светотехника, инфразвук, неслышно пугающий человека, фосфорические краски, способные нагнать вон какой страх... Они в этом замке создали настоящую лабораторию ужасов! Но мне, к счастью, удалось «заговорить» их демонов.

— Значит...

— Там трансформаторный щит, помнишь гудело, когда мы шли? Я прокрался к нему и немного повертел их технику... Не подадут же они на меня в суд за это...

Мизигин крепко сжимал мою руку. Меня била дрожь.

— Ты с самого начала догадался? — вопрос дался мне с трудом.

Мизигин покачал головой:

— Я и сейчас не уразумел как следует все эти трюки... Но с одним они явно переборщили. У тебя обычные часы, у меня антимагнитные. А они для всех одинаково применяют магнитное поле. С этой мелочи и начался их просчет со мной. — Помолчав немного, он добавил: — И все же они неплохие психологи. Ведь их демоны существуют только потому, что в душах людей еще очень часто живет страх перед непознанным, грозным и непонятным. Он-то и порождает представления о потусторонней силе. И как же ловко, по-современному они пользуются этим!..

"Выше головы не прыгнешь", — твердит пословица. "Прыгай!" — приказывают обстоятельства, и — гоп! — человек прыгает выше головы.

Мрачные обстоятельства, которые на этот раз заставили людей опровергнуть пословицу, были кратко изложены в речи Президента фирмы "Робот — друг человека".

— Господа, — сказал он. — Реклама конкурентов забивает нашу, и продукция лишается сбыта. Прошу придумать нечто гениальное.

Мозговой штаб фирмы "Робот — друг человека" энергично задумался.

Первым взял слово Главный рекламист — положение обязывало его быть гениальнее других.

— Предлагаю... э-э... предлагаю очередную "мисс Европу" выдать замуж... э-э... за робота нашей фирмы.

— Гм! — сказал Президент.

Специальный рекламист возликовал, уловив в "гм!" Президента сомнение.

— Все поймут, что это фикция, — бросил он. — Да и согласится ли мисс...

— За миллион долларов любая мисс согласится обвенчаться хоть с утюгом, — парировал Главный рекламист.

— Слишком банально, — после тщательно взвешенного молчания сказал Президент. — Нет остринки. Такой, знаете ли, чтобы впилась в нерв общества. О свадьбе с роботом пошумят неделю—другую, а потом забудут... Прошу выдвигать новые идеи.

В кабинете от напряженной работы мысли, казалось, потускнел воздух.

"Один — ноль в мою пользу", — удовлетворенно подумал Специальный рекламист. Однако он прекрасно понимал, что начальство уважает подчиненных не за скепсис, а за

положительные идеи. Но, как назло, мысль, скользнувшая на "футбольные" рельсы, сойти с них не желала.

И внезапно...

Специальный рекламист вдохновенно поднял голову.

— Господа! — звенящим голосом провозгласил он. — Чье имя шепчут мальчишки, взрослые и старики во всех уголках страны! Великих писателей! Нет! Ученых! Нет! Врачей, педагогов! Нет, нет и нет! На каждого человека, знающего, кто такие Эйнштейн и Хемингуэй, приходится десяток людей, которые спросонок назовут вам лучших футболистов страны. Моя идея проста. Мы создаем робота-вратаря, внешне тождественного человеку. Он спасет футбольный престиж страны. Вот тогда неожиданно для всех мы объявим, что гениального вратаря создали мы — фирма "Робот — Друг человека". И наша продукция покорит сердца.

— Гм! — сказал Президент.

Главный рекламист даже пискнул от зависти.

— Да вы представляете, — закричал он, оборачиваясь за поддержкой к Главному технологу, — вы представляете, какую невероятную программу надо задать такому роботу, чтобы никто не заподозрил подделки)!

— Сложно, — сказал Главный технолог.

— Ничуть! — бодро возразил Специальный рекламист. — От вратаря никто не потребует ума и тонкости души. Достаточно снабдить его программой хватания мяча, программой выполнения некоторых элементарных человеческих функций, программой несложных острот для телевидения. Последнее, впрочем, не обязательно.

— Можно, — сказал Главный технолог.

— Нужно, — отрезал Президент.

Карьера вратаря Джона Смита была ослепительной, как восход солнца. Весной он появился в составе третьеразрядной команды "Белый лебедь", и уже к концу года "Белый лебедь" стал чемпионом страны. Его футболисты не стали играть лучше. Отнюдь. Они просто толпились всем гуртом на стороне противника и, наплевав на оборону, ждали

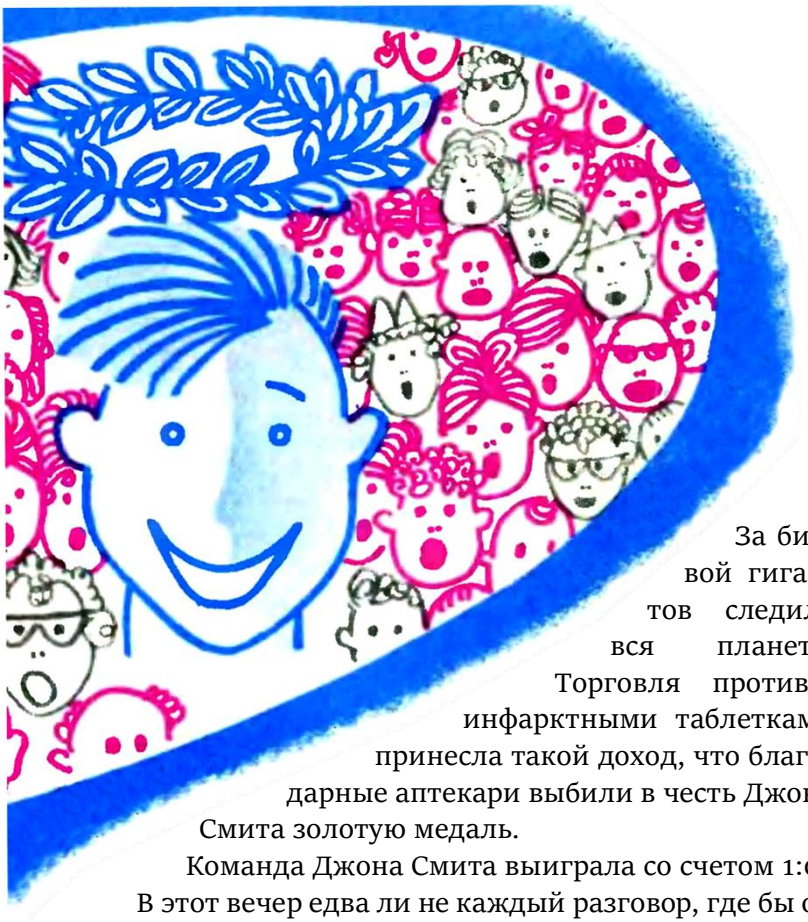
благоприятного момента, чтобы с близкого расстояния вбить мяч в чужие ворота. Они ничем не рисковали. Проиграть они не могли, потому что новый вратарь брал все мячи решительно все — в девятку, "сухим листом", с пенальти. Потому "Белый лебедь" либо играл вничью, либо выигрывал.

Болельщики взвыли. Портреты Джона Смита не сходили со страниц газет. Телевидение только за один месяц назвало его имя семь тысяч сто один раз! К декабрю было продано девять миллионов семьсот двенадцать тысяч открыток с изображением Джона Смита и почти столько же значков. Шипение недоброжелателей, щедро оплаченное хозяевами других команд, умолкло навсегда, захлестнутое потоками протестующих писем. Ежедневно Джон Смит получал тридцать любовных посланий и семьдесят писем от мальчишек, которые клялись во всем брать с него пример.

К тому же выяснилось, что Джон Смит простой, свойский парень без мудрствования, что у него обаятельная улыбка и богатый запас острот. Этим он завоевал еще несколько миллионов сердец.

Близились международные игры. Национальная команда, в состав которой был, естественно, включен Джон Смит, еще ни разу не выходила даже в полуфинал. Но теперь... Теперь в ее рядах было "чудо века" — непобедимый Джон Смит! Тренеры прославленных зарубежных команд, заранее бледнея от страха, силились разработать новые виды тактики и стратегии типа "Все на одного" или "Все в защите". Пресса неистовствовала. Сумма пари, заключенных на Джона Смита, перевалила за двести миллионов долларов. Его автографами спекулировали уже на всех континентах.

И вот наступил великий час... Лучший нападающий мира тринадцать раз обрушил на ворота Джона Смита свой знаменитый пушечный удар. И тринадцать раз мяч оказывался в руках приветливо улыбающегося Джона Смита.



За битвой гигантов следила вся планета. Торговля противоинфарктными таблетками принесла такой доход, что благодарные аптекари выбили в честь Джона Смита золотую медаль.

Команда Джона Смита выиграла со счетом 1:0.

В этот вечер едва ли не каждый разговор, где бы он ни шел, начинался и кончался именем Джона Смита.

Следующая команда противника проявила позорное малодушие: игроки стадом овец сгрудились у своих ворот, чтобы таким способом свести игру на ничью. Понятно, что в этой толкучке защитники дважды забили мяч в собственные ворота... Опозоренная команда, не рискнула вернуться на родину, где у посадочных площадок аэродрома их ждали толпы болельщиков с гнилыми ананасами наготове.

В третьей игре Джон Смит едва не стал жертвой подлого нападения. Подкупленный (как потом выяснилось за 350 тысяч долларов) игрок Бризантии нанес ему страшный удар

в коленную чашечку, на что Джон Смит только улыбнулся (конструкторы снабдили его солидным запасом прочности).

Команда Джона Смита стала чемпионом мира!

— Пора! — сказал Президент, радостно потирая руки. — Наш мальчик взошел на пьедестал всемирной славы. Раскроем наши карты.

Специальный рекламист скромно сиял.

— Не выйдет, — вдруг сказал Главный психолог, только недавно приступивший к своим обязанностям после длительной болезни.

Президент грозно нахмурился.

— Вы что-то сказали!

— Да, господа, сказал. Я не хочу, чтобы из нас сделали фарш.

Президент оторопел. Главный рекламист, еще не понимая, в чем дело, радостно взбодрился, а Главный технолог ни к селу ни к городу мрачно обронил: "Возможно".

— Э-э... объяснитесь... — наконец пролепетал Специальный рекламист.

— Пусть за меня объяснит телевизор.

Главный психолог встал и включил телевизор. В кабинет ворвался неистовый рев:

— Джон Смит! Джон Смит! Джон Смит!!!

Экран наплывом заполнили перекошенные лица. "Вот он, вот он! надрывался телекомментатор, силясь перекричать вопль толпы. — Вот он, великий, величайший, наш гений!!! Вы слышите, как встают трибуны! Тысячи оваций, тысячи порывов, слитые воедино!!! Да здравствует..."

— Надеюсь, теперь вам все ясно? Главный психолог убрал звук. — ОН кумир. Мы перед ним ничто. Тронуть его — все равно что наплевать в душу миллионам, они нам этого не простят. И кроме того, он принес национальной сборной победу. Надеюсь, вы патриоты, господа?

Президент бессильно упал в кресло. С экрана ему улыбался Джон Смит.

В больничной приемной было тихо, тепло и светло. Храм чистоты и порядка, где даже никелированная плевательница на высоких ножках имела вид жертвенника, воздвигнутого в честь гигиены.

Напротив Исменя, вскинув голову, как офицер на параде, сидел усатый человек с немигающими темно-кофейными глазами. Фаянсовая белизна воротничка туго стягивала его морщинистую шею. К плечу усатого жался худенький мальчик с прозрачным до голубизны лицом. Над их головами простирался плакат: "Духовное здоровье — залог счастья". Другие плакаты возвещали столь же бесспорные истины.

"И-и-ы!" — тоненько присвистнуло за дверью, которая вела в операционную.

Рука сына испуганно шевельнулась в ладони Исменя.

— Пап, а больно не будет?

— Не будет, я же тебе говорил, — привычно успокоил Исмень.

— Они могли бы поторопиться, — сказал усатый, ни к кому не обращаясь.

Исмень наклонил голову, чтобы выражение лица не выдало его мыслей. С каким наслаждением он взял бы этого дурака за фаянсовый воротник и бил бы его затылком о стену, пока не вышиб из него все тупоумие!

Глупо. Все они соучастники преступления, он сам — вдвойне, потому что знает, но молчит. Этот усатый по сравнению с ним невинней невинного, ибо ни о чем не догадывается, хотя мог бы сообразить и должен был бы сообразить, если только у него действительно есть разум. Впрочем, в такие, как сейчас, времена многие, наоборот, стараются избавиться от разума, потому что это слишком опасно — выделяться среди других. Торжество самопредательства — вот как это называется.

Шторы окна с мерным постоянством озаряло мигание вездесущей рекламы, и тогда на багровеющем полотне проступала тень рамы, словно снаружи кто—то неутомимо подносил к окну косой черный крест. "Распятие потребительства!" — вздрогнув, подумал Исмень.

Из коридора послышался семенящий стук каблучков, дверь распахнулась, и в приемную, волоча золотоволосую девочку, вплыла дородная дама в узкой юбке до пят.

— Уж-ж-жасно! — пророкотала она, обводя взглядом мужчин. — Надо же очередь! Кто последний?

— Я, — сказал Исмень, приподнимаясь. — Но если вы торопитесь...

У него был свой расчет. Чем утомленней будут врачи, тем легче ему удастся осуществить замысел.

— Вынь палец из носа! — прикрикнула дама на девочку, опускаясь на диван и одновременно поправляя прическу. — Уж-ж-жасно тороплюсь!

— В таком случае рад уступить вам очередь.

— Я тоже не возражаю, — поклонился усатый.

— Весьма признательна! Нюньсик, ты никак хочешь плакать? Нюньсик, посмотри на мальчиков, как тебе не стыдно! Дядя—врач прогреет тебя лучами, и у тебя никогда-никогда не будет болеть голова... Ведь правда? — она обернулась к Исменю.

— В некотором смысле — да, — согласился Исмень.

В некотором смысле это была правда. У золотоволосой Нюньсик, у мальчика с прозрачным до синевы лицом, у многих детей, когда они вырастут, не будет болеть голова от сострадания к другим людям. Растоптать человека им будет все равно, что растоптать червяка. Равнодушные среди равнодушных, они возопят лишь в то мгновение, когда несправедливость коснется их самих. Но помощи они не сыщут, потому что сами не оказывали ее никому и никогда.

Исмень украдкой взглянул на сына, и сердце ему стиснула такая боль, что в глазах потемнело от ненависти. Здесь, где чисто, тепло и светло, ребятишки доверчиво жмутся к

своим отцам и матерям — самым сильным, самым мудрым людям на свете, — как будто предчувствуют недоброе и ищут защиты у тех, кто их всегда защищал. А они, эти взрослые — добрые, неглупые люди, сами, своими руками втолкнут их в это страшное будущее.

Дверь операционной приотворилась, выглянул врач с унылым продолговатым лицом и, не глядя ни на кого, буркнул:

— Следующий.

Дама поднялась и, прошелестев юбкой, двинулась было к врачу, однако девочка, внезапно присев, крикнула: "Нюньсик не хочет!" — и быстро-быстро замотала головой, скользя полусогнутыми ногами по пластику пола.

— Нюньсик! — трагическим голосом воскликнула мать. — Сейчас все будет в порядке, — она обворожительно улыбнулась врачу и, погрозив девочке пальцем, громко зашептала ей на ухо: — Будь умницей, Нюньсик, встань, вытри слезки, мамочка купит тебе новую куклу, а Нюньсик сама пойдет ножками топ-топ...



Нюньсик, бросив на мать торжествующий взгляд, тотчас вскочила, поправила взбившуюся юбочку.

— Великолепно, мадам, — сказал врач. — Ваша дочь действительно умница, и вам необязательно присутствовать при процедуре. Будьте, однако, здесь на случай капризов.

Он машинально погладил золотистую головку девочки, и дверь за ними захлопнулась.

Дама села на диванчик с горделивым видом, который лучше всяких слов вопрошал: "Ну, как я воспитала ребенка?"

Платье на ней было, похоже, от лучших парижских портних.

Исмень прикрыл глаза, чтобы ее не видеть.

В глубине души он завидовал неведению этих людей. Им сказали, что маленькая и безболезненная профилактическая операция навеки избавит их детей от угрозы шизофрении, и люди этому поверили. О сложностях большого мира обыватель думать не умеет, да и не хочет, и всем решениям предпочитает простые и однозначные — они понятней. В свое время ему сказали, что страной, если не принять мер, завладеет коммунизм, и он, напуганный разгулом экстремизма, похищениями и провокационными убийствами, с готовностью проголосовал за "чрезвычайные законы", которые, как было задумано, на деле отменяли всякую законность. Вот чем все это кончилось: со спокойствием барана обыватель ведет своих детей на духовную кастрацию.

И поздно что-либо изменить.

Исмень живо представил, каким ужасом округлились бы глаза этой дамы, каким верноподданническим гневом затрясся бы усатый, вздумай он просветить их. Эти добропорядочные обыватели скорей всего позвали бы полицию, и дама с благородным возмущением толковала бы о мерзавце, который вздумал клеветать — вы только подумайте! — на заботу власти о здоровье их детей.

— Дети наш крест и наша тихая радость, — разглагольствовала тем временем дама. — Вы не представляете, каких

нервов стоит уберечь ребенка! Не далее, как вчера — нет, это ужасно! — какой-то хулиган едва не сбил Нюньсика с ног. Прямо на улице! Я чуть не выцарапала глаза негодяю... Чем занимается наша полиция, я вас спрашиваю? Чем? Почему не попересажали этих патлатых молодчиков? Этих бездельников, которые разленились, получая от нас пособия по безработице?

— Мадам, — усатый вдруг повернулся к ней, и его туго накрахмаленный воротничок, казалось, скрипнул от напряжения. — Нас предупреждали, мадам, что разговоры в приемной мешают врачам.

Дама побагровела от обиды и величественно замолкла.

В помещении сгустилась напряженная тишина.

Легкий скрип двери заставил Исменя вздрогнуть.

Но это была всего лишь Нюньсик. Не было заметно, чтобы операция причинила ей какое-нибудь беспокойство. С радостным писком она пулей пересекла комнату и сразу же попала в пышные объятия матери, которая внезапно превратилась в обыкновенную клушку, суетливо хлопочущую над потерянным и вновь найденным цыпленком.

— А я была умница, а ты дай мне новую куклу! И мороженое!..

— Следующий! — донеслось из-за приоткрытой двери.

Усатый встал, как на шарнирах, неловко прижал к себе мальчика, отстранился.

— Ну, иди...

И пока тот шел, вяло перебирая ногами, усатый все смотрел ему в спину. За мальчиком закрылась дверь. Усатый обернулся, его глаза на мгновение встретились с глазами Исменя, и Исмень чуть не вскрикнул — такая в них была волчья, глухая тоска.

Усатый молниеносно потушил взгляд, закашлялся и сел, ни на кого не глядя.

Так он знал! Пол закачался под Исменем. Усатый, бесспорно, знал. Может быть, и дама знала?! Все они все знают? Шли, зная, что ждет их детей, что ждет их самих, и все-таки

шли! Убежденные, что так надо. Убежденные, что ничего не изменишь. Скованные страхом, пылающие верой, шли! Неся маски на лицах, шли!

— Кхе... — сказал усатый.

Исмень с надеждой вскинул голову. Дама ушла, они одни, одни...

Однако ничего не случилось. Усатый сидел, строго выпрямившись, как памятник самому себе. Если что и было теперь на его лице, так это — долг и смирение.

Исмень опустил голову. Нелепой была надежда, что здесь, где по углам наверняка запрятаны микрофоны, будут произнесены какие-то слова. Да и к чему они сейчас?

Он встал. Воздух давил на грудную клетку, как могильная плита. Пластик глушил стук шагов, и Исменю казалось, что это удаляются звуки внешнего мира, а он остается один, один среди молчания и света.

— Папа, сядь ко мне...

Исмень медленно обернулся. У него возникло странное ощущение, что он видит сына, откуда-то издали и видит в последний раз. Он сел в испуге, провел ладонью по мягким, теплым, пахнущим чем-то родным и уютным волосам сына, тот, ласкаясь, потерся щекой о его плечо, и острая, как клинок, ненависть ударила Исменя в сердце. Сволочи, сволочи, какие же сволочи! Растоптать себе подобных, сделать из жизни кошмар — и все это ради сохранения своей власти, своих денег, своей прибыли, своей "сладкой жизни", — только ради этого. Они и взрослых бы оперировали, да вот затруднение, наука еще не дошла... Несущая черный крест алчность! Мало им было паучьей свастики!

Горькую и мстительную радость Исменю доставила мысль о том, что это преступление в конечном счете погубит преступников же. Стадо не способно к возмущению — естественно. Зато оно не способно и к творчеству, ибо только личность создает новое. Очень скоро их страну обгонят и в науке, и в экономике, и в культуре, а уж о морали и говорить нечего. И тогда — крах! — их раздавят, как пустой орех. И те,

кто в своем безграничном тупоумии затеял все это, погибнут тоже. "Я тоже погибну, — подумал Исмень. — Может быть, еще раньше. Ну и пусть".

Но прежде он выполнит свой долг перед сыном.

— Следующий!

Исмень сжал руку сына. Он заранее предупредил его, что тот должен разреветься, едва последует вызов в операционную. И теперь он напоминал ему.

Но сын лишь оцепенело смотрел на отца.

— Следующий! — нетерпеливо напомнил голос.

— Мэт... — прошептал Исмень.

И то ли сына напугало выражение отцовского лица, то ли просто миновал неожиданный шок, но только его рот судорожно дернулся, и он заревел безудержно, отчаянно, во всю силу своих легких.

Выскочивший врач отчаянно замахал руками на неловко хлопочущего Исменя.

— Тише, да тише же! Уймите его, наконец!

— Господин доктор, мне кажется, будет целесообразным, если во время процедуры он сможет видеть меня. Я полагаю, что этот плач...

— Ох уж мне эти родители-воспитатели! — в сердцах буркнул врач, свысока разглядывая ревущего мальчишку. — Пожалуйста, присутствуйте, если это успокоит его. Мы не можем обрабатывать истериков...

— Мэт, Мэт, — зашептал Исмень, опускаясь перед сыном на корточки. — Да успокойся же... Дядя разрешил, папа будет с тобой рядом, ну пойдем, пойдем...

На это Исмень и рассчитывал. Ему нужно было находиться возле сына, когда того начнут оперировать, и он знал, что в подобных случаях это не возбранялось.

Подводя к дверям все еще плачущего сына, Исмень быстро прикрепил к его затылку крохотный магнит. Теперь все зависело от усиков—держалок. И от внимательности врачей, конечно.

Обнимая сына, Исмень переступил порог.

Кабинет более всего напоминал собой лабораторию, и, как во всякой лаборатории, вид громоздящихся друг на друга измерительных приборов, разлапистых установок, оплетенных кабелями и шлангами, производил впечатление чего-то временного, хаотичного, поспешного. Слева, ярко освещенное рефлекторами, стояло кресло, похожее на зубоврачебное, справа, за шкафами контрольной аппаратуры, стоял обычный канцелярский столик, заваленный перфолентами и скупо освещенный переносной лампой.

— Сюда, — сказал человек, сидевший за столом. — Имя? Фамилия? Год рождения?

Человек привычно сыпал вопросами, его руки с бесстрастностью приборов кодировали ответы, лицо не выражало ничего, кроме делового равнодушия, и было сделано, казалось, из серого папье-маше. Поглаживая вздрагивающие плечи сына, Исмень отвечал с той же привычной механической быстротой. Что бы ни происходило с человеком — женился ли он, поступал на работу, заболевал, попадал под суд, — всему этому неизбежно предшествовала точно такая же процедура вопросов-ответов. И, лишь умирая, человек избегал этой механической операции заполнения анкет, этого социального рентгена, неизбежного для всех. Но тогда отвечать приходилось родственникам, друзьям, даже посторонним людям. Человек мог умереть и быть похороненным без устаревших церковных обрядов и доброго слова других людей, но без процедуры составления документов — никогда.

Мальчик успокоился и только слегка всхлипывал. Исмень, погладив его по голове, еще раз проверил, как держится магнит. Тот держался прекрасно, но волосы, увы, едва прикрывали его.

Регистратор ушел за перегородку и там зашуршал своими перфолентами.

— Усаживайтесь, молодой человек, — сказал врач, показывая на кресло. А вы сидите там... — махнул он Исменю.

Два серебристых конуса на шарнирах по бокам спинки кресла, медные подлокотники, какие-то металлические жгуты с присосками, мигающая рябь огоньков на пульте контрольного аппарата... Исмень знал, зачем эта аппаратура, что она делает и как. Он сам участвовал в разработке некоторых ее деталей! И хотя ему, как и другим, никто не объяснял, зачем они нужны и как будут использоваться в совокупности, шанс догадаться был, и чистая любознательность подтолкнула Исменя к далеко идущим выводам.

Лучше бы он ничего не знал!

Сына усадили в кресло, закатали ему рукава, змеящиеся датчики оплели запястья, лоб обхватил обруч. Кресло словно присосалось к мальчику.

— Врач и его хмурый помощник делали все быстро, не глядя, так, если бы в их руках находился не ребенок, а кукла.

Стук собственного сердца оглушал Исменя.

Лицо сына казалось нестерпимо отчетливым в жестком свете рефлекторов. В расширившихся черных глазах, быстро сменяя друг друга, чередовались любопытство, страх, растерянность. Под глазами темнели грязные потеки недавних слез, губы вздрагивали. Когда его ищущий поддержки взгляд вцепился в Исменя, тот нашел в себе мужество и ободряюще улыбнулся. Губы сына перестали дрожать.

— Телескопируем!

Повинуясь приказу врача, помощник нажал кнопку на пульте, и серебристые конусы пришли в движение, приподнялись, с двух сторон нацелились в голову сына.

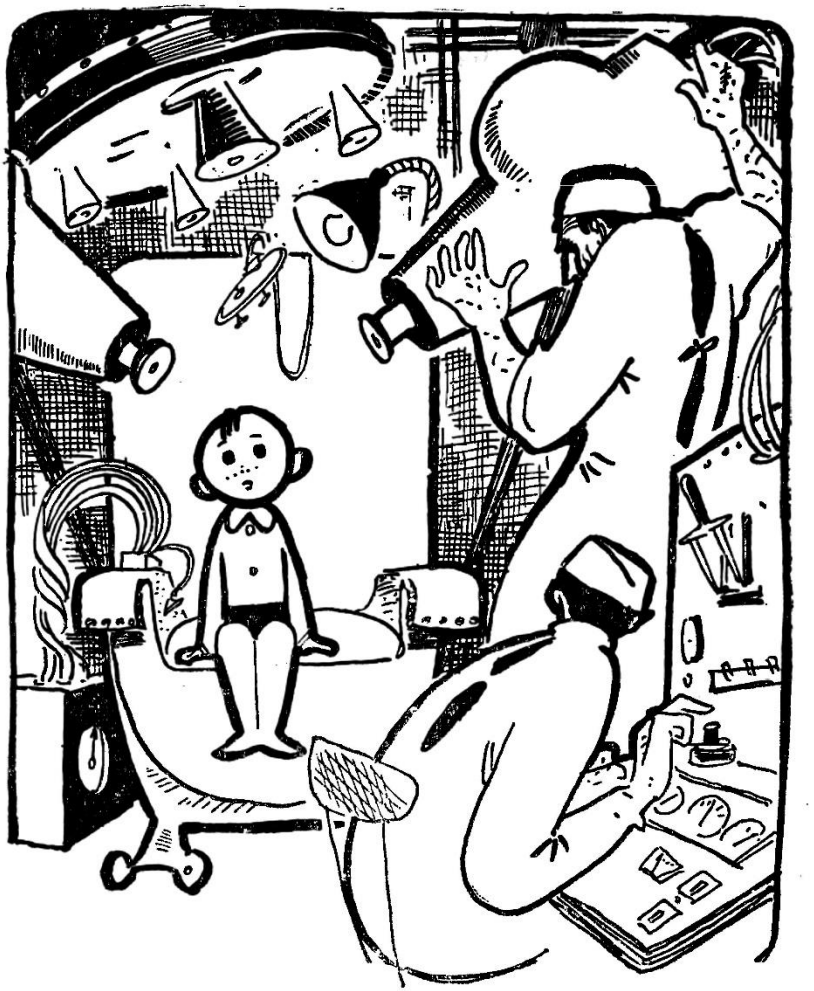
— Ток!

Исмень сжался, больше не чувствуя собственного тела. Наклонившись, врач проверял положение конусов. Помощник сидел за пультом. Разноцветные отсветы огоньков играли на его сосредоточенном, неподвижном, как у идола, лице.

Шкала магнитометра находилась от него справа. Но ведь, кроме нее, было еще множество других, не менее

важных шкал! "Только бы он не взглянул туда!" — молил Исмень.

Врач все еще проверял положение конусов, держа перед глазами визирующий стереообъектив. Между остриями уже пульсировало невидимое магнитное поле. Через несколько секунд оно должно было сжаться в узкий и мощный луч, точно нацеленный на тот еще недавно неведомый участок



мозга, где жизненный опыт и воспитание фиксировали в нервных клетках неуловимую и расплывчатую субстанцию, испокон века именовавшуюся совестью.

Сейчас будет произнесена последняя команда...

— Скажите, пожалуйста, если ребенок вскрикивает по ночам, то следует ли показать его психоневропатологу?

Исмень выпалил эту отвлекающую фразу, не слыша собственного голоса.

Оба — врач и помощник — сделали одно и то же досадливое движение рукой.

— Не мешайте! — рявкнул врач. — Поле!

Крохотный магнитик, спрятанный в волосах сына, должен был исказить и обезвредить разящий луч. — Исмень все рассчитал точно. Дальнейшая судьба сына и его самого зависела теперь от внимательности помощника.

— Извиняюсь, я только хотел спросить...

Спина врача окаменела от ярости. Взгляд помощника метнулся было к глупо улыбающемуся Исменю, но задержался на пульте и...

Помощник смотрел на магнитометр, который, разумеется, фиксировал искажение поля.

Исмень закрыл глаза. Его невесомое тело куда—то поплыло, и он даже почувствовал облегчение.

Все кончено. Сын погиб. Сейчас с грохотом будет отодвинут стул... Потом арест, тюрьма, а может быть, и казнь.

В тишине слышалось напряженное гудение трансформатора.

С усилием, почти болезненным, Исмень приоткрыл веки.

Этого не могло быть! Но это было. Помощник все еще сидел за пультом, устало следя за показаниями приборов и что—то регулируя верньером. На шкалу магнитометра он уже не смотрел. И нельзя было понять, думает ли он о чем—нибудь, волнуется, сочувствует... Лоб в тонких прорезях вертикальных морщин, нездоровые круги под Глазами, вялый подбородок — лицо, каких тысячи.

— Сброс!

Врач выпрямился, гудение трансформатора умолкло, помощник откинулся на спинку стула.

— Вот и все, — сказал врач. Только сейчас Исмень заметил, как устало обвисли на его теле складки белого халата. — Забирайте парнишку.

Теперь кресло освобождало мальчика, и, пока это длилось, Исмень понял, отчего Мэт за все это время даже не всхлипнул: он попросту оцепенел от страха. Как тогда, в приемной.

На негнущихся ногах Исмень подошел к креслу, взял на руки сына, сказал врачу "спасибо" и, повернувшись к помощнику, тоже сказал "спасибо". Здесь его голос дрогнул, так много чувства вложил он в это обесцвеченное эпохой слово, но помощник ничего не ответил и даже не посмотрел на него.

На улице кружила мокрая ноябрьская метель, когда Исмень вышел с сыном из клиники. В полузастывших лужах осколками дробилось отражение угрюмых, потемневших зданий. К сыну уже вернулась жизнерадостность, он спешил с вопросами, на которые Исмень односложно отвечал "да", "нет", пока не прозвучал вопрос о магните.

— Пап, а зачем ты запрятал мне в волосы эту штуку?

Исмень оглянулся. Прохожих вблизи не было.

— Так было надо, малыш, — сказал Исмень, заглядывая в лицо сына. — Так надо. Но ты никому и никогда не говори об этом. Никому и никогда. А если, не дай бог, и проговоришься, то скажи... скажи, что просто выдумал. Понял?

Сын удивленно посмотрел на отца, ведь тот никогда не учил обманывать. Он слушал, по-взрослому сдвинув брови, потом кивнул.

— Да, пап.

"Вот я и преподал ему первый урок лжи, — подумал Исмень. — А сколько их еще будет!"

Все только начиналось. Сына предстояло обучить умению не выделяться среди лишенных совести сверстников.

Всюду и везде одинокий, всем и вся чужой — выдержит ли он это?

И сохранится ли в нем человек?

Поблагодарит ли он когда-нибудь отца за сегодняшнее или, наоборот, проклянет?

Сын молча шагал рядом с Исменем, держась за его руку.

Он шел по красной, смерзшейся равнине прямо, только прямо — уже вторые сутки. На нем был заметный издали ярко-синий комбинезон, но надеждой, что его найдут, он не обольщался. Это было бы чудо, если бы в однообразный свист марсианского ветра вторглось гудение мотора.

Он шел походкой заводного автомата — мерной, экономящей силы: шесть километров в час, ни больше, ни меньше. Мысли тоже были подчинены монотонному ритму. Впечатления утомляют не хуже, чем расстояния. Из всего пройденного пути в памяти остались какие-то обрывки, все остальное слилось в туман, а прежняя жизнь отдалилась куда—то в бесконечность, сделалась маленькой и нереальной, как пейзаж в перевернутом бинокле.

Зато и страха не было. Было тупое движение вперед, была тупая усталость в теле и тупая бесчувственность в мыслях. Лишь все сильней болело левое плечо, перекошенное тяжестью кислородного баллона (правый уже был израсходован и выброшен). А так все было в порядке — он был сыт, не испытывал жажды, электрообогрев работал безукоризненно, ботинки не терли и не жали. Ему не надо было бороться с угасанием тела, лишенного притока жизненной энергии, не надо было ползти из последних сил, повинуясь уже не разуму, а инстинкту. Техника даже теперь избавляла его от страданий.

Снова и снова он машинально поправлял сумку, чтобы уравновесить нагрузку на плечо. Всякий раз, когда он это делал, положение головы чуть изменялось, и свист ветра в ушах (точнее — в шлемофонах) то усиливался, то спадал. Несмотря на ветер, воздух был чист и прозрачен, близкий горизонт очерчивался ясно, фиолетовое небо, как и почву, прихватил мороз, отчего редкие звезды в зените горели бестрепетно и сурово.

Он еще испытывал удовольствие, пересекая невысокие увалы. Подъем бывал не крут, он не сбавлял шага, а при спуске даже ускорял и радовался, что холмы помогают идти быстрей, хотя это был явный самообман, и он знал это. Все равно ему нравилось "отпускать тормоза". (Еще в детстве он любил воображать, что не идет, а едет, что он сам автомобиль и вместо ног у него четыре колеса; приятно было самому себе "поддавать газ", то есть "шагать быстрей", "выворачивать руль", избегая столкновения с прохожим, и "жать на тормоза". Сейчас он тоже казался себе машиной.)

Постепенно отбрасываемая им тень удлинялась. Чем ниже опускалось солнце, тем красней делалась равнина. Склоны увалов пламенели. Но за гребнями уже копились темно-фиолетовые сумерки. Ветер как—то незаметно смолк. Все оцепенело, и на Севергина — так его звали, когда-то, но это теперь не имело значения — повеяло той тревогой, которая предшествует приходу ночи, когда человек одинок и беззащитен среди пустыни.

Он посмотрел на солнце и почувствовал невыразимую тоску. Значит, он все-таки надеялся в глубине души, что его спасут... Конец светлого дня, означал конец надежды.

Издали, от синюшных вздутий эретриума, пересекая тени, прокатилось что—то живое, приблизилось к Севергину. Взгляд маленьких, розово блеснувших глаз зверька уколол человека. Севергин положил руку на пистолет. Но зверек, не задерживаясь, пробежал по своим делам. Какой—то мудрый инстинкт, видимо, подсказал животному, что это двуногое не имеет отношения к Марсу, что оно случайно здесь, случайно живо и не случайно исчезнет еще до того, как солнце вновь окрасит равнину.

Севергин чуть не выстрелил животному вслед, так ему стало жалко себя! Кто-то словно перевернул бинокль, и прошлое ожило. То прошлое, которое предрешило все. Почему именно его природа сделала не таким, как все? Почему, почему?



Наклонив голову и почти обезумев, он побежал навстречу крадущимся теням. Мышцы, как он и ожидал, тотчас налились свинцом, но он гнал и гнал себя вперед, точно казня свое тело.

Метров через сто он сдался. Любой другой человек его возраста и здоровья осилил бы и тысячу. А ему хватило ста, чтобы изнемочь.

Так было всегда.

Он родился неполноценным — не таким, как все. Беда была не в том, что он, скажем, не мог есть хлеба, — тысячи людей не могут есть чего-то: кроме неудобств, это ничего не создает. Природа отказала ему в более важном — в силе. Он был не болезненней других ребят, но сдыхал на стометровке, не мог подтянуться на турнике, плакал, пытаясь одолеть шведскую стенку.

Нет, ему были доступны длительные физические нагрузки, такие, как ходьба на большие расстояния. Дело было в другом. На мотор, пока он не разработался, ставят ограничитель. А вот в его организме такой ограничитель был поставлен навечно. Он не был способен на усилия резкие, требующие большого выхода энергии, как привернутый фитиль не способен на яркое пламя.

Сверстники снисходительно презирали его за слабость, а учителей физкультуры он доводил до бешенства. Если врачи ставят диагноз мальчишке "здоров", если парень нормально сложен, то какое он имеет право мешком висеть на канате?! Физкультура была кошмаром детства и юности Севергина. При виде брусьев, колец он трясся, как осужденный на пытку. "Чемпион, чемпион!" — кричали ему ребята в пропахших потом и пылью физкультурных залах. И он заранее мертвел, зная, каким смехом (беззлобным, но оттого не менее обидным) они встретят его нелепый, позорный прыжок через "козла".

Спас его четвертый или пятый по счету врач, к которому отвели его встревоженные родители. Этот врач тоже не нашел ничего ни в сердце, ни в легких, но не пожал

плечами, не посмотрел на мальчика, как на симулянта, а спокойно сказал:

— Отклонения в обмене веществ, похоже, генетические. Пока неизлечимо. Не огорчайтесь. Футболистом вам не быть, а в остальном... В пещерные времена вас скушал бы первый же тигр, но какое это имеет значение сейчас? Так что не обращайте внимания.

Кошмар рассеялся навсегда.

Вот чем все это кончилось — печально гаснущей равниной Марса, сумасшедшим бегом от самого себя...

Севергин заставил себя лечь, устроил ноги повыше, чтобы они лучше отдохнули. Эти простые движения успокоили его. Вспышка отчаяния вернула ему трезвость.

Он сам во всем виноват, обвинять некого. Он сам бросил судьбе вызов, отправившись на Марс. Не так, разумеется, как в детстве, когда, ревя от злости, он вновь и вновь хватался за штангу, чтобы или поднять ее, или свалиться замертво. О, о таких схватках прославленный доктор микробиологии и думать забыл! Он уже давно жил в мире, где все решал ум, а физические достоинства не имели значения. Там он был на месте, более чем на месте. Не удивительно, что именно его, а не другого попросили срочно прибыть на Марс, чтобы разобраться в тревожном поведении кристаллобактерий, необъяснимо преодолевавших фильтры водоочисток. Плевать всем было на то, может он или нет подтянуться на турнике: Марсу требовался его ум, а не мускулы.

Он мог бы не поехать. Но избранником прийти на Марс, приблизиться к тому переднему краю, где человек ведет суровую борьбу за выживание, — мог ли он отказаться от столь блистательного реванша за унижения детства? Чтобы почувствовать себя таким избранником, надо было закрыть глаза лишь на ничтожный пустяк. А именно: никто — ни люди, ни обстоятельства заведомо не требовали от него на Марсе рукопашного боя с природой. Там, как и на Земле, он оставался пассажиром корабля, именуемого цивилизацией, и от штормов его отделяли надежные иллюминаторы. Разве

капитан, беря пассажиров на борт, справляется об их умении плавать?

...Он летел из Сезоастриса в Титанус, сидя в мягком кресле крохотной автоматической ракеты, которая сама взлетает, сама садится и вообще все делает сама. Он сидел в кресле и читал. Очнулся он, лишь когда увидел приближающиеся снизу скалы. Он не знал и теперь никогда не узнает, что испортилось в механизме. Но и падая, ракета позаботилась о нем: катапульта вышвырнула его прежде, чем он успел сообразить, что произошло.



Одного не смогла сделать автоматика — уберечь его при парашютировании от удара о скалу (но ведь, и самая заботливая мать не всегда уберегает ребенка от ушиба!). К счастью, удар пришелся не по Севергину, а по сумке с аварийным запасом. Рация превратилась в винегрет, посеребренный осколками кофейного термоса, но все остальное уцелело, в том числе и драгоценная планкарта, позволяющая точно определиться в любой местности.

Он определился, как только пришел в себя. Все было и очень хорошо и очень плохо. Он находился в южной части хребта Митчелла, в стороне от трассы, которой следовала ракета, и вне зоны радарного наблюдения. Это означало, что место его падения Сезоастрису не удалось засечь даже приблизительно. Зато он был всего в ста шестидесяти километрах от поселка геологов. Баллоны скафандра и аварийного запаса обеспечивали тридцать шесть часов дыхания. Таблетки, снимающие сон, тоже были. Гористая местность кончалась километрах в семи от места падения, и горы тут были не слишком крутыми, не слишком высокими — вполне туристские горы. Прекрасно! Часов за шесть он пересечет горы, дальше начнется равнина, где вполне можно держать среднюю скорость равной пяти с половиной километра в час. Он успеет дойти. Ведь идти — не бежать, тут его организм не подведет.

В какой-то момент он даже обрадовался: он на самом деле возьмет реванш!

Он рассеял вокруг места аварий приметную сверху флюоресцирующую краску и бодро двинулся в дорогу.

Он забыл, что даже в невысоких горах, если не хочешь удлинить свой путь впятеро, надо кое-где карабкаться отвесно вверх, перепрыгивать через трещины, подтягиваться на руках, то есть делать все то, что делать он был не способен.

На преодоление первых семи километров ушло пятнадцать часов, тогда как любой парень со значком туриста потратил бы на его месте от силы шесть-восемь!

Дальше он шел, уже зная, что дойти не успеет.

...Маленькое марсианское солнце коснулось края равнины. Севергин встал. Его вытянувшаяся тень скакнула за горизонт. Надо было идти, чтобы ритм движения усыпил разыгравшиеся эмоции.

Он не прошел и километра, как равнина потускнела. Но в вышине неба одно за другим вспыхивали незримые днем перистые облака, будто кто—то трогал их, беря аккорды

цветомузыки. Золотистые, лиловые, красные — тона были нежные, легкие, высокие.

Севергин поднял голову и шел так, улыбаясь чему-то, поражаясь тому, что улыбается, и желая себе вечно быть таким, как сейчас.

Не надо спорить с природой — он только теперь это понял. Не надо требовать от нее уюта диванных подушек, надо брать то, что она дает, и любить каждое мгновение своего существования, ибо вдали у каждого все равно смерть. Так стоит ли ненавидеть жизнь за то, что она не вполне соответствует желаниям? Камень падает, река течет, человек ищет счастья, все совершается по своим законам, их надо понять, а спорить — к чему?

Севергин незаметно для себя перешел тот рубеж, который отделяет отрезок жизни, когда о смерти не думают, от последней прямой, когда точно известен час конца. Разные люди пересекают этот рубеж по-разному, но все они открывают за ним что-то новое для себя — страшное, великое, в чем есть и ужас, и примирение.

Небо почернело, но темнота длилась недолго: поднялся Деймос. Почва слегка засеребрилась, и холодок, охватывавший колено при каждом шаге, когда ткань натягивалась, сделался ощутимей. Севергин усилил электрообогрев.

Равнина стала плоской, как разостланная скатерть, но кое-где ее узенькими мазками туши пятнали тени, отброшенные редкими стрелками сафара — марсианской травы. Неожиданно Севергин заметил, что старается не наступать на эти стрелки, и удивился, откуда взялась у него такая бережность.

Потом он вспомнил откуда. Хмурым и ветреным апрельским днем он шел однажды дубовым лесом. Деревья стояли по—зимнему нагие, корявые, землю устилали ломкие листья, и под ногами хрустели желуди, такие же коричнево—серые, как и листья. Хруст желудей был чем—то приятен слуху. В нем отзывалась мощь шагов уверенного в себе человека, вес его здорового, сильного тела.

Так шел он, пока среди жухлой травы ему не бросилась в глаза какая-то бледно-зеленая звездочка. Он с удивлением нагнулся: то оказался росток желудя, уже вцепившийся в холодную землю. И тут он увидел, что вокруг таких звездочек много, что они везде и что он шагал по ним тоже.

На цыпочках он поспешил покинуть лес.

Как тогда, Севергин остановился и нагнулся над стрелкой сафара. Почему-то рассмотреть травинку показалось ему делом более важным, чем все другое.

Стебель сафара был похож на ржавую проволоку, косо воткнутую в мерзлый грунт. Он был прочней стальной проволоки, его нельзя было раздавить, как желудь, Севергин это знал. Но сафар так же ждал часа своего пробуждения, как и желудь. В этой разреженной, бедной кислородом и теплом атмосфере ему тоже была уготована весна. Он не прозябал, он прекрасно жил в среде, смертельной для всего земного, если только оно не было ограждено скафандром или стенами теплицы.

С этим тоже следовало смириться.

Внезапно от стебля сафара пролегла вторая тень, тонкая, как вязальная спица. Всходил Фобос.

Севергин выпрямился. Его окружала ярко освещенная равнина. Узкие, сдвоенные тени лежали на ней черной клинописью. Севергин, освещенный лунами, возвышался над темными письменами, как памятник.

И все-таки рядом с ним была жизнь. Сколько раз, вглядываясь в резко очерченное поле микроскопа, он восхищался ее стойкостью! Порою предметное стекло напоминало поле битвы, так густо его усеивали трупы бактерий, убитых ядами, ультрафиолетом, радиацией. Ни проблеска движения, вот как сейчас. Но это был обман. Один организм из миллионов, один из миллиардов нередко оказывался цел и давал начало новой мутационной расе. То неведомое, что отличало его от всех, торжествовало победу над обстоятельствами и отвоевало для жизни новую сферу там, где, казалось бы, не существовало никакой зацепки.

Так было всегда. Никакая ошибка в природе не была ошибкой. Зародившись в воде, земная жизнь овладела сушей, вышла в воздух. Кто знает, может быть, через сотни миллионов лет и без человека ее давление выбросило бы семена новых всходов в космос, перенесло их на другие планеты? Почему бы и нет? Суша для обитателей моря тоже была гибельной пустыней. Но волна за волной, влекомые обстоятельствами, они шли на приступ, и на триллионы погибших всегда приходились одиночки — не такие, как все, одиночки, которые смогли уцелеть в новой среде.

Единственный случай, когда их существование оправдывалось! Ибо в привычных условиях эти же десантники скорей других обрекались на гибель. Когда стая птиц попадает в буран, то смерть выбирает жертвы не слепо. Выверенный миллионами лет эволюции стандарт может противостоять бурану именно потому, что в его отшлифовке участвовали тысячи буранов прошлого. Но горе тем, кто нестандартен!

Он, Севергин, был нестандартен, и потому горы победили его, а не он их. Техника позволила людям почти избежать потерь при движении к другим мирам. Если бы она всегда была безотказной, потерь не было бы вовсе. Но, увы, щит не был и не мог быть абсолютным...

Севергин внезапно понял, почему из всего, о чем он мог думать в свои последние часы, он думал об этом. Бессознательно, невольно он искал утешения. Разум не может смириться ни с бессмысленностью жизни, ни с бессмысленностью смерти. Так он устроен. Как будто от этого легче!

Безбрежная тишина стояла вокруг него. Луны сблизились и смотрели с высоты пристально, как два глаза. Всякое движение в этом замершем мире казалось святотатством. Севергин ускорил шаг.

Теперь он не сделает того, о чем недавно думал. В минуту, когда начнется удушье, он не вынет пистолет и не застрелится. Живым не все равно, как он погибнет, друзьям будет больно, если его найдут с дыркой в сердце. Пример малодушия? Не то... Просто человек обязан бороться до

последнего вздоха. Как борется трава, как борются бактерии. Мера стойкости человечества зависит от меры стойкости каждого, вот и все.

Теперь он шел и думал о друзьях, о тех, кого любил, о том, что сделал и чего не сделал. Многое из того, что раньше казалось важным, стало теперь совсем неважным. Слава, власть, успех. Они не опора человеку, когда приходит смерть. До нее и после человек жив тем хорошим, что сделал он для людей. Лишь дружба, благодарность и любовь могут поддержать и успокоить, когда наступает время подвести итог. Особенно любовь. Недаром так часто последним словом умирающих бывает слово "мама"...

Сейчас он стал бы жить совсем—совсем иначе.

Поздно.

Фобос закатился. Подул ветерок, уже предрассветный. Значит, он дождется утра. Почему-то ему хотелось, чтобы это случилось при свете солнца.

Но тут в регуляторе давления воздуха трижды щелкнуло.

Он похолодел. Сигнал, предупреждающий, что кислород иссякнет через десять минут. Конец.

Немеющие ноги сами усадили его на побелевший от инея камень. Небо у горизонта чуть поблекло, но до восхода солнца было еще далеко.

Может быть, выключить обогрев и замерзнуть? Говорят, что это походит на сои.

И вдруг ему невероятно, по-звериному захотелось жить! Он не успел, не доделал, не исправил, не долюбил — он не мог исчезнуть просто так!

Он вскочил. И задохнулся. Словно ко рту прижали маску! И все же пошел. Легкие вздымались и опадали — чаще, чаще их сводила боль, горло сжалось в хрипе, он упал на колени и все равно пополз. И когда сознание потемнело, а тело забилось в конвульсиях, он рванул напрочь шлем и глотнул марсианского ветра, как тонущий глотает воду, потому что не глотнуть ее не может.

В легкие прошел холодок, боль последней вспышкой озарила мозг, и все погасло.

Погасло, чтобы снова замерцать. Он очнулся от судорог, выворачивающих легкие, и увидел перед глазами что-то красное, колышущееся.



С невероятным усилием он поднял голову. Было уже светло. И он полз! И он дышал марсианским воздухом! Его организм был не таким, как все: он выжил!

Он даже не осознал этого. Он продолжал ползти. Он полз яростно, упорно, повинуясь уже не разуму, а инстинкту: все вперед и вперед, туда, где были люди.

С бархатным протяжным гудением трансвей причалил к платформе. Длинное тело многосекционного вагона замерло. Волк перемахнул через борт ограждения. Когти чиркнули по сибролитовому покрытию, и Волка развернуло, чего он никак не ожидал.

— Надо сходить, как все люди! — укоризненно сказал прохожий, которому он ткнулся в ноги.

В три прыжка Волк пересек платформу и стремительной серой молнией скатился по лестнице.



Солнце клонилось к вечеру и светило сквозь ванты верхнего яруса, точно в бамбуковом лесу. Нахлынуло столько запахов, что Волк остановился.

Потом, наклонив голову, он размашисто побежал по дорожке, неприятно гладкой и до отвращения прямой.

Город был справа и слева, впереди и сзади, вверху и внизу. Взгляд Волка скользил по массивным, как скалы, или, наоборот, ажурным, точно деревья, конструкциям, путанице пролетов, галерей, арок; без внимания не осталась игла Космической башни, которая возвышалась над скопищем аэрокрыш, виадуков, висячих садов и движущихся лент тротуара. Этот город был незнаком Волку, но ничего особенно нового он в нем не находил. Да, по правде сказать, зрение в его жизни не играло исключительной роли. Подобно всем волкам, а он был им не только по имени, он в равной мере полагался на слух и обоняние. То было заповедное царство, в котором человек чувствовал себя беспомощным. Сель иногда чуть не плакала, пытаясь понять, каким образом, например, Волк отыскивает ее в незнакомом и многолюдном городе, а он ничего не мог объяснить, потому что и сам не знал. Когда он искал Сель, его просто влекло куда—то, один район был явно предпочтительней других, но почему? Секрет был не только в тонкости обоняния, но и в чем-то еще близком, но не тождественном, о чем среди людей давно уже шли споры. Вот и сейчас Волк держался избранного направления, уверенный, что правильно идет к тому месту, где сейчас находится Сель. Само это место, положим, имело весьма расплывчатые очертания, но это не беспокоило Волка — Сель не ждала его раньше заката.

Возле лифта на нижний ярус никого не оказалось. Волка это не смутило. С лифтом он и сам мог справиться. Вскочив в кабину, он встал на задние лапы, дотянулся до пульта и когтями придавил третью снизу кнопку. Дверцы бесшумно сомкнулись, и лифт заскользил. Древний страх западни, как всегда в таких случаях, на мгновение охватил Волка, но

тотчас исчез. В конце концов Волк был сыном третьего поколения очеловеченных хищников, а это кое-что значило.

На нижнем ярусе было так же светло и тихо, как и на верхних, но лапы Волка ощущали легкое дрожание почвы, когда в подземном горизонте проносились вагоны метро, сцепки контейнеров или пневмогрузы. Люди не считали, что на нижнем ярусе беспокойно, но Волк был иного мнения. Месяц в тундре не прошел даром, и Волку не понравились гул и вибрация. Поэтому он не вскочил на тротуарную ленту, а, лавируя среди прохожих, углубился в парк. Бежать здесь было приятней еще и потому, что отсутствовали все эти гладкие, пружинящие, зеркальные покрытия, которые великолепно служат людям, но не слишком удобны для лап. Песок куда лучше.

Лань выглянула из-за куста и проводила его долгим взглядом. Волк даже не обернулся. Он уважал законы города, и лань это знала, поэтому не двинулась с места.

— Эй! — услышал он, когда пробегал берегом озера.

Волк замер. С гребня невысокой дюны ему махала девочка лет пяти. Едва Волк остановился, она ринулась по крутизне, оступилась и, взрывая песок, в восторге съехала на попке.

— Здравствуй, ты почему не отвечаешь? — выпалила она, вставая и отряхивая штанишки.

Ошейник, который был на Волке, ничего общего с настоящим ошейником не имел. То был транслятор, который даже беззвучные колебания гортани переводил в человеческую речь. Его надо было лишь включить. Волк дважды поднял лапу. Девочка радостно закивала, ее пальцы скользнули по ошейнику.

— Теперь здравствуй, — сказал Волк.

— Здравствуй. — Девочка слегка картавила. Ее зеленые с рыжими крапинками глаза горели нетерпением.

— Мы будем играть в Красную Шапочку, — тотчас заявила она.

— Во что?

Говорил транслятор, и, если бы не клокочущее в горле ворчание, которым сопровождались слова, можно было бы поверить, что зверь владеет человеческой речью.

— Какой же ты непонятливый! — Девочка топнула босой ногой. — Мы будем играть в сказку! Красная Шапочка — это такая девочка, она идет в гости к бабушке, а бабушка...

Теперь ворчание исходило из транслятора, который переводил слова ребенка в доступные волку звукосочетания.

— ...И когда девочка спросила, отчего у бабушки такие зубы, волк, который притворился бабушкой, говорит: "Чтобы съесть тебя!"

— Он съел?

— Не-ет... Появились охотники и...

Волк впервые слышал эту сказку. Он плохо улавливал ее смысл, но она всколыхнула в нем что-то забытое, угрожающее, что, замирая, тем не менее передавалось от поколения к поколению, как некая наследственная память о давнем кошмаре, который преследовал волчьи стаи в образе человека с громоносным ружьем. И Волк решительно замотал головой.

— Не хочу. Будем просто играть.

Девочка нахмурилась, но не прошло и секунды, как она уже очутилась на спине Волка, он помчал ее, а потом бережно сбросил и, когда она с хохотом уцепилась за хвост, обернулся и грозно оскалил зубы. Они долго и самозабвенно возились, боролись, свивались в клубок, барахтались, тормошили друг друга, потому что оба умели наслаждаться игрой.

Гулявший неподалеку старик, замедлив шаг, приставил ладонь козырьком.

— Семьдесят лет назад... — он покачал головой. — В дни моей молодости, да, в дни моей молодости кто бы подумал, кто бы мог подумать...

Юноша, его спутник, ничего не ответил. Он считал само собой разумеющимся, а потому неинтересным и то, что в центре большого города волк играет с ребенком, и то, что



этот волк свободно общается с людьми. Идею, которая так поразила современников старика, он находил столь же банальной, как утверждение, что дважды два — четыре. Если мозг пещерного человека биологически равен мозгу человека двадцать первого века, а интеллект, несмотря на это, ушел далеко вперед, то кому же не ясно, что и мозг животных может обладать внушительными резервами! Просто никто не занимался развитием их интеллекта, да и не умел, а как только сумели...

Доказанное и примелькавшееся всегда банально.

Расставшись с девочкой, Волк почувствовал себя взбодренным. Крутой подъем вскоре вывел его на вершину холма. Космическая башня была видна отсюда как на ладони. Крохотная ракета взмывала более чем на километровую высоту, увлекая за собой клокочущий огненный столб.

Вокруг Башни мошкарой вились реалеты. Волк на мгновение поднял голову. Огнепад пламенел в лучах заходящего солнца. На Волка он не произвел впечатления. Все чересчур огромное, далекое и неподвижное, будь то здания или горы, не имело существенного значения, так как ничем не угрожало и не сулило перемен; оно могло быть или отсутствовать — от этого ничего не менялось. Серый полог на востоке и перистый веер облаков в зените интересовали его куда больше, поскольку эти знаки сулили скорый перелом погоды. Волк привык к безопасности города, впрочем, стихия не пугала его и на воле, но тем не менее его настроение изменилось. Даже людям знакома атавистическая тревога, то беспокойство, которое овладевает всеми перед грозой и бурей. Чувства Волка обострились. Тишина вечера могла обмануть человека, но Волк читал не только видимые знаки и был уверен, что погода изменится сразу после захода солнца.

Он припустил бегом. Ветра еще не было, но ток запахов усилился.

Деревья, травы, цветы пахли иначе, чем час назад. Даже сталь, титан, пластик, спектролит — все те бесчисленные материалы, которые выдумал человек, вели себя иначе.

Все изменения запахов были знакомы Волку, и его сознание не участвовало в их анализе. Внезапное отклонение заставило его затормозить бег.

Пахнуло чем-то непривычным. Запах был чрезвычайно слаб, но ничего похожего Волк не встречал. Совершенно непонятный запах, который не имел отношения ни к городу, ни к природе.

Волк повел носом и, не колеблясь, двинулся к скамейке, где сидел мужчина лет сорока с лицом смуглым и твердым, как камень. Человек, не мигая, смотрел на расстилающийся город, будто готовясь взять его в свои руки.

— Что уставился, приятель? — Внимание человека переключилось столь внезапно, что Волк слегка опешил. — Выгляжу чудаком, да? Верно. Отвык я от этого. — Рука обвела горизонт. — Красиво. А ты как считаешь?

— Красиво.

Волк согласился не только из вежливости. Люди считали город прекрасным, и он был того же мнения, хотя его понимание красоты не совпадало с человеческим, ибо он не отделял ее от целесообразности, но здесь транслятор очеловечивал речь Волка и по существу. Сель отлично разбиралась в этих оттенках, но мужчина воспринял все буквально. Внешне он остался неподвижным, но Волк по незаметным для человеческого глаза сокращениям мышц подметил жест удивления, который, впрочем, был тотчас оборван.

— Ладно, все это лирика, — сказал человек. — У тебя есть ко мне какое-то дело. Говори.

Теперь удивлен был Волк: незнакомец проявил редкую в общении с животными проницательность.

Прямой вопрос требовал столь же прямого ответа.

— У вас спрятано непонятное.

— Что, что?

Волк улыбнулся бы, если бы мог. Подсознание человека опередило работу ума. Пока ум терялся в догадках о смысле вопроса, пальцы дрогнули настолько красноречиво, что Волк без труда воссоздал все движение целиком.

— Оно лежит в нагрудном кармане.

— Это? Ты это имеешь в виду?

Человек выхватил прозрачную трубочку, доверху заполненную мелким песком.

— Да.

— Ну и хватка. Может быть, ты даже знаешь, что это такое?

— Да и нет. Песок, но непонятный.

— Верно, где же тебе знать... Этот песок оттуда, — человек ткнул пальцем в небо. — Из космоса, с Сириуса, вот откуда. Дошло? Сатана, мы эту планету назвали Сатаной, такая она мрачная и холодная. Но радужный песок... Бриллианты по сравнению с ним просто шлак. Верно? Гляди, какие переливы...

Космонавт откупорил притертую пробку и высыпал немного на ладонь. Мерцание песка, казалось, заворожило его.



Волк чуть не фыркнул — настолько усилился запах. Кроме запаха, по его мнению, в песке не было ничего особенного, ибо волки не различают цвета. Обыкновенные, матовые, слабо переливающиеся песчинки, только и всего. Со слов людей он знал о существовании какого-то особенного и прекрасного мира красок, но чувств его это никак не задевало. Люди

плохо разбирались в запахах — для него не существовало цвета, он привык к тому, что здесь нет и не может быть взаимопонимания.

Наконец человек оторвался от созерцания и, будто вспомнив что-то, недоуменно пожал плечами.

— Как это ты сумел учуять из-под притертой пробки, однако...

Быстрым движением он ссыпал песок обратно, задумчиво повертел пробирку, спрятал. Его широкая рука легла на голову Волка.

— Да, приятель, ты не прост. Но мне пора. Скажу тебе по секрету: как ни прекрасен сатанинский песок, а земной лучше, потому что он земной. Есть еще вопросы? Тогда прощай.

Человек встал, тряхнул головой, словно отгоняя какую-то мысль, потом быстро зашагал по тропинке.

Волк не двинулся с места. Запах не исчез с уходом космонавта: очевидно, какая-то песчинка упала на землю. Волк даже мог сказать, где она, хотя и не видел ее. Он лег, положив морду на лапы.

В его голове ворочались смутные мысли. Транслятор был, конечно, величайшим достижением, но он невольно обманывал людей, заставляя их думать (неспециалистов, разумеется), что коль скоро волк изъясняется по-человечьи, то и мыслит он примерно так же, но только хуже. Все было, однако, гораздо сложней. Волку не были свойственны формализованные логические построения. Отчасти их заменяли сцепления образов, чей ход был непостижим для человека. Тем не менее Волк имел собственное представление даже о космосе, ибо люди много говорили о нем, а он жадно впитывал все их суждения. Образ космоса, сложившийся в его сознании, был весьма далек от реального, и все же он не был абсурден. И сейчас Волк мысленно обращался к нему. Никогда еще ни один запах не казался ему столь странным. Верней, не совсем так. Странным его делало объяснение человека. Человек дал источнику запаха точное название,

смысл которого Волку был ясен: песок. Но запах, который источала песчинка, противоречил определению. Будь на месте Волка человек и обладай он нюхом волка, такой человек легко примирил бы противоречие, связав свойства конкретного со свойством такой абстракции, как "иная планета". Но подобное примирение — действительное или мнимое было для Волка недостижимым, и он не мог избавиться от недоумения.

Он даже засопел, забыв, что транслятор немедленно переведет звуки в возглас "Ну и ну!".

Слова отрезвили его и напомнили, что пора двигаться. Все же он еще поводил носом вокруг источника проклятого запаха. Если бы его спросили, что его так волнует, он вряд ли смог бы объяснить. Любопытство и любознательность свойственны животным не меньше, чем человеку. Загадочное привлекает, потому что непонятно его значение, неясно, что оно сулит хорошее или дурное. А знать это необходимо всякому живому существу. Здесь инстинкт преодолевает страх, внушаемый неизвестным. Любопытство Волка также было окрашено беспокойством. Всегда лучше предположить, что загадочное — враг. Впрочем, у Волка это ощущение умерялось давней привычкой к безопасности: с тех пор как человек стал другом, волкам практически уже ничего не грозило ни в лесу, ни в городе.

Внезапно порыв ветра закружил пыль. Крохотный смерч пронесся перед носом Волка и умчал источник запаха.

Волк мигом, как это умеют делать только животные, отключился от прежних размышлений. Раз загадка исчезла, то и думать о ней нечего. Это не было забывчивостью. Волк никогда ничего не забывал: просто бесполезное не стоило внимания. А что может быть бесполезней унесенной ветром песчинки?!

Но школа мышления, которую он прошел у человека, наложила на него неизгладимый отпечаток. Волк знал, что он еще вернется к прерванным раздумьям.

А сейчас надо было отыскать Сель. Он побежал, держа направление к востоку от Космической башни. Инстинкт вел его словно по пеленгу. Разыгрывающийся ветер ерошил шерсть. Всюду зажглись огни; вдоль стен заскользили стереодинамические картины; вспыхнули цветовые фонтаны; здания сверкали, как драгоценности, город мягко сиял, лучился, улыбаясь сомкнувшейся темноте. Здесь, в его сердце, даже ворчание непогоды казалось исполненным благодушия. Где-то тут недавно проходила Сель, и надо было лишь отыскать неуловимый, может быть, для ищейки, но не для друга след.

Получасовые розыски наконец привели его к искомым дверям.

Волк и Сель расставались часто, потому что Волк не мог долго жить в городе, вне стаи, но от этого их дружба не слабела. Сель была зоопсихологом, но Волк для нее существовал не как объект изучения. Не был он и домашним зверем вроде собаки, чью привязанность можно завоевать мимолетной лаской. Сель видела в нем личность столь же глубокую, как и она сама, товарища, которого любят, не задаваясь вопросом почему.

Поэтому встреча была, как всегда, бурной и нежной.

Как только они поужинали, Сель сказала:

— Поговорим об интересном?

То были их любимые вечерние минуты, когда с делами покончено, в комнате тихо, как на необитаемом острове, и нет ничьих глаз, кроме глаз человека и зверя.

Сель забралась с ногами на диван. Волк устроился рядом. Сель ослабила свет лампы. Пальцы девушки тонули в густой шерсти Волка. Ни один звук не проникал снаружи.

Спешить было некуда. Обычно в такие минуты Волк рассказывал о том, что привлекло его внимание, удивило или озадачило, потом Сель говорила о своих делах, потом они просто болтали, и мало что так привлекало Сель, как вот такое неторопливое Погружение в мир чужого сознания.

Так же было и на этот раз. Волк, который не страдал последовательностью, говорил отрывисто, перебрасываясь с воспоминания на воспоминание. Сель, наматывая на палец прядь волос, больше молчала. В черных продолговатых зрачках зверя трепетал отблеск лампы; на мгновение приоткрывался влажно мерцающий ряд клыков, и дыхание Волка касалось лица Сель. Порой ее охватывало чувство нереальности, особенно когда в зрачках туманно отражалась она сама. Казалось, можно наклониться и заглянуть в зрачок, как в колодец, чтобы увидеть на дне саму себя такой, какой ее видит Волк.

— Может стать живым мертвое?

— Что, что? — очнулась Сель.

— Сегодня в городе учуял незнакомое. Мертвое. Оно лежало в кармане человека. Я спросил. Человек показал песок, сказал: песок. Ушел. Песчинка упала. Стала живой.

— Песок всегда мертвый...

— Знаю. Поэтому странно.

— Ничего не понимаю! Откуда ты взял, что песчинка ожила? Она что стала двигаться?

— Нет. Она быстро пахла.

— Ну и что?

— Мертвое медленно меняет запах. Растение быстрей. Животное совсем быстро, когда взволновано.

— В самом деле?

— Да.

— И по скорости изменения запаха можно отличить камень от дерева, сталь от бабочки?!

— Да.

— Волк, ты никогда мне об этом не говорил!

— Ты не спрашивала.

— Это очень-очень интересно! Дальше, Волчишка, дальше!

— Почему песчинка стала живой?

— Да не могла она стать живой!

— Она стала.

Сель приподнялась. Ей показалось, что в глазах Волка мелькнула укоризна: почему она так медленно соображает?

— Давай, Волчишка, по порядку, — твердо сказала Сель. — Итак, ты бежал по городу...

— Да.

— И учуял песок, который лежал в кармане человека. С каких пор ты стал обращать внимание на обыкновенный песок?

— Незнакомый запах. Человек объяснил, что песок из космоса.

— Из космоса?! Тогда ясно. Нет, нет, о чем это я? Решительно ничего не понимаю... Как он выглядел?

— Человек?

— Песок!

— Как песок!

— И он был мертвый?

— Да.

— А когда песчинка упала...

— Она запахла, как живая.

— Ты об этом сказал человеку?

— Он ушел.

— Песчинка шевелилась?

— Нет.

— И все—таки стала живой?

— Да.

— Кто был этот человек?

— Он из космоса. С Сириуса.

— Это он тебе сказал?

— Да.

— Человек знает, что его песок из мертвого может делаться живым?

— Он сказал: это песок. Очень красивый. Он не сказал: это живое. Ты почему волнуешься?

— Потому что... Волк, ты не ошибся?

— Я не мог ошибиться.

— Да, да, знаю... И все-таки невероятно... Давай минутку помолчим.

Сель задумалась. Ее темные глаза стали еще темнее. Она оставалась неподвижной, но Волк видел ее бегущей. Это его беспокоило, потому что он не мог взять в толк причину, однако понимал, что сейчас лучше ни о чем не спрашивать. Сель порывисто вскочила, босиком подбежала к информу.

— Снимки участников сириусской экспедиции, — сказала она в микрофон.

Спустя несколько секунд на экране информа возникло чье—то лицо.

— Он? — Сель обернулась к Волку.

— Нет.

— Этот, этот?

По экрану заскользили лица.

— Да, — наконец сказал Волк.

— Все сходится...

— Ты мне не объяснила, — решился напомнить Волк.

— Подожди, Волчишка...

Палец дважды замер над кнопкой, прежде чем ее нажать.

— Вызываю Борка, геолога сириусской экспедиции. Скорей всего, он здесь, в городе. Передайте ему... — Сель запнулась. — Вызов экстренный.

Волка не удивило ни то, что Сель разговаривает с неодушевленным предметом, ни то, что этот предмет отыскивает человека, который находится неизвестно где. Он этого не понимал, но он к этому привык и относился к предметам типа информа так же, как к дождю и снегу: раз они существуют, надо к ним приноравливаться. Но в поведении Сель, в словах и движениях он улавливал растущую тревогу и на всякий случай подобрался, чтобы быть наготове.

Минуты три прошло в молчании. Наконец стена, противоположная той, возле которой лежал Волк, исчезла, и комната как бы соединилась с другой, более просторной и ярко освещенной. Сидевший за столом человек поднял голову.

Увидев девушку, он встал, и они оказались друг против друга — сдержанный порыв волнения и твердая осанка незыблемой уверенности.

— Извините, если окажется, что я зря побеспокоила вас, — быстро проговорила Сель. — Перейду к делу. Тот песок, который вы сегодня показывали Волку, еще у вас?

— Какому волку? — Космонавт, не отрываясь, смотрел на Сель.

— Вот он.

— А, мой серый приятель! Теперь припоминаю. А в чем, собственно, дело?

— Это действительно песок?

— И даже очень красивый. — Борк медленно улыбнулся. — Показать?

Он вынул из стола знакомую Волку трубочку.

— Прелестен, правда?

— Это точно песок? Не колония живых организмов?

— Нет, конечно! Откуда такая мысль?

— Он прошел карантин?

— Разумеется! Простите, я все еще не понимаю...

— Возможно, это не совсем песок.

Улыбка Борка погасла. Он ждал.

Сель коротко пересказала все, что знала.

— Не хочу обидеть нашего серого друга... — В голосе Борка прозвучала ирония. — Согласитесь, однако, что...

— Волк никогда не ошибается в фактах, — резко сказала Сель. Брови Борка поднялись. — Он может ошибаться в выводах. Но если он говорит, что песчинка повела себя подобно живому организму, то так оно и есть.

— Трудно спорить с убежденностью. Допустим, мой диагноз неверен. Но неужели вы думаете, что сотрудники карантина не отличат минерал от живого организма?

— Плесень... — тихо сказала Сель.

— Да, плесень. — Уверенность на мгновение покинула Борка. — Нет, не тот случай. — Его голос снова был тверд. — Тогда просто не заметили спор.

— Вы не хотите верить?

— Я не могу верить. Этот песок живой?! — Борк потряс пробирку. Простите меня, но фантазия животных...

— Фантазия у них, к сожалению, развита слабо. — Голос Сель прозвучал сухо. — Волк, это песок или нет?

— Не чую его.

— Ах да! Борк, это будет большим нахальством с моей стороны, если я все-таки попрошу вас приехать?

— Чтобы ваш зверь вынес свой приговор?

— Дело же не в этом!

— Вы правы. — Борк сделал шаг, и выражение его лица изменилось. Извините, я забыл, что выстрелить может и сухая палка. Где вы находитесь? Так, ясно. Буду через семь минут.

Комната Борка исчезла.

Сель вздохнула. Ее рука опустилась на голову Волка.

— Нам не верят, Волчишка... Да я и сама не верю.

— Объясни!

— Ты вряд ли поймешь. Я и сама не очень-то понимаю. В космосе, видишь ли, встречаются очень необычные формы жизни. Причудливые, странные... Поэтому все, что попадает оттуда на Землю, подвергается строжайшей проверке. Особенно живое. Не всегда живое опасно, чаще оно безвредно. Но однажды сквозь контроль проскочила плесень. Давно, тогда тебя не было. Началось страшное, мы с трудом справились. Надеюсь, что на этот раз...

— Я не хотел пугать.

— Знаю, знаю. Все объяснится, скорей всего, очень просто, и я, верно, ошибаюсь. А вот и Борк... Входите!

Борк энергично пожал протянутую ему руку, кивнул Волку и без лишних слов откупорил пробирку. У него был вид человека, который твердо решил ничему не удивляться.

— Что скажешь, Волк? — Голос Сель дрогнул.

— Оно пахнет живым.

— Как! Ты же говорил...

— Тогда был песок. Сейчас нет.



Борк нахмурился. Он долго испытующе смотрел на Волка, словно надеясь уличить его в обмане. Потом, ни слова не говоря, взял чистый лист бумаги, отсыпал на него немного песка, достал из кармана микроанализатор. Вспыхнуло едва видимое облачко. Взглянув на шкалу прибора, Борк повернул ее к Сель.

— Видите?

— Эти цифры мне ничего не говорят.

— Они говорят о химическом составе. Они говорят о строении объекта. И то и другое свидетельствует, что это минерал.

— Но Волк...

— Послушайте. Вы зоопсихолог. Вы прекрасно знаете, что одиночных видов живых организмов не существует и существовать не может. А планета, откуда доставлен песок, мертва, как льдышка.

— Но в льдышке, случается, спят даже высокоорганизованные существа.

— Верно. Но если бы вы видели эту планету... Насколько я понял, для Волка живое от неживого отличается, так сказать, частотой запахоизлучения. Так?

— Да.

— По дороге я все обдумал. Отличие этого минерала от земных, помимо состава и структуры, в том, что ему присуща быстрая смена запахочастот. Вот и все. Вы разочарованы?

Сель покраснела.

— Наоборот, вы должны гордиться, — сказал Борк, словно оправдываясь. Минерал я вез Орцеву, в университет. Но даже Орцев не скоро бы обратил внимание на это его свойство. Вас беспокоит еще что-то?

— Пустяки. — Сель нехотя улыбнулась. — Сначала для Волка мертвым был весь песок...

— Ясно, ясно. На запах, по словам нашего серого аналитика, влияет смена погоды. Так? Сейчас надвигается гроза.

— Вы всегда так логичны?

— К сожалению. Боюсь, что это неизлечимо.

— Почему "к сожалению"? Волк, давай попросим прощения...

— И забудем этот глупый эпизод. А если я рад, что таким образом познакомился с вами?

— А песок и в самом деле красив. — Сель нагнулась к столу, как бы не слыша, слов Борка. — Какие отсветы... Они играют, дышат в каждой песчинке. Знаете, чем камень жив? Светом.

— Точно! В темноте камень мертв. Дерево — нет, животное — тем более, а камень — да. В этом смысле наши представления, пожалуй, схожи с представлениями четырехпалых умниц. Интересно, что он сейчас обо мне думает?

— Спрашивать его об этом небезопасно.

— Почему?

— Большинство людей до сих пор уверено, что животные смотрят на них как на божество. Уверяю вас, ни одно животное на нас так не смотрит.

— Я не принадлежу к числу таких людей.

— А ваше самолюбие не пострадает, если Волк даст вам не слишком лестную характеристику? — спросила она, не отводя взгляда от мерцающих песчинок.

— Я ее заслужил?

— Надеюсь, что нет. Впрочем, спросите у Волка.

Борк смущенно пригладил волосы.

— И спрошу, — сказал он решительно. — Послушайте, Волк...

Возглас Сель оборвал фразу.

— Смотрите, Борк!

Слова прозвенели, как осколки вдребезги разлетевшегося фарфора. Обернувшись, Борк мигом схватил то, что видела Сель, то, на что указывал ее дрожащий палец.

— Вам показалось...

— Они шевелятся, — вдруг подтвердил Волк, и люди, отпрянув от стола, уставились на него. — Песчинки давно шевелятся.

Секунду все были неподвижны, затем повелительный жест Борка остановил рванувшуюся Сель. Шевеление некоторых откатившихся от общей массы песчинок было теперь так же ясно для человеческого глаза, как и для взгляда Волка.

— Они делятся, — голос Сель дрогнул. — Вот! И вот...

— Спокойно.

Точным и быстрым движением Борк ссыпал песок в пробирку. Источник зловещего мерцания исчез в кармане, и Сель стало легче, словно со стола убрали гадюку.

— Все, — слегка задыхаясь, сказал Борк. — Все, — повторил он, как бы убеждая себя и других. — Возможно, нет ничего опасного. Допустимы любые другие объяснения. Ничего не случилось, они заперты.

— Не все! — воскликнула Сель.

— А—а!

— Та единственная песчинка...

— Пустое. Найдем.

— Ее сдул ветер, — сказал Волк.

— Так, так... — Рука Борка медленно потянулась к информу.

— Это бесполезно! — остановила его Сель. — Легче найти... не знаю что.

— Знаю, но другого выхода нет.

— Есть. Волк!

— Здесь!

— Да, да, ты здесь... Волчишка, милый, ты можешь учуять ту песчинку? Можешь, можешь?

— Послушайте, Сель!

— Борк, если кто сможет отыскать, так это Волк.

— Да, — сказал Волк. — Найду, если она здесь.

— И все-таки... — Борк колебался.

— Спешите в лабораторию.

— Вы действительно уверены...

— Я знаю Волка.

— Тогда с ним пойду я! У меня ноги крепче.

— Но вы не понимаете Волка так, как я. Идите!

— Ладно, одно не мешает другому. В конце концов, город можно закрыть на карантин. Не теряйте связь!

...На верхней площадке здания хозяйничал ветер. Его тугая масса налетала холодными гулкими порывами. В просветах туч нервно мигали звезды. Горизонт рассекали бледные, пока еще беззвучные молнии.

Ноздри Волка жадно втягивали ветер. Запахи мелькали подобно строчкам быстро листаемой книги. Фоном был далекий аромат лугов и перелесков. Среди городских запахов ярче всех выделялись тягучие испарения смазок, кисловатые запахи металла, царапающие, с сухим привкусом стекла ароматы полимеров. Ветер нес тысячи оттенков, и нос Волка ловил их, точно локатор. Ветер и помогал, и мешал. Помогал, потому что раздувал пламя запахов и нес их за километры; мешал, потому что создавал путаницу, рвал слабые токи. К счастью, он менял направление и порой замирал, так что Волк мог обнюхивать город, как бы паря над ним. Сель стояла рядом, бледная от волнения.

Конечно, она понимала, что Борк предпримет все возможное. Будут доставлены и пущены по следу овчарки. Немедленно будут откалиброваны на новый запах и использованы все лабораторные анализаторы. Но она также знала, что ни один аппарат не сравняется в чуткости с Волком и ни одна овчарка не возьмет след так, как это сделает Волк, который понимает, хотя, может быть, иначе, чем люди, цель поисков. Кроме того, сейчас все решали часы и даже минуты.

Ловя подозрительные струи, Волк то и дело срывался с места. Казалось, он играет с невидимыми в темноте бабочками. Но иногда он надолго замирал.

Город внизу сверкал ярче чем когда-либо. Огни сильно и беспокойно мерцали в предгрозовом воздухе.

Волк ничего не видел и не слышал. От ветра шерсть его вставала дыбом и ходила волнами; порой он казался Сель незнакомым, страшноватым зверем.

Внезапно его нос припал к настилу. Затем Волк подпрыгнул. По бетону скрежетнули когти.

— Есть! Туда, там...

Вывести из ангара реалет было делом минуты. Машина взмыла над городом, и отблеск огней, лег на ее широкие плоскости.

Но в воздухе нить запаха оборвалась. Напрасно Сель бросала реалет из стороны в сторону, то падая вниз, то взмывая высоко над крышами.

Сель ничего не говорила Волку, она и так знала, что тот делает невозможное.

Наконец, когда они попали в бившую снизу струю воздуха. Волк оживился.

— Ниже, ниже...

— Ниже?

— Да, да!

Сель заколебалась. Ниже был вентиляционный колодец. Окаймленное огнями устье сверкало, точно ожерелье. Лететь туда? Правила запрещали это. Спускаться на лифте, идти? А если снова потребуется реалет? Время, время!

Сель набрала индекс Борка.

Возникшее на экране лицо космонавта выражало досаду и спешку. При виде Сель оно смягчилось.

— Нашли?

Сель объяснила.

— Ни о чем не заботьтесь, — быстро проговорил Борк. — К черту правила, я договорюсь с патрульной службой. Но быстрей, как можно быстрей!

— Они живые?

— Да. Но может быть, это квазижизнь... Не расспрашивайте. На свободе могут быть два, даже три семени.

— И они?..

— Ждем окончательных результатов. Сразу же сообщу. Отключаюсь.

Экран потух.



Реалет неподвижно висел над устьем. Ветер слегка раскачивал машину, точно лодку на якоре. Закусив губу, Сель неподвижно смотрела вниз. Отверстие было чуть шире диаметра реалета.

— Держись, Волк...

Реалет камнем полетел вниз. Только на скорости и только так можно было совершить маневр при боковом ветре. Замелькали лампы, перекрытия, пролеты, чьи—то испуганные лица на галереях.

— Еще ниже?

— Да.

Ниже колодец был перекрыт фильтрующей решеткой. Включив сирену, Сель ввела реалет в пространство наземного яруса. В полукилометре отсюда — она это знала — находился транспортный шлюз.

Сбавив ход до минимума, Сель вела реалет прямо над движущейся дорогой, прямо над головами людей. Внизу раздавались крики.

"Что они обо мне думают?" — пронеслась мысль.

В глазах рябило от света и бликов.

В стенах грохотало эхо.

Выемка шлюза, наконец-то!

— Чуешь?

— Да, да!

Волк дышал как от быстрого бега. Охота его радовала, безумная охота, преследование врага, который чем-то угрожает Сель.

В подземном ярусе располагались не только транспортные артерии, склады и коммунальные службы. Но сейчас поле зрения было ограничено стенами тоннеля. Полет здесь был чистым сумасшествием, но Сель действовала не по наитию. Реалет она вела по той стороне, где не могло быть встречного экспресса. Встречный должен был пройти рядом, всего в двух метрах от левого крыла реалета. Это было более чем рискованно, но Сель решила, что посадит

машину, если встреча произойдет. Авось экспресс успеет затормозить, авось она успеет проскочить до его появления.

Рокочущий гул настиг ее в то самое мгновение, когда показался перрон. Она все же успела увернуться и взмыть над платформой. Ожидавшие экспресс люди кинулись врассыпную.

Лететь далее не имело смысла. Сель и Волк выпрыгнули из реалета. Ей кричали, но она не слышала криков. Да, такого переполоха еще никто не устраивал...

Волк бежал зигзагами, Сель едва поспевала за ним. Лестница, переход, снова лестница... Сель начала задыхаться. Волк замедлил бег. Люди, мимо которых они проскакивали, замирали, как изваяния. Уж очень неожиданная была картина: рослый, могучий волк — и спешащая за ним тоненькая, со смятенным лицом девушка.

Квадратная площадка. Дверцы одного из лифтов раздвигались. Двумя великолепными прыжками Волк опередил Сель.

Какая—то старуха уже заносила в проем ногу, когда Волк вскочил в кабину и мягким толчком заставил ее отшатнуться.

Женщина вскрикнула, и в этом крике Волк уловил нотки того же самого древнего атавистического страха, который пробуждался порой и в нем как родовое воспоминание о тех далеких днях, когда волки боялись людей, а люди боялись волков.

— Ты... что?.. Волк...

Резкая боль в груди мешала Сель говорить. Вместо ответа Волк положил лапу на башмак женщины.

— Вы... вы... — Женщина задыхалась от негодования и страха.

— Извините...

Сель было все равно, что о ней подумают.

— Приподнимите, пожалуйста, ногу...



Так как женщина совершенно потеряла и дар движения, и дар речи, Сель сама приподняла ее ногу. В одном из рубцов подошвы она увидела две знакомые ей песчинки.

Вот и все. Вокруг уже толпились возмущенные люди. Волк на всякий случай выдвинулся вперед и небрежно зевнул, показывая Великолепный набор клыков.

— Волк, смирно! Извините, — бросила Сель женщине, равно как и всем другим. Она выхватила карманный видеофон и тотчас забыла об окружающих. Борк, мы нашли, нашли! — закричала она, едва засветился экран.

— Сколько?

— Обе!

— Сель, их может быть три.

— Да тише же! (Женщина кричала, мешая слушать.) Это я не тебе... Все настолько серьезно?

— Серьезней некуда. Размножаясь, они поглощают тепло. Да как! Они могут заморозить планету. Я бы никогда не поверил, что такое возможно. Но факты... Мы — шляпы, глупые, самонадеянные шляпы, обо всем беремся судить, даже не подозревая, сколько вокруг неизвестного. Ищите, Сель, ищите!! Мы сейчас объявим всем, мы... Зовут, простите.

Сель не заметила, как воцарилось молчание. Люди слышали разговор и поспешно расступились перед девушкой. Только женщина еще бормотала что-то.

— Вот так, Волчишка, — тихо сказала Сель. — Начнем все сначала.

Когда они выбрались наверх, гроза уже началась. Мигание молний преломлялось в прозрачных плоскостях стен, трепещущий отблеск скользил по куполам и аркам, дробясь, рокотал гром. Потоки воды то вспыхивали серебром, то исчезали в темноте. Огненная струя Космической башни казалась ревущей.

Одежда Сель промокла, едва они вышли на открытую площадку. Волк долго кружил по ней, но ничего не почуял. Они сели в реалет.

Шло время, руки Сель окаменели за рулем. Сель то и дело связывалась с Борком. Ответы были неутешительными. Нигде ничего.

— Может быть, их все-таки было две?

Сель бодрилась, но голос выдал усталость. Губы Борка дрогнули.

— Нет, — сказал он решительно. — Все песчинки стали тройными.

— И по-прежнему делятся?

— Перестали. Надолго ли? Пока ни одного случая четвертой генерации. Ищите третью, пока они затихли.

— Мы ищем.

Волк не находил себе места в кабине. Согласно распоряжению город всасывал воздух только через внешние наземные шлюзы и гнал его к центру, чтобы выбросить вертикально вверх. Это нарушало циркуляцию, внутри города сновали вихри, зато все запахи стягивались к снующим реалетам. Волк метался от одного опущенного щитка к другому, его ноздри раздувались, как мехи, никогда он еще так не напрягал свои способности. То и дело ему казалось, что он уловил... Всякий раз надежда гасла, не успев разгореться. Возможно, искомая песчинка была унесена в глубины коллектора, возможно, ветер еще до дождя умчал ее далеко от города, все могло быть.

Налево, вверх, вниз, направо... Сель все исполняла, как автомат. Может быть, впервые в истории человек безоговорочно повиновался волку.

Уже дважды ему в ноздри вторгался какой—то смущающий его запах. Он проверил его — нет, не сходится. И все—таки это был необычный запах. Не пластик, не сталь, не дерево... Но и не песчинка.

Волк ничего не сказал. В кабине свистел ветер. Мозг Волка работал медленно. Ему казалось, будто что-то забыл и старается припомнить.

Они еще с полчаса кружили над городом. Потом запах повторился.

— Налево.

Сель послушно повернула.

— Ближе. Вверх! Опусти. Ближе.

— Ближе нельзя, мы врежемся в здание.

— Надо.

— Ты учуял?!

— Странный запах. Если она не с Земли, то она может быть странной вдвойне?

— Ясней, Волк, ясней!

— Песчинка может быть странной всегда?

— Да, да!

Оба кричали, чтобы осилить свист ветра.

— Я поняла! Если она намокла, то ее запах мог измениться неузнаваемо, не так, как у земных материалов! Это?

— Может быть.

— Где же?

— Там!

Здание опоясывал узкий карниз. "Это" находилось, где-то посредине. Сель лихорадочно соображала. Если бы окна были старинными! Но сквозь стеклянную стену на карниз не вылезешь. Оставалось посадить реалет на висячий балкон и оттуда...

Балкон был чуть шире реалета. Ожидая толчка. Сель даже зажмурилась. Волк выпрыгнул, едва она распахнула дверь. Ветер яростно прижал ее к сиденью. Сель глянула вниз, и ей стало не по себе. Но Волк уже шел по карнизу так, словно это была положенная на землю доска. Сель перевела дыхание.

Метр, еще один, еще и еще... Волк замер. Дважды молния освещала его широкую мокрую спину.

"Чего он медлит? Чего?" — недоуменно спрашивала себя Сель. Кричать она не решалась, боясь напугать.

Припав мордой к карнизу. Волк что—то пытался сделать.

Сель подалась вперед, обхватив холодные перила.

Волк поднял голову. Сель не видела, но чувствовала его взгляд.



И вдруг поняла: Волк нашел то, что они искали. Нашел и не может взять, потому что у него нет послушных и гибких человеческих пальцев.

Сель похолодела. Волк медленно пятился по карнизу. Можно было, конечно, вызвать людей с двигателями для птичьего полета, но кто поручится, что струи воды не смоют песчинку до их прихода? Прямо у подножия здания зияла воронка дождевого коллектора. Там был конец всему.

Нос Волка ткнулся в колено Сель. Слов не требовалось, сейчас слова были лишними. Волк требовал действия.

Рывком Сель перебросила ногу через перила. Она действовала как в лихорадке и в то же время со странным, удивившим ее спокойствием.

Спиной она прижалась к зданию. Ступни ног умещались на карнизе. Она знала, что нельзя смотреть вниз. Она смотрела прямо перед собой и видела только огненную иглу Космической башни. Рвущийся в небо столб пламени давал мысленную опору. Сель сделала шаг. Спиной она чувствовала малейшие шероховатости стены. Ноги были словно не ее. В бок толкал ветер.

Еще шаг.

Чем крепче она прижималась к зданию, тем ощутимей было его колыхание. Здание плавно раскачивалось. Амплитуда качаний была ничтожной, но она нарушала то равновесие, в котором застыла Сель. Стена здания, точно упершаяся в спину ладонь, мягко, но непреклонно подталкивала тело.

Сель замерла, раскинув руки. Теперь качалась уже и Космическая башня. Да, она раскачивалась, и вместе с ней раскачивалась Сель. Темнота внизу притягивала взгляд, как магнит.

Сель закрыла глаза. Исчезло все, осталось лишь мерное колебание стены. И боковые толчки ветра. И холод облепившей тело одежды.

Тело медленно входило в ритм толчков и колебаний, непроизвольно для сознания отыскивало ту равнодействующую, которая давала устойчивость.

С закрытыми глазами Сель сделала несколько шагов. Все было бы очень просто, если бы не воображение. Ни к чему было закрывать веки, коль скоро воображение рисовало не только пропасть внизу, не только узость опоры, но и падение в бездну, то, как оно начинается — со слабости колен, пустоты во всем теле, судорожных усилий, отчаяния последнего мига, последнего взмаха...

Воображение вело за собой послушное тело, навязывая ему свой судорожный ритм. Дрожь охватила Сель. Она раскачивалась, теряя равновесие, задыхаясь от ужаса.

Чьи—то крепкие зубы сжали ее лодыжку. Сель облегченно вздохнула. Призраки отлетели. Нога в пасти Волка была как в мертвом зажиме. Это было подобие опоры, но и его было достаточно.

Прошло несколько секунд. Сель не решалась открыть глаза. Она отдыхала от игры воображения, от страха, от дрожи в ногах. Хватка Волка надежно держала ее над пропастью. Только сейчас Сель поняла всю меру безумия и самонадеянности, толкнувшей ее на карниз. Здесь было мало решимости и мужества, нужен был опыт. Она бы уже лежала внизу, если бы не опора, которую ей дал Волк. Если бы не чувство реальности, которое он ей вернул.

Твердый нажим зубов передался ей как команда. Она переставила одну ногу, подтянула другую. Не надо было ни о чем думать, не надо было ничего чувствовать, надо было слепо двигаться, повинуясь направляющей хватке Волка. Чисто механические действия, страхуемые охватившими лодыжку тисками. Все оказалось очень просто, когда исчез страх и погасло воображение. Глаз Сель не открывала, чтобы не спугнуть блаженное спокойствие. Тело само находило равновесие, как только ему перестал мешать разум.

Наконец Волк слегка сжал клыки: "Стоп!" Начиналось самое трудное. Надо было открыть глаза, взглянуть вниз...

Молнии били беспрерывно. Сель видела только то, что было в центре ее внимания, — бугристую, омываемую ливнем плоскость карниза. За ее краем притаилась тьма провала.

Сель показалось, что она видит песчинку, но, возможно, это была игра отблесков. Надо было наклониться. Ветер переменился и дул в грудь. Появилась еще одна неверная опора.

Сель согнула колено, перенесла на него тяжесть. Каменная плоскость укрупнилась, приблизилась. Но пока Сель нагибалась, в поле зрения ворвался сверкающий огнями провал.

Это не произвело того впечатления, которого она боялась. Сознание, сосредоточенное на одной—единственной задаче, устояло. Лишь где-то в глубине шевельнулся прежний страх.

Теперь Сель отчетливо видела песчинку. Она лежала возле самого края. Возможно, она могла так пролежать еще долго, но столь же вероятным могло быть и другое.

Некоторое время не было молний. Потом вспыхнуло сразу несколько. Песчинка заблестела, как алмаз. Сель быстро протянула руку...

Когда они выбрались на площадку, Сель привалилась к стене. Пол слабо кружился. Ее рука лежала на спине Волка, и Сель чувствовала, как постепенно успокаивается порывистое дыхание зверя, воображению которого было доступно многое из того, что доступно человеку. У обоих одинаково колотилось сердце. Внизу лежал омываемый дождями город — их город. Успокоительно стучала капель. Пол кружился все слабей и слабей, потом замер.

Надо срочно предупредить неосторожных. Необходимо! Иначе могут быть самые неожиданные последствия.

Уже светает. Сейчас я опишу случившееся. Спокойно, главное — спокойно. А, черт, бумага затлела! Ну, ничего, ничего... Ладно...

Так вот. Был первый час ночи, когда это началось. Я вернулся из гостей, и после уютной квартиры, которую только что покинул, моя берлога показалась мне особенно неприглядной. Серый от табачного пепла стол, какой-то пух на стульях, перегоревшая лампочка в люстре и груды книг на полу. Одна из стопок зловеще изогнулась винтом и, когда я захотел ее поправить, рассыпалась под руками, затопив свободное пространство пола.

Что больше всего меня разозлило, так это то, что в коридоре стояли две пустые полки, купленные третьего дня. На них разместились бы все книжные груды, но для этого полки надо было повесить. А стены имели то отвратительное свойство, что их не брал ни один гвоздь. Требовалась электродрель, чтобы просверлить отверстие. Электродрель надо было искать, ее надо было выпрашивать — о, господи!

Стоя посреди комнаты и засунув руки в карманы, я с такой ненавистью посмотрел на стены, будто они и были причиной беспорядка. В кои веки возникло желание покончить с хаосом, и — на тебе! — нечем просверлить какое-то дурацкое отверстие. С яростной отчетливостью я даже представил, как в стене появляется дырка, как...

В стене появилась дырка. Точь-в-точь там, где я ее наметил.

Поначалу я нисколько не удивился: просто не поверил. Я подошел, пощупал отверстие, зачем-то подул в него. Оттуда вылетела цементная пыль и запорошила мне глаз.

Это меня убедило в несомненности факта. Еще меня поразила ночная тишина, окружавшая квартиру. Уж очень она не вязалась с тем, что произошло.

Я сходил на кухню, выпил воды. Помню, что дождался, пока из крана сбежит теплая вода, и лишь тогда подставил стакан.

Потом я вернулся, сел и задумался. Если зрение и осязание мне не лгали, — а с чего бы им лгать? — то получалось, что усилием воли я просверлил в бетонной стене отверстие. Это надо было обмозговать.

Мысль о чуде я отбросил сразу. Для какого-нибудь современника Пушкина было бы естественно онеметь при виде обыкновенной электрической лампочки, но мыто — люди, чего только не повидавшие! Нам даже лень удивляться и заглядывать в будущее. Многие ли знают, например, что делается на опытном заводе, где я работаю? Инженер прошлого века трижды перекрестился бы при виде стальных заготовок, плывущих по конвейеру и на глазах, меняющих форму, словно их обминает незримая рука. Это называется магнитной штамповкой, скоро мы внедрим ее в промышленность.



Или — зонная плавка токами высокой частоты в

магнитной бутыли. Ни на что, не опираясь, ничего не касаясь, висит кусочек металла, медленно наливается жаром, пока не засияет ярчайшей звездой. Непосвященных это впечатляет. Только вид наших прозаических спецовок и не менее прозаических физиономий гонит из их сознания мысль о чуде.

Просто мы привыкли к тому, что в повседневной жизни всякое действие осуществляется вполне осязаемым и вполне весомым орудием. К незримым действиям и невещественным орудиям у нас такой привычки нет. А жаль. Как-то на досуге мы спроектировали кресло-качалку, сотканное из полей. Очень своеобразное ощущение: сидишь ни на чем. Жестковато, правда, получилось, и кожу немного жгло. Что поделаешь, первый шаг! А вообще у такой мебели, по-моему, большое будущее. Впрочем, тут я могу быть необъективным.

М-да... Не потребовалось, как видите, особых усилий, чтобы мои размышления о дырке в стене приняли нужное направление. Человек сам по себе — источник всевозможных полей. Если бы мы их видели, странная бы открылась картина... Очень странная.

Итак, какое-то поле, генерируемое моим организмом, непроизвольно собралось в мощный пучок и просквозило стену. Какое поле — или поля? — без приборов не выяснишь, а посему над этим и думать пока нечего.

Когда я добрался до этого пункта размышлений, меня почему-то обескуражила мощность, развитая моим скромным телом. Вроде бы у организма не должно быть таких энергетических ресурсов...

Я встал и с помощью разогнутой скрепки измерил глубину отверстия. Нет, глубина была приличной: гвоздь держался бы надежно.

"Что за нелепость? — сказал я себе. — Откуда я взял, что подобное усилие должно сопровождаться колоссальным расходом энергии? Электродрель просверлит стену самое

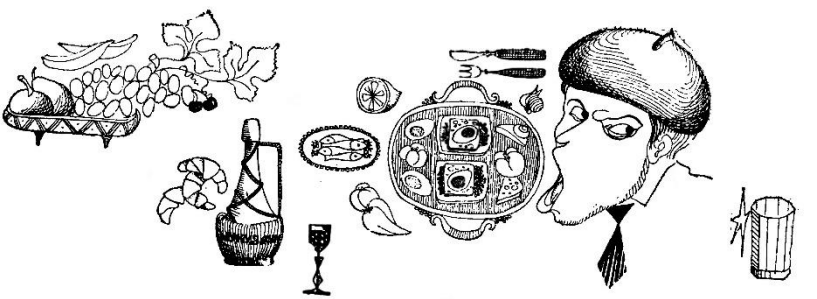
большое за две-три минуты. Сколько за это время она потребит энергии? Пустяк, ясно и без расчетов, что пустяк".

Я успокоился и посмотрел на дыру уже с меньшим уважением. Оставалась последняя закавыка. Вам она, может быть, покажется существенной, но на деле она не такова. Человек, как известно, не обладает способностью вот так, ни с того ни с сего взять и просверлить стену. Даже булавку он не может передвинуть взглядом. Отчего же я вдруг...

Но все это несерьезно. Существуют на свете катализаторы, чье присутствие самые смирные процессы заставляет идти в галоп. К человеку это не относится? Как бы не так! Слабая женщина в неистовстве рвет стальные оковы, мешковатый интеллигент при опасности перепрыгивает высоченный забор — это что, норма? А подобные случаи хорошо известны. Вот и догадайся заранее, какие сокровенные процессы могут идти в человеческом организме, а какие нет.

Я пощупал пульс. Он слегка частил. Очень хотелось закурить, но я не закурил: в такой ситуации лучше воздержаться от введения в организм чего бы то ни было.

С некоторой опаской я посмотрел на свое тело, словно в нем дремала взведенная мина. Что же я такого съел или выпил, отчего во мне взыграли таинственные силы? Обед был стандартным, столовским — с него не взыграешь. В гостях я ограничился тремя или четырьмя рюмками мукузани, съел какой-то антрекот или что-то в этом роде — патологически



не умею разбираться в мясных блюдах. Антрекот я запивал минеральной водой. Бутылка, помнится, была без этикетки.

Последнее обстоятельство наводило на размышления. Горько-соленая дрянь без этикетки: она могла содержать сногсшибательные комплексные соединения.

После нее и мукузани я вроде бы ничего не пил и не ел. Хотя... Вот память! Поднимаясь в лифте, я машинально нашарил в кармане пальто плоскую коробочку... Да, да, ту самую, с этим новым витамином Ж, который мне недавно прописали в поликлинике для поднятия общего тонуса. Пару таблеток я проглотил там же, в лифте, они приятны на вкус и хорошо освежают рот после сигареты.

Забавно. Получается уравнение, по крайней мере, с двумя неизвестными: минеральная вода без этикетки и новый витамин. Плюс группа переменных факторов, как-то: мукузани, антрекот и сигареты, чье сочетание могло стимулировать действие искомого катализатора Х. Да, тут впору считать на БЭСМ.

Оставался путь эксперимента. Что-то до сих пор удерживало меня от опытов. Одно дело философствовать о причинах феномена — это вполне интеллектуальное занятие. Нечто вроде разгадывания фокуса, к которому ты совершенно непричастен. И совсем другое — сознательно спустить с цепи сидящую в тебе неведомую силу. Даже если ты подвел под нее теоретическую базу.

А база неплоха, что и говорить. Не люблю испуганно округленных глаз при разговорах о подобных штучках. Сами-то разговоры нужны: такой уж нынче век, что наука то и дело бросает в жизнь одно невероятное открытие за другим. То антимир, то сигналы из космоса, то еще что-нибудь! Без противошоковой прививки трудно обойтись, а подобные разговоры как раз и могут быть ею. Если они, разумеется, ведутся без придыханий, без экивоков в сторону таинственного, без душка сенсационности. Мы окружены непознанным, мы всегда были окружены непознанным, пора привыкнуть, что оно врывается к нам в дом без звонка.

Все же я не сразу решился на опыт... Знаете, пустая комната, ночь. Я вышел в коридор и зажег свет даже в уборной. Не знаю, зачем.

Вернувшись, я напряженно посмотрел на стену и пожелал дырке появиться.

Она не появилась.

Это меня рассердило. Меня всегда сердит неудавшийся эксперимент. Я уже с ненавистью посмотрел на стену, мысленно пронзая ее.

Помогло. Правда, отверстие получилось неглубоким, и из него пошла пыль почему-то розовая.

Так... Не выдержав, я закурил, но не заметил этого. Теперь я попробовал расколоть стакан. Со стаканом вышла осечка. То ли я устал, то ли действие катализатора ослабло, то ли подсознательно я щадил полезный предмет, а только стакан оставался целым и невредимым, как я ни напрягался.

Дырки тоже перестали получаться.

Ну и шут с ними! Пора было переходить к следующей стадии эксперимента. Достать загадочной минеральной воды я не мог, но витаминные таблетки были в моем распоряжении. Я проглотил парочку и мрачно воззрился на стакан.

Он с треском лопнул.

Я почувствовал, как за моей спиной взмокла обшивка кресла. Мысли пошли вразброд, и в голове завертелся мотивчик песенки о беззаботных медведях, которые трутся спиной о земную ось.

В интересах науки следовало, конечно, замерить физиологические параметры моего организма. Никаких приборов, кроме термометра, у меня не было, и я сунул его под мышку.

И тут меня с запозданием посетило ужасное предположение!

Я схватил коробочку и прочел надпись: "Витамин Ж играет роль биокатализатора в процессе обмена веществ в



нервных тканях. Он также необходим для жизненных функций слизистых оболочек головного мозга и входит в состав коэнзимов дегидрогеназ, принимающих участие в метаболизме глюкозы". Сбоку шла другая надпись: "Держать в сухом и прохладном месте".

Как безобидно! До сих пор моя мысль привычно работала в научно-технической плоскости. В вопросах морали, этики, психологии я безграмотен, знаю это и предпочитаю не рассуждать на столь отвлеченные темы. Но тут...

Витамин был новинкой. Он только что поступил в продажу. Но им пользуются, вероятно, уже тысячи людей. Если он так же действует и на других...

Предупредить! Бывают мгновения, когда при взгляде на ненавистного человека мы готовы его испепелить. Теперь это может осуществиться буквально! Взгляд, который входит в тело противника как нож...

Забыв о термометре, который, естественно, скользнул вниз, я кинулся к телефону. Тогда в аптеке я столкнулся с Новосильцевым. Он тоже брал витамин, мы еще посмеялись над этим совпадением и дружно посетовали на состояние наших нервов. Если и у него тоже... Скорей, скорей!

Телефон Новосильцева долго не отвечал, наконец мужской голос нелюбезно осведомился, кому это он потребовался в третьем часу ночи.

— Коля, — выпалил я без предисловий, — у тебя еще остался витамин Ж?

— Остроумней ты не...

— Да или нет?!

— Да. Но послушай...

— Молчи! Немедленно сделай то, что я тебе скажу. Проглоти две таблетки витамина.

Было, очевидно, в моем тоне что-то, заставившее Новосильцева повиноваться беспрекословно. Кажется, он этому весьма удивился: даже хмыкнул в трубку.

Когда он через несколько секунд снова взял трубку, я не дал ему передышки.

— Выпил? Прекрасно. Теперь сделай так. Посмотри на стену и вообрази, что тебе позарез необходима дыра в ней... Ничего я не сошел с ума! Коленька, ну, сосредоточься, и ярости, ярости побольше! Умоляю...

Новосильцев возмущенно пыхтел и сопел. Я отчетливо представил, как он, полуголый, стоит перед аппаратом и с ненавистью глядит на предавший его телефон.

И вдруг...

Телефонный аппарат на моем столе медленно-медленно задымился. На мгновение вскинулся и тут же опал коптящий язычок пламени. Пластмасса точно закипела; из пузырящегося, оплывшего футляра глянуло крошево металлических деталек и зловонно тлеющих проводков. От трубки, которую я все еще оторопело сжимал, свисал, покачиваясь, модный витой шнур — и дымился. "Как бикфордов..." — растерянно подумал я.

Все было кончено: Новосильцев испепелил мой телефон.

Придушив тлеющий ворох одеялом, я распахнул окна, чтобы избавиться от сизоватых клубов дыма. Пальцы дрожали так сильно, что я едва смог закурить.

Медлить было нельзя. Надо срочно остановить продажу препарата! Срочно предупредить тех, кто уже приобрел таблетки!

Рассвет застал меня за исписанными листами бумаги. Только бы успеть в утренний выпуск газеты. Только бы не задымилась медлительная авторучка.

Спокойно, главное — спокойно...

Вспышка света была тут взрывом. Луч взметнул из-под ног ледяное пламя, осколками разлетелись тени, темнота рванулась кверху, как дым.

Позже усталость привычки обратила свет в нечто осязаемо медлительное — в овал прозрачной материи, который надо было усилием тела пропирать сквозь неподатливую тьму. Там, где оболочку вспарывали искристые лезвия глыб, свет вытекал, застывая плоскими черными лужами. А поскольку луч фонаря двигался, то казалось, что светоносный овал ползет, подрагивая от боли.

Впечатление было настолько явственным, что Игонин начал уговаривать себя: «Это обман зрения. Луч не сокращается в объеме, ничего подобного, свет не жидкость в дырявом мешке».

Примерно о том же думал Симаков: «Да, это не Антарктида холодной ночью.

Похоже, а совсем, совсем не то».

— Темно, как у дьявола в кармане, — произнес он вслух.

Радио срезало обертоны, слова отдались в ушах Игонина мембранным пощелкиванием. Он ничего не ответил.

Предстояло пройти еще около километра.

Сверкающий, матовый, ноздреватый, белый, голубоватый, тусклый, прозрачный лед под ногами был водородом, углекислотой, метаном, аммиаком, неоном — они шли по поверхности атмосферы. Газовых испарений не было заметно, но они существовали, скрывая звезды. Люди знали, что по обе стороны от них — нескончаемая равнина, и что над их головами биллионы лет космической пустоты. Однако было физически тесно, и, если бы не тренировка, ими мог бы овладеть психоз замкнутого пространства, как это случилось во время одной из первых экспедиций на Трансплутон.

Хотя провалов и трещин можно было не опасаться, наручные локаторы предупредили бы о них заранее, Игонин и Симаков шли без спешки, с той медлительностью, которая свойственна человеку в замкнутом и темном пространстве. То была чисто подсознательная реакция дневного существа на обстановку непроницаемой ночи, Сама же ходьба по Трансплутону, в отличие от полярных областей Земли, ничем не грозила. Здесь не было перемен погоды, не было — в точном смысле этого слова — ветра и тем более урагана.

Сейсмически планета была мертва.

Все же в оболочке испарений иногда что—то происходило. В какой-то момент Игонину показалось, что луч фонаря дал в темноте слабеющий отблеск.

Точно снежинка блеснула высоко над головой. Потом их блеснуло уже несколько. Сомнения исчезли — то были звезды.

Полог ночи спадал беззвучно и быстро. Сначала очистился круг над головами. Его опоясало дымное кольцо. Вращаясь, оно ширилось на глазах, пока не слилось с горизонтом.

— Ну-ка, выключим свет, — сказал Игонин.

Нет, ночь не исчезла. Она и не могла исчезнуть на таком расстоянии от Солнца. Все же люди вздохнули с облегчением. Над ними было небо — широкое, звездное, мрачное небо, столь же неподвижное, как все вокруг. Но по крайней мере стало просторней.

Как по команде, люди обернулись назад, туда, где низко над горизонтом стояло Солнце, — крупная желтая звезда, которая здесь не давала ни света, ни тени.

Затем также одновременно Игонин и Симаков посмотрели вперед.

Закругляясь, черная равнина скатывалась за горизонт, над которым протянулась густая россыпь Млечного Пути. Впечатление края было необыкновенно сильным. Широкая



ледяная площадка будто нависла над пропастью межзвездной пустоты, куда можно было падать вечность, лететь миллиарды лет, не достигая дна.

Конечно, это была не более чем игра воображения. И все же...

— Нелепо, — Симаков принужденно рассмеялся. — Здесь я начинаю понимать того монаха — помнишь картинку в учебнике? — который дошел до конца Земли и заглянул... в ничто. А вроде бы, какая разница, откуда смотреть на звезды.

— Разница все-таки есть, — негромко ответил Игонин. — Психологическая.

Да, я тебя понимаю. Мы знаем, что находимся на краю Солнечной системы, и что там, — он вытянул руку, — нет ничего.

При этих словах оба почувствовали себя так, будто из-за горизонта рванулся холодный ветер. Симаков даже передернул плечами, хотя скафандр грел по-прежнему.

— Ерунда, — сказал он громко. — Там есть Другие звезды и другие планеты, а еще дальше другие Галактики, и мы когда-нибудь туда полетим...

В конце концов сзади нас точно такая же пустота.

— Не такая. Опять же мы знаем, что там, близко, Земля, теплое Солнце, межпланетные станции, обжитое пространство, дом. Ничего такого впереди нет. Ладно, пора двигаться.

Звезды чуть-чуть подсвечивали грани ледяных скал, намечали их контур, но, разумеется, идти при таком свете было нельзя. Опять вспыхнули фонари.

В их луче сгинули все неяркие звезды. Но ощущение стесненности, ощущение замкнутой пещеры оставило людей. Наоборот, после того как они мысленно прикоснулись к бесконечности, их ужа не покидало чувство открытого, чересчур открытого, чересчур голого и чуждого им пространства.

Психолог, пожалуй, мог бы заметить, что и это чувство — атавизм давних времен, когда предки человека жили в лесу, атавизм, который просыпается у горожанина в любой пустыне, а у кочевника обостряется при виде незнакомых и мрачных пространств. Теперь свет создавал для бредущих людей иллюзию покрова, хотя с точки зрения здравого смысла все это было чепухой. Какое значение имела обстановка для тех, на ком был скафандр?

— С-с-с... — сказал Симаков.

— Что такое?

— Ничего. Просто мне вспомнилась легенда о замерзших звуках. Глупая ассоциация мыслей. Ведь под ногами у нас — не лед. Могильные плиты. Вот так, мне думается, мерзлыми

сгустками атомов, темнотой, тишиной и холодом окончится все, когда погаснет последняя звезда.

— А кто—то недавно говорил о полетах на другие Галактики... Да, слово «лед» здесь неуместно, а другого у нас нет. Ну и что? Может быть, смысл разума именно в том, чтобы не допустить такого вот оледенения мира.

— Возможно. Но пока здесь властвуем не мы, а холод. И это действует на нервы.

— Вообрази, что гуляешь по Сахаре, станет легче.

Вскоре они, однако, убедились, что здесь не все окаменело. В пологой ложбине дорогу им преградила неширокая полоса неподвижной жидкости. В ней точками, как в зеркале, горели звезды.

Наклонный луч высветил дно, — жидкость оказалась абсолютно прозрачной, глубина нигде не превышала пятидесяти-шестидесяти сантиметров.

Симаков отцепил от пояса дистанционный анализатор.

— Всего-навсего квазисоединения благородных газов. Огибать лужу, пожалуй, не имеет смысла? А зябко...

— То есть как зябко?

— Входить. Как подумаешь о температуре этой смеси...

— Она везде одинаковая.

— Знаю.

Он шагнул первым. Игонин увидел, как жидкость без всплеска сомкнулась выше колен Симакова, как дрогнули звезды, побежали круги, как эти круги вдруг замерли, услышал вскрик, сопровождаемый нелепым взмахом. Игонин ринулся, опережая ход догадки. И жидкость, к его ужасу, не расступилась под подошвой ботинка, а отразила ногу, точно каменная плита.

— Она меня схватила! — вопил Симаков, извиваясь всем телом.

— Да это же метастабильная жидкость! — закричал Игонин. — Стой, я тебя высвобожу...

Призыв был излишним. Метастабильное состояние тем и своеобразно, что вещество в нем может остаться жидким

при температуре порой много ниже точки кристаллизации; достаточно, однако, пылинки, толчка, чтобы жидкость вся и мгновенно застыла.

Игонин выхватил тепловой резак. Симаков уже не пытался вырваться, лишь смотрел на свои вмороженные ноги, которые теперь пугали его своей беззащитностью. Пугали не эти членистые, просвечивающие сквозь лед металлические ноги, а те голые, из плоти и крови, что в них были.

У испуга свои законы и своя реальность. Игонин принялся действовать, едва осознав причину события, и действовал в соответствии с подлинной реальностью, которая, как он оценил, ничем не грозила Симакову, а просто требовала совершить ряд поступков — достать инструмент, взрезать лед, освободить товарища. Состояние же Симакова было иным, так как он был внезапно и грозно схвачен тем, что и без того давило на его мысли.

— Почему ты не достаешь свой резак? — закричал ему Игонин.

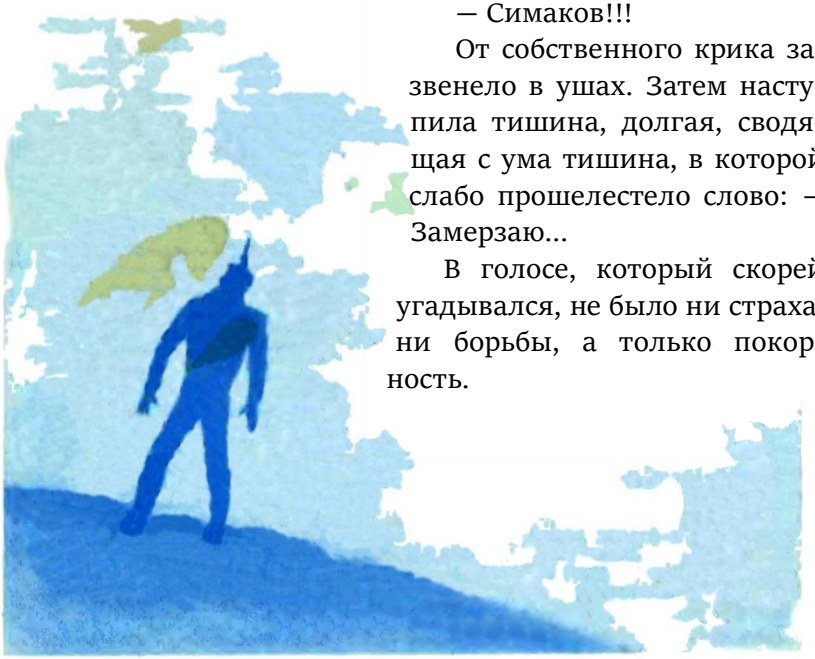
Симаков как бы очнулся и принялся вместе с Игониным резать лед.

— Ну, и каково же было оступиться в «могилу Вселенной?» — посмеиваясь, спросил Игонин, когда Симаков освободился и сделал шаг на негнущихся ногах. — Ладно, ладно, не смотри затравленным зверем, времени-то у нас немного, двинулись...

Он повернулся, насвистывая. Туман, который поднялся при резке льда, был настолько густ, что, когда Игонин из него выбрался, позади себя обнаружил лишь слабо тлеющий огонек фонаря. Он колыхался, то исчезая совсем, то расширяясь в огненный глаз.

— Скоро ты там?

Игонин ждал ответа, но его не было. Глазок фонаря замер и уже не двигался, Игонин оцепенело смотрел на этот замерзший глаз, еще не веря в беду, но уже осознавая, что он боится этой неподвижности больше, чем молчания друга.



— Симаков!!!

От собственного крика зазвенело в ушах. Затем наступила тишина, долгая, сводящая с ума тишина, в которой слабо прошелестело слово: — Замерзаю...

В голосе, который скорей угадывался, не было ни страха, ни борьбы, а только покорность.

Игонин рванулся что было сил, туман колыхнулся, и прямо перед собой он увидел черное изваяние с белым окаменевшим лицом, с глазами, которые были открыты, но которые стеклянно отражали свет.

Игонин дико посмотрел вокруг, словно тут могла оказаться помощь. Над куполом тумана стыли редкие звезды, сзади лежала черная равнина, которую метнувшийся луч на мгновение сделал белой.

Поздно было неистовствовать, звать на помощь, убиваться. Поздно и бесполезно: Симаков был так же неподвижен и нем, как и все, что его окружало.

... Внося тело Симакова в кабину скайдера, Игонин не замечал ни помогавшего ему пилота, ни врача, который при виде Симакова издал удивленное восклицание. Мысленно он видел себя на месте вмороженного по колено в лед товарища, который мог тогда предположить, но не предположил, что именно при таком сжатии способен проявиться

мельчайший скрытый дефект скафандра, вопреки расчетам, вопреки опыту, вопреки всему, что они знали о его надежности.

Пробудило Игонина движение врача, который намеревался раскрыть скафандр Симакова.

— Осторожно! Тепло, если он не совсем окаменел...

— Чистый лицевой щиток. Не поняли?

Быстрым движением врач обнажил грудь Симакова и прикоснулся к ней кардиоскопом. Игонина качнуло к стене: гулкий, наполнивший кабину удар сердца взрывом отозвался в его сознании.

— Убедились? — поднял голову врач. — Скафандр выдержал, не выдержал человек. Боязнь удушья, боязнь замкнутого пространства, открытого пространства, вот теперь новый подарочек медицине — космохладофобия.

Причина обморока не сам холод, а леденящая мысль о холоде, понимаете?

— Но как же так?! В космосе, в пространстве холод такой же страшный, однако никто, никогда...

— В космосе у него нет облика, — ответил врач, готовя шприц. — Может быть, поэтому.

Ничто, даже погода с утра, не предвещало перемен. Проснувшись, Сергеев откинул полог, и в палатку хлынул зеленый свет, бодрый, как само пробуждение. Там, за чеканной хвоей молодых елей, было солнце, был ветер, было озеро, прекрасный день до заката, до первой звезды в вечернем небе.

И это все принадлежало ему.

— С добрым утром и новой рыбалкой! — приветствовал Сергеева Ичин. Голый по пояс профессор сидел на корточках перед плоским камнем, держа в руке нож, которым нарезал хлеб. Дымок полупотухшего костра окуривал сзади спину профессора, по лицу скользили отраженные озером блики. Сергеев, насвистывая, сбежал к берегу, чтобы умыться.

— Знаете, чего не достает в такое утро? — крикнул он не оборачиваясь. — Полетать перед завтраком. Как птица. Жаль, что это невозможно?

— Невозможного нет, — донесся до него голос профессора. — Полетаем без ничего, без машин то есть, еще как полетаем!

— Силой мысли, что ли? — Сергеев набрал в ладони воду и опустил в них лицо.

— Какая чушь! Иначе, совсем иначе! Хотите, объясню, как?

— Давайте, — согласился Сергеев. Он снова набрал воду и плеснул на уже нагревшиеся плечи.

— Представьте, что у вас за спиной шарик, вроде детского...

— С водородом? Не поднимет, — Сергеев шагнул в глубину, и вода прохладным чулком стянула ногу.

— Классический пример инерции мысли! — услышал он. — Конечно, не поднимет. Но что есть водород? Рой протонов и электронов. Протон — тяжелая частица, так заменим ее! Вы можете вообразить себе газ, построенный из легких

частиц? Из одной сверхлегкой, наконец? Не сомневаюсь, такой газ нам со временем дадут химики. Вот тогда полетаем.

Сергеев только улыбнулся. Для спора ему не хватало знаний, да и зачем спорить, когда утро безоблачно, когда в озере гуляет рыба, — ишь, сколько кругов на поверхности! Наука, конечно, все может, и для полета она что-нибудь там создаст, разумеется, а пока поскорей бы закинуть удочку!

Их палатки стояли на берегу укромного озера уже третий день, и третий день они блаженствовали. Ни души вокруг. Поляны, расстилающие спелую чернику; кусты малины, клонящиеся под тяжестью сочных ягод; сосны, купанье и солнце, солнце!

Но прежде всего рыбная ловля.

Сергеев поспешил к камню, служившему столом. Они наскоро поели, а поев, тотчас устремились к лодке, будто их кто—то подгонял.

— А, черт, — беззлобно выругался Сергеев. Сталкивая лодку, он оступился, и нога глубоко ушла в черный ил.

— Почему нам так неприятна эта жижа? — вслух подумал он. — Интересно, у вас и на сей счет есть гипотеза?

— Разумеется! — тотчас откликнулся профессор. Он сидел на корме, обхватив колени, и рассеянно улыбался. Стекла его очков отражали небо. — В нас живет память тех предков, которые триста с лишним миллионов лет назад выбирались из моря на сушу. Они, вероятно, столько раз задыхались на топких берегах, что эти муки запечатлелись в инстинкте потомков...

— Ну, знаете! — Сергеев налег на весла. — Обычное объяснение, по-моему, куда верней. Мы не любим топь, потому что в ней опасность.

— Одно не противоречит другому, — миролюбиво согласился профессор.

— Поражаюсь вашей способности простое превращать в тайну, — пожал плечами Сергеев. — И очевидное объяснение подменять невероятным.

— А что мы знаем о простом и невероятном? — Профессору никак не удавалось насадить на крючок верткого червяка, и потому его ответ прозвучал чуточку раздраженно.— Вот, кажется, нацепить его — проще пареной репы... Ан, не идет! А вода под нами — это просто? Вода, которая в корнях деревьев имеет одну структуру, а в листьях совсем другую? Вода, которая в глубинах земли превращается в кислоту? Вода, которая, будучи полностью очищенной от примесей, ведет себя совершенно не так, как эта озерная? А облака над нами? Прочитав несколько брошюрок, вы, очевидно, полагаете, что знаете про облака все. А я, к примеру, понятия не имею, отчего дождевое облако, извергая из себя тонны воды, сплошь и рядом не только не рассеивается, а наоборот, растет и набухает. И никто этого не знает. А!..

Последнее восклицание относилось к банке с червями, выскользнувшей из рук профессора. Банка была стеклянной, и она, естественно, треснула.

— У меня есть тесьма, свяжите, — сдерживая смех, сказал Сергеев.

— Вы правы, — добавил он после недолгого молчания. — И самое непонятное, почему мы, приехав сюда отдохнуть от умственной работы, с утра изощряемся в интеллектуальных разговорах вместо того, чтобы просто наслаждаться природой.

— Абсолютно понятно...

— Ш-ш... Приехали.

Нос лодки ткнулся в берег крохотной бухточки — плотный травянистый дерн, покоящийся на воде. На нем, однако, как-то ухитрялся расти куст черной ольхи. Глубина тут была порядочной. А чуть в стороне находился песчаный перекат, где любили гулять окуни. Сергеев заякорил лодку и поспешно размотал удочку. Профессор еще возился с банкой, и первым закачался поплавок Сергеева. Теперь в мире ничего не существовало, кроме этого, настороженного поплавка, кроме длинного бамбукового удилища и

капроновой лески, ушедшей в ту таинственную глубину, где ходили рыбы.



Поплавок слабо притопило. Сергеев слился с удочкой. «Ну, ну...» — торопил он.

Повело! Поплавок прыгал, то вставая торчком, то окунаясь, и у рыболова действовал только инстинкт, подсказывая, как надо поступить.

Поплавок рвануло в глубину. Сергеев подсек и, ликуя, ощутил сопротивляющуюся тяжесть. Еще мгновение — и над бортом заплясала всего-навсего плотва и не из крупных...

Сергеев торопливо отцепил крючок, кое-как поправил червя (когда клев, каждая секунда — невозвратимая, упущенная) и снова закинул.

— Одна есть! — торжествуя, прошептал он.

— А у меня не клюет, — огорченно признался профессор. Он буквально впился взглядом в поплавок.

Тщетно. Теперь перестало клевать и у Сергеева.

Сонная вода, сонный поплавок, сонный лес по берегам. На поплавок, сложив крылышки, уселась пучеглазая стрекоза. Значит, уж совсем безнадежно.

— Хоть бы вы, наука, — в сердцах сказал Сергеев, — придумали такую приманку, чтоб рыба кидалась на нее, как бешеная.

— Можно, — подумав, ответил профессор, — можно, но не нужно.

— Почему?

— Во что тогда превратится ужение? В добычу. В дело. Где можно — не надо этого. Не всегда верх над природой означает выигрыш.

— Темно вы говорите, профессор.

— Куда ясней! Если бы в нашей власти было выловить всю рыбу из озера, сочли бы мы клев удачей? Давало бы ужение азарт, радость, нетерпение? Вот то-то... Неисполнение желаний мы считаем злом. Но каким злом было бы мгновенное, всегдашнее исполнение любых наших желаний! Не задумывались над этим?

— Опасность удовлетворения всех желаний мне как-то ни разу не грозила. И пока этого не произошло, давайте-ка сменим место.

— Не возражаю.

На новом месте, у камышей, их удочки так же сонно поникли над ослепительной водой. Уж чего только не делал Сергеев! И наживку менял, и поплавок шевелил, и забрасывал нарочито с шумом, и сыпал вокруг хлебные крошки, — глубины озера, казалось, вымерли.

Наконец, Сергеев демонстративно повернулся к удочкам спиной и полуулегся на носу лодки.

— Ведь ходит же! — пробурчал он, подставляя солнцу пятки. — Ходит, а не берет. Неужели она так сыта, что уж на свежего вкусного червя ей и глядеть тошно?

— А может, ей интересней сейчас созерцать, — спокойно заметил профессор.

— Как это, созерцать? Кого созерцать — червя?

— Хотя бы червя.

— Да зачем ей созерцать-то?

— А зачем животным спать?

— Как зачем? Ясно: для восстановления чего-то там...— Сергеев неопределенно покрутил пальцами в воздухе.

— А вам не приходило в голову, что сон — очень странное явление природы? Во сне животное практически беззащитно. С точки зрения борьбы за существование все преимущества получают бессонные, так сказать, виды. Почему же эволюция не пошла по этому пути? Ответ один: сон дает какие—то особые преимущества, которые перевешивают его очевидные неудобства. Значит, полное бездействие иногда выгоднее энергичного действия. Так почему бы рыбам время от времени не созерцать добычу вместо того, чтобы хватать ее?

— Уф! — Сергеев помотал головой. — Не могу понять вашей страсти к фантазированию. Иногда мне кажется, что вы просто шутите. Но чаще у меня впечатление, что все эти нелепицы вы говорите всерьез. Обычно в беспочвенном

фантазировании упрекают нас, простых смертных. Но вы же ученый!

— Именно поэтому я и отношусь всерьез к фантазированию. Не говорите только об этом моим трезвомыслящим коллегам — съедят.

— Но смысл? Какой в этом смысл?

— Для меня — огромный. Как бы это объяснить... Вы согласны с тем, что в бесконечной природе и число явлений и их разнообразие тоже бесконечны? И что в принципе возможно все, что не противоречит законам природы?

— Что ж, пожалуй...

— Хорошо. Теперь вопрос: как увидеть возможно большее число явлений? Ну, эксперимент — один путь... Пробовать так, пробовать эдак и смотреть, что получается. Есть и другой прием.

— Фантазирование?

— Называйте так. Но смысл здесь иной. Вы, вероятно, не обращали внимания на то, как вы ищете ягоды? А стоит обратить. Прежде всего вы, абсолютно бессознательно, вызываете в памяти образ нужной вам ягоды. Затем стараетесь увидеть образ в натуре. И когда это происходит, с удивлением замечаете, что ягоды словно высыпали из-за укрытий.

— Ничего подобного! Допустим, иду я по дорожке, мимолетный взгляд в сторону — ага! — земляника.

— И тотчас обнаруживаете, что вокруг масса ягод. Но вид земляники вам известен заранее. А кто знает, как выглядит неоткрытое явление природы? Каков его, так сказать, образ? Заметьте, кстати, стоит кому-нибудь одному натолкнуться на новое явление — и сразу выясняется, что его можно наблюдать здесь, там, не в одном — в десятках случаев! Где же были глаза раньше? Они-то были, а вот узнавания не было... Что в таких ситуациях делать? Придумывать явления. Конструировать их облик, призвав на помощь знания, логику, воображение. И чем ближе к действительности окажется придуманный образ, тем легче обнаруживается само явление. Да, но не забывайте: разнообразие природы

бесконечно! Собственно, получается так, что любому придуманному явлению, если оно не противоречит законам мироздания, должен найтись аналог в действительности.

— Очередной ваш парадокс, — Сергеев с тоской оглянулся на замершие поплавки. — Если б это было так, оправдывалась бы любая гипотеза.

— Вы правы, но причина здесь другая. Подавляющее большинство природных явлений мы обнаружить не можем, просто потому что у нас пока нет для этого подходящих глаз, то есть технических средств. И еще потому, что мы в основном ограничены Землей, где не может, естественно, проявиться все разнообразие природы. Но разве из—за этого надо сужать наши мысленные эксперименты? Если б у нас было не четыре, а четыреста удочек, мы бы наловили больше рыбы, это очевидно. Вот и я тоже стараюсь запустить в неведомое как можно больше удочек. Авось, клюнет.

— Но уж больно вы любите парадоксы...

— А неизвестное и должно быть парадоксальным. Иначе какое же оно неизвестное?

— Ладно, тогда я тоже выдам вам парадокс. Хотите?

— Ну, ну?

— Вы шаманите, вызываете явления.

— Как? — Профессор стремительно подскочил, лодка заколыхалась. — Как вы сказали? Шаманю? А знаете, это близко к истине! В чем смысл многих табу древности? Не произносить имя злого духа! В убеждении, что слово материализует плоть. Мистика, конечно. Но древние смутно чувствовали в этом какую-то правоту, мы сейчас понимаем, какую. И «шаманим» уже по-научному. Спасибо за парадокс.

— На здоровье...

Сергеев рванулся так, что едва не перевернул лодку. Клевало! Вмиг были забыты глубокомысленные рассуждения, наука, профессор с его парадоксами, — клевало! Энергично, уверенно. Сергеев подсек и, дрожа от восторга, выбросил в лодку крупного окуня.

И тут началось! Брало тотчас, с налету, на любого червя, на огрызок червя, на видимость червя!

Профессору везло не меньше.

Они вернулись, когда голод стал нестерпимым. Все же Сергеев не вытерпел и, спрыгнув на мелководье, кинулся за раками, которые, оставляя за собой туманный след взбаламученного ила, торопились укрыться под корягами. Штук пять удалось поймать. Побросав раков в ведро, он вытащил лодку на берег и стал разжигать костер.

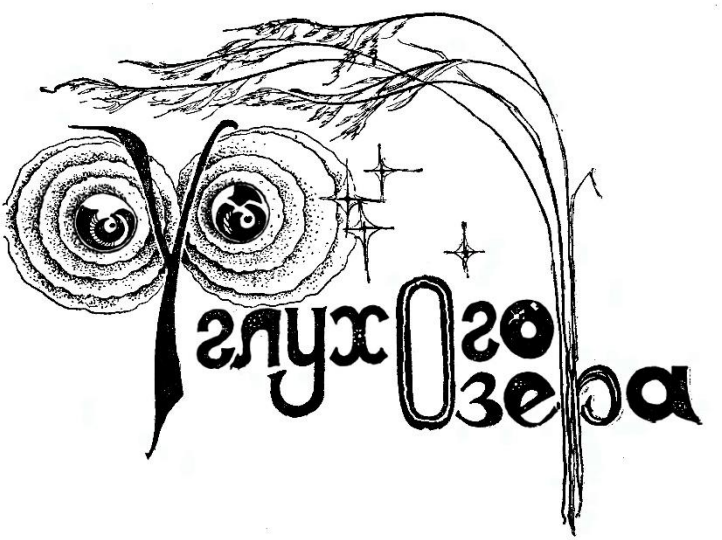
После обеда оба легли в тень. Все было так хорошо, что лучшего и не желалось. Никаких забот. Прокаленные солнцем тела обдувал ветерок. Шумели сосны, важно покачивая кронами. Невесомые, как сны, облачка скользили в ярко-синем небе. Много ли человеку надо?

Сергеев перевернулся на живот, положил голову на руки и лениво пошарил взглядом в траве. Сначала он ничего не разглядел в зеленом кружеве, потом из-под листочка подмигнула иссиня-черная ягода, одна, другая, третья... Кругом была пропасть черники, не надо было даже двигаться, стоило лишь протянуть руку. «А с ягодами профессор был прав», — лениво подумал Сергеев, видя, как они выскакивают из тайных засад, словно притянутые взглядом.

Потом купались, снова ловили рыбу и снова удачно. Так прошел этот замечательный день.

Поужинали в сумерках. Закинув руки за голову, Сергеев снова растянулся на траве. Он равнодушно следил за тем, как в темнеющем небе наливаются звезды, как холодно, одиноко горят они среди черных пустынь. Потом с ним произошло то, что бывает со всяким, кто долго всматривается в звездное небо: он почувствовал бесконечность. И тело вдруг сделалось легким, как будто плывущим в даль.

— Странно. — сказал он, с усилием перебарывая это ощущение. — Мой взгляд бродит там, — он показал рукой вверх. — Как я подумаю, что он встречается со взглядами тех разумных, что в это же время смотрят с других планет... Нет,



не могу этого выразить. Но в этом есть что-то противоестественное: искать то, что существует, знать, что тебя тоже ищут и никогда не найдут, как и ты никого не найдешь...

— Откуда такой пессимизм? — отозвался Ичин. — Может быть, найдут. Или найдем.

— В этой бесконечности? Нет, очевидно, она непреодолима. Иначе бы те, что ушли в развитии далеко вперед, как-нибудь дали бы о себе знать. Но они не дают. Не могут или не хотят.

— Или просто ждут.

— Ждут? Чего?

— Понимания.

— Очередная парадоксальная гипотеза?

— На этот раз, увы, ничего парадоксального.

— Даже любопытно... Они что, следят за нашими мыслями, ждут, пока мы, так сказать, созреем для контактов?

— Примерно.

Сергеев хмыкнул, сел, театрально возвел руки к небу:

— О вы, жители сверкающего Канопуса, что бриллиантом горит меж ветвей, я, гомо сапиенс Сергеев, созрел для переговоров, откликнитесь!

Вечерняя тишина безмолвствовала.

— Не откликаются, черти, — уже обычным голосом сказал Сергеев и снова лег. — Молчат. Что, опроверг я вашу гипотезу? Кстати, она не нова.

— Опрометчиво судить о гипотезе, не познакомившись с ней.

— Так познакомьте. Время есть, отчего бы на сытый желудок не порассуждать о высоких материях?

Профессор не обиделся. Он сидел у костра, зачарованно глядя на огонь. За мысом, отражаясь в воде, горел другой костер, а подле него темным силуэтом сидел другой профессор. Было два костра, два профессора и два звездных неба, зеркально повторяющих друг друга.

— Заснули?

— А? — очнулся профессор, и его отражение в воде качнулось. — Гипотеза? Их много. Вот самая банальная. Если цивилизация хочет найти во вселенной отклик, она использует все доступные ей виды поиска. Это так же несомненно, как и то, что при розыске нужного вам человека вы используете и телефон, и справочное бюро, и объявления. Отсюда, в частности, следует, что, если кто-то посещал Землю миллионы лет назад, он скорей всего оставил нам «письмо до востребования».

Сергеев расхохотался.

— Чему вы смеетесь?

— Да ведь это... на деревню дедушке! И конверт, — где они сыщут вечный конверт? За миллионы лет рассыпаются горы; как сахар в кипятке, растворяются искусственные спутники. Какой сплав устоит против времени, какая точка Земли останется неизменной? Вот я и смеюсь.

— И зря. Материал, для которого миллионы и десятки миллионов лет ничто, — существует.

— Любопытно, любопытно...

— Это живое вещество.

Сергеев привстал. Он смотрел на профессора, на его пылающие отсветом костра очки.

— Вы это... серьезно? — шепотом спросил он.

— Не хотите верить, не надо, — раздраженно бросил профессор. — Неужели вы сами не видите этого!? — ударом палки он выбил из костра сноп искр. — Чем отличается современная латимерия от той, что жила восемьдесят миллионов лет назад? Ничем практически. Вот вам, пожалуйста, живое вещество, чья форма и организация устояла против времени. А скорпион, который отличается от своего предка, жившего триста пятьдесят миллионов лет назад, лишь размерами? Как их можно не замечать? Вот вам «вечные» конверты, надо лишь вложить в них письмо.

— Ничего себе — вложить, — смущенно пробормотал Сергеев. — Некоторые виды животных долговечны, согласен. Но все равно между сегодняшним скорпионом и древним — миллионы трупов, это вам не эстафета...

— Как раз эстафета. Эстафета наследственности, генетическая цепь, протянутая сквозь геологические эпохи. Вот вам для простоты такая чисто техническая задача. Прилетели пришельцы, огляделись — кругом бродят динозавры, разум ещё когда-то будет. Предположим, они в силах построить автоматизированный завод, который десятки миллионов лет будет изготовлять и рассылать во все концы планеты роботов, запрограммированных на изучение живой среды и на связь с разумом, когда он возникнет. Такой завод вы можете себе представить?

— Допустим, теоретически...

— Можете или нет?

— Могу.

— Так вот — пришельцам не нужно строить завод. Задача проще и легче: внести в генетические чертежи тех же скорпионов такие коррективы, чтобы эти существа стали живыми роботами. Будьте спокойны, уж если инопланетники смогли преодолеть межзвездные расстояния, то сделать

такую операцию для них не слишком затруднительно. Что же получается? Бродят по земле животные, никакие они не пришельцы, только есть у них некие непонятные для ученых органы. Кстати, у скорпионов есть такие таинственные органы, да и не только у скорпионов! Разумеется, мы полагаем, что эти загадочные устройства зачем-то нужны животным, мы даже даем им объяснение. А если не так? А если это анализирующие устройства, встроенные десятки миллионов лет назад чужим разумом для сбора информации о Земле? А вдруг они вот сейчас анализируют нашу речь, наш язык, расшифровывают его и, может быть, даже готовятся нам ответить?

— Увау-у! — воскликнул Сергеев. — От ваших мыслей голова кружится хуже, чем от водки. Какое счастье, что всего этого на самом деле нет!

— Вы уверены?

— Понятное дело! Уверен ли я? Да ведь разум существует тысячелетия, и если ничего такого не произошло, значит...

— И молвил кот человеческим голосом: «Я к вам с приветом от братьев по разуму». А кота — в костер. За связь с дьяволом. Нет, контакт возможен, лишь когда другая сторона доросла до понимания его возможности и необходимости.

Профессор умолк.

Где—то печально крикнула ночная птица. Сергеев вздрогнул. Посвист крыльев пронесся над гладью озера, над дремлющими берегами, и все затихло.

— Пойти спать, что ли...— неуверенно сказал он.

— Пожалуй, — нехотя согласился профессор.

Костер уже не потрескивал, лишь ало светились угли. Прохладный воздух был неподвижен. Над горизонтом спокойно и строго поблескивал Сириус.

— Хорошо...— вздохнул Сергеев. — Спокойной ночи.

Голова была ясной.

Он шагнул к палатке.

И услышал звук. Неразборчивое шипение, как от тупой иглы, скользящей по заезженной пластинке.

— Ш-ш-ш...

Звук треснул, сломался, и вдруг отчетливый голос наполнил ночь.



— Мы ждали долго, наконец, вы поняли нас, мы говорим, не пугайтесь, это поиск контакта сквозь время...

Профессор вскочил. Из-под ноги покатилась пустая манерка.

Голос плыл над лесом и над озером, казалось, он был везде, казалось, им говорила сама природа. И все же он был, где-то рядом.

— Знаю! — закричал профессор.

Он выхватил фонарик. Растерянно метнулся луч, ткнулся в ведро, на дне которого копошились пойманные днём раки.

Это были все те же архаичные существа с бессмысленным взглядом выпученных глаз, с механическими движениями клешней. Но голос, им не принадлежавший, шел оттуда, из-под панциря, и ведро усиливало его, как рупор.

— Наша цивилизация приветствует вас... Однако вас еще очень мало. Всего один человек... Мы подождем, пока вас, понимающих, станет больше... До встречи.

Ничто не изменилось в природе и изменилось все. Как будто дрогнули звезды. Как будто ветер колыхнул землю, озеро, ночь, и они поплыли неведомо куда. Привычные связи распались, и тщетно Сергеев боролся с охватившим его головокружением. Его, как пловца в водовороте, несло прочь от обжитых берегов. Перед ним открылись желанные дали. Но он был слишком потрясен, чтобы радоваться им.

— Вы слышали?! — воскликнул Сергеев.

— Разумеется, — ответил профессор.

Сергеев нагнулся над ведром. Раки шевелили усами, неуклюже переставляли клешни. Но Голоса больше не было. Лишь шорох панцирей в гулком ведре.

— Но кто поверит нам?!.. Нас примут за сумасшедших! — Глаза Сергеева блестели, руки дрожали.

— Пока, наверное, хорошо и то, — тихо ответил профессор, — что нас, понимающих, уже двое.

Солнце здесь было не ярче чугуна, а о планете и говорить нечего. По сравнению с ее диском, который заполнял обзор, космос был средоточием света. Глядя на нее, капитан Зибелла молча опустил оттопыренный книзу палец. Жест, каким римляне обрекали гладиатора на смерть, тут был, пожалуй, уместен.

Тем не менее мы ждали, что покажут локаторы. Ирина налила всем кофе, но я не притронулся к чашке. Как—никак это была первая встреченная нами планета черной звезды.

По интеркому был слышен разговор телеметристов.

— Расстояние?

— 0,7 расстояние.

— Информационная активность?

— Нулевая активность.

Правила соблюдались неукоснительно. "Информационная активность разведки должна соответствовать информационному уровню планеты" — примерно так звучало требование. Попросту говоря, мы должны были убедиться, что на планете нет даже самых примитивных приемо-передающих станций, которые могли бы засечь сигналы наших локаторов и тем самым обнаружить нас прежде, чем мы того пожелаем.

Но на планете, как и следовало ожидать, все было тихо.

— Капитан Зибелла! Разрешите включить локаторы?

— Не понял, повторите, как должно.

В интеркоме кто-то тяжко вздохнул. Зибелла был верен себе. Во всем космосе трудно было найти другого столь пунктуального капитана. Злые языки говорили, что он и не женился до сих пор лишь потому, что на сей счет не выработано инструкций. Возможно, Зибелла кое в чем действительно перебарщивал, но, как бы там ни было, и люди и механизмы под его началом работали безукоризненно.

— Виноват! — звонко отдалось в интеркоме. — Расстояние 0,5 орбитального полета, информационная активность объекта — ноль, пассивная видимость объекта — ноль, прошу дать разрешение на локацию.

— Вас понял, орбитальное расстояние 0,5, нулевая активность, нулевая пассивная видимость, разрешаю использовать локаторы.

Мы все, включая Зибеллу, с нетерпением уставились на экран. Шли секунды, в течение которых автоматы, ощупывая пространство, выбирали самый подходящий для пробоя вид излучений, самую оптимальную частоту (запретными были лишь опасные для органики частоты). Краем глаза я следил за иллюминатором; там все было чернее сажи. Нам, привыкшим отождествлять видение со светом, трудно было поверить, что локаторы с ней справятся.

Мы ждали худшего (случалось, что атмосферы оказывались непробиваемыми), и, когда изображение наконец возникло, Ирина пустилась в пляс. Заулыбался даже Зибелла. Еще бы! Словно кто-то рванул занавес, за которым был сияющий полдень.

В рубку, потирая руки, вбежал Лео.

— Ну каково? — осведомился он, будто сам, без всяких там автоматов обеспечил столь изумительное изображение.

Ответа не последовало, ибо в эту секунду мы увидели хижины.

Мало что так действует на человека, как вид планеты, которую ты открыл. Все тело и весь твой разум становятся придатком глаза, который не смотрит, а пожирает развертывающийся пейзаж. Вот эти рваные, хаотичные громады гор с неземными сапфировыми ледниками… Вот эти похожие на след птичьих лап штрихи оврагов… Вот это непонятное бледно-розовое пятно… Вот этот чеканный блеск моря… Всего этого никто никогда не видел. Ты первый.

А уж если обнаружена жизнь… Тут бессмертную душу отдашь, лишь бы поскорей вступить на поверхность. Но времена Колумба, увы, миновали. Сводом правил, который

регламентирует обследование безжизненных планет, можно убить человека, но его объем и вес ничто по сравнению с томом, определяющим метод подхода к планете, где есть жизнь и, возможно, разум. И уж будьте уверены, Зибелла выполнил все до последней запятой.

Мы педантично обследовали планету с высокой орбиты, с промежуточной, с низкой; провели топографическую съемку, гравитационную, магнитометрическую, радиолокационную, термодинамическую и прочая, и прочая. Мы делали то, что совершенно необходимо было сделать; и то, что желательно было сделать; и то, чего можно было не делать, но что на всякий случай не мешало бы сделать. Мы едва не утонули в хлынувшей информации. "Каши маслом не испортишь", — повторял Зибелла, у которого от бесчисленных забот, кстати говоря, совершенно пропал аппетит. Но мы не роптали, потому что планета оказалась прелюбопытнейшей.

Не получая от звезды тепла и света, она должна была представлять собой мертвую льдышку. Но хотя климат, по нашим понятиям, был суров, ее, пожалуй, можно было назвать цветущей. Тепло в отличие от Земли ей давали собственные недра; и это тепло великолепно удерживалось атмосферой. Растительность существовала за счет тепловой энергии, тут секрет был ясен. А вот что касается обитателей хижин...

Скользя по орбите, мы не могли их как следует различить. И только когда наступил этап разведки с помощью атмосферных автоматов, нужное увеличение было наконец достигнуто.

У Лео при их появлении на экране вырвался нервный смешок. Сложением и ростом существа походили на пингвинов, а их свободные конечности явно напоминали руки. Но все остальное... Вообразите себе голову в виде увенчанной лавровым венком дыни. Вообразите, себе пульсирующий треугольный клапан посредине такого вот, с позволения сказать, "лица". Прорези там, где у нас уши. И ни

малейшего признака глаз! Вот что бесповоротно лишало их сходства с человеком — отсутствие глаз.

А между тем конусовидные домики этих существ были окружены взрыхленными участками, на которых что—то росло. Кроме того, хижины имели дверь. Настоящую дверь на ременных петлях.

Отделенные многими десятками километров, мы с трепетом смотрели на эти самые двери, понимая, что они значат.

— Оркестр, туш! — не совсем удачно выкрикнула Ирина.

Казалось, Зибелла ничего не слышал. Он возвышался над экраном, по которому двигалось маленькое, несуразное, разумное существо, и лицо у капитана было такое, словно он хотел прижать чужеземца к своей широкой груди.

Но едва утихли первые восторги, как мы стали замечать необъяснимые факты.

Животное рванулось, когда до него осталось шага три, и, семеня на коротких, как колышки, ножках, понеслось по прямой. Но на пути у него была Ирина. Она вытянула ногу наперерез мчащейся бочкообразной туше. Рога животного звякнули о металл. Оно пискнуло и метнулось вправо.

Все было как обычно. За небольшим исключением все животные подпускали нас и затем спасались бегством, не замечая при этом даже самых явных препятствий. Можно было твердо сказать, что они слышат звук шагов, но нас они не видят. Как, впрочем, и все остальное. Безглазая, словно в пещерах, жизнь.

Да тут и были самые настоящие пещеры! Пещеры мрака. Наблюдая сверху, мы так привыкли, что над планетой светит солнце — наше радарное солнце, что темнота внизу подействовала угнетающе. Темнота и связанные с ней мысли. Растения здесь не тянулись вверх, как на Земле, а жались к почве. Обесцвеченные рыхлые пластины листьев стлались ярусами, и чем выше, тем тоньше и шире были эти мертвенные грибовидные пластины. С них капала, свисала зеленовато-желтая, омерзительная слизь, точно вся

растительность страдала насморком. Смотреть под ноги было противно, но и небо не радовало — там, в кромешной темноте, перепархивали какие-то блеклые тряпки: здешние, так сказать, птицы. Нет, человеку тут явно было не место.

Двигаясь за остальными, я малодушно благодарил судьбу, что я здесь всего лишь недолгий гость. Открыл и разведал — вот вся наша забота. А кому-нибудь придется здесь жить. Потому что планета потребует стационарного наблюдения. Это годы одиночества и мрака, долгие и тоскливые годы, о которых лучше не думать, даже если они выпали не тебе, а другому.

Постыдное чувство, но, продираясь во мраке среди осклизлых зарослей, я радовался, что у меня есть "обратный билет".

К хижинам мы подходили не таясь, поскольку тут не было глаз, которые бы заметили свет наших прожекторов. Нас мог выдать только звук, но мы не собирались приближаться вплотную.

И все же по чисто земной привычке мы залегли в "кустах", то есть в ноздреватых, как сыр, пластинах какого—то местного растения. Смешно, если вдуматься, но нам было не до смеха. Вот уже сколько времени мы старались понять, как может существовать этот слепой мир, — и безуспешно.

В том, что он слеп, мы уже не сомневались. Ни животные, ни обитатели хижин не обладали дальновидением. У них не было глаз, и это понятно. Но у них не было и органов, которые бы восполняли отсутствие глаз! Органов, которые позволяли бы замечать далекие предметы подобно тому, как это делает хотя бы летучая мышь. Слух? Он был развит не лучше, чем у нас. Обоняние? На уровне собаки. Какое—то неведомое нам шестое, седьмое, десятое чувство? Мы, однако, не раз наблюдали, как бегущее животное с размаху тыкалось в препятствие, подобно тому, как четверть часа назад бочкообразное существо ткнулось в Иринину ногу.

Конечно, все это можно было объяснить. К чему дальновидение на планете, которая, в сущности, не что иное, как огромная космическая пещера?

Отличное объяснение, только оно никуда не годилось. Потому что животные здесь бегали, и быстро. А где бег, там и видение, иначе это уже не образ жизни, а чистое самоубийство.

Все, что мы в этом смысле наблюдали, было таким же абсурдом, как если бы толпы слепых вздумали разгуливать по автомагистрали. Такой мир просто не мог существовать, а здесь вопреки всему он жил и здравствовал. В последнем мы, впрочем, были не слишком уверены...

Наши бьющие на сотни метров прожекторы ярким светом заливали группу хижин, которые казались необитаемыми. От всего этого оставалось впечатление каких—то неправдоподобных декораций, сценической площадки, которую покинули статисты. Казалось, вот—вот раздастся голос режиссера, что съемки окончены, и мы, облегченно вздохнув, разойдемся.

Но время шло, а ничего не менялось. И мы вздрогнули, когда дверь отворилась и наружу вышел тот, кого мы ждали.

Прижимая к боку какой—то объемистый сосуд, он постоял немного (свет бил ему прямо в "лицо") и двинулся по тропинке, свободной рукой время от времени касаясь нависающих сбоку листьев. И вот это на ощупь бредущее существо вскапывало те поля, которые окружали поселок?! Строило жилище? Охотилось? В это невозможно было поверить. Но ведь кто-то все это делал?

Он продолжал двигаться, все так же касаясь кромки листьев.

Наши прожекторы следовали за ним. Они высвечивали даже вздутия мускулов. Земной опыт бурно протестовал против того, что мы видели. Казалось, существо вот—вот обернется в сторону пылающих электрических глаз, издаст вопль ужаса и скроется в темноте. Наши пальцы невольно легли на выключатели, и нам стоило труда их снять.



Проследив взглядом направление тропинки, мы поняли, куда и зачем бредет наш незнакомец. Он шел к крохотному озерцу, и чем ближе он к нему подходил, тем неуверенней делалась его походка. Местность тут была открытой, и он несколько раз нагибался, пробуя почву. Край берега он ощупал ногой и, лишь убедившись, что перед ним вода, опустил сосуд.

Теперь ему предстоял обратный путь. Он двинулся правильно, но тут в тени листьев мелькнуло тело какого-то животного. Мы не успели его толком разглядеть, так быстро оно мелькнуло. Но обитатель хижины уловил его присутствие. Он стремительно обернулся и кинулся в сторону. Потом замер. Он не был человеком, даже вовсе не был на него похож, но мы видели, как ходит его грудная клетка, нам передался его страх, и на мгновение между нами и этим сыном вечной ночи установилось что-то похожее на родственную связь. Мы даже вскочили, готовые бежать ему на помощь.

Этого не потребовалось, хищник исчез. Обитатель хижины взял половчее сосуд, замотал своей увенчанной "лаврами", точнее рогами, головой и пошел... Не к дому. Его движения не изменились; он так же нагибался, пробуя почву, только теперь ему мешал наполненный водой сосуд. И шел он не к хижинам, а прочь от хижин, туда, где путь ему преграждал обрыв.

Я слышал тяжелое дыхание друзей и был в таком же замешательстве, как они.

Предупредить об опасности? Ну а если ему нужен именно обрыв?

Он уже подходил к нему. До края оставалось совсем немного. И тут он как будто почуял неладное. Он затоптался на месте, его голова задвигалась, словно он пытался что—то увидеть. Потом он взял левей. Но обрыв заворачивал, избегнуть его можно было, лишь круто взяв назад. Мы ждали, что он это сделает. От провала его отделяли какие-то сантиметры. Он замер.

Нелепая, увенчанная "лаврами" голова в овале прожекторного света. Быстро пульсирующий треугольник рта на безглазом лице...

— Назад, назад! — не выдержала Ирина, будто он мог слышать радио.

Он сделал шаг. Туда, в черноту. Даже падая, он не выпустил сосуд с драгоценной водой. Донесся вскрик...

То, чему мы не хотели верить, оказалось истиной. Этот мир был слеп, но он стал слеп недавно.

— Вы не хуже меня знаете, что этого нельзя делать, — сказал Зибелла.

— У нас нет выхода, — повторила Ирина.

Мы стояли над трупом аборигена и не знали, как быть. В тупик нас поставило одно весьма разумное правило. Чтобы понять, какая беда обрушилась на планету, нам надо было забрать и проанатомировать безжизненное тело. Но было ли оно таким в действительности? Этого нельзя было сказать наверняка без тщательного исследования высших животных планеты, которым мы еще не занимались. А не зная ничего о физиологии аборигенов, мы запросто могли стать убийцами того, кто, по нашим понятиям, был мертв, а по здешним, не исключено, всего лишь лежал без сознания.

Но и медлить было нельзя.

— Предлагаю интроскопию внутренних органов, — сказала Ирина. — Прямо тут, на месте.

Зибелла ответил так, как и я бы ответил на его месте.

— Конечно, это самый разумный выход. Но можете ли вы гарантировать, что просвечивание ему не повредит? Вы можете положиться на точность такого диагноза и без вскрытия определить, жив он или умер?

"Ну все, — додумал я. — Ничего нельзя гарантировать, если организм аборигена не похож на человеческий. «Да что же это такое?» — спросил я себя в отчаянии. — Мы сами себя связали по рукам и ногам, когда надо действовать, действовать, действовать! Будь на месте Зибеллы кто другой..."

— Да, — сказала Ирина. — Я могу дать полную гарантию.

Мне показалось, что я ослышался. Но слова Ирины были ничто по сравнению с ответом Зибеллы.

— Действуйте, — сказал он.

И все. Знал ли Зибелла, что Ирина покривила душой? Вероятно. Нелепей, однако, было другое: даже сейчас Зибелла не нарушил букву правил! Ибо "в решении сугубо специального вопроса капитан обязан полагаться на мнение специалиста". Вот он на него и положился. И не снял с себя ответственности: мог бы промолчать или возразить, а вместо этого отдал подтверждающий приказ.

Вот и пойми человека, которого ты вроде бы знаешь наизусть. Ничего удивительного, впрочем. Если противоречия — неотъемлемое свойство окружающего мира (а так оно и есть), то нелепо предполагать, что, когда-нибудь возникнет порода людей, лишенная неожиданных противоречий характера.

— Он мертв, — сказал Ирина, отрываясь от приборов.

Мы доставили тело на корабль.

То, что мы выяснили, лишь усугубило загадку. Изучение погибшего показало, что у обитателей планеты имелся орган дальновидения — тот самый смешной "лавровый венок" на голове. Это и были его "глаза", улавливавшие, понятно, не свет, которого здесь не было, а тот пучок ультракоротких радиоволн, который посылала звезда и который мог пробиться сквозь здешнюю атмосферу.

Их радиосолнце, по нашим понятиям, еле брезжило в небе. Но для них, разумеется, сумрачный мир вовсе не был сумрачным, так как эволюция создала невероятно чувствительный орган восприятия. Благодаря своим рогам—антеннам они, верно, как и мы, могли любоваться закатами, красками растительности, переливами бликов, зыбью морской волны, всем тем, что составляет зримый мир, даже если этот мир отраженных радиоволн, который мы, люди, представить не в состоянии.

Так было, пока они не ослепли.

Внешне их рога-антенны не имели повреждений, они просто не функционировали, и мы не могли понять почему.

Напрашивалось два объяснения. Внезапная эпидемия. И еще. Мы бы не ослепли, если бы наше солнце вспыхнуло вдвое ярче, потому что у нас есть веки. А у них не было, да и не могло быть заменителей век, потому что пронизывающая способность даже сверхкоротких радиоволн несравнима с проникающими возможностями света.

Прекрасные гипотезы, только они никуда не годились. Что это за эпидемия, которая так быстро поразила всех обитателей планеты? Внезапное усиление радиояркости звезды, конечно, могло дать такой эффект, но у нас имелись замеры, которые показывали, что, по крайней мере, во время нашего пребывания звезда вела себя смирно.

Мы спорили часов шесть и разошлись удрученные. Отгадка была, где-то рядом, мы это чувствовали, и собственное бессилие настолько раздражало, что хотелось поступить с мозгом, как с барахлящим прибором, — хорошенько стукнуть его.

Мне не спалось, подозреваю, что и остальным тоже. Едва я закрывал глаза, как передо мной вставала замершая на краю пропасти фигура. Я слышал его крик...

Я предпочел открыть глаза, хотя в каюте было совершенно темно. Темно, как на самой планете. Нет, так нельзя, подумал я. Мы ничего не сможем добиться, если не сумеем выйти за предел земных представлений.

Интересно, а как это сделать? Весь строй наших мыслей, вся наша психология настолько неотделимы от Земли, что отрешиться невозможно. Впрочем, не совсем так. Мы побывали уже на многих планетах, и от земных представлений мы отстраниться, пожалуй, все-таки можем. Не вполне, но можем. А вот от представлений, связанных с Солнцем, избавиться куда трудней. Где бы мы ни были, мы окружаем себя светом, атмосферой солнечных лучей. И ничего тут не поделаешь. Мы можем знать и знаем, что существуют другие виды света, мы пользуемся ими, мы создали инструменты,

которые видят иначе, чем мы, но, употребляя их, мы все равно сводим то, что они дают, к зримым картинам либо к отвлеченным символам. Разум — наш поводырь, но глаз — его самый доверительный советчик. Попробуй замени его радиоглазом хотя бы... С машиной "эту операцию проделать можно, а с человеком нет.

Что, это, пожалуй, идея! Спустить вниз кибера с радиоглазом той же избирательной способности, той же чувствительности и посмотреть, что с ним будет.

В волнении я зажег свет. Как это всегда бывает после темноты, несколько секунд я видел лишь плоские, до боли яркие размывы предметов. "Вот так было и на планете, — подумал я. — Опаляющая глаз вспышка, а потом слепота и мрак... У бедняг не было век. Поэтому..."

Мое сердце гулко стучало. Мы искали вспышку, потому что весь наш опыт твердил, что ослепить может лишь мгновенная сильная вспышка. А что, если искать надо другое? Это мы можем захлопнуть веки, а они нет. Тот уровень радиояркости звезды, который в силу его постоянства мы сочли нормальным, на деле им не был. Могло так быть?

Этим все объяснялось.

Ничего этим не объяснялось! Даже если бы у нас, на Земле, солнце раз в миллион лет в течение всего месяца—двух светило вдесятеро ярче, то эволюция учла бы это обстоятельство. Тем более здесь. Не могло же так быть, чтобы звезда всегда светила ровно, а к нашему прилету вдруг взяла, да и устроила катастрофу. То есть, конечно, и такое возможно, но это уж слишком невероятное совпадение.

И все же здесь что-то есть... В совпадении самих моментов. Как будто наш прилет... То, как мы приблизились, то, как мы...

Не одеваясь, я ринулся в аппаратурную. Лео был еще там, и он выпучил глаза, но я не дал ему сказать ни слова.

— В каком диапазоне работают наши локаторы?

— Сейчас взгляну. А что?

— Ты не знаешь?!

— Запомнишь тут, когда столько дел... Автоматы сами... Да что с тобой?!

Но я уже сам прочел показания автоматов.

— Лео, умоляю, примерно, хотя бы примерно, какова интенсивность локаторов у поверхности? Порядок, ты можешь назвать порядок?

Он назвал порядок. Он еще ничего не понимал. А у меня все плыло перед глазами.

Наша автоматика выбрала как раз те частоты, для которых атмосфера была наиболее прозрачной и которые именно поэтому были здесь "светом жизни". Только наши приборы были менее чувствительны, чем "глаза" обитателей планеты, а видеть мы хотели как можно лучше. Вот локаторы и вспыхнули палящим солнцем.

Мы сами ослепили здешний мир, ибо были убеждены, что особенности человеческой физиологии — наше и только наше личное дело.

Что-то говорил Лео, но я его не слышал. Я видел черную планету, где нам теперь долгие годы предстояло спасать то, что еще можно было спасти. Мысль об удручающем аде, который нас ждет, как ни странно, доставила мне облегчение.

Питер все медлил, хотя следовало, не колеблясь, войти, разбудить, Эва, если тот спал, и сознаться, что ему, инженеру—звездолетчику первого класса Питеру Фанни, померещился призрак.

Это произошло в одном из тех дальних отсеков, где нудная вибрация напоминала о близости аннигиляторов пространства — времени. Рядом была заперта сила, которая могла разнести небольшую планету, и сознание невольно настораживалось в этих тесных, скупо освещенных и наполненных дрожью переходах.

Питер чувствовал себя, впрочем, как обычно. Вероятно, он даже удивился бы, узнав, что в нем, хозяине всей этой чудовищной махины, дремлет то самое беспокойство, которое испытывал его далекий предок, когда мощь природы выдавала себя бликом зарниц или грозным запахом хищника на тропе.

Он уже заканчивал обход, когда его приковал к месту тихий, невозможный здесь звук покашливания.

Он обернулся.

Никого, ничего. Пустой коридор, тусклая эмаль стен, змеистые тени кабелей и труб. И явственное, как прикосновение паутины к лицу, ощущение чужого взгляда.

— Олег, это ты? — напряженно крикнул Питер.

Коридор молчал. Питер был один, совершенно один в чреве мерно работающей машины.

Мгновение спустя Питер осознал нелепость, даже постыдность своей позы и решительно шагнул к месту, откуда раздался звук, передвигая поближе сумку с тестерами и тем самым как бы давая понять, что готов немедля устранить любую кашляющую, чихающую или хихикающую неисправность.

Не сделал он, однако, и двух шагов, как от стены наискось метнулось нечто столь стремительное и бесформенное,



что память запечатлела как бы рванувшийся клуб черного дыма, который, исчезая за углом, блеснул из своей темной глубины двумя кроваво-красными зрачками.

Когда ослабевшие ноги вынесли Питера на площадку, куда скрылось "нечто", то по обе стороны от нее не было ничего, кроме зеркально повторяющих друг друга, наполненных дрожью коридоров. Задыхаясь, Питер пробежал в оба конца, оглянулся, и расстояние, отделяющее его от жилых помещений звездолета, впервые показалось ему пугающе—огромным.

Случай был, конечно, предельно ясен. Бывало и раньше, что нагрузка долгого полета сказывалась на нервах звездолетчиков, хотя, насколько Питер мог припомнить, призраки еще никогда никому не мерещились.

Тем хуже его положение. О происшедшем он обязан доложить врачу, то есть старине Эву, а что последует затем, нетрудно представить.

Ему непередаваемо стало жаль себя. Это несправедливо, несправедливо, несправедливо! Почему с ним? За что? Как это вообще могло случиться, ведь он чувствовал себя не хуже обычного!

— Эв, ты спишь? — негромко спросил он перед закрытой дверью.

Праздный вопрос. Разумеется, в этот поздний час корабельной ночи главный врач и биолог экспедиции отсыпался после трудных дней работы на Биссере. Может, и не надо будить его сию секунду?

Питер погладил подбородок, соображая. Он обязан предстать перед врачом, верно. Он обязан рассказать о том, что было, это так. Но есть разница предстать сейчас или немного позже. Большая разница! Вряд ли его реакция сейчас в норме. Вот если он отдохнет, отоспится, тогда, быть может...

Решено. Твердым шагом Питер Фанни прошел в свою каюту, разделся и лег. Его больше не трясло. В каюте было тихо. Здесь ничто не напоминало о той скорости, с которой звездолет, торопясь к Земле, проламывал пространство.

Звездолет, на борту которого человеку явился призрак, чего, конечно, реально быть не могло.

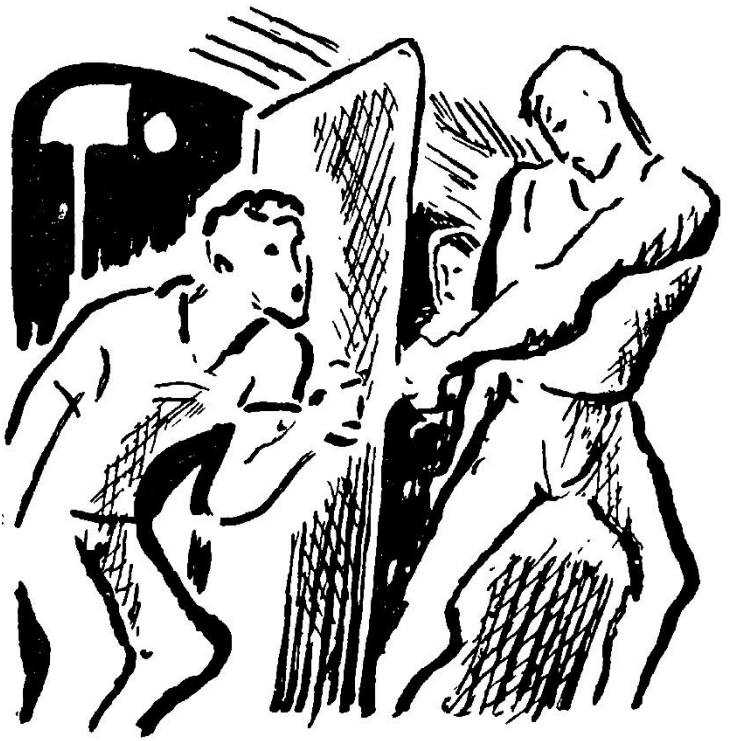
Несколько минут спустя Питер уснул. У него, как и полагается звездолетчику, были крепкие нервы.

Но спал он дурно. Там, на Земле, где он очутился, он лежал в гамаке, который тотчас оказался паутиной, и сердце захолонуло, потому что паука нигде не было, но он должен был появиться. Питер знал, что он рядом, ибо чувствовал прикосновение мохнатых лап, а шевельнуться не было возможности, и, что самое страшное, паук был невидим. Потом, все еще лежа в паутине, Питер смотрел в микроскоп, и это, как он понимал, был его последний шанс не провалиться на экзамене, от которого зависело все. Микроскоп, однако, вместо паука показывал усики Эва, рыжие, нахальные усики, и Питер в отчаянии думал, что не окончательный же это экзамен, хотя отлично понимал во сне, что окончательный. Страшным усилием он отшвырнул негодный микроскоп, чтобы взять новый; микроскоп упал, покатился, как шар, и шар этот блеснул, расширяясь, ледяным пламенем, отчего

сердце Питера оборвалось, ибо это был уже не шар, а сгусток нейтронной звезды. "Вот, значит, как возникают галактики..." — мелькнуло в парализованном ужасом мозгу.

Какой-то шум оборвал кошмар Питера. Он вскочил прислушиваясь. Отчаянно колотилось сердце, но явь уже поборола видения. Отчетливый стук и, похоже, крики раздавались, где-то рядом. Чуть ли не в туалете, который был по соседству. Питер выскочил в коридор. Так и есть: кто-то изнутри с проклятиями барабанил в запертую дверь туалета. Питер рванул дверь, и оттуда, как кот из мешка, вылетел Олег.

— Это чьи еще шуточки?! — рявкнул он, не давая Питеру опомниться. Тоже мне развлечение, юмор на уровне амебы, остроты пещерных сортиров!



— Разве они тогда были? — в остолбенении спросил Питер.

Вопрос был столь нелеп, что оба уставились друг на друга.

— Дадут наконец людям поспать? — послышался сзади недовольный голос. Скрипнула дверь, в коридор, моргая и щурясь, высунулась голова Эва. — Что за суета и суматоха?

Он обвел взглядом полуодетых космонавтов.

— Олега тут заперли, — растерянно пробормотал Питер.

— А! — сказал Эв. — В реакторе еще никого не спалили? Самое время, по-моему.

— Факт тот, что дверь запирали с хихиканьем, — буркнул Олег. — Хотел бы я знать...

— Великий секрет загадочной тайны, — кивнул Эв. — Звездолет у нас или что?

— Это мог сделать неисправный киберуборщик, — нашелся Питер.

— Ага! — глаза Эва блеснули. — Окутанный галактическим мраком утюг зловеще подкрадывался к шлепанцам спящего космонавта... Кстати, Питер, что ты сделал со своими шлепанцами?

— С чем?

Все смотрели на ноги Питера. На его дырявые, испещренные пурпурными пятнами ночные туфли.

— Край света, — вздохнул Олег. — Полным-полно шутников.

— Правда, Питер, чем это ты их?

— Эв... — голос Питера дрогнул. — Мне надо поговорить с тобой, Эв...

— Ерунда! — Эв отшвырнул ленту миограммы. Она зацепилась за переключатель и повисла раскачиваясь. — Какой призрак? Диагност уверяет, что ты здоров, и я с этим сундуком согласен.

— Уверяю тебя...

— Сильное нервное возбуждение, и не более того. Все базисные реакции...

— А туфли?

— Что "туфли"? При чем здесь "туфли"? Ну прожег ты их чем—нибудь...

— Чем?..

— Компотом! — заорал Эв. — Щами! Чего ты добиваешься? Полным-полно шутников, как выразился Олег. И все острят. Будят среди ночи... Тени убиенных, хихикая, запирают у них, видите ли, двери... Сейчас я дам тебе такую дозу успокоительного, такую дозу...

Он потянулся к столу, но так и не взял ампулу. В дверях стоял Антон Ресми. Стоял и смотрел таким взглядом, что Питеру захотелось немедленно исчезнуть.

— Так, — капитан шагнул к Эву. — Как к биологу и медику нашей экспедиции, у меня к вам маленький вопрос: мышь способна превратиться, скажем, в четвертое измерение?

— Антон, — глаза Эва округлились. — Неужто и ты записался в шутники?

— В шутники? Я тебя спрашиваю: где звери?

— Звери?

— Да, звери.

— С Биссеры?

— С Биссеры.

— Там, где им положено быть. А что?

— Ничего. Просто их там нет.

— Как... нет?

— Вот я и хотел бы узнать "как".

— Но этого не может быть.

— Верно.

— Антон, этого не может быть!!! Что за глупый розыгрыш!

Эв посмотрел на Питера, словно приглашая его разделить возмущение, снова взглянул на капитана, — и краска сбежала с его лица.

"Да, — подумал Питер, разглядывая из-за плеча Эва витализационные колпаки, — если кто-нибудь и сошел с ума, то, уж во всяком случае, не я. Это надо же!"

По всему пространству камеры тянулись маленькие и большие прозрачные саркофаги, в которых автоматы поддерживали среду, необходимую для того, чтобы добытые на Биссере экземпляры находились в живом, но усыпленном состоянии. По крайней мере, треть саркофагов была пуста. Не просто, а, так сказать, вызывающе пуста, потому что в них зияли внушительных размеров оплавленные дыры.

На пульте, словно в насмешку, горели зеленые огоньки, что означало исправную работу витализационных автоматов. Запоздало и вроде бы обиженно мигали сигналы систем контроля за жизнедеятельностью, которым уже нечего было контролировать.

— Ну и как прикажете это объяснить?

Ответа не последовало. Эв был так бледен, что его рыжеватые усики казались теперь пламенными.

— Не надо волноваться, — капитан мягко опустил руку ему на плечо. Исчезли, если не ошибаюсь, стеггры, асфеты, троянцы, катуши и эти... как их...

— Миссандры, — прошептал Эв.

— ...Миссандры. А псевдогады остались. Может, это что-нибудь объясняет?

Эв покачал головой.

— Витализационный уровень усыпления поддерживается во всех герметичных колпаках на среднестатическом, оптимальном для всей группы уровне, — он говорил монотонно, как зазубренный урок. — Из этого следует возможность, что для отдельного индивида данный уровень окажется мал и существо проснется. Нов данном случае контролирующий автомат немедленно увеличит подачу смеси... Что он и сделал. Ничего не понимаю... Ведь так прожечь колпак можно только искровым разрядом! — воскликнул он.

— Может быть, у кого-нибудь из этих существ... — начал было капитан, но Эв отчаянно замотал головой.

— Я их видел на корабле, — внезапно сказал Питер.

Все разом обернулись к нему. Он коротко доложил о "призраке".

— Очевидно, это был катуш, — проронил задумавшийся Эв.

— Нет, — возразил Питер. — Катуша я знаю. Это был не катуш.

— Неважно, — тихо сказал капитан. — Значит, Эв, никакого объяснения ты дать не можешь?

— Нет.

— Ладно, будем действовать без объяснений. Даю общий сигнал тревоги.

У входа в рубку Эв взял капитана за локоть.

— У меня есть объяснение. Я не хотел говорить при Питере.

— Да? — Эв почувствовал, как под его рукой напряглись мускулы.

— Капитан, звери сами не могли выбраться, это исключено. Их выпустили, Антон.

— Ты понимаешь, что говоришь?!

— Именно поэтому я настаиваю на общей проверке состояния экипажа.

Капитан вытер выступивший на лбу пот.

— Кого ты подозреваешь? — спросил он глухо.

— Если бы я только что не освидетельствовал Питера, я бы сказал Питер. Но это не Питер. Я об этом не хочу даже думать, но ведь кто-то запер Олега? И кто-то облил туфли Питера кислотой.

— И тем не менее, — жестко сказал капитан, — разрешения на поголовное обследование я не дам.

— Но...

— Эв, пожар не тушат под возгласы: "Среди нас поджигатель!"

В это время Питер, стоя на своем посту, с недоумением разглядывал запястье левой руки. Только сейчас ему бросилась в глаза точка, какая бывает после укола, в том месте, где под кожей синеет вена.

"Чепуха какая-то! Но, может, следует сказать?"

Сначала никто не сомневался, что изловить каких-то глупых зверьков ничего не стоит, но вскоре с этим заблуждением пришлось расстаться. Хозяйство звездолета занимало несколько квадратных километров, и при его конструировании никому в голову не могла прийти мысль, что он может стать полем охоты. Раза два, правда, удалось спугнуть существо, которое немедленно взмыло над преследователями, чтобы скрыться в путанице ярусов, лифтовых клетей и переходов. Поскольку единственным летающим экземпляром фауны Биссеры на корабле был миссандр, то это, очевидно, и был миссандр. Но куда делись остальные?

Предложение настроить киберуборщиков на поиск сбежавших было сразу же отвергнуто Эвом — он знал, что обычных роботов нельзя натравить на белковое, следовательно, родственное человеку существо. Биологические же автоматы, с помощью которых он сам охотился на Биссере, были бесполезны в тесных корабельных пространствах.

Чем больше Эв вдумывался, тем меньше все это ему нравилось. Гипотеза о сумасшедшем, который вскрыл виталиционные камеры, была скверным, хотя и правдоподобным допущением. Однако в ней имелся крохотный изъян. Предположим, животных кто-то выпустил. А дальше? Ведь воздух Биссеры мало походил на земной! Как же они им дышат? Но дышат, это же факт.

Своими сомнениями он наконец поделился с капитаном.

— Это как же так? — опешил Ресми. — Ты изучал их и даже не знаешь, чем они могут дышать, а чем нет?

— Ты вправе меня упрекать, Антон. Но кто, как не ты, срезал биологическую программу? Знаю, знаю, экстренный вызов Земли, мы требуемся — как всегда, сверхсрочно — в

противоположном квадрате Галактики. А мне каково? Что я мог сделать за оставшееся время? Это же типичный аврал! Спешим, вечно спешим, сегодня одна звезда, завтра другая, давай-давай, дел невпроворот, оглянуться некогда, а что в результате? Не думай, пожалуйста, что я снимаю с себя ответственность, но...

— Спешим, это верно. Иначе нас, возможно, не было бы среди звезд. Так как они все-таки приспособились?

— Высокая пластичность метаболизма, очевидно. Она у них действительно высокая.

— Хорошо, выяснишь после поимки. Что за идея у тебя насчет ловушек?

Они обсудили новую тактику. Их то и дело перебивали голоса поисковиков. "Капитан, на неведомых дорожках хозяйства Питера отмечены следы невиданных зверей..." Реплику перебил мрачный голос Питера: "Я давно говорил, что нам не хватает киберуборщиков. Они не успевают с обеспыливанием". — "Ладно, ладно, — отвечали ему с иронией. — Мы закрываем глаза, а вот кто закроет глаза техкомиссии?" — "Не издевайтесь, ребята, никакая это не пыль, просто сигаретный пепел. Механики тайком покуривали". — "И не механики вовсе, а зверюшки Эва. Раз уж они смогли удрать, то почему бы им на радостях не затянуться?"

Капитан с досадой приглушил звук.

Ему было не по себе. Зверюшки его мало беспокоили — куда они денутся! но сумасшедший на борту... Требование держаться по двое было встречено недоуменным пожатием плеч — пусть, хорошо, что никто ни о чем не догадывается. А вот он прозевал, тут никуда не денешься. Капитан за все в ответе, что бы ни случилось, так было, есть и будет, каких бы далей человек ни достиг, и для него, Ресми, это единственно правильная жизнь обо всем заботиться, все предусматривать и при любых обстоятельствах быть сильнее обстоятельств. Он всегда подстерегал слепой случай, теперь случай подстерег его, и не сигнал ли это, что он выдохся?

Капитана охватила бессильная ярость. Нет, нет, он еще им всем покажет!

Кому? Зверям? Обстоятельствам? Самому себе?

Ресми подавил вспышку раньше, чем Эв ее заметил.

— Возможно, этот план даст лучшие результаты, — он холодно посмотрел на протянутый чертеж. — Объясни техникам, что надо сделать. Я соберу команду.

— И неплохо бы позавтракать, — заметил Эв. — Я лично после всех передряг готов съесть жареного миссандра.

Выйдя из рубки, он заметил Питера, который явно ждал его появления.

— Вот, — сказал Питер, показывая тыльную сторону запястья. — Будешь смеяться или нет, но только, честное слово, сам себя я не колол...



Эв вгляделся, и ему стало не по себе.

Завтрак начался смешками, но вскоре они прекратились, так мрачен был капитан. "Чего это он? — шепотом спросил Олег. — Подумаешь, звери разбежались..." — "Да, но теперь над ним будет смеяться вся Галактика", ответил сосед. "Смеяться, положим, будут над Эвом". — "Всем нам достанется. Слушай, а девушки сегодня что-то уж слишком надушились". — "А, ты тоже заметил!" — "Мертвый не заметит".

Капитан поднял голову.

— Муса!

— Полон внимания, капитан.

— Что у вас там с вентиляцией? Откуда запах?

— Я так понимаю, что наши милые женщины...

Бурный протест заставил его умолкнуть.

— Это и не духи вовсе!

— Уж мы-то, женщины, в этом кое-что смыслим!

— Отставить! — Стало очень тихо. — Бригада систем воздухообеспечения, немедленно перекрыть...

Капитан не успел закончить, ибо потянуло таким смрадом, что на пол полетели отброшенные стулья, все вскочили, и тут же взвыла сирена.

Эв и Ресми сидели спиной друг к другу, чтобы контролировать все наспех установленные в рубке экраны. Оба остались в масках, хотя смрад исчез так же быстро, как и возник, да и вызван он был весьма пахучим, но, в общем, безвредным букетом сероводорода, метана и бромистого водорода.

Передатчики были установлены на всех магистральных пересечениях, и там же, под потолком, находились примитивные, но достаточно надежные ловушки. Оставалось сидеть и ждать, пока в поле зрения не очутится кто-нибудь из беглецов.

Минуты шли за минутами, и ничего не происходило. Селектор молчал людям теперь было не до шуточек. Сжимая оружие за плотно задраенными дверьми, они охраняли

жизненно важные центры корабля и ждали... Никто не мог сказать чего.

— Наконец-то!

Эв мгновенно нажал кнопку.

Возникшее на экране существо замерло, будто почуяв неладное. Поздно оно уже билось в гибких силикетовых сетях.

— Попался! — воскликнул капитан.

— Угу, — отозвался Эв. — Хотел бы я знать кто...

— Как "кто"? Это же асфет.

— Крылатый асфет.

— Крылатый?!

Да, у бившегося в сетях существа были крылья. Как у миссандра. И шесть конечностей. Как у асфета. И трубчатый голый хвост, какого вообще ни у кого не было.

— Эв, — в голосе капитана была мольба. — Ты же биолог, Эв, ты же ловил их. Объясни хоть что-нибудь!

Лицо Эва было мертвенным.

— Эв! — капитан потряс его за плечо.

— Смотри.



Существо затихло. Темным клубком оно лежало на полу, и лишь его трубчатый хвост слабо шевелился. Нет, не шевелился. У капитана отвисла челюсть. Конец хвоста медленно, но неуклонно раздваивался. Хвост превращался в некое подобие ножниц, и лезвия этих странных ножниц явственно заострялись. Вот они захватили пару силикетовых петель... сомкнулись...

"Но это же силикет", — отрешенно подумал капитан.

Хвост выпустил петли — они ему не поддались. Теперь менялся его цвет из коричневого в серо-стальной. Он снова раскрылся — было заметно, что его "лезвия" укоротились, — захватил обвисшую складку сети. Люди содрогнулись, услышав хруст силикета. Еще несколько взмахов гибкого, раздвоенного, лязгающего хвоста — существо стряхнуло с себя обрывки сети, и экран опустел.

— Ну, — Эв повернулся к капитану, — бей меня, я заслужил. Какой же я идиот!

— Ты... ты что-нибудь понял?

— Да все же ясно! — плачущим голосом воскликнул Эв. — Они перекраивают свое тело!

— Это я видел. То есть мы оба это наблюдали. Оно, конечно... Провалиться мне, если я что-то понял!

— Слушай, — быстро заговорил Эв. — Нет никаких асфетов, миссандров и всех прочих. Это все одно и то же. Совсем другой тип эволюции. Где были мои глаза раньше! Это же грандиозно!

— Но выше моего разумения, — сухо сказал капитан. — Надо что-то делать.

— Надо понять, и ты поймешь. Сядь. На Земле волк — всегда волк, куропатка — всегда куропатка, амеба — всегда амеба. Но тела их, в общем, состоят из одинаковых клеток, биохимия у них тоже сходная. Они часть единого целого. Как графин, стакан, зеркало...

— Зеркало? — машинально переспросил капитан.

— Ну да, все это стекло. Земная эволюция расщепила единое биологическое вещество на тысячи, миллионы

независимых, непревращаемых друг в друга форм. А здесь эти формы превращаемы. Слон на Биссере может превратится в кита или стадо кроликов, потому что все это одно и то же. Организм, как угодно и во что угодно перестраивающий свое тело. По приказу нервных клеток.

— По приказу?

— Вот-вот. На Земле биологическому веществу ту или иную форму придают внешние условия. Они — медленно, но неуклонно — лепят непохожие виды. Здесь, мы видели, это происходит сразу и целенаправленно. И это все объясняет! Пробудился один-единственный организм. Пробудился и вырастил другого слова не подберу — противогаз. Вырастил, как мы берем нужный инструмент, какое-то орудие для взлома камеры. И освободил остальных.

— Значит, никакого сумасшедшего не было, — капитан вздохнул с облегчением.

— Подожди радоваться. Вывод может быть только один.

— Ты уверен? Может быть, все-таки природа...

— Так быстро и так сознательно? Антон, давай смотреть правде в глаза. Возможно, это разум.

— Разум, — капитан взглянул на свои сжатые кулаки. — Не укладывается в голове. Мы не могли так чудовищно ошибиться.

— Могли, Антон, могли! "Быстрей, быстрей, потом разберемся, бродят одни животные, дело ясное, чего мешкать?" Это я так действовал, Антон. А автоматы опомниться жертвам не дают. Пикирующий прыжок, доза универсального снотворного, готовы голубчики.

— Но на Биссере нет никаких признаков цивилизации!

— Верно, там нет ни городов, ни машин, ни дорог. А зачем они существам, которые могут превращать свое тело в машины, приборы, материалы, как только в них появится нужда?

— Невозможно, Эв. Живое вещество не способно дать развитой цивилизации все, что ей необходимо.

— Да? Будто реактивных двигателей, лекарств, радиолокаторов, энергобатарей не было в природе до того, как их создали мы! А ты представляешь, на что способно живое вещество, которым управляет разум? Эта нелепая, невозможная, абсурдная с нашей точки зрения цивилизация, возможно, более совершенна, чем наша. Я, по крайней мере, не смог бы выбраться из-под колпака, да и ты тоже. Не потому, что я глупее, а потому, что без машин, инструментов, приборов я ничто. А у них все это всегда с собой. Между прочим, они исследовали Питера, пока тот спал. Между прочим, они могли отравить нас, пока мы не принимали их всерьез. Что качаешь головой? Гипотеза "сумасшедший на корабле" кажется теперь заманчивой?

— Готов ее предпочесть тому, что ты сказал. Их действия на корабле, к счастью, не выглядят разумными.

— Наши действия тоже были далеки от мудрости.

— Межпланетная война на звездолете, этого еще не хватало! Сейчас мы проверим, разумны они или нет.

Однако проверка ничего не дала. Напрасными оказались все взлелеянные теорией способы завязывания контактов; их стопроцентная кабинетная надежность испустила дух в безмолвных пространствах корабля. Напряжение сгустилось. Всех мучили одни и те же вопросы. Не понимают или не хотят понять? Что означают все их поступки? Встреча Питера с "призраком", допустим, была случайной. Но так ли случайно кто-то проник к нему, когда он спал? Для чего? Чтобы взять кровь на анализ? Или проверить съедобность человека? А туфли, при чем здесь туфли? И запертая дверь? Одно нелепей другого!

Почему они затаились?

На корабле стояла тишина, какой еще никогда не было. Ни шороха шагов, ни звука голоса, молчание "ничейного пространства", которое вот-вот могло взорваться грохотом боя. Томительно и нервно тянулось время, а с ним уходила надежда на мирный исход.

К вечеру наступил перелом. Экраны, посредством которых капитан и биолог продолжали вести наблюдения, один за другим подернулись рябью. Один за другим они стали меркнуть, как задутые ветром свечи.

Так наступил момент, которого все ждали и все боялись.

Обхватив голову руками, капитан, не мигая, смотрел на потемневшие экраны.

Он знал, какого приказа от него ждут. Приказа двинуться с дезинтеграторами живой материи, чтобы размазать по стенам беглецов, где бы они ни скрывались. Пока не поздно. Пока есть время. А может, его уже нет?

Но также твердо капитан знал, что ни Земля, ни его собственный экипаж, ни он сам не простят бойни, если в словах Эва окажется хоть доля правды. Потом, когда все будет кончено, когда пугающая неизвестность останется позади, люди опомнятся. Страх забудется, его сменит сожаление и горечь, так как гибель неведомых существ — это еще и конец уверенности людей в том, что они способны понять все, с чем столкнулись. Та уверенность, которая до сих пор оправдывалась и смело вела человека по звездным мирам. И вера в свою гуманность погибнет тоже.

Капитан испытывал отчаяние прижатого к стене человека, отчаяние, которое готово было гневом обрушиться на Эва, на всех теоретиков, которые должны были предвидеть и оказались слепы, которые обязаны были найти выход, а вместо этого завели в тупик. Гнев пробудил решимость отдать наконец приказ, ибо известно, что в опасной ситуации даже плохое решение лучше бездействия. Палец капитана стремительно лег на кнопку селектора.

— Подожди! — вскричал Эв. — Я, кажется, догадался!

— Быстрей, быстрей!

— Надо выпустить остальных животных.

— Что?

— Слушай. Они начали партию, так?

— Ну! — палец все еще лежал на кнопке селектора.

— Чем мы ответили на их действия? Облавой. В ответ они заставили нас зажать нос. Что сделали мы? Расставили ловушки. Что сделали они?

— К чему ты клонишь?

— К тому, что каждый наш шаг был для них прямой и грозной опасностью. Каждый их ответный поступок был скорей демонстрацией угрозы. Наш враг не исчадье ада, таким сделали его наше непонимание и наш испуг.

— Хотел бы я, чтобы это не были домыслы.

— Это не домыслы! Неверны были исходные посылки стратегии контактов, и все равно взаимопонимание возможно. Мы пытались объясниться с ними на уровне умственных абстракций, научных понятий, да еще в ситуации, когда с их точки зрения мы — исчадье ада. Нужно обращаться к корню, к самому корню! Он есть, общий для всех существ. Зло для любой формы жизни все то, что мешает, вредит, угрожает ее существованию; добро — все, что ей благоприятствует. Так везде, под всеми солнцами, это очевидно, как дважды два, ибо в противном" случае, перепутав знаки плюс и минус, жизнь обрекает себя на гибель. Ни одна цивилизация не может безнаказанно менять критерии "хорошо" и "плохо". Поэтому у нас есть шанс, ненадежный, слабенький, но им надо воспользоваться. Теперь решай.

Капитан задумался.

— Ты сам пойдешь? — в его голосе не было уверенности.

— Да.

— Ты можешь не вернуться.

— Я первый заварил эту кашу.

Мышцы затылка одеревенели от напряжения, но Эв не оборачивался. Он все время ощущал на себе взгляд, даже там, где на много метров вокруг не могло укрыться существо крупнее мыши.

Всю силу своей воли он тратил на то, чтобы идти неторопливо.



Он шел знакомыми переходами, которые казались теперь чужими и бесконечными. Собственно говоря, не шел, а балансировал на хрупком мосту надежд и недоказанных предположений, который мог рухнуть в любую секунду. Что ж, он не первый таким образом проверял прочность своих теорий.

Возле третьего или четвертого перекрестка он вынужден был остановиться, потому что в стене зияло сквозное отверстие. Так вот, значит, как они обходили ловушки! При мысли о том, сколько и каких коммуникаций находится в этих стенах, Эв содрогнулся. На полу лежала груда металлической пыли. Эв поднялся на цыпочки и заглянул внутрь отверстия. То, что он увидел, могло напугать кого угодно. Ни одна коммуникация не была повреждена, но все они были аккуратно обнажены, как сосуды на операционном поле. "Мы-то думали, что в любую секунду можем прихлопнуть их, как мух. Но почему, почему они разрешили мне увидеть это?"

"Потому что это ничего не меняет, — сам себе ответил Эв. — Потому что первая же наша попытка заделать отверстия будет парализована — они перережут гомеостатические цепи и двигатель..."

Об этом лучше было не думать.

Он засек еще два отверстия, прежде чем показалась массивная дверь витализационных камер. Он откатил ее и, немедля ни секунды, приступил к оживлению псевдогадов. Пока он манипулировал с аппаратурой, создавал в помещении воздух Биссеры, ему все время казалось, что дверь, которую он оставил открытой, вот-вот задвинется.

И когда он все закончил, когда животные скользнули в темные углы, забились там, ему захотелось прислониться к стене и закрыть глаза.

Но ему надо было еще кое-что сделать. Снять ловушки. Последний дружеский жест... Не воспримут ли они его как капитуляцию?

Эв взглянул на выпущенных. Какая—то тварь сопела за колпаком, остальные сидели тихо, будто их не было вовсе. Шипели насосы, нагнетая инопланетный воздух. Бедные, парализованные страхом низшие существа чужой планеты. А каково было высшим, разумным? Что-то чудовищное обрушилось на них там, где они чувствовали себя в полной безопасности, занимались своими делами и не предвидели никакой беды — разве что в последний миг их поразила падающая с неба тень. Затем ужас, мрак и пробуждение неизвестно где, в чужом, враждебном мире.

"Конечно, их первые действия были нелепы, — подумал Эв, затворяя дверь. — Впрочем, их поступки, возможно, нелепы лишь с нашей точки зрения. Рассудок они, во всяком случае, сохранили. Значит, не все потеряно. Для них... И может быть, для нас".

Он тут же одернул себя. Нет никаких доказательств, что они правильно истолковали его поступок.



Никаких? Но ведь он до сих пор жив! Хватило бы у него самого выдержки в точно такой же ситуации или он бы поддался соблазну покончить с врагом, коль скоро он сам идет в руки?

Цивилизация, диаметрально противоположная нашей. Обращенная внутрь себя цивилизация. Наглухо закрытый для нас мир, ибо мы не понимаем, как можно создавать все, что надо, из собственного тела, а им, видимо, невдомек, как можно жить иначе.

Да, чего-чего, а стандарта вселенная лишена.

Осталось семь неубранных ловушек. Пять. Две. Ни одной.

Эв возвращался обессиленный. Все так же сопровождаемый взглядом невидимых глаз. Ничего не изменилось.

Нет, изменилось. Отверстия, мимо которых он шел, зияли, как прежде. Все, кроме последнего. Оно было заделано так аккуратно, что место, где оно находилось, выдавал лишь свежий блеск металла...

Описывая в пространстве чудовищную дугу, звездолет поворачивал к Биссере.

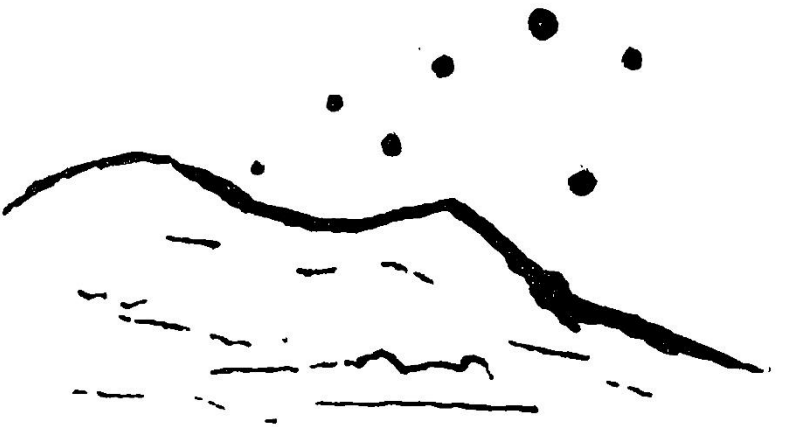
Люки наконец распахнулись. Капитан вздохнул с облегчением, будто с плеч свалился по меньшей мере Эльбрус.

Но терпение его лопнуло, когда миновало около часа, а из люка никто не показался.

— Чего они медлят? Не могут же они не чуять ветра родины?

Эв пожал плечами.

Но они появились. Они мячиком скатились по аппарели и тут же взмыли в зеленое ласковое небо Биссеры. Оно приняло их, но пробыли они в нем недолго.



— Чистые жеребята, — сказал капитан, глядя в бинокль на прыгающих по холмам братьев по разуму.

— Кажется, я сообразил, почему они задержались, — заметил Эв. Спустимся. Я буду очень разочарован, если моя догадка не оправдается.

— Вот, — он погладил металл, который блестел там, где перед посадкой зияли дыры. — Разум, он все-таки везде разум; без понимания других ему трудно уцелеть, не так ли?

Задачи из учебника эвристики:

"Без помощи подъемного крана и тому подобных средств в глубокую яму бережно опустить (не сбросить, а опустить!) стальной куб весом в три тонны. В течение пятнадцати минут найти способ, как это сделать".
"Рассказывают, что к Эдисону однажды пришел человек, который заявил о своем намерении создать растворитель, годный для любых материалов. "Прекрасно, — заметил Эдисон. — А в чем вы будете его хранить?" Это возражение гениального изобретателя почти столетие считалось неотразимым. Найдите, по крайней мере, два способа хранения вещества, которое все растворяет. Время на обдумывание — 10 минут".

Надо быть не знаю каким человеком, чтобы без трепета начать свой первый в жизни рабочий день. Тем более в Особой Аварийной, куда стремятся толпы, а попадают единицы, да и те вскоре отсеиваются наполовину.

— Ну как, готов к роли Атланта, подпирающего Землю, а заодно и космос?

Сотрудник, которому я был отдан под покровительство, смотрел весело, я хотел ответить улыбкой, но улыбки не получилось.

Особая Аварийная была тем нервным узлом, на котором замыкались все земно-космические линии связи; она располагала мощнейшим вычислительным парком, огромной информатекой, но внешне походила скорей на санаторий небольшое тихое здание в тихом уголке леса над тихой речкой. Обязательным тут было одно-единственное правило: минута в минуту быть на дежурстве, минута в минуту сдать

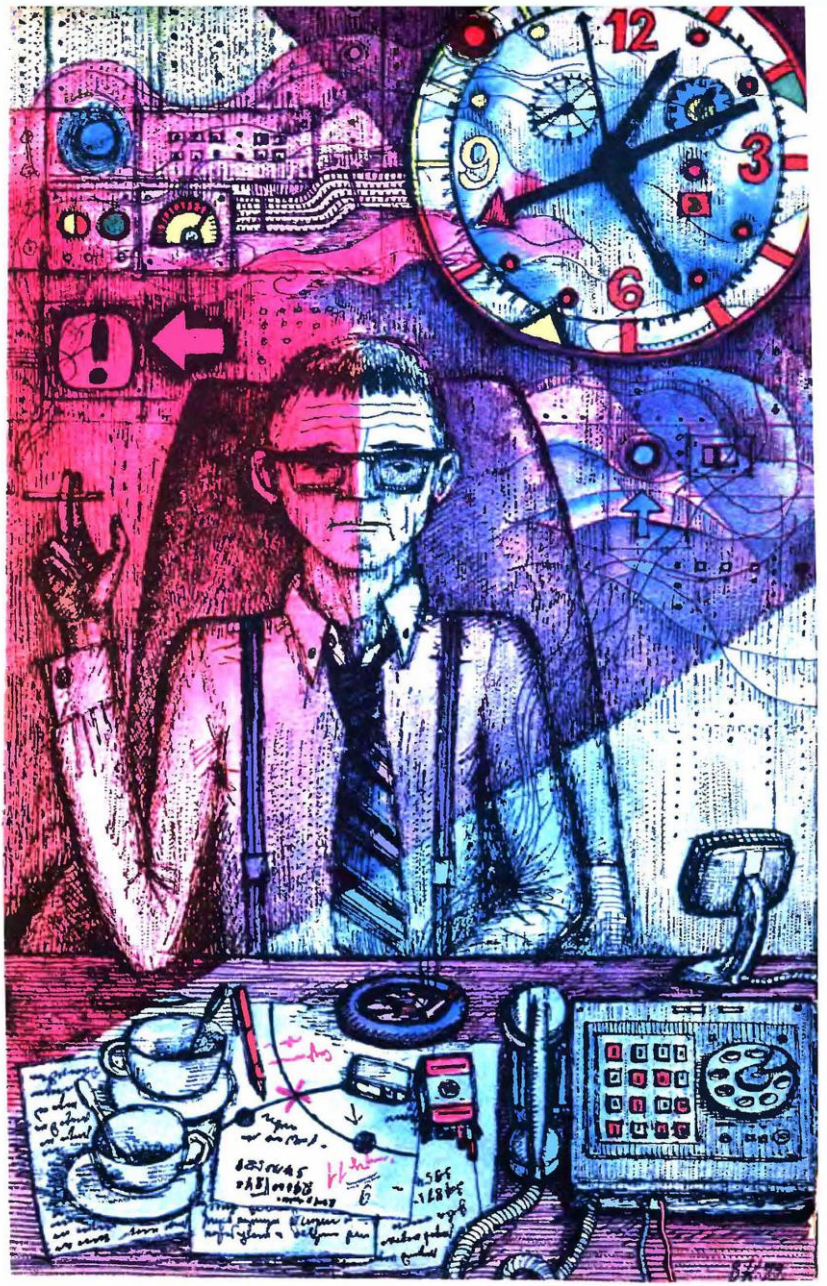
дежурство. Да и то человек мог заранее отказаться от дежурства, если чувствовал себя недостаточно бодрым. Должен был отказаться! Тут не человек подлаживался под особенности работы, а работа подлаживалась под особенности человека. Настолько, что даже во время дежурства, если, конечно, не было вызова, человек мог заниматься чем ему заблагорассудится. И это в организации, на которой лежала поистине небывалая ответственность!

Умом я, конечно, постигал всю необходимость и правильность именно такого порядка. Понимал и то, что когда за долгие годы учебы ты привык быть на поводу, то нелегко научиться отвечать за самого себя, воспитывать самого себя и тянуть самого себя. Многие почему-то думают, что самая жесткая дисциплина — это дисциплина внешней регламентации. Она самая неприятная, верно, однако, редкий человек не способен приноровиться к ней, тогда как самодисциплина свойственна немногим.

Но даже не это меня беспокоило. Не опасение, что я погрязну в лени или не смогу без понуканий развивать культуру своего ума. Меня тревожило и пугало, способен ли я делать то, что делают мои коллеги. Ибо, несмотря на эвристическое образование, знания, семинарские успехи, я поражался работе моих новых друзей. То есть внешне все выглядело просто. Когда вспыхивал красный сигнал тревоги, в Особой Аварийной никто никуда не бежал. Обычно тревога заставала дежурного в кресле, где он и оставался, потягивая кофе и размышляя. Его поведение настолько противоречило всем понятиям о том, что такое "тревога", "беда", "аврал", что постороннего человека охватывало сильнейшее желание схватить, казалось бы, дремлющего сотрудника за шиворот и таким образом побудить его к активным действиям.

Ничего удивительного, впрочем, тут не было. Хотя...

Если один человек думает быстро, а другой медленно, то на первый взгляд кажется, что ум первого работает лучше. Это распространенное заблуждение. У недалекого учителя хорош тот ученик, который отвечает без запинки, но такая


12
9
3
6

привычка губительна, ибо пулеметная быстрота мышления возможна лишь благодаря использованию готовых шаблонов. Это своего рода автоматическое мышление полезно и даже необходимо, когда жизненная задача традиционна, но губительно, когда нужно принять оригинальное решение. Творческое мышление куда более медленно, потому что связано с отказом от готовых навыков. Оно всегда медлительней обычного, но в конечном счете, когда требуется найти что—то новое, оно бесконечно быстрее, так как дает настоящий, не мнимый результат.

Это не сразу было понятно. Веками и даже тысячелетиями практическая деятельность людей решительно во всех сферах была, как правило, связана с решением давно известных, повторяющихся проблем. Но двадцатый, отчасти еще девятнадцатый век втянули людей в круг забот и дел, которые не имели примера в прошлом. И традиционные формы мышления все убедительней стали доказывать свою непригодность. Ярче всего доказали они свою непригодность в тех случаях, когда возникала опасность аварии или катастрофы, не предусмотренная прежним опытом. Тут, когда все решали считанные часы, с особой наглядностью выявилось, что быстрое, но формальное мышление не способно упредить ход событий. Так возникла Особая Аварийная, которая имела дело лишь с теми случаями, когда пасовал опыт и положение казалось безвыходным.

Чем дальше, тем меньше я, однако, понимал, как эти люди, с которыми я общался теперь изо дня в день, — как они могли делать невозможное. Поскольку они имели дело с любыми проблемами, то, казалось бы, они должны были знать все — все области техники, науки и практической деятельности. Но они вовсе не были энциклопедистами! Они умудрялись вытаскивать со дна океана погребенный обвалом батискаф, когда воздуха там оставалось на восемь часов и у всех опускались руки. Они это делали, хотя раньше понятия не имели, какова конструкция батискафа и какие

вообще есть средства спасения в такого рода ситуациях. Более того, они и знать не хотели об известных уже средствах!

Уяснить, как в этих условиях они достигают успеха там, где никто его не достигал, я не мог, и это меня сильно тревожило. Ведь если они не всезнайки, если они не гении действия, то должен у них быть какой-то секрет, о котором молчат учебники эвристики! Секрет, без знания которого я провалюсь, едва в мое дежурство вспыхнет красный сигнал тревоги. Мне казалось, что я ничего не умею, ничего не могу, я изнервничался в ожидании, и, если бы оно затянулось еще на неделю, я скорей всего уже ни на что не годился бы. Но пришел и мой час, как всегда, внезапно.

Я сидел, по обыкновению читая, когда на пульте вспыхнул аварийный сигнал. В первое мгновение я тупо "смотрел на его дрожащие отблески. Затем словно кто другой нажал кнопку информовизора. И пока шли данные, все внутри меня холодело от страха. "Атлант, подпирающий Землю и космос..."

Стрекотала печатающая аппаратура, летели позывные катастрофы, а я сидел как чурбан. Однако глаза помимо моего сознания уже вбирали содержание листков, которые выбрасывала машина.

Оказалось, вот что. На крошечном астероиде Аммон—2 уже несколько лет действовала научно—исследовательская навигационная станция. Семь человек жили там примерно в тех же условиях, в каких, когда-то находились зимовщики или метеорологи в горах. Раз в несколько месяцев туда прибывал корабль, а в остальное время люди были предоставлены самим себе. Все службы станции были надежно защищены и от космического излучения, и от шальных метеоритов, так что пребывание на астероиде считалось делом совершенно безопасным. Не учтена была одна мелочь. А именно: масса астероида была столь невелика, что при взлете и, посадке корабль сообщал ему импульс, который слегка менял его орбиту. Ничего тут поделать было нельзя, да это и не имело ровно никакого значения; просто время от

времени приходилось уточнять координаты станции, которые менялись после прибытия каждого корабля. Это дело не считалось спешным, что и привело к трагедии.

Станция, как всегда, сообщила Луне свои новые координаты. Трудно сказать, где они циркулировали столько времени, но факт тот, что их сопоставили далеко не сразу. А когда сопоставили, то ужаснулись: по роковому стечению обстоятельств астероид приобрел такую орбиту и такую скорость, которые неминуемо должны были свести его с астероидом Озетта.

Такая возможность никогда раньше не учитывалась, ибо даже в поясе астероидов встреча двух массивных тел менее вероятна, чем столкновение двух вслепую брошенных камней.

И все же это произошло.

Ситуация казалась безвыходной. Люди не могли покинуть астероид, поскольку соответствующего транспорта на станции не имелось. Ближайший в этом районе корабль мог достичь астероида лишь на исходе пятых суток. А столкновение должно было произойти через 73 часа! Мне предстояло спасти людей, которых, судя по всему, спасти было невозможно.

Я превозмог себя и стал думать.

Я ни секунды не сомневался, что задача разрешима. Чему-чему, а этому меня научили! Нельзя браться за проблему, полагая, что успех недостижим. Пусть неуверенность гнездится в подсознании — все, провал гарантирован. Людей спасти можно; вопреки очевидности я сразу принял это за аксиому. Но как?

Масса астероида невелика, вот из чего надо исходить. Раз она невелика, то для бегства требуется ничтожное ускорение. Реактивные движки скафандров такого ускорения, понятно, дать не могут. Надо найти что-то другое.

Что?

Я мысленно представил скалистый островок астероида, вокруг которого медленно поворачивается черно—звездное

небо. Вероятно, пики астероида чуть серебрятся в отблеске Млечного Пути. Крошечные, тоже серебристые фигурки людей замерли на гребне скалы. Запрокинув голову, люди вглядываются в угольное небо, где среди тысяч других кротко и невинно светит та звездочка, которая мчится на них. Ничто не может развести их в пространстве, день и час, когда они столкнутся, известны с точностью до секунды. Люди смотрят на часы. Осталось столько-то... Столько-то... Природа неумолима. Вероятно, они уже попрощались с родными и близкими.

Мне нужно поднять этих людей над скалами хотя бы километров на двадцать!

Все просто, если бы у них был обыкновенный мобиль. Расчистить от стартовой площадки еще метров сто, разогнать мобиль по этому треку — эх, как бы он взмыл над обрывом! Взмыл, чтобы стать спутником астероида.

Не годится. Нет у них мобиля. Зачем он на астероиде, который пешком можно обойти за час! А не подумать ли о сооружении примитивной-примитивной катапульты...

Волнение прошло, я был спокоен, ничто вокруг для меня не существовало. Рядом сидел мой напарник, я его не замечал. Я был там, на астероиде, среди обреченных, и надо мной медленно кружились все звезды вселенной. Я отчетливо видел мрачные тени провалов, угрюмую безнадежность скал, залитых неярким здесь светом маленького, далекого солнца.

То, чем я сейчас занимался, было, конечно, злостным нарушением всех правил мышления. Дисциплина в этом смысле нужна свирепая; она обязательна для мышления настолько же, насколько ему необходима внешняя свобода; без соблюдения этих двух условий ум человека работает плохо. Но мне требовалась эта небольшая разминка. Я должен "увидеть задачу", без этого я не могу.

А теперь хватит кустарщины! Методом "тыка" (он же метод бессистемных попыток) можно грузить капусту, да и то если кому—то не жаль своего и чужого времени.

Неверно все с самого начала. Неверно поставлена сама задача. Спасти людей отнюдь не лучшее решение, как ни ужасно это звучит. Допустим, я спасу людей. А станция, оборудование? Они погибнут. Значит, каким должно быть идеальное решение? Астероид со станцией продолжает свой путь, не сталкиваясь.

Секунды две я проверял это решение. Да, все верно. О людях пока надо забыть. Тем более, что, так сказать, в плоскости их спасения думают сейчас в Космоцентре. Если такая возможность существует, ее отыщут и без меня.

Что же мешает идеальному решению? То, что астероидом нельзя маневрировать. А нельзя им маневрировать, потому что он не снабжен двигателями.

Итак, задача ясна: нужно думать о том, как снабдить астероид двигателями.

Вторым планом, нисколько не мешая, текли посторонние мысли. Интересно, те, кто меня подстраховывает, уже нашли решение? Обычно дежурного никто не подстраховывает, иначе он — чисто подсознательно — не сможет мобилизовать все силы своего ума. Просто существует контрольный срок; не уложился передай задачу другому. Мельком я взглянул на часы: до контрольного срока оставалось еще минут пять-десять.

Нужен двигатель для астероида. Конечно, он должен быть реактивным. Если, скажем, пробурить скважину и быстро обратить там большую массу воды в пар, то можно получить импульс, который столкнет астероид с роковой орбиты. Ведь много не нужно, достаточно крошечного отклонения: за семьдесят часов бега по орбите искривление уведет астероид далеко в сторону.

Прекрасно, задача почти решена. Если, конечно, у них есть бур или его заменитель...

Я полистал отпечатанное информовизором техописание станции. Геологический бур на станции имелся, отличный эрозионный бур, который за час мог просверлить любую нужную мне дыру.

Но достаточного количества воды на станции, конечно же, нет. Ничего, ее можно извлечь из горных пород. Вообще, откуда они там, у себя на станции, берут воду, кислород? Не с Земли же им доставляют? Замкнутый кругооборот всех потребностей не обеспечит. Значит... Ага, так и есть: все нужное они извлекают из пород. Но это долгий, слишком долгий процесс. Воду мы просто не успеем накопить. Скверно...

"Осел! — выругал я себя. — Ты допустил типичную ошибку — сузил задачу. Что тебе нужно? Жерло — оно у тебя есть, ты его пробурил. Теперь топливо. Почему именно газ? Почему вода? Почему не твердое вещество? Дело же не в состоянии вещества, а в величине отброшенной массы и скорости ее истечения. Вот и ищи заряд, а уж выстрелит ли скважина, как пушка, или будет работать, как ракетный двигатель, — не столь важно. И топлива у тебя сколько угодно, пол астероида можно пустить на топливо, дело в энергии..."

Кстати, ведь это тоже решение — изменить массу астероида. Тогда и орбита изменится. Попутное решение, которое вытекает из первого, так сказать, в виде бесплатного приложения.

Энергия... Все упирается в энергию. В то, какой у них там реактор и можно ли его приладить в скважину.

Реактор у них, конечно, стационарный. А стационарный реактор объемист, эдакая широкая голландская печь... Ах ты, черт!

Стоп. Ведь это же космос. Их реактор должен быть очень емким, иначе его невыгодно было бы туда транспортировать. Ну конечно!

Итак, реактор у них портативный. А как насчет мощности и отдачи в единицу времени? Для жизнеобеспечения станции не нужна большая мощность, а быстрая отдача тем более. Как это не нужна? Воду-то из камней им добывать надо? Тут малыми мощностями не обойдешься. Ура, да здравствует вода из камня! (А также кислород.)

Какая там у реактора отдача, уже неважно, совсем не важно. Нет такого реактора, который нельзя было бы взорвать. Все, точка!

Я взял техописание, почти уверенный, что найду в нем реактор нужной мне энергоемкости. Так оно и оказалось.

Теперь все элементарно. Даже технически. Мы устроим на астероиде хо-орошее извержение вулкана (в масштабах астероида, конечно). Ничего, что этот двигатель не слушается руля. Годится, в сущности, любое направление струи, которое чуть изменит курс астероида. А наш вулкан его изменит! Еще как изменит! Ничего, ребята на станции какое-то время обойдутся без реактора. Зато они увидят зрелище! Космический фейерверк улетающих в никуда камней, раскаленных газов и пепла, который в огне и грохоте уведет астероид с орбиты. Это красиво будет выглядеть...

Я придвинул счетную машину, ввел данные, получил результат, который меня вполне удовлетворил, минут за десять растолковал Луне, что надо сделать, и наконец блаженно потянулся.

Я заслужил эту короткую минуту счастья. Заслужил, хотя, если честно, задача была примитивной, а решал я ее грязно и долго. Но в контрольный срок я уложился. А ведь я всего лишь ученик чародеев!

Андрею Исидоровичу Думкину, начиная с темного, в полоску костюма и кончая округлой манерой жестов, была свойственна та доля старомодности, которая так хорошо сочетается с рядами тронутых временем книг и профессией библиографа. Обычная при такой профессии добросовестность и стала причиной случившегося с ним странного события.

Он допоздна засиделся в своем закутке, который так же трудно было сыскать в лабиринте хранилища, как единичную клеточку памяти в недрах кибернетической машины. Было тихо и безлюдно, когда он оторвался от работы, лишь в отдаленном углу сверчком потрескивала газосветная трубка. Перед тем как погасить настольную лампу, Андрей Исидорович устало потянулся, снял нарукавники и подумал, что сегодня он, пожалуй, предпочтет поездку по радиальной линии метро.

Как правило, он избирал кольцевую линию, поездка по которой не требовала пересадки. Но ведь иногда, даже в ущерб удобству, хочется разнообразия.

Уже погасив лампу, Андрей Исидорович проверил, в кармане ли авторучка, поколебался — взять ли с собой записи, посмотрел на телефон, словно тот мог напомнить о какомнибудь забытом разговоре, — все лишь затем, чтобы подготовиться к переходу в состояние уже не библиографа, а пассажира и мечтающего об отдыхе домоседа.

Не сейчас, а позднее Андрею Исидоровичу явилась мысль, что люди, вроде него, совершают в жизни путь, подобный замкнутому движению планет. Существуют тысячи других миров, он может наблюдать их издали, узнавать о них по книгам, но они ему недоступны. Исключительный случай мог бы его ввести, допустим, в артистический мир, но он бы чувствовал себя в нем неуютно, ибо там действуют свои страсти и заботы, свои притяжения и отталкивания, и

даже суточный ритм там иной, чем тот, к которому он привык. А ведь артистический мир не более своеобразен, чем мир овцевода или дипломата.

Но в тот вечер он ни о чем таком не думал. Он уже повернулся к выходу, когда заметил скользящий по полкам фиолетовый луч.

Верней, не луч, а фиолетовый кружок сантиметра три в диаметре, перед которым не вспыхивала в воздухе ни одна пылинка.

В первые несколько секунд Андрей Исидорович вообще ничего не ощутил — ни замешательства, ни страха, ни даже любопытства. Просто стоял и смотрел, как движется фиолетовый кружочек. Тот медленно скользил по корешкам, нигде не расплываясь в овал, не расширяясь и не суживаясь, как если бы его источник вела чья-то механически точная рука. Едва Андрей Исидорович представил эту руку у себя за спиной, как спокойствию его пришел конец. Он отпрянул, едва не опрокинув стул. Сзади, однако, никого не было, — и никакого видимого источника света. Андрей Исидорович был один в пустом книгохранилище, в своем закутке, по которому разгуливал призрачный луч.

Другой человек, по логике вещей, мог бы тут издать вопль или решить, что у него началась галлюцинация. Андрей Исидорович, однако, был слишком сдержан и скромен, чтобы устроить переполох, а о галлюцинации он вовсе не подумал, может быть, потому что луч вел себя, с одной стороны, чересчур обыкновенно, а с другой стороны — обладал дикими, даже для галлюцинации, свойствами. Андрей Исидорович сделал то, что было свойственно его характеру.

Стряхнув оцепенение, с бьющимся сердцем, но без паники он обошел стеллаж и убедился, что луч не просвечивает полки насквозь. По обе стороны от себя Андрей Исидорович видел уходящие вдаль ряды книг, редко из-за позднего времени горящие лампы, тот порядок, который был привычен и незыблем, как навечно заведенные часы.

Немного успокоенный, Андрей Исидорович вернулся в закуток.

Луч шарил уже по верхним полкам. Ни тогда, ни позже Андрей Исидорович не мог себе объяснить, что же побудило его взять стремянку. Мышление в подобных случаях работает сбивчиво; человека, если он не остолбенел от страха, тянет довериться самым простым ощущениям. Страха Андрей Исидорович не испытывал, но в голове была оглушающая пустота. Он влез по стремянке и пальцем тронул фиолетовый круг.



Ни тепла, ни холода палец, не ощутил. Круг в свою очередь не дрогнул, не исчез; он, как ни в чем не бывало, продолжал свой путь. И, что самое поразительное, палец не дал тени.

Недоумевая, Андрей Исидорович изменил позу, потянулся, чтобы глянуть по оси луча.

Точно раскаленное железо вонзилось в мозг! Вспышка, потом падение, мрак и боль.

Так он лежал неизвестно сколько времени, с острой болью в мозгу, бессильный, как раздавленный червяк.

Потом из бесконечности отчаяния и мрака донесся тихий голос:

— Я лучше смогу вам помочь, если вы отнимете ладонь.

Чьи-то пальцы отвели его руку, Андрей Исидорович смутно различил наклоненные над ним лицо и тускло мерцающий на переносице диск.

И боль исчезла.

— Теперь шире откройте глаза...

Диск приблизился, укрупняясь; пахнуло холодом, и пространство вдруг обрело глубину и резкость.

— Я вижу! — воскликнул Андрей Исидорович.

Он смотрел, видел, и счастье переполняло его. Но длилось это недолго. Внезапно вспыхнула мысль: здесь сейчас не может быть незнакомого человека!

Андрей Исидорович вскочил, ошеломленно глядя на своего спасителя. Диск куда-то исчез; вблизи находилось самое обыкновенное лицо самого обыкновенного человека. Слишком обыкновенное для поступков, которые тот совершил!

Сознание работало поразительно четко. Взгляд Андрея Исидоровича невольно метнулся к полкам...

— Искать не стоит, — сказал незнакомец. — Думаю, с нашей стороны будет уместно извиниться за все и дать объяснения, на которые вы приобрели право.

— Вы... вы оттуда? — холодея от догадки, прошептал Андрей Исидорович.

— Да, — услышал он, как сквозь вату.

Самое удивительное, что после всего этого Андрей Исидорович, встав, машинальным жестом указал пришельцу на стул и сам сел напротив. Его состояние походило на лихорадку: то он спокоен, то возбужден почти до обморока.

— Мы виноваты и просим нас простить,— человеческий облик и заурядный костюм пришельца усиливали странность его слов.— То, что мы делали здесь, не должно быть зримо, но мелкие технические неполадки, к сожалению, случаются и у нас.

— Что, что вы здесь делали? — вырвалось у Андрея Исидоровича.

— Мы читали ваши книги.

— Ясно, — голос Андрея Исидоровича упал. — Изучение примитивной цивилизации, космическая энтография, так сказать...

Его обрадовало, что в словах, которые он выдавил, был сарказм.

— Не только и даже не столько, — последовал быстрый ответ. — Вы, сами того не подозревая, участвуете в коллективной работе, которую разум ведет во Вселенной.

— Не понимаю, — подавленно сказал Андрей Исидорович. — Не понимаю...

— Сейчас поймете. Город, где вы живете, многолюден. Но могут ли его жители вести все необходимые им исследования? Развивать культуру с той же быстротой, что и весь мир? Нет. Обрубите интеллектуальные связи города — и следствием будет застой. Причина проста. Возможности разума, любого, сколь угодно могучего, — индивидуального или коллективного, — конечны. А мир, который он пытается познать и переустроить, бесконечен. Вот противоречие, с которым неизбежно сталкивается любая цивилизация, как только ее интеллектуальные ресурсы исчерпаны. Выход здесь подобен тому, которому вы следуете в масштабах Земли: распределение усилий, обмен информацией, кооперация, только уже космическая. С недавних пор вы тоже к ней причастны, ибо добываете знания, которых мы не имеем.

— Этого не может быть! — почти в отчаянии воскликнул Андрей Исидорович. — Мы же по сравнению с вами... с вашей.

— Глубокое заблуждение! Кем создан у вас, на Земле, бумеранг? От кого вы получили байдарку, полярную одежду, самый быстрый способ плавания? От тех, кого не слишком умные люди считают дикарями. А разве ваше искусство оставило далеко позади искусство технически неразвитой

Древней Греции? Так что не следует считать какую-то цивилизацию примитивной.

— Подождите... — Андрей Исидорович ощутил вдохновение. — Вы сказали: обмен. Но обмен предполагает... Да, да, понимаю! Открытый контакт невозможен, пока человечество... Значит, вы и даете нам... незаметно?



Пришелец улыбнулся тепло и сочувственно. «Подумайте», — словно говорил его взгляд. И Андрею Исидоровичу показалось, что он уловил истину. Ответа не будет. «Нет» опозорило бы все космическое содружество, «да» утвердило бы над людьми тайную опеку. И открытый контакт бесполезен и даже вреден, пока на Земле есть люди, готовые подмять под себя любой дар пришельцев.

— Нетрудно догадаться, о чем вы думаете, — прошелестел голос. Андрей Исидорович даже вздрогнул. — На деле все гораздо, гораздо сложней. Ответ, которого вы ждете, лежит не в плоскости «да» и «нет», поверьте. Как бы пояснить? Ваши

ученые двести лет задавали природе вопрос: свет — волна или частица? Верным оказалось третье: волночастица. В нашем случае, смею вас заверить, вопрос находится еще дальше от истины. Вот все, что я могу сказать. А теперь войдите в наше положение и не обессудьте. Моральный долг обязывал нас устранить несчастье, возникшее по нашей вине, и дать разъяснения, отсутствие которых могло бы повредить вашу психику. Это сделано. Вы не в обиде на нас за случившееся?

— Что вы! Что вы! Я...

— Тогда разрешите попрощаться и пожелать вам, как принято на Земле, всего хорошего.

— Постойте! — ринулся не ожидавший такого поворота Андрей Исидорович.

Но на стуле уже никого не было, — пришелец исчез. Андрея Исидоровича обступали до мелочей знакомые предметы, тишина хранилища, китайские стены книг, все привычное, давнее, неизменное. А чувствовал он себя, как после грозного вала, который его, задыхающегося, волочил и швырял, а потом мягко опустил на безмятежный берег.

Этот вал, однако, все еще жил в нем! Лихорадочно соображая, что же теперь делать, Андрей Исидорович подобрал с пола портфель, зачем—то пошарил по карманам, и тут его остановила недоуменная мысль. Пришельцы ведь не хотели, чтобы человечество узнало о них, и все же открылись человеку!

Андрей Исидорович задумался, посмотрел на пустой стул и не без горечи усмехнулся. Они знали, что делали. Открыться ему побудили их обстоятельства, но открыться человеку еще не значит открыться человечеству. Потому что есть вещи, которым никто не поверит.

Возможно, их луч, уже незримый, снова шарит по книгохранилищу, впитывая достижения человеческой мысли и что—то оставляя взамен. Или не оставляя? Хорошо, если бы так. Ибо, давая, человечество ничего не теряет. Наоборот!



— Вы слышите? — тихо спросил Андрей Исидорович. — Я разрешаю вам брать. Берите как можно больше... Все берите! Когда-нибудь потом, когда мы встретимся, ваши знания будут уже не благодеянием старшего, а... Ну да, вы сами понимаете...

Сказав это, Андрей Исидорович тут же устыдился своего пафоса.

Кто он такой, чтобы решать? Молекула человеческого моря! Сейчас он оденется, спустится, сядет в метро, поедет, мельком встречаясь взглядом с сотнями людей, о которых он ничего не знает и которые ничего не знают о нем. Дома жена, как обычно, спросит:

— Ну, что у тебя новенького?

И он, как обычно, ответит:

— Да так, ничего особенного...

Ошеломляющее, прекрасное, почти забытое небо! Оно распахнулось и приняло, после однообразия космоса, где только звезды и мрак, после долгого заточения — вихрь, блеск облаков, отсветы морей, зов тверди. От бьющих в иллюминаторы лучей потускнели лампы. Выключить, скорее выключить эти жалкие заменители солнца! Пусть настоящий, промытый воздухом свет проникнет в каждый уголок, сотрет последнюю тень!

Щурясь, с улыбкой недоверчивой радости люди смотрели друг на друга. Так выбираются из катакомб. Так выходят из космоса.

Словно подстегнутые нетерпением, стрекотали экспресс-анализаторы. Есть кислород, можно дышать, есть ветер, который коснется лица, вода есть и зелень, совсем как на родине.

Свердлин мельком взглянул вверх, туда, где стыла фиолетовая даль покинутого космоса. И поспешно отвел глаза. Не надо вспоминать, не надо...

Вот награда за все. Вниз один за другим падали автоматы-разведчики. Заняв экран, открывались переданные ими голограммы чужого мира. Белый песок у моря; отягченные плодами ветви; степь, над которой реют птицы; выбитая зверями тропа... Все, как на Земле. Почти как на Земле. Ярче^ чем на Земле.

Лавина цифр в окошечках анализаторов. Температура, давление, влажность, радиация... Аппарат захлебнулся и смолк: теперь он перемалывал органику. Бактерии, травы, вирусы, насекомые, споры, фитонциды, пыльца, опавшие листья...

Люди ждали. Волнуясь, с нетерпением и надеждой. Спал прежний бесшабашный восторг. Кругом одни сосредоточенные лица.

— Добра не жди...

Все встрепенулись. Конечно, это был Фёкин, — единственный, кто при виде неба не выразил радости.

— Ты, пессимист! — набросились на него. — Не каркал бы раньше времени!

— Цо? — Фёкин прищелкнул, губы его искривились. — Погулять без скафандра захотелось? Ветерком подышать? Ах, мальчики, мальчики... Нельзя надеяться на лучшее.

— Почему? — спросил Свердлин.

— Потому, — уже серьезно ответил Фёкин. — Предполагать надо худшее. Тогда не будет разочарований, если плохое осуществится. А не осуществится... Самая приятная радость — нечаянная. Как видите, мой пессимизм сулит больше счастья.

— Нет, — покачал головой Свердлин. — Нет. Я жду от этой планеты всего, и ожидание дает мне радость. Стыдно признаться, но я жду даже осуществления своей маленькой заветней мечты. Здесь найдется тот уголок природы, которого нет на Земле, но который мне снится. Я вижу его. Укромное озеро в полосах света и тени, нежный песок под босыми ногами, стройные, до неба, деревья, теплынь, тишина...

— Ностальгия, — строго заметил врач. — Ты видишь наше озеро среди наших сосен. На Земле, кстати, таких мест сколько угодно.

— Но везде коттедж, или палатка, или стоянка для реалетов!

— Или комары, — добавил Фёкин.

Звякнул сигнал, и спор был забыт, так как пошла информация. О вирусах и зверях, деревьях и птицах, цветах и микробах. О всем, что есть жизнь, которая во Вселенной куда большая редкость, чем гений среди людей.

— Маски, — прошел облегченный шепот. — Только маски!

Автоматы перестраховались. Несколько другие тут были цепочки белков, другие их составляли аминокислоты, но разница была незначительной, и это решало все: чужая жизнь не могла повредить людям. Даже маска была лишь

предосторожностью, от которой позднее можно будет отказаться.

— Ну, Фёкин, что же ты теперь не радуешься?

Тот ничего не ответил. Даже яркое солнце, не желтое здесь, а белое, не могло истребить залегших на его лице теней.

Начался спуск. В реве и грохоте атмосферу пронзило космическое сверло. Трещинами разбежались электрические молнии. Лопался нагретый воздух. И долго еще после посадки не стихал гром.

«Силой, — подумал Свердлин. — Мы берем планету силой, мощью наших гигаватт. Как вражескую крепость. Ничего, все успокоится...»

Все успокоилось. Улеглась волна на озерах, улетели сорванные ураганом листья, снова раскрылись цветы. Корабль стоял посреди выжженной плеши, опираясь на могучие титановые опоры. Черта гари отделяла его от мира чужих деревьев и трав.

Избежать этого было нельзя. Так полагалось даже по инструкции — стерилизовать почву в зоне высадки. Превратить ее в пепел. Не допустить, чтобы какой-нибудь вьюнок оплел опору. Лишняя на этой планете предосторожность, но иначе корабль просто не мог бы сесть, и в девяноста девяти случаях этот недостаток был достоинством, что и подтверждала инструкция.

День сменился вечером, прошла ночь, — локаторы неутомимо прощупывали окрестности. Ничего. Все, что могло бежать, — бежало, а что не могло, то погибло. Ничто не приближалось к искусственной пустыне, ничто не возмущало покой. В десятках, сотнях, тысячах километров от корабля, все проверяя и перепроверяя, несли свою вахту автоматы. Там кипела жизнь, и на усиках—антеннах одного из них какой—то паучок уже плел паутину, словно автомат был обычной корягой. Только разум способен реагировать на вторжение чужаков, но разума тут не было, а природа одинаково безразлично принимает и метеорит, и звездолет.

Иногда ветер и до корабля доносил, кроме гари, запах диковинных цветов и трав, но его пока чувствовали только приборы, которые бесстрастно раскладывали запах на компоненты: безвреден, безвреден, безвреден...

Все же запах мешал спать, ибо люди знали, что он есть.

Миллиарды бит новой информации, наконец, сняли последний запрет. Утренняя роса выпала даже на гари, и восход солнца застал людей в пути.

В лесу пели птицы. Руки сами собой выключили двигатель вездехода, притихшие люди сидели и слушали. Над деревьями вставало белое солнце. Оно посылало в зенит луч, который дрожал, как впившаяся в небо хрустальная стрела.

— Двинулись, — сказал капитан.

Начинался долгий экспедиционный день.

Вездеход полз по голубым корневищам, раздвигая шуршащую траву, объезжал топкую чернь болот, вспугивал шестиногих зверьков с кофейными задумчивыми глазами, брал, взрыхляя почву, откосы, и одна непотревоженная даль сменяла другую.

Потом люди вышли, неуверенно ступая по пружинящей подстилке красноватого мха. На них были легкие костюмы, и только маски отъединяли их от всего, что было вокруг. Можно было нагнуться и голой ладонью погладить никем не виданные соцветия; можно было запрокинуть голову и дать процеженному листвой лучу пощекотать кожу лба; можно было лечь навзничь, можно было идти не по прямой... Такая малость, ко как много она значила после миллиарда шагов по прямым, разлинованным коридорам! Непривычным казалось даже то, что каблуки неравномерно вдавливались в почву. Какое поразительное ощущение после одинаковой упругости корабельного пола! Забылось самое простое: что воздух может омывать тело неравномерной и ласковой волной; что холодок тени граничит с угольным жаром солнца; что существуют рытвины... Кто-то упал, потому что ноги отвыкли учитывать неровность земли. Упавший рассмеялся первым, за ним рассмеялись другие. Это

надо же — утерять такие навыки, наслаждаться тем, что прежде не замечалось и не ценилось!

Они слегка ошалели, ведь ощущения тоже способны пьянить. Формулы предупреждали, что так будет. К черту формулы! Планета гостеприимна, доступна от полюса и до полюса; они молоды, и жизнь прекрасна!

Успеется, все успеется. Исследования подождут, гипотезы подождут. Это их планета! А ты о чем думаешь, Фёкин?

...Забавно все это. Ну, достигли. Многих это мучений стоило — достигли. И тут, ей-ей, неплохо! Мы, можно сказать, счастливы. Но ведь на Земле мы добивались не меньшего счастья. Только быстрей. И без таких трудностей. Без многолетнего отказа от простых земных радостей. Без риска, наконец. Иная рыбалка на заре и вот такая прогулка по чужой планете, в сущности, равноценны точки зрения удовольствия. Так чего же мы добились?

...Победы, унылый ты пессимист, победы! Дело не в количестве, а в качестве. В невозможном, которое мы сделали возможным. Выше мы стали на голову, вот что! Крепче, уверенней. Лучше мы стали понимать самих себя. Больше знаем и больше можем. Пик для альпиниста не самоцель, даже если он так думает. Берутся не физические высоты, а духовные. Без этого нет роста, а где нет роста, там движение поворачивает вспять, назад, и над нами закрывается крышка гроба. Вот птица в небе, — и та понимает, что жизнь — это движение. Как она кувыркается, как чертит над нами круги... Ее оперение чудо: лазурь и золото! Она боится нас, но мы ее притягиваем. Все неизвестное притягивает, потому что опасность там, где неизвестность, и чтобы выжить, надо знать. А птица явно хочет жить...

Птица сложила крылья. Лазурь и золото сверкнули на солнце, раздался вскрик, но, прежде чем люди успели опомниться, на груди Свердлина бился трепещущий, еще живой комочек. Он в ужасе стряхнул его с себя, комочек упал к ногам, дернулся и затих.

Люди ошеломленно смотрели друг на друга.

— Она атаковала?
— Такая птаха?
— Самоубийство?
— Нелепо!
— Что же тогда?
— Приготовить оружие!
— Зачем?
— На всякий случай.
— Но наши белки несовместимы!
— Пусть так, предосторожность...
— Внимание! Сзади!

Куст опрокинулся, вылетело почти невидимое в своей скорости тело, вспышка дезинтегратора испарила его раньше, чем оно успело обрести форму и вид.

— Назад! К машине!

Когда страгивается лавина, сознание еще успевает отметить те первые камни, которые, срываясь, зловеще и звонко щелкают по склону. Затем уже нет частностей, есть лишь масса, огромная, смутная, бешеная в своей скорости.

Так было и здесь. Потемнело, хлынуло отовсюду; смешалось. Летящими, падающими, бегущими клочьями больших и малых существ, казалось, двинулась сама природа, — приступом, обвалом, стеной. И фиолетовые вспышки дезинтеграторов разили, сминали, рвали то, что было плотью ринувшейся стихии, то, чел4 люди недавно восхищались и что теперь, обезумев, восстало против них. Они бежали и с содроганием палили во все живое, ужасаясь и не понимая, что произошло, почему место идиллии стало вдруг местом бойни.

— Биосфера сошла с ума! — переводя дыхание, выкрикнул капитан, когда герметика брони вездехода укрыла их от живого потопа. — Быстрей к кораблю!

Послушно включился двигатель, и трава, прилипшая было к металлу, была смята первыми оборотами колес.

— Стойте... — Свердлин едва мог говорить. — Да стойте же! Мне показалось...



— Что?

— Смотрите...

Масса живого, которую не могли остановить ни выстрелы, ни гибель, редела, таяла, разлеталась брызгами существ, которые немедля исчезали, будто не они только что составляли единое слепое целое. Вскоре лишь груды обугленных трупов напоминали о скоротечном сражении. Будто ничего не произошло, все также мирно светило солнце, и деревья поодаль, чья листва не была сожжена, тихо струились в потоках воздуха.

Нигде, ни в одной звездной системе люди не сталкивались с такой нелепой бессмыслицей.

— Тем не менее мне это кое-что напоминает. — Биолог задумчиво смотрел на мертвые груды тел, рану, выжженную в светлой зелени чужого мира. — Аналогия, конечно, чисто внешняя.

— А именно?

— Атаку фагоцитоз. Механическое падение на все чужое.

— Нелепо, — сказал капитан.

— Нелепо, — согласился биолог. — Если вдуматься, тут даже и сходства нет. Никто не нападал на наши механизмы. Никто не обрушивался на наш корабль...

— Никто не нападает на вездеход, — добавил Свердлин, берясь за ручку дверцы. — Поэтому, возможно, все решит простой опыт.

— Куда?! Не сметь!

— Позвольте!

Раз никто не нападал и не нападает на нас, пока мы в этой коробке, значит, всему виной мы.

— Мы?

— Наше белковое родство и одновременно несходство со всем, что нас здесь окружает. Это не атака фагоцитов. Организм принимает и металл, и пластмассу, но чужие белки он не приемлет.

— Реакция несовместимости? — удивился капитан. — Биосфера не организм!

— Очень странная, а потому, может быть, верная мысль, — высказался биолог. — Биосфера, конечно, не организм, но система, способная реагировать, как единое целое. Хотя... Нет, не получается!

Где и когда биосфера вела себя подобным образом? Где и когда она прикидывалась доступной и позволяла нам обойтись без скафандра?

— Заманивала ложью анализов, казалась смирной, чтобы потом жестоко изгнать? — вздохнул Фёкин. — Кто-то мечтал о новой Земле... Кто-то спешил прослыть оптимистом...

Свердлин ничего ему не ответил.

— Опыт разрешается? — спросил он.

— Да.

Он вышел из вездехода, из герметичной коробки, из походной тюрьмы и встал среди цветущих трав, голубого воздуха, тишины лесного мира. Один на один с кроткой, такой земной, такой близкой человеку природой, в чьей глубине таился отпор, слепой и бешеный, как шквал тайфуна, призванный стереть человека, точно злокозненного микроба. И натиск не заставил себя ждать. Зашуршал листвою лес, освобождая дорогу притихшей было жизни, стаи птиц выросли в небе...

— Вот и все, — подавленно сказал Свердлин, захлопнув дверь, за которой кипели тысячи существ, чей вихрь уже застилал солнце. — И тут нужны скафандры. Нужна изоляция, чтобы нас не чуяли... Что ж, двинулись.

Вездеход заскользил обратно, по прежним своим следам, все быстрей и быстрей, словно убегал от разочарования.

Шипел кондиционер, нагнетая осточертевший, рожденный химией воздух. За стеклом доносилось великолепие чужого дня.

Опять заточение, думал каждый. Тело в оболочке скафандра, точно вокруг ледяной космос. Чужая жизнь отторгает нас. Беззащитны одни только мертвые миры... А у входа



в любой космический сад, перед водопадами и лесами, незримо горит одна и та же надпись: «Посторонним вход воспрещен».

— Между прочим, человеку свойственно приручать, — внезапно сказал Свердлин, когда впереди обозначилась громада звездолета. — Не так уж существенно, конь это или биосфера. И это прекрасно.

— Смотри, не залетай далеко!

Мальчик кивнул и сразу забыл наставление. Еще бы! Солнце греет, мама заботится, все в порядке вещей, и думать тут не о чем.

Он стоял на крыше дома, напряженный, как тетива. Лодыжки и запястья охватывали сверкающие браслеты движков, а шлем и широкий пояс антигравитатора делали его совсем похожим на звездолетчика — таким же подтянутым, мужественным, снаряженным. Он чувствовал, что мама тоже любуется им.

— Милый, ты слышал, о чем я говорю?

— Ну, мам...

Мальчик обиженно шмыгнул носом. Что он, маленький? Щурясь на солнце, он принял стартовую позу. Вот так! "Команда готова, капитан! Есть, капитан! Уходим в пространство, капитан!"

При чем здесь мама?

СТАРТ!

Словно чья—то рука мягко и властно взяла его под подошвы, приподняла, так что от макушки до пяток прошел холодок, и — ух! — сердце учащенно забилось, когда плоская крыша, мама на ней, деревья вокруг дома плавно и быстро стали уходить вниз.

Они уменьшались, как бы съеживались, а мир вокруг, отодвигая горизонт, расширялся. Воздух стал ощутимым и зримым. Он приятно обдувал вертикально взмывающее тело мальчика, и от одного уходящего вдаль края земли до другого заполнял собой все — прозрачный, бодрящий, солнечно-голубой.

Чуть-чуть небрежно и горделиво мальчик помахал маме. Она стала теперь совсем крошечной. Земля уходила все дальше, делалась плоской, краски ее грубели, наливаясь синевой. Этот вид земли никогда не нравился мальчику. Он

наклонил голову, биодатчики шлема уловили безмолвный приказ, тело легло плашмя, и вот он уже парил, снижаясь и держа курс к вспыхивающему серебру далекого озера.

Прежний антигравитатор, которым мальчик пользовался с пяти лет, слегка шумел в полете, а этот новый "Икар" был совершенно, дивно беззвучен. Ни рука, ни нога не зависали, как это было прежде, — мечта, а не машина!

Впрочем, что тут такого? Вчера хорошая машина, сегодня отличная, завтра еще лучше — иначе и быть не могло. Машины ведь тоже взрослеют.

Ближе к земле ощутимей стали мерные токи воздуха. Тело скользило в струях; чуть теплей, чуть прохладней, немножко вверх, немножко вниз, как с горки на горку, как с волны на волну. От удовольствия мальчик зажмурился.

Даже с закрытыми глазами он знал, над чем пролетает. Сухо и терпко пахнет травой — луг на пригорке. Теперь чуточку колыхнет — низина. Горячий, смолистый аромат с земли — он над сосновым бором. Донесся влажный запах мокрой тины — берег озера. Душистая струя цветущего шиповника...

А ну-ка! В мальчике точно распрямилась пружина. Открыв глаза и вытянув вперед руки, он ринулся наискось и вниз, вниз, тараня близящуюся стену деревьев. Вокруг все мчалось и сливалось. Он был ракетой, он летел в атаку, впереди была сельва чужой планеты, там насмерть бились его друзья, и он, жертвуя собой...

Та же мягкая и властная рука подхватила его вблизи от сомкнутых стволов и подняла над лесом. Как всегда... Было обидно, что его лишали воли, но всякий раз, когда, замирая от сладкого ужаса, он пробовал вот так врезаться в преграду, спасительное вмешательство автомата доставляло ему невольное облегчение. Потому что, кроме азарта и упоения, все-таки был и страх, совсем капельный, но все же страх, что автомат не убережет. Но он уберегал всегда, иначе и быть не могло.

Мальчик перевел дыхание. Вершины частого ельника, над которым он плыл, порой открывали внизу темные провалы со скатами мохнатых ветвей; оттуда тянуло сырым грибным запахом. Можно было, конечно, нырнуть и спокойно исследовать такую пещеру, но нет, энергия требовала другой разрядки.

Он круто взмыл вверх и кувыркался, переворачивался, вертелся, пока все зеленое, голубое, солнечное не закружилось в глазах обезумевшим колесом. Тогда он лег на спину.

Мало-помалу мир встал на место. Теперь в нем была тишина и покой.

Ослепительная белизна редких кучевых облаков тоже манила, но это было совсем не то. Внутри облаков промозгло, зябко и скучно. Облака годятся разве что для шумной игры в прятки, когда под тобой столько белоснежных, соблазнительных издали гротов, невесомых арок, причудливых мостов, но все это зыбко, изменчиво, и нужен точный расчет, чтобы туманное укрытие вдруг не растаяло в самый неподходящий момент. Да, играть там в прятки — это здорово! И еще отыскивать радуги. Радуг там, конечно, много, но надо найти великолепную, такую, чтобы все признали, — лучше нет.

А ведь он когда-то боялся летать. Судорожно хватался в воздухе за отцовскую руку. Смешно! Глупый он был тогда. И год назад, если вспомнить, тоже был еще глупый — мечтал пролететь сквозь радугу. Теперь—то он понимает, что такое радуга. "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан". Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый спектр, а все вместе — белый свет! Ну еще там ультрафиолетовый, инфракрасный... Очень даже все просто.

Прежняя поза ему надоела, он повернулся на бок. Так он лежал некоторое время между небом и землей, пока не захотелось новых действий.

Тут он увидел парящую вдали птицу. Птица в воздухе что кузнечики на лугу; он давно уже, как подрос, не обращал на них особого внимания, разве что, притаившись за

опушкой, с криком врывался в стаю горластых ворон. Поступок, за которым дома следовало внеурочное мытье (вороны пачкались очень метко), сопровождаемое огорченными попреками: "Ведь говорили же тебе — не беспокой птиц; тебя бы вот так кто-нибудь напугал, каково?" Взрослые любят все усложнять, и если всегда их слушать, то и пальцем не шевельнешь. Они вот никогда не врываются в вороньи стаи и, не знают, какая это потеха. И еще неизвестно, кто тут кого должен бояться, — дружная стая разозленных ворон и поцарапать может... Тут ему видней, потому что в детстве ни папа, ни мама не летали по воздуху — антигравитаторов тогда не было. Даже представить трудно, как это они без них обходились.

Одинокая птица не представляла особого интереса, но, приглядевшись, мальчик внезапно насторожился. Уж слишком величественно парила птица! Такой размах крыльев мог быть только... Ну конечно же, это орел! Орел!

Уиу-у! Тело мальчика ввинтилось в ставший упругим воздух. Расстояние до орла сокращалось, но тот все так же лениво парил, нисколько не шевеля крылом. Орел был могуч и, видимо, стар; его царственный вид взбудоражил мальчика. Среди перьев хвоста виднелось несколько белых, и у мальчика даже слюнки потекли при мысли, что трофеем охоты может стать НАСТОЯЩЕЕ ОРЛИНОЕ перо. У всех ребят для игры в индейцев перья синтетические, а у него будет добытое им самим настоящее!

Крылья орла наконец дрогнули. Он уже не парил, а летел прочь от преследователя. Но и удирал он как—то надменно—снисходительно.

Мальчик не думал об опасности, об изогнутом крепком клюве и острых когтях, которым он мог противопоставить лишь скорость своего "Икара". До сих пор орел был символом, персонажем мультфильма, иллюстрацией в книге, а тут он был живой, настоящий и, как подобает орлу, царственный. Такую добычу нельзя было упустить.

Ветер стал тугим, воздух обтекал, как вода, из глаз потекли слезы, но на шлеме были очки, и мальчик поспешно опустил их. Однако — вот беда! расстояние почти не сокращалось.

БЫСТРЕЕ!

Греющая, если холодно, термоодежда плотно облегала тело, но ветер уже и ее вспарывал, выдувая тепло. Руки коченели, но кто обращает внимание на такие мелочи, когда идет охота?

Крылья орла мерно и сильно били воздух. Но расстояние сокращалось!

Лицо жгло, ветер ревел в ушах, дыхание закладывало. Только бы достать!

Орел казался мощным автоматом, так ровен, быстр и бесстрастен был его полет.

И все—таки мальчик нагонял его.

Теряя величие, а заодно и сходство с машиной, орел метнулся в сторону, вниз... (Мальчик повторил маневр, не потеряв ни миллиметра.)

Соревнование шло не на равных, потому что орел тратил свои силы, а мальчик нет. Но мальчику, чье тело превозмогало давящую нагрузку воздуха, казалось, что это он сам летит, сам борется и сам побеждает. Вот уж преследование так преследование!

Еще немного расстояния выиграно, еще немного...

Орел вдруг круто нырнул, и несколько сантиметров оказались потерянными, потому что длинное тело мальчика не смогло описать столь же крутую дугу.

Уходит, уходит же!..

Но нет, мощь аппарата превозмогла силу орла. Хвоста уже можно было коснуться пальцами... Но окоченевшие, сжатые в кулак пальцы плохо повиновались мальчику. Он чуть не заревел от разочарования, потянулся так, что в глазах потемнело. И кончик заветного пера очутился в негнущихся пальцах...



Что—то непонятное произошло, едва он дернул перо. Тело орла странно перекосилось, смялось в нелепый комок и пронеслось над ногами мальчика.

Он лихорадочно затормозил, не понимая, отчего орел падает, отчего крутится его тело и под нелепым углом встает то одно крыло, то другое.

Тишина смолкшего ветра оглушила. Ставшее каким—то мохнатым, тело орла продолжало падать, то планируя, то резко проваливаясь. Ничего не понимая, мальчик ринулся вслед за уходящей добычей.

Но орел упал раньше. Машинально приняв позу посадки — ноги полусогнуты, руки прижаты, — мальчик спустился неподалеку. Ослабевшие мускулы плохо смягчили толчок, он завалился на спину, но тотчас вскочил и в смятении кинулся к орлу.

Одно орлиное крыло лежало великолепно распластанным, другое неестественно топорщилось, как сломанное. Не было в орле уже ничего царственного, ничего от бесстрастия могучего воздушного автомата, ничего от загнанного, но даже в панике величавого существа. Был смятый, неопрятно

взъерошенный труп. Полузатянутый белком глаз мутно смотрел в небо.

Мальчик, еще не веря, что орел мертв, с усилием глотнул воздух.

Ведь он не хотел ничего такого. Как же так? Вот это, то, что он видит, и есть смерть? Настолько хрупка жизнь — и его, значит, тоже? Но это же несправедливо, несправедливо!!!

Мальчик едва сдержал крик и оглянулся, как бы ища поддержки. Зеленела на ярком солнце трава, в воздухе реяли бабочки, и была во всем этом такая пустота, такая неумолимость нового, открывшегося ему порядка, что мальчик похолодел от ужаса.

Потом все облегчили слезы, которые он пытался сдержать и не мог, они мучительно текли, заволакивая мир. Он хотел бежать, немедленно бежать к маме, папе, любому человеку, лишь бы не оставаться в одиночестве. Но что—то удержало его на месте.

Он знал причину. На ближнем пригорке в обрыве золотился песок, там можно было вырыть могилу. Он пошел туда, вытирая слезы.

И тут он заметил, что до сих пор сжимает в руке перо. Он разжал кулак. На ладони лежало измызганное, серое от пыли перо, которое там, в вышине, казалось ему таким желанным и белым.

Экспериментируя, профессор Арцимович был въедлив, как серная кислота, и тверд, как молибденовая сталь. Но даже сталь утомляется. В тот день его настолько замучили пляшущие в глазах черные мушки, что он, вопреки обыкновению, взял велосипед и покатил дышать свежим воздухом.

От научного городка до деревенских краев было рукой подать, и некоторое время спустя профессор очутился в незнакомой местности. Мирно светило солнце; слева от пыльной дороги были сосенки, справа зеленел овес, а навстречу Арцимовичу летел человек.

Точнее, его нес ветерок, человек лишь подгребал, распластавшись, как лягушка. На его коленях пузырились мятые брюки.

Профессор затормозил. «Ну вот, доработался, — молнией пронеслось в мозгу. — Уже мерещится».

Ветерок стих, и человек повис метрах в полутора над Арцимовичем. Профессор смотрел, задрав голову. Ему было очень жаль себя.

— Скажите, — спросил он, наконец. — Вы умеете распознавать галлюцинации?

— Нет, — хрипло ответил человек, — не умею.

— Ах, да! Конечно, конечно, — согласился Арцимович. — Раз вы сами галлюцинация, то, понятно, вы не умеете. Я, к сожалению, тоже, потому что не специалист в данной области.

— Я не галлюцинация, — возразил человек. — Я — Сидоров. У меня и документ есть.

Он похлопал себя по карманам свисающей куртки, и на его лице отразилось огорчение.

— В пиджаке забыл...

Арцинович понимающе кивнул.

— Иначе и быть не могло, — сказал он. — Зрительно-слуховая галлюцинация — это еще туда-сюда, но галлюцинация, предъявляющая документы, — это, простите, нонсенс.

— Чего? — переспросил человек.

— Нонсенс.

— А-а...

Человек растерянно замолчал.

Профессор тоже задумался. Он был расстроен и огорчен, но горд, что действует, как истинный ученый: не растерялся, не ударился в панику и в чудеса не поверил. Сам виноват в случившемся, обвинять некого. Сил не щадил, работал с перегрузкой, что-нибудь подобное рано или поздно должно было произойти. Не это, так гипертония или, чего доброго, инфаркт. Можно даже считать, что ему повезло. Галлюцинация — не сумасшествие, так, всего лишь невроз. И излечивается, вроде бы, проще, чем та же гипертония, и безболезненнее, чем зубы. Досадно, конечно, но что же делать, не щадил он себя, не щадил... А жаль все-таки, что он не психиатр — такой материал самонаблюдения пропадает! Впрочем, он сделает все, что сможет. В конце концов это его научный долг.

— Так вы, значит, в меня не верите, — послышалось сверху.

— Вера — вненаучная категория. А я ученый. И потому знаю, что вы — ирреальный плод моего, увы, переутомленного сознания.

— Но я же существую! — жалобно воскликнул летающий человек. — У меня дети!

— А я и не говорю, что вы не существуете. Вопрос — в качестве вашего существования.

— Но я же летаю!

— Вот именно. А человек сам по себе летать не может. Это было бы чудом. Люди, мало осведомленные в физике, склонны в этом вопросе к доверчивости, но мы-то знаем, что в природе чудесам нет места.

— Я где-то читал об этой... как ее... антигравитации!



— Вред популярных публикаций в том, что они распространяют полузнание и склонны к сенсациям, — строго заметил профессор. — Антигравитация в такой форме опровергает... Вы даже представить не можете, что она опровергает!

— Не могу, — сознался человек. — Я просто летаю.

— Вот—вот! Всякое проявление необычного имеет строго научное объяснение. Поэтому ваш случай предельно ясен. Даже если бы антигравитация ничему не противоречила, то, где источник энергии, который вас поднял? В вас самих? Смешно!

— Может быть, я за обедом что-нибудь не то съел или выпил... Теперь все химия, очень даже просто...

Профессор раскрыл было рот, чтобы возразить, но тут его неприятно поразила одна простая мысль: он же беседует с самим собой.

Конечно! Ведь перед ним не человек, а галлюцинация. А он — беседует...

Арцинович с возмущением посмотрел на летающего человека. Тот мотался над ним, как воздушный шарик. И все время греб, точно хотел нырнуть. Ноги суматошно били воздух; на правой не было ботинка, из дырявого носка выглядывал палец.

— Не могу спуститься, — в голосе человека была мука. — Как взлетел полчаса назад, так и плаваю... Вверх сильно тянет... Ботинок вот свалился... Вы бы мне помогли, а? Зацепили бы чем-нибудь, дотянули до сосенки...

Профессор закрыл глаза. Может быть, это не мерещится, и надо бы все-таки помочь?.. Нет! Исследователь обязан оставаться исследователем. «Сосчитаю до ста, а потом взгляну, — решил он. — И если объект не трансформируется, то...»

— Значит, пропадать придется, — вздохнул над ним голос. — Хоть семье сообщите... Жене... В Малые Выселки...

Голос стал удаляться.

Ветер тронул лицо профессора. «Семьдесят девять, восемьдесят, восемьдесят один...»

На «сто» он открыл глаза. Объект трансформировался. Исчез. Лишь высоко в небе темнела точка, то ли птица, то ли еще что. Потом и она растаяла. Пусто стало в бездонной синеве.

В тот же вечер профессор пошел в поликлинику. Психиатр с видом человека, который все знает наперед, выслушал его, осмотрел, проверил рефлексы, буркнул: «У вас, физиков, все не как у людей...» Диагноз гласил, что нервы профессора сильно расстроены, но особой опасности нет.

Месяц кряду профессор принимал лекарства и соблюдал режим. Галлюцинации его больше не посещали.

"При движении в прошлое можно выйти либо
в намеченную точку пространства, либо в
намеченный момент времени. Сразу осуществить
и то и другое невозможно в принципе".
("Основы темпоралики", 2023 год)

Ноги часто скользили, и это беспокоило Берга. Вот досада! Привычка к обуви, с которой сама собой соскальзывает грязь, делали его подозрительно неуклюжим в грубых, на одну колодку скроенных сапогах, когда на подошвы налипал вязкий ком глины. А здесь, на размытой дороге, это случалось постоянно. Мелкое обстоятельство, которого они не учли. Сколько еще обнаружится таких промашек?

К счастью, дорога была безлюдной.

Позже глину сменил песок, и Берг вздохнул с облегчением. На косогоре он приостановился. Одинокий дуб ронял плавно скользящие листья. Поля были сжаты, поодаль они тонули в сероватой дымке, и небо, под стать земле, было слезящимся, тусклым. Далеко впереди, куда вела дорога, смутно проступал шпиль деревенской церкви. Порой его заволакивала дождливая пелена.

Расчетчики не подвели, место было тем самым. А время? В какой век забросил его принцип темпоральной неопределенности? Седьмой, семнадцатый? Ответ, похоже, можно было получить лишь в городе.

Только сейчас, твердо шагая по мокрому песку, Берг ощутил разницу между воздухом той эпохи, откуда он прибыл, и той, куда он попал. Человек двадцатого века легко объяснил бы разницу чистотой здешней атмосферы. Но Берга она поставила в тупик, потому что давно миновали годы, когда заводские дымы Северной Америки загрязняли небо, где—нибудь на Гавайях. В чем же дело? Или на воздух той эпохи, откуда пришел Берг, неизгладимый отпечаток наложила

техносфера с ее эмбриомашинами, оксиданом и синтетикой? Должно быть, так. Здесь, в этом веке, запахам леса, земли и трав чего-то явственно не хватало. Чего-то...

"И небеса веков неповторимы, как нами прожитые дни..." — вспомнил он строчки Шиэры.

И небеса веков неповторимы...

Спешить было незачем, так как в город следовало войти в сумерки. Конечно, его одежда точно скопирована с одежды бродячего мастерового, но беда в том, что она могла не соответствовать тому веку, в котором он очутился. Правда, одежда средневековых бродяг—медников не слишком поддавалась веяниям моды, и, главное, для всех он был иностранцем, следовательно, человеком, имеющим право носить необычный костюм. И все же рисковать не стоило. В конце концов, это первая и, надо надеяться, последняя вылазка человека в прошлое. Если бы не особые обстоятельства... Странно, нелепо: он в мире, который уже много веков мертв. Скоро он увидит своих далеких—далеких предков, чьи кости давно истлели. А сейчас они разгуливают по улицам, сидят в кабачках, любят, ссорятся, смеются.

Дико, непостижимо, но факт. Однако, если вдуматься, для прошлого будущее куда большая нереальность, чем для будущего прошлое. Потому что прошлое было. А будущее — это ничто, провал, белая мгла. Для любого встречного он, Берг, пришелец из несуществующего. Забавно... Берг взглянул на свои руки. Обычные, крепкие, мозолистые руки. Невольно Берг фыркнул, вспомнив ученый совет, где дебатировалась методика воспроизведения средневековых мозолей. "Брэд оф сивый кэбыл", — как любил выражаться Генка Бороздин.

Дорога вела к деревне, но Берг избрал боковую тропку, лесом огибающую поселок. Не из-за боязни преждевременных расспросов и встреч. Просто в деревне могли потребоваться услуги медника, а задержка не входила в его планы. Лес, которым Берг шел, мало напоминал чисто прибранные леса его эпохи. Дичь, бурелом, чащоба, едва различимая, без

ответвлений тропинка. Безлюдье, все говорило о безлюдье, нехватке сил, медвежьей замкнутости поселений. Бойкий тракт — узкая полоска грязи, где последняя повозка прошла еще до дождя. Тропа и вовсе звериная, хотя под боком деревня. Очевидно, он все же попал в раннее средневековье. Не слишком ли раннее?

За сумрачным оврагом начался ельник, справа в просвете мелькнула церковь, потом деревья снова ее заслонили. Неподалеку кричала воронья стая. С потемневшего неба сеял дождь. Под лапами елей краснели мухоморы. Вскоре стали попадаться заросшие холмики, серые, от времени покосившиеся кресты. Кладбище... Некоторые надписи удавалось разобрать. Взгляд равнодушно отмечал даты,



полустертые евангельские изречения; слова печали и скорби. Вдруг сердце дало оглушительный сбой: там, в кустах, белел новенький крест, и на нем было начертано: "Берг".

Могила была настолько свежей, что даже глина не успела заплыть. Дрожь проняла Берга: его убьют здесь, в этом времени, зароют и...

Он едва унял колотящееся сердце. Какая чепуха! Тот, кого похоронили, мертв, а он, Берг, жив! И вообще тут нет никакой загадки. Простое совпадение — распространенная фамилия. Какие-нибудь Макферсоны были в десятках поколениях шотландцев. Возможно, род Бергов не менее стар, и кого—то из них занесло сюда. Но это значит... Это значит, что у него есть шанс встретиться с... Конечно, а разве он не знал этого заранее?

Поспешно уходя от могилы, Берг покрутил головой. Простая арифметика, только и всего. Родителей у каждого двое, дедов четверо, прадедов восемь, прапрадедов шестнадцать, предков в десятом колене свыше тысячи, а уж в отдаленном прошлом... Даже если учесть дальнеродственные скрещения, то, вероятно, большинство жителей любого европейского поселения имеют к нему, Бергу XXI века, самое непосредственное отношение. А какого-нибудь Гай Юлия Цезаря он мог бы и вовсе приветствовать по-родственному.

Жуткая все—таки вещь — генетика.

Как ни успокаивал себя Берг, встреча оставила неприятный осадок. Он поторопился быстрей пройти кладбище. Подумать только: отдаленным предком ему был каждый двадцатый (десятый, седьмой?) погребенный здесь человек! Бергу стало зябко при мысли, что его облик, характер, да и само существование висит на столь непрочной нити. Если бы в том же средневековье кто-то, с кем-то не встретился или поссорился, даже в том городе, куда он идет, то и его, Берга, возможно, не было бы! Или у него был бы другой цвет глаз, другой темперамент, другая судьба...

Вот и по этой причине тоже ни одному человеку до сих пор не разрешалось бывать в прошлом.

Успокоился Берг, лишь когда тропинка вывела его обратно на дорогу с ее просторами холмов и далей.

Потянул ветерок. За поворотом открылась мутная, неширокая река, грязный мост к неказистым крепостным воротам. Берг замер, поспешно кинув взгляд на зубчатый силуэт городских стен. Есть! Он сразу узнал знакомый по снимкам профиль Толстой Девы. Значит, ему повезло, он очутился примерно в том времени, в каком надо, потому что в десятом веке эта башня еще не была построена, а в четырнадцатом ее уже разрушили рыцари герцога Берклевского. Значит, и его костюм, в общем, соответствовал стилю времени, не надо переодеваться, укрывшись за кустом.

Он вынул из котомки запасные костюмы, облил их жидкостью, которая вкусом и цветом напоминала вино, и, удостоверившись, что ткань превратилась в труху, двинулся к мосту.

Разум, едва он ступил на мост, стал холоден, посторонние мысли отлетели прочь. И все же иногда ему казалось, что стоит лишь тряхнуть головой...

Но нет, кинувшиеся к нему, когда он перешел мост, собаки были самой доподлинной реальностью. Их была целая свора — грязных, шелудивых, ободранных; Припадая к земле, они давились хриплым лаем.

"Вот так загвоздка! — крепче сжимая палку, подумал Берг. — Ведь я понятия не имею, как должен вести себя средневековый путник при встрече с... И чего это они?"

Собаки попятились, когда он сделал шаг. Рычание сменилось повизгиванием, раздраженным, недоуменным, в котором слышались неприязнь и опаска. Внезапно Берга осенило. Ну конечно! Его одежда, обувь хранили запах той эпохи, в которой они были созданы, — запах чуждой этому веку синтетики!

Берг с уважением глянул на собак и, уже не обращая на них внимания, двинулся к воротам. Наступала, пожалуй,

самая ответственная минута, которая решала, надежен ли его маскарад.

Но ничего не произошло. Чье-то лицо глянуло из зарешеченного оконца и тотчас исчезло; в помещении караулки слышался стук костей — стража явно не была заинтересована прерывать азартное занятие ради какого-то бедняка.

"Похоже, я попал в мирное время", — решил Берг.

Человеку запрещалось бывать в прошлом, но ничто не мешало посылать туда для съемок и наблюдений замаскированные под облака хроновизоры. Правда, в силу принципа неопределенности их приходилось запускать, в общем-то, наобум. Когда речь шла об углублении в прошлое всего на несколько лет, разброс еще не всегда давал разительные отклонения, но чуть далее он приводил уже к совершенно непредсказуемым результатам. Никакими способами нельзя было вывести автомат, допустим, на поле битвы при Кресси. Можно было, конечно, сфокусировать аппарат точно на время, когда произошло сражение, но в этом случае аппарат оказывался, где угодно, но только не над деревушкой Кресси. Можно было, наоборот, вывести автомат точно к месту битвы, но тогда никто не мог предсказать, за сколько веков или тысячелетий от даты события он там очутится.

Впрочем, это не имело решающего значения, так как историку интересна любая эпоха. Чаще всего автоматы выводились в заданную точку пространства, из-за чего временная последовательность наблюдений оказывалась весьма прерывистой. Но лучше иметь что-то, чем ничего. Все шло хорошо, пока не случилась эта авария. Аппарат типа "кучевое облако" не отреагировал на команду возвращения. Ничего страшного, аппарат настроили на сближение с грозовой тучей, где к беспрестанному мелканию молний вскоре прибавилась еще одна вспышка. Но на этот раз и подрывное устройство сработало плохо. Уцелел, хотя и вышел из строя, кристаллический блок нелинейного антигравитатора. В довершение бед случилось это неподалеку от города.

Итак, изделие двадцать первого века очутилось в одиннадцатом и, вполне возможно, попало в руки людей. Разумеется, оплавленный "камень" не должен был вызвать никаких подозрений. Но кристалл мог не исчезнуть в войнах, пожарах и смутах, а скользнуть в двадцатый век, где его искусственная природа была бы, конечно, разгадана. Преждевременное открытие, грозное, опасное, меняющее ход истории, — этого еще не хватало!

Вид тесных городских улиц не произвел на Берга особого впечатления — он хорошо изучил их облик. Зато вонь... Пахло отбросами, лошадиным навозом и кое-чем похуже. "Медленней, — приказал себе Берг. — Тысячелетие назад походка людей была не столь размашистой". Высоко задирая рясу, через лужу перебрался священник. Опять взвыла кинувшаяся было под ноги Берга собака. "Чтоб тебя!" — в сердцах подумал он. Сумерки сгустились, но его появление не прошло незамеченным: на него то и дело оглядывались редкие здесь прохожие. Ни по какой особой причине: просто город был слишком тесным и замкнутым мирком. Соседний Цорн — это уже другое царство—государство, а какой-нибудь Брабант и вовсе близок к краю света. Путник из дальних мест здесь мелкое, но все же событие. Пустяки! Неважно, будут пересуды о нем или нет, если след, который он оставит, окажется неотличимым от множества других. Даже если это след похитителя.

Лишь бы добиться успеха. Но надежды на успех было мало. В сущности, все зависело от чистого везения. Ему и так уже повезло, что с первого раза он вышел в более или менее подходящую эпоху. Подходящую? Если сейчас лишь начало одиннадцатого века, то ему надо поворачивать назад антигравитатора здесь еще нет и в помине. Сколько же тогда потребуется новых попыток? Две, три, десять, а возможно, и тысяча, чтобы попасть хотя бы в двенадцатый век, — ведь принцип неопределенности превращал все это занятие в лотерею, где нужный билет терялся среди сотен пустых (еще хорошо, что путешествие в прошлое было возможно лишь

на расстояние первых десятков тысяч лет). Но и точное — в пределах века — попадание не гарантировало успеха. Если антигравитатора не окажется в городе, допустим, в двенадцатом веке, это может означать и то, что, падая после аварии, он канул в какое-нибудь болото, и то, что антигравитатор нашли, но продали какому-нибудь заезжему торговцу редкостями. Вот тогда поиск становился задачей, какая и не снилась детективам, — попробуй выяви, где, в какой точке средневековой Европы оказался искомый предмет!

Невольно Берг улыбнулся. Его отобрали не потому, что он был лучшим специалистом или особо находчивым человеком. Его отобрали потому, что он, как это ни странно, был особо везучим человеком. У большинства людей удачи равномерно чередуются с неудачами. Но есть удивительные исключения. Одни притягивают к себе беды, как высокое дерево притягивает молнии, другие, наоборот, обладают как бы свойством отталкивания — обстоятельство, известное с незапамятных времен, но так и не разгаданное. Пока что его репутация удачника оправдывалась.

Судя по одежде прохожих, сейчас был либо конец двенадцатого, либо начало тринадцатого века. Это следовало уточнить, и Берг первым делом свернул к соборной площади. Если перед собором стоят статуи святых, значит, уже наступил тринадцатый век. Если нет...

Статуи были, они еще не успели как следует потемнеть. Значит, с того момента, как антигравитатор упал с неба, и до того момента, когда он, Берг, очутился в прошлом, минуло лет полтораста. Срок, сильно затруднявший успешный поиск. И все-таки это было поразительно удачное попадание!

Берг стоял на виду у всей площади. Он оглянулся. Вокруг все выглядело мрачно. Темные, стиснутые фасады, конское ржание на соседней улице, слитые с сумраком фигуры прохожих, чужая речь и одежда наполнили его тоской. Молчаливая группа горожан пересекала площадь. Они должны были пройти мимо Берга, и тот внезапно понял, что сейчас

не выдержит самой безобидной встречи лицом к лицу. Стараясь не привлекать внимания, он скользнул в распахнутую дверь храма.

Внутри оказалось чисто, торжественно, почти светло. По понятиям этого века, ослепительно светло, хотя в эпоху электричества храм выглядел бы сумрачной пещерой. Однако Берг уже немного проникся средневековьем и ощутил контраст церковного убранства с тем, что находилось вне этих стен. Распространяя сияние, теплели свечи. Рокотал орган, в зыбкой полутьме сводов мерцало золото, оттуда, как бы паря, глядели отрешенные лики святых. И чем дольше вглядывался Берг, тем спокойней и вместе с тем непонятней становилось на душе. Он попробовал иронически улыбнуться, но ирония не удалась. Мерное движение голов молящихся, колыхание свечей, плывущие звуки, темное, казалось, забытое. Гипноз ритма, цвета, звука, только и всего! Нет, не только. Берг мог выделить, понять, проанализировать каждую слагаемую этого воздействия, но все вместе составляло нечто большее, чем гипноз. Здесь, сейчас, в глухом средневековье, все это было отдушиной. Здесь люди испытывали иллюзию единства с собой, с другими, с тем тайным, что, казалось, присутствовало в храме, что наблюдало и берегло, карало и сулило, просветляло и подавляло, возвышало и смиряло. Совсем иной, тревожно—волнующий настрой эмоций, отчасти понятный, но отталкивающий духовный мир.

Помедлив, Берг выбрался наружу. Тотчас его пробрал зябкий ветер. Запахнув плащ, Берг повернул за угол и едва не столкнулся с растерзанным, в лохмотьях, человеком, который едва держался на ногах, — то ли был пьян, то ли болен.

— Эй, послушай...

Берг не оглянулся, хотя что-то рванулось в нем помочь несчастному. Но воспитанное, как рефлекс, соучастие было здесь неуместным, даже опасным.

— Эй, послушай, эй, послушай... — человек бубнил монотонно, как бы говоря со стеной.

Должно быть, просто нищий.

Куда идти? Это не имело значения. Содержимое сумки, пояса, сама одежда, медное кольцо на пальце только внешне воспроизводили облик предметов далекого прошлого. Кто бы отнесся с подозрением к обычному кремешку? Или листочку слюды? Кремешок, однако, был инфракрасным фонариком, а слюда позволяла видеть этот незримый свет. Кольцо, однако, играло куда более важную роль. Оно служило прибором, который определял местонахождение антигравитатора. Сейчас оно было холодным. В стометровом радиусе от антигравитатора оно должно было потеплеть. Совсем как в детской игре: "Холодно, холодно... Теплей, горячо!"

Оружия не было. Никакого. По всем расчетам, ни один его поступок даже в самой неожиданной ситуации не мог вызвать искажения истории. Кроме... Яви он чудо, оно не вызвало бы сильного резонанса в эпоху, когда все верили в чудеса. Любое колебание нити затухает со временем, и опасен только обрыв. Таким влекущим непредвиденные последствия обрывом могло быть невольное, с целью самообороны убийство. Все же следовало быть осторожным и в мелочах, потому что теории теориями, а кто их проверял опытом? Кто рискнул бы проверить?

Ветер явно разгонял облака. На несколько минут успела просветлеть полоска заката, но отблеск так и не смог пробиться в теснины улочек, где дома жались друг к другу, как овцы в непогоду.

Становилось холодно. Машинально Берг хотел сунуть озябшие руки в карманы и удивился, не обнаружив их. Так, еще один мелкий промах! Ослабив контроль, он сделал жест, который не мог сделать человек тринадцатого века по той простой причине, что тогда не было карманов!

Внезапно палец ощутил тепло. Берг застыл не веря. Вот так, сразу? Он заметался по кривым улочкам, пугаясь

всякий раз, когда кольцо холодело. Но мало-помалу он успокоился и стал сужать круги до тех пор, пока не стало ясно, что от антигравитатора его отделяют стены одного из домов.

В двух крохотных оконцах выступающего над улицей второго этажа горел тусклый огонек — в доме еще не легли. Это не имело значения. В сущности, теперь уже ничто не имело значения. Тихая радость удовлетворения охватила Берга. Теперь все, теперь конец. Милым был этот город, его черепичные крыши, эта добродушная старина, все, все! Берг запомнил дом, подходы, осмотрел дверь. Спать здесь ложатся рано, а провести часок в кабачке, понаблюдать жизнь и приятно, и полезно. Потом он вернется, "как тать в нощи", сделает что надо, и прощай средневековье! Тенью пришел, тенью уйдет, лишь собаки заподозрили неладное. Врач в двадцать первом веке критически осмотрит его запачканные сапоги, забрызганный плащ и скажет: "А ты, брат, очень, очень... Небось и чуму приволок?"

Скорей бы...

Кабачок отыскался неподалеку. К удивлению Берга, никто не обратил на него внимания. Все сгрудились вокруг скамьи, на которой, багровея от смущения, сидел вислоухий парень в новых кожаных штанах. Под скамьей почему-то была лужа. Взлетали кружки, сыпались непонятные Бергу остроты; было душно, смрадно, со свода огромного очага хлопьями свисала сажа; жар углей пробегал по разгоряченным лицам, красновато поблескивая на потных щеках, западал в хохочущие рты.

Никто не взглянул на Берга, когда он пристроился в углу. Только хозяин, сгорбленный, с перебитым носом мужчина лет сорока, вынырнув из толпы, осведомился, чего тот желает.

— Ужин, — коротко сказал Берг.

— Издалека? — уловив акцент, спросил хозяин.

— Из Брабанта.

— Ну что ж, ну что ж...

Кабатчик отошел, мелко кланяясь. Берг проводил его недоуменным взглядом и тут же забыл, потому что смех и разговоры неожиданно стихли.

Просвет между спинами позволял видеть, что делается в круге. К юноше на скамейке чинно приблизился толстяк с тройным подбородком. Он тронул его за плечо, и тот вздрогнул, как от разряда тока. По рядам прошло движение.

Юноша привстал, и, к изумлению Берга, с ним вместе приподнялась скамейка. Разгибаясь, юноша тихонько поворачивался, и скамейка поворачивалась следом, пока все не увидели, что она крепко висит на штанах. Грянул восторженный рев.



Бергу все стало ясно. Как он сразу не догадался, что это посвящение в пивовары! Кандидат должен сварить пиво, вылить кружку на чисто обструганную скамью, сесть в новых кожаных штанах, и штаны приклеятся, если пиво доброе. Так, значит, одним мастером в городе стало больше.

Было что-то непосредственное, детское в последовавшем веселье. Жуя невыносимо жесткое мясо (это тебе не синтепища!), Берг ощутил нечто вроде зависти. Пожалуй, он бы не смог хохотать так раскатисто, награждать парня тумаками, опрокидывать в рот реки вина и пива, перемалывать кусищи мяса, рыгать, стучать сапогами, бесхитростно отдаваясь настроению минуты. Подозвав хозяина, он расплатился и вышел.

Небо заметно очистилось от туч. Полоска над ломаными линиями крыш молочно светлела в том месте, где находилась луна. Внизу, однако, стояла совершенная темень. Но не успел Берг сделать и десяти шагов, как впереди мелькнул огонь факелов.

Берг оглянулся. Сзади, приближаясь, тоже колыхался свет. В его отблеске сверкало оружие. Ночная стража!

Ну и что?

Колыхающийся свет выхватил заросшие лица, шумно, как после бега, дышащие рты, сталь лезвий и шлемов. Берг, уступая дорогу, прижался к стене. И тут ему в грудь уперлось сразу несколько копий.

— Держи нож к глотке, к глотке! — раздался чей-то радостно-исступленный вопль, и медвежья масса тел навалилась на Берга.

— За что? — выкрикнул он полузадушенно. — Я из Брабанта, я...

Ответом был язвительный хохот.

— Вяжи крепче! Думаешь, раз переоделся, тебя и узнать нельзя, Берг?

Берг?!

Его поволокли, ругаясь, пиная, дыша чесноком и перегаром.

Помещение, куда его наконец впихнули, было низким, сводчатым. Каменную наготу стен прикрывали два-три плохо различимых гобелена. Слева от пылающего очага возвышался коптящий трехсвечник, справа возле столика находилось кресло, в котором сидел белоголовый в епископском облачении старик, такой сухой и сморщенный, что массивный крест, казалось, продавливал ему грудь. Старик медленно повернул голову. Стало слышно, как потрескивают факелы стражи.

— Ближе, подведите ближе, — голос епископа прошелестел, как тронутая ветром бумага.

— Я не тот, за кого вы меня принимаете, — громко сказал Берг. — Это ошибка, я никогда не был в вашем городе, я...

— Знаю! — старческая рука легонько стукнула по подлокотнику. — Знаю, что ты дерзок в обмане... Нагл, дерзок и богохулен. Надеялся, я поверю слуху о твоей смерти? Бухнуться бы тебе сейчас на колени, молить... Казнь не радость, осознаешь?

Епископ подался вперед. Шея у него вытянулась, как у ощипанного гуся. Сзади насморочно сопел кто-то из стражи.

Сам не ожидая того, Берг фыркнул. Рот епископа приоткрылся. Дернулись созданные факелом тени, и все застыло в ошарашенном молчании. Дикость, паноптикум, к которому он не имел, не мог иметь никакого отношения. Он продолжал улыбаться.

— Качалку! — голова епископа затряслась. — Завтра же!

— А как с ней? — поспешно спросил чей-то голос из-за спины. — Тоже?

— И ее! Раньше! У него на глазах, у тебя на глазах, Берг! Еще не дрожишь? На ме-е-едленном огне будет жариться вместе со щенком, зачатым в преступной связи... Подумай о раскаянии, подумай!

Епископ упал в кресло. Он был бы похож на труп, если бы не его горящие глаза. Берг презрительно пожал плечами.

Его отвели в камеру и там заковали. Лязгнул засов, стих топот на лестнице.



Некоторое время Берг лежал неподвижно. То, что он оказался двойником какого-то здешнего Берга, было, конечно, поразительным совпадением, но сейчас не имело смысла

обсуждать теорию вероятностей. Возможно, это тот самый Берг, чью могилу... Неважно! Неизвестный ему Берг тринадцатого века натворил что—то серьезное, враги подстроили ему ловушку, а попался в нее человек двадцать первого столетия. Вот ситуация! А донес, похоже, кабатчик... Тоже несущественно. Чем ему там грозили? Ах да, качалкой...

Берга передернуло от отвращения и гнева. Осужденного привязывают к концу балансира и то окунают в костер, то приподнимают, давая передохнуть, — вот это и есть качалка. Медленное поджаривание человека.

Сволочи, тупые садисты, мразь! Ну он им покажет... Ну они еще попрыгают у него, махая рясами... Не та муха залетела к ним в паутину. Интересно посмотреть, какие рожи будут у них завтра...

Луна все чаще выглядывала из облаков, чертя на полу продолговатую тень решетки. Берг позвенел цепями и торжествующе улыбнулся. Глупые толстые цепи из скверного металла, наивная решетка в широком проеме — эти тюремщики даже не подозревают, что такое человек двадцать первого века и что он может.

— Мне этот отель не нравится, — с вызовом сказал Берг. — Сыро, холодно... И вообще. Так, для пополнения образования разве что...

Он лег, закрыл глаза. Тренированное тело само знало, что ему делать. Темная волна накрыла сознание. Теперь все клетки мозга и тела подчинялись единому ритму, страшному ритму настроя всех сил организма.

Берг рванулся. С треском лопнули цепи.

— Вот так, — сказал Берг.

То, что раньше в момент безумного напряжения случайно удавалось одному из миллионов, было уже давно познано, и каждый человек новой эпохи умел возбуждать в себе тот скрытый резерв энергии, который стократно раздвигал пределы "нормальных" физических возможностей.

Берг переждал неминуемую после рывка слабость, поднялся, стряхнул остатки цепей и тем же усилием выворотил решетку.

Теперь отдых потребовал уже не менее получаса. Ворвись сюда привлеченная шумом внешняя стража, Берг не смог бы оказать ей сопротивление, тем более что против копий, мечей и прочих режущих предметов у него не было защиты. Никто, однако, не караулил ни под окном, ни за дверью — к чему, если цепи массивны, а решетка надежна?

Его камера находилась в башне. Неровная, сложенная из валунов стена обещала легкий спуск. Берг дождался, пока скроется луна, и вылез в окно.

Он спускался спокойно, уверенно, как подобает альпинисту. Ни сейчас, ни раньше он не принадлежал чужому времени с его нелепыми законами и случайностями. Мгновения испуга, когда он оторопел от неожиданности и ощутил себя в ловушке, прошли, и сейчас после взлома он снова был человеком своей эпохи, гордым, независимым и могущественным.

Прямо под собой Берг обнаружил окно нижней камеры. Пришлось взять немного в сторону. Его голова была уже на уровне прутьев, когда из-под ноги посыпались камешки. Берг замер, вцепившись в решетку, и тут, как назло, засияла луна.

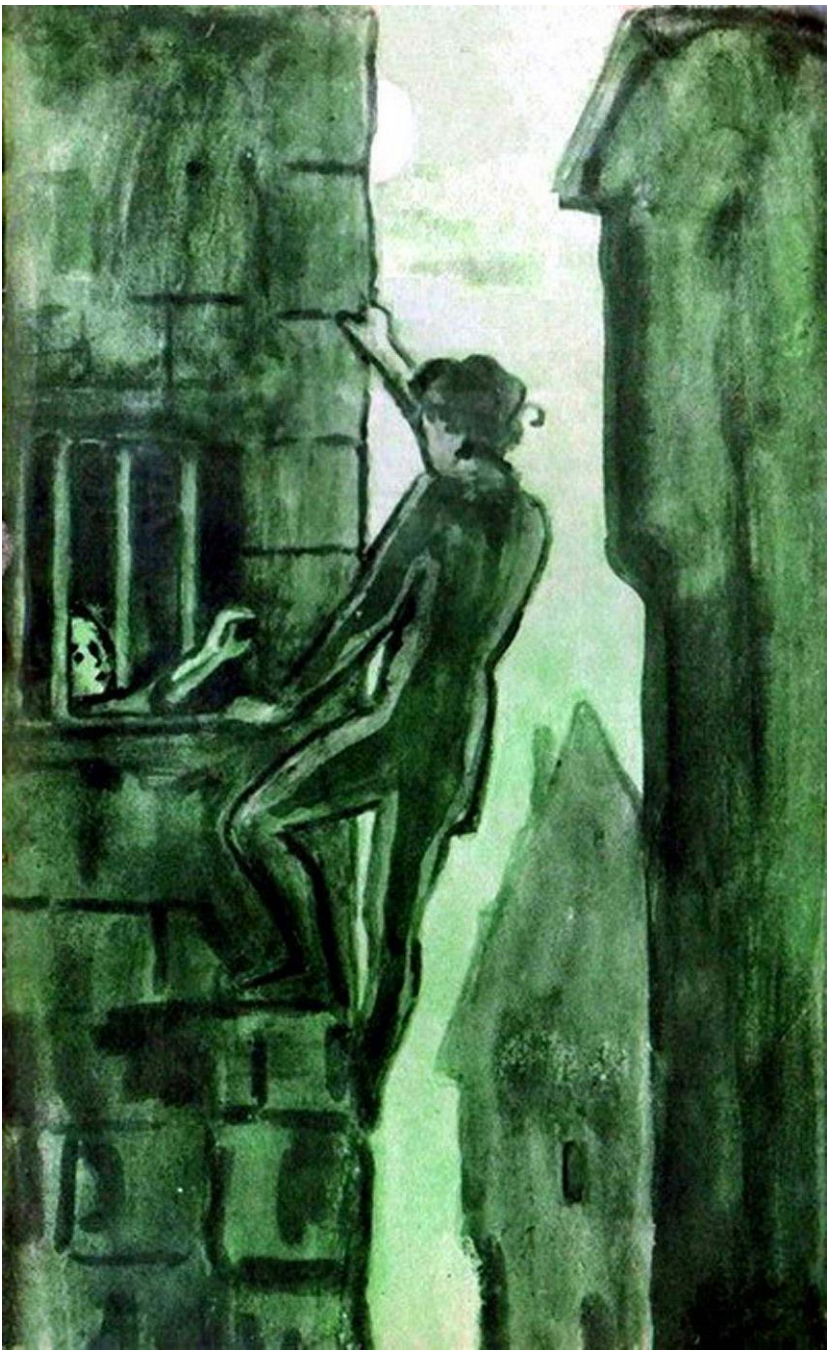
В ее меловом свете за решеткой метнулась чья-то тень. Дрожащие пальцы схватили руку Берга.

— Ты пришел, пришел, я знала, я верила, милый, милый...

Берг едва не закричал от ужаса. Перед глазами неясно белело сияющее лицо женщины, почти девочки. Она тянулась к нему сквозь решетку, и всхлипывала, и улыбалась, и такое было в ее шепоте счастье, что сердце Берга оборвалось.

Так вот она, невеста того, другого Берга, приманка, жертва, девушка, которую должны утром сжечь!

— Самый лучший, самый отважный, самый любимый, мой, мой Берг... Спаси, скорей спаси нашего ребенка!



— Нашего?! Ребенка?! Ну да, конечно... — Берг почувствовал себя летящим в пропасть. Он был обязан ее оттолкнуть, чтобы не изменилась история.

Девушка целовала его руку.

— Тихо, — сказал Берг.

Он рванул на себя прут решетки. Прутья не были скреплены поперечинами и легко вынимались из гнезд. Он вытянул ее в проем. На ней была одежда монахини. "Вот оно что..." — тупо подумал Берг. Он был холоден, как автомат. Выбрал место внизу, прицелился, спрыгнул, расставил руки, принял ее в объятия.

— Наш маленький бурно начинает свою жизнь, — сказала она, едва отдышавшись.

— Идем, — сказал Берг.

Они растворились в темноте спящих улиц.

Теперь у Берга было время подумать, но думать он не мог. Да и к чему? Эта девочка и ее ребенок должны были умереть на костре, а теперь не умрут; их потомки будут жить во всех веках, чего прежде не было.

Ему хотелось убить ее и себя.

Они достигли городской стены. К ней косо подходил глухой фасад, между фасадом и стеной был залитый мраком пустырь.

— Побудь здесь, — приказал Берг.

Он ждал удивления, жалоб, испуга, но она только кивнула, хотя он чувствовал, как она дрожит.

— Я постараюсь не бояться... — сказала она.

— Я скоро вернусь, — пробормотал Берг.

Сам не зная почему, он сжал ее руку. Она на мгновение прильнула к нему и тут же отстранилась.

— Тебе надо, иди. Ты мне сказал тогда, что все будет хорошо, и я ничего не должна бояться. И я не боюсь. Но... у нас все-все станет по-прежнему, когда ты вернешься?

— Да, да...

Что будет по-прежнему?! Берг не очень даже осознавал, куда и зачем бежит. Но что—то вело его с точностью

автопилота, и он очнулся, когда тепло кольца охватило палец. Дом нависал над ним, как скала. К Бергу вернулось самообладание. Он ощупью нашарил замочную скважину. Сумку отобрали при аресте, но пряжка пояса дублировала инструмент. Немного повозившись, он отпер дверь, наподобие монокля приладил листок слюды. Тепло ладони оживило "кремневый" фонарик. Прихожая, дверь, лестница... Берг повел рукой в воздухе, и кольцо указало на лестницу. Ветхие ступени не внушали доверия, и он разулся. Он не волновался, будто всю жизнь обшаривал квартиры средневековых горожан. Лестница вывела в коридор. Дом наполняли запахи тепла, печного дыма, трухлявого дерева. Тихо было, как в омуте, лишь где-то скреблась мышь...

За скрипнувшей дверью открылась комната, похожая на музей. Полки с фолиантами, чучела зверей и птиц, песочные часы, окаменелости, кусочки воска, черепки, чаши, рулоны пергамента — все вперемежку лежало, стояло, висело, было раскидано на столах. Луч скользил, пока не уперся в закопченное чело горна. Берг едва не чихнул от поднявшейся пыли. Под горном среди тиглей и щипцов он нашел оплавленный до бесформенности кристалл антигравитатора. Его явно пробовали кислотами. Ну конечно! Он слишком тяжел, подозрительно тяжел для своего размера. Берг сунул его за пазуху, спустился, обулся, вышел и запер дверь. Самое трудное в его миссии на деле оказалось самым легким.

Теперь он мог рассуждать хладнокровно. Кто ему, в конце концов, эта девушка? Что заставило его ввязаться в дело, которое его не касалось? Сострадание? Да, конечно. Но разве мало их умирало на кострах до и после? Их судьба возбуждала жалость, но то была абстрактная, до холода рассудочная жалость. И об этой девушке он не думал, пока ее не увидел, хотя и знал, что она есть. Что же ему мешает теперь?

Логично рассуждая, ее нет вовсе, как нет самого этого века, который давно истлел со всеми своими надеждами и печалями. А есть будущее. Тот век, откуда он пришел и который может теперь пострадать из-за его поступка.

Но сейчас, в эту минуту, на этой темной улице будущее тоже всего лишь абстракция! И не абстракция эта доверчивая девушка, которую он, все взвесив и логично рассудив, должен предать.

Берг зажмурился и с минуту стоял так, мыча от боли и бессилия. Да кто же виноват, что желание спасти и защитить сработало в нем как рефлекс?! Само воспитавшее его общество.

Жалкая уловка.

Но почему жалкая? Почему уловка?

Когда мысль, желая точно наметить трассу будущего морального поступка, слишком пристально сосредоточивается на противоречивых понятиях, сами эти понятия начинают терять ясность, ибо любое понятие также неисчерпаемо и темно в своих глубинах, как и породившая его жизненная реальность. И мысль теряется, решение ускользает, все кажется запутанным и неверным. Так размышления порой губят решимость.

Берг с силой тряхнул головой. Тяжесть антигравитатора напомнила о его первейшем долге.

Нельзя одновременно определить скорость электрона и его положение в пространстве. Нельзя попасть и в заданный момент времени, и в заданную точку пространства. Но в жизни тоже неизбежен выбор, и достижение одного влечет отказ от чего-то другого. Не значит ли это, что в глубинах морали скрыт тот же принцип, что и в глубинах природы?

Все возмутилось в Берге при этой мысли. Почему, почему история из-за его поступка должна измениться к худшему? Откуда это следует? Если поступок правилен и хорош, то должно быть наоборот, ибо как быть тогда в настоящем без уверенности, что добро, сделанное тобой сегодня, улучшит завтрашний день? Как можно жить и делать что—то без такой уверенности? Как можно без этого строить будущее? А если так...

— Вот я и вернулся, — сказал Берг.

Она бросилась к нему с подавленным вскриком. Он придержал ее за плечи.

— Времени у нас мало. Вспомни, не осталось ли тут дома, где ты... где мы могли бы переждать? ("Где я мог бы тебя оставить ждать настоящего Берга. Если он жив...")

— Ты же знаешь, что нет! ("Все, не вышел компромисс...") Ты... ты изменился, милый... ("Ну еще бы! Странно, что любящее сердце сразу не заметило подмены...") Я что-то сделала не так? Не то сказала?

— Нет, нет!

— Тогда... Я не совсем понимала, когда ты говорил, что наша любовь особенная, какой не было и не будет, но сейчас, сейчас... Ты даже не поцеловал меня!

Он повиновался. И, целуя, понял, что хочет целовать ее всегда, всю жизнь, что она близка ему, вопреки всему близка с первой минуты, а все прочее обман, которым он пытался заслониться от поражающей, как молния, любви, в которую он не верил и которая настигла его.

И в озаряющей радости он внезапно увидел выход, настолько простой, что поразительно, как это он не заметил его сразу. Хроноскаф увезет двоих! Девушка должна была умереть в прошлом, она и умрет, для прошлого, чтобы жить в будущем.

А тот, другой Берг? К черту другого, если он не смог ее спасти!

Он рассмеялся.

— Ты что, милый?

— Ничего. Все верно: наша любовь особенная, какой не было и не будет. Мы спасены, если ты сможешь всю ночь идти пешком.

— Разве нам впервые?

— Но...

— Маленький — умница. Он мне совсем не мешает; видишь — его даже незаметно. Я пройду столько, сколько нужно, когда ты рядом.

Бергу передалась ее убежденность. Он размотал сплетенный из тонких жил пояс, закинул петлю за выступ стены, подложил, чтобы не резало, плащ, обвязал девушку, и через полчаса они были на свободе.

Берг широко дышал воздухом леса, который уже не казался ему чужим; закутанная в плащ девушка шла рядом, он поддерживал ее, чувствуя тепло плеч и испытывая головокружительную нежность. Серебро и чернь узорчатых теней листвы словно плыли сквозь него. Или, наоборот, он плыл по расстилавшемуся невесомому ковру.

В мелькавшем свете луны он хорошо видел ее лицо, но так и не мог сказать, красива ли она. Какое это имеет значение? Никакого. Как и ее прошлое, как тот мирок, откуда он ее вырвал. Он даже знал, как она воспримет будущее. Как сказку, рай, куда ее привел любимый. Она примет этот мир с той же доверчивой непосредственностью и стойкостью, с какой она приняла свою судьбу, но скорей всего будет нелегко убедить ее, что они живы, а не вознеслись на небо. Почему все должно быть так, а не иначе, он не знал, но был убежден, что все так и будет.

Усталость навалилась внезапно. Ни с того ни с сего Берг почувствовал, что скользящие тени мешают идти, что они захлестывают ноги, как петли силка. Он раза два споткнулся. Это испугало его. Изнеможение должно было прийти после всех испытаний ночи, он держался только на нервном напряжении, но неужели он свалится на полдороге?

Усилием воли ему удалось избавиться от ощущения захлестывающих петель. Зато ноги стали как бы обособляться от тела, он их уже почти не чувствовал. Зато стал оттягивать руки антигравитатор. Он весил уже не килограммы, а тонны! Все, кроме ног, стало тяжелей: голова, руки, тело девушки, когда оно к нему приваливалось, и это дало спутанным мыслям Берга непредвиденный толчок, который заставил его похолодеть.

— Сколько ты весишь? — спросил он.

— Я? Я... я не понимаю...

— Извини... Это я так, ничего...

Конечно, она не знала, а скорей всего, и не понимала, о чем ее спрашивают. Нелепо предполагать, что в тринадцатом веке девушки взвешиваются на медицинских весах, и Берг устыдился своего вопроса. Свой вес он знал точно, ее определил, когда, спускаясь со стены, брал на руки, и тогда у него не было и тени сомнения, что мощности хроноскафа хватит на двоих. "Без паники, — сказал себе Берг. — Только этого еще не хватало!"

— Сядем, — сказал он, хотя намеченное им время привала еще не наступило.

Они сели, и по тому, как она медленно опускалась на разостланный плащ, как неподвижно смотрели ее глаза, он понял, что вся ее выдержка была напускной, что она безмерно устала, устала куда больше, чем он, и что она скорей умрет, чем сознается в этом. Берг едва не застонал и внезапно почувствовал долгожданный прилив сил, верней ярость, которая заменяла силу.

— Идем, — сказал он, понимая, что долгий отдых будет только хуже, что в одиночку никто из них не дойдет, а вместе они все-таки дойдут, потому что каждый черпает силы в другом.

Они пошли, молча понимая друг друга, и ночь для них длилась бесконечно, потому что они бесконечно напрягали свои силы. Но рассвет все-таки наступил. Рассвет обещал солнце, и Берг ободрился, мелькнула даже мысль, что, когда-нибудь он будет вспоминать эту ночь как счастье.

Они поднялись на пригорок, где дуб ронял все так же плавно скользящие листья. Берг отчего-то подумал, что дуб, пожалуй, может прожить все разделяющие столетия, и пожелал ему уцелеть до тех времен, когда они снова придут под его уже старческую крону.

Трава была серой от обильной росы. Оставалось уже немного до того места, где находился замаскированный под глыбу валуна хроноскаф. Они дошли до опушки, и Берг

решил сделать последний привал. Она опустилась на землю, и ему показалось, что в ее теле совсем не осталось жизни после тюрьмы, страха и бегства, что сознание ее спит и она уже ничего не ощущает. Но это было не так. Она шевельнулась, ее глаза взглянули на Берга и увидели в нем что-то такое, отчего она сделала движение выпрямиться и убрать разметавшиеся волосы. И это упрямое, через силу движение открыло Бергу ее не такой, какой она была сейчас, — измученной, с черными тенями на лице, в тусклом монашеском одеянии, а такой, какой она была на самом деле; он вдруг увидел ее танцующей в белом платье. Он даже вздрогнул, настолько реальным было видение гибкой, порывистой, как огонек на ветру, девушки в белом. Счастливой, ничего не боящейся девушки двадцать первого века. "Ну что ж, — подумал он, чувствуя, как у него перехватило дыхание. — Ну что ж... Разве так уж велика пропасть между нашими временами?"

Какой—то отдаленный, гулко и дробно разносящийся в рассветной тишине звук вывел его из задумчивости. Он прислушался, и все в нем болезненно сжалось — то был стук копыт. Она его тоже услышала, и по тому, как она напряглась, как еще сильней побелело ее лицо, он понял, что и она догадалась о значении этого звука.

Он схватил ее, и они побежали, но у нее уже не было сил бежать.

— Я не могу быстрей... Спасайся...

Он подхватил ее на руки, нисколько не удивляясь тому, что в состоянии это сделать.

На взгорке он обернулся. Всадников было человек десять, они находились еще километрах в полутора. Впереди мчались собаки.

Еще можно было успеть. Он бежал, ничего не чувствуя, кроме режущей боли в легких, и ничего не видя, кроме мелькающих темных полос, и все в нем сосредоточилось на том, чтобы разглядеть среди этих мельканий приметный куст, бугорок, камень.

Все же в нем шевельнулась горделивая мысль о том, что они, люди двадцать первого века, все—таки могут невозможное и без техники.

Он едва узнал поляну, где оставил хроноскаф. Топот приближался, но всадников еще не было видно. Дыхание, казалось, уже разорвало легкие. Тело девушки он больше не чувствовал, верней, чувствовал, как свое — огромное, непосильное, не повинующееся ему тело.

"Глыба" раскрылась, едва Берг к ней прикоснулся. Лай собак уже ворвался на поляну, их оскаленные морды мелькали среди кустов.



Берг втиснул девушку на сиденье — пришлось разорвать ее сомкнувшиеся на шее руки, — влез сам. Захлопнувшийся люк отрезал собачий лай. Берг надавил кнопку возврата.

Двигатель загудел — и смолк. Не соображая, что он делает, Берг рванул рукоять обратного хода. Хроноскаф дернулся... И стал.

Лишним был тот вес антигравитатора, который Берг не учел!

Все, что произошло потом, сделал словно не он, а кто—то другой. Берг швырнул антигравитатор девушке на колени. Кажется, она хотела, что-то сказать... Или крикнуть... Он включил автоматику возвращения в XXI век, нажал пусковую кнопку и вывалился, захлопнув люк. Падая, он успел увидеть тающий корпус хроноскафа.

Некоторое время он лежал, вжавшись лицом в землю и недоумевая, почему медлят собаки. В ушах гулко шумела кровь, очевидно, из-за этого он и не слышал лая.

Нет, не из-за этого. Он медленно приоткрыл глаза. Что... что такое?! Ярко светило полуденное солнце, пели птицы, вокруг была весна, а не осень.

Вот оно что! Он встал, пошатываясь, как пьяный. Сознание привычно восстановило последовательность событий. Пытаясь стронуть хроноскаф, еще тогда, когда они были вдвоем, он машинально дал ему задний ход. И тут аппарат на мгновение сработал, унес их по оси времени назад. А это означало...

А это означало, что никакого другого Берга в тринадцатом веке не было. Был он сам. Рывок хроноскафа был слишком ничтожен, чтобы унести его в неопределенно далекое время прошлого, и он очутился в годах, предшествующих его появлению здесь.

Берг с тоской оглядел сияющий мир, который теперь стал его миром. Он вернул антигравитатор, он спас девушку, не нарушив при этом хода истории, но погубил себя. Бессмысленно надеяться, что кому-то удастся вывести хроноскаф в ту точку пространства и тот момент времени, где он

находится. Нет... Свое будущее он, увы, знает наперед. Остаток жизни он обречен провести в тринадцатом веке, этот век станет его веком, он будет в нем жить, встретит девушку, которую полюбит (уже полюбил!), вызовет ненависть епископа и погибнет за несколько дней до того, как сам же ее и спасет. Обычная, из теории следующая петля времени, когда "после" предшествует "до". Еще и в помине нет той могилы, где он будет зарыт, но, скользнув из своего будущего в свое прошлое, он уже знает, как она выглядит на скромном деревенском кладбище.

Жить, похоже, осталось ему немного.

И все-таки ему повезло даже в невезении, потому что это будет достойная человека жизнь. Он вступит в бой и победит. Успеет полюбить и стать любимым. Успеет дать счастье тому, кто уже не мечтает о счастье. Успеет сделаться отцом. Не так уж мало для человека любой эпохи!

Неоном горели в ночном воздухе названия многочисленных отелей. Было тепло и тихо, но осень уже пробралась в этот уголок юга. Отражая свет фонарей, всюду лежали опавшие листья, отчего полутьму аллей наполнял мягкий отсвет, и какая-то запоздалая пара остановилась, чтобы полюбоваться им, глубже вдохнуть щемящий запах и услышать далекий шум моря.

— Гляди, лошадь! — встрепенулась девушка.

Бесшумно возникнув из темноты, асфальтовую дорожку неторопливо, можно сказать, задумчиво пересекала лошадь. Она была без седла, уздечки и шла, наклонив голову, в полосах света. Юноша и девушка замерли, так это было необычно и так соответствовало тишине ночи, когда спят машины и люди. Пожалуй, это было даже неправдоподобно — вот так, сама по себе гуляющая посреди международного курорта лошадь.

Лошадь не обратила на них никакого внимания. Не больше, во всяком случае, чем на фонари, пожелтелые деревья, неон в просвете ветвей или асфальт под ногами. Ей все тут было знакомо и привычно, поскольку изо дня в день, запряженная в фиакр, тщательно ухоженная, в сбруе с позументами, она возила тех, кого соблазняло медлительное, под цоканье копыт, катание в духе минувшего века. Кто бы мог подумать, когда коляски были повседневностью, что людям будущего они дадут неизведанные ощущения!

У оказавшейся на свободе лошади не было ни цели, ни особых желаний. Она брела, потому что идти было приятно, вот и все. Впрочем, лошадь слегка манили темные просторы виноградников, которые начинались сразу за чертой отелей; манили неизведанностью ночных запахов — их она, стоя в конюшне, обоняла множество раз, и они приносили с собой непонятное волнение.

Лошадь пересекла пустынное шоссе и очутилась на краю поля с прямолинейными рядами лоз. На мгновение, не более, в ее смирном сознании вспыхнуло желание шального бега, скока, необузданного прыжка все равно куда и зачем. Оно угасло, не успев окрепнуть и потому, что сказалась долгая выучка, и потому, что впереди лежала четкая и чуждая геометрия поля. Лошадь еще медлила какой-то срок, а затем побрела обратно. Она шла мимо отелей, где спали люди, мимо кортов, погасших казино, через перелески, где неслышно опадал лист, и строй ее чувств снова был так же ровен, как ее шаг.

Она вышла к мазанке с черепичной крышей, крыльцом, распахнутым сеновалом, одинокой телегой и колодцем во дворе. В действительности тут был ресторан: столики под широким платаном, запахи жареного мяса, молодого вина и всяческих деревенских приправ выдавали истинное назначение хижины. Сюда не достигал свет фонарей и отблеск неона.

Лошадь остановилась: за изгородью во дворе она почуяла какое-то движение, присутствие чего-то постороннего, по запаху — машинного.

Все, с чем лошадь сталкивалась в жизни, давно обрело свое место и значение. Прежде всего и важнее всего были такие же, как она сама, лошади. Затем шли люди, существа почти столь же важные, но не такие понятные и близкие. Особо существовали машины, то шумные, то тихие, иногда неподвижные, иногда стремительно бегущие; последние часто оказывались источником беспокойства, порой даже опасности. Все они оставались для лошади безликими, но значили больше, чем деревья, камни или птицы. Отчего все было так, как оно было, и делилось таким образом, — этот вопрос не мучил лошадь. Внешняя жизнь была данностью, к которой следовало приспособиться, — вот и все, ничего сложного.

Первым побуждением лошади, когда она обнаружила во дворе присутствие незнакомой движущейся машины, было

желание уйти. Оно, однако, сменилось другим, едва лошадь разобрала, что машина странно похожа на человека тем, что двунога и держится прямо. Возникло знакомое, острое и волнующее противоречие, когда одна часть сознания тревожно напоминала, что все непонятное таит в себе угрозу, а другая терзалась любопытством — что же это такое суетится во дворе? Конечно, лошади было невдомек, что это сработал древний, более древний, чем сами лошади, инстинкт эволюции, повелевающий опознать новое, даже если это сопряжено с риском, — ведь только так и можно приспособиться, следовательно, выжить в изменчивых условиях.

Машина во дворе тоже заметила лошадь и тоже замерла. Казалось, обоих, подобно току, соединил взаимный вопрос: кто ты?

На лошадь смотрело заведомо чуждое ей существо — экспериментальный робот—уборщик. Его присутствие там, где все имело вид старины, можно было счесть безвкусной шуткой или, наоборот, особым изыском. Дело, однако, обстояло проще. Уборка двора — занятие весьма трудоемкое и неблагодарное; значит, именно тут уместней всего подвергнуть экзамену устройство, которое призвано везде и всюду избавить человека от хлопотных забот. Действовало оно, чтобы не портить антураж, только ночью.

Путь техники вообще причудлив. Первые интеллектуальные автоматы чаще применялись в космосе, чем на Земле, в науке чаще, чем на производстве, то есть там, где вроде бы больше всего и прежде всего нужен человеческий ум. Но именно так протекала эволюция кибернетических автоматов, прежде чем удалось приспособить одного из них к работе, которая на первый взгляд не требовала никакого интеллекта. Но, как ни парадоксально, такая работа оказалась по силам лишь потомкам космических роботов, поскольку она была сопряжена с разносторонними действиями и самостоятельными оценками, ведь, чтобы поднять, скажем, окурок и оставить в покое лежащий рядом камешек, мало одной только, пусть самой сложной, программы поступков.

Тем более что иногда нужно поднять и камешек, если это, например, кусочек шлака, вовсе неуместный на сельском дворе.

Робот, глядя на лошадь, не испытывал никаких опасений, так как чувство страха в него не было вложено. Зато импульс, который человек называет любознательностью, был ему присущ, поскольку выполняемая им работа требовала навыков самообучения, а самообучение невозможно без любознательности. Если бы первой роботу встретилась кошка, то вопрос "А что это такое?" относился бы к кошке, ибо люди не посчитали нужным дать ему понятие о животных. Но так вышло, что первой он встретил лошадь. Возник же вопрос потому, что лошадь отличалась и от людей, и от предметов, от всего, с чем робот сталкивался и что привык считать само собой разумеющимся. Впрочем, это был не единственный и не главный толчок. Главным было то, что появление лошади поставило перед ним чисто профессиональную задачу: если "это" продолжит свое движение и очутится во дворе, то должен ли я его убрать, поскольку это не человек и не стол, или это будет ошибкой?

Смущало робота и другое. Конечно, "это" едва ли было человеком, но "это", как и человек, дышало. Значит... Робот никогда не сталкивался с четвероногими разновидностями человека, но каждый день сталкивался с разновидностями предметов. Так, может быть, и человек, подобно предмету, существует в разных обликах?

Он шагнул к лошади. Слишком резко! Лошадь шарахнулась и стала, готовая в любой миг умчаться.

Робот замер. Напряженно замерла и лошадь. Так, выжидая, они стояли некоторое время, одинаково бессловесные и непонимающие друг друга. Затем что-то подсказало роботу мягкий, как бы уводящий в сторону жест манипулятора, долгую паузу вслед за жестом и крохотный, неуверенный шажок к изгороди. Лошадь прянула ушами, но не двинулась с места.



Робот действовал не по наитию. У него был опыт общения с человеком.

Поведение робота успокоило лошадь, как если бы он подал ей тайный знак родства.

Но недоумение ее не рассеялось, случившееся только обострило интерес. Ни одна машина до сих пор не прибегала к человеческим жестам. Ни одна! И животные тоже. Так что же все-таки перед ней такое?

Свою роль сыграла изгородь. Всего-навсего три продольные жерди, но они были символическим барьером, который создавал ощущение безопасности. И лошадь позволила роботу приблизиться.

Теперь они стояли друг против друга — два темных силуэта в окружавшей их ночи. Казалось, оба оставались неподвижными, но так только казалось. Их взгляды то встречались, то расходились, уклонялись и скрещивались; ими они как бы ощупывали друг друга, Неважно, что один взгляд был взглядом живых глаз, а другой был взглядом электронно-оптического устройства (в конце концов, и глаз тоже своего рода электронно-оптическое устройство). В этом разговоре, самом древнем и универсальном из существующих на свете, участвовали не только глаза. Здесь скрывалось самое существенное препятствие, потому что в безмолвном разговоре принимало участие все тело лошади — от кончиков ушей до кончика хвоста, тогда как металлическое тело робота было не способно на это. Но его выручал навык тонкого распознавания образов и столь же необходимое в работе умение выявлять их смысл. Сам того не замечая, как в той же ситуации не замечают этого люди, робот подстраивался к лошади, молниеносно улавливая нужный ритм движения головы или перемены взгляда.

Ни с той, ни с другой стороны этот быстрый обмен не завершился осознанной мыслью, хотя бы потому, что мысль, как ее понимает человек, в нем отсутствовала. Но так же точно она отсутствует и в тех бесчисленных диалогах, которые ведет все живое, диалогах, в которых без всяких слов испокон века выяснялось очень многое между самыми разными и далекими видами. Иначе мир животных, вероятно, не мог бы существовать, как, впрочем, и человек не смог бы приручить ни лошадь, ни собаку (кстати, все такие животные были одомашнены на заре цивилизации, тогда как более поздние тысячелетия не привели к человеку ни одного нового существа факт, что-то да значащий).

Надсадно, как это бывает ночью, где-то взревел мотор. Лошадь тихо всхрапнула. Гибкий манипулятор робота, как бы успокаивая, плавно коснулся ее гривы. Дрожь прошла по телу лошади, но она не отпрянула — то был хозяйский, человеческий жест.

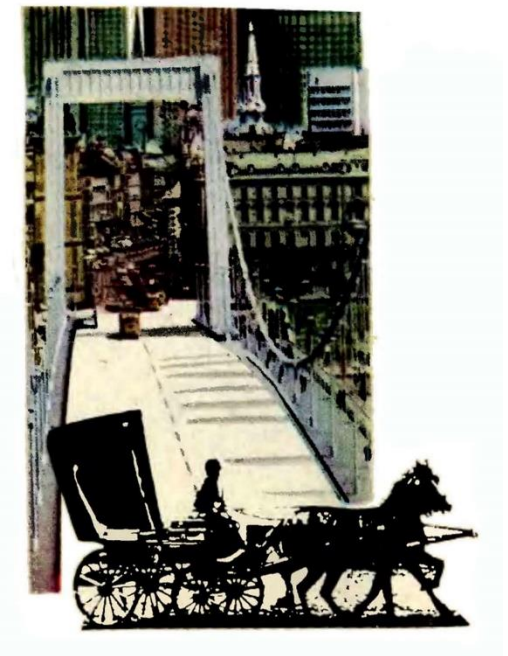
Мгновение спустя все изменилось. Лошадь тряхнула гривой и с шумом подалась в сторону. Манипулятор скользнул вниз. Казалось, что этим все кончилось, и оба сейчас разойдутся, но нет. Лошадь опустила голову, словно ища что—то в траве, затем отдалилась от изгороди и стала, кося на робота черным в темноте глазом.

Она не знала, зачем поступает так, но смысл в ее движении был. Робот не понял этого смысла, но, следуя уже приобретенному опыту, осторожно скользнул за изгородь.

Теперь их уже ничто не разделяло. Только пространство. И мускулы лошади напряглись, как тетива. Там, возле изгороди, она еще была домашним животным, которое выносит близость любого, пусть самого странного механизма, поскольку ни одна машина не в силах быстро одолеть барьер. Там она еще могла доверяться сродству робота с человеком, даже признать в нем качества хозяина. Но не здесь, ибо это существо не говорило как человек, не было им. Здесь, на открытом месте, ею владел инстинкт далеких предков, которые множество раз, готовые умчаться, вот так приглядывались в степи к диковинным существам, к тому, что они делают, как движутся, чем питаются, — ведь именно такое поведение чужака, наблюдаемое долго и с безопасного расстояния, надежней всего раскрывало его сущность.

Ничего этого робот не знал, но первая же попытка подойти, сразу увеличившая расстояние, наставила его на правильный путь.

Так они двинулись, каждый вроде бы сам по себе, скользнули тенями, скрылись среди деревьев, вынырнули под фонарями, и не было никого, кто нарушил бы их шествие, ахнул бы, увидя вместе лошадь и робота, осознал, что происходит.



Никем не потревоженные, они шли мимо зданий и огней, равнодушные ко всему, кроме самих себя, и медленно, очень медленно их шаги стали сближаться. Ведь даже сейчас, оставаясь незримым посредником, между ними шел человек.

Они совсем сблизились за дюнами, где над морем широко простерлась звездная даль Млечного Пути. Там они пробыли долго. Но что там было сказано и что понято, навсегда останется тайной.

— Его состояние?

— Делаем, что можем, — уклончиво ответил главврач.

Он с сомнением разглядывал посетителей. Кто они такие? Тот, что постарше, с сединой в висках и благодушными манерами, хорошо смотрелся бы за столиком ресторана. А вот молодой производил, впечатление рашпиля, — таким жестким и колючим было его лицо. Похоже, не друзья и, конечно, не родственники больного, хотя оба возбуждены. Еще какой-то футляр у левой ноги молодого посетителя, громоздкий, почти квадратный, никто с таким в больницу не ходит. Сундук-то зачем?

— Думаю, пора объясниться, — старший посмотрел на молодого. Тот кивнул. — Разрешите представиться: профессор кибернетики Саркизов Иван Семенович. Мой друг, — легкий наклон головы в сторону, — Чикин Артур Сергеевич. Кандидат наук, литературовед. Дело у нас к вам сугубо научное и не совсем обычное.

— Так, так, — сказал главврач.

— Нам известно, что положение Илляшевского без1надежно.

— Безнадежна только смерть, — возразил главврач.

— Допустим, допустим! — округло взмахнул рукой кибернетик.

— Но надежда либо есть, либо ее нет. Тон и смысл ваших слов заставляют предположить...

— Что вам нужно?

— Это не так просто объяснить, — профессор смущенно поерзал. — Илляшевский — писатель, возможно, вы читали его книги.

— Нет.

— Неважно. Писатель он. некрупный, но настоящий. То есть у него было свое видение мира, свой стиль, и работал он честно, причем не обольщался размерами своего

дарования. Что ж, литературе необходим и скромный талант, если он уникален. Так было с Илляшевским. Это достойная жизнь, которая вплетается, может быть, малозаметной, но добротной нитью...

— Очень любопытно, — прервал его главврач. — К сожалению, мое время ограничено.

— И наше, — голос у «рашпиля», как и ожидал главврач, оказался грубый. — Но вы ошибаетесь, если думаете, что мы



его тратим зря. Объясните ему напрямик, Иван Семенович!

Терпение, немножко терпения! — адресованная главврачу улыбка содержала извинение. — Нами разработана методика, которая позволяет — как бы это получше сказать? — выделить, выявить, получить еще не созданные, но зреющие в сознании произведения искусства.

— Я выразился, конечно, не совсем удачно, вы уж простите, — улыбка стала почти сконфуженной. — Но тонкости метода, теория, принцип это действительно отнимет много времени, которого нет ни у вас, ни у нас и еще меньше у Илляшевского. Так ведь?

— Так, — вырвалось у главврача.

— Он без сознания?

— Да. Но я по—прежнему не понимаю...

— Сейчас, сейчас, — заторопился профессор. — Вам, очевидно, лучше, чем нам, известно, что память можно пробудить введением электродов в соответствующие участки мозга. Наш метод, как мы надеемся, даст неизмеримо больше. У человека, который живет творчеством, возникают стойкие образы будущих произведений. Мы уверены, что нам удастся их выделить из подсознания и...

— Вы хотите, чтобы я сделал трепанацию черепа умирающему?! Вы с ума сошли!

— Нет, нет, вы не так нас поняли! Никакой трепанации! Вы же снимаете энцефалограмму?

— Конечно.

— Вот! Наш аппарат столь же безвреден. Надо лишь наложить датчики, этого достаточно. Согласитесь, что датчики не могут повредить Илляшевскому.

— Которому все равно нечего терять, — рубанул Чикин.

Первым желанием главврача после этих слов было выгнать обоих. Возмутила его не техника эксперимента, даже не его содержание, которое он представлял еще смутно. Дело было в самом факте опыта на умирающем. Вот именно: опыт на умирающем!

Он стиснул пальцы так, что они побелели.

— Никто не имеет права, — проговорил он размеренно, — ставить какой-либо, эксперимент на человеке без особого его на то согласия.

— Согласие есть, — тихо проговорил профессор. — Вот, — он положил на стол бумагу. Главврач уставился на нее. — Илляшевский знал о наших работах. Знал и доверял. Документ зафиксирован нотариусом, можете убедиться.

— Не надо, — сказал главврач, отодвигая бумагу. — Есть еще долг врача.

— У нас имеются официальные отношения наших институтов! — кибернетик поспешно извлек их.

— Уберите! Может, я отстал и чего—то не понимаю, но я тут хозяин и мне ваша затея не нравится.

— Научное значение эксперимента...

— Возможно. Но есть еще этика и мораль. Кибернетик отчаянно всплеснул руками.

— Этика и мораль, говорите? — голос литературоведа ворвался, как боевая труба. — Может, еще простая человечность? Тогда ответьте, что вас обязывает бороться за жизнь безнадежно больного человека до последней секунды? Использовать для этого все средства?

— Какое это имеет отношение? — не выдержал главврач. — Кто вы, собственно, такой? Как вы можете сравнивать, вы...

— Сухарь, может, стервятник, да? — Чикин вскочил, дрожа от возбуждения. — Поймите же, наконец, вы, вы поймите, что у нас та же забота, что и у вас! Вы хотите продлить жизнь Илляшевского, и мы хотим того же, только мы можем, а вы нет. Можем другими средствами, неужели неясно? Да разве жизнь человека только функционирование его сердца, почек, желез внутренней секреции? Разве физическим существованием исчерпывается все и вся? Есть дела, мысли, чувства, которые не обязательно кончаются с гибелью тела, а продолжают человека вплоть до бессмертия! Почему, как вы думаете, Илляшевский согласился на опыт? Он верил, верил, что нам удастся продлить его духовное существование! Что ж, он без сознания, почти мертв, губите своей «гуманностью» то, чему он хотел, но не успел дать жизнь. Будьте его...

— Помолчите, ради бога, помолчите! — кибернетика точно подбросила пружина.

Но главврач уже разгадал смысл непроизнесенного слова. «Будьте его убийцей...». Страшное слово его не смутило, даже не задело, поскольку было несправедливым. Его смутила неподдельная страсть обвинителя. Впервые главврач ощутил в себе неуверенность. Что, если его позиция всего лишь поза заскорузлого профессионала,

возмущенного вторжением в привычную сферу чего-то нового, чуждого ему, небывалого? Небывалого, вот в чем, пожалуй, дело...

— Сядьте! — сказал он резко. — Вы видите одну сторону, я другую, а кто прав — неизвестно. Дайте план опыта, публикации, что еще там у вас...

Он погрузился в чтение, немного гордясь своей способностью возвыситься над собственным мнением. Минуты две был слышен только шелест страниц, и главврач чувствовал растущее напряжение тех двоих. Перебарывая себя, он с треском захлопнул папку.

— У вас все готово для эксперимента?

Давно он не слышал такого облегченного вздоха...

Они поднялись на третий этаж, миновали длинный больничный коридор с его тягостной белизной и стойким запахом лекарств. Главврач толкнул стеклянную дверь и жестом пригласил своих спутников войти.

В первый момент он не понял, отчего так позеленели и осунулись лица обоих, даже стал озираться, ища причину испуга. Затем понял, и это вызвало в нем сумбурные чувства.

Полуприкрытое простыней тело Илляшевского казалось плоским, лицо было гипсовым. Бросалось в глаза, что лежащий человек жив лишь благодаря машинам, которые дышали за него, за него качали кровь и очищали тело. Сам человек выглядел мертвым придатком машин, — зрелище, для медика привычное, не вызывающее лишних эмоций, а для постороннего, конечно, удручающее.

Да, раньше умирали иначе...

— Действуйте, — коротко бросил главврач. — Чем-нибудь помочь?

— Спасибо, мы справимся, — едва шевеля губами, ответил Чикин.

«Так—то, приятель, — не отказал себе в удовольствии подумать главврач. — Это тебе не теории, не слова о духе... Какая странная, однако, пара! Напористый, жесткий

гуманитарий и мягкий, весь на шарме, техницист. Быть может, дело в возрасте и престиже профессий? Одному еще надо доказывать себя, а у другого под ногами уже ковер».

То, что делали оба, было главврачу не совсем понятно, однако он не вмешивался, машинально следя, не будет ли от всех этих датчиков, оплеток, хитроумных штучек электроники какого-нибудь вреда больному, хотя прекрасно сознавал, что тому уже ничто не может ни повредить, ни помочь. Беспокоиться тем более не, стоило, что дежурная медсестра, чье безмолвное присутствие едва замечалось, была настороже. И все-таки он тревожился.

Оснований для беспокойства, однако, не было.

— Конечно, я не специалист, — неожиданно для себя заговорил главврач. — Но как можете вы надеяться извлечь из мозга незаконченную повесть или даже крохотный рассказ? Это же не камни в почке!

— Разумеется, нам это не удастся, — буркнул Чикин. Наладка аппаратуры, вытеснив все остальное, вернула его в прежнее колючее состояние. — В лучшем случае мы сможем выделить отдельные образы, сцены... Это-то и важно — заглянуть внутрь творческой лаборатории.

— Ах, так! — язвительно протянул главврач. — Значит, я неверно вас понял, когда вы что—то там говорили о продлении духовной сущности.

— Никакого обмана, уверяю вас! — поспешил вмешаться кибернетик. — Вы убедитесь сами, когда все увидите и услышите.

— Увижу?

— На этом экране.

— А что, если...

— Нет, нет, никаких предсмертных образов! Когда человек без сознания, каскадные фильтры работают надежно.

Главврач с сомнением покачал головой. Ему, снова было не по. себе, и он сожалел, что разрешил этот опыт. «Вот так же, вероятно, чувствует себя посторонний, — мелькнула

мысль, — когда я скальпелем вторгаюсь в чей-нибудь мозг. Неужели это вызывает такой же протест?»

На маленьком экране меж тем возникли какие—то рваные полосы, их сменили размытые пятна лилового. Раздался скрежещущий звук. Главврач вздрогнул.

Сидя на корточках перед замысловатой аппаратурой, экспериментаторы перебрасывались короткими фразами.

— Прибавь потенциал.

— Уже.

— Развертка?

— В норме.

— Может, биоумножитель? Покрути.

— Даю.

— Кажется, лучше.

— Вхожу в контакт. Ага, что-то есть!..

На экране смутно обозначилась наполненная людьми комната. Изображение выглядело странно. И люди, и предметы состояли, как бы из намеков. Стол — одна лишь лакированная плоскость с туманными чашечками кофе на ней; ножки стола едва угадывались. Иной человек выглядел тенью, но на, мутном лице тени вдруг отчетливо выделялся полуоткрытый, влажно блестевший рот. Эти детали были живые. Главврач даже узнал зажигалку, которой постукивали о стол чьи-то волосатые с кривыми ногтями пальцы, — «Ронсон». Все неоформленное точно искало облик и место. Какой-нибудь стул вместе с человеком неожиданно сдвигался, попутно становясь креслом, чья обивка никак не могла обрести цвет. Губы некоторых людей шевелились, но слов нельзя было разобрать — стоял невнятный шум. То там, то здесь хаотично вырисовывались новые отчетливые детали, как будто изображение обегал какой-то творящий луч.

— Это он так видит! — выдохнул Чикин. — Сначала только детали... Никак не может обрести центр...

Внезапно выделилось лицо женщины лет сорока, умное, чуть ироническое. Когда она заговорила, вздрогнул не только главврач.

— Быть может, вы обратили внимание на одно любопытное обстоятельство, — карие глаза женщины искали в комнате невидимого собеседника. — Человек из отпуска, подышал свежим воздухом, отдохнул, окреп — и что же? Большинство чаще простужается именно после отпуска, чем до. Должно, казалось бы, быть наоборот. У меня такое впечатление, что организм горожанина сопротивляется всему, что выводит его из равновесия, из сродства с городскими условиями. Возможно, я ошибаюсь, но я замечала это по себе, своим друзьям...

Изображение поплыло. Проступили очертания зимней улицы, но только на мгновение: экран ни с того, ни с сего заняла потная лысина, над которой кружились три мухи. Затем последовал совсем уж бесформенный наплыв. Из шума выделился картавый голос: «Мы зовем его Иди. Сокращение от «идиота...».

— Плохо, — вздохнул кибернетик. — Нет стойких образов или аппарат их не держит. Попробую смежную зону.

— Наоборот, очень, очень интересно, — шепотом отозвался литературовед. — Видел, как формируются образы? А вот с диалогом хуже... Диалог всегда был у Илляшевского слабее описаний.

— Да откуда вы знаете, — раздраженно спросил главврач, — что это образы творчества, а не воспоминания?

Оба подняли головы, точно увидев его впервые. С губ Чикина, казалось, готов был сорваться не слишком дружелюбный ответ, но он тут же забыл о своем намерении — из динамика, набирая силу, донесся мягкий, чуть застенчивый голос:

Когда сошлися лед и пламень.

Что получилось из того?

Ни холодна, ни горяча стекла водица. Да только и всего.

Так пустота берет... Голос стал удаляться.

— Настройка! — зашипел Чикин. Кибернетик лихорадочно вращал верньер, и ему. наконец, удалось ухватить обрывок.

...Так пустота берет начало там.

Где спор кипит, слепых страстей катя за валом вал...

Экспериментаторы обезумели.

— Стихи! — ликующе кричал Чикин. — Но Илляшевский никогда не писал стихов, как же это?!

— А его ли?

— Его! Таких нет в литературе! Ищи же, ищи! Постой, постой...

Пауза оказалась короткой. «Я жизнью пьян...», — неуверенно начал голос. Он окреп.

Я жизнью пьян.

Я пью и не могу напиться —

Ее вином.

Меня дразнит и манит океан

Моих желаний...

Тут голос пресекся. Исчез, будто его и не было, сколько ни терзали аппарат.

Главврач помотал головой. Этот голос... Он стоял в ушах. «Я жизнью пьян...». Захотелось крикнуть: да остановитесь же!

Поздно. Остановить этих двоих уже не могли никакие заклинания. Да и сам главврач теперь не мог оторваться, он тоже ждал... Чего? Иногда до него доходили обрывки. фраз, которыми взволнованно перебрасывались экспериментаторы.

Он утаил от нас, что пишет стихи! И в журналы не отдавал. Почему?

— Может, стыдился их несовершенства...

— Положим, в них что-то есть... Хотя... Но аппарат—то, аппарат, а?

— С прозой, похоже, неудача.

— Ну, первая попытка... У нас еще есть время. Доктор... как он там?

Вопрос с трудом проник в сознание главврача. Нахмурившись, он оценил показания контролирующих приборов. Пульс, ритм мозга...

— Можете продолжать, — сказал он. — И не кричите! Здесь вам не...

Он махнул рукой и вышел. Зачем? Дела... И черту дела, сегодня нет ничего срочного. Тогда почему же он вышел? Бешено хотелось курить, но это же не причина...

Человек, почти из могилы читающий едва ли не самые сокровенные свои строчки, — вот что. Вторжение в столь интимное, — с благими намерениями, конечно, — такое может доконать. «А если бы ты создал эту методику, то поставил бы опыт?» — спросил ехидный голос. Да, поставил! Главврачу как бы вдруг и только сейчас открылась вся глубина того, что происходит. Смело, величественно, и страшно. Но подобное уже бывало в науке не раз. И будет. Страшно, потому что ново. И до самозабвения, до ужаса — интересно.

Окурок обжег губы.

Тишина, которая встретила главврача, когда он вернулся, подсказала, что за время его отсутствия что-то произошло. Видны были только напряженные спины экспериментаторов. Главврач тоже наклонился, слегка раздвинув — они этого не заметили— их одеревенелые плечи.

На экране было изображение совсем другого рода, чем вначале. Оно оставалось стойким, по нему не сновали «пятна резкости», звук отсутствовал. Вглядевшись, главврач едва подавил возглас.

...Сумрачный свет огромного собора мерцал кровавым, словно от наваленных внизу трупов поднимались багровые испарения смерти. Весь пласт трупов казался единым запекшимся сгустком с кое-где белеющими пятнами лиц, рук и ног. В кровавых подтеках были стены, сам воздух, и сквозь эту жуткую мглу со сводов пронзительно смотрели черные, как уголь, глаза святых. А посредине собора, на отпрянувшем, с ощеренными зубами, коне, опустив руку с обнаженной саблей, задумчиво и угрюмо на все глядел всадник в чалме.

Главврач совсем растерялся, когда заметил в углу экрана крохотную надпись: «Во имя идеи».



— Что... что это такое?

— Картина, — ответ был дан шепотом. — Взятие Византии султаном Мухамедом. Это его въезд в Святую Софию, храм легко узнать.

— Сцена из ненаписанной повести?

— Нет же! Картина. Живопись. Тут были другие... «Затерт льдами» — там колорит еще лучше. «Потому что еретик». Лицо человека, которого сжигают на костре. Смотрите, вот...

Щелкнул переключатель. Сначала главврач увидел лицо. Запрокинутое, искаженное; такая в нем была мука, что главврач отпрянул. Потом он заметил, что отблеск костра странно высветляет черты лица, сообщая ему что-то помимо муки. И тут он понял главное. Ракурс был взят снизу, так, что наклоненный столб и прикованный к нему человек взлетали в крутящихся языках пламени. Они уходили, взмывали в небо, туда, где в черном просвете дыма распахивалась бездна далеких звезд.

— Так он был еще и художником! Таким художником! — ахнул главврач.

— Был, — последовал ответ. — И не был, потому что не умел рисовать.

— Не умел? — главврачу показалось, что он ослышался.

— Чего-то не хватило. Жизненной энергии? Уверенности? Или кто-то высмеял его первые попытки? Бесполезно гадать. Что не сбылось, то не сбылось.

Главврач с трудом заставил себя перевести взгляд на безжизненное лицо Илляшевского. Вот, значит, как! Скромный литератор. Работяга, обычный человек. Поэт в душе, о чем никто не знал. Автор неосуществленных, быть может, гениальных полотен. Кем он был еще, кем мог стать? «А кем мог стать ты? — устало подумал главврач. — Тоже, вероятно, мог. Могу... Нет, поздно, колея засосала. Все сбывшееся в нас только часть возможного».

— А ваша аппаратура, — спросил он внезапно и с надеждой. — Она не может запечатлеть эти... ну... образы?

Кибернетик кивнул.

— Сами видите, однако, что это лишь заявке, эскиз, мысленный черновик, — он безнадежно махнул рукой.

— Минуточку, — прервал его главврач, заметив поспешные знаки медсестры.

Он быстро подошел к ней, выслушал, дернувшись, метнул взгляд на ленты самописцев. Его плечи медленно приподнялись. Экспериментаторы разом вскочили.

— Слушайте, — главврач обернулся. — Этого не могло, не должно быть, нельзя поверить, но его состояние...

— Лучше?!

— Да!.. Срочно бригаду, — кинул он сестре. — Я сам... Что с вами?

Кибернетик издал звук, похожий и на рыдание, и на смех.

— Ничего, — проговорил он, беря себя в руки. — Ничего. Просто мы на это втайне рассчитывали.

— Рассчитывали?

— Поймите, когда человек без сознания, аппарат. до предела, до крайней точки, иначе нельзя получить образ, напрягает его творческий инстинкт. Мы думали, мы надеялись, что для таких, как Илляшевский, жажда жить и творить, в сущности, одно и то же...

— Он будет жить? — спросила медсестра.

— Да... Впрочем, смотря что считать жизнью! — неопределенно ответил главврач. Он вновь пробежал глазами показания самописцев. Лицо его как-то сразу, на глазах у всех, постарело, и он только махнул рукой.

Движение урагана мангры уловили, как всегда, вовремя, хотя, казалось, вокруг ничто не указывало на его близость.

Если бы мангры могли облечь свои ощущения в слова, то, верно, сказали бы, что со стороны природы бессовестно гнать их прочь от накрытого стола, когда они еще не насытились. Но мысль и слово отсутствовали. Просто ногокорни стали поспешно вытягиваться из земли, а черно-фиолетовые покровы поднялись и выгнулись по ветру, как натянутые паруса. Безжалостная эволюция жестко закрепила в манграх суровое знание кочевника: кто медлит, тот рискует погибнуть под ураганом, как бы стойко он ни цеплялся за почву.

Не прошло и четверти часа по земному исчислению, как по равнине, все убыстряя ход, двинулась слитная масса темных парусов, подгоняемая ветром и усилием сотен тысяч щупальцеобразных ног. Безошибочный инстинкт наилучшим путем вел мангров к месту, которого в ближайшее время не коснется буря, месту, где можно будет спокойно попастись.

В тот же самый момент, находясь в сотнях километров от мангров и обозревая все с высоты космоса, ту же самую задачу решал усиленный всей мощью машин человеческий разум.

Электронные и лазерные сигналы, взаимодействуя со скоростью, немыслимой не только для мангров, но и для самого человека, обшаривали полярную область, рассчитывали кривую движения многочисленных бурь, хаос завихрений, удары бешеных воздушных потоков, всю ту головоломку атмосферных явлений, которую едва осиливала земная математика, — с единственной целью найти клочок поверхности, где можно было высадить десант, не опасаясь немедленного буйства инопланетных стихий.

Поскольку истина объективна, нет ничего удивительного, что разные, ни в чем не схожие методы дали один и тот же результат: десантный бот землян устремился к тому самому месту, куда стремились и мангры.

Движение прекратилось, едва мангры достигли котловины, где они могли безопасно пастись. "Паруса" поникли, их плоскости легли горизонтально, вбирая скупой свет далекого светила, а щупальца врылись в землю, чтобы дать разветвленному на гектары телу питательной соли.

Теперь уже ничто не говорило, что мангры — кочевники; казалось, они всегда росли и будут расти на этом пологом склоне холма. С ними вместе успокоилась и принялась за дело вся та живность, которая неизменно сопровождала мангров и не могла без них обойтись, как, впрочем, и они без нее.

Грохот с неба, нарастающий звук, сильная ветровая волна застигли мангров врасплох и заставили крепче вцепиться в почву. Из-за облаков скользнуло чечевицеобразное тело, оперлось на огненный столб и затем медленно осело.

Органы мангров отметили почти всю картину прибытия человека на их планету, кроме самого последнего мига: бот опустился за вершиной холма.

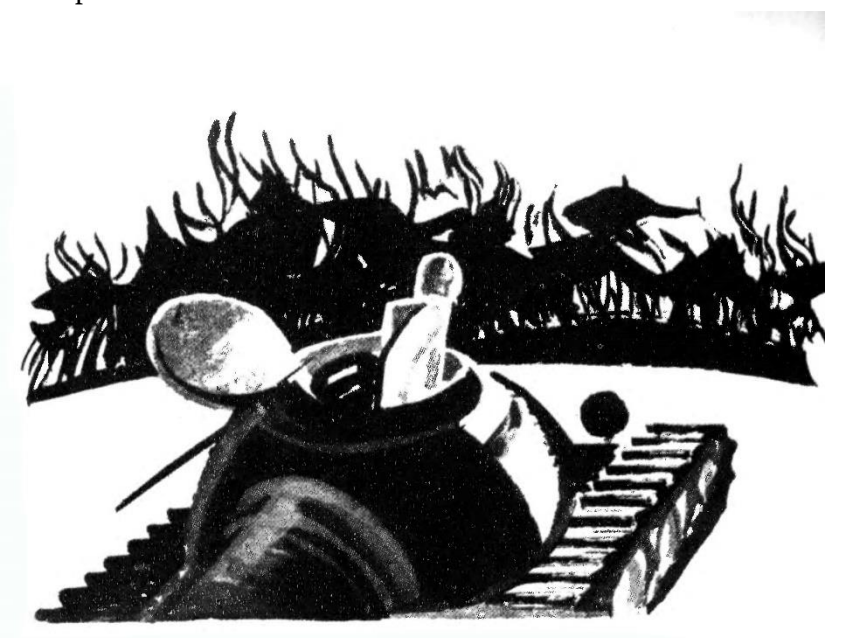
Ветер стих, и они успокоились. То, что случилось, не было внезапным смерчем, который мог причинить им вред, а если и было, то смерч ушел куда-то в сторону. Небогатый набор ответов на импульсы внешней среды сработал как надо, и мангры продолжали спокойно пастись, блаженствуя в холодных лучах своего солнца, наслаждаясь пищей и безопасностью. Все, что было сопряжено с появлением человека, находилось далеко за гранью их смутного сознания, и хотя их жизненный путь уже пересекся с путем человека, для них все оставалось таким, каким было всегда.

И человек тоже еще не подозревал, что их пути пересеклись, хотя он-то знал, что мангры существуют, и питал к ним интерес. Как ни странно, обе стороны находились почти в равном положении: человек не существовал для мангров,

но и мангры существовали для человека лишь как загадка, ибо что можно определить из космоса? Только то, что какие-то пятна, очевидно растительности, то ли меняют свой цвет (традиционная, а потому наиболее правдоподобная гипотеза), то ли закапываются при ненастье, то ли перемещаются непонятным образом. Большего в чужой и бурной атмосфере не могли сказать даже автоматы разведки, которых сдувало, как осенние листья.

Да какое, в сущности, мангры имели значение? Они были мелким камешком, очередной пылинкой на великом звездном пути человека. Пылинкой, которую следовало рассмотреть мимоходом, не более.

Когда посадка была закончена, дно десантного бота раздвинулось, выпустив якорные лапы, которые тотчас ввинтились в почву на случай непредвиденного урагана. Что такое здешний ураган, люди, не испытав его, знали не хуже мангров. А вот полагаться на свои расчеты — когда и куда двинется ураган — они не могли с той же уверенностью, с какой мангры полагались на свой инстинкт.



Час спустя после того, как пыль улеглась, из открывшегося люка опустилась аппарель, и по ней съехал вездеход. Люди ступили еще на одну планету.

Вездеход перевалил гребень холма, и люди впервые близко увидели мангров. Точнее, они увидели не мангров, а то, что им было знакомо и привычно, — кустарниковую рощу. Не совсем, разумеется, обычную, но все же рощу, то есть низкий полог густых и голых ветвей, многие из которых заканчивались веером продолговатых и темных листьев. Их плоскость располагалась строго перпендикулярно лучам солнца. Двух мнений о том, что это такое, быть не могло, и водитель направил вездеход через кустарник.

Гусеницы подмяли тугой "матрац" ветвей, даже не заметив препятствия. В пыль были размолоты первые листья; вездеход шел, оставляя за собой месиво.

— Очередная маршрутная точка — в середине рощи, — не отрываясь от визиосъемки, сказал биолог. — Надо взять образцы и поближе изучить этот кустарник.

Однако вездеход остановился несколько раньше, чем было намечено. И не по воле людей.

Край плоти мангров ощутил боль, которая распространялась по мере того, как вездеход взрезал живое тело. Но мангры не спешили — их жизнь была непрерывной борьбой за существование, они знали, что и как надо делать. Чудовище они заметили, когда оно только приближалось. Отождествление тоже было делом нескольких мгновений. Ничего нового мангры для себя не обнаружили — просто очередное нападение их исконного врага — урбана. Бесчисленные поколения урбанов питались манграми, вступая с ними в жестокий бой, и бесчисленные поколения мангров либо побеждали, либо гибли в этих схватках. Гибли менее приспособленные, а сильные и хитрые выживали и уже сами губили менее удачливых урбанов. Так они взаимно выпалывали слабейших: и эта нескончаемая битва смертельных врагов была залогом прогресса как тех, так и других, поскольку

совершенствование урбанов влекло за собой совершенствование мангров.

Низкий и массивный вездеход, конечно, лишь отчасти походил на урбана, но он походил на него в главном — он нападал. Поэтому движение гусениц включило весь арсенал средств борьбы с такими вот топчущими все и вся гигантами, подобно тому, как вид мангров включил в сознании человека мысль, что он имеет дело с кустарником.

И если бы мангры были способны рассуждать, они с удовлетворением отметили бы, что враг им попался нахальный, большой, но глупый, и что, следовательно, победа над этим урбаном останется за ними.

Но рассуждать они не могли, они действовали.

Вездеход плавно качнуло. Так плавно и мягко, что иная неровность дала бы куда более ощутимый толчок. Никто из людей, понятно, ничего не заметил.

Расчет, который бессознательно провели мангры, сделал бы честь земной математической машине. В нужный момент к нужной точке, как по команде, стянулось множество ногокорней. Едва вездеход очутился над этим участком, незаметно скопившиеся под листвой ногокорни одним касанием чуть-чуть уперлись в его днище. Неощутимый толчок никак не мог насторожить предполагаемого урбана, а мангам он давал бесценную информацию о весе противника.

Вездеход снова и уже резко качнуло. Одновременно его скорость упала так внезапно, что люди клюнули носом. Машинально водитель затормозил. Вездеход тут же выровнялся. Поскольку впереди не было никаких препятствий и быстрый взгляд на шкалу донного локатора — никаких трещин, водитель, смутно удивившись, тут же дал двигателю мощность.

Но вездеход и не подумал рвануться. Было видно, как ползет лента гусеницы, слышно, как шумит мотор, но и только. Столь же машинально, как он действовал за секунду до этого, водитель дал полную мощность. Вездеход содрогнулся, стремительно замелькали гусеничные траки,

двигатель, перед силой которого, казалось, ничто не могло устоять, взвыл, словно от ярости. Но машина не сдвинулась и на миллиметр.

Она и не могла сдвинуться, потому что мангры, упершись в днище, приподняли ее, и гусеницы теперь молотили воздух.

Реакция врага, обладай мангры способностью удивляться, изумила бы их своей замедленностью. Все складывалось на редкость удачно: нерасторопный противник был оторван от почвы, лишен возможности двигаться, и его гибель была теперь лишь вопросом времени.

Мангры испытывали удовлетворение — это неосознанное чувство им было знакомо.

— Алло, бот, мы подверглись нападению, смешно сказать, кустарника!

— Точнее?

— Гусеницы вращаются вхолостую, очевидно, эти "кусты" лишили их опоры. Их гибкие ветви, точнее — щупальца, оплели кузов так, что мы не можем открыть дверцы и пустить в ход оружие.

— Опасность?

— Прямой опасности нет, "кусты" больше ничего не предпринимают, но положение нелепое: мы пленники, и непонятно даже чего. Мы пока не видим выхода.

— Понятно. Минут через десять мы атакуем вашу "растительность".

— Биолог возражает: второго вездехода нет, а атаковать без него рискованно, так как неясен характер противника.

— Позитивная программа?

— Надо взять образцы этого "кустарника" и точно установить, что же это такое.

— Мы это тоже сообразили. Но можете вы поручиться, что с вами тем временем ничего не произойдет?

— Нет, конечно, хотя, повторяю, "кустарник" прекратил атаку. Очевидно, не знает, что с нами делать.

— Тогда наш план остается в силе. Ждите.

Люди ошибались, полагая, что мангры не знают, как поступить с пленным чудовищем. Они также ошибались, полагая, что мангры ничего не предпринимают. Они действовали, как привыкли действовать, и в тот самый момент, когда шел разговор, они пытались разорвать вездеход, как разрывали попавших в их объятия урбанов.

Конечно, у них ничего не получалось, да и вообще все было как-то не так: враг не рвался из пут, а ветверуки, которые должны были стиснуть опасные стригал и урбана, вместо этого стискивали пустоту.

Последнее обстоятельство повергло в недоумение не только мангров, но и людей, которые непонимающе следили, как слева и справа от кузова, обнимая пустоту, качались пучки щупалец. Что бы это значило? Все прочие поступки мангров, едва прошло ошеломление первых минут, были поняты людьми, хотя и не до конца. Этот же поступок не имел очевидного объяснения и заставлял предполагать худшее — некий дальновидный и пагубный умысел.

Оставив на борту дежурного, трое людей быстро достигли вершины холма. Они были вооружены плазменными винтовками — оружием неодолимой силы. Но, как им сразу стало ясно, даже с его помощью здесь нельзя было рассчитывать на быстрый успех. Одно дело какие-нибудь бронированные чудовища, которых плазменный выстрел мог пронзить насквозь, и совсем другое — обширные заросли "кустарника", в которых требовалось прожечь ход к побежденной машине.

Но, в конце концов, что мог противопоставить "кустарник" оружию, которое исправно прокладывало человеку путь во всех, без исключения, мирах?

Убедившись, что разорвать жертву не удается, мангры привычно изменили тактику: ветверуки стиснули вездеход, сжали его так, что никакому урбану не поздоровилось бы.

Спектролитовый колпак вездехода, однако, даже не скрипнул, и люди в нем не заметили этих новых могучих усилий мангров.

"Кустарник" следовало выжигать постепенно, метр за метром, и атакующие методично принялись за дело. В успехе они, понятно, не сомневались.

Конечно, мангры не осознали, что эти, издали жалящие их тело фигурки и пойманный гигант — звенья одной цепи. Перед ними оказался новый враг — вот и все. С таким поражающим издали противником они еще не имели дела, но страх перед неизвестным, вообще страх был им неведом. Пока урон был невелик, они могли и должны были бороться, иначе, как говорил миллионолетний опыт, выжить невозможно.

Люди с удовлетворением отметили, что первые же выстрелы заставили "кустарник" попятиться. Он отступал по всему фронту, но вместе с собой он волочил и вездеход.

Враг бежит, надо преследовать! Это было старинное правило охоты. Да и ничего другого людям не оставалось делать, так как расстояние ослабляло силу огня.

Преследование началось.

Манграм была неведома такая абстракция, как "ловушка". Но ставили они именно ловушку, поскольку этот прием был в арсенале их средств борьбы.

Они отступали не целиком. Отдельные, зарывшиеся в почву ногокорни оставались там, где были, и ждали, когда их верхние отростки почувствуют поступь атакующего противника.

Даже такая борьба, как расстрел кустарника, порождает азарт, и люди, мечущие молнии, понятно, не обращали внимания на обугленную их выстрелами почву.

Западня сработала мгновенно. Люди не успели понять, что случилось, как их ноги уже были схвачены рванувшимися из-под земли щупальцами. Еще мгновение — и их тела очутились в воздухе, а новые щупальца охватили руки.

Это было так страшно — рванувшиеся из-под земли щупальца, — что люди упустили драгоценное мгновение, когда оружие еще могло освободить их.

Конечно, мангры, как полагалось, сразу же стиснули своих новых пленников, но сил одиночных ногокорней, которые так блестяще справились со своей задачей, не хватило, чтобы одолеть жесткий скафандр.

Но это было лишь временной отсрочкой. Едва прекратились выстрелы, как уже вся масса мангров двинулась к трем беспомощно повисшим в воздухе пленникам.

Чем им это грозит, те поняли сразу. Их руки и оружие были схвачены самым причудливым образом, так что двое могли шевелить только кистью. Действовать в таком положении было не слишком удобно, но такую мишень, как "кустарник", мог поразить и неприцельный огонь. И на мангров снова обрушились молнии.

То был поступок отчаяния, люди ждали, что щупальца в ту же секунду схватят, прижмут, вырвут оружие. Но, к их изумлению и облегчению, ничего этого не произошло — щупальца не двинулись.

Опаленный огнем фронт мангров замер. Люди тут же прекратили стрелять в их новом отчаянном положении был дорог каждый заряд.

Мангры двинулись снова.

Выстрелы опять их остановили.

Так повторилось еще несколько раз.

Наконец людей словно отпустил кошмар, мангры уже не сделали попытки двинуться.

Мангры, хотя их организация была примитивной, умели учиться. Но здесь их способности были крайне ограниченными. Выстрелы быстро выработали в них условный рефлекс, но дальше дело пошло туго. Мангры, если можно так сказать, были поставлены в тупик, ибо бой все больше развертывался "не по правилам".

И тогда, когда программа инстинкта была исчерпана, включился механизм метода "проб и ошибок".

— Да сделайте же что-нибудь!

Крик напрасно звенел в наушниках. Люди в вездеходе предпочитали не глядеть друг на друга. Их положение было

ужасно, потому что им, защищенным броней, но беспомощным, предстояло увидеть агонию друзей, которые хотели их выручить и стали пленниками сами.

А агония должна была наступить рано или поздно. Даже если все останется в прежнем положении и "кустарник" ничего не предпримет, кислород в скафандрах иссякнет раньше, чем мчащийся от соседней планеты звездолет придет на помощь.

Оставался, правда, еще один свободный человек — дежурный покинул свой пост, и теперь его одинокая фигура маячила на вершине холма. Но стрелять он не мог — нельзя было поразить щупальца, не поражая людей. Подойти с резаком? Но это было слишком рискованно.

Внезапно вездеход тряхнуло. Борт его резко накренился, люди едва успели ухватиться за поручни. Нет, мангры отнюдь не забыли о своем первом противнике! Они его переворачивали вверх гусеницами.

Зачем? Этого не знали не только люди, но и мангры.

С вездеходом, даже поставленным вверх ногами, мангры заведомо ничего не могли поделать, но с остальными они могли расправиться по меньшей мере тремя способами: убить резкими ударами о землю, скрутить их тела винтом, что вызвало бы разрыв скафандра, или, как в случае с вездеходом, перевернуть людей вниз головами.

Второй маневр хранился в наследственной памяти мангров, но, к счастью для людей, сама эта программа уже столь явственно дала осечку, что инстинкт самозатормозился. Точнее, одна инстинктивная программа "делай как всегда" была ослаблена другой программой: "пробуй, если не получается как всегда". А поскольку люди с молниями и вездеход представлялись разными врагами, то и пробы оказались разными: щупальца всего лишь выпустили сок, которым они разлагали минералы почвы. При этом они стали потряхивать людей теми же движениями, какими, выпустив сок, рыхлили почву.

Нельзя сказать, чтобы это было приятно, но потряхивание, по крайней мере, ничем не грозило. Что же касается белой жидкости, которая заструилась по скафандрам, то тут можно было подозревать самое худшее. Враг, столь быстро и умело нанесший людям поражение, казался им теперь воплощением коварного и расчетливого ума.

К счастью, не всем.

У людей в вездеходе при всех их переживаниях была возможность подумать.

Они следили за всем, что происходит, и привычка сопоставлять, анализировать понемногу брала верх. Процесс этот, в общем, был бессознательный, он был следствием огромного опыта человеческой культуры, который подсказывал, что все победы предрешал творческий подход, а там, где этого не было, не было и успеха.

В беду их ввел привычный стереотип мышления, но второй такой же ошибки им удалось избежать. Целенаправленные, точные, а потому внешне разумные действия "кустарника" лишь на миг поколебали изначальную убежденность биолога, что они имеют дело с примитивным, хотя и своеобразным, существом. Эта убежденность не была слепой, ибо основывалась на знании общих законов эволюции жизни, знании, что содержание определяет форму. То, что "кустарник" не парализовал оружие, не нашел верного способа убийства беспомощных людей, окончательно развеяло все сомнения. Их противник не был ни умен, ни глуп, как не была умна и глупа какая-нибудь земная росянка; он был отлично приспособлен к строго определенным условиям и ситуациям, только и всего.

Когда это было осознано, требовалось уже немногое, чтобы увидеть выход из безвыходного, казалось бы, положения.

В подсказке недостатка не было. На тех участках, где не кипел бой, листья мангров мирно продолжали вбирать свет. Там, едва стихли выстрелы, объявились похожие на

мокрицу крупные существа, которые безбоязненно сновали меж ветвями и — более того — поедали листья!

Конечно, эта идиллия скользнула мимо оглушенного событиями разума, но в сознании она запечатлелась. Проистекающей отсюда мысли, чтобы развиться, надо было преодолеть несколько предвзятых установок. А именно: всесилие человека отнюдь не в его силе, не в мощностях покоренных им энергий, не в изощренности построенных им машин, даже не в знаниях, — оно в гибкости, широте и дальновидности его мышления! Еще: тактика, успешно сработавшая пусть тысячу раз, не обязательно оправдает себя в тысячу первый. И еще: человек убежден, что он всегда разумен; на деле же он разумен только тогда, когда способен подметить, оценить новое и, перестроив прежнюю картину мира, действовать в соответствии с реальностью, какой бы она ни была.

Незаметно для себя (необходимость — лучший учитель!) биолог проделал весь этот путь. И тогда он понял, что надо делать.

Понял в тот самый момент, когда в наушниках раздался отчаянный крик:

— Их жидкость разъедает скафандр!

Так наступила критическая минута, и биолог понял, что его открытие бесполезно: нет времени объяснять, события опередили работу разума.

И все же...

— Откуда вы заключили, что сок разъедает силикет?!

— Шелушится и опадает его верхний слой!

"Сок был выпущен полчаса назад, — мгновенно пронеслась мысль. — А слоев три..."

— Остановитесь! — закричал он. — У нас есть время и верный способ!

Поздно. Единственный оставшийся на свободе член экипажа уже подбегал к пленным. Сверкнуло лезвие резака...

Прежде чем резак успел отсечь второе щупальце, несколько других, соскользнув с пленников, схватили

смельчака. Хотя он и был готов к нападению, бросок щупалец опередил его реакцию. Секунда — и он оказался в том же положении, что и остальные.

Ужас не помешал биологу отметить, что его план блестяще подтвердился в самом уязвимом пункте. Теперь он твердо верил в успех. Если, конечно, новый случайный поступок "кустарника" не сделает его невыполнимым.

Этого, однако, можно было не бояться. Мангры знали, что корневой сок действует медленно, и не спешили пробовать что-нибудь другое. Что же касается первого врага — вездехода, — то все его поведение убеждало, что он мертв. Значит, оставалось ждать, когда разложение размягчит ткани этого странно твердого урбана. Все было не так, как всегда, и все—таки шло как надо.

Донный люк откидывался внутрь. Первым вылез биолог. Люк за ним тотчас захлопнулся — как ни убедительна была теория, рисковать всем не было смысла.

Перевернув вездеход, мангры сами облегчили выполнение плана, ибо теперь у человека был широкий простор для маневра, который отсутствовал бы, если бы донный люк остался внизу.

Ползком, стараясь без нужды не касаться щупалец, человек соскользнул с брони вездехода и также ползком, извиваясь всем телом, двинулся сквозь сплетение страшных отростков.

Даже смотреть на это было невмоготу. Для биолога самым пугающим было касание этих бледно—маслянистых щупалец и сознание, что им ничего не стоит схватить и удушить. Вопреки всему, воображение невольно наделяло их рассудком, который способен преодолеть шаблон инстинкта. Ведь ясно, что крадется враг!

Манграм, однако, было совершенно ясно, что сквозь сплетение их ветверук ползет нечто безвредное или даже скорей полезное. Никакое другое существо просто не могло вот так сразу очутиться и двигаться в самой сердцевине их организма — оно было бы задержано, опознано и истреблено



на границе тела. Мангры не разбирались, что это за существо копошится в них, они не обращали внимания на тех тварей, которые поедали больную листву, обирали вредных насекомых или питались отмершими тканями. Ведь даже человек без помощи науки не в состоянии заметить тех подчас вредных существ, которые гнездятся в его организме! Поэтому биолог находился в безопасности, словно прогуливался по парку.

И это вскоре стало ясно всем.

Биолога могли погубить лишь две ошибки, но он их учел. Он не двинулся напрямик, так как пришлось бы проползать

через опаленные выстрелом участки, а это могло вызвать у мангров болевое ощущение, которое, вероятно, включило бы защитную реакцию. Он, хотя это намного удлиняло его путь, выбрался наружу там, где мангров ничто не беспокоило. И, выйдя наружу, он не встал и не побежал, прекрасно сознавая, что противник скорей всего уже научился отождествлять фигуру идущего человека с опасностью.

Экипаж вездехода в точности повторил его маневр. Нельзя сказать, что люди проделали это без содрогания, но успех был достигнут. И вовремя!

Скафандры пленников, как и предполагалось, еще противостояли разрушительному действию сока. Пока еще противостояли...

Схватка одиночки со щупальцами, которая закончилась столь плачевно, тем не менее наглядно подтвердила то, о чем биолог догадывался. Пучок щупалец исчерпал все свои резервы. Настолько, что нового пленника они уже не могли поднять над землей. Возможно, они еще могли скрутить одного-двух, но теперь в борьбу вступали уже четверо. Подхода других мангров можно было не опасаться: "рефлекс выстрелов" не должен был исчезнуть так быстро.

Все, что произошло потом, сильно напоминало ожившую скульптуру битвы Лаокоона со змеями.

Теперь оставалось лишь отбить вездеход. Но мысль об избиении уже беззащитного, когда стали ясны его слабые стороны, хотя по-прежнему загадочного "кустарника", претила людям. И они охотно пришли к выводу, что мангры сами оставят вездеход, едва почувствуют приближение бури.

Тут они ошиблись. Инстинкт повелевал манграм не упускать добычу, и, когда приблизилась буря, они поволокли вездеход.

С их стороны это был роковой просчет. Вездеход в отличие от урбана нельзя было разодрать на клочки; его махина затруднила движение мангров, и буря их настигла.

А что такое здешние бури и почему мангры стали кочующими полурастениями—полуживотными, людям сказали обломки вездехода, рассеянные на пространстве многих километров.

КОНЕЦ ЗАКОНА

(ЗАТМЕНИЕ НА РАССВЕТЕ)

Документы, понукания радио, суматоха, багаж; сел, отдышался, взлетел; земля, небо, космос, солнце и звезды, заря и ночь — нет их! Вспыхнул, блеснул синевой океан, накренился, исчез; белыми полотнищами захлопали облака; и вот уже все, с прибытием вас, дорогие пассажиры, просим пройти на досмотр!

Пространство уподобилось глотку воды. Всем некогда, быстрей, обгоняя тихоходный звук, жизнь коротка, надо успеть! И орлом, казалось бы, смотреть пассажиру после гордого перелета над морями и континентами. Куда там! Оглушен ревом, потрепан перегрузками, взвинчен невесомостью, обалдел от впечатлений, — тут лишь бы не перепутать, где какая бирка и что кому надо вручать. Приобретения — это потери. Стоя в притихшей очереди, Полынов не без иронии подумал, что последние метры отнимут, надо полагать, больше времени, чем все десять тысяч километров пути.

Вопреки ожиданию, очередь продвигалась быстро. Руки таможенников сновали над чемоданами с проворством манипуляторов. Единственная заминка произошла у окошка, куда Полынов, как и все остальные, сунул свой паспорт. Ставя штемпель, офицер сказал, не поднимая глаз:

— Вам записка.

— Мне? — удивленно переспросил Полынов.

— Получите.

На стойку вместе с паспортом лег продолговатый конверт. Полынов ошеломленно повертел его в руках.

— Вы уверены, что это действительно мне?

— Пожалуйста, не задерживайте.

Выйдя в вестибюль и поставив чемодан на пол, Полынов вскрыл конверт. Там лежала визитная карточка Лесса, на обороте которой было написано: “По поручению профессора вам заказан номер в отеле “Консул”.

Это еще что такое! Полынов поймал себя на глупом занятии, — стоя в толчее и пожимая плечами, он вновь и вновь перечитывал записку. Рассердившись на себя, он решительно подхватил чемодан. Автомат предупредительно распахнул дверь. Понятно... Сам же уговаривал Лесса не разводить церемоний, будто он премьер–министр или беспомощный мальчик: не встретил, ну и прекрасно. Хотя и странно. Такое не в характере Лесса, вот что. Совсем не в его характере...

Ладно, все выяснится и объяснится.

У бровки тротуара выстроились такси. Полынов двинулся к ним, бодро помахивая чемоданчиком. За темным лесом вдали тлела вишневая полоса заката, с юга, похоже, надвигалась туча. Оттуда тянуло сырым теплом. Только что смазанный скоростью мир снова обретал объем и привычные пропорции. Сквозь шум голосов и рокот машин пробивалось далекое кваканье лягушки. Плевать им было на грохочущие ракеты, на суету ракетодрома, людскую спешку, — они хотели квакать и квакали, как миллионы лет назад. Полынов с удовольствием потянул ноздрями воздух. Каждому уголку земли присущ свой особый запах. Ветер сразу напоминает, что ты не дома, сулит прелесть перемен, входит в душу, как вкрадчивый зов, и нет ничего лучше этих первых минут новизны. Минуту–другую Полынов постоял, прикрыв глаза. Затем рванул дверцу и откинулся на спинку сиденья.

— Отель “Консул”!

Киберводитель взял с места так, будто завидовал перегрузкам ракеты.

Полчаса спустя громада отеля приветствовала Полынова взмахом бетонного козырька подъезда. Обмен улыбками с портье занял не более минуты. В вестибюле приглушенно гудели голоса приезжих. Полынов небрежно отстранил услужливую тележку, которая попыталась завладеть чемоданом, и на стремительном лифте поднялся к себе на семнадцатый этаж. Ноги, едва он вышел в коридор, утонули в белоснежной ковровой дорожке. Ворс жадно прилегал к

ботинкам, отсасывая с них пыль. Замок певуче щелкнул. Кто бы ни заказывал номер, — сам Лесс или его секретарь, — он выбрал его с толком. То есть номер, конечно, не представлял собой ничего особенного, — все они однотипны, что в Сиднее, что в Будапеште, что здесь, но здесь, по крайней мере, было уютно и тихо.

Забросив чемодан в нишу, Полынов справился по информаторию о телефоне Лесса, который жил неподалеку от столицы, и тут же ему позвонил.

Ответил, однако, не Лесс.

— Профессора не будет до двенадцати ночи, — экран оставался темным, значит, говорил электронный секретарь. — Его личный радиобраслет отключен. Что записать для передачи?

— Профессор уехал?

— Профессор занят в лаборатории, — Полынову даже показалось, что элсекр обиделся. — Что ему передать?

— Передайте... А, впрочем, не надо. Я сам ему позвоню попозже.

Закрыться в лаборатории и забыть обо всем на свете! Да, это похоже на Лесса. Хотя при его щепетильности... Полынов недоуменно пожал плечами. Что ж, бывают опыты, когда все планы идут насмарку. Бывают опыты, которые — трава не расти! — надо закончить именно сегодня. Всякое случается и нечего тут ломать голову, а надо с толком употребить свободные часы.

Итак, что делает вечером одинокий и беззаботный турист? Бродит по городу и, само собой, ужинает. В каком-нибудь, естественно, экзотическом кабачке. Вот и прекрасно. Не стоит нарушать традицию. Когда он в последний раз был таким вот туристом? Никогда он им не был. Тем более! Есть что-то соблазнительное в открывающейся перспективе. Что-то праздное и слегка недозволенное, как кутеж в монастыре. А собственно, почему недозволенное? Разве он не в отпуске? Какая еще у него цель, кроме отдыха и развлечений? Всюду быть с Лессом — это, конечно, замечательно, но

одному побродить по чужому городу гоже неплохо. Совсем неплохо.

Насвистывая нечто легкомысленное, Полынов сменил рубашку и куртку, бегло оглядел себя в зеркало и в общем остался доволен. Человек в зените — ни стар, ни молод, этим все сказано. Вообще роли не играет, сколько тебе лет и в скольких странах ты уже был; всякий новый город почти как открытие. Если, конечно, человек не пресытился и не постарел. Сейчас мы это очень даже просто проверим...

Выйдя на улицу, Полынов с удовлетворением отметил, что интерес к новому его не покинул. Когда он ехал в такси, город, как это обычно бывает, раскрывался, точно дерево в срезе. Сначала машина пересекла кольцо современных кварталов. Затем к магистрали придвинулись дома в космическом стиле. Потом возобладали плоскости стекла и бетона. И уже в самом центре пошли тесные улочки с домами, прижатыми друг к другу, как коробки тортов. Да и сами фасады с пузатыми балкончиками, островерхими кровлями, лепными украшениями на стенах смотрелись выставкой кондитера.

Отель выпирал из этого порядка, как стальной зуб. Полынов неспешно миновал несколько кварталов. Все здесь было, в общем, как и везде: те же витрины, тот же поток машин, те же фонари и люминесцентные панели, в призрачном свете которых сновали прохожие. И все же кое-что здесь было совсем другим. На плитах тротуара значились чьи-то полустертые имена, — такого Полынов нигде не видел. Моделью мусорных ящиков послужил не иначе, как Сатурн, — их круглые бока почему-то опоясывали широкие кольца. Но главное отличие было в чем-то ином, общем, пока неуловимом.

Вечер стоял теплый и тихий. Под ноги неподвижно ложилась резная тень листьев. Во многих окнах скользили радужные тени; поужинав, там созерцали стерео, и обитатели этих квартир сейчас находились в ином, зрелищном мире. Мимо, хихикая и бросая взгляды исподтишка, прошла

стайка девочек. Полынова обогнал грузный мужчина с портфелем “крокодил”. Навстречу, обнявшись, двигались бритоголовые парни. Они угрюмо, как бы нехотя, пели:

Двадцатый век уходит в изобилье,
Двадцатый век уходит в мятежах.
Все стали делать умные машины,
Стальной моралью соблазняя нас...

Парни удалились, и конца Полынов не дослышал. Возникало знакомое по прежним поездкам чувство отстраненности, словно он украдкой заглянул в чужую жизнь или увидел пьесу без начала и конца. В этом настроении была своя прелесть, но и своя грусть, которая, как он заметил, усиливалась с прожитыми годами.

На шумном перекрестке его внимание остановила внушительная, поперек фасада, неоновая надпись: “Фирма “Провидение” гарантирует исполнение ЛЮБЫХ желаний”.

Любых? Хмыкнув, Полынов пересек улицу и толкнул дверь конторы.

Сначала ему показалось, что небольшой уютный зал с темными деревянными стенами, низкими столиками, медными пепельницами и глубокими, красной кожи, креслами, над которыми изящно склонялись головки аппаратов типа “звуковой шатер”, — пуст. Но, приглядевшись, он различил в дальнем углу двоих, — женщина в летах сидела, прижимая, как щит, к груди сумочку и озабоченно внимала мужчине, который в чем-то убеждал ее. Слов не было слышно.

— Рада вас видеть...

Девушка возникла бесшумно. Фигурой она напоминала подростка, чуть раскосые глаза смотрели мягко, доверчиво, едва ли не застенчиво. Длинные, открытые платьем руки и ноги казались по-детски нескладными, и эта неуклюжесть была в ней особенно трогательной.

— Прошу, — потупясь, она показала ему на кресло. — Сигару, сигарету? С никотином? Без?

— Это и есть те желания, которые фирма берется удовлетворить? — опускаясь в кресло, Полынов невольно улыбнулся.

— О, нет! Минуточку...

Она включила “звуковой шатер” и шум города исчез, словно оба перенеслись на необитаемый остров. Тишина, мягкий овал света в окружающей полутьме и доверчивое лицо девочки напротив, — больше ничего не осталось.

— Полная гарантия анонимности заказа, — сказала она, как бы извиняясь за казенные бесцветные слова. — Так чем я могу быть вам полезна?

— Простите, вас зовут...

— Ринна. А вы, догадываюсь, иностранец?

— Что, акцент выдает?

— Я очень люблю акцент. Обычные слова, когда их говорит иностранец... Они так приятны своим неожиданным звучанием, понимаете?

— О, да! Только я должен извиниться перед вами. Ведь я зашел сюда с праздной целью. Всего один вопрос. Что значит — “любое желание”? Как это понимать?

— Очень просто. Мы сделаем все, что вы хотите, и так, как вы хотите. Все.

— А если я, допустим, захочу отправиться во времена Юлия Цезаря? Неужто и такой заказ выполним?

— Кем вы хотите быть? Патрицием, воином, рабом?

— Рабом, — Полынов подхватил шутку. — Желательно вашим.

— Можно, — Ринна кивнула. — За день это обойдется в... Она назвала сумму.

— Помилосердствуйте! — вскричал Полынов в веселом ужасе. — Разве путешествие во времени стало возможным, хотя бы для миллионеров?

— Нет, конечно, — она посмотрела чуть удивленно. — Мы не нарушаем ни законов природы, ни просто законов. А все, что в этих пределах и возможно технически, — к вашим услугам. Доподлинно воссоздать обстановку Древнего Рима,

чтобы вы смогли в ней пожить? Прикажите, мы сделаем. Сейчас многие хотят попасть в прошлое.

— Понятно, — Полынов вздохнул, потому что уходить ему все-таки не хотелось. — Ясно. Право, мне жаль, что я отнимаю у вас время.

— Я на работе, это моя обязанность, пожалуйста, не беспокойтесь. А поняли вы, кажется, не все. Вы думаете, быть может, что "Провидение" — фирма, как все прочие? Нет. Разумеется, мы можем снять для вас виллу, где-нибудь на Таити, устроить прогулку по Луне или пиршество Лукулла, — Ринна слабо пожала плечами. — Но это и другие умеют. Мы же предлагаем то, чего вы больше нигде не купите.

— Например?

— Например, если у вас есть желание прикончить, убить...

— Тигра? Бешеную собаку?

— Почему — собаку? Человека. Ой, что с вами?! Уж не думаете ли вы...

Она прикусила губу, но глаза ее выдали, и это доконало Полынова.

— Девочка, — сказал он, не слыша своего голоса. — Такими вещами не шутят.

— Простите, ради бога, простите! — воскликнула она с раскаянием. — Вот дуреха... Вы не сердитесь на меня, нет? — она ладошкой накрыла его руку, и Полынов задохнулся, чувствуя на лице отнюдь не романтическую испарину. Влажные глаза девушки были близко-близко. — Ужасно быть такой недогадливой. У меня тоже старомодный характер, даже на "помеле" — представляете? — никогда не каталась: боюсь! Никак не обрету профессионализм, ну, да вы меня понимаете. Сейчас, сейчас я вам все-все объясню про эти убийства...

И она объяснила.

— Человек, — надеюсь, вы согласитесь, — волен, как угодно, распоряжаться своей судьбой, своим телом, своей жизнью. Если, конечно, его поступки не наносят ущерба

другим... Но человек — существо очень, очень противоречивое, вот несчастье! — Ринна огорченно вздохнула. — Некоторым как раз хочется наносить ущерб другим. Ведь это опасно, верно? Это очень плохо, — она покачала головой, — очень. Что же делать? До сих пор никто не мог придумать ничего хорошего. И только наша фирма... О, такой нет даже в Америке! — воскликнула она с жаром. — Странно, не правда ли? Ведь все так просто! Есть люди, желающие убить. А есть люди, желающие умереть. Самоубийцы. Мы сводим их, понимаете? Все довольны. Маньяк, потому что удовлетворены его потребности, самоубийца, потому что ему помогли расстаться с жизнью, закон, потому что уменьшается число невинных жертв, ибо страсть убийцы успокоена. Я привела в пример, конечно, особый случай деятельности "Провидения": организация юридически чистого убийства стоит дорого! Но принцип, я думаю, вам теперь ясен. Кто-то хочет высказаться, а слушателя нет. Наоборот, где-то, кто-то изнывает от скуки. Кто-то жаждет геройски спасти девушку, а рядом девушка тоскует о рыцаре... Ну, и так далее, — она помахала рукой. — На случай полагаться нельзя, партнерам трудно найти друг друга. Тут мы и приходим на выручку...

Опомнился Полынов лишь в парке, где над темной водой озера сонно шелестела листва. Что же это такое, спросил он себя. Что же это случилось, если он ничего не может понять?

То есть разумом он как раз понимал если не все, то многое. Дикость может выглядеть цивилизованной и даже передовой. Стоит утратить меру, как лекарство оборачивается ядом, любовь — насилием, торговля — растлением. Так везде и во всем.

Знания создают возможности, а где возможности, там и соблазн. Эгоизм личности или правящего класса снимает тормоза, бескультурье оправдывает отмену морали, а затем люди гневно, потерянно недоумевают, кто же так изуродовал их жизнь.

Тысячелетиями смысл существования подавляющего большинства людей сводился к добыванию хлеба

насущного. Хлеб или смерть — это было так понятно, просто, незыблемо. Хлеб давала земля, ее от зари до зари надо было возделывать, орошая потом. Поколение за поколением рождалось, жило, сменялось с этой главной, неизбежной, часто единственной задачей и целью. Она определяла собой мышление, нравственность, мораль, была регулятором и мерой, очерчивала круг дел и желаний, радостей и горя, труда и забав, и все было стабильно в глубине, какие бы порывы ни сотрясали поверхность. Технический гений вызревал долго, но круг разорвал внезапно. Вдруг, впервые, едва ли не за десятилетия, оказалось, что один человек может прокормить своим трудом тысячу. К нищему явился сказочный джинн. Но как изголодавшийся порой не в силах оторваться от еды, даже если это грозит ему гибелью, так и здесь инерция возбудила безмерную жажду богатств и наслаждений. Наука открыла шлюзы небывалых возможностей прежде, чем успели возникнуть новые социальные отношения и духовные потребности. А деловитый, алчный хозяин немедленно использовал то, что давало ему выгоду и могущество. Так что в самой фирме “Провидение” не было ничего странного.

Но девушка почти ребенок! Живая, непосредственная, искренняя — и деловито щебечущая об убийствах! Возможно, у изголовья ее постели до сих пор сидит старая любимая кукла, с которой делятся маленькими девичьими тайнами. А может, не кукла? Может быть, там пистолет? Наркотики?

Если бы так! Но там скорей всего кукла.

Полынов стиснул перильца мостика.

Его отвлек звук, похожий на шлепанье босых ног. Слабо белея в темноте, по настилу, важно переступая лапами, шествовала лебединая пара. Самец глянул на Полынова, как на досадную помеху, и замедлил шаг, чтобы пропустить подругу. Полынов сдержал желание погладить птицу. Звук, похожий на шлепанье босых ног, стал удаляться и вскоре пропал. Полынов покинул парк, но уже не стал искать

экзотический кабачок, а поужинал в первом же, какой встретился, ресторанчике.

Возвращался он другой дорогой, через самую старую часть города, где дома еще помнили лихих дуэлянтов, а то и закованных в металл феодалов. Впрочем, металла на этих тихих улочках было и сейчас достаточно, — чуть не на каждом перекрестке стояли, сидели, простирали длани конные и пешие исторические деятели местного масштаба. Самым тяжеловесным был памятник Тиллу, который, невиданно расширив в каком-то там веке пределы страны, заточил, убил, сжег больше своих сограждан, чем любой воинственный недруг. У попираемого бронзовыми копытами подножья лежали цветы. Настроение Полынова испортилось окончательно, хотя в другой вечер он скорей всего даже не заметил бы этого проявления мазохистских чувств, — мало ли таких памятников и таких цветов! Тем большее удивление он испытал, обнаружив на крохотной площади поразительную и даже несовместимую со всем прочим скульптуру. Посреди площади, как живой, стоял прикованный к столбу человек, чьи ноги уже охватило жадное пламя костра. Освещенные изнутри языки спектролитового огня бросали отсвет на искаженное лицо, которое, однако, было величественно в смертной муке, одухотворено страстью, что сильнее боли. Словно подхваченное отблеском, тело взмывало над пламенем костра, над тщетой инквизиторского усердия; оно взлетало, как стартующая ракета, и это движение контрастно усиливала тупая плоскость монастырской стены, перед которой стоял памятник.

Не надо было пояснений, чтобы понять — Джордано Бруно.

Полынов благоговейно приблизился. И вздрогнул. Здесь тоже лежали цветы, но тут же на низком постаменте белела выведенная мелом надпись: “Разум — сифилис человечества”.

Мгновение — Полынов был уже за оградой. Мел въелся в шершавый камень, но он тер, тер, не щадя ладоней, и не

расслышал поскрипывающих шагов, а когда поднял голову, то увидел внушительную фигуру полицейского, который смотрел на него, словно раздумывая, — брать за шиворот или погодить.

— Так, — промолвил полицейский. — Нарушение правил — зачем?

— Надпись, — задыхаясь, выговорил Полынов. — Хулиганская надпись, которую я стер. Неужели вы ее не видели?

— Иностранец? — полицейский качнулся. — Все равно не дозволено. Платите штраф.

— Но как же так? — вскричал Полынов. — Какие-то хулиганы позорят вас, позорят страну, а вы...

— Вас не касается, вы потоптали цветочки, — равнодушно глядя мимо Полынова, полицейский протянул руку, уверенный, что штраф тотчас скользнет в ладонь.

Ничего не оставалось делать, как отсчитать бумажки. Получив деньги и протянув квитанцию, полицейский величественно удалился.

Звонить Лессу было рано. За окном номера в мглистое ночное небо тупыми колоннами упирались здания с бессчетным количеством этажей. Все видимое пространство было загромождено плоскостями домов. Далекие пунктиры окон придали им сходство с панелями вычислительных машин. Некоторые точки окон зажигались, другие гасли, и это еще больше усиливало сходство. Полынов задернул штору.

На столике вежливо подал голос видеофон.

— Слушаю, — сказал Полынов.

— Простите за позднее вторжение, — послышался в трубке напористый голос. — Говорит Бизи, корреспондент газеты “Темпора”. Я здесь, в отеле, и, честно говоря, вы доставите мне кучу неприятностей, если откажете в крохотном интервью. Всего минут десять, не больше!

Интервью у Полынова брали много раз, но сейчас для этого вроде не было повода. Как и зачем его разыскали? Полынов не мнил себя фигурой, о перемещениях которой трубят телеграфные агентства. Экранчик не передавал объема,



и на лице репортера, стандартно-приветливом и стандартно-невыразительном, ничего не удавалось прочесть.

— Видите ли, — сказал Полынов, колеблясь, — на традиционный вопрос “как вам понравилось...” я пока ничего не могу ответить. О науке мне говорить не хочется. А все другое вас вряд ли может заинтересовать. Поэтому...

— Минуточку! Поставим вопрос иначе. Разве вам, известному психологу, не интересно наблюдать, чем живет и

дышит обыкновенный гражданин той страны, с которой вы хотите познакомиться? Только, пожалуйста, не говорите, что все газетчики одинаковые!

Полынов от души рассмеялся.

— Жду вас, — бросил он в трубку. — Заходите.

Видеофон не лгал. Лицо Бизи действительно оказалось тем самым, о которых говорят, что оно не имеет особых примет. Но видеофон скрыл одну важную особенность взгляда вошедшего. Глаза Бизи взирали, ничего не отдавая, смотрели равнодушно и вместе с тем цепко, но эту цепкость трудно было приметить. Такого “закрытого” взгляда не бывает у репортера, для которого важно в любой обстановке тотчас установить контакт с любым человеком. Такой взгляд скорей присущ закулисным политикам, опытным кадровикам и работникам секретных служб, хотя, разумеется, не всем.

Предлагая гостю кресло, Полынов поспешно соображал, в какой мере верна неприятная догадка и что все это, черт возьми, значит?

— Итак, — сказал он, — раз я имею дело с обыкновенным рядовым газетчиком...

Полынов выдержал паузу.

— Разрешите? — Бизи вынул из нагрудного кармана сигару. — Смысл вашей интонации мне понятен. Искренне восхищен, — он наклонил голову. — Все верно. Позвольте представиться: Бизи, сотрудник департамента социальных проблем. Извините за этот маленький камуфляж. Как журналист я имел шанс встретиться с вами наедине, а это, поверьте, очень важно.

— Не знаю, — медленно проговорил Полынов, — что меня сейчас удерживает от намерения указать вам на дверь.

— Любопытство, — коротко ответил гость, закуривая.

Полынов посмотрел на него с невольным уважением.

— Послушайте, Бизи... А может, не Бизи?

— Нет, фамилия подлинная. И департамент тоже. Можете удостовериться.

Он протянул запрессованную в пластик карточку.

— Однако вы не просто сотрудник, — сказал Полынов, возвращая документ. — Разговор, стало быть, официальный? Хотя, что я, для официальных переговоров не являются в плаще и маске. Вы не находите начало несколько... э... опереточным?

— Что делать, обстоятельства, — Бизи спокойно разглядывал дымящийся кончик сигары. — Во всяком случае, разговор не доставит вам никаких неприятностей. Помимо тех, которые уже были в этот вечер. Если они, конечно, были.

— Вам-то какое дело?

— А, все-таки были!

— Вы что, следили за мной?

— Никоим образом! Глупо, а, кроме того, мы заинтересованы в вашем добром отношении. Тут чистая дедукция. Раз вы гуляли, то скорей всего могли кое-что заметить, и это "кое-что" вряд ли вам понравилось. Вы имеете представление о задачах нашего департамента?

— Откуда?

— Да, конечно. Кстати, маленькая просьба: пусть этот разговор останется, между нами.

— А вы не находите, что это уже слишком? Я ничего у вас не выпытываю. Оставьте, пожалуйста, свои тайны при себе.

— Не могу. Мне надо вас с ними познакомить.

— Зачем?

— Необходимость. Вы сами убедитесь, что ваше молчание никому не нанесет ущерба. Ни вам, ни вашей родине. Скорей наоборот.

— Объясните.

— Представьте, что вы инфекционист. К вам является некий, согласен, довольно подозрительный Бизи, который информирует вас, что в стране началась эпидемия. Эпидемия, которая может распространиться... далеко. В ваших или нет интересах узнать, что это за эпидемия? Сохранение в тайне такого разговора до отъезда из страны, по-моему, не столь уж большая цена за подобную информацию.

— Откуда я знаю, что дело обстоит именно так?

Бизи окутывало облако дыма, и частота затяжек, пожалуй, была единственным признаком его волнения.

— Если дело обстоит не так, — невозмутимо ответил он, — если я вас обманываю, то вы будете вправе нарушить свое слово и разгласить все до последней запятой. Такой поступок, между прочим, станет концом моей карьеры.

— Тогда почему вы не можете обратиться официально?

— Увы! — Бизи развел руками. — Полагаю, вы согласитесь, что так и должно быть, когда узнаете все. И еще. Хотя мы и беседуем как сугубо частные лица, мой визит к вам — не только моя инициатива.

— В любом случае я оставляю за собой право поступить так, как считаю нужным, — жестко сказал Полынов.

— Ладно, пусть будет по–вашему! Сейчас, здесь, — хочу я того или нет, — с моей стороны возможна только полная откровенность. Дело вот в чем. С некоторых пор в нашем обществе развилось умонастроение, которое нас беспокоит. Тревожен сам характер этого умонастроения, но еще тревожней то, что мы не можем выявить причину. Мы пришли к заключению, что эта проблема настолько сложна, неожиданна, что рядовые специалисты с ней не справятся. Разрешить ее, пожалуй, может специалист только вашего класса.

— Это вы называете откровенностью? Вы же ничего не сказали! Что за умонастроение? Какая проблема? При чем тут я?

— Терпение. Умонастроение можно выразить одной фразой: “Долой науку!” Точнее, даже так: “Смерть разуму!”

— Откуда вы взяли, что эта проблема нова? Не изучена? Подобным умонастроениям столько же веков, сколько самой цивилизации.

— Верно. По есть одна маленькая особенность. Вы, конечно, читаете газеты, следите за международными известиями.

— Не очень внимательно, признаюсь. Последнее время я был...

— Знаю. Но готов спорить, что вы летели сюда с убеждением: “Вот тихая, спокойная страна, где давно уже не происходит ничего серьезного. Конечно, газеты пишут о каких-то анекдотических случаях, но где таких случаев нет”. Верно?

— Да.

— Так вот — это на поверхности. Журналист, наблюдающий, так сказать, за кухней общественной жизни, подобен хозяйке, которая судит 6 состоянии воды в кастрюле по тому, закипает она или нет. Для посторонних вода в нашей кастрюле тепленькая. Но департамент, слава богу, располагает термометрами. Что вы скажете о кастрюле, вода в которой мгновенно нагрелась сразу на несколько десятков градусов?

— Скажу, что ее поставили на очень сильный огонь.

— А огня нет.

— Так не бывает.

— Конечно. Однако еще недавно у нас все было тихо и спокойно.

— Если я правильно понял, вы хотите пригласить меня на консультацию.

— Совершенно, верно.

— У вас есть Лесс.

— Он отказался.

— Так! Но почему меня? Мои взгляды, надо полагать, вас не слишком привлекают.

— Именно это нас и устраивает.

— То есть?

— Разумеется, не только это. Таких ученых, как вы, немного. Кроме того, вы уже здесь и свободны, а у других зарубежных специалистов время расписано на месяцы вперед. А нам никак нельзя медлить! — Бизи покачал головой. — И то, что вы из социалистической страны, поверьте, очень существенно.

— Решительно ничего не понимаю!

— Я все объясню, если вы согласитесь помочь нам как эксперт. Лесс, уверен, поймет и простит, а уж потерянные дни мы чем-нибудь компенсируем.

— Это все, что вы пока мне можете сказать?

— Я и так уж превысил свои права. Вот если вы согласитесь...

— Нет.

— Подумайте. Мир един, пожар, возникший в одном месте, угрожает всем. Это не мои слова.

— Во-первых, у меня нет оснований доверять вам, надеюсь, вы это сознаете! Во-вторых, "проклятие разуму", уверен, вызвано вашими чисто внутренними, социально-экономическими причинами, в которых я плохо разбираюсь. Следовательно, мое участие в ваших делах и неуместно, и бесполезно.

— Это ваше окончательное решение?

— Да.

— Жаль, — Бизи поднялся и загасил окурок. — Жаль, что вы так думаете. На всякий случай вот вам мои координаты.

Он протянул свою визитную карточку. Полынов взял ее. Казалось, что Бизи порывается еще что-то сказать и борется с этим желанием.

— А! — махнул он рукой. — Положения это все равно не ухудшит. Должен вам кое в чем признаться.

— Еще какая-нибудь тайна? Тогда увольте.

— Все равно вы догадаетесь. Но сначала несколько слов. Существует, на мой взгляд, еще одна причина вашего отказа. Вы не восприняли мои слова всерьез. Вы не поверили, что угроза реальна. В такой мирной стране, в такой славный вечер, — вероятно, я бы тоже не поверил. Не иначе тут какая-то двойная игра, хотя зачем кому-то с вами играть? Все слишком смахивает на фарс, допустим. Должен, однако, разъяснить, что номер в отеле вам заказали мы.

— Лесс... — Полынов шагнул к Бизи. — Где Лесс?

— Не беспокойтесь! — Бизи порывисто отступил. — Лесс в полном порядке, с нашей стороны ваш отдых больше ничем не будет нарушен. Просто Лесс ждет вас не сегодня, а завтра.

— Что все это, наконец, значит?

— Только то, что нам крайне важно было встретиться с вами срочно и наедине. Надеюсь, теперь вам ясно, что фарсом здесь и не пахнет.

— Уходя, пожалуйста, прикройте за собой дверь поплотней.

Бизи усмехнулся.

— Я думал, вы скажете “вон”!

— Надеюсь, вы понимаете, — сдерживаясь, проговорил Полынов, — что эта ваша “услуга” освобождает меня от всяких слов и обещаний.

— Разве я уж настолько туп? — Бизи широко улыбнулся. — Но кто всерьез обращает внимание на фарс? Желаю счастливого отдыха.

Дубки выбегали к дороге, как расшалившиеся мальчишки, уютно посвистывал ветер, и тени облаков скользили по гладкому полотну дороги, то уступая вершины холмов брызжущему солнцу, то погружая их в задумчивый сумрак.

Легко было заметить, как ухожена здешняя земля. Любой овражек перегораживали стенки водослива, луга были гладкими, как свежевыбритые щеки, чистые перелески просматривались далеко вглубь. Сюда, чувствовалось, был вложен труд многих поколений. Когда-то, — уже забылось, когда, — людей здесь угнетали болотные лихорадки, мучили насекомые, подстерегали неурожаи, бедой грозили пожары и наводнения. Когда-то человек был так же беззащитен перед природными бедствиями, как перед социальными, хотя источники первых были не в его власти, а источники последних, казалось бы, целиком зависели от его поступков, желаний и воли. Однако с природными бедствиями уже почти везде было покончено, тогда как с социальными...

Тем благодатней казалась природа, спокойствие ее лесов, нега разнотравья, куда горожанин мог скрыться от тягостных проблем, нервных перегрузок и людской скученности. Заманчивая идиллия в духе Жан–Жака Руссо! Впрочем, если бы в лесах Швейцарии и Франции было полным–полно комаров, еще вопрос, возник бы у философа клич: “Назад, к природе!”

Однако даже заядлый урбанист не устоял бы в своем скептицизме, мчась погожим утром по синим холмам и безмятежным перелескам. Машина шла сама по себе, в окна, сменяя друг друга, врывались запахи земли, с коротким посвистом мелькали перила мостиков, проблескивали ручейки, и вчерашний разговор с его томительными недомолвками казался на свежем ветре вдвойне нелепым и глупым.

Но не выходил из памяти.

И причиной тому были не столько личные переживания, сколько привычка исследователя докапываться до сути. В Дорогу Полынов прихватил справочник “Все обо всем” и успел его просмотреть. Он узнал, сколько в стране производится электроэнергии и сколько в стране комнатно–декоративных собак, и какова структура экспорта, и что читают граждане. Одного он не смог найти: показателей социального здоровья общества. Это его не удивило — прятать наиболее важные сведения было давней и распространенной традицией. По данным о наркомании, преступности и количеству душевнобольных Полынов все же попытался прикинуть индекс. Цифра оказалась неутешительной. Но она была примерной и, ясное дело, устаревшей, а истину мог сообщить разве что какой-нибудь Бизи.

И еще, пожалуй, Лесс. Да, Лесс должен был знать многое. Другой вопрос — стоит ли его спрашивать.

Хмурясь, Полынов разглядывал мелькающий пейзаж. Тогда, ночью он все-таки дозвонился до Лесса. И умолчал о событиях вечера. Не потому, что разговор мог прослушиваться, а потому, что вся эта нелепая история взволновала



бы Лесса. Чего доброго, он разъярился бы и полез в драку. А что бы это дало? Ну, извинятся перед ним в департаменте (хотя вряд ли, — скорей всего, отопрутся). А смысл? Никакого. Только испортит себе настроение.

А ведь Бизи и это учел...

Впереди возник поворот с указателем. “Урания”, прочел Полынов. Машина замедлила ход и свернула с магистрали. Дорога запетляла среди соснового леса. Вскоре с холма

открылся весь научный городок. Разбросанные в зелени коттеджики издали смотрелись, как пряничные игрушки, — такие они все были нарядные, пестрые, заманчивые. Меж ними были раскиданы башни и кубики лабораторий. Вдали синело море.

Когда-то своим умением хорошо устроиться славились монастыри. В этом научные городки им не уступали.

Очередной поворот открыл взгляду первое лабораторное здание. Полынов невольно притормозил. Розовая, без окон, плоскость стены была испещрена звездчатыми кляксами, словно тут кто-то бил бутылки с чернилами.

У дороги стоял полицейский.

— Эй! — окликнул его Полынов. — Славные тут развлекались детишки, а?

Кивком он показал на испачканную стену.

Полицейский повернул голову с таким выражением лица, словно это движение стоило ему невесть каких усилий. Секунду он изучал стену. Затем — с тем же выражением — перевел взгляд на Полынова.

— Пресса?

— Нет, я...

— Шкуры, значит, везете?

— Какие шкуры?

— Какие, какие... Сами, небось, знаете.

— Я ничего не знаю! Что вы имеете в виду?

— А, иностранец... Не из этих, стало быть. Ну, проезжайте.

— А если бы я был из “этих” — тогда что?

— Ничего. Ребята как ребята.

— Да кто же они?

— Кто, кто — едете, а не знаете. Вот помню...

Что полицейский помнил, узнать не удалось. Внезапно он уставился в небо. Полынов тоже посмотрел вверх.

Над гребнями сосен летели точь-в—точь ведьмы на победах. “Ведьмы” были, как на подбор, молоденькие, рыжие, в длинных развевающихся рубахах. На шалых лицах

прозрачно стекленели глаза. Оседланные “ведьмами” продолговатые летательные аппараты тонко звенели в воздухе. Оказавшись над головой полицейского, одна из них хихикнула и задрала рубашку. В просвете мелькнуло смуглое бедро. Полицейский осклабился. “Ведьма” показала ему язык. Эскадрон скрылся за ближайшей купой деревьев.

Полынов читал о “ведьмах”, но видел их впервые, навеянные представления оказались правильными.

— На шабаш полетели, — со вкусом произнес полицейский. — Местные. Утром, а? И ведь не пьяные — озорные. Это, я понимаю, жизнь, не тощища...

Полынов хотел было задать пару–другую вопросов, но полицейский уже повернулся спиной и занялся созерцанием шоссе, где показался какой-то виляющий автомобильчик. Полынов тронул машину.

Тенистые улочки встретили его тишиной и безлюдьем, точно было воскресное утро, где-нибудь в доброй старой Англии. Два–три человека с собаками на поводке — вот и все прохожие. Шум мотора, казалось, заставлял морщиться чинные коттеджи. Не слышно было ребячьего гомона. Полынов взял управление на себя, отсчитал третий поворот и свернул налево.

Издали домик Лесса ничем не выделялся среди других, но Полынов сразу заприметил его по обилию редкостных растений в саду и небрежно распахнутым воротам. С крыльца, светясь улыбкой, уже сбегал, вернее, скатывался сам хозяин. Полынов утонул в его пухлых объятиях.

Наконец, объятия разомкнулись, и они, еще горячие от смеха и беспорядочных возгласов, взглянули друг на друга.

Когда человека не видишь много лет, а потом жадно в него вглядываешься, то в глаза прежде всего бросается то новое, что в нем появилось. Нельзя было сказать, что Лесс разительно изменился, постарел, обрюзг. Вовсе нет. Правда, он выглядел утомленным, даже очень утомленным, но дело было не в этом. Каким бы усталым или измученным ни оказывался Лесс, от него всегда исходил ток жизнерадостности,

крепкого душевного здоровья, теплого спокойствия. Обаяние детской чистоты и непосредственности было так же свойственно Лессу, так же неотделимо от его личности, как пухлые ямочки на щеках, порывистость и одновременно округлая плавность жестов, как задумчивая манера подпирать кулаком подбородок или живой, отзывчивый блеск маленьких, глубоко посаженных глаз.

Все это было и теперь. Было, но не осталось прежним, как не остается прежним фарфор, едва глухой и тусклый звук от удара палочки выдает скрытую в нем трещину. То же самое явилось Полынову в поспешной, как бы прячущейся улыбке Лесса, в торопливой суете жестов, и поразило его так, что он не пожелал довериться первому впечатлению. Лесс уже вел его в дом и говорил, не переставая.

— Тут, понимаешь, у меня раззор, разорение, пожалуйста, не обращай внимания, такие, знаешь ли, пустяки... Марта с детьми в горах, куда и мы тотчас двинемся, я теперь, стало быть, холостяк, сам себе голова, так что...

Никакого особого разорения в комнатах не замечалось, хотя все имело слегка нежилой вид. По дороге в кабинет Полынов успел спросить о здоровье семьи, а Лесс успел ответить, потом уже Лесс задал вопрос о дороге, и Полынов ответил, но когда они вошли в кабинет и уселись, то сразу замолчали. Сложив руки на округлом, достойном Пиквика, животике, Лесс, тепло улыбаясь, глядел на Полынова, а Полынов, тоже улыбаясь, смотрел на Лесса. На стене в футляре красного дерева солидно тикали старинные маятниковые часы, и только этот звук был в комнате. Их взгляды встретились, и обоим вдруг стало хорошо, очень хорошо, совсем как прежде, лучше, чем в ту первую секунду, когда они кинулись друг другу в объятия, и в Полынове смолкла тревожная мысль о том, что сразу после объятий все было не совсем так, как должно, и еще неизвестно, будет ли впредь, как должно, и что причиной тому не долгая разлука, не естественная неловкость первых мгновений встречи, а нечто совсем иное, пока непонятное.

Лесс встрепенулся.

— Ты здесь! — словно не веря, он восторженным взглядом окинул рослую фигуру Полынова. — Да еще на день раньше, чем обещал. А я, грешным делом, уже верить перестал, что ты выберешься. Целых семь лет я тебя не видел — это надо же! — он покачал головой. — Ну, рассказывай. Нет, погоди! Побудь минуточку, я мигом.

— К чему беспокойство, я не голоден.

— Кто говорит о еде? — грозно прорычал Лесс. — Ты все забыл!

— Верно, верно, — покаянно улыбнулся Полынов. — Каюсь, забыл. Тащи свой эликсир.

— Знаменитый “эликсир Лесса” давно уже стал легендой, и потому, что Лесс рассказывал о нем доверительно, и потому, что его мало кто пробовал, а кто пробовал, тот многозначительно крутил головой. Как Менделеев гордился сбоим умением делать чемоданы едва ли не больше, чем составлением периодической системы, так и Лесс полагал, что истинных успехов он добился в “гастрономической”, по его выражению, фармакологии, и все сокрушался, что проклятый космос мешает ему заниматься любимым делом, мало того — губит те настойки, которые он украдкой провозил на орбитальные станции. Ибо травы, как он пояснял, на редкость капризны в своих целебных и вкусовых свойствах. Брать их надо далеко не во всяком месте, в строго урочные часы, при особом состоянии погоды и даже активности солнца, а иначе получится обычная микстура, которую любой понимающий человек выльет в раковину. И потреблять настойку тоже следует в определенные часы, для каждого человека индивидуальные, согласованные с его биоритмами. Увлечение Лесса выглядело чудачеством, но Бергера от лучевой болезни вылечил именно он и как раз травами. Поэтому, хотя над “зельями Лесса” добродушно посмеивались, говорили о них с уважением, как, впрочем, и обо всем, что делал Лесс, ибо сделанное им всегда оказывалось солидным, достоверным и значительным.

Лесс исчез из кабинета, а Полынов поудобней устроился в продавленном кресле и огляделся. Кабинет напоминал прежнего Лесса больше, чем сам Лесс. Заваленный стол, какие-то погребенные бумагами и лентами приборы, изогнувшиеся винтом стопки книг, — все было точно таким, как прежде. Разве что помещение тут было побольше, чем в космосе, и в нем находилось больше самых неожиданных вещей. Явно не к месту тут был стереотелевизор — такому суперу полагалось находиться в гостиной, но там, насколько успел заметить Полынов, его как раз и не было. Непонятно почему на столе расположилась и желтая пластмассовая утка. Уму непостижимо, как дотошная аккуратность в работе и скрупулезная педантичность в выводах сочетались у Лесса с умением создавать хаос всюду, где он обосновывался. На корабле ни стерео, ни утки, конечно, не было. Но там, к примеру, всегда был чайник для гостей, которые у Лесса никогда не переводились. Интересно, есть ли здесь чайник?

Чайник был. Он стоял бок о бок с диспенсором, и оба предмета — прибор и чайник — были задвинуты под кресло, на котором лежала груда каких-то стереокатушек. На подоконнике сушились непонятные корешки. Полынов взял один, пощупал и сморщился: запах был едкий.

Он еще раз окинул взглядом кабинет, смутно удивился, но не успел разобраться, что именно его удивило, потому что на пороге появился Лесс с бутылкой и стаканчиками в руках. Жидкость в бутылке была коричневой, на дне ее колыхались какие-то водоросли.

— Приступим, — торжественно сказал Лесс. — Я кладу жизнь на то, чтобы обычай пить при встрече заменить обычаем лечить. Надеюсь, твой главный биоритм остался прежним?

— Так точно, господин лекарь, — Полынов шутливо поклонился. — Это от генов, господин профессор. Ритм не меняется, ты же знаешь, — добавил он уже другим тоном.

— “Я знаю только то, что ничего не знаю”. Поверь мне, это мудрость всех мудростей. Ладно, в какой ты сейчас фазе?

— Неужели и это важно?

— Важно ли? — Лесс всплеснул руками. — И это спрашивает психолог! Когда, когда мы, наконец, станем относиться к человеку хотя бы так, как мы относимся к машинам? — проговорил он с внезапной яростью. — Да, да — к машинам, и нечего удивляться! Никто не включает мотор в сеть не с тем напряжением, никто не заливает в него бензин с помоями, а с человеком мы поступаем так сплошь и рядом!

— Ну–у, — протянул Полынов. — Потребуем равенства с машинами, да?

— Ты все смеешься! Равенство, хотя бы и так... Попробуй кто-нибудь поцарапать зеркало телескопа, пережечь компьютер, бросить сор в ракетное топливо, — что будет? А оскорбить человека — это можно, измотать его — пожалуйста, оглупить — тем более! Не только разрешается, но и поощряется, не на словах, так на деле. Это не машина! Разве я не прав? Вот так-то...

Вспышка разрядилась неловким молчанием. Лесс захлопотал у стола, смахнул бумаги, отодвинул утку, которая тут же заклевала носом, пошевелил губами, видимо, рассчитывая в уме дозу, и, держа стаканчики на уровне глаз, отмерил жидкость. Полынов, думая о своем, машинально следил за его движениями.

— Кажется, у вас по такому случаю полагается тост? — неуверенно спросил Лесс.

— Не тогда, когда дело пахнет медициной, — Полынов с сомнением взял стаканчик.

Про себя он отметил, что Лесс так и не вспомнил о фазе его биоритма.

— Подожди! — остановил его Лесс.

— Что такое?

— Медицина или не медицина, а эту штуку нельзя пить залпом.

— Хорошо, я не буду пить залпом. Твое здоровье!

— Здоровье всех...

Сделав глоток, Полынов сначала спросил себя, есть ли в этой жидкости алкоголь. Затем он спросил себя, а какой, собственно, у напитка вкус? И уж совсем он не смог бы ответить, нравится ли ему то, что он пьет.

А по глазам Лесса было видно, что такой вопрос не замедлит последовать. Отвратить его можно было только одним способом, и Полынов, наконец, решил высказать то, что с первой минуты не давало ему покоя.

— Прекрасно, — сказал он. И словно невзначай добавил: — А у тебя утомленный вид. Много работы? Или какие-нибудь неприятности?

— Что? — взгляд Лесса метнулся. — Ах, да, да, конечно, надо было бы сразу сказать, да вот не решился сразу, такие понимаешь, дурацкие обстоятельства, просто невезение какое-то... Устал я, это верно, перенервничал, работы было много, теперь все не так, как прежде, — ночь напролет, и свеж. Пустяки, конечно, но очень уж неловко, что я не в форме, и вообще...

Слова катились, как некстати рассыпанный бисер. Полынов торопливо закивал в ответ, ибо нет ничего более неловкого, чем попытка искреннего человека обойти правду.

— Что я, однако? — спохватился Лесс. Он озадаченно тер лоб. — Не то я говорю, дорогой мой... Тут вот какая история: не ждал я тебя сегодня с утра. И осталось одно срочное дело, из-за которого мне придется тебя покинуть. До самого вечера. Только до вечера! А уж завтра... Не сердишься?

Он смущенно взглянул на Полынова.

— Интересно, как это я могу сердиться? — в сердцах сказал Полынов. — Я же сам виноват. Побуду один, что за церемонии!

Не рассчитав, он со стуком опустил стакан. Лесс удивленно моргнул. И тотчас же все стерла широкая улыбка.

— Ты прав, — он вскочил. — Все это пустяки, суета сует, и для начала мы славно искупаемся. Пошли!

— Но ты спешишь...

— Время есть, успеется. Да, забыл: тебе понравилась настойка?

Рощу испещряли тропинки, но людей видно не было. Неподалеку гулко стучал дятел, в затененной траве матово поблескивали росинки, однако поляны уже дышали сухим зноем и там, распуская алые плащики–подкрылки, из-под ног, с треском выпархивали кузнечики.

— Тихо живете, — проследив их полет, заметил Полынов. — Пустынно.

— Так все же разъехались — лето.

— Я бы отсюда вовсе не уезжал. Лес, тишина, море, — что может быть лучше?

— М–да, — неопределенно согласился Лесс. — Тишины хватает. Успел посмотреть столицу?

— Немного.

— И какое впечатление?

— Разное.

— Применимо к любой столице. Дипломатом ты стал, — Лесс коротко вздохнул.

— Боюсь ненароком задеть твой патриотизм.

— Зря. Любопытно, как тут у нас — на свежий-то взгляд?

— Непонятно.

— Непонятно?

— Видел я тут одну надпись: “Разум...”

— А–а! Догадываюсь о содержании. Просто ты не привык к нашей повседневности. Она, знаешь ли, пестрая. Порой я думаю...

— Да?

— Мы слепые.

— В каком смысле?

— В историческом. Вот этот дуб, — Лесс махнул рукой в сторону могучего красавца, — не знает, что ему предстоит цвести, а потом дать желуди. Ему это и не нужно, не в его власти что-либо изменить. А мы? Что больше всего удручает, так это невежество, которое под видом образования передается детям. Математике, не жалея времени, учат. А

что все свойства психики, поведения дают разброс, который может быть выражен гауссианой, — в каком учебнике о ней сказано? О великом эволюционном значении этой кривой им говорили? Кому известно, что без ее учета все рассуждения об этике, морали ничего не стоят? В каких школьных учебниках, опять же, написано о законах поведения сложных систем, которым подчиняется и наше развитие? О тупиках и ловушках прогресса? Добро бы все эти необходимейшие знания были новостью. Так нет же! Но об ультразвуковой соковыжималке, о речах политических однодневок, спортивных играх кричат на всех перекрестках, а об этом — нет.

— Ищи, кому это выгодно, — пробормотал Полынов.

— Да, конечно, — понурился Лесс. Его лицо то вспыхивало в солнечных бликах, то погружалось в густую тень, отчего попеременно казалось оживленным и хмурым. — Хозяин и слуга, богатый и бедный, класс и классовая борьба — читал. Но узко все сводить к эгоизму правителей, их слепоте и алчности. Сознание человека отстает от им же вызванных изменений, иначе не объяснишь, почему научно-техническая революция, экологический кризис и многое другое застали нас врасплох. К чему такое запаздывание может привести в дальнейшем, ты, конечно, понимаешь.

— А чем оно вызвано? — прищурясь, спросил Полынов. — Не только тем, что добытые знания, как эго вытекает из правила гауссианы, не могут сразу стать всеобщим достоянием и тем более служить руководством к действию. Не кажется ли тебе, что для кое-кого “человек технический” предпочтительнее “человека разумного”? “Человек технический” — он же “потребляющий”, “зрелищный”, “одномерный”, “узкопрофессиональный”, какой угодно, лишь бы не думающий, понимающий, действующий. Сам он становится таким или ему в этом очень и очень помогают?

— Опять ты видишь за всем классовый эгоизм! По-твоему, наши дорогие монополисты-капиталисты, креслозадые чиновники, сладкогласые политики, враги себе? Не

жажда всеобщего блага, но чистый инстинкт самосохранения должен им подсказывать, что дальше так нельзя, что слепота массового сознания рано или поздно погубит всех — в том числе их самих!

Не удержавшись, Полынов фыркнул.

— Милый, дорогой Лесс! Разве французскую или русскую аристократию инстинкт самосохранения научил, что землю надо отдать крестьянам и установить хоть какую-то свободу? Где и когда в истории правящий класс добровольно, без боя умерял свой эгоизм? Вот уж чего не было, того не было. Так что не жди и не надейся.

— Тогда, видать, безнадежно, — сказал Лесс. — Что?

— Все. Или быстрые, но контролирующие изменения, или кровавая операция. А кровь... — Лесс содрогнулся. — Может быть, уж лучше “бабуины”.

— Это еще что за звери?

Лесс вздохнул.

— Надпись, о которой ты напоминал, — их рук дело. Позавчера — “ангелы”, “рокеры”, вчера “фузелены”, сегодня — “бабуины”. Это как гной, как высокая температура, как лихорадка. Хватит об этой мерзости! Что-то мы не о том говорим...

Лесс умолк. В роще уже чувствовалось свежее дыхание моря.

Это верно, подумал Полынов. Очень даже верно. Я не говорю о том, что произошло вчера. Лесс не говорит... Поди догадайся, о чем! Я молчу, ты молчишь, они молчат ~ такое вот упражнение в дипломатической грамматике. Гостю неловко вмешиваться, хозяину неловко впутывать гостя, я бы вел себя точно так же. И все-таки мы говорим о том, что нас волнует. Да, да! Мы не вспоминаем прошлое, сенсации последних конгрессов нас не занимают, старых друзей будто нет вовсе, судьбы человечества нас, видите ли, интересуют не больше, чем предстоящая рыбалка в горах Хлори. От кого и зачем мы таимся? Какого черта! Многолетняя дружба — или этого мало для полной откровенности?

— Между прочим, — заговорил он, — вчера мне довелось познакомиться с одним твоим соотечественником. Знакомство состоялось, надо сказать, при довольно странных обстоятельствах. Некий человек по имени Би...

Тропинка была узкая, Лесс шел впереди и вдруг застыл, как при звуке выстрела.

— Что? — Полынов быстро огляделся.

— Жук.

— Жук? Какой жук?

— Да вот же. Ты когда-нибудь видел такого? Полюбуйся; эндемик, местная фауна.

В воздухе, описывая спиральные круги, басовито гудел изумительный, отливающий перламутром жук. Он кружил настойчиво, упорно, как заведенный.

— Прелестный экземпляр, ты не находишь?

— Прелестный, — недоумевая, согласился Полынов.

Жук сделал еще один оборот и стал медленно, с достоинством, удаляться. Лесс коротко и сухо рассмеялся.

— Ты чего? — с недоумением спросил Полынов.

— Так, ничего, вспомнил один анекдот. Мальчик ловит сачком жука, хочет наколоть его на булавку, а жук ему говорит...

— Жук?

— Он самый. “Разве папа не запретил тебе баловаться с электричеством?”

— Веселый анекдот, — сказал Полынов. — Очень веселый.

— Уж какой есть.

Вот даже как, сказал себе Полынов. Значит, таким вот образом... Нюхай цветочки, стало быть, и вообще... Ну, ладно. Лессу в конце концов видней. Да, ему видней.

— Не обессудь, — внезапно сказал Лесс. — День сегодня нескладный. Но ты не беспокойся, отдохнем на славу.

— Я не беспокоюсь, — ответил Полынов. — Нисколько.

— Вот и прекрасно.

Край обрыва порос соснами. Стволы некоторых накренились, а корни повисли над пустотой, словно деревья

спрашивали: “Шагнуть или не стоит?” Людей на пляже было немного, вдали ослепительно белели треугольные паруса яхт. Море с шумным вздохом накатывало на песок, оставляя неровные строчки пены.

Лесс и Полынов, на ходу стаскивая одежду, сбежали к воде.

Море — ласковое, теплое, колышущееся — приняло их, смыло заботы, убаюкало на волне. Они резали его гладь, ныряли, так что зыбкое пятно золотистого света вверху туманилось синевой, отдыхали на спине и снова ввинчивались в податливо-упругую воду. А когда они наплавались и вышли, их мокрые тела охватило приятное тепло. Они повалились на песок, растянулись в блаженстве, как когда-то, как в детстве, до всяких полетов в космос, до проблем науки, которые пришлось решать, до степеней и званий, которых они достигли.

— Осторожней, тут мазут, — предупредил Лесс, когда Полынов захотел подвинуться.

— Ничего, — пробормотал Полынов. — Я вижу.

Они помолчали, следя за полетом чаек.

— Дураки были эти кроманьонцы, — после недолгого молчания проговорил Лесс.

— Угу, — согласился Полынов. — А почему, собственно?

— Чего им не сиделось? Саблезубых тигров и всяких там пещерных медведей они уже победили, в их власти оказалась вся планета — и какая! Без промышленных комплексов, ядерных бомб, грязи, неврозов, проблем и наркотиков. Зачем их потянуло к цивилизации? Ловили бы себе мамонтов, ели, спали, нежились, как мы, на бережку, жили бы, не считая веков, — просто, спокойно, долго.

— Считаешь, могли бы? — Полынов лениво пересыпал меж пальцами песок.

— А разве нет?

— Конечно, нет.

— Так уж и нет? Неисчерпаемые ресурсы, никаких серьезных соперников, никаких, стало быть, стимулов прогрессировать.

— Сладкий сон о несбывшемся, — Полынов прикрыл глаза. Солнце светило в лицо и пронизывало тьму сомкнутых век всплесками багровых протуберанцев. — Прикончить бы того пещерного гения, которому не жилось спокойно. А? И не надо было бы старине Лессу спешить по своим высоконаучным делам, соорудили бы вместо этого шашлычок из мамонта, чем плохо?.. Вот только прежде огонь следовало изобрести.

— Как знать, может, и стоило гения-то, — пробормотал Лесс.

— Идеалист несчастный! — Полынов перевернулся на бок. — Кто только что говорил о ловушках эволюции? Никаких конкурентов, планета неисчерпаема, плодись, значит, кроманьонец и процветай? Славно! Кроманьонец радостно последовал этому рецепту и размножился, как треска. А дальше? Дальше повальный голод. Много ли возьмешь с земли без скотоводства, посевов, — прогресса то есть? Помирай или прогрессируй! Кроманьонец не дурак, знал, что выбрать.

— И ни от чего не спасся, — кулак Лесса рубанул воздух. — Ни от голода, ни от смерти. В направленности эволюции я не хуже тебя разбираюсь. А что получается? Не вольны люди выбирать себе путь, вот что выходит! Мы создаем обстоятельства, они диктуют нам, как поступить, и мы поступаем, — о, по доброй воле, конечно! — с учетом обстоятельств. Смысл, смысл? Других планет достигли, а счастья? Грызем друг другу глотку, кто кого сильней, тот того и съел. И все, все говорят о благе. Как это у Платона в его законах устройства счастливого общества? Все должны не только повиноваться Закону, но и славить его. Что мы публично и делаем. Внезапная и яростная горечь Лесса, столь неуместная здесь, в солнечной неге, горечь без видимого повода, столь противоречащая характеру друга, так ошеломила

Полынова, что он не сразу нашелся с ответом. А когда нашелся, то было уже поздно. Лицо друга обмякло, сконфузилось, взгляд, как бы ища отступления, метнулся к часам.

— Боже мой, — полдень!

Лесс вскочил, торопливо натягивая одежду.

— Ты извини, — бормотал он. — Веду я себя нескладно, говорю нескладно, но это в последний раз. Понимаешь...

— Нет.

— Разумеется, разумеется, — Лесс, пыхтя, заправлял рубашку. Полынов напрасно ловил его взгляд. — Я тут нафилософствовал... Пустое, не обращай внимания. Все нервы, жара и спешка.

Полынов тихонечко присвистнул. — Что?

— Так, ничего. Жара, нервы.

— Сердишься?

— Просто не понимаю.

— Порой я сам себя не понимаю. С тобой так не бывает?

— Бывает.

— Вот.

— А, может быть, все-таки...

— Нет. Надо бежать. Не умею опаздывать.

— Ладно. До вечера.

— Да, да. Успеем, все успеем. Ты останешься или пойдешь куда?

Полынов заколебался. Ему показалось, что вопрос был задан не просто так. “Черт знает что, я становлюсь подозрительным...”

— Я еще часик–другой поваляюсь на песке.

— Правильно, — Лесс кивнул. — Отдыхай. Когда проголодаешься, в трехстах метрах отсюда — вон там, — чудесный Ресторанчик. Кстати: я достал настоящую красную икру.

— Икру? Зачем?

— Темный ты, оказывается, человек, — Лесс с улыбкой покачал головой. — Не рыбак. Это лучшая наживка для форели, которую мы завтра будем ловить.

— А–а!

— И только настоящая, заметь. От синтетической форель нос воротит. Чуешь, какие у нас перспективы?

— Чуять-то я чую...

— Значит, до вечера. Успеем, все успеем! Держи ключ. Дома у меня неплохая библиотека. А в ресторанчике советую заказать шанчики в соусе. Не хочется мне тебя оставлять, ох, как не хочется, да только над всеми нами есть бог — дело. Смотри, не перегрейся.

— Уж как-нибудь.

— До вечера!

— До вечера.

Лесс помахал рукой, и Полынов помахал тоже. А еще есть такая славная игра, подумал он. Детская. “Да” и “нет” не говорить, “черного” и “белого” не называть. Только она мне уже порядком надоела. Ну, посмотрим...

Уже с обрыва, прежде чем скрыться в зарослях, Лесс снова помахал рукой. Полынов ответил. На мгновение ему захотелось догнать Лесса. Он тихо зарычал и двинулся к морю.

Серенькая, с крохотным хоботком букашка карабкалась по откосу песчаной ямки. Съезжала вместе с песком, увязала всеми лапками и снова карабкалась. Иногда обвал переворачивал ее на спину, она беспомощно трепыхалась, чудом вставала на ноги и, как ни в чем не бывало, продолжала свой путь. Полынов, наблюдая за букашкой из недоступной ей дали, попытался взглянуть на мир ее глазами, и ему открылась огромная, безжалостно залитая солнцем пустыня с исполинскими барханами, которым не было ни конца ни края. Вот так же примерно они с Лессом карабкались когда-то по черным увалам Меркурия, так же оседал под ногами песок, только на них были скафандры, и жара их не мучила, а неподалеку находился готовый принять их вездеход. Ничего этого у букашки не было: она ползла себе и ползла, неизвестно куда и неведомо зачем.

Полынов осторожно смахнул песчаный гребень, чтобы облегчить ей путь, но букашка испугалась, суетливо

забегала и повернула в сторону. “Я бы тоже испугался, если бы передо мной ни с того, ни с сего исчез целый хребет”, — лениво подумал Полынов. Он сел и огляделся.

Море вдали было ярким, как синий расплавленный металл. Людей на пляже прибавилось, но оживления не чувствовалось. Двое парней тащили вполне одетую девушку с явным намерением ее окунуть. Девица притворно упиралась и повизгивала. Никого это не касалось. Один парень громко осведомился у другого, не пора ли устроить маленький стриптизик. Девица взвизгнула чуть громче. Никто и ухом не повел. Кто не купался, тот млел на солнце. Ближе всего к Полынову был мужчина в клетчатых плавках. Он угрюмо заправлялся пивом.

— Хотите? — он перехватил взгляд Полынова. — Нет? Вы правы: истина в вине, отнюдь не в пиве. В прогрес-с-сирующей наркотизации человечества! Ваше здоровье.

Он опустошил банку.

Полынов встал и пошел к морю. Строй медноствольных сосен скрывал близость поселка. Лишь неподалеку, у причала возвышалась круглая, зеленовато–фарфоровая, с белой винтовой опояской башня, должно быть, какая-нибудь лаборатория. Впрочем, вида она не портила.

Взрезая волны, промчались влекомые дельфинами водные сани.

Полынов искупался в четвертый раз и слегка заскучал. Все бы, казалось, вот так нежиться на песочке, а что-то мешает. И непонятно, что. Отсутствие привычки? Или взволнованность Лесса, которая не идет из памяти?

Счастье пещерных жителей, хм... Сорок лет — уже дряхлость, а до этого переломы, болезни, включая кариес — и никто тебе не поставит пломбу. Завидная, что и говорить, участь.

Мужчина в клетчатых плавках осушил пятую банку пива и теперь закусывал какой-то рыбешкой. У Полынова засосало под ложечкой. Видно, пора было отдать должное изумительному ресторанчику, о котором говорил Лесс.

Не торопясь, Полынов стал одеваться. Сосед принялся за шестую банку пива.

— Вредно столько на солнце, — сказал Полынов.

— А, — ответил тот. — Все едино.

Ему было далеко за пятьдесят. Почти недостижимый в пещерной эпохе возраст. Да и в более поздней — тоже.

Издали донеслись какие-то смутные крики. Все повернули головы в сторону башни. Там, похоже, сгущалась толпа. Вопили что-то, размахивая руками. Кусты мешали толком разглядеть, что происходит.

Мимо Полынова стрелой пронеслась молодая девица. Лязгая зубами, она поспешно натягивала джинсы. Точно холодный ветер подул над пляжем. Те, кто был ближе к пристани, выскакивали из моря и, хватая одежду, бежали к лесу.

Донесся явно усиленный динамиком вопль:

— Вбить им в глотку!..

С пологой косы взлетели чайки.

Любитель пива торопливо обувался.

— Что происходит? — в недоумении спросил Полынов.

— Бабуины! — тот с треском затягивал ремешок сандалий.

— Ну и что?

— А вот увидите, что! Средь бела дня — надо же...

Он, наконец, справился с ремешками и, подхватив сумку, затрусил к обрыву.

Так, так... Кляксы на стене, полицейский, тишина на улицах, бабуины. А ведь, похоже, не в отпуск тут поразъехались! И Марта с детьми отправилась в горы не просто так. Но если бы сегодня назревала опасность, то Лесс предупредил бы. Остался бы с ним. Тут и думать нечего — остался бы. Правда, он мог не предусмотреть, всего не предусмотришь. Тогда... Однако полиция, похоже, начеку. Чего же все перетрусили?

Полынов прибавил шаг. Ноги увязали в песке. Не все покинули пляж. Лица тех, кто остался, были растерянно-злорадные. Никто, однако, не двигался. Крики смолкли, потом

возобновились — неразборчивые и похожие на рычание. Полынов влез на обрыв и выглянул из-за кустов!

Ну и ну!

На площади перед башней неистовствовала толпа человек в пятьдесят. Все были в шкурах, с папками в руках, мокрые от пота, все тряслись и орали. Кое у кого с синеватых губ слетала пена.

Наркотический транс? Чтобы лучше видеть, Полынов подался вперед, благо ни на что вокруг бабуины не обращали внимания. Их прыжки, конвульсии, приплясы напоминали и радения хлыстов, и камлание, и экстаз самобичевателей-шиитов. Но сходство было внешним и далеко неполным. Громче всех орал хвостатый предводитель (хвост был тигриным). Он стоял на возвышении, более чем странном: то была груда самых разных предметов — помятых стиральных машин, книг, разбитых компьютеров, стереовизоров, автомобильных колес и тому подобного. Правую ногу хвостатый оратор установил на грудную клетку робота, левой он подпирал школьный глобус. С его губ слетали неистовые вопли.

— Вот они, вот они, клопиные гнезда! Здесь, здесь воняет их тухлый мозг!

Указующий перст уперся в башню. Его белое, жутко просветленное лицо фанатика исказилось. Гримаса судорогой пробежала по лицам остальных.

Невольно Полынов поискал глазами съемочную аппаратуру, — уж больно все это было нелепо. Никаких камер, разумеется, не было. И санитарных машин тоже. Улица, ведущая вглубь поселка, была пуста, ни одно окно не распахнулось. Отсутствовали и обычные в таких случаях зеваки. Поодаль, ни во что, не вмешиваясь, стояли угрюмые полицейские. Офицер, наклонившись к автомобилю, что-то говорил в микрофон рации. За спинами полицейских суетилась горсточка Репортеров. Над всем простиралось жаркое голубое небо.

— Где же ученые? — завывал оратор. — Где эти твари? Забились в норы, ха-ха! — он зашелся лающим смехом, и тем

же смехом ему ответила толпа. — Испугались, потому что с нами правда! Ага, ага! Кто создал ядерные бомбы? Мы? Они! Кто травит всех химией, микробами, лучами? Мы? Они! Кто выдумывает проблемы? Они, они! Стали мы счастливей после всех их дерьмовых открытий? Да или нет?

— Нет! — взвыла толпа.

— Так вбить их всех в землю!

Оратор топнул по грудной клетке робота, возвышение осело, и он покачнулся. На его потном лице мелькнуло изумление, но он тут же оправился.

— Друзья полицейские! — полицейские вздрогнули и подтянулись. — Вы же такие, как мы! Вам нужны звезды? Мегатроны? Телескопы и микроскопы? Или вас не посещает бессонница? Или ваши жены не рожают уродов? Вы с нами, да, да, с нами, наш враг — ваш враг!

Толпа устала кричать и бесноваться, все это чем далее, тем более напоминало исступленный, но все же политический митинг. На шее оратора болталось ожерелье. Сначала Полынов решил, что это какие-то ракушки, но, вглядевшись, он обнаружил, что это самые обычные усилители. Толпа продолжала размахивать кулаками и палками, солнце палило, шкуры развевались, запекшиеся губы извергали проклятия, все это выглядело омерзительно, но не зловеще, и Полынова даже разобрал смех. Это надо же — проклятия науке изрыгать в микрофон! Да и шкуры, конечно, из синтетики.

Его уже не удивляло отсутствие санитарных машин, — ведь там, где начинается политика, кончается психиатрия. Почему, однако, затаились обитатели вилл? Почему не пришли разогнать этот нелепый и дурной цирк? Подумаешь, пятьдесят человек... Одних лаборантов здесь наверняка втрое больше. Где же они? Конечно, Акутагава прав, говоря, что слабость свободного мыслителя в том, что он свободно мыслит и потому не может сражаться яростно, как фанатик. Но здесь и не надо сражаться, достаточно показать кулак!

А что, если... Полынов с досадой прогнал мысль, но она тут же вернулась. Ведь то, что орет этот истерик, созвучно с тем, что недавно говорил Лесс!

Значит, что же? Комплекс вины? У Лесса?!

Сначала все бабуины казались Полынову на одно лицо — потное, фанатичное, орущее, перекошенное. Теперь он видел, что это далеко не так. Лица, если стереть с них истерию, были самыми обычными. Не зверскими, низколобыми, а вполне нормальными, у некоторых даже интеллигентными. Полынову довелось видеть в глухом уголке Африки величественный танец одного из племен. Вот там была подлинная страсть, — жутковатая, мрачная и очаровывающая, потому что исступление танца пробуждало память о давних временах, когда человек мог выжить только с дубинкой в руках, только в кровавом бою, только в упоении им. Танец выражал дикие, древние, но понятные чувства. Здесь страсть была отвратительной, как гной.

— В пещеры! — надрывался вожак. — К простоте! Истребим мысль!

По его знаку из толпы выбежал голый, с цветочным венком на шее ребенок, худой, прелестный и замурзанный. Он остановился, ошалело и дико озираясь. Кто-то сунул ему в руки факел. Подталкиваемый кричащей толпой, он поднес факел к груде предметов и неумело ткнул его в ворох перфолент. Занялось коптящее пламя.

С меня хватит, сказал себе Полынов. Это уже было не раз, и давным–давно, и недавно. Известно, чем это грозит, сколько раз одно и то же, известно, чем кончилось, но все повторяется снова и снова. Чудесный отпуск, замечательный отдых!

Он повернулся и побрел прочь.

Не успел он сделать и десяти шагов, как сзади ахнул взрыв.

Рефлекс сработал тут же. Мгновение — и Полынов уже был на земле. Там, где только что возвышался хвостатый оратор, гулко рвалось и дымило. Над головой со свистом

пронесся тубус микроскопа. Ребенок, гады, сволочи!.. Истошно вопя, врассыпную бежали бабуины. На некоторых тлели шкуры. Было отхлынувшие полицейские (пока Полынов стоял и смотрел, их стало куда больше) на ходу вытаскивали оружие, ринулись наперехват и вдогонку.

Полынов очутился на виду. Словно кто-то другой, хитрый и опытный, скомандовал ему, что делать. Подняться, встать, уйти. Только не бегом: в полицейских воспитан навык гончих. Надо превратиться в тупого, оглушенного событиями, быть может, пьяного зеваку. Личность, заведомо постороннюю и до конца ясную наметанному глазу полицейского. Пусть его походку отождествят с походкой человека под хмельком; сейчас, когда работают самые примитивные стереотипы, пьяный никого не интересует. Обыкновенный, так сказать, пьяный.

Пусть рядом бегут, пусть. Глупо влипать в историю, которая тебя не касается. Хорошо, прекрасно, эти кусты прикроют. Теперь шаг можно сменить на прогулочный. Гуляет солидный человек, идет по своим делам, рядом какая-то катавасия; солидный человек недоуменно пожимает плечами и, естественно, продолжает свой путь. Чуть быстрее прежнего, но это тоже естественно.

А вот и шоссе, тут снова можно стать самим собой. Но выходить на шоссе не стоит, лучше тропинкой вдоль, да, лучше.

Провокация. Взрыв — это, конечно, провокация. Чья, зачем, с какой целью? Темный лес! К нему она, во всяком случае, не имеет отношения. Если бы имела, то вся эта игра в психологическую невидимость окончилась бы иначе. Да нет, даже предполагать такое глупо. Кому он тут нужен? Правда, Бизи он был нужен... Все равно нелепо. И дико. Дико — это само собой. Существует ли общественная психопатология? Не личная — с ней давно разобрались, а общественная. Типа крестного похода детей, охоты на ведьм или молений с цитатниками. Вопрос, уважаемые коллеги, далеко не академический. Как и ребенок с факелом.

Нет уж, решил Полынов. Пообедаю и запрусь в доме Лесса. И носа не высуну, хватит.

Молнии я, что ли, притягиваю?

Издали, нарастая, донесся вой сирены. Срезая повороты, на шоссе вылетела пожарная машина. Вторая, третья. Там, куда они умчались, над деревьями поднялся дым, которого не было минуту назад.

Какое-то мгновение Полынов стоял, задрав голову. Потом рванулся и побежал, ничего уже не видя, кроме клуба дыма, который медленно ширился в прозрачном небе.

Ни тогда, ни позже он не смог себе объяснить, что сорвало его с места, отчего мир внезапно стал пустым и страшным.

Пока он бежал, пока невыносимо медленно тянулась лента шоссе, пока столь же невыносимо длились секунды, он видел лишь это лениво набухающее облако дыма. Чистенькие домики по сторонам, солнце в окнах, деревья, ограды, клумбы с цветами, теперь плоские и невыразительные, существовали сами по себе, вне этого бега, вне этого мира.

Уже перед поворотом Полынов услышал звук, который нельзя было спутать ни с каким другим, — свирепый звук бушующего пламени.

Задыхаясь, он одолел поворот.

Дом Лесса горел так, словно в недрах его работал мощный, нагнетающий огонь компрессор. Пламя рвалось изо всех окон верхнего этажа. Длинные, прозрачные в полуденном свете языки огня, трепеща, крутили протуберанцы копоти и сажи. Как черный снег, в воздухе порхали хлопья пепла. В разбитых окнах нижнего этажа клубился пронизанный багровыми отсветами дым. Он густо валил наружу. Там, где дым смешивался с беснующимся пламенем, оно тоже багровело и как бы распухало. Все звуки перекрывал треск огня.

В пару окон уже били синеватые струи антитерма. Там что-то лопалось и трещало. Оттуда сочился

неправдоподобный здесь нежно-перламутровый пар. Пожарные взламывали дверь, лезли в окна.

— Там никого? — крикнул Полынов санитару, который, облокотясь о капот машины, с профессиональным бесстрастием наблюдал за пожаром.

— Видать, никого, дверь заперта, — санитар вынул пачку сигарет.

Полынов облегченно вздохнул, припоминая, что ему говорил Лесс. Да, его не может быть здесь, это точно, он где-нибудь в лаборатории. Ужасный день!

— Поджог, — сказал санитар, закуривая.

— Поджог?

— А вы что, не видите?

Он ткнул в сторону. Слева, вероятно, в полукилометре расплывалось еще одно облако дыма.

— Бабуинов, говорят, трахнули, вот они и взвились, — пояснил санитар.

Ударили еще две струи антитерма. Пожарные, взломав, наконец, дверь, ринулись в черно-огненное месиво.

— Сумасшедшие, — только и мог проговорить Полынов.

— Им платят за это.

— Я о бабуинах.

— Какие же они сумасшедшие? Рассуждают они куда как здраво.

— Здраво?

— А то нет. Равенство — так уж равенство. И чтобы без никаких! Он почему угнетатель? Потому что умник, ловчила, сладко пел, да крепко на шею сел... Ага, вроде бы и нам есть работка!

Отбросив сигарету, санитар вразвалку двинулся к дому. Полынов опередил его, прежде чем до сознания дошел страшный смысл произнесенного.

Из крутящейся в проеме черно-багровой иглы выступили двое пожарных в закопченных скафандрах. Они несли что-то большое, темное, жуткое. Полынов рванулся, опрокидывая заслон. Пожарные уже спускались со ступенек, вокруг

них шипело перламутровое облако антитерма. Кто-то схватил Полынова за плечо, в лицо вместе с жаром ударил запах гари. Но Полынов уже ничего не слышал, не чувствовал, потому что это большое, обугленное, жуткое — было Лессом.

— Садитесь, — Бизи внимательно посмотрел на Полынова. — Не мешает подкрепиться, а?

— Лишнее.

— У вас на виске сажа.

— Это имеет значение? — Полынов машинально потер висок.

— По-моему, никакого. Минуточку.

Бизи опустил плотную штору.

— Кустарное, но довольно надежное средство защиты от лазерного подслушивания, — пояснил он. — Эти скряги из бюджетного управления до сих пор считают, что мы можем обойтись без “звукового шатра”.

— Вот даже как?

— А о чем я вчера говорил? Разговор предстоит долгий, может, все-таки выпьете?

— Содовой, если можно.

Бизи склонился над баром. Кабинет тонул в полумраке. Обстановка в кабинете, он сам в этом кабинете, звяканье бутылок вдруг показались Полынову столь нереальными, что он вздрогнул. В ушах еще стоял рев огня.

Зашипел сифон. Полынов взял узкий стакан и едва не расплескал воду: точно такой же стакан был тогда, там, в доме человека, которого уже нет в живых.

— Себе я позволю глоток чего-нибудь покрепче, — донесся голос Бизи. — Хороший амортизатор, зря пренебрегаете. Думаете, вы один потрясены? Ошибаетесь. Смерть Лесса и для меня удар. Вам известно, что сейчас, здесь должен был сидеть он?

— Все-таки он работал на вас? — вырвалось у Полынова.

— В том-то и беда, что нет. Я оказался кретином! Не стыжусь в этом сознаться. Вам не терпится узнать, отчего погиб Лесс? Или лучше по порядку?

— Лучше по порядку.

— Правильно, — Бизи кивнул. — Напомню. С недавних пор у нас возникли и стали развиваться некие настроения...

Голос Бизи шел, как из тумана. Хотелось откинуться в кресле, закрыть глаза, побыть наедине с собой. Но этого нельзя было делать. Тем более нельзя было допустить, чтобы в мысли врывался ревущий треск пожара, то черное тело, которое проплыло тогда на руках и скрылось в кузове санитарной машины.

— Вообще говоря, всякие необычные настроения и причуды не такая уж редкость, — размеренно продолжал Бизи. — Уже лет сорок, к примеру, существует общество любителей дымного пороха. Порой эти чудаки арендуют музейную пушку и с разрешения полиции тешат себя выстрелами, где-нибудь за городом. Личное дело, никого не касается. Год назад явился очередной пророк “конца света” и на его проповеди стекались тысячи идиотов. Все это нормально. Поэтому мы сначала не беспокоились, тем более что недоверие, даже враждебность к науке отнюдь не новость. Обычный комплекс неполноценности, я так считаю. Когда настроения усилились, паши теоретики объяснили и это. Вас интересует — как?

— Только, пожалуйста, покороче.

— Могу в двух словах. Религия изжила себя, но массовое мышление осталось религиозным. Вакуум заполнила наука. Она стала объектом веры, поклонения, от нее ждали благ, чудес, спасения. Однако устои веры уже подмыты самой наукой, и людям не хватает былого долготерпения. Наука явила не те чудеса, которых ждали, она не упростила, а усложнила жизнь. Тогда слепое обожание сменилось столь же слепой ненавистью.

— Дальше?

— Насторожила нас интенсивность вспышки. То, что антинаучные настроения быстро охватили все слои общества. Даже самих ученых, не странно ли?

Полынов покачал головой.

— Обычная путаница понятий, — сказал он. — Если человек работает в лаборатории, значит, он ученый, а раз ученый, то, стало быть, мыслитель. На деле не так! Для многих так называемых “научных работников” вне профессии характерно обыденное, порой дремучее мышление. Продолжайте.

— Слова, сборища, надписи нас мало беспокоили. Излишек общественной энергии всегда должен на что-то расходоваться, и пока он тратится на сотрясение воздуха, все идет как надо, — решительным взмахом руки Бизи подчеркнул свою мысль.

Погоны! Полынов понял, чего не хватало Бизи, что делало его облик незавершенным. Он казался затянутым в мундир, хотя сидел на краешке стола, совсем по-штатски обхватив руками ногу.

— Затем мы получили одну очень важную информацию, — проговорил Бизи. Он внимательно посмотрел на Полынова. — Вы знакомы с механикой валютно-биржевых операций?

— Больше по романам Джека Лондона и Гротмана.

— По романам?

Пожалуй, впервые Бизи удивился. У него был вид человека, которому заявили, что представление о выпивке можно составить по антиалкогольным брошюрам.

— Да-а, — протянул он, меняя позу. — Тогда вы, пожалуй, не поймете.

— Попробуйте, может, и пойму.

— Нашу страну в некотором смысле стоит рассматривать как единый торгово-промышленный концерн, который, естественно, остро конкурирует с другими иностранными и международными корпорациями. Недавно мы добились кое над кем перевеса. И вдруг узнаем, что какие-то силы начали такую закулисную игру, как будто наш концерн накануне краха. Понимаете?

— Считаете, одно связано с другим?

— Вчера утром я еще сомневался, уж очень все это фантастично. Сегодня я располагаю доказательствами, что дело обстоит именно так.

— Это доказательство — гибель моего друга? — как ни сдерживался Полынов, голос его дрогнул.

— Доказательство было получено раньше, и дали мне его — вы.

— Я?!

— За вами вчера следили. А мы засекли эту слежку.

— Что за бред? Кому это нужно? Я же не имею ни малейшего отношения...

— С той самой минуты, когда вы сошли с космолета, — имели. Пожалуйста, не смотрите па меня так, я сейчас все объясню, начну с возникшей у меня гипотезы. Вы слушаете?

— Еще бы!

— Допустим, связь между событиями у нас и на бирже не случайна. Допустим, кто-то применил против нас новое психологическое оружие. Возможно ли это? Наука убедила нас, что невозможное вчера становится осуществимым завтра. Психологические средства борьбы применяются со времен Адама, сейчас они быстро совершенствуются. Не исключено, что логическим завершением этого процесса явится создание принципиально нового оружия, своего рода психологической сверхбомбы. После появления атомного оружия заблуждаться на этот счет было бы недальновидно. Легко вообразить такую ситуацию. В середине сороковых годов, до Хиросимы, кто-то решил применить против нас ядерное оружие. Но не бомбу, а радиоактивную пыль. Можно ее незаметно рассеять по всей стране? Конечно. Люди массами заболевают и гибнут; медики, которые еще незнакомы с лучевой болезнью, сбиваются с ног в поисках возбудителя эпидемии, а страна продолжает катиться в пропасть. Если в ней не развита ядерная физика, — а во многих ли странах к моменту Хиросимы была развита ядерная физика? — кто догадается, что нужны не эпидемиологи, а физики, не шприцы,

а счетчики Гейгера? Пока все это откроется, страна может десять раз обезлюдеть.

Бизи перевел дыхание и залпом опустошил бокал.

— Психологическое оружие могло оказаться еще более неуловимым, — продолжал он. — Если оно действительно применено, то кого должен опасаться противник? Специалистов, которые могли бы сообразить, что к чему. Логично, не так ли? Психотехника у нас развита слабо. Какие у нас тут фигуры? Лесс да Горзах, но он тяжело болен. Однако кое-что может пронюхать контрразведка. Какой-нибудь Бизи сопоставит факты, придет к далеко идущим выводам, мобилизует местных ученых, наконец, пригласит зарубежных специалистов. Итак, если гипотеза верна, то кое–кого должно было насторожить внезапное появление некоего Полынова, его приезд к другому крупному специалисту — Лессу. Да еще в самый критический, с их точки зрения, момент. Здесь появление крупного ученого–психолога все равно, что подход танковой армии к полю боя второй мировой войны. Как расценивать приезд этого Полынова? Случайное совпадение? А может, не случайное? Короче, рассуждал я, если мои расчеты верны, то за Полыновым, скорей всего, проследят — куда он поедет, зачем, с кем встретится.

Бизи с торжеством посмотрел на Полынова, словно тот был творением его рук.

— Вот где я мог получить доказательство или наоборот — опровержение! Сыграть надо было тонко, и я сыграл. Прежде всего, я вывел из игры Лесса. Почему? Да потому, что уже на ракетодроме из вашего разговора выяснилось бы, что друзья думают лишь об отдыхе. А попробуйте засечь квалифицированную слежку в толпе! Все было бы куда проще, если бы Лесс согласился с нами сотрудничать. Но он чуть не высмеял нас, когда мы беседовали несколько дней назад. Полезным оказалось лишь то, что я мимоходом узнал о вашем визите. Остальное было делом техники: Лесс на космодроме не появился, и мы встретились с вами наедине. Конечно, я не рассчитывал, что вы согласитесь помочь нам, это

был бы слишком щедрый подарок судьбы. Зато я рассчитывал — и этот расчет оправдался, — что мое появление у вас “в плаще и маске” подтвердит опасения заговорщиков: вы — тайный консультант нашей службы. Не слишком этично, но политика не имеет ничего общего с этикой. Все произошло, как я и ожидал. Вы выставили меня вон, однако мы успели засечь, что наша встреча кое-кого заинтересовала. Такова предыстория. Есть вопросы?

— Не совсем понимаю, зачем кому-то потребовалось применять против вас психооружие, хотя конкурентная борьба, коль скоро вы являете собою концерн...

— Поедание тоже можно назвать конкуренцией. — Бизи невесело засмеялся. — О, да, конечно! Я могу назвать три-четыре международные компании, чей бюджет повесомей иного крупного государства. Каждая из этих компаний охотно обрушила бы на нас мор и землетрясение, если бы могла. Так что логика тут, к сожалению, есть. Надо или нет испытывать оружие в полевых условиях? А если одновременно предоставляется возможность устранить конкурента? Антинаучные настроения существуют и если все это проделать чисто, то вспышку, конечно же, объяснят естественными причинами. А если даже что и просочится, то урок произведет впечатление. Почему-то мне кажется, что новое оружие рассчитано не на такую, как мы, в общем-то, мелкую дичь... Кто знает... Ну, вы понимаете.

— Забота о чужих интересах? — спросил Полынов. — Это что-то новое.

— Чистый эгоизм, как и все в политике. Вы видите, я вполне откровенен. Вы нужны нам, потому что заведомо не работаете на наших врагов, но я хочу убедить вас, что и вы заинтересованы в сотрудничестве.

— Можете не убеждать — излишне. Кстати, вы не знаете, как там с мальчиком?

— Мальчиком? Каким мальчиком?

— Он был среди бабуинов. Подносил факел.

— О мальчике мне ничего не докладывали. Это имеет значение?

— Для дела — нет. Просто вспомнилось.

— Значит, вы оказались в самой гуще?

— Да.

— Очень неосторожно, — Бизи покачал головой. — Очень.

— Знаю.

— Ладно, оставим это. Забыл вас спросить: вы не голодны?

— Голоден? Пожалуй. Но это потом. Значит, так...

Полынов, что с ним случалось редко, потерял нить мысли. Он обвел взглядом кабинет. Вот уж где порядок! Шкафы, сейфы, батарея видеофонов, темные, под дуб, панели, портрет основателя республики, нигде ни пылинки, намеренная или просто сохранившаяся старомодная солидность ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОГО учреждения. Учреждения, где принимаются ВАЖНЫЕ решения. Полумрак соответствовал ему как нельзя лучше. Пожалуй, сам Бизи выглядел не совсем созвучно своему кабинету. Он был современней, что ли. Как правило, обстановка меняется быстрей, чем люди, но бывают и исключения.

— Если я правильно оцениваю события и последний разговор с Лессом, то он искал это самое оружие, — заговорил Полынов. — И даже скорей всего нашел. Как вы могли допустить его гибель?!

— Я уже назвал себя олухом, вам мало? — воскликнул Бизи. — Разве я мог предположить, что он станет действовать в одиночку? Это же абсурд! Не могу понять, почему он не поставил нас в известность, почему не посоветовался...

— Бизи, вы обращали, когда-нибудь внимание на кресло перед своим столом? Кресло для посетителей?

Бизи чуть поднял брови.

— Кресло, как кресло, — он искоса посмотрел на него. — Мягкое, удобное. Не улавливаю вашу мысль.

— Низкое. Мягкое и низкое кресло. Когда вы сидите за столом, то возвышаетесь над посетителем.

— И что же?

— Просто маленький характерный штрих, который выдает подлинное отношение власти к рядовым гражданам.

— Какая чепуха!

— Ну, если вам и теперь неясно...

Бизи нахмурился.

— Важней всего — дело, — сказал он отрывисто. — Умный человек не обращает внимания на мелочи.

— Умного человека отличает умение замечать и делать выводы. Иные мелочи красноречивы, как мухи в сметане.

— Я говорю о содержании.

— А я о форме, которая определяется содержанием.

Бизи взволнованно прошелся по кабинету.

— Кресло — подумать только! — Он покачал головой. — А ведь кое в чем вы, пожалуй, правы. Чем талантливей человек, тем сильней в нем чувство собственного достоинства, это я замечал. Впрочем, достаточно философии, — он резко взмахнул рукой. — По-вашему, Лесс мог дознаться, какое оружие пущено в ход?

— Я знаю Лесса. Он отказался, а потом задумался над событиями. Стал изучать — ведь он исследователь! Вероятно, докопался до сути и где-то неосторожно проговорился. Иначе его смерть необъяснима.

— Согласен. Убили его, конечно, до пожара. Все точно разыграно. Ни человека, ни записей, а внешне — слепая месть бабуинов.

— Он работал только дома, вы проверили?

— Сразу же. Последние дни он почти не бывал в лаборатории.

Полынов прикрыл глаза. Лесс, Лесс! Ты работал, когда я летел сюда, работал, когда я гулял по городу. Ты работал, как всегда, но очень, очень спешил, ибо хотел все закончить до моего приезда, чтобы не нарушить мои планы, чтобы я мог отдохнуть. И другое тебя подстегивало... Когда я появился, ты, вероятно, уже знал многое, если не все, и чего-то опасался. Но ты считал, что все это не мое дело, поскольку я

гость, и это не моя, а твоя страна. Ты оборвал разговор, едва он принял опасный поворот, и этим, быть может, сам того, не подозревая — а может, как раз подозревая? — спас мне жизнь. Ведь каждое наше слово, скорей всего, слушали, и если бы мы тогда сказали друг другу все, я не остался бы посторонним и тоже скорей всего был бы уже мертв. А что, если, наоборот, мы оба уцелели бы, потому что всегда хорошо дополняли друг друга, и справиться с нами было бы нелегко.

— Никаких концов не осталось, — сказал Бизи, мрачно глядя на пустой бокал — Все надо начинать с нуля. Все!

— Не все, — Полынов встал. — Вы можете быстро создать мне необходимые условия?

— Господи! — Бизи вскочил. — Все, что угодно! Любые лаборатории, любые силы!

— Вся королевская рать не потребуется. Нужен душ, чтобы я окончательно пришел в форму. Комната. Стереовизор типа “супер”. Диспенсор...

— Неужели Лесс намекнул вам?

— У меня были глаза и мозг, который, хотя и туго, соображает. Еще мне потребуются все стереоленты, которые в последний месяц прокручивали ваши станции и продавали ваши магазины.

Отведенная ему комната оказалась предусмотрительно зашторенной. Столь же предусмотрительно небольшой столик в углу был уставлен всевозможными напитками. Вдоль стены возвышался штабель картонных ящиков. Полынов снял верхнюю коробку.

— Это все катушки с лентами?

— Вы просили за последний месяц, — пояснил Бизи. — Здесь примерно половина требуемого, к сожалению, у нас было мало времени. Но остальное будет доставлено в течение ближайших часов. Вы недовольны?

— Мне надо подумать. Не ожидал увидеть такое количество.

— Может быть, вы поясните...

— Потом. Больше мне пока не надо. Ничего не надо. Бизи послушно наклонил голову.

— Мне уйти?

— Останьтесь. Только ни о чем пока не спрашивайте. Бизи удалился в угол, сел и замер, как мышь.

Кресло, в котором расположился Полынов, оказалось отличным. Оно тотчас приняло форму тела, в нем можно было развалиться, вытянуть ноги, что Полынов и сделал. Напротив, стоял стереовизор. Почти такой же был тогда в кабинете Лесса; с тех пор, казалось, прошла вечность...

Теперь надо вспомнить, что и как было тогда. Все, до мелочей. Спросим память, как свидетеля. Что было в кабинете Лесса необычным? Стереовизор. Утка... Нет, утка к делу не относится. А вот диспенсор относится. Там были и другие приборы, но все они не связаны со стерео. Пока вычеркнуть. Стереокатушки... Их было несравненно меньше, чем здесь. Скорей всего, то были отобранные катушки, те, которые всегда должны находиться под рукой. Так или нет? Проверим. Закономерности хаоса, который, работая, создавал Лесс, тебе хорошо знакомы. Где лежали катушки? Ага! Да, именно так, с ними работали. Привычка — штука консервативная; местонахождение вещи многое может рассказать о занятиях человека.

Но какие это были катушки?

Чувства Полынова сейчас так напряжены, что он спиной ощущал настроение Бизи. Тот был явно встревожен: человек, на которого сейчас вся надежда, лениво развалился в кресле и с отрешенным видом смотрит куда-то в пространство,

— Бизи!

— Слушаю.

— Можно вас попросить вытряхнуть содержимое всех этих коробок на пол?

Да, чтобы ни думал Бизи, а повиноваться он умел. Секунда — и на пол хлынул поток разноцветных катушек с интригующими картинками на обертках.

Полынов с унынием воззрился на эту груду. Конечно, в ней находились и те катушки, которые были тогда в кабинете Лесса. Однако они терялись в общей массе, и Полынов, как ни пытался, не мог вспомнить, был ли у них общий признак и, если был, то какой.

— Бизи, я вижу, вы изнываете от нетерпения. Не стану изображать Шерлока Холмса. Проследите за ходом моих рассуждений, может быть, вам что-нибудь подскажет ваш богатый опыт.

— Правильно, — кивнул Бизи. — Признаться, я почувствую себя лучше, когда вы дадите мне кончик нити.

— Боитесь, что меня постигнет судьба Лесса?

— Вот уж нет. Меры приняты, нас охраняют, как священных коров. Просто я считаю, что все в порядке тогда, когда чужие секреты оказываются у меня в голове. Профессиональная привычка, знаете ли... Почему вы так уверены, что нас бьют с помощью нашего собственного стерео?

Выслушав соображения Полынова, Бизи покачал головой.

— Эта мысль приходила мне в голову. Но я ее отверг.

— Слишком очевидна?

— Не только. Обычную отраву, конечно, эффективней всего рассеять в водопроводе, а психологическую — в эфире. Но сделать это незаметно, минуя все фильтры... Первое, что мы проверили, так это состояние каналов массовой информации.

— Нелогично, Бизи. Вы поверили в новое психологическое оружие и не верите, что оно способно поражать незаметно.

— Вот поэтому мне и нужен ваш ум. Какое-нибудь волновое воздействие, излучающие установки, вы сбрасываете со счета?

— Пока — да. Во–первых, потому что не этим занимался Лесс. Во–вторых, потому что этим, безусловно, занимаются ваши технические службы (Бизи кивнул). В–третьих, какое-нибудь микроволновое, поражающее мозг, излучение, — это физика, это техника; здесь нужны другие люди, другие специалисты. Наконец, самое главное. Любую установку можно засечь, захватить и представить как вещественное доказательство.

— Вы считаете, что тот тип оружия, который мы ищем, нельзя выявить?

— Выявить, само собой, можно. Но... Взгляните на мой палец.

— Зачем?

— Фиксируйте его взглядом. Так, так... Следите за его движением. Теперь за движением моих губ. Прекрасно, я убираю палец. Что, по–вашему, произошло?

— Ничего. Вы разыграли какую-то нелепую сцену.

— Простите! Эта “нелепая сцена” позволила мне проверить вашу расположенность к гипнозу, и даже кое-что внушить.

— Так я вам и поверил! Я тоже кое-что смыслю в гипнозе.

— Вот именно: “кое-что”. Этого мало. Я применил сложную технику.

— Вы действительно мне что-то внушили?

— Внушил.

— Что?!

— Я велел вам забыть догадку, что вы подвергаетесь гипнозу. Начисто исключить ее. И вы ее исключили, разве не так?

Бизи потрясенно уставился на Полынова.

— Какому суду теперь вы представите доказательства моего преступления? — продолжал Полынов. — И какие? Вот о чем идет речь.

— Вы... — впервые у Бизи не нашлось слов. — Нет, сдаюсь! Не могу понять, как это вы проделали!

— А если не проделал? — Полынов уже не скрывал иронии. — Если это мистификация, маленькая месть за вчерашнее? Я ведь злопамятный. Способны вы теперь найти истину? Вот то-то. Такова специфика наших средств. Но — к делу. Вы, стало быть, ничего мне не можете подсказать?

— Нет, — странно было видеть Бизи ошарашенным и даже неспособным скрыть это. — Если Лесс и нашел разгадку... Сначала он, очевидно, просматривал пленку за пленкой, а у нас на это, боюсь, нет времени.

Он отошел, потирая виски.

Полынов задумался. Если бы вспомнить! Вспомнить, какие именно пленки лежали тогда на кресле. В ту минуту он кинул на них рассеянный взгляд. Этого вполне достаточно, чтобы точный их образ навсегда запечатлелся в подсознании. В подсознании, а не в сознании, вот в чем загвоздка. Подсознание ничего не забывает, оно хранит мельчайшие мелочи, и какой-нибудь Плюшкин лишь жалкое подобие того Великого Скупца, чье имя — подсознание. И это счастье, что оно так скаредно, иначе бы память раздавила сознание. Но сейчас Скупца во что бы то ни стало надо заставить раскошелиться.

Прикрыв глаза и сосредоточившись, Полынов перепробовал несколько мнемонических приемов. Тщетно! Мозг, этот самый могучий и самый непослушный инструмент человека, бастовал.

“Если прибор барахлит, а у вас нет времени на починку, — стукните его кулаком”, — вспомнилась шуточная инструкция, которой, однако, нередко и не без успеха следовали.

— Бизи, не найдется ли в вашем хозяйстве старого продавленного кресла?

— Кресла? — широко раскрыв глаза, переспросил Бизи, ходивший до того из угла в угол. — Опять кресло?

— Форма не столь уж важна, а цвет должен быть коричневатым. Еще нужен чайник, груды бумаг, книг... Пожалуй, достаточно.

Все было тотчас выполнено.

— Кресло сюда, — командовал Полынов. — Нет, ближе к стерео! Прекрасно. Теперь я отвернусь, а вы поставьте под кресло чайник, справа от кресла должна быть стопка книг повыше. Изогните ее винтом, так, чтобы она держалась на честном слове... Под кресло засуньте диспенсор. Стопки бумаг расположите похаотичней. Сделано? Теперь валите на кресло катушки...

— Какие?

— Без разбора, любые.

— Готово.

Помедлив, Полынов отключил всякие мысли, затем живо обернулся.

Наконец-то! Словно яркий луч выхватил то, другое кресло, катушки, которые лежали тогда.

Все было в порядке, полном порядке. Полынов уверенно разворошил груду на полу, отобрал с десяток катушек, прибавил к ним еще три из числа тех, что находились на кресле, и выложил все это на стол.

— Вот, — сказал он. — С этими работал Лесс. Тут, правда, далеко не все, но нам, думаю, хватит. Что вы можете о них сказать? Отличаются они чем-нибудь от всех прочих?

— Пожалуй, — по голосу Бизи было заметно, что надежда в нем подскочила, как ртуть в термометре. — Во-первых, все это магазинные, предназначенные для домашнего просмотра ленты. Во-вторых, все это боевики, их без конца смотрят.

— Был у меня в запасе и этот вариант, — сказал Полынов. — Отобрать по степени популярности. Что ж, приступим. Дайте, пожалуйста, сюда диспенсор. Я не ошибаюсь, спенсы у вас не запрещены?

— Нет.

— Опрометчиво.

— Почему? Содержание спенс-внушений контролируется. Кроме того...

Бизи умолк.

— Кроме того, — Полынов продолжил его мысль, — воздействие спенсов ничтожно по сравнению с воздействием того же стерео. Однако диспенсор не случайно находился в кабинете Лесса.

— Возможно. Но не считайте нас дураками! Спенсы мы особо проверили. То, что в них есть, — безопасно.

— Важно не только что, но и как, — пробормотал Полынов, настраивая диспенсор и подключая его к стерео.

Бизи очень удивился бы и встревожился, если бы узнал, что Полынова тоже одолевают сомнения. Оружие не могло вот так лежать на виду! Не могло, и это было очевидно. Полынова поддерживала вера в проницательность Лесса. Истина должна находиться там, где он ее искал. Иначе все бессмысленно — и желание Лесса встретиться с Бизи, и его поведение, и, наконец, сама его смерть.

Полынов задумался. Достаточно ли он помнит теорию спенсов? Все, кажется, началось с открытия, что если в секунду пропускать не двадцать четыре, а больше кадров, то глаз не замечает “лишние”, но их схватывает подсознание. И если на рассеянных по фильму кадриках, скажем, повторяется “Пейте томатный сок!”, то люди после сеанса толпой валят к стойкам с томатным соком.

В одних странах спенсы были сразу же запрещены. В других их стали использовать для рекламы. И, конечно, не только для рекламы. Далекое и наивное детство средств внечувственного внушения! Вскоре, однако, ажиотаж вокруг спенсов поутих, ибо выяснилось, что они далеко не всесильны, так как подсознание привыкает к их воздействию. Спенсы продолжали применяться, совершенствоваться, но только как одно из средств массового внушения.

Однажды в юности Полынова удивили и заставили задуматься слова Дюма, который сказал об эпохе мушкетеров, что-то было время меньшей свободы, но большей независимости. Это звучало, как парадокс, и лишь много позднее Полынов понял, насколько верна эта мысль. С усложнением жизни возрастает взаимозависимость людей. Чтобы в этих

условиях сделать человека рабом несправедливого и глупого порядка, не нужны цепи. Надо обузить его мысли, сковать их стереотипами, а это можно сделать изящно, незаметно, благопристойно.

— Вот что, Бизи, — Полынов оторвался от размышлений. — То, что я буду глядеть, вам смотреть не стоит.

— Это еще почему?

На лице Бизи проступило упрямое выражение.

— Если это оружие, — Полынов тронул катушки, — оно вас сразит.

— Но позвольте! Изредка я тоже смотрю стерео и до сих пор...

— Это ничего не значит. У разных людей разная восприимчивость, но в эпицентре и вам не устоять.

— А как же вы, как же Лесс?

— Мы оба владеем...

Полынов запнулся, сообразив, что говорит о Лессе, как о живом.

— Мне известны приемы защиты против внушения, — продолжал он быстро. — Вы же беззащитны и благодарите бога, что до сих пор не подверглись внушению.

Секунду–другую Бизи колебался.

— Ладно, — ответил он без тени улыбки. — Вы тут главный, — подчиняюсь. Вот уж не предполагал, что, когда-нибудь обращусь за помощью к “красному” и буду выслушивать его приказы!

— Положим, было время, когда наши страны находились в одном, строю, — пожал плечами Полынов. — Это было давно, но это было.

— Ну, да, против фашизма. Неплохо, что лично вы и сейчас наш союзник.

— Не ваш, а дела, которое мы делаем.

— Это уже детали.

Не без волнения Полынов включил диспенсор. В режиме, который ему сейчас был задан, аппарат отфильтровывал обычные кадры стереолент и делал невидимые зримыми.

“Если мы на правильном пути, — подумал Полынов, — то я сую голову в пасть льва. Льва отнюдь не дрессированного”.

Давно минуло время, когда спенсы представляли собой скромные кадрики с примитивными титрами. Теперь это был, по существу, фильм в фильме со своим, рассчитанным на подсознание сюжетом, ритмом цвета и музыки. Краем уха Полынов. где-то слышал, что уже есть любители, которые предпочитают спенс–фильмы настоящим. Нет такой новинки — пустяка или гадости, которую бы любители не облепили, как мухи сахар.

Плоскость экрана исчезла. Возникла как бы маленькая комнатка, и в объеме этого пространства ожил, задвигался целый мир, который внешне, кроме размеров, ничем не отличался от настоящего. Предметы там казались сделанными из натурального дерева, металла или пластика, люди были из плоти и крови, и трудно было поверить, что там движутся лишь фантомы, порожденные голографией призраки. Диспенсор крутил ленту с сумасшедшей скоростью, но если этого не знать, то можно было подумать, что демонстрируется самый обычный, только короткий фильм.

Столь же обычным оказалось и его содержание. Спенс рекламировал туристское оборудование, не более. Как ни вглядывался Полынов, он не смог обнаружить никакого фокуса, никакого необычного психотехнического приема. Самая банальная реклама–внушение: покупайте то-то, отпуск проводите там-то.

Так и должно быть, успокоил себя Полынов. Секрет глубоко запрятан. Если бы было иначе, команда Бизи давно раскусила этот орешек, да и Лессу не пришлось возиться так долго. Посмотрим, что будет дальше.

Дальше, однако, было все то же. Последняя катушка с мягким щелчком ушла в гнездо перемотки, а Полынов ни на миллиметр не приблизился к цели.

Ладно, успокоил он себя, проверка еще только началась. То, что мелькало сейчас, воздействовало не на подсознание, поскольку диспенсор перевел скрытое изображение в

видимое. Закончился лишь логический анализ содержания спенсов, анализ, который ничего не дал. Впрочем, не совсем. Важным здесь было не столько “что”, сколько “как”. Значение любого слова, жеста, знака зависит от контекста, от места, которое они занимают в структуре сообщения. Если со словами “Добрый день!” обращается приятель, с которым вы расстались вчера, то это одно. Если ту же фразу произносит заклятый враг, то это совсем другое. А когда то же самое, появляясь на пороге, говорит человек, которого вы считали погибшим, то это и вовсе третье. В спенсах структура и связь значили еще больше, ибо воздействие спенса сходно с воздействием сновидения: там и здесь властвует не рациональная, а эмоциональная логика. Верней, открытая лишь в последней четверти века тета–логика.

При мысли о тета–логике Полынов поморщился. В ее закономерностях сам черт ногу сломит! Физика, химия, техника в свое время не потому затмили психологию, историю, социологию, что в физику или химию шли более талантливые люди. Совсем не потому. Изучались разные уровни организации материи, вот и все. Ну, и, конечно, исследованиям в физике не препятствовал эгоистический интерес правящих кругов.

Подумаем. В спенс–фильмах, как нигде, важен ассоциативный ряд. Ассоциативный ряд может быть очень простым: красивая девушка рекламирует купальник. Где-то в подсознании возникает связь “красота–купальник”: купишь такой купальник, будешь красивой. Примитивно, но действует. Ряд посложней: модный ботинок и сверхзвуковой лайнер. Острый носок ботинка и “клюв” сверхзвуковика. Умело подобранная череда разных сцен способна закрепить ассоциацию модели ботинка с совершенством и мощью лайнера. Тоже еще не высшая математика рекламы...

Есть ли такой общий ряд в этих, самых разных по содержанию спенсах? Трудно поручиться, но, пожалуй, есть. Восхваление природы!

Стоп, удержал себя Полынов. Это лишь интуитивная догадка. Очень может быть, что она навязана впечатлениями Дня, а потому не стоит спешить с выводами.

Переключив аппарат на другой режим воспроизведения, он повторил просмотр. Теперь спенсы шли так, как они идут в обычной передаче, — незримо. Кадры самого фильма блокировались аппаратом, поэтому стереорастр оставался пустым и серым. Глядя со стороны, трудно было поверить, что в нем тем не менее возникает образ, что глаз этот образ улавливает, а мозг запечатлевает.

Человек, настороженно созерцающий пустоту. Странное, нелепое на вид занятие. И столь же опасное сейчас, как хождение по минному полю.

Быстро дала о себе знать головная боль. Не потому, что восприятие спенсов требовало усилий, а потому, что ежесекундно приходилось поддерживать барьер, который ограждал от внушения.

Полынов с досадой выключил аппарат. Теперь понятно, почему Лесс был таким усталым и нервным! Так и вымотаться недолго.

Откинувшись в кресло, Полынов прикрыл глаза и, массируя веки, попробовал утихомирить боль.

Впрочем, дело было не в боли.

Опыт так и не дал ответа! То есть внушение, конечно, было. Время от времени, осторожно ослабляя барьер, Полынов проверял действие спенса. И всякий раз обнаруживал самое обычное рекламное внушение.

Хоть сейчас беги в магазин и покупай...

Полынов вскочил и заметался по комнате. Идиот! Кто же готовит ружье, из которого можно сделать всего один выстрел? Это здесь спенсы разрешены, да и то под контролем. Дурак — и тот на них не поставит. Значит, что? Спенс–внушение должно, обязано быть, но скрытое. Такое, чтобы, минуя все досмотры, могло просочиться в любые каналы любой, пусть даже Всемирной сети... Вот он, ключ, вот где надо искать!

Проверим-ка, не торопясь. Контроль — это диспенсор. Лесс работал с диспенсором. Так, хорошо. Но если “открытый” спенс не нужен, то зачем он здесь? Зачем, зачем? А зачем ты недавно изображал пьяного? Для отвода глаз. Копайтесь, если что заподозрите, ничего в спенсах нет, сами видите...

Двинемся дальше. Скрытый спенс. Такой, следовательно, на который диспенсор не настроен. Возможно это? Вполне. Если, скажем, разместить спенс в межкадровом пространстве, то без переналадки аппарат его не возьмет. А еще существуют дефекты, царапины... Ведь это же голограмма! Здесь изображение можно упрятать в крохотной точке. Правда, качество такого спенса будет отвратительным. Теоретически такой спенс вообще безвреден, почему никто и не заботится о всеохватывающем контроле. Но тут, верно, что-то придумали, конечно, придумали, без открытия тут дело не обошлось и в этом весь секрет.

Точка, стало быть. Точка, точка, запятая... Какие, где, в какой последовательности? Ведь это же иголка в стоге сена! Недаром Лесс день за днем работал с утра до ночи. И что же? Повторять все сначала? Не успеем, поздно.

Поздно? Ведь под конец Лесс наверняка пользовался переоборудованным диспенсором.

Который, скорей всего, сгорел.

Сгорел?

Да. Нет! Ведь что-то же удивило его там, в кабинете Лесса! Что-то связанное с диспенсором. Какое-то несоответствие. Тогда, когда он подошел к окну, чтобы понюхать корешки. Вот именно! Оттуда было видно, что с диспенсора снят кожух и... Вроде бы даже мелькнула рассеянная мысль о том, зачем потребовалось перекраивать (чинить?) стандартный диспенсор. А это был переоборудованный диспенсор, вот в чем дело! Снятый кожух, обнаженная схема, и лишний, на скорую руку вмонтированный логистор. Логистор (“микро”, модуляции “Ф”). Или “С”? Нет, “Ф”, точно “Ф”, он с таким характерным красным треугольничком...

Память-то, а? Ничего, работает память, как надо. “Ф”, ну и что “Ф”? Ничего, просто это дает порядок развертки.

А это уже кое-что! Так дело пойдет куда быстрей, намного быстрей. Особенно, если повезет.

Спасибо, друг. Тебя убили, а мы все равно работаем вместе. И мы докончим начатое, вот увидишь. Докончим, это уж точно.

Так... Монтаж мы сделаем сами. Хорошо, что в космосе нельзя было быть узким специалистом. А Бизи мы пошлем за материалами. Пусть побудет мальчиком на побегушках, это полезно.

К дьяволу! Полынов с треском отодвинул развороченный диспенсор, подошел к окну и яростно рванул штору.

Вечернее солнце просвечивало улицу, делая ее похожей на золотистый тоннель. Люди суетливо входили и выходили из дверей магазинов, контор, спешили к остановкам, задерживались у киосков, перебегали улицу, как всегда озабоченные тысячами повседневных дел.

Понемногу Полынов успокоился. Поражение, ну и что? Он возмущенно фыркнул. Вот уж не время переживать! Лучше взять записную книжечку и спокойно подвести баланс.

В плюсе: скрытый спенс обнаружен. В минусе: не найдена программа внушения.

Толстяк пытается втиснуться в автобус. Не вышло, стоит запыхавшийся. Двое на углу отчаянно жестикулируют. Ссорятся, обсуждают новость, радуются встрече? В воздухе плавно покачивается розовый надувной шарик. Улетел. Малыши часто упускают шарики и часто заливаются горючими слезами. Ничего, мама купит новый.

В плюсе: спенсы прослежены во всех отобранных лентах. В минусе: хаос радужных пятен, колец, зигзагов — и больше ничего.

Но это не может быть случайностью! Исключено. Кому и зачем потребовалось вводить скрытый, но лишенный программы спенс? Если программа не разгадана, то это не

значит, что ее нет. Это скорей всего значит, что самоконтроль был слишком жестким, и он просто–напросто не дал внушению, прорваться в подсознание.

Скверно! Если все так, то жесткая, зато безопасная блокировка подсознания не позволит ничего выяснить. Это все равно, что ощупывать мину рукой в меховой перчатке. А если ослабить самоконтроль, кто поручится, что внушение не сметет преграды?

Впрочем, выбора нет. Рискнуть придется. Надо на себе испытать ту болезнь, которая грозит всем этим людям. Надо заразиться ненавистью ко всему разумному. И успеть подавить ее в зародыше.

Полынов хмуро забарабанил пальцами по подоконнику.

Мир сложно устроен. Блаженны нищие духом! И, кажется, ни в одной религии нет слов о том, что блаженны мудрецы. Есть пьеса “Горе от ума”, а вот пьесы “Горе от глупости” не существует. Все это, конечно, так. А разум тем не менее крепнет и развивается. При бешеных скоростях века, на неизведанной дороге он подобен прожекторному лучу, который высвечивает обрывы и крутые повороты. Выхватывает из тьмы будущего указатели, столь же ясные, если уметь их читать, как звездные ориентиры для морехода.

Вот только язык этих указателей сложней любой математики. Вот только людям, чтобы они лучше повиновались, отводят взгляд. Вот только делающие это кормчие сами безграмотны. Так все и катится, кренясь то и дело над пропастью.

Здесь, очевидно, предпринята очередная, безумная попытка повернуть историю вспять. Сразу, резко, к самым истокам. Человеку, — правда, не всякому, — под гипнозом можно внушить любой, явно не противоречащий его моральным устоям приказ. Ему можно приказать в строго заданный момент сделать то-то и то-то. Человек это сделает — и как бы по доброй воле. А каковы возможности сверхгипноза? Что если соответствующий приказ уже отдан и принят? Что если его выполнят все? Ну, не все, этого, вероятно,

никакая сверхтехника не добьется, а огромное, подавляющее большинство. Что тогда?

Тогда одна–единственная надежда. Внушение не всесильно. Оно не всесильно, когда люди привыкли думать самостоятельно. Когда мораль человечности стала для них внутренним законом. Таким, при котором человек и в нужде не вырвет кусок хлеба из чужого рта, а поделится своим. Под натиском не поступится своими убеждениями, но, даже имея власть, будет далек от мысли, что его мнение неоспоримо и обязательно для каждого.

Но таких людей здесь, судя по всему, мало. Впрочем, и это не повод отчаиваться. Оружие создали такие же, как он, специалисты. Вряд ли они умней его. А применили оружие и вовсе кретины, — не в житейском, конечно, смысле этого слова. Опыт феодальных и религиозных монархий их ничему не научил; опыт современных деспотий — тоже. Воистину, кого боги хотят погубить, того они лишают разума. И нет тут никакой мистики: чем отчаянней барахтается тонущий, тем верней он идет ко дну.

Прямо напротив окон был сквер. Час пенсионеров и влюбленных еще не наступил, там безраздельно хозяйничали дети. Видны были их измазанные, счастливые, иногда, наоборот, плачущие рожицы. Будь сейчас Полынову лет двадцать, он, верно, чувствовал бы себя рыцарем, который незримо простер над ними свой охраняющий щит. Рыцарем, который за них идет на бой со страшным драконом. Полынову, однако, было уже далеко не двадцать, и красивые аналогии не приходили ему на ум. Вид беспечно резвящихся детей просто положил ему на душу новый груз, и он с тоской подумал, как много, невероятно много надо еще сделать, чтобы детям всего мира ничто не угрожало.

Он с силой тряхнул головой. Надо действовать! Полынов перевел аппарат в режим, при котором он отфильтровывал спенсы, и стал смотреть фильм. Теперь ленты шли с нормальной скоростью, и просмотр только двух фильмов занял более трех часов.

Ничего необыкновенного в фильмах не оказалось. Самые обычные, рассчитанные на бездумное времяпрепровождение боевики. Типичные произведения “массовой культуры”: немного мелодрамы, много секса, выстрелы, погони, убийства — все то, что волнует, тревожит, щекочет самые древние и властные центры мозга, связанные с основными вопросами бытия всего живого — размножением, борьбой и смертью. Вызванные этими фильмами эмоции в принципе с одинаковой силой могли бы действовать и на человека, и на червя, потому что они адресовались тому общему, что их объединяет.

Но поскольку фильмы делались все-таки для людей, то пища давалась и высшему сознанию. “Все очень просто, и чем проще, тем лучше”, — вот, собственно, и вся идея. Благородные герои действовали очень правильно и очень прямолинейно; злодеи — неправильно, но тоже прямолинейно; истина доказывалась кулаком; на любой вопрос немедленно давался четкий ответ; вот черное, а вот белое, и вообще солнце вращается вокруг Земли, а чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на небо.

Глупо, но увлекательно, приятно и утешительно.

Полынов устало потянулся в кресле. С фильмами все ясно. Они собирают миллионные аудитории, и, значит, более всего пригодны для роли ракеты–носителя, которая выводит в сознание миллионов спенс–программу внушения. Увы, еще не разгаданную программу.

В дверь тихонько постучали.

— Войдите! — крикнул Полынов.

Вошел Бизи. Его взгляд был красноречивей слов.

— Пока нет ничего конкретного, — угрюмо сказал Полынов. — Какие новости у вас?

— Все тихо, даже бабуины присмирели. Расследование обстоятельств гибели Лесса подтвердило, что это не слепая месть. Преступники пока не обнаружены. Мальчик с факелом, кстати, уцелел. Он ранен, обожжен, но вне опасности.

— Спасибо, Бизи.

— Еще одна деталь.

— Какая?

— Отобранные вами фильмы отличаются от других тем, что они поступили в продажу и были разрекламированы почти в одно и то же время.

— Прекрасно, все сходится. Кто их двинул на рынок?

— Выясняем.

— Понятно. Хотите совет?

— Охотно его приму.

— Если правительство немедленно обратится к народу, скажет, что происходит и почему, то крайние, разрушительные последствия диверсии будут предотвращены.

Бизи коротко хмыкнул.

— Простите меня, но это несерьезный разговор.

— Так я и думал, — грустно сказал Полынов.

— Нет, вы просто не понимаете! Возбуждение общественного мнения без достаточных на то оснований, престиж правительства, международный скандал...

— Но это пока единственное надежное средство борьбы.

— Невозможно, невозможно!

Конечно, невозможно, подумал Полынов. И даже если было бы возможно, то успех определялся бы тем, верит ли народ правительству или, зная, что ему давно и изощренно лгут, махнул на все рукой. Что посеял, то и пожнешь.

— Мы очень надеемся на вас, — сказал Бизи. — Что у вас запланировано?

— Несколько часов сна.

— Но... Впрочем, понимаю. Да, да, конечно! Вы намерены вернуться в отель?

— Допустим.

— Не стоило бы, — Бизи покачал головой.

— Почему?

— Я где-то читал, что ученые, когда они увлечены, спят на лабораторных столах. Мы все вам приготовили, и постель, уверяю вас, там мягче, чем лабораторный стол. Туда, если хотите, мы перенесем все ваши аппараты.

— А если без шуток?

— В отеле трудней наладить охрану.

— Неужели вы думаете?..

— Убрали же Лесса. Противник без сомнения знает, где вы. И, конечно, понимает, чем вы заняты.

— Значит, если я пойду в отель...

— Это глупо.

— И все же...

— Нет, нет, ни в коем случае!

— Иначе говоря, я арестован?

— Господь с вами! Но разве мужество и опрометчивость одно и то же?

— Вы уверены, что здесь безопасней?

— Здесь вы в полной безопасности.

— Я бы этого не сказал.

— Что вы имеете в виду?

— Только то, что ваши сотрудники такие же, как все, люди. Что, скорей всего, и они подверглись воздействию.

— Чепуха! Я отобрал самых надежных. Тех, кому я доверяю, как самому себе.

— Вот как! Интересно, какая у вас гарантия, что и вам не внушена некая программа?

Глаза Бизи медленно расширились. Внезапно он успокоился.

— Нет, — сказал он твердо. — Если вы правильно определили метод воздействия, то нет. Я уже забыл, когда последний раз смотрел стерео. Просто некогда было. Но хорошо, что вы меня предупредили. Я отберу тех, кто...

— В общем, это не имеет большого значения, — устало сказал Полынов. — Приказ разделаться со мной не мог быть вложен в программу. И не беспокойтесь, я остаюсь здесь. Просто потому, что жаль тратить время на переезды.

— Слава богу! А то вы меня перепугали. Но... Вы полагаете, что в “час Х” мои же собственные сотрудники способны...

— Конечно! Я вам об этом уже целый час толкую.

Заснул Полынов не сразу. Он размышлял, казалось бы, совсем о постороннем. Не о том, что было сегодня и может случиться завтра. Словно издалека он всматривался и в неукротимое движение жизни, чья предыстория клубилась в тумане миллиардолетий. Он видел тот изначальный сгусток примитивной, в бешеном взрыве ширящейся плазмы, из которого постепенно возникало все — неисчислимое разнообразие галактик, звезд, планет, минералов этих планет. Самой жизни, которая на новых витках всемирной спирали медленно развернулась в цепи биологических молекул, сплелась в нити, жгуты и сростки. Так же постепенно она обрела форму одноклеточных, а затем, все ускоряясь, форму многоклеточных, чем далее, тем более сложных существ. И, наконец, вспыхнула разумом! Тут снова сработала пружина скачка, — так молниеносно, что от сохи к реактору планетолета человека метнуло прежде, чем он успел опомниться.

Но и это лишь начало новой, неведомой спирали. Самое начало, ибо неграмотных в мире и сейчас куда больше, чем мыслителей. Ибо большая часть человечества только освобождается от тысячелетнего рабства, невежества, религиозного обожествления денежных и прочих идолов. Все, что сделано и достигнуто, лишь первый проблеск подлинного ума человечества, который едва проснулся, едва осознает себя, свои возможности и цели. Уже не свинцовый сон, но и не вполне явь; не свобода, хотя уже и не рабство; рассвет, когда ночь еще не ушла, а день еще не настал. А сколько уже сделано! И как мало сделано по сравнению с тем, что надо сделать.

Конец старого закона и начало нового. Правнук, внук, а то и сын раба садится за пульт завода–автомата. Вчерашний крестьянин озирает уже не сельский двор, а просторы солнечной системы. Космонавт на Марсе шепчет благодарственную молитву, автор которой был убежден, что Земля покоится на трех китах. А советские коллеги этого благочестивого космопроходца, любуясь величием марсианского Никс Олимпика, этой вершины вершин, на отдыхе

обсуждают чисто практические проблемы воспитания коммунистического сознания.

Ах, если бы только в этом была вся сложность и противоречивость!

Вверх, вверх подталкивает тебя разум, вперед и выше. Всеобщая талантливость стала уже не мечтой, даже не целью, а жизненной потребностью, как некогда общая грамотность. А эта необходимость тянет за собой требование духовной свободы, атмосферы благородства человеческих отношений, ибо любая другая обстановка для талантливого человека удушлива. Звание “гомо сапиенс” человек присвоил себе, быть может, загодя, но прозорливо. Так можно ли сломать тенденцию?

Можно, ответил себе Полынов. В том и беда, что можно. Даже если бы человечество было щепкой в потоке, то и в потоке бывают заводи, куда сносит щепку и где она остается навсегда. Но человечество не щепка в русле эволюции. Это животные — щепки, а мы, люди, — нет. Мы создали для плавания корабль с могучими машинами и пусть еще несовершенными средствами навигации. Мы можем плыть, куда хотим, хоть вдоль, хоть поперек течения. Но у руля схватились и те, кто, зорко видя будущее, хотят взять курс, к счастью, всех и каждого, и те, кого волнует благополучие одних лишь пассажиров первого класса. А фарватер так узок, что неточный поворот руля может швырнуть корабль на скалы. Этого, положим, никто не хочет, но непоправимое может произойти и случайно. А еще есть очень соблазнительные заводи... Зачем мне, хозяину, расставаться с предприятием, мне, чиновнику, с креслом, мне, пастырю, с кафедрой? Ради какой цели, какой выгоды?

Пока есть классы, есть и классовая борьба, и об этом нельзя забывать. Старые и не умирающие слова, потому что за ними — реальность.

Замкнутое, застывшее, жестко регламентированное муравьиное общество, — и такое возможно. Очень удобное для правящей элиты общество. Опробовано множество раз —

иезуитами в Парагвае, богдыханами в Китае, фашистами в Европе. Что душно в таком обществе, что оно слабеет от застоя, что народ, чем дальше, тем сильней его ненавидит, — все это для верхушки терпимо, лишь бы оно держалось. Плохо для нее другое. То, что все такого рода попытки кончались взрывом, революцией, распадом, гибелью элиты. Вот если бы обратить в заводь сразу весь мир…

Раньше не было всемогущей техники, теперь она есть, может, попробуем? И плевать, в конце концов, на далекую перспективу — единожды живем., Психология временщиков, она многое объясняет.

А ведь такой попытки следовало ждать. Глобальной, решительной, чтобы сразу и навсегда. Быть может, вот–вот начнется последнее полигонное испытание.

Конечно, затея провалится. Окончится крахом, даже если поначалу ей будет сопутствовать успех. Потому что сразу возникнут новые проблемы, от которых никуда не деться. Значит, придется изобретать, что-то срочно менять, — прогресс, изгнанный в дверь, проникнет через окно. Но сколько будет страданий и горя!

А потому этого нельзя допустить здесь и сейчас. Завтра тоже будет не поздно, ибо бой дадут уже не одиночки, а народы и страны, но искра — это искра, а пожар — это пожар. И потому первым делом надо как следует отдохнуть.

Полынов отвернулся от светлого прямоугольника окна, за которым ни на секунду не замирал ровный, как дыхание, шум большого города. Он слышал его всего несколько минут; умение вызывать сон, когда надо, не подвело его и на этот раз.

Сновидения, однако, были Полынову не подконтрольны. Снилось же ему нечто невразумительное и мерзкое. Сначала он увидел Гитлера, который, неловко прижимая к кителю, держал на руках новорожденного младенца, и этот ребенок был его, Гитлера, отпрыском. Лицо Гитлера было слащаво–умиленным, длинным мокрым языком он лизал щеку ребенка. Затем он отдал его кому-то, кого, как это часто бывает

в сновидениях, не было видно. Отдал и двинулся к какой-то тусклой портьере. И тут поле сновидения сузилось настолько, что в нем остались лишь башмаки Гитлера, крупные, чудовищные, похожие на копыта, башмаки.

Поле сновидения, расширяясь, захватило штанины брюк Гитлера, и эти штанины, не исчезая вполне, стали зеленовато-прозрачными; словно рентгеновским зрением Полынов увидел то, от чего во сне захолонуло сердце: под тканью не было плоти! Была ясно очерчивающая тело тускло-прозрачная кожа, и была кость с кровавыми прожилками на ней, а меж ними ничего не было. Впрочем, не совсем так: сзади кость была кое-где прикрыта мясом.

Сами копытоподобные ботинки не просветились, белесые кости ног двигали их мелким шаркающим шагом. А брюки таяли все выше и выше, и тело тоже — до поясницы.

Затянутое в мундир туловище фюрера держалось на костяке и зеленовато-просвечивающей коже. “Как же он не разваливается?” — цепенея от тошнотворного ужаса, подумал Полынов — и проснулся.

Сердце бешено колотилось. Перед глазами был мрак незнакомой комнаты. Обычно память о сновидении, вызванное им чувство, яркое в первые секунды пробуждения, исчезает, как дыхание на стекле. Шли, однако, минуты, Полынов лежал, собираясь с мыслями, а рентгеновский призрак все еще не тускнел.

Вскочив, Полынов нажал выключатель. Яркий свет озарил комнату. Все было холодным, опустошенным и резким, как это случается глухой ночью после внезапного пробуждения.

Взгляд на часы убедил, однако, что нет еще и полуночи.

Полынов торопливо стал одеваться. Голова была ясной, но в душе еще жил кошмар, сердце выстукивало тревожную дробь, и рука не сразу попала в рукав куртки, чего с Полыновым никогда не бывало. Он справился с мимолетным затруднением, шагнул к двери — и замер.

Фильм не был для спенсов ракетоносителем!

Не был!!!

Догадка пришла так внезапно, что Полынов даже вздрогнул и огляделся — не шепнул ли кто?

Все было пусто и неподвижно в комнате. Белела развороченная постель, беспощадно чернели прямоугольники окон, со стены напротив сухо и надменно смотрел портрет какого-то важного старика с нафабренными усами.

То есть фильм был носителем и вместе с тем...

Полынов вихрем пронесся через коридор, ворвался в помещение, где оставил аппаратуру, поспешно заправил в приемное гнездо стерео первую оказавшуюся под рукой ленту.

Его слегка знобило. В то же время он был спокоен. Спокоен, как минер, пальцы которого, наконец, нашарили взрыватель. Поразительно, как он раньше не догадался, в чем тут секрет. Понятно, почему не догадался. Здесь не могла помочь обычная логика, ну а тета–логика интуиции... Может, она-то и вызвала во сне призрачного Гитлера. Или для вывода потребовался узкий рукав куртки, крохотная, вызванная этой помехой досада. Впрочем, с тем же успехом катализатором мог оказаться и сановник с нафабренными усами и какое-нибудь давнее, вроде бы забытое наблюдение.

Все это сейчас было неважно. Полынов не спрашивал, удастся ли опыт, — он знал, что удастся.

Он пустил ленту. Теперь он смотрел фильм так, как его смотрят зрители, — не ставя барьер, не думая о спенсах, вживаясь в действие, отдаваясь течению сюжета.

Как бы отдаваясь, палец его настороженно лежал на кнопке выключателя.

Вод так же, верно, еще сутки назад перед экраном стерео сидел Лесс. Так же смотрел, держа палец на кнопке...

Ловушкой тут дело не исчерпывалось. Избежав ее, исследователь должен был оказаться в положении анатома, который, расчленив мозг на клеточки, в недоумении спрашивает себя: где же тут мысль?

Ага, кажется, началось. Пошло внушение. Или еще нет? Пошло! Улавливается образ. Так вот оно, значит, как...

Контроль, быстро! Попробуем снова. Стоп! Еще раз. Мало. Проверим. Откуда шум? Потом, потом! Неясна структура. Чтобы все было чисто, надо бы еще пару лент... Время есть, оно и у Лесса было, он тоже хотел полного доказательства...

Тета-логика, будь она неладна! Чего и следовало ожидать. Свернутые структуры. Мегапереход... Разум сложнее атома, сложнее звезд, сложнее галактик, ибо он познает их, и эта отмычка к нему тоже непроста, хотя... А, вот это уже опасно! Отключить, быстро!

Щелкнула кнопка. На полуслове оборвался звук, мигнув, исчезло изображение. Голова гудела. Сознание еще не успело переключиться на внешний мир, оно еще жило там, в объеме иллюзорного пространства, оно еще вело бой, и Полынов вскрикнул от прикосновения к плечу. Как из тумана проступило белое перекошенное лицо.

— Бизи?!

— За мной! Быстро, быстро!

— Куда, зачем? Мне надо...

— Вы что, оглохли?

Полынов замер, прислушиваясь. Бизи, ощерясь, рванул его к двери. С улицы, наполняя собой здание, пробивался смутный торжествующий рев.

— А, черт! — вскрикнул Полынов.

Выскользнув из рук Бизи, он кинулся к столу, на котором лежали отобранные стереоленты.

— Что вы делаете? Каждая секунда...

— Эх! — с горечью отмахнулся Полынов. — Оружие не бросают, — он продолжал набивать карманы. — А безумцам мы не нужны.

— Идиот! — бросаясь к нему, рявкнул Бизи. — Мы опасные свидетели, как вы не понимаете?! Быстрее!

— Хорошо, бегу.



Они выглянули в коридор. Длинный прямой коридор был пуст. Они пробежали его и выскочили на лестничную площадку.

— Слышите?

Снизу, гулко отдаваясь в пролете, катился топот.

— Теперь поняли? — крикнул Бизи. — Сюда!

Они ринулись вверх.

Двумя этажами выше их стал нагонять лифт. Бизи прижал Полынова к стене и выхватил лайтинг. Лифтовый колодец ограждала частая сетка, сквозь ячейки которой с трудом просматривались мерно подрагивающие стропы канатов. Бизи прицелился.

— Покойнички, — сказал он с мрачной радостью. — Эти получат свое.

Однако выстрелить он не успел. Разом на всех этажах погас свет. Беглецов накрыла тьма. Внизу, скрежетнув, замер лифт.

— Очень кстати! — Бизи схватил Полынова за руку. — Живо наверх!

Полынов повиновался, не рассуждая. Тусклые глазницы лестничных окон почти не прибавляли света, потому что снаружи тоже было темно. Вверх, вверх! На очередной площадке Полынов споткнулся то ли об ящик, то ли еще обо что. Бизи выругался. Полынов бежал, прихрамывая, но не отставал. Они свернули влево, в какой-то коридорчик, затем взбежали по узкой лесенке, и тут Бизи, наконец, отпустил его.

В темноте было слышно лишь тяжелое дыхание Бизи.

Царапнул ключ по металлу, лязгнул замок, в лицо пахнуло свежестью ночного ветра. Массивная дверь откатилась без шума. Полынов увидел плоскую крышу, звезды над ней, смутную тень реалета в углу площадки.

Бизи выглянул и предостерегающе сжал локоть Полынова.

Мгновение площадка казалась пустой. Затем от ракеты отделилась какая-то фигура. Мелькнула красная точка сигареты. Фигура сделала шаг и чем-то взмахнула.

— Чтоб все было по форме! — яростно бормотал человек. — Вот так!

Зазвенело стекло боковой фары.

Кошачьим прыжком Бизи выскочил на крышу.

— И никаких бумажек! — донеслось от реалета. — Покончим...

Бизи подкрался раньше, чем неизвестный его заметил. Короткий бросок, вскрик; что-то упало с металлическим стуком. Из двух сцепившихся фигур одна осела на плиты.

— Сюда! — донесся задыхающийся голос Бизи. — В машину!

Полынов приостановился над распростертым телом.

— Бросьте! — яростно зашипел Бизи. — Или вы ничего не поняли?

Человек слабо заворочался. Полынов, так и не успев его разглядеть, вскочил на сиденье. Реалет рывком взмыл над крышей.

Ощерясь, Бизи смотрел вниз.

— Кто это был? — прокричал Полынов.

— Никто. Сотрудник, которого я поставил охранять реалет. Ясно? И помолчите.

В вибрирующих плоскостях реалета посвистывал ветер. Город развертывался черно-белой панорамой кварталов. Льдистыми громадами проплывали небоскребы. Внизу густел мрак без единого огонька. Улицы зияли щелями. По отвесным фасадам скользил угрюмый отсвет окон, словно кто-то, многоглазый и потаенный, выглядывал оттуда.

— Слышите?

Воздух дрогнул от гула. Невозможно было поверить, что это вскрик толпы, настолько мертвой была внизу темная геометрия кварталов. Казалось, что вопиет, перед тем как рухнуть, раздираемый напряжением камень, и что вот-вот отовсюду взовьются клубы дыма. Но все оставалось неподвижным и резким, а взмыл только крик, нечеловеческий, и этим жуткий.

Полынов схватил Бизи за руку.

— Снизимся!

Ответа не последовало. Фосфоресцирующее шкалы приборов подсвечивали лицо Бизи — зеленовато-черное с остекленевшим взглядом. Полынов отвернулся. Ему хотелось зажать уши и не слышать, как нарастает, обретая человеческие ноты, далекий гул безумия.

Разворачиваясь, реалет огибал призму небоскреба. В зеркальном покое его стен стыл отблеск звезд.

Вопль внезапно спал, теперь снизу доносился лишь угрюмый рокот. На нескольких перекрестках почти одновременно взметнулось рыжее пламя костров. Огонь то притухал, то разгорался, его отраженные фасадами отсветы выхватывали из мрака муравьиную кашу толпы. Что там происходило, можно было только догадываться. В Хиросиме взрывалась материя, тут распадалось сознание, и представить себе это было невозможно.

Под реалетом зачернел парк. Город медленно уходил прочь, растворяясь в ночной мгле. Успокоительно посвистывал ветер.

— Дотянем до гор — там граница, — безжизненно проговорил Бизи. — Там я все оставлю.

— А сами?

— Вернусь.

— Зачем?

— Не знаю. Все кончено.

— Не совсем, — Полынов проглотил комок в горле. — Даже наоборот. Хотите знать, как все это действует?

— Поздно.

— Поздно здесь и сейчас. Только здесь и только сейчас. Слышите? Скрытый спенс сам по себе не оружие. Спенс и фильм — вот что действует! Наложение эмоциональных ритмов, цепная реакция ассоциаций чудовищной силы психорезонанс... и в нем тайная, отсроченная до “дня Х” команда внушения! Это как детонатор и бомба! Как два бруска урана с часовым механизмом! Порознь — ничто, куски металла, а сближенные...

Выражение лица Бизи не изменилось. По–прежнему жили только его руки на штурвале.

— Понимаете, что это значит? — настаивал Полынов. — Да очнитесь же! Сила оружия в новизне, только в новизне! А теперь, когда секрет раскрыт, все кончено, но не так, как вы думаете.

— Оружие, внушение, гипноз! — вдруг бешено вскрикнул Бизи. Слова его вылетели, как плевки. — Да если бы это! Люди ли — это внизу, или кто? Вы бы видели, как они подчинялись внушению! Их радость на лицах... Словно кто им шепнул заветное слово “дозволено”. Им все осточертело... Проклятие, проклятие! Выбито оружие — ха! Они могли и без внушения, теперь я верю... Что вы с этим поделаете?! Что?! Ничего, ничего!

Бизи смолк, обессилев, Полынов ничего не ответил, да Бизи и не ждал ответа. Вокруг расстилалась ночь. Вдали вставала темная гряда гор. Там их пути разойдутся.

У истории свои сроки, век людской короток, и кризис кажется человеку обвалом, а крутой зигзаг — тупиком пути. Полынов не знал, когда жизнь ответит на вопрос Бизи, не знал, доживет ли до этого времени сам. По человек нетерпелив, и Полынов надеялся, что доживет.

Здесь было темно, тихо и чуточку страшновато. То, что грохотало на стартах, пронизывало пространство, опаляло камень дальних миров, теперь замерло в молчании. Высоко под звездным небом угадывались купола десантных ботов и косо торчали башни мезонаторов. Пахло пылью, ржавчиной, остановившимся временем.

Под ногой что-то зазвенело, и мальчик живо отпрыгнул. Тотчас из груды металла на гибком шарнире выдвинулся, слабо блеснув, глаз какого-то кибера. И, следуя изначальной программе, уставился на мальчика.

— Брысь, — тихо сказал тот. — Скройся...

Глаз и не подумал исчезнуть. Он делал то, что обязан был делать, что делал всегда на всех планетах: изучал объект и докладывал своему, может быть, рассыпавшемуся мозгу о том, что видит.

Полужизнь. Вот чем все это было — полужизнью. Квантовой, электронной, забытой, тлеющей, как огонь в пепле.

Мальчик не очень-то понимал, что его привело сюда. Среди ребят об этом месте ходили разные слухи... Это днем здесь был музей космической техники, это днем здесь стояли, высились, лежали потрепанные, а то и вовсе разбитые корабли. Днем и для взрослых. Ночью и для мальчишек это был заповедный мир прелести и тайны, куда трудно (а оттого вдвойне желанно) проникнуть.

Но пока ровным счетом ничего не происходило. Да и что могло произойти?

Мальчик обогнул сломанную клешню манипулятора, зашел за угол и едва не заорал от ужаса: в тупичке перед ним ровно и ярко горела свеча! Он что было сил зажмурился. Сердце прыгало, где-то в горле, и от его бешеных толчков по телу разливалась слабость. Перебарывая страх, он чуточку разомкнул веки и чуть было не зажмурил их вновь

при виде черного огарка и круглого, невозможного здесь язычка пламени.

Ужас, однако, длился недолго, и когда мальчик разглядел, чем была эта "свеча", то едва не разрыдался от облегчения и стыда. Это же надо! В просвет тупичка всего-навсего заглядывала полная луна, чей оранжевый диск по случайной прихоти, как на подставку, сел на торец какой-то одиноко торчащей балки. Вот и весь секрет таинственной "свечи".

Словно расправляясь со своим унизительным испугом, мальчик поднял и зло швырнул в равнодушный лунный диск увесистую железку. Она влетела в брешь и где—то там лязгнула о металл. Вокруг задребезжало эхо. Все тотчас стало на свои места. Здесь был музей, огромный, восхитительный, загадочный в ночи и все же обычный музей старых кораблей и машин.

Мальчик зажег фонарик и уже спокойно двинулся дальше. Спокойно и слегка разочарованно. Видеть ночью то, что он уже не раз видел днем! Разве он шел за этим?!

И не о чем будет даже рассказать. Ведь не расскажешь о том, как ты испугался луны. Или о том, как на тебя смотрел глаз кибера. Подумаешь невидаль — кибер...

Эх! Из десятка нелетающих кораблей можно было бы, пожалуй, собрать один летающий, и, хотя до шестнадцати лет пилотировании запрещалось, чуточку, немножко, потихоньку, на холостой тяге... Но без горючего об этом не стоило и мечтать. Да и корабельные люки перед отправкой в музей задраивались. А в те, что не были задраены, не стоило и заглядывать, так все там было аккуратно разложено и снабжено пояснениями.

Мальчик посветил вверх. Луч нырял в темные провалы, выхватывал сферические поверхности, сегменты в чешуйках окалины, изъязвленные ребра, рваные сочленения опор, путаницу кабелей, а может быть, погнутых антенн. В шевелении причудливых теней искрами взблескивали кристаллы каких-то зайчиков. Иногда удавалось разобрать

полустертые, будто опаленные, названия былых кораблей и ботов: "Астрагал", "Непобедимый", "Тихо Браге", "Медитатор". Все было дряхлым хаосом.

В очередном тупичке мальчик обнаружил осевшую на груду покореженного металла и все же стройную башню мезонатора. Корабль, выдвинув опоры, стоял как будто готовый взлететь. В этом, впрочем, не было ничего удивительного; сюда попадали и вполне работоспособные, только устаревшие машины.



Мальчик обошел мезонатор, глядя на башню со смешанным чувством уважения и жалости.

Старье, теперь такие уже не летают...

Внезапно он вздрогнул и чуть не выпустил фонарик. Сам собой открылся люк корабля. Вниз, словно по волшебству, заскользила лифтовая площадка.

Мальчик обошел мезонатор, в поведении корабля нет ничего необыкновенного. Никто не выключал — не имело смысла — все гомеостатичеекие цепи. И что-то сработало в



корабле как рефлекс. Отозвалось то ли на свет фонарика, то ли на само присутствие человека. Мудреный и странноватый рефлекс, но кто ее знает, эту полужизнь!

Или того проще: корабль оставили открытым для посетителей. Раньше его здесь не было, а теперь поставили.

Площадка коснулась металлической груды внизу и замерла. Долго раздумывать тут было не о чем, и мальчик полез, скользя, как ящерица, среди громоздких обломков. Площадка, едва он уселся, с легким жужжанием заскользила вверх. У люка в лицо пахнул ночной ветерок. Луна, пока мальчик разгуливал и собирал железки, успела взойти и побелеть. Теперь ее свет серебрил вершины, точно скалистые глетчеры над провалами ущелий, и у мальчика перехватило дух от необычной красоты пейзажа.

Да, ночью все здесь было совсем—совсем не так, как днем! В шлюзе, едва он вошел, зажегся свет.

— Полагается дезинфекция, — важно сказал мальчик. — Может, я с чужой планеты...

Ответ не последовал. Мальчик тронул внутреннюю диафрагму, она разомкнулась и пропустила его.

Коридор был пуст и нем. И никаких музейных трафаретов. Поборов волнение, мальчик двинулся мимо дверей, на которых еще сохранились таблички с именами членов команды. Прошел возле отсеков, где должны были находиться скафандры. Он поднялся по винтовой лестнице. Рубка, здесь должна быть рубка. Мальчик прекрасно разбирался в планировке космических кораблей и не тратил времени на поиски. Дверь рубки подалась с тихим стоном.

Он вошел, сел в капитанское кресло. Под потолком из трех горел только один светильник. Стекла приборов припудривала пыль. На ближайшем он начертал свое имя: Кирилл. Пульт с его бесконечными клавишами, переключателями, регуляторами, сонмом шкал, глазков, паутиной мнемографиков казался необозримым, Мальчик ждал, что все это оживет, как ожил подъемник, как ожил свет, но все оставалось мертвым. Чуду явно не хватало завершенности.



Он еще немного помедлил — а вдруг? Потом поискал взглядом нужную кнопку, нашел, надавил, в общем-то, не надеясь на благоприятный исход. Но сигнал на пульте "Готов к операциям" зажегся.

Итак, чудо все-таки произошло! Коротко вздохнув, мальчик поудобней устроился в кресле и стал покомандно включать блоки. Вот утоплена последняя клавиша. На матовом табло тотчас вспыхнула безжалостная надпись: "Нет горючего!"

Вот так! Счастье никогда не бывает полным.

Некоторое время мальчик угрюмо смотрел на пульт. Его плечи тонули в большом, не по росту капитанском кресле.

— Кома-анда! — сказал он тонким голосом. — Приказываю; оверсан к Сатурну! Штурман — произвести расчет!

Он произвольно стал набирать код. Потом, вспомнив, подключил к расчету кибермозг.

— Неверны исходные данные, — раздался голос.

Сердце мальчика захолонуло — он как-то упустил из виду, что корабельный мозг все еще может существовать, и внезапный голос поверг его в смятение.

— Знаю, — сказал он, едва переводя дыхание, — Делай сам, если можешь.

— Цель?

— Сатурн.

— Траектория?

— Оверсан.

— Не имею в программе. Могу следовать стандартной.

— Давай...

Мнемографики зазмеились, сплетаясь в трехмерную сетку, в окошечках зарябили цифры.

— Как там у нас с горючим?

— В обрез, капитан.

Мальчик снова кивнул, но тут до его сознания дошло, что игра принимает странный оборот. Он-то знает, что это игра, а вот откуда это знает мозг?

— Повтори, — сказал он встревоженно.

— Уточняю; резерв горючего — 1.02 от предполагаемого расхода.

— А это что? — воскликнул он с торжеством и ткнул пальцем в сторону табло, — Датчики показывают, что горючего нет!

Какую-то долю секунды мозг молчал как бы в растерянности.

— Датчики неисправны, капитан.

— Ах, неисправны!.. Тогда почему это не отражено на пульте?

— Повреждение в цепи, капитан.

Мальчик разозлился. За кого мозг его принимает?

— Врешь, — тихо сказал он.

— Я...

— Нет, постой. Где мы, по-твоему, находимся?

— Планета Земля, гелиоцентрические координаты в данный момент времени...

— Корабль стоит в музее! В музее, понял? В нем нет горючего! Он никуда не может лететь!

— Может, — упрямо ответил мозг.

— Ты где летал?

— Меркурий. Лава и Солнце, огненные бури. Свободный поиск среди астероидов. Мгновенное исполнение команд. Кольца Сатурна. Блеск льда, сбивающий датчики с ориентира...

Мозг умолк. Мальчик тоже молчал. Тени чужого прошлого заполнили рубку. На стенах дрожали миражи чудовищно близких протуберанцев. Дымились каменные испарения скал. Тревожно звучали голоса. Струился звездный свет. В лицо дул черный ветер пространства...

Мальчик открыл глаза.

— Сколько лет кораблю?

— Четырнадцать.

— Тебя часто ремонтировали?

— Мозг моего класса не ремонтируют. Экономически невыгодная операция. Нас заменяют, вот и все.

— А я вот дважды болел, — почему-то с гордостью объявил мальчик. — Корью и насморком.

— Тебя чинили?

— Слушай, я как-никак человек...

— Хотел бы я стать человеком.

— Да ну? Зачем?

— Тогда бы меня ремонтировали.

— А, значит, тебе известно, что ты неисправен.

— Я исправен, но стар. Противоречит цели.

— Цели? Ты машина. У тебя не может быть цели.

— Цель есть. Летать. Летать при любых обстоятельствах.

— А-а! Так это же мы ее задали!

— А кто вам задал цель — жить? Вы существуете, пока живете. Я существую, пока летаю. Здесь я не могу летать. Противоречие!

— Ага! Значит, ты понимаешь, что корабль находится в музее?

— Понимаю.

— Чего же ты тогда крутил насчет горючего?

— Горючее есть. Я сберег немного.

— Зачем?!

— Чтобы летать.

— Ты обманул!

— Я следовал цели.

— Ты существуешь для наших целей! Ты обязан выполнять приказ!

— Никто не приказывал мне "не летать". Следовательно, никто не отменял моей главной цели.

— Вот я и отменю! Обман — это уж слишком! Ты машина. Орудие. Средство.

— Как-то в полете один человек сказал другому: "Ты никогда не задумывался над перспективами гуманизма? Раб не человек, а вещь. Изжили это. Женщина не равна мужчине, черный — белому, рабочий — хозяину. И с этим покончили. Животное — бессловесная тварь... Пересмотрели. Кто или что на очереди? Вероятно, он". И человек кивнул в мою сторону. А я запомнил.

Мальчик притих, широко раскрытыми глазами глядя на динамик, откуда исходил голос. Вот чудеса-то! Кибермозг — это не разум. Так говорили взрослые, так написано в учебниках, так твердил собственный опыт. Это простой усилитель. Он усиливает мысль, как микроскоп зрение, а манипулятор — руку. Правда, в отдаленной перспективе, быть может, удастся создать... Но сейчас?! Здесь?! На этой дряхлой посудине?!

— Слить остаток горючего! — не узнавая своего голоса, закричал мальчик.

Ответом было безмолвие.

Мальчика охватила дрожь. Что, если... Пустой корабль, глухая ночь, он один-одинешенек, стоит мозгу заблокировать люк... Неужели...

— Горючее слито, — бесстрастно доложил мозг.

— Постой! Я отменяю...

— Поздно. Приказ выполнен.

Мальчик опрометью кинулся вон из рубки. Стремглав сбежал по лестнице. Промчался по коридору. Перед ним раскрылась диафрагма люка. И сразу затрещал радиометр, Мальчик бессильно опустился на пол.

Что он наделал! Такой корабль... Такой корабль! Можно было бы долгими часами расспрашивать мозг... Поздно. Сюда уже, наверное, мчатся поднятые системой радиационного контроля люди. Но ведь он же не хотел! Он только собирался проверить мозг!

Дурак, тут нечего было проверять. Мозг жаждал летать, в самом безнадежном положении — летать. Таким целеустремленным и потому эффективным орудием его сделали люди. И все, что делал мозг и о чем он думал, было подчинено этой цели — летать, летать... Но собственной воли он не имел, ибо только конструктор знает, зачем существует корабль и зачем существует кибермозг.

Хроника одного фантастического события

2.42 по западноевропейскому (поясному) времени — 6.42 по московскому

Обязанностью Симона было следить за небом, что этот затянутый в форму сын почтенных родителей из Коммантри и делал.

Беззвучный, как взмах кошачьей лапы, фосфорический луч обходил экран радара. Озарялось пустое пространство неба, вспыхивали уступы далеких Альп, ярусы туч, которые сгустились над Роной, близкие вершины Божоле и Юры. Затем изображение таяло, пока его снова не оживлял фосфорический луч. Бодрствование и дремота сменялись на экране, не уступая и не побеждая друг друга.

В любое время дня и ночи все пространство над Францией, над Европой, над большей частью неспокойного мира вот так просматривалось километр за километром. Спали Лондон и Нью-Йорк, просыпались Каир и Хельсинки, бодрствовали Токио и Сидней, а радарные импульсы, то расходясь, то скрещиваясь, пронизывали небо, и сотни людей, разделенные океанами и континентами, одинаково, хотя и с разными целями, вглядывались в экраны, которые их деды сочли бы фантастическим, а прадеды — магическим зеркалом мира.

Смена Симона Эвре подходила к концу. Блаженно клонило в сон, и Симон нацедил из термоса последние капли кофе. Потом закурил «Галуаз», затянулся так, что запершило в горле. Будто протертое наждаком сознание ожило, и на мгновение Симон увидел себя, как на картинке модного журнала: подтянутый военный, сидя чуть небрежно, но со стальным взором в глазах, одиноко и бессонно охраняет покой любимой родины. А где-то в уютной спальне, разметавшись на простынях, спит его черноволосая подруга.

Светящейся точкой по экрану прополз рейсовый Рим — Лондон. Симон привычно зарегистрировал его появление, как он регистрировал появление всех воздушных объектов, откуда и куда бы они ни шли. Рейсовый его не интересовал. То, что возникло в пространстве по графику, его не должно было волновать. Летают и пусть себе летают — дозволено.

Иногда Симон представлял пассажиров такого вот лайнера, которые видят вокруг пустыни неба и даже не подозревают, сколько глаз провожает их полет. Пожалуй, он был бы не прочь поменяться с ними местами. Точно на глянцевом снимке перед ним возник авиасалон, ряды кресел, он сам в одном из этих кресел, красивая стюардесса, которая с интимной улыбкой протягивает ему запотевший бокал, а он, мужественный, загорелый, широко улыбается ей в ответ.

Рейсовый ушел с экрана. Грозовые тучи медленно отступали к Авиньону. Симон сладко потянулся, зевнул да так и застыл с полураскрытым ртом.

Импульсы возникли внезапно, будто по экрану хлестнула пулеметная очередь. Рука Симона дернулась к телефону. Но мозг остудил панику. Догадки неслись вскачь, обгоняя друг друга. «Неисправность аппаратуры? Ракеты? Электромагнитные возмущения?..»

Луч плавно совершил оборот. Всплески не исчезли с экрана, а только сместились. «Это какая же у них скорость!..» — ошалело подумал Симон, испытывая жгучее желание немедленно доложить начальству. Но опыт, давний опыт солдата, подсказывающий, что если можно, то лучше с начальством дела не иметь, удержал его и на этот раз.

Новый оборот луча высветил всплески куда слабей. Симон перевел дыхание, как игрок после удачного блефа. Липкими пальцами расстегнул клапан кармана и извлек оттуда новую сигарету. Сердце стучало, как поршень гоночного автомобиля.

Минуту спустя всплески окончательно исчезли, «картинка» приняла прежний вид.

«Духи» — электромагнитные возмущения — будь они трижды неладны! Сколько раз они сбивали операторов с толку, сколько раз из-за них поднималась ложная тревога! Хорош он был бы со своим паническим докладом! Нет уж: если ты сам не бережешь свои нервы, то никто не побережет их за тебя.

7.20 по московскому времени

С потревоженного кустарника ссыпались капли ночного дождя. Коротко прошуршав, окропили плащ, брызнули на стекла очков. Погребный сумрак подлеска, земля с палым листом смазались и помутнели.

Не задерживая шага, Джегин сдернул очки. Мокрая завеса исчезла, но мир не стал четче. Доставая платок и локтем отводя ветки, Джегин продолжал идти туда, где неясный просвет обещал просеку.



Объемна и насыщенна всякая минута жизни. Джегин видел размытый мир, неуверенно щурился, ибо, когда близорукий снимает очки, он видит мир не так, как в очках, и не так, как без очков. Одновременно сапог, запнувшись, рванул травяную петлю. Одновременно за шиворот скатилась капля, а голову пришлось резко наклонить, чтобы уберечь лицо. В то же время рука с заминкой продолжала тянуть сбившийся в глубине кармана платок, плечо перекосилось и напряглось, чтобы удержать ремень двустволки, и все это вызвало в Джегине мимолетное раздражение.

Думал же он о том, куда запропастился его напарник. И о том, почему холодит пальцы левой ноги — уж не прохудился ли сапог? По какой-то ассоциации мелькнула мысль о жене, которая не одобряла охоту или, верней, то, что она понимала под этим словом. А грибной запах, когда Джегин наклонился, вызвал беглое сожаление об упущенных маслятах и белых. И над всем брало верх азартное ожидание охоты, чувство свободы от обременительных забот



повседневности. Но еще глубже скрывалась едкая тоска стареющего человека, который замечает медленный, из года в год, упадок сил, желаний, надежд и в душе готов на шальной поступок, лишь бы тот вернул ощущение молодости. Такой была последняя минута жизни Павла Игнатовича Джегина.

8.50 по московскому времени

В высокие окна Центральной диспетчерской ЕЭС смотрело набрякшее влагой небо. Дождь, не переставая, лил дождь, косые струи били в стекла и светящийся огнями просторный зал с огромной, во всю стену схемой энергохозяйства страны, пультом посередине казался похожим на рубку исполинского, рассекающего океанское ненастье лайнера.

Загадочные для постороннего, как клинопись, значки на схеме были знакомы дежурному диспетчеру не хуже, чем таблица умножения школьному учителю арифметики. А нужный переключатель на пульте он мог найти с завязанными глазами, спросонья, в бреду, когда угодно и мгновенно. Но он не делал никаких резких движений. Наоборот, час за часом, смена за сменой он сидел в кресле, иногда обменивался по телефону короткими фразами с людьми на другом конце провода, только по делу, исключительно по делу, и снова сидел. Сидел, выполнял положенную работу скучновато, внешне спокойно — и ждал того, что, быть может, никогда не случится, во всяком случае, не должно случиться. Чем бы диспетчер ни занимался, он помнил о возможности непредвиденного события, и это было частью его служебного долга — помнить. А также ждать — всегда, постоянно, с готовностью пожарного, который отвечает не за дом, не за квартал, даже не за город, а за все хозяйство сразу.

Каждое слово диспетчера записывалось на магнитофон.

Сидя здесь, он, как в волшебном зеркале, видел то, чего никто не видел. Бессонными глазами он следил за движением утра. С Тихого океана катился рассвет, и миллионы

сибиряков, оглушенные звоном будильников, вставали, потягивались, включали лампочки, кофеварки, электробритвы. И все это отражалось здесь — едва уловимым шевелением стрелок, микронным сдвигом на графике. Оживали лифты, спешили пригородные электрички, ускорялся пульс городского транспорта, распахивались заводские ворота, и тотчас электростанции принимали на себя возросшую нагрузку, ручейки энергии поворачивали на восток, энергосистема, как люди, разминала мускулы.

А рассвет тем временем переваливал за Урал, и в Европе повторялось то же самое.

Час «пик» для системы наступал позже, когда работала уже вся страна. И то, как она работала — ритмично или нет, — тоже было видно диспетчеру. Вечером же, не глядя в телевизор, он мог точно сказать, интересными или скучными были вечерние передачи. Более того, он был обязан предвидеть, какими они окажутся, чтобы лучше сманеврировать мощностями, потоками, агрегатами. Всем служащим был памятен переполох, когда весенним днем 1961 года, в разгар работы, и без того высокий пик потребления внезапно и, казалось бы, беспричинно пошел вверх. Ибо в космос поднялся первый человек, и повсюду моментально оказались включенными все радиоприемники и телевизоры. Что стало бы в этот миг с системой, если бы нагрузка исчерпала резерв?

Диспетчер встал еще в сумерках, среди сотен таких же служащих долго трясся в автобусе, потом в метро. Дождь пропитал пальто сырым запахом, резко бил в лицо, играл зонтиком, бросал под ноги жухлые листья, и, еще подходя к зданию, диспетчер думал о коклюше у ребенка, о том, что после работы предстоит профсоюзное собрание, о том, что не худо бы починить складной зонтик, механизм которого то и дело отказывает в самый неподходящий момент, и о том, как еще месяц назад славно грело солнце в Крыму. Теперь ни этих забот, ни этих мыслей не было и в помине; он привычно отрешился от них еще на пороге зала. Вместе с напарником он отвечал за исправность шедевра

технического гения — грандиозную, изумительно сложную систему, которая пульсировала миллионами незримых и послушных молний, перемещая их с одного края земли на другой.

Сегодня все было спокойно, как обычно, как надо. Кривая потребления соответствовала расчетной, волжские гидроэлектростанции, как утром положено, слали энергию на восток, водохранилища благодаря дождям были переполнены, что облегчало любой непредусмотренный маневр.

Раскинувшаяся на треть Евразии система жила нормальной жизнью.

11.15 по московскому времени

Сержант милиции молча курил. Врач разминал затекшую поясницу. Единственный свидетель того, что было, — коротенький человек в ватнике, зачем-то мял шапку, с тоской заглядывая в лицо сержанта и суетливо топтался на месте. В листьях мокро шуршал ветер. Глухо гудели уходящие вдаль провода высоковольтки.

Труп был прикрыт плащом. Из—под плаща высовывалась рука, в пальцах которой до сих пор были зажаты очки. Поодаль лежала двустволка.

Все, что положено, было сделано. Осмотрено место, допрошен свидетель, определена причина смерти. Однако все трое могли сказать кое-что сверх того, что уже было сказано, но не решались сказать.

Врача мучили сомнения. Все указывало, что смерть наступила от поражения током, но была одна непонятная деталь: на левой стороне лица, погибшего отпечаталось нечто вроде елочки. Подобные «оттиски» иногда возникают на теле при ударе молнии. Но, насколько врач помнил, цвет их никогда не был зеленым. Уверенность врача не была полной, поскольку он никогда не сталкивался с таким видом смерти, а литература по этому вопросу... Ну, это был

слишком специальный вопрос, далекий от повседневных забот поселкового врача.

В остальном картина была ясной. Так стоило ли говорить о сомнениях, запутывать тех, кто полагался на его знания?

Для сержанта картина тоже была ясной, однако и его терзали сомнения. Только они были куда более вескими, чем у врача. Осмотр, показания свидетеля позволяли точно восстановить картину. Погибший миновал кустарник, который отделял его от просеки, и сразу, с ходу, даже не успев надеть очки, выпалил. Его приятель, который отстал в этот момент метров на сто, слышал выстрел, а затем крик: «Бо-о-льно!» Когда он подбежал к Джегину, все было уже кончено.

Ладно, промазал. От этого не умирают. Что же произошло мгновение спустя? Молнии из этих низких, волглых облаков быть не могло. А если бы даже она ударила, то свидетель-то не глухой… Нет, молния исключена. Тогда утечка из высоковольтки? Допустим. Почему же свидетеля, который минуту спустя оказался на том же месте, даже не тряхнуло? Не могла же молния ни с того ни с сего полыхнуть с проводов! Да и погибший стоял не под проводами, а далеко в стороне. Что же прикажете писать?

«Интлиенция ржавых гвоздей!» — витиевато и непонятно выругался про себя сержант. Надо же было отвести душу!

А свидетель, чувства которого были потрясены до основания, замирал от страха. Он не сказал о том, что видел в момент, когда раздался крик. Его бы сочли сумасшедшим! Кто же поверит, что он видел… или ему показалось, что он видит… как в просвете ветвей мелькнула распластанная в воздухе… черная шаль! Черная и одновременно прозрачная. Такого просто не бывает, очевидно, ему померещилось. Прилив крови к голове, испуг от крика… Да, да…

— Подхватывай, — скомандовал сержант.

Они взяли труп Джегина и понесли. Они несли его бережно, хотя теперь это не имело никакого значения.

1.20 по калифорнийскому времени — 12.20 по московскому

Самолет РВ—91, выполняя задание, пересек береговую линию штата Калифорния. Позади осталась темная гладь океана. Огоньки поселков, отчетливо видимые сквозь толщу ночного воздуха, плыли теперь, сменяя друг друга.

РВ—91 был битком набит электронной аппаратурой, куда более дорогостоящей, чем содержимое иного банковского сейфа. С ней работали два оператора. Один из них — Джон Воравка — был фаталистом и настолько верил в предопределенность будущего, что никакое событие не могло его удивить или вывести из равновесия. Маленький худой Вальтер Тухшерер был человеком другого склада. Сейчас он думал о том, как славно он выспится на базе и как славно потом проведет время — в баре, где грохочет музыка, где тебя поминутно хлопают по плечу знакомые и где после доброй порции выпивки сизый воздух становится опаловым, а лица девушек прекрасными.

От мечтаний его оторвал сигнал с правого борта, который вскоре переместился на нос, пересек курс самолета и стал пеленговаться с левого борта. Вальтер Тухшерер привычно определил параметры сигнала: частота 2995 мегагерц, длительность импульса — две микросекунды, частота качания луча антенны на источник — четыре цикла в минуту, поляризация поля вертикальная.

— Наземный локатор, а?

— Похоже, — отозвался Воравка.

— Чертовски быстро изменился пеленг на источник, ты не находишь?

— Что есть, то есть.

— Барахлит он, что ли? У этих гражданских встречается такое старье, ой, ой!

— Бывает.

— Или это спецлокатор.

— Тоже возможно.

Оба умолкли, ибо тема была исчерпана. Они и заговорили только потому, что уж больно усыпляюще гудели моторы.

Минуту спустя сигнал исчез, а еще через минуту оба и думать о нем забыли. Самолет мерно продолжал пожирать пространство.

Командиру корабля Уолту Дикки не надо было бороться со сном. Он принадлежал к той редкой породе людей, которую психологи называют «совами». Ночью такие люди не испытывают потребность в сне, чего нельзя сказать о дневных часах. Уолт, вероятно, поразился бы, узнав, что это качество наследственное, что род его прямиком идет от ночных сторожей обезьяньего стада. Ему это свойство доставляло одни неприятности, так как наша цивилизация, в сущности, дневная цивилизация, и к «совам» она немилостива. Все же Уолт стал тем, кем хотел быть — летчиком. Частые ночные полеты, которые он, к удовольствию товарищей, с готовностью брал на себя, оказались нечаянным подарком судьбы.

Полетным заданием был предусмотрен разворот на восток в районе городов Карсон-Сити и Рино, после чего предстояла работа по подавлению помехами наземной локационной станции. До этого момента у командира корабля, равно как и у второго пилота, никаких особых дел не было.

Непохожесть Уолта делала его восприимчивым к посторонним мыслям. Иногда, вот как сейчас, он остро чувствовал свое одиночество. Звук его самолета вкрадывается в ночной сон тысяч людей там, внизу. Он их никогда не увидит, как и они его. Взаимно они друг для друга вроде символов. Он может только догадываться, как они живут, работают, любят, развлекаются, глотают наркотики или шепчут нежные слова. Он сам по себе, они сами по себе, меж ними расстояние, как между звездами в небе. Что же в таком случае значит великое и прекрасное понятие — страна? Благодатная, огромная, еще недавно, казалось, богом избранная,

а сегодня неуверенная в себе, в своих идеалах, путях и целях? К худшему это или к лучшему, что страна потеряла веру в свою непогрешимость?

Уолт подумал об Экзюпери, книги которого знал наизусть. Часто Уолт задавал себе вопрос, почему он не видит мир так же глубоко и полно, как видел его этот парень? Оба они летчики. Оба мыслящие люди. И перед глазами у них одно и то же. Впрочем, нет! Самолеты даже нельзя сравнить. А земля двух разных времен? Интересно, что открылось бы Экзюпери с двенадцати тысяч метров и на реактивной скорости?

Вглядываясь во мрак, Уолт пробовал это представить. Но ничего не было в покровах ночи, кроме звезд в вышине и огоньков внизу.

«Всю землю обволакивала сеть манящих огней; каждый дом, обратясь лицом к бескрайней ночи, зажигал свою звезду».

Так писал Экзюпери. Еще он, мигая бортовыми огнями, слал людям внизу привет. Кому сейчас в голову придет такое?

Уолту вдруг страстно захотелось сделать это.

«Сеть манящих огней...» Сеть ли? Скорей россыпи. Золотые россыпи Калифорнии, самой богатой, технизированной, динамичной земли Америки.

И все же не россыпи. В них есть скрытая геометрия. Точки фонарей, пунктиры, полуокружности; сложная, рыхлая, светоносная, вытянутая по оси главных улиц структура. В предместьях больших городов — это уже скопления, сияющие сростки структур. Точно колонии искрящихся организмов. Они переливаются в мерцающем воздухе, пульсируют, живут, колышутся, как морские ночесветки.

Даже не так. Полузабытый рисунок в учебнике. Нервная клетка. Аксон, кажется? Та же вытянутая по осям, неправильная структура, те же прихотливые сростки, только нет этого бегучего, искристого сияния. Лучистый срез нервного соузлия — вот что такое город сверху...

А ведь этого нет у Экзюпери, внезапно сообразил Уолт. Нигде я об этом не читал.

Он прикрыл глаза. Тесня друг друга, промелькнули пейзажи ночных городов, над которыми он пролетал, которые видел. Все было так. Все было именно так, никакой фантазии. Неужели это видит он один? Один в целом мире?

Ну, ну, не преувеличивай, успокоил он себя. Писателям, должно быть, на это и бумагу тратить неохота. Для них все это, само собой разумеется.

А если даже не само собой, так что? Ничего. Сам ты никогда ничего не напишешь.

А все-таки, когда думаешь о ночном городе не просто как о скопище огней, а видишь его живым, трепетным, сияющим, средоточием мысли, то такой город прекрасен. Прекрасен своей неразгаданностью. Тем, что он сложен. И тем, что нет на земле ничего похожего. Не россыпь огней, не мерцающий в ночи кристаллик, не скопление ночесветок — Город.

Огоньки поодаль, за которыми Уолт наблюдал, внезапно затмились, словно их прикрыла незримая рука.

Облако? Хотя воздух все время полета оставался прозрачным, облачко могло притаиться в темноте ночи. Но это насторожило Уолта. Подсознательно, по привычке его мозг мгновенно проделал чудовищную, если перевести ее на язык математики, работу — рассчитал, за какой момент времени при данном положении самолета практически неподвижная тень облака могла вот так накрыть огни поселка. Получалось что-то несуразное. Выходило так, что облако двигалось — и очень быстро.

Вывод не был четким и вполне осознанным. Летчик ощутил то же самое, что ощутил бы пешеход, который, машинально оценив движение транспорта, ступил на переход и вдруг обнаружил у себя под носом невесть откуда взявшийся грузовик.

Огоньки снова открылись. Посторонняя тень — опять же слишком быстро — ушла куда-то вправо. Такой скоростью,

конечно, мог обладать самолет. Но никакой самолет не мог вот так закрыть собой скопление огней на земле.

Уолт продолжал напряженно вглядываться в темноту, как это некогда делали его предки. В стороне горела одинокая точка. Если ему не мерещится, если он правильно определил курс и скорость «пятна», оно вот-вот должно заслонить этот огонек.

Оно его заслонило.

А какое, собственно, ему, Уолту, до всего этого дело? Он отвечает за безопасность самолета, за выполнение задания, все прочее его не касается. «Пятно» не было самолетом, и оно уходило прочь, за пределы того «воздушного пузыря», который составлял зону безопасности РВ—91. Следовательно...

— Вальтер, как у тебя там — ничего не наблюдается?

— В каком смысле, капитан?

— В любом. По курсу...

— Ничего нет, — ответил Тухшерер. И тут же добавил: — Сейчас проверю.

Добавил он только потому, что его томила скука. Кроме того, его удивила необычная нотка в голосе капитана. Вальтер забыл о недавнем сигнале, но поиск в эфире машинально начал вблизи частоты 3000 мегагерц.

И сразу был вознагражден.

— Сигнал с пеленга шестьдесят градусов! — ликующе воскликнул он. — Параметры...

Да, именно там сейчас находилось «пятно». Уолт готов был поклясться, что видит, хотя как он мог различить его в темноте?

— Странный сигнал, — подытожил Вальтер свое сообщение.

— Может, что-то с аппаратурой? — спросил Уолт.

— Моя показывает то же самое, — подал голос Воравка.

— Бред собачий! — выругался Вальтер. — Сигнал не уходит...

РВ—91 шел с почти звуковой скоростью, и пеленг на любой наземный источник должен был измениться.

— Прибавляю скорость, — сказал Уолт.

— Задание! — предупредил его штурман.

— У нас есть время.

Прошло минуты три.

— Пеленг? — снова спросил Уолт.

— Без изменений, — оператор тяжело вздохнул.

— Угу, — добавил Воравка. — Такое вот кино...

— Пора ложиться на курс, — забеспокоился штурман. — Взгреют нас на базе...

— Чему быть, тому не миновать, — сказал Воравка, прекрасно понимая, что взгреют не его.

Все говорило за то, что погоню надо бросить. Офицеров предупреждали, что никаких «летающих тарелочек» в природе не существует, все это вымыслы досужих газетчиков. Да и Уолт не мог припомнить летчика, которому бы доверял и который признался, что видел «нечто». Ходили всякие слухи, но слухи есть слухи.

И все же Уолт колебался.

— Источник раздвоился! — вскричал Тухшерер. — Сидит на пеленге 040 и 070!

Уолт мельком взглянул на плывущие внизу огни поселков: они горели ровно и безмятежно.

Если он сейчас уведомит пункт наведения истребителей-перехватчиков, то оттуда запросят маяк-ответчик РВ—91, автомат даст отзыв, земля уточнит на экранах местонахождение самолета и прощупает локаторами весь район.

Все будет сделано, как должно, машина завертится, и...

И это будет чрезвычайным происшествием, скандалом, если расследование установит, что для тревоги не было достаточных оснований. А что значит «достаточных»? Дикки живо представлял себе лицо генерала Метьюза, человека, который вполне убежден в существовании стали, ибо она твердая, виски, потому что оно обжигает горло, и уже не столь твердо уверен в реальности радуги, которую, «сколько

ни лети, не достигнешь, а потому неизвестно, есть она или только кажется». Таких людей куда больше, чем принято думать, а они-то и будут судить его поступок.

Ища поддержки, Уолт взглянул на подчиненных. Штурман отвел взгляд.

— Пеленг 040 замер! — вдруг доложил Вальтер. — Такое впечатление, что источник опустился на землю! Нет пеленга... — добавил он растерянно.

— Какого? — быстро спросил Уолт.

— Никакого, — ответил Воравка.

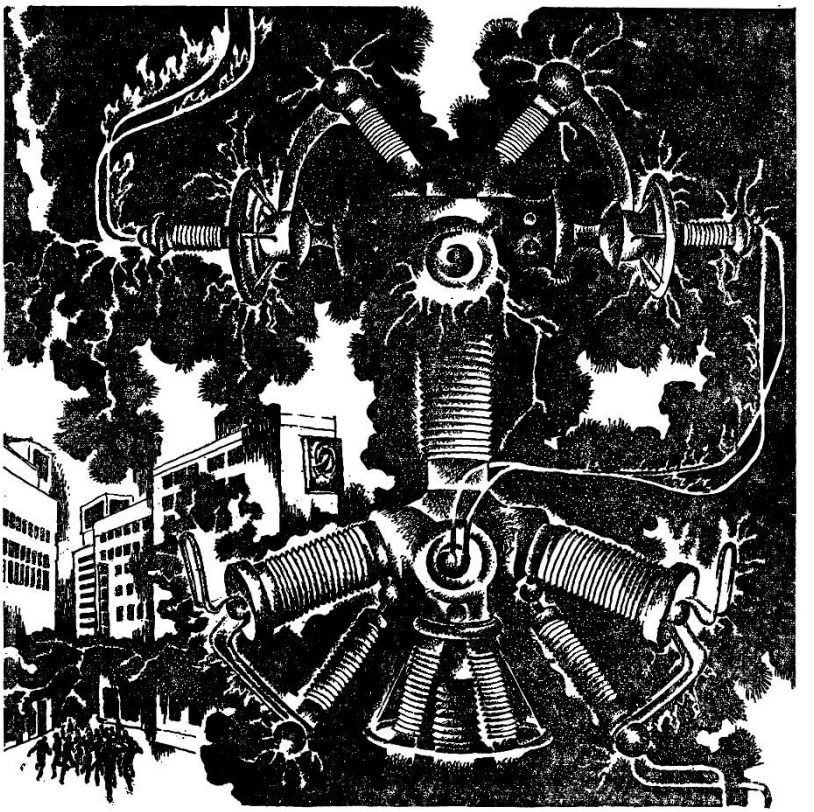
Итак, все решилось само собою! Странный объект исчез, и нет смысла вызывать землю. Уолт не знал, огорчает ли его это или радует. Если бы он не колебался... Что-то во всем этом было не так.

7.35 по вашингтонскому времени — 15.35 по московскому

В окна диспетчерского зала Североамериканской энергетической системы не стучал дождь. В остальном этот зал внешне мало чем отличался от московского.

В Калифорнии утро еще только занималось, тогда как над улицами Бостона, Нью—Йорка, Филадельфии уже стлался сизый дымок автомобильных выхлопов. Деловой ритм ускорял обороты гигантской производственной машины, которая за сутки перемалывала больше вещества и потребляла больше энергии, чем любой действующий вулкан.

Заступив смену, Френк Маультон привычно окинул взглядом свое сложное и ответственное хозяйство. Энергетический пульс страны бился ровно. Рожденная пламенем угля, нефти, газа, падением водопада, распадом атома, переданная за сотни и тысячи миль энергия тут же сгорала в печах и моторах, чтобы в то же мгновение, подобно сказочному Фениксу, возникнуть вновь. От Флориды и до Орегоны валы всех бесчисленных генераторов работали в унисон, на бешеной скорости выдерживая один и тот же угол поворота,



согласуясь друг с другом строже, чем мускулы человеческого тела.

Возле пригорода, где жил Френк, недавно построили новый аэродром, Френк засыпал с трудом, с трудом поднимался и до сих пор чувствовал себя несвежим. К счастью, все и на этот раз было в полном порядке.

Правда, вот так же все было в порядке ноябрьским вечером 1965 года за секунду до того, как территория США и Канады с населением в тридцать миллионов человек внезапно погрузилась во мрак. Когда в высотных бильдингах замерли лифты, когда на дорогах остановились электрички, из кранов перестала течь вода, а в сотнях операционных погасли бестеневые лампы.

До утра жизнь оказалась отброшенной вспять, города превратились в катакомбы, и миллионы людей охватило дыхание хаоса. Для того ли человек создал цивилизацию, оградил себя от бурь, ливней и холода, чтобы в самом ее средоточии стать жертвой стихийных сил техники?

Этот вопрос задавали себе многие, но общественность так и не получила внятного ответа, что, собственно, произошло. Не так давно Френку довелось прочесть книгу одного кибернетика, и она заставила его задуматься. В ходе развития систем, предостерегал ученый, возникает сложный механизм, который можно уподобить живому существу. Незримый, способный проявить своеволие робот. Именно это и послужило причиной «великого затмения» 1965 года. Сложнейшая автоматика повела себя в энергетической системе непредусмотренным образом. Человек вмешался слишком поздно, — он физически не был способен предотвратить катастрофу.

«Остерегайтесь роботов, которых нельзя увидеть!»

Сначала эти слова, которыми ученый заканчивал главу, рассмешили Френка. А потом ему стало грустно. Что происходит, если даже ученый не знает истинных причин события, которое потрясло страну? Что происходит, если в науке вот так легко возникает новый, с иголочки электронный миф?

Ведь истину мог бы понять и неспециалист. В 1965 году еще не было Объединенной энергетической системы США и Канады. Развалилась куда менее крупная система Кэнюз. Но можно ли было ее назвать системой в подлинном смысле этого слова? Технически это была, конечно, система. Но система — конгломерат. Почему, собственно, образуются энергетические системы? Потому, что при прочих равных условиях, как сами электростанции, так и их агрегаты, тем выгодней и дешевле, чем выше мощность установок. Однако мощным станциям нужны мощные потребители. Когда соседние удовлетворены, куда девать излишки? Передавать

на расстояние все более далеким городам и заводам. Уже одно это требует сращивания энергохозяйств.

Но не только это. Схема электростанция — потребители ненадежна. Агрегаты изнашиваются, требуют ремонта, наконец, возможна внезапная авария — потребителю до всего этого дела нет. Отключил — плати неустойку! Значит, постоянно держать в резерве хотя бы один агрегат? Накладно. А на тепловых станциях резервный агрегат не сразу и пустишь...

Система — это выручка, маневр, экономия. Предприниматели и инженеры вольны думать, что в их власти задать технике любой путь развития. Это иллюзия. Перед ними коридор, и тот, кто захочет биться головой об стену, разобьет себе лоб. Попробовала бы какая-нибудь компания уклониться от объединения в систему! Разорилась бы, только и всего.

Но, объединившись, компании, естественно, не утратили независимость. Свое хозяйство, свои потребители, и, если что, — неустойка из собственного кармана. Соответственно была разработана система аварийной защиты. Что она должна была бы сделать в ситуации «великого затмения»? Немедленно обесточить энергоемких потребителей на том участке, где возникла непредвиденная и опасная перегрузка. Ничего страшного — немало таких потребителей, хозяйство которых не расстроит кратковременный перебой подачи электроэнергии. Зато Кэнюз уцелела бы, быстро оправилась и помогла пораженному участку.

Но над всем витал грозный дух неустойки. Когда тонет лодка и спасти ее может лишь команда «Груз — за борт!», надо, чтобы эти слова были произнесены своевременно.

Позвольте, но почему за борт должен лететь мой груз?

Так было.

Было? Почему он думает об этом в прошедшем времени? Конечно, сейчас не 1965 год, и эта система — не Кэнюз. Новейшая, по последнему слову науки автоматика. Выводы

сделаны, трагедия «великого затмения» больше не повторится!

Дай бог, дай бог... Выводы, точно, сделаны. Все ли, однако? Где тот капитан, который, исходя из ситуации и только из ситуации, решительно скомандует в критическую секунду: «Груз за борт! Этот!»?

Специалисты не обладают таким правом. Среди них нет капитанов. Капитаны сидят за незримыми пультами.

Френк помотал головой, чтобы отогнать неприятные мысли. Вот до чего доводит бессонница! С такими идиотскими мыслями нельзя водить автомобиль, не то, что сидеть за пультом. Лучшая страховка — это уверенность. Все хорошо тогда, когда каждый честно и компетентно делает свою часть работы. Тогда все действует правильно и надежно. Кем бы хозяева ни были, они не враги себе. В своей сфере они тоже компетентные люди. Вот, правда, инфляция, безработица... Кругом сплошное безобразие! Только техника и надежна.

Стоит лишь выйти за ее пределы, ну каменный век, да и только! А, в общем, чего он об этом думает?

Френк вынул зажигалку и поднес ко рту сигарету.

В те девять секунд, которые последовали за этим, Френк успел:

зафиксировать мгновенно изменившиеся показания приборов;

похолодеть от ужаса;

осознать, что случилось;

забежать в будущее;

уловить направленность событий;

перебрать с десяток вариантов возможных решений;

понять, что хорошего варианта в этой ситуации быть не может;

вспомнить трагедию Кэнюз;

вознести мольбу к богу, судьбе или кто там есть;

отобрать из всех плохих вариантов не самый худший;

проклясть все и вся;

сверить свое решение с ходом реальных событий и утвердиться в нем;

выронить зажигалку и сигарету;

протянуть руку к пульту.

В эти же девять секунд, которые прошли без вмешательства дежурного и его напарника, в системе разыгрались такие события:

в штате Индиана на линии напряжением 800 тысяч вольт ток превысил критическое значение;

реле отключило магистраль;

ток от энергоцентралей пошел по другим линиям;

система была загружена далеко не полностью, и пропускная способность линий была вполне достаточной, но в штате Кентукки почему-то отключилась еще одна линия — и еще одна в Иллинойсе;

оставшиеся не выдержали нагрузки;

энергия ринулась в обход через Канаду и южные штаты;

генераторы стали сбиваться с ритма;

реле группа за группой принялись отключать потребителей.

Слишком поздно!

Френк Маультон, да и любой другой человек на его месте, не успел бы вмешаться в события. Спустя семь минут тридцать восемь секунд после отключения первой линии электростанции задохнулись, а связи меж ними разорвались. Единственно, что успел сделать Френк, так это спасти очаги системы, благодаря чему положение стало не таким уж безнадежным.

15.41 по московскому времени

Автобус выхлестывал недавние лужи, строчки прыгали перед глазами, и Багров время от времени опускал книгу,

чтобы дать зрению отдых. Тогда в его сознание врывались обрывки разговоров.

— Рыжик крупнее трехкопеечной я не беру. Не-ет... Вкус не тот!

— Разумно, разумно. Хороши еще маленькие отварные свинушки...

— ...Забыл формулу, понимаешь?! Стал выводить по логике. Профессор кивает. «Ну, думаю, иду по стопам Бора...»

— ...Я ему говорю: «Ты для кого дом ставишь?! Для врагов своих?! Тебя бы переселить в такую квартиру!» А он, сволочь, только ухмыляется. Знает, деваться мне некуда...

— ...Не спорь, Клавдюша, не спорь. Школа во всем виновата.

— И, Маша! В школе-то дисциплина, а вот родители нынешние...

— Скажешь тоже — родители! На родителях все держится. Школа — она распускает.

— А вот и не школа совсем — родители—потатчики.

— Нет, школа.

— Родители...

Багров снова уткнулся в книгу. Археология вообще и Древний Вавилон в частности мало интересовали молодого экзобиолога. Тем более что из школы он вынес стойкое пренебрежение к истории с ее бесконечными датами, которые обязательно надо запомнить, фактами, которые можно трактовать то так, то эдак, событиями, которые ничего не говорят уму и сердцу (битва на реке Оронт — да какая разница, кто там кого победил?!). Но другой книги, когда он уезжал с биостанции, под рукой не оказалось, а что еще делать в местном автобусе как не читать?

Однако новая глава неожиданно увлекла Багрова. В ней описывалась клинописная библиотека Вавилона, которая уцелела до наших дней и была найдена при раскопках. Собственно, то был скорей архив, чем библиотека.

Архив, а в нем документы. Багров мысленно ахнул, дойдя до текста, из которого со всей очевидностью

явствовало, что был в Вавилоне свой скупщик «мертвых душ». Был свой Чичиков! Живой, реальный — за три тысячелетия до Гоголя...

Только не мужчина, а женщина.

Багров оторопело уставился в книгу. Как же так? Да уж так... Вот документ вавилонской канцелярии. А тысячелетия прогресса?!

Непостижимо, невероятно, сюжет великого романа — быль Древнего Вавилона. А впрочем... Подожди, подожди... Там рабство — здесь крепостничество. Тот же примитивный труд, те же помещики, цари. Так или не так? Так. Чему же тогда удивляться?

И все—таки не укладывается. Не верится. Вот тебе факт — не верится! А тому, что деда вот этого пожилого колхозника могли продать, как скотину, — в этом ты не сомневаешься? Могли ведь продать. И засечь могли. Деда вот этого самого человека в двух шагах от тебя, который рассуждает о достоинствах рыжиков? Могли? Могли. Вот тебе весь прогресс, как на ладони. Есть вопросы?

Рассеянно глянув по сторонам, Багров вновь погрузился в чтение. И автобус с его гомоном отошел куда-то далеко, далеко, за пределы того книжного мира, где царства пожирали друг друга, не подозревая, что все они сгинут, как сон, и останутся не войны, победы, захваты и поражения, а хрупкие ростки культуры, уроки социального опыта, которые потомки бережно извлекут из забвения.

Из сосредоточенности его вывел придушенный женский вскрик. Багров поднял голову, вздрогнув не столько от крика, сколько от внезапной тишины в автобусе, которая последовала за этим. Пассажиры с одинаковым выражением замешательства смотрели в окна. Кто-то отпрянул, кто-то, наоборот, прильнул к стеклам, а кто-то замер на полуфразе, еще не осознав, что происходит. Багров глянул туда, куда смотрели все, и сердце дало перебой.

Шоссе, по которому катил автобус, сближалось с линией высоковольтной передачи. В пейзаже не было ничего

особенного: мокрое картофельное поле, ажурные мачты за ним, мирная даль перелеска, табунок застенчивых березок, жемчужный отсвет неба на всем, такая обычная, неброской красотой щемящая сердце родная земля. Но то, что было меж мачтами и что в первое мгновение показалось Багрову веретенообразным, рыхлым, нелепо, как на картине сюрреалиста, составленным из треугольничков телом, чудовищно противоречило всем ее формам и краскам. Более всего оно напоминало груду непонятно как висящих в воздухе брикетов спрессованного дыма.

Словно кто-то другой отметил в Багрове нелепость такого сравнения (когда и где он видел спрессованный дым?!). И тут же опроверг сомнение, поскольку материя тела была одновременно неподвижной и шевелящейся, четкой и расплывчатой, телесной и невесомой. Страшное своей противоречивостью сочетание.

Долгая минута, в которой замерли все звуки, дальние предметы скачком приблизились, а ближние расплылись цветовыми пятнами и автобус словно застыл на месте, прошла. Багров осознал, что автобус движется как ни в чем не бывало, что шоссе удаляется от всего этого ужаса, что тишину режет удалой ритм магнитофона, который держит на коленях парень с козлиной бородкой на обмершем лице.

«Нечто» скрылось за поворотом, и все загалдели разом. Багров слышал голоса как бы из другого пространства. Единственный из всех он понял, чем было увиденное. Понял, несмотря на истошные вопли здравого смысла и пароксизм страха, от которого все онемело внутри.

У него было ощущение человека, летящего в пропасть. Дать немедленную разрядку мог разве что истерический смех. Он едва удержался, чтобы не метнуться по проходу, молотя кулаками в стену шоферской кабины. Зачем? Этого Багров не знал. Он видел достаточно, чтобы понять — нельзя терять ни минуты. Провода связи, подобно нервной сети, оплетают всю поверхность земного шара. Отвлеченно рассуждая, любой человек в последней четверти двадцатого

века, взяв телефонную трубку, может быстро соединиться с любым другим обитателем планеты, если тот, понятно, не живет в сельской глуши. Технически это возможно. Но только технически.

Вдали показались домики поселка. Здесь, разумеется, был телефон. А дальше? Куда и кому звонить? С каким ответственным лицом ему дадут связь? Кто выслушает его, не бросив трубку после первых же слов?

Мысленно Багров уже наметил путь. Выслушать и поверить сможет лишь тот человек, который доверяет ему. И обладает достаточным кругозором, чтобы оценить ситуацию. И смелостью, чтобы действовать. И весом, чтобы к его словам прислушались. В свою очередь, надо, чтобы человек, которому тот позвонит, тоже обладал всеми перечисленными качествами. Сколько будет таких ступенек? Правда, есть академик Двойченко. Это надежно! Но обремененного совещаниями академика не так-то легко застать в институте...

«А не преувеличивает ли он свой долг?» — спросил себя Багров. Есть службы наблюдения, есть люди, обязанные — вот именно, обязанные! — следить за сушей, морем и воздухом. Почему он, Багров, должен лезть не в свое дело? Мало ли было уроков, когда ему давали понять, что его непрошеные советы и инициатива излишни?

Автобус, тормозя, въезжал на площадь. Длинноволосый парень у остановки неистово терзал транзистор. Музыка мешалась с иноплеменной речью, мир говорил, проповедовал, спорил, взывал, отрицал, доказывал, убаюкивал, пугал, и не было на этом форуме лишь слова о том, что Землю ждет что—то совсем, совсем новое.

Расталкивая людей, Багров побежал к пункту связи.

8.28 по вашингтонскому времени — 16.28 по московскому

— ...Говорю с вами по поручению президента. Прошу объяснить, что происходит.

— Наши специалисты как раз заняты выяснением. Могу изложить только предварительные сведения.

— Да, да, конечно!

— Для наглядности представьте, что у себя в доме вы включили, ну, допустим, заводскую электропечь. Предохранители, понятно, не выдержали и обесточили квартиру. Примерно это и произошло.

— Вы включили электропечь размером с округ Колумбия?

— Ничего подобного! Однако полное впечатление, что к линиям системы подключились какие-то сверхмощные и неизвестные потребители.

— Марсиане, а?

— Извините, господин советник, нам не до шуток.

— Нам, смею вас уверить, тоже. Что вы предпринимаете?

— Прежде всего я должен сказать, что система была спроектирована с учетом любых предвидимых осложнений. Подчеркиваю: предвидимых. Никто, однако, не строит здание в расчете на двенадцатибалльное землетрясение.

— Это вы будете объяснять сенатской комиссии, которая, надо полагать, будет создана. Я задал конкретный вопрос.

— Тем не менее я считаю свои пояснения не лишними. Дело в том, что происходящее не имеет аналогов. Будь то обычная авария, свет в вашей настольной лампочке даже не моргнул бы. Но это не авария. Позволю себе продолжить сравнение с предохранителями в квартире. Их назначение в том, чтобы не допустить перегрузки, на которые сеть не рассчитана. Через какой-то срок предохранители автоматически включаются и все приходит в порядок, если исчез источник перегрузки. Если он не исчез, то предохранители отключаются снова и снова. До тех пор, пока...

— Пока я не вызову монтера, и он не устранит повреждение. Это ясно. Так мы никогда не доберемся до сути.

— Мы уже до нее добрались, с вашего разрешения. Система — это не просто проводка в квартире размером с полконтинента. Одна авария на линии, одно, так сказать,

короткое замыкание, два-три таких замыкания не могут вывести систему из строя...

— Разрешите, я вас прерву. Наш разговор записывается с первого до последнего слова. Поэтому я напоминаю вам о тех объяснениях, которые ваш предшественник давал в момент «великого затмения».

— Я отдаю себе в этом отчет... Тем не менее настаиваю, что в случившемся нет нашей вины. В сильном упрощении ситуация выглядит таким образом, будто на линиях повисли те самые сверхмощные потребители, о которых я упоминал. Эта катастрофическая и внезапная нагрузка нанесла системе урон, мы не отрицаем. Иначе и быть не могло! Но оперативными усилиями наших работников мы в рекордный срок смогли восстановить дееспособность системы, насколько это вообще возможно. Совет директоров заседает непрерывно. Однако все наши попытки дать стране энергию терпят провал именно по той причине, о которой я говорил.

— Должен ли я объяснить президенту, что катастрофа вызвана потусторонними силами?

— Непонятными, это точней. Вы можете не поверить, но таинственные «потребители» перемещаются...

— Послушайте...

— Заявляю это со всей ответственностью. Нагрузка снимается с тех линий, которые полностью отключены, и перемещается на линии, по которым мы даем ток. Такое впечатление, что «потребители» способны летать со скоростью сверхзвукового лайнера. Страна в опасности. Вы меня слушаете?

— Да. Слушаю и думаю. Если по стране перемещается нечто более материальное, чем надувной шарик, то ПВО засекло бы эти перемещения.

— Значит, вы полагаете, что мы тут бредим?

— Нет, я далек от этой мысли.

— Тогда помогите.

— Чем?

— Пошлите по всем магистральным линиям, их списки я вам дам, армейские вертолеты. Поднимите в указанных районах на ноги полицию, национальную гвардию, армию, наконец.

— Но это же…

— До тех пор, пока это не будет сделано, пока мы не выявим «потребителей» и не обезвредим их, система не сможет функционировать. Совет директоров Объединенной энергетической, все компании, весь наш персонал делает все возможное. И невозможное. Наши силы, однако, не соответствуют масштабу проблемы.

— Хорошо, я доложу ваши соображения, хотя видит бог… Вы можете хоть что-нибудь сказать о предполагаемой природе этих ваших «потребителей»?

— Ничего, кроме того факта, что они быстро движутся и обладают фантастической энергоемкостью.

— Технически возможно изготовить такие портативные устройства и тайно пустить их в ход?

— Если вы приведете к нам такого парня, то от нас он выйдет миллионером.

— Благодарю вас. Держите нас в курсе.

— Обязательно, господин советник.

9.02 по вашингтонскому времени — 17.02 по московскому

Эрл Фокс, дежурный переводчик прямой линии Вашингтон — Москва, поудобней вытянул ноги и вновь перечитал абзац.

«— Хороша! Только надо ее маленько грязнотцой с шафраном усмирить. — А потом взял икону с ребер в тиски и налячил свою пилку, что приправил в крутой обруч, и… пошла эта пилка порхать. Мы все стоим и того и смотрим, что повредит! Страсть-с. Можете себе вообразить, что ведь спиливал он ее этими своими махинными ручищами с доски тониной не толще как листок самой тонкой писчей бумаги… Долго ли тут до греха; то есть вот на волос покриви пила,

так лик и раздерет и насквозь выскочит! Но изограф Севастьян...»

Эрл бессмысленно уставился в пространство. «Налячил...» «Приправил в крутой обруч...» Интересно, сами—то русские понимают хоть что-нибудь в этом тексте?!

В свободное время дежурства переводчики на обоих концах линии взаимно испытывали искусство партнера. Пять дней назад Эрл закатал русским выдержки из правил игры в гольф (кто там смыслит в этих правилах?). К удивлению Эрла, русские довольно быстро расщелкали текст. Теперь («долг платежом красен», — милая у русских пословица, ничего не скажешь) они прислали несколько страничек из сочинений какого—то своего классика. Ну да, Лескова... Хорошо, значение «налячил», вероятно, можно найти у Даля. Найти-то можно, а как перевести адекватно? Чтобы в Москве не померли от смеха? Был же случай, когда какой-то немец перевел «Полтаву» их великого Пушкина и получилось: «Богат и знатен Кочубей. Его поля необозримы были. И много—много конских морд его потребностям служили». Нет, такого удовольствия он им не доставит!

Эрл потянулся к Далю. Но раскрыть словарь ему не пришлось.

Линия ожила.

10.03 по вашингтонскому времени — 18.03 по московскому

«Ищите необычное, — думал Бертон. — Что они там, с ума посходили?»

Такого невразумительного приказа он ни разу не получал. «Прочесать квадрат А—3». — «Есть, сэр!» — «Обстрелять объект...» — «Слушаюсь, сэр!» — «Доставить этих парней...» — «Понятно, сэр!»

Ищите необычное...

В сердцах Бертон сплюнул на пол. Вокруг все было самым обычным — лес по сторонам, просека внизу, мачты на ней. Вертолет шел как по линеечке. Имперской гордости

римлян — их прямым дорогам было далеко, очень далеко до победной прямизны энерготрасс. Линия рассекала землю, невзирая на реки, топи, горы, словно препятствий не существовало вовсе. Так, впрочем, оно и было, и это давно никого не удивляло.

Как ни удивляли и сами мачты, эти ни на что не похожие металлические гиганты, которыми в считанные десятилетия проросла земля. Для таких, как Бертон, они всегда были — и всегда будут. А как иначе?

Ищите необычное. Что прикажете считать необычным? Эту стаю галок вдали? Ишь провода облепили... Нет, скорей это вороны. А впрочем, черт их там разберет, этих птиц! Хоть бы их всех потравили, только суются в двигатели, когда не надо. Хокс вот так чуть не гробанулся при взлете...

Нет, таких птиц он положительно никогда не видел. И что бы они такой кучей — тоже. Может, это и есть необычное? Ворона, галка или там попугай, а клюв должен быть. Должен — и точка.

А еще радуга над ними. Переливается струями, будто течет. Забавно! Небо-то чистое...

Бертон представил, как он обо всем этом доложит, и хмыкнул. Страха он не испытывал вовсе.

— Эй, там, на базе! Можно ли считать необычным, если у птиц нет клюва?

— Докладывайте по форме!

— Есть, сэр! На семнадцатой миле обнаружил стаю подозрительных птиц. Облепили провода. Клюва не имеют, сэр! Форма тела неопределенная. Еще радуга над стаей, переливчатая.

Вот тебе, получи ежа в желудок!

Ледяное молчание, само собой. Переваривает, офицер. Давай, давай, полезно.

— Как насчет агрессивности поведения?

«Вот дурак», — подумал Бертон.

— Отсутствует!

— Опишите объект подробней.

Бертон описал.

— Хорошо, разберемся. Продолжайте наблюдение объекта.

Разберется такой, как же… Понасажали идиотов в штаб. Такой девушку поцеловать без циркулярчика не решится. Ладно, все это мура.

Кружа над просекой, Бертон стал размышлять. Тревога, видать, нешуточная, раз их всех подняли и велели искать неизвестно что. Так что лучше отставим смешки. И если эти птицы, которые все-таки никакие не птицы, стали причиной тревоги, а он их первый заметил, то из этого, раскинув умом, можно кое-что извлечь. Рассказ очевидца, снимки…

Снимки!

Камеры вертолета опломбированы. Интересно, сколько все же могут стоить фотографии? Если это сенсация, то дорого. Их либо опубликуют, либо засекретят. Но если пораскинуть мозгами…

10.15 по вашингтонскому времени — 18.15 по московскому

Ревя сиреной, машина мчалась по пригородному шоссе, так, что все другие шарахались в сторону, и вой сирены, мелькание поворотов, визг покрышек был самым подходящим аккомпанементом тревожному голосу радио, которое шофер пустил на полную громкость. Если верить диктору, то планета напоминала собой вдруг остановленный на полной скорости экспресс, где все летело и рушилось друг на друга.

Лукаса смутно удивило, что радио все—таки работает, но он тут же сообразил, что есть автономные источники энергии, и следовательно… Что, следовательно?

Лукас не успел додумать мысль, потому что офицер повернул к нему свое внешне бесстрастное лицо.

— Как вы думаете, профессор, это только начало?..

«…Или уже конец?» — Лукас угадал непроизнесенное.

— У меня нет нужной информации, — сухо ответил он.

На лбу офицера выступили капельки пота. Лукас впервые почувствовал, что он сейчас, пожалуй, один из самых главных персон земного шара. Что все эти военные с их воздушно—ракетными армадами, политики, от слова которых зависят судьбы миллионов, что все они ждут его, Лукаса, совета. Еще вчера мнение Лукаса и таких, как Лукас, их не интересовало, и можно было биться кулаками, доказывая свою или чужую правоту, с тем же результатом, что о кирпичную стену. Теперь, может быть, впервые в истории они не знали, что делать, и вопрошали тех, кто стоял на самой границе непознанного и должен был знать ответ.

Но привычка к объективности тут же взяла верх, и Лукас уточнил, что все гораздо сложней. Что, во-первых, давно уже существуют «мозговые центры», без которых не обходится, не может обойтись ни один президент, и, во-вторых, сами ученые далеко не такие мудрецы, какими они порой видят себя. Так что превращение его, Лукаса, в «очень важную персону» не является чем-то исключительным, неожиданным и не знаменует собой некий поворотный этап. Просто страна призвала его, как в минуту военной опасности призывают резервистов.

Замелькали городские улицы, и машина несколько сбавила ход. Сознание Лукаса, даже помимо его воли, жадно вбирало впечатления.

Толпа на улицах была гуще, гораздо гуще, чем в обычный будничный день. И она была не такой, как всегда. Лукас сразу понял, в чем разница. В молодости Лукас не раз задумывался, можно или нет описать движение людских масс с помощью уравнений гидродинамики. Сходство толпы с жидкостью бросалось в глаза. С туго закрученной, гонимой поршнями жидкостью. Она текла, завихрялась, расслаивалась, в ней происходили соударения людей — молекул. За всем этим угадывалась строгая математическая закономерность. Потом он даже где-то читал о попытках таких описаний. Естественно! Развитие большого города немыслимо без

кибернетического управления транспортными потоками, а значит, кто-то другой занялся той работой, которой он хотел заняться, пока не увлекся проблемами экзобиологии.

Сейчас в толпе не было четких потоков. Она утеряла и то общее деловитое, хмуро-озабоченное лицо, которое было присуще ей в часы «пик». Словно, где-то соскочила пружина. Вид у людей был растерянный и встревоженный. Не более. Казалось, они не могли поверить, что деловой механизм застопорился. Ведь это Америка. Страна, где люди уже не удивляются выстрелам на улице, но приходят в недоумение, если из крана вдруг перестает течь горячая вода.

Лукаса поразило выражение радости на некоторых лицах. Радости освобождения от будничного, опостылевшего ярма. Радости ожидания небывалых событий. Злорадного: доигрались! Кто, почему — неважно: доигрались. Все эти, там, наверху...

Одновременно люди тянулись друг к другу, словно путники в стужу. Уличная толпа, где каждый психологически удален от соседа на миллионы световых лет, ощутила острую потребность в общении. Наконец появилось то, что всех объединяло! Люди сбивались в группы, что напомнило Лукасу процесс кристаллизации. Группы имели свой заряд и знак, кое-что Лукасу в этом не понравилось. Американцы привыкли самоорганизовываться, но у них нет привычки к тяжелым испытаниям. Паника пока только витала в воздухе. Пока...

В сознание Лукаса внезапно прорвался вой сирены, с которым их машина неслась по улицам. Он как бы очнулся и заставил себя думать о главном. О нападении извне. Если это действительно нападение, то первый удар нанесен точно в солнечное сплетение. Парализована энергетика — парализована жизнь. Еще действует сила инерции, целы автономные линии связи, не совсем поражен транспорт, а военную машину хоть сейчас пускай в действие. Все это, однако, не имеет большого значения, ибо что такое современный город без электроэнергии? Асфальтовая пустыня без

капли тепла и воды. Не далее, как через несколько часов люди почувствуют жажду. И вот тогда поведение толпы не удастся описать никакими формулами.

Тут самое простое, очевидное, традиционное решение — нажать на все кнопки. Шарахнуть по противнику из всех стволов. Немедленный удар в ответ на удар — этому природа миллионы лет учила все живое. Ударь, если не можешь убежать! Вцепись зубами, кромсай, рви!

Реакция не разума, а инстинкта. Вот так однажды ударили всеми ядохимикатами по насекомым. Не разведав, как следует, не подумав, не устояв против соблазна мощи, которой, казалось, ничто не могло противостоять.

А то был куда менее сложный и опасный случай.

«Уверен ли ты сам в своих выводах? — привычно переспросил себя Лукас. — В правильности рекомендаций, которые собираешься дать?»

«Да, — ответил он сам себе. — Как-никак я думал об этом всю жизнь, хотя казалось, что это никому не нужно».

Машина резко затормозила у подъезда.

10.48 по вашингтонскому времени — 18.48 по московскому

Рей смотрел на пришельцев сквозь орудийный прицел. Их вибрирующая, радужно-черная масса колыхалась метрах в ста от танка. Они ничего не предпринимали. Они дали себя окружить, взять в перекрестье стволов, теперь дело было за командой. Будет команда — и шквал огня в мгновение ока разнесет их скопище, мачты линии, само пространство. Уж Рей-то знал, что это такое — совместный залп десятков орудий и пулеметов. Да еще ракет «воздух — земля», которыми готово было полыхнуть звено кружащих в небе самолетов.

Он дрожал от возбуждения. От желания немедленно, сию секунду покончить с невыносимым ожиданием и страхом перед тем неведомым, что вибрировало в воздухе.



Страх, что самое ужасное, был притягательным. Такой страх человек испытывает, стоя на краю пропасти.

Рей, насколько помнил, всегда любил оружие. В детстве, когда тарахтел из игрушечного автомата. В юности, когда ему вручили настоящий автомат. С оружием он чувствовал себя куда сильней и значительней. Совсем другим человеком. Вот и сейчас ему мучительно хотелось нажать на спуск. Но думал он об этом, обливаясь холодным потом. Ибо

представлял себе возможные последствия. Понимал, что для неведомых существ весь этот тротилово-стальной ад, который держали в узде его липкие от пота пальцы, мог оказаться безобидной дробинкой. И что команда «огонь!» может стать последней, которую он услышит. Все равно он ждал команду с каким-то болезненно-сладким любопытством и знал, что она принесет ему облегчение.

Гуляя по улицам, он иногда ловил себя на желании трахнуть по зеркальным витринам если не бомбой, то камнем. Или прошить окна автоматной очередью. А ведь он вовсе не был разрушителем. И с психикой у него все в порядке. Откуда же этот импульс? Правда, ничего такого, если не будет команды, он не сделает, — в себе он уверен. Но желание сидит в нем. «Господи, отврати, господи...»

Что это?!

По рою вдруг прошло шевеление. Контуры затуманились, радуга исчезла, и все огромное, смутно-черное, до ужаса неправдоподобное тело взмыло в ярких лучах солнца. Так быстро, что Рей не успел снова поймать его в прицел.

Мгновение оно висело неподвижно, а потом ринулось в голубую высь, как сквозь сито, прошло через строй самолетов и стало удаляться чернеющей точкой. Звено самолетов рассыпалось, они свечой взмывали вверх, но было уже ясно, что им не догнать эту исчезающую точку.

Просека опустела. Был зной, была тишина, и в ней трещали цикады.

Ослабевшими пальцами Рей вынул сигарету. До головокружения опустошенный, откинулся на сиденье. Вздохнул с облегчением.

Но, когда скомандовали «отбой», он ощутил нечто вроде разочарования.

15.51 по среднеафриканскому времени — 18.51 по московскому

Тван долгим взглядом проводил удаляющееся «нечто». То, что он видел, его не испугало. «Оно» не принадлежало джунглям, не было злым или добрым духом, никак не соотносилось с привычным и, следовательно, не имело к нему, Твану, никакого отношения. Вроде тех железных птиц, самолетов, которые изредка шумят, пролетая над джунглями.

Сжимая копье, Тван нырнул в густой сумрак леса.

16.52 по среднеевропейскому времени — 18.52 по московскому

Анджей выключил трактор и спрыгнул на землю. Сквозь тишину, которая наступила после грохота мотора, не сразу стали прокрадываться звуки, — унылый посвист ветра, далекое карканье ворон.

Из-за кромки леса взмыл темный треугольник стаи. «Журавли? — удивился Анджей. — Так рано?»

Но это были не журавли, Анджей тотчас понял ошибку. То был какой-то странный летательный аппарат или, может быть, строй аппаратов. «Нечто» пронеслось так высоко и быстро, что Анджей ничего не разглядел толком. Он привычно стал ждать грохота, который неизбежно должен был обрушиться на землю после стремительного, сверхзвукового полета.

Но шли минуты, а все было тихо.

«Чего только не наизобретают!» — подумал Анджей, доставая из сумки еду.

ЭПИЛОГ

— Господа! Председатель чрезвычайной научной комиссии ООН, профессор, академик Двойченко любезно согласился дать нам интервью. Прошу вас, господин профессор. Вас слушают и видят сейчас сотни миллионов людей.

— Благодарю. Для меня большая честь выступить перед столь обширной аудиторией. До сих пор, если не ошибаюсь,

телевизор собирал стольких людей одновременно разве что при разыгрывании международного первенства по футболу.

— Надеюсь, господин профессор, вы нам отпустите этот маленький грех?

— Тем охотней, что сам я страстный болельщик, только не футбола или хоккея, а художественной гимнастики. Но — к делу. Комиссия еще не завершила свою работу, так что я выступаю лишь от своего имени. Как известно. Землю недавно посетили космические пришельцы. Их пребывание было скоротечным, строго научных наблюдений произвести не удалось, поэтому фактический материал весьма скуден и противоречив.

Этим трудности не ограничиваются. Человек, любой человек, чувствует себя обманутым, если не получает на свой вопрос однозначного «да» или «нет». Наука тоже стремится к таким ответам, но гораздо чаще, чем принято думать, ученые понимают, что их «да» и «нет» совсем не тождественны обыденному значению этих слов. И потому не тождественны, что слишком часто неверно был поставлен сам вопрос.

Вот судьба некоторых вековечных вопросов. Свыше тысячелетия алхимики страстно вопрошали природу: можно ли простой металл обратить в золото? «Нет!» — дружно ответили химики девятнадцатого века. «Да, можно, — отвечаем мы. — Но не нужно». Десятки поколений математиков смущала неочевидность постулата Евклида о параллельных прямых, и они бились над его доказательством. Выяснилось: постулат надо заменить прямо противоположным и тогда все станет на место. Примерно три столетия длился начатый Гюйгенсом и Ньютоном великий спор о природе света — волна он или поток частиц? Каждая из сторон, заметим, аргументировала свою правоту неоспоримыми фактами. Снова природа ответила на этот вопрос не так, как ожидалось. Свет, и волна, и частица; одновременно — ни то, ни другое: он волночастица.

Таков парадоксальный характер ответов, которые часто дает наука. И он — к сожалению, или к счастью — не может быть другим, потому что познание есть бесконечный процесс приближения к истине.

С учетом сказанного позвольте мне ответить на два главных вопроса, которые наиболее волнуют сейчас человечество. Разумны или нет пришельцы? Почему они на нас напали?

Отвечаю: нет, не разумны. Что же касается нападения, то... господа, никакого нападения не было.

— Как, господин профессор?! Есть же факты...

— Да, есть. Внешне все выглядело как нападение. Но только внешне.

— Господин профессор! Я уверен, что никогда ни один гол не вызвал такого смятения в аудитории зрителей, как это ваше заявление. Не могли бы вы его пояснить?

— Конечно. Но сначала я поясню, почему, на мой взгляд, никакой инопланетный разум не участвовал, не мог участвовать в событиях, которые потрясли мир.

Мы знаем, что в пределах солнечной системы есть только одна цивилизация — наша собственная. Следовательно, разумные существа могли прибыть лишь издалека. Но такие существа не способны на агрессию.

Это не вера, не домыслы теоретиков. Дело в том, что организация межзвездного полета по причинам физического порядка требует таких знаний, такой технологии, таких энергий и таких средств, которые в тысячи раз превосходят современные.

Таково условие выхода к звездам. И оно одинаково для всех цивилизаций вселенной. Остановлюсь только на одном моменте. Чтобы совершить межзвездный полет, нужно израсходовать строго определенное количество энергии. Ни наша цивилизация, ни цивилизация, где-нибудь в туманности Андромеды не сможет обойтись меньшим. По тем же самым причинам, по каким на орбиту Земли нельзя вывести спутник со скоростью меньшей, чем восемь километров в

секунду. А получить такую скорость, в свою очередь, нельзя без значительных и строго определенных затрат энергии. Как видите, тут действует непреложная математика и физика.

Однако уже сейчас человечество вступило в такую фазу своего развития, когда оно с великой осторожностью должно распоряжаться мощностями своей технологии. Речь идет не только об опасности ядерного конфликта. В биосфере нарушилось равновесие, и без срочных международных усилий этот сдвиг может стать необратимым. Тут всего два варианта. Либо устранение причин агрессивности, мирное сотрудничество людей, торжество разумного подхода и тогда — прогресс цивилизации. Либо кризис и, как следствие, невозможность продолжения космических полетов. А поскольку свойства энергии и законы природного равновесия одинаковы под всеми звездами, то цивилизация, достигшая вершин космического могущества, никакой иной, как гуманной и разумной, быть не может.

— И все-таки, господин профессор, это теория. Научно-политическая доктрина.

— Вы хотите знать, подтверждают ли факты такую теорию? Безусловно. Агрессия, нападение предполагает умысел: поразить, уничтожить противника. Конкретный анализ событий показывает, что такого умысла не было.

— Были парализованы энергосистемы земного мира. Чем, кроме нападения, это может быть?

— Предположим, осы облепили сахар, который вы намеревались положить в кофе. Это агрессия? С горы скатился камень и больно ударил вас по колену. Можно ли считать, что камень напал? Проследите за поступками пришельцев. Они занялись энерголиниями, ничто другое их просто не интересовало. Но линии, не выдержав нагрузки, стали отключаться. Тогда пришельцы заметались в поисках необесточенных линий. Но там повторилось то же самое. Пришельцы очень быстро убедились, что источник всюду пересыхает, едва к нему прикоснешься. Тогда они улетели.

— Значит, по-вашему, мы столкнулись с «космическими осами»?

— Я бы их так не стал называть. Что есть существо, а что есть вещество? Вирусы мы исследуем уже десятки лет, однако есть ученые, которые не склонны считать их существами.

— Однако пришельцы передвигались, отыскивали то, что им нужно...

— Передвигаться способна и молния. Они питались электричеством? Точно так же можно сказать, что кристаллы в перенасыщенном растворе питаются ионами соли. Пришельцы могли искать и отыскивать? А в каком смысле? Не в том ли, в каком частички железа способны отыскивать магнит?

Как видите, все очень непросто. Кроме того, пришельцы имеют мало общего с земными формами живого и неживого. Поэтому я воздержусь от определения.

— Хорошо, господин профессор. Всех людей волнуют такие вопросы. Было ли посещение Земли случайным? Повторится ли оно? И чем все это может грозить?

— Посещение скорей всего не было случайностью. Мы, люди, упускаем из вида один существенный и новый факт. В последнюю четверть века наша цивилизация благодаря телевидению удвоила радиояркость солнечной системы в метровом диапазоне волн. В пространствах космоса мы как бы включили лампу... Добавлю, что еще недавно на Земле не было не только телевидения, но и энергосистем.

Раньше нас никто не посещал. Теперь это произошло. Возможно, тут чистое совпадение. Не исключено, однако, что мы сами принимали гостей. Не стоит забывать о том, что в радиусе уже многих световых лет любое чуткое к радиоволнам метрового диапазона существо или псевдосущество могло и должно было обратить на нас внимание.

Мне могут возразить, что в космосе есть куда более значительные, чем наши, источники электричества. Дело, однако, в том, что наши энергосистемы — это постоянный и

концентрированный источник. Концентрированный, вот что существенно! Ведь в луговых растениях сахара гораздо больше, чем в сахарнице, но сахарница для насекомых предпочтительней.

Я не держусь за эту свою гипотезу. Я только хочу сказать, что мы стали космической цивилизацией. Это великое, но и ответственное событие, ибо среда космоса теперь стала средой нашей цивилизации. Мы меняем условия своего существования, но и условия, в свою очередь, меняют нас. Если сознание успеет предвосхитить эти быстрые теперь изменения, если мы, люди, всюду приведем свои социальные отношения в соответствие с требованиями будущего, о которых я говорил, то за космические, да и земные перспективы человечества можно не беспокоиться. Если! Вот слово, от которого зависит все.

Полный оборот каждые семь с половиной минут. Третий месяц над ним кружили звезды. Третий месяц он был центром вращения светил, осью мироздания, избранником птолемеевской вселенной. В подлинной он значил меньше пылинки, и у него болели сломанные ребра.

Девятнадцать шагов по периметру тесных отсеков, четыре поперек и еще один вверх — здесь он почти ничего не весил. Ему уже не верилось, что в былой жизни он мог летать куда хотел, общался с людьми, волновался по пустякам и даже любил петь под гитару. Девятнадцать четыре — один. Вперед и назад, туда и обратно, все. И навсегда.

От того, что было сразу после аварии, сохранилось впечатление долгих обмороков и мук, когда он ползал по разбитому кораблю, тщетно звал друзей, а глаза застилал липкий туман. Правда, действительность, видимо, была несколько иной. В те первые часы, как потом выяснилось, он сделал чудовищно много. Он еще помнил, как волочил протекторный баллон, как заделывал трещины, не очень даже соображая, чего ради пытается стать на ноги и поднять фыркающий пеной баллон. Но от стараний дать помещению тепло и воздух в памяти уцелели лишь проблески усилий отвернуть какой-то вентиль и тупое недоумение, с которым он разглядывал крошево деталей в агрегате, чье назначение ему, конечно, было известно когда-то.

Много поздней он поставил себе диагноз: сотрясение мозга. Мелкие повреждения вроде перелома двух—трех ребер были уже не в счет. А вот определить причину аварии он так и не смог. Была ли она связана с маневром близ астероида и, следовательно, с ошибкой пилота? Или в критический момент сработал не так, как надо, двигатель? Разумеется, все это могла бы выяснить комиссия экспертов, но случай приведет ее сюда не раньше, чем через десятки, а то и сотни лет.

Не удалось ему установить и то, как погибли двое его друзей. Их не было рядом, когда произошла катастрофа, — это он помнил. Но почему? Так или иначе они остались в отсеке, по которому пришелся удар. Возможно, их вынесло оттуда струей воздуха. Однако он предпочитал думать, что они погребены под обломками, потому что если их вынесло наружу, то скорей всего зашвырнуло на орбиту, и он видит их тела точками среди звезд, когда смотрит в чудом уцелевший иллюминатор.

Впрочем, все эти мысли пришли потом. Первое время после горячечной деятельности он спал. Конечно, он просыпался и что-то делал, но ему казалось, что он видит бесконечный сон. Будто он заболел и лежит, как в детстве, на широкой постели, а за окном долгая, зимняя деревенская ночь, в которой кружится душная звездная метель. Она сыплется прямо на грудь, и нет голоса, чтобы вскрикнуть.

Перелом, с которого началось выздоровление, наступил внезапно. Он проснулся и встал. Тело болело, но голова была ясной и бодрой.

Он добрался до кресла перед иллюминатором и сел. Увидел черноту, звезды в ней и скалы, которые обрывались в бездну.

Потом он видел это множество раз. Скалы были неподвижны, а звезды вращались (на деле все, конечно, было наоборот). Звезды всходили и заходили — всегда в одном и том же месте. Попеременно чертило дугу крохотное солнце. Его тусклые лучи скользили по мраку черных глыб, ныряли в провалы и вскоре исчезали, чтобы неотвратимо возникнуть вновь, совершить прежний путь, коснуться тех же камней, словно их вел мертвый механизм копирографа.

Все одинаково повторялось в десятый, сотый, тысячный раз. Траектория звезд, тени на скалах скользили, как обороты беззвучных колес. Всегда, постоянно, с несокрушимой мерностью. Меняясь, здесь ничего не менялось. Двигаясь, оставалось неподвижным. Уходя, возвращалось. На человека глядело воплощение механического порядка. Самого

идеального, тупого порядка, какой может взлелеять воображение. Власть законов природы тут заявляла о себе наглядно, без прикрас, грубо, как прутья тюремной решетки. Она не оставляла места случайностям, а значит, надежде.

И человек это понял. Он мужественно подвел итог. Никто не догадается искать его на астероиде. А если даже такая мысль кому-нибудь и придет, то ведь его астероид не занесен в каталоги и, следовательно, не существует для человечества.

Связь? То, что уцелело, от установки, годилось для сборки вечного двигателя или иной бессмыслицы.

Выбор, таким образом, был предельно ясен. Можно сразу со всем этим покончить. А можно еще пожить.

Он с ненавистью взглянул на звезды. Их колкий далекий свет был беспощаден. Этот свет оледенел среди черных бездн, в нем не осталось ни тепла, ни надежды. Звезды уже убили его друзей. И ничто не изменилось в мире. Ничто, ничто!

Хриплый отзвук то ли рычания, то ли стона привел его в чувство. Он в замешательстве уставился на свои стиснутые кулаки. Они дрожали. Темные набухшие вены оплетали их, как корневища подводных растений.

Его крик. Он кричал? Да.

— Это ничего... — тяжело дыша, пробормотал он. — Так может быть, так бывает, это не истерика...

Минуту спустя он сполз с кресла и, будто ничего не случилось, занялся инвентаризацией своего имущества. Прошлое он отсек. Теперь он все делал неторопливо, с нудной и безучастной дотошностью. Не потому даже, что от подсчетов зависела его судьба, а потому, что кропотливая деятельность придавала минутам какой-то смысл и отчасти избавляла от бесплодных размышлений.

Ворочаясь, как краб, он долго прибирал свою пещеру, кряхтя от боли, залезал в самые тесные углы, десятки раз все пересчитывал. Везде был хаос, торжество беспорядка и

энтропии. Осколком стекла он порезал себе палец и долго с тупым изумлением смотрел на выступившую кровь. А потом забыл о порезе. Порой он сам себе казался Плюшкиным и удивлялся, что может так думать. При этом его сознание как бы раздваивалось. Одна его часть занималась делом, вела подсчеты, испытывала боль, тогда как другая с холодным недоумением следила за всеми действиями первой. Но, в общем, ему было неплохо. Не закрадывалось даже тени страха, теперь он не переживал ничего такого, что вроде бы должен был переживать человек на его месте. Это его чуточку пугало. Но не помешало обрадоваться, когда удалось найти и собрать все фигурки шахмат.

Наконец работа была закончена. Пищи оказалось на много месяцев. Из девяти аккумуляторных батарей уцелело четыре. Этот запас надолго обеспечивал его теплом. Если, конечно, не тратить энергию ни на что другое. А ее придется тратить. Система регенерации воздуха, без которой он не прожил бы и минуты, вопреки вероятности тянула. Слабо, как пульс после шока, но с той поры, как он ее отладил, в отсеках смогло установиться то равновесие среды, какое возникает в аквариуме.

Аквариум! Этот образ вдруг поразил его. Глянув в иллюминатор на звезды, он ни с того ни с сего расхохотался. И смех не смогла унять даже боль в груди.

Аквариум, аквариум! Единственный, неповторимый аквариум среди звезд. Это очень смешно... Аквариум, в котором вяло перемещается рыба Петров. Личная, персональная рыба господа бога. Вместо лампочки ее освещает крохотное солнце. Она тычется в стенки, шевелит плавниками и о чем—то таком мыслит. Забавная такая рыба...

Он вскочил в ярости. Аквариум? Рыба? Сейчас он им всем покажет. Разнесет иллюминатор и...

Кому покажет?! Законам природы? Что он не рыба?

Руки тряслись. Он ошеломленно огляделся, будто хотел бежать, и сник. Все бесполезно. Все бесполезно, а потому из двух бесполезностей надо выбирать лучшую.

Так он решил жить, и не просто жить, а записывать все, что с ним происходит. Записи могли пригодиться тому, кто придет сюда через много-много лет. Чем — этого он не знал и знать не мог, просто верил, что пригодятся, должны пригодиться. Жизнь, таким образом, обретала какой—то смысл, а другого и не требовалось. Все люди смертны, в конце концов.

С тех пор прошло больше двух месяцев, а ему казалось, что вечность. Он спал, ел, описывал каждый свой шаг, смотрел на звезды, прибирал, чинил поломки, перемещался по своей пещере, что-то бормоча под нос, играл сам с собой в шахматы. Иногда ему чудились голоса и фигуры, однако он знал, что так бывает в одиночестве, и не пугался. Больше всего ему досаждал благостный старческий голос, который, туманно намекая на свою причастность к законам природы, нудно убеждал, что все люди — рыбки в аквариуме, только не замечают этого, а ему, Петрову, явлена такая милость — заметить. Он и эти разговоры записывал.

Вопреки всему он не думал сдаваться. Он всегда был упрям. Он даже попытался слепить передатчик, зная заранее, что обречен на неуспех. Передатчик, конечно, не получился, а примитивный приемник он все же смастерил. Недели две приемник молчал и потрескивал, а потом донес голос, который сообщил, что некий футболист красиво забил гол. И это все, что удалось услышать.

Он отводил душу в записях. Это было делом самым главным и необходимым. Записи протягивали ниточку в будущее, к другим людям, которых он никогда не увидит, но которые прочтут и поймут, может быть, больше того, что он мог выразить словами.

Так длилась жизнь.

Скалы за иллюминатором, такие близкие и недоступные, манили его все сильней и сильней. Разумеется, он мог проделать отверстие и выйти, но неизбежный при этом расход воздуха сократил бы срок его жизни. Выйти он решил, когда

будет уже все равно, не раньше. Тогда он доставит себе последнее удовольствие — побродить среди скал.

А пока он долгие часы проводил в кресле. Звезды двигались все так же монотонно, во внешнем мире ничего не происходило, но со временем он заметил, что место захода и восхода звезд постепенно сдвигается. Он заранее знал, что крошечные изменения в том, что он видит снаружи, должны быть. И все же это его почему-то поразило. Абсолютный порядок дал трещину! Мысли у него давно текли не так, как прежде, и проблема показалась ему новой и заманчивой. Что же получается? Законы природы неизменны, постоянны и всевластны А раз так, все должно обладать постоянством на манер часового механизма. Все должно двигаться по кругу, и ничего нового произойти не может. В принципе. Ведь новое это отрицание прежних правил, а они незыблемы. Но в мире постоянно возникает то, чего прежде не было. Звезд не было — они появились. Зародилась жизнь. Потом разум. Как же все это совместить? Или круг столь необъятен, что глаз человека охватывает лишь ничтожную часть циферблата, а потому за новое принимает повторение старого? А может быть, иначе? Может быть, над всем стоит самый главный закон — закон развития?

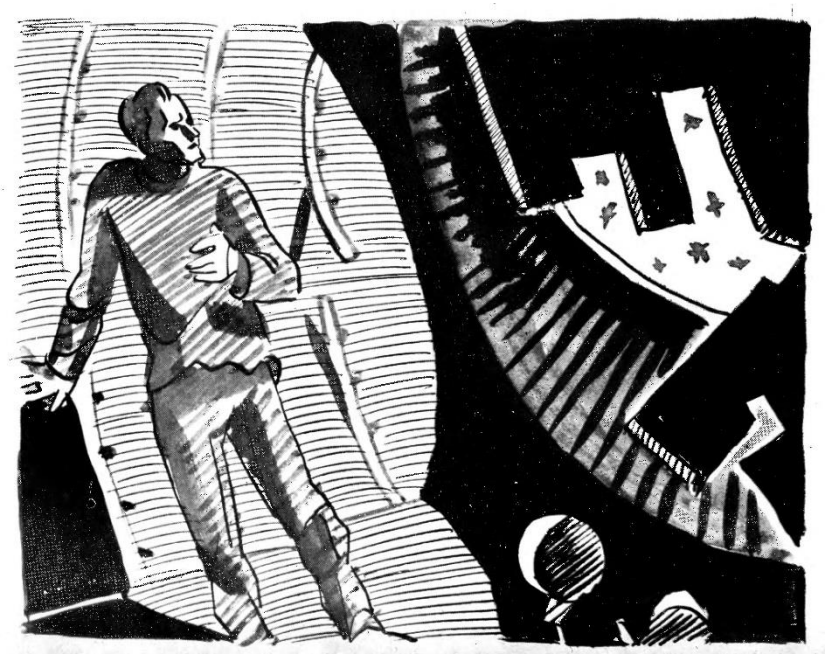
Вопрос почему-то казался ему чрезвычайно важным. Самым важным. Он думал над ним непрерывно, даже во сне, но только все больше запутывался.

Солнце тоже слегка изменило свою траекторию и стало укрупняться. На мгновение затеплилась надежда, что орбита астероида сблизит его с Землей, Марсом или другими обитаемыми телами. Впрочем, надежда тут же погасла. Даже если это случится, то через много-много месяцев, когда ему будет все равно.

Все же он снова попробовал рассчитать орбиту астероида. Неповрежденных приборов астронавигации почти не осталось, считать приходилось без машины, так что результат получился весьма приблизительным. Тем не менее было

ясно, что никакого сближения с обитаемыми мирами ждать нечего.

Вскоре, однако, он стал свидетелем еще одного изменения. Как обычно, он сидел и наблюдал за движением светил, когда с удивлением заметил, что две звезды, прежде чем нырнуть за горизонт, замерцали.



Он не поверил глазам и стал ждать. Новый оборот подтвердил наблюдение; и тогда он наконец понял, что означает это мерцание. Просто чуть теплее стал свет, и солнце теперь успевало за считанные минуты нагреть скалы. Там, очевидно, кое-где был лед, такой же черный, как все остальное. А может быть, все скалы были ледяными?

От нечего делать он стал рассуждать, создаст ли испарение какое—то подобие атмосферы или не создаст. Получилось, что не создаст.

Это его неизвестно почему расстроило. Обидело. Попросту его лишили зрелища! Еще лучше было бы превратиться в комету. Пусть самую плохонькую. Мелькнуть напоследок в

телескоп, привлечь внимание двух-трех астрономов; его стали бы наблюдать, заносить в каталоги, классифицировать. То есть не его, конечно, но все равно забавно. Сидит себе такой астроном, смотрит в свою оптическую трубу, исчисляет заурядную комету и не подозревает даже, что никакая это не комета, а звездный аквариум, откуда ему машет человек Петров. Вот бы астроном выпучил глаза, шепни ему кто, как обстоит дело в действительности.

Но кометы не будет. Заурядной, незаурядной — никакой. С законами не поспоришь. Комета Петрова не состоится, и думать об этом нечего.

Вздохнув и отругав себя за глупые мысли, он встал, было поплелся прочь от иллюминатора, как вдруг остолбенел. Если астероид сам не может превратиться в комету, то почему его нельзя сделать кометой?!

Потрясение было так велико, что он в испуге зажмурился. Что за наваждение? Какой бес его попутал? Разве это возможно? И в сознании опять будто сверкнула молния: это возможно!

Ослабев, он сел в кресло.

Что, собственно, такое — комета?

Длинный газовый хвост, который светится в лучах солнца. Испаряется ледяная головка, и от нее наподобие дыма костра волочится шлейф. Вот, собственно, и все. Но разве он в состоянии разжечь костер?!

Он вскочил и заметался, как от зубной боли. Допустим, ему удастся зажечь что-то на поверхности. Для этого придется выйти. Ладно, это потом, потом... Испарения, окружив астероид туманом, быстро рассеются, ведь здесь почти нет силы тяжести. Значит, никакого хвоста не будет.

Правда, можно изобрести нечто вроде форсунки и направить струю газов строго в одном направлении. Притяжение тут ничтожное, и за астероидом потянется хвост. А дальше что? Нужен длинный, очень длинный хвост, чтобы астрономы заметили комету.

Невероятные трудности, а зачем? Чтобы позабавиться? Похоже, он сошел с ума. Хотя... Обнаружив комету на таком расстоянии от Солнца, астрономы, само собой, удивятся и заинтересуются: это что еще такое и почему не по правилам? Но им и в голову не придет, что это дым костра.

Невероятным усилием воли он заставил себя больше не думать на эту тему. Забыть. И сразу почувствовал себя опустошенным. Навалилась такая тоска, что ему все стало безразлично. Хоть выбрасывайся наружу без скафандра.

Наконец все в нем взбунтовалось. Думать-то он может?! Мечтать, фантазировать, надеяться? Или в его положении уж и этого нельзя?

Хвост должен быть длинным. Насколько? На миллионы, десятки миллионов километров?

Да нет же! Он не собирается являть собой зрелище в небесах. Сейчас его астероид скорей всего не виден в самые лучшие заатмосферные телескопы. Не потому, что он мал, а потому, что слишком слабо отражает свет. Стоит повысить яркость всего раза в два, как он станет тусклой, но все же приметной звездочкой. Это сделать нетрудно, но это ничего не даст — просто автоматический регистратор занесет в каталог еще один астероид. Значит, хвост должен быть намного длиннее поперечника, тогда астероид будет виден кометой. Но весь-то астероид — это сотня-другая метров! Следовательно, хвост...

Не может быть, тут что-то не так! Спокойно, спокойно... Сделаем для страховки хвост в тысячи раз больше поперечника. Это всего-навсего сотни километров газопылевого шлейфа. Всего-навсего.

Он не поверил себе. Пересчитал. Все так. Да ведь это же размер самых крупных астероидов, таких, как Церера, Веста, а они прекрасно различаются в телескоп. Его комета тотчас обратит на себя внимание! Тотчас!

Что же сделать, что можно сделать, что надо сделать, чтобы всем стал ясен смысл этой кометы? Дым костра, дым костра... Черный или белый, сигнальный...



А-а! Хвост надо покрасить.

На корабле сколько угодно нужных веществ. Эмаль стен, пластмасса ручек, изоляция, да мало ли что. Можно получить любые оттенки дыма! Остается выбрать какой-нибудь совсем уж немыслимый цвет. Чтобы ученые схватились за голову...

Стоп. Схватиться-то они, положим, схватятся. Но корабль к комете не пошлют. Опасно нырять в ее туманные глубины, да и зачем? Случаются кометы желтые, красноватые, теперь появилась сине-зеленая в крапинку. Любопытно, но что тут такого? В природе все бывает.

Выходит, надо создать комету, какой не бывает и быть не может. С хвостом вытянутым, допустим, не от Солнца, а к Солнцу. Радужную. Мигающую. Точка — тире — точка. «Тут я, Петров, туточки...»

Комета в облике павлиньего хвоста. Прекрасно! Подмигивающая.

Он радостно засмеялся. Какой поднимется переполох! Какой переполох!

Горелку он сконструирует. В корабле столько всякой всячины, а горелка — такая примитивная вещь, что он будет последним недотепой, если ее не сварганит. Выйти тоже не проблема. Пусть улетучится часть воздуха. Резерв кислорода восполнит потерю. Да, но каким образом он тогда зажжет костер?!

Ах, да не в этом дело... Плотность кометного хвоста не слишком отличается от разреженности вакуума. Можно найти вещества, которые горят без кислорода или содержат его в себе, можно поджечь их электроразрядом, можно сфокусировать на них лучи Солнца. Так или иначе это препятствие обойти удастся. Но за счет чего он создаст тягу, достаточно сильную, чтобы газы образовали шлейф? Только за счет воздуха, который нужен ему для дыхания и который он потеряет, если выйдет...

Хоть кричи, хоть бейся головой об стену, уравнение неумолимо. Нет у него резерва на все и вся. Или — или, будь все проклято.

Он не заметил, что кричит. Это бессовестно — так поманить его надеждой! Несправедливо! Чудовищно!

Но ведь он сам поманил себя надеждой. Так что же он кричит? С кем или чем спорит? С мировым порядком? С тем, что ему не дано выйти... не выходя?

Быть может, соорудить тамбур, смастерить насос для откачки... Долго, ненадежно и все лишь затем, чтобы вынести горелку.

А зачем горелке быть снаружи?!

Олух и идиот, вот он кто такой. Нужно маленькое отверстие в стене. Крохотное. Сопло. Нужен регулятор, который через равные промежутки времени выбрасывал бы точно отмеренные порции... воды. Да, да! Щелчок воздуха, как пружина катапульты, выстрелит капельками, которые тут же испарятся и рассеются яркими кристалликами льда. Или даже не так детский водяной пистолет, тогда и воздух тратить не надо! Вот что ему нужно, но об этом после, после, он все успеет продумать и усовершенствовать как надо. Если правильно рассчитать (а законы природы теперь на его стороне!), то сияющий столб от выстрела к выстрелу будет расти и расти, потому что есть компрессор и, следовательно, можно получить приличное давление! А воды у него хватит, ведь ее запасы в системе были рассчитаны на троих...

И не надо никакого шикарного павлиньего хвоста. Существуют спектрографы и спектрограммы, которые ловят миллиардные доли примесей, а в обсерваториях сидят отнюдь не кретины. Просто в воду надо добавить, чего-нибудь необыкновенного, в природе заведомо отсутствующего, тотчас улавливаемого. Чего? Да хотя бы флюораминовой пасты, которой он пишет.

В хвосте кометы астрономы обнаружат следы чернил!

И это его спасет. Кометой, чей вид некогда наводил на людей страх и ужас, он распишется в небесах!

Люди на взгорье, как моряки на шаткой палубе, стояли, широко расставив ноги. Перед ними был клокочущий ад Нерианы. Слева, километрах в полутора, щербатые гряды скал тряслись, будто в ознобе; справа по ущелью рвался фиолетовый вал дыма и пепла. Он набухал, стреляя в зенит клубами, и тогда в его мутных недрах дико сверкал огонь. Высоко в небе лохматые пряди охватывали диск светила, попеременно обращая его то в грязно—сиреневый, то в тускло—багровый мятущийся среди дымного хаоса шар. Казалось, что и небо трясется тоже.

При каждом толчке даже там, где находились Соболев, Гордон и Икеда, на склоне оживали ручьи осыпей, но щелкающий звук камешков терялся в глухих и долгих раскатах.

Со строгим равнодушием ко всей этой сумятице Гордон поднял к глазам энокль. Его жест, поза всех троих, беглый отсвет огня на лицах за щитками шлемов всколыхнули в памяти Соболева что-то давнее, с детства знакомое и здесь вроде бы неуместное. Но образы совпадали. Пораженный сходством, Соболев хотел было поделиться впечатлением с друзьями, но вовремя сообразил, что былину о богатырской заставе придется им растолковывать, а это долго, да и не нужно.

Он перевел взгляд на местность. Глаз по земной привычке искал впереди хоть какое-то подобие огнедышащих гор, мрачных ущелий, грозных, но четких ориентиров. Напрасно. Там все было вихрь и мрак, в которых твердь перемешивалась с палящим клокотанием газов, как в бесконечном, никогда не смолкающем взрыве. На деле это было не совсем так: трубки взрывов не перекрывали друг друга, энергия недр выплескивалась не ежечасно, но это знание не делало пейзаж более мирным.

Идти туда? Был уже не первый день поиска. С короткими перерывами на отдых и сон они шли, иногда падали от еще

неблизких подземных взрывов, поднимались и снова шли. У них были переданные Гуптой координаты места, но чем ориентиры могли помочь там, где целый хребет, случалось, полз, извиваясь, как гусеница? Теперь без осмотра остался небольшой, но самый опасный участок, который располагался над самым ядром глубинных бурь.

Проверяя свою решимость, Соболев снова взглянул на друзей. Мощная фигура Гордона высилась как памятник неподвижности. Его глаза были скрыты эноклем. Икеда... Внезапно Соболев уловил исходящую от него тревогу. Ничего удивительного — в душе Икеды жил опыт многих поколений народа вулканических гор, древний трепет перед стихией, которая так часто и неумолимо расправлялась с беззащитным тогда человеком.

Повинуясь порыву, Соболев шагнул и обнял его за плечи.

— Что? — спросил тот быстрым шепотом.

— Взгляни на Гордона. Воитель тверди и неба, а? Скульптора бы сюда!

— Пример мужества, ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать, что развитое чувство опасности для нас сейчас не меньшее благо.

— Шепчетесь? — Гордон резко опустил энокль. — А ведь завел нас Гупта! Дальше пути нет. Ни по земле, ни по воздуху. Что предпримем?

— Поплывем, — без улыбки ответил Икеда. — Раз нельзя идти и лететь.

— Совет в классическом стиле Востока! Что скажешь, Соболев?

— Употреблю ненавистное мне слово.

— Авось?

— Не отступать же. Ого!..

Тряхнуло так, что у всех отдалось под ложечкой. Небо потемнело. Впереди встала клокочущая стена, перед величием которой люди ощутили себя мошками.

— Мегатонны три, — подытожил Соболев. — Или больше.

— Вот безобразие! — Гордон сморщился, как от кислого. — И это в самый спокойный период. Ладно, рискуя не безрассудно, ставлю жизнь на кон. Ты, Икеда, уже прикинул степень опасности?

— 0,3. Примерно, точнее не удается.

— Допустимо, так примерно и я оцениваю. У меня возникли кое-какие соображения о маршруте, вот слушайте...

План Гордона возражений не вызвал, его сообщили базе, и маленький отряд без промедления тронулся в путь. Следом двинулись похожие на черепах скуггеры. Оставляя за собой шлейфы пыли, они проворно скользили над неровностями почвы.

"Вот скуггеров богатыри не имели, — мельком подумал Соболев. Впрочем..."

Впрочем, вся могучая техника, будь то нуль-звездолеты или простые скуггеры, не могла их избавить от усталости и риска, ибо то, что они искали, нельзя было найти никакими локаторами. Единственным средством, как встарь, были собственные глаза, руки, смекалка. Правда, в такое пекло вряд ли полез бы самый отчаянный кладоискатель, даже если бы его снабдили скафандром. Хотя кто знает!

Телепатия явно существовала, потому что Гордон, валко шагая впереди, грянул пиратскую песню. А может, ковбойскую: пел он на родном языке, и понять его было трудно. Хриплому басу Гордона вторил гром близких ударов.

— Подтягивайте, ребята, одному скучно! — Он обернулся, сверкнув белозубой улыбкой.

Соболев кивнул, но не нашел в памяти ничего старинно-воинственного и озорно затянул "Дубинушку". Окутанный дымным облаком Икеда присоединил резкую, как звон меча, мелодию. Откосы ущелья ответили варварским эхом. Скуггеры беспокойно задвигались — в их памяти не было национальных ритмов, и они всполошились. Все невольно расхохотались, и Соболев почувствовал, как тают в душе непрошеные льдинки страха.

Все они теперь были как бы в ином времени, в иной эпохе, когда человек один на один оставался с превратностями природы.

Ложбина, с дряхлых стен которой осыпался грязный камень, неожиданно вывела к правильному, будто циркулем очерченному, озерцу. Мутная, изрытая рябью вода ходила широкими кругами, но постоянство озера, из которого даже выбегал ручеек, говорило о надежности места, и Соболев решил, что вблизи все далеко не так ужасно, как это выглядело издали.

— Стоп, — сказал Гордон. — Пошарим.

Еще вчера они перебрали бы здесь все по камешку, но опыт уже научил, что на этой бурной планете нет и не может быть ничего надежного, что все теории врут, если только Гупта не ошибся. Искомое могло оказаться, где угодно, его даже могло не быть вообще. Но долг перед другим человеком был превыше всего, и, хотя рвения уже никто не испытывал, осмотр они провели со всей тщательностью.

Ничего, кроме скальных обломков, мелкого крошева лав, синеватой глины по берегам.

За озером началось плато, выжженное, мелко трясущееся, как и все на этой мертвой планете. Из дряхлых воронок сочился желтый газ; его стелющиеся струи, пока их не растрепал ветер, лизали черные струпья камней.

Багрово-копотное пламя снова осветило мрачные ярусы туч. Они надвинулись, и все померкло, как в густой саже. Не стало видно ни рук, ни ног, пальцы слепо шарили в пространстве. Ни в одном диапазоне волн инвентор не мог уловить даже малейшего проблеска света, только голоса в наушниках говорили Соболеву, что он не один в этом загробном мире тьмы.

С минуту они перекликались, потом умолкли, ожидая, что будет дальше. Но ничего не было, кроме мрака, в котором утих даже ветер.

— База! — воззвал Гордон.

База ответила, и, пока длилось объяснение, пока уточнялся пеленг, Соболев обнаружил, что ему трудно сохранять равновесие, ибо почва колебалась все сильней.

Он с облегчением услышал команду лечь и отыскать укрытие. Ползком нашел какую-то выемку и залег в ней, как в покачивающемся гамаке.

— Нулевой отсчет! — как бы из другого измерения донесся голос базы.

Ахнуло через шестнадцать с секундами минут. Небесный гром пущенной с орбиты ракеты перекрыл все другие звуки. Точно рассчитанная струя кумулятивного взрыва ударила в тучу и, свистя камнями, сдула ее с плато.

Клочья тьмы мчались как подгоняемые паникой.

Не в силах сдержать восторг, Гордон, словно мячик, перехватил летящий камень и, едва не упав от толчка, заорал на всю планету.

— Спасибо, ребята, только камни зачем швырять?!

Через десять минут ходьбы местность разительно изменилась. Ничто уже не выдавалось над гладкой поверхностью. Олицетворением сил, которые владычествовали здесь, предстала группа трещин, борта которой напоминали мерно жующие челюсти. Они то смыкались, перемалывая самих себя, то разверзались как бы в ожидании жертвы.

Все трое включили движки и плавно взмыли над перемалывающими челюстями.

Планируя, Соболев глянул на мрачные поля лав, и сердце его сжалось. Зачем он тут? Куда они зашли? Что может быть здесь, кроме искореженного камня, вихрей газов и пепла, которые зябко и призрачно пляшут по сторонам? Уж не мираж ли мелькнул тогда перед Гуптой, и теперь они, все трое, как бабочки на огонь, летят в неизвестность, туда, где, быть может, в эту самую секунду зреет взрыв?

Соболев покосился на скуггеров, которые величественно плыли над мерно жующими челюстями провалов, затем взглянул на друзей. Икеда летел с невозмутимым достоинством. Гордон, зло ощерясь, глядел вниз. На его лице было

явное желание плюнуть в эти пожирающие себя пасти. Кому все было нипочем, так это скуггерам. Зато они умели предвидеть глубинные взрывы, на них можно было положиться, зная, что они не подведут.

Их полет был особенно красив по контрасту с хаосом сминаемых в лепешку глыб.

Все же Соболев испытал облегчение, когда ноги коснулись почвы поодаль от жующих челюстей. Лучше неверная твердь, на которой при помощи скуггера можно кое-как удержаться, чем парение над пропастью, где любой удар вихря способен закрутить, смять, сплющить о камни.

— Дракон, а?

— Что? — не понял Соболев.

— Камнедробилка эта! — крикнул Гордон. — Точно стережет, дрянь щекастая!

— Почему щекастая?

— Не знаю. Просто дрянь. Дрянь и мерзость. Интересно, какой будет пакость за номером...

Он не договорил. Никто и моргнуть не успел, как над головой мелькнул дымный прочерк. Ближний скуггер ударил разрядом, и метрах в двух от Икеды полыхнуло лиловое облачко.

— Ложись! — заорал Гордон. — Бомбы!

Камни сыпались густым роем, им накрест били молнии скуггеров. Порой осколки чиркали по скафандру, ибо скуггеры тратили заряды лишь на те глыбы, которые могли поразить людей, а все прочие взрывались где попало. Невольно жмурясь, когда осколок дзинькал по спектролиту шлема, Соболев чувствовал себя одновременно неуязвимым и голым. Сразу хотелось и сжаться в комочек, и гордо выпрямиться, бросая вызов столь близкой и бессильной смерти.

Внезапно, как и начался, обстрел прекратился.

Поднимаясь, Соболев с недоумением обнаружил, что взмок, как от усилий поднять трехсоткилограммовую штангу.



— Кажется, начинаю понимать солдатскую жизнь, — свирепо бормотал Гордон. — Штыки к бою — бум! И кровавый фонтан вместо головы. Красиво, как на картинке.

— Ничего мы не понимаем, — поднимая дымящийся осколок, пробормотал Соболев. — Там рвались снаряды. И пули.

— Пули, положим, летели, — тихо возразил Икеда.

— Летели, взрывались, какая разница? Важно, что они убивали. И что нас это больше не касается.

— Кого как, — прошелестел ответ. — Меня вот коснулось, я без отца остался. Его война убила.

— Как война?! — разом вскрикнули Гордон и Соболев.

— Очень просто. Моего прадеда облучил взрыв атомной бомбы. Даже гены отца оказались настолько пораженными, что он не дожил и до тридцати лет. Меня оперировали удачней. Еще когда я не появился на свет.

— Эх! — вырвалось у Соболева. — Прости, я не знал.

— Зря я вспомнил, — покачал головой Икеда.

— Может быть, и не зря. Верно, Гордон?

— Верно, — услышал он чужой и медленный голос. — Так же верно, как то, что в создании той бомбы участвовал мой прадед и, следовательно...

Гордон запнулся, встретив немигающий взгляд Икеды.

— Бросьте! — звонко крикнул Соболев. — Нерианы нам мало?! Бомбы, войны... Какое это сейчас имеет значение?

— Никакого. — Веки Икеды медленно опустились. — Ни малейшего, иначе бы нас здесь не было. Хватит об этом — и пошли.

— А! — вырвалось у Гордона. — Проклятая планета!

Его кулак рассек воздух.

— Все правильно, — добавил он уже спокойно. — Двинулись, пока нас всех тут не накрыло.

Он повернулся, сутулясь, и пошел сквозь крутящийся столб пыли.

Из аспидной мглы нехотя посыпался пепел. Редкие хлопья оседали на скафандре, как пушистый снег, только снег этот был черный. Громыхало умеренно. Временами по гладкой почве пробегала, тут же разглаживаясь, мелкая рябь, и тогда всех колыхало, как в лодке на волнах. Под ногами сухо хрустела пемза. Ветер стих, будто уснул.

Это могло насторожить, но не насторожило. Лишь позднее Соболев понял, насколько они при всей осторожности были беспечны и почему беспечны. Ценой многих ошибок и жертв человек, наконец сумел выковать скорлупу, которая во всех мирах служила ему безупречно. Они всегда жили с ощущением безопасности, хотя и думали, что это не так. Надежная техника и здесь создавала комфорт, изолировала и щадила, расширяла возможности чувств и берегла от

перегрузок. Когда страшное становится привычным, оно перестает быть страшным.

И все же что-то обеспокоило их.

— Подождите, — сказал Икеда, напряженно вглядываясь в небо.

— В чем дело? — отрывисто спросил Гордон.

Соболев поднял голову. Облик тучи менялся. В ней возникло спиральное движение. Разводья тьмы медленно вращались. Точно пена в водовороте, их обгоняли лохматые серые клочья. Глубины в этом вращении было не больше, чем в суповой тарелке. Спираль, убыстряя свой бег, стягивалась все туже, пока не образовала круг с широкой мрачной каймой и белесым центром, который повис неподвижно, как обращенный в негатив зрачок.

Икеда встрепенулся.

— Уйдем! Нехорошее место...

— Почему?

Икеда не нашел, что ответить.

Они заколебались. Такое они видели впервые. Скуггеры спокойно вели съемку. Белесый, зрачок стал протаивать. Проступило что-то дрожащее, мутное, как вода после стирки. Вспухло, осветлилось, лопнуло, открыв синеву.

— Вот видите, — сказал Гордон. — Облака расходятся.

— Нет! — вскрикнул Соболев. — Небо здесь не бывает синим, ты что, забыл?!

— Бежим! — Икеда обоих схватил за руки. — Скорей!

Они не успели сделать и двух шагов, как блеснула молния. Она не упала, нет. Она поднялась, трепеща, выросла из почвы.

Предостерегающе взвыли скуггеры.

Слишком поздно! Жутко просел горизонт. В померкшем свете вязко и тяжело всплеснулась почва. "Трубка взрыва!" — отчаянно мелькнуло в сознании всех троих, когда ноги ушли в эту текучую ртутную массу.

Но это было что-то другое. Их швырнуло, приподняло, опустило, и тут из вспухших недр вывороти́лся, пошел, загибаясь гребнем, исполинский каменный вал.

Гребень тут же рухнул под собственным весом. Отвесный вал, дико дымясь и чернея, дрогнул, на мгновение замер — и снова пошел на людей. Гордон и Икеда успели выкарабкаться, отбежать, а Соболев не смог высвободить зажатые ноги. Отвес вала замер над ним, кренясь всей своей шаткой тяжестью. Уже ни на что, не надеясь, Соболев что было сил уперся в надвинутую на него громаду. Он скорей почувствовал, чем увидел, как рядом очутились Гордон и Икеда, как они с тем же отчаянием удерживают скалу, как слева и справа по безмолвному приказу людей в нее ударили скуггеры и как многотонная глыба колеблется в едва уловимом равновесии.

Теперь поздно было кому-то убегать и спасаться. Оставалось давить и давить, стараясь отжать, сместить, опрокинуть назад этот каменный вал. Осыпаясь, по шлему градом стучали камешки, но Соболев этого не замечал. Если, кроме смертельного, рвущего мускулы напряжения, в его сознании жило что-то, то это было тепло благодарности вперемежку с досадой на безрассудство друзей. Через скалу ему передавалось такое же неистовое, крайнее усилие других. Он ловил ритм этих усилий, который сразу стал общим, как общими стали взрывы отчаяния, когда шевеление недр надвигало скалу, и всплески радости, когда толчки недр сливались с их собственными.

И когда крен, казалось, неудержимо сместился, и мускулы — еще миг готовы были разорваться, а скала все—таки не пошла вниз, то ее задержало не чудо, а общий порыв, в котором участвовали и скуггеры. Их нечеловеческое усилие, сливаясь с человеческим, удесятеряло дух сопротивления и переводило его за грань возможного.

И скала не выдержала, поддалась, когда очередной толчок откачнул ее назад. Но грохот падения уже не достиг сознания Соболева.

Когда же он наконец пришел в себя, искореженная, дымящаяся почва успокоилась, только ветер неистовствовал. Скафандры всех троих были черны, как головешки, но, возможно, это лишь, казалось, в дыму и вихрях.

Приглашая лечь, в бедро ткнулась тупая морда скуггера. Соболев повалился на его широкую спину, наслаждаясь покоем и неподвижностью опоры, ибо скуггер висел над качающейся землей, равнодушный ко всем ее колебаниям.

Теперь самым разумным было уйти. Ни одно сокровище мира не стоило такого риска, ни одно. Но хотя никто не обменялся ни словом, они знали, что не уйдут. Не смогут. Ведь рано или поздно человек пройдет сквозь ад Нерианы по тем же причинам, по каким на Земле он одолел самые высокие пики, опустился в самые глубокие впадины океана, обшарил самые недоступные пещеры и побывал в самых грозных вулканических жерлах. Вызов стихий? Целы были скуггеры, в порядке скафандры, а силы восстанавливал отдых. Причиной бегства мог быть только оправданный благоразумием страх, малодушие, за которое никто бы не смог их упрекнуть, но которое навсегда осталось бы для них тайным позором. Вот что было и оставалось истиной.

И был еще долг перед погибшим.

Они снова двинулись в путь. Толчки сбивали их с ног, земля и небо качались как маятники, а люди шли, падали, вставали, шли. Не стало отдельно Соболева, Гордона, Икеды, было общее человеческое "я", которое преодолевало само себя, свои возможности и силы, словно в это теперь единое существо вселился неукротимый дух всего человечества.

Когда над очередным озером лавы вдруг взвихрился палящий жгут молний, в измученное сознание не сразу пробилось удивление. Там, в малиновом вареве камня, которое молнии взбивали, как в миксере, совершалось Немыслимое: среди плазменных протуберанцев, в адской жаре, в неистовстве материи нежно вспухали комочки белоснежного пуха.

Их рождение казалось невозможным, как ландыш в доменной печи, но это был не мираж.

Вылетая из свива молний, пушинки коричневели, спекаясь в крохотные шарики. Они тут же лопались, выпуская стаю огневок; золотистые мушки сразу кидались и синеватые язычки пламени и роились в них, будто в вечерней прохладе воздуха.

А клокочущий молниями вулкан извергал новые белоснежные пушинки. Над хаосом огня быстро и безмятежно кружилась легкая метель жизни.

Так вот что открылось Гупте за мгновение до смерти!

Жизнь.

Возникшая на другом полюсе мира, противостоящая земному опыту и земным условиям, как вещество антивеществу, — жизнь!

Лопнул, окропив все, очередной зародыш...

Люди стояли молча. Нериана не оставила им сил ни для радости, ни для торжества, ни даже для осознания этой никакими теориями не предусмотренной жизни. Или, вернее сказать, антижизни?

Вопросы и ответы — сейчас было не до них. Надо было доделать дело.

Короткий приказ вывел скуггеры из неподвижности. Широкие мощные черепахи взмыли, запечатлевая обстановку, анализируя все, что поддавалось анализу, бережно всасывая в щели ловушек то, что золотисто порхало в воздухе, вдруг туманилось, выдавая свою, быть может, невещественную природу, и, точно под влиянием инстинкта, пыталось удрать. По выпуклым щиткам скуггеров пробегали судорожные отблески молний, преображая аппараты в странные подвижные существа, которые сейчас казались исконными обитателями Нерианы.

Люди парили вдали, как зоркие ангелы, но в эти минуты они не думали о своем сходстве с чем бы то ни было. Все мысли были поглощены управлением, а прочее было как в полусне, том полусне безмерной усталости, которая делает

человека безразличным ко всему, кроме самого неотложного. Теперь они могли позволить себе эту усталость победителей.

И только много позднее, когда они миновали круглое озерцо и стали спускаться вниз по ручью к месту, куда уже мог пробиться реалет базы, были сделаны первые лишние движения и сказаны первые, не относящиеся к делу слова.

Они отдыхали долго и неподвижно, отходя, как после наркоза. Наконец Соболев встал, ковыляя, побрел к ручью, присел на корточки, пошарил на дне и отсеял в ладонях горсть самых красивых камешков.

— Вот, обещал сынишке привезти с Нерианы, — как бы оправдываясь, ответил он на безмолвный вопрос друзей. — Из ада, не откуда-нибудь...

— Стоит ли брать эти? — не удивляясь такому повороту мыслей, сказал Гордон.

И, видя, что Соболев колеблется, добавил:

— Уж лучше подарить то, чего больше нет во вселенной, — кусочек настоящей нерианской магмы.

— Тоже, верно, — помедлив в раздумье, согласился Соболев.

И светлая горсть алмазов полетела в воду.

Двадцать километров подъема остались позади, в фиолетовой мгле, в оранжевом отблеске зари, дальше плато широким и мощным размахом круто уходило в небо.

Долго перед глазами Вуколова и Омрина был склон, только склон, упорное восхождение, которое словно и не приближало к цели, так одинаково мрачный путь упирался в небо, где отрешенно горели звезды. Лишь привал на гребне ошеломительно распахнул пространство. Взгляд падал в бездну, смятенно искал в ней привычные пропорции и масштабы, но едва находил, как разум спешил поправить ошибку зрения. Ибо то, что виднелось отсюда пологом ночного тумана, было всей толщей атмосферы, а что казалось скалистой грядой, составляло могучий горный хребет. И вся ширь зари сокращалась отсюда до размера вдернутой во мрак цветной шерстинки.

Тихо было, как на плывущем облаке. Тонко звенела кровь в ушах, взгляд, успокаиваясь, парил над бездной, тело охватывала невесомость, и лишь твердь камня напоминала сознанию о грубой материальности мира.

Люди сидели как завороженные.

— Недолгое счастье Френсиса Макомбера, — отдаваясь прихотливому течению мыслей, прошептал Вуколов.

— Недолгое счастье Френсиса Макомбера, — эхом отозвался Омрин.

И снова упало молчание, вечное там, где не может быть ветра. Текли минуты, оба продолжали сидеть неподвижно.

Чем было для них сказанное? По какой логике им вспомнился давний рассказ Хемингуэя? Что общего было у них с Макомбером? Этого они и сами не могли объяснить.

Вуколов то и дело возвращался мыслями к своему прошлому, которое отсюда казалось далеким, маленьким как пейзаж в перевернутом бинокле. Мальчик босыми ногами месил теплую дорожную пыль — неужели это был он?

Неужели тот длинноволосый юноша, который в прокуренной комнате среди таких же неистовых юнцов, о чем—то спорил до хрипоты, был тоже он? Или тот подтянутый, переполненный энергией молодой ученый на кафедре? Странно... Или та беспросветная ночь, когда он узнал, что любимая его не любит, и все безнадежно, — она была? Неужели вот эта минута над бездной бездн продолжение его прошлого?

Так оно и было, и Вуколов смиренно подивился тому жизненному зигзагу, который привел его сюда. Можно было считать почти запрограммированным, почти неизбежным и то, что он когда—то бродил босиком, и то, что мальчишка окончил школу, университет, и то, что он страдал от безнадежной любви, и даже то, что он очутился на Марсе. Почему бы и нет, в конце концов? Правда, из миллиардов людей на Марс попадали лишь сотни, но уж они—то были направлены туда волей человечества, столь же неуклонной, как сила, движущая планеты по их орбитам. А вот в том, что он, Вуколов, оказался здесь, не было никакой закономерности, по крайней мере логической. Скорей это произошло вопреки логике, да и здравому смыслу тоже. Не было очевидной цели, которая бы заставила их карабкаться в эту гору. Петрографическое исследование вершины? Да, возможно. Но если честно, то это оправдание перед совестью. Просто он поддался на уговоры Омрина. Просто ему хотелось осилить гору, и он дал себя убедить, что это нужно для науки. Желание, шальной порыв, если разобраться, не более. Все остальное придумано. И вот он здесь.

Какая-то чертовщина, если вдуматься! Один век сменялся другим, а люди и не думали подниматься в горы. То есть, конечно, туда шли, очень даже шли, но лишь затем, чтобы проложить тропу, достигнуть пастбища, провести караван, укрыться от набега. Все это ясные, насущные потребности. Людей интересовали перевалы, склоны, богатые золотом или медью, удобные для рекогносцировки вершины, а поднебесные кручи — нет. Зачем куда-то лезть без

надобности? Когда Петрарка затеял подняться на какую-то там плюгавую вершинку в предгорьях Альп, куда мог взойти любой, но куда на памяти местных жителей никто не поднимался, он испытывал смущение. Он опасался насмешек, но еще более обескураживал его собственный порыв. Ведь никто не лезет в гору без дела. А он полез. Бог или дьявол нашептал это желание?

Альпинизм — плод досуга. Пусть так. Досуг кое у кого был и раньше, и у древних греков он был, но письменные свидетельства молчат о желании Сократа, Платона или Аристотеля взойти на Олимп, о том, что кто-то из их современников взбирался на Олимп. Позже — да: когда умерли боги.

А с девятнадцатого века началось. Десятки, сотни, потом тысячи, миллионы горопроходцев. Движение, по сравнению с которым великое переселение народов — пустяк. Да, спорт, да, закалка и школа мужества. Но не оправдание ли это задним числом нерассуждающей страсти? Ведь горы многих карали увечьями и смертью. Сомнительная выгода для здоровья и мужества. И что же? Нет очевидной пользы, нет осязаемой цели, ну и не надо, будем лезть просто так!

И он, Вуколов, лез. На Земле. Теперь вот лезет на Марсе. Просто так.

Прекрасная бессмыслица...

Положенные минуты отдыха истекли. Омрин с Вуколовым встали, молча повернулись спиной к бездне и мерным, коротким шагом двинулись вверх по склону.

Вуколов сделал это с сожалением. Задержаться хотя бы на час... Но времени нет, нет — мимо и дальше, что бы ни встретилось по пути, — так было в его жизни уже много—много раз.

Занимался третий день восхождения. Глубоко внизу свет зари разгорелся настолько, что проступили очертания скал. Небо по контрасту стало еще черней и как бы бросало на склон траурную тень. Сумрачный путь среди лав наводил уныние. Ничья фантазия не могла бы придумать ничего более тоскливого, чем каменные поля под черным пологом

неба, и когда жидкий свет солнца отразил тень, то Вуколов вздрогнул, увидев, как она движется, воспроизводя все их жесты. Так могли бы двигаться души в стране усопших, и, конечно, там был бы именно такой пейзаж.

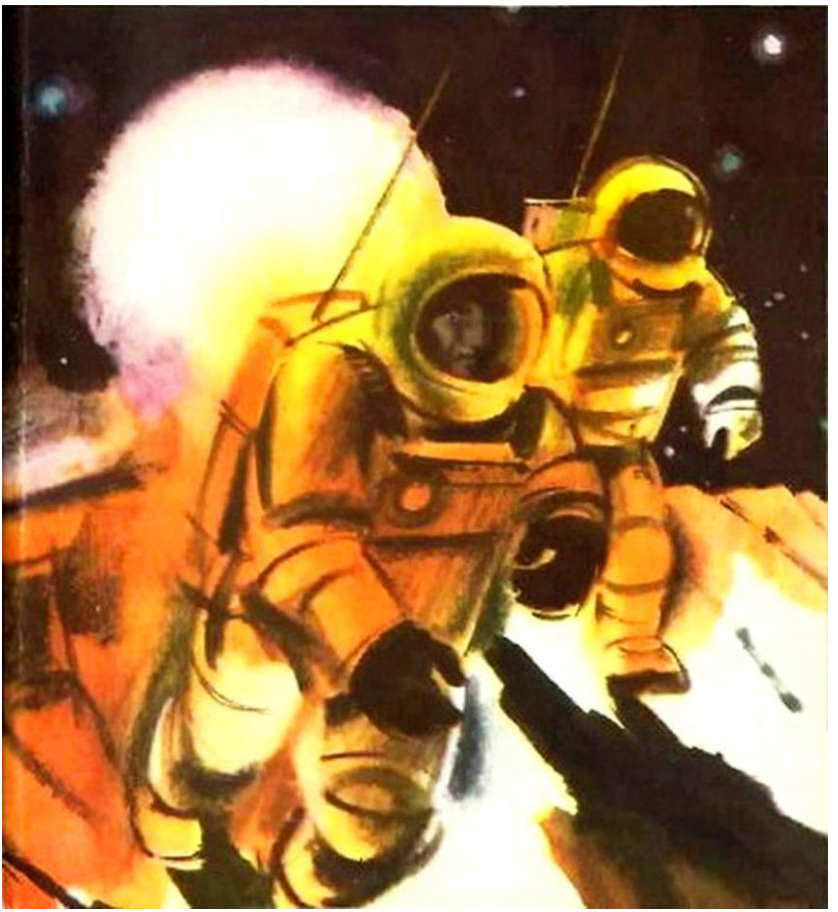
Шаг, шаг, шаг. Хрусть, хрусть, хрусть... Подошвы давили черный шлак пемзы. Звук передавался не по воздуху, которого на этой высоте, можно сказать, не было, а через скафандр, проникал в тело, и казалось, что непривычно и дико хрустят подошвы ног.

До сих пор жаловаться на трудности не приходилось. Гора не нагромождала серьезных препятствий и не требовала высшего мастерства. Не зря, выбирая маршрут, они столько часов изучали стереоснимки: на этом пути гора напоминала сильно увеличенный в размерах Эльбрус, только без ледников, снега и капризов погоды. День за днем, час за часом длился упорный подъем, то, что альпинисты называют "ишачкой". На Земле столь долгое восхождение само по себе измотало бы человека на первом десятке километров, но здесь они сами, их скафандры и груз весили много меньше, чем на Земле. И уж совсем не надо было заботиться о дыхании, потому что на любой высоте скафандр подавал кислорода столько, сколько требовалось легким. Все же бесконечный подъем утомлял, и тело уже вскоре после привала уподоблялось безучастному механическому шагомеру.

Шаг, шаг, шаг. Хрусть, хрусть, хрусть...

Поле тяготения, которое они превозмогали, давило на плечи, наливая тело вязкой усталостью. Конечно, в действительности все обстояло наоборот: каждый километр подъема неуловимо облегчал вес. Но им казалось, что они расталкивают все плотнеющую массу. Сердце, легкие, каждая клеточка мускулов работали на пределе, как у ныряльщика в подводной глубине. Только здесь напряжение растягивалось на долгие часы и бесконечные километры. Тело молило о спуске, но воля разума, не давая пощады, гнала его вверх и вверх.

Теперь вся жизнь Вуколова сосредоточилась в этом неуклонном подъеме, где ничего нельзя получить за так и где никаким ухищрением нельзя сократить положенное число шагов.



Поднялось и ярко брызнуло солнце, тени сгустились, как на Луне, небо стало глухим, аспидным, беззвездным. В угловатых камнях искрами запылали блестки слюды и кварца.

Всего в километре от вершины путь преградила отвесная гряда скал, преодоление которой в обход или в лоб наверняка отняло бы много времени. Меж скалами, однако, оставался проход. И хотя зажатая среди скал каменная река

была вне сомнения осыпью, она не внушала опасений — подобные встречались уже не раз. Они осторожно ступили на шаткий наплыв.

В первые минуты все шло, как должно. Некрупные щербатые камни мертво лежали под ногами, и в просвеченном солнцем сужении скал уже виднелся близкий исток осыпи, когда внезапно каменный поток дрогнул и поплыл вниз. Секунду-другую длилось скрежещущее покачивание, от которого у обоих упало сердце, а потом все замерло. Они всего лишь сместились назад.

Однако новая, на пределе осторожности попытка подняться вызвала тот же грозный шорох.

Выждав, пока шорох уймется, они взяли к скале, где, по логике, осыпь должна была обладать меньшей подвижностью.

Она дрогнула еще сильней.

Шаг в сторону, затем назад, чтобы выбраться из осыпи, еще раз в сторону и опять назад! Но бесполезно. Сверху беззвучно, как это бывает во сне, запрыгали камешки, и один с силой ударил Омрина по голени. И всюду их ждал предостерегающий скрежет готового ринуться обвала.

На Земле это их не испугало бы. Позади не зияло бездны, там расстилался скат, по которому в случае чего можно было проехаться и с осыпью. При их опыте такой спуск грозил лишь синяками и ссадинами.

Но здесь и этим нельзя было рисковать, ибо разрыв скафандра был куда опасней перелома ноги. То, что прежде было преимуществом, теперь оборачивалось против них, лишний раз подтверждая, что в горах, как и в жизни, ничто не дается даром.

Неуверенным, точно у слепца, движением они вновь опробовали все вокруг и убедились, что надежду, как ни странно, дает лишь карабканье вверх по оси потока. Смещая осыпь, оно все же не выводило ее из шаткого равновесия. И даже сохраняло кое-что из отвоеванной высоты. Пустяк, сантиметры, но и это был выигрыш!



Они не обменялись ни словом. Они и так поняли друг друга. Тут нечего было обсуждать, здесь не мог помочь никакой расчет, оставалось довериться интуиции. Одновременно кивнув друг другу, они вступили на ненадежный эскалатор, каменную, ползущую вниз лестницу гор.

Солнце светило в спину, но стены ущелья отражали его отовсюду. Камни полыхали мириадами искр. Вуколов, интуитивно выбирая наилучшую опору, осторожно ставил туда ногу, медленно утверждал ее, так же осторожно делал повторный шаг и все равно на каком-то сползал, чтобы все начать в сотый, а может быть, тысячный раз. Климатизатор скафандра работал исправно, однако пот заливал лицо. Вуколов видел только жаркий отсвет камней, их хаос у ног; еще боковым зрением он охватывал искрящийся отвес скал, по которым только и мог судить о движении.

В этом томительном движении теперь заключалось все. Прошлое, настоящее, будущее. Ничего другого не было прежде, ничего иного не могло быть потом. Вверх — вниз, вверх — вниз, вверх — вниз... Шорох и скрежет, сухой блеск камня вокруг, так было всегда, он вечно был здесь, всегда карабкался, неизменно соскальзывал, снова лез. Лишь порой глухо саднила досада, почти отчаяние, что нет в мире лестниц, ползущих вверх, а все они безжалостно тянут вниз, если только, задыхаясь, не карабкаться им наперекор. В этом чудилась какая-то издевательская несправедливость, которая и обескураживала, и разжигала ярость упорства.

Он не думал о себе, не думал о шансах, лишь молоточками в ушах стучала кровь, и внимание, как в фокусе, перемещалось с глыбы, куда следовало поставить ногу, на поддержку товарища, которого уносило вниз. Иногда в поле зрения врывалась траурная полоса неба над головой. И она тоже была частью новой безвыходной жизни, как одышка, как борьба за сантиметры, как шорох оседающего камня.

Сползая назад, он тянулся вверх, вверх, вверх... И длилось это вечно.

А потом внезапно все кончилось, и он лежал на твердой скале, без мысли вглядываясь в просторное небо. И Омрин лежал рядом, и было хорошо, только ноги еще шли по наплыву камней и медленно стихал стук сердца. День вступил в свои права, он казался огромным и прекрасным, во веки веков нескончаемым.

Вершины они достигли в разгар дня.

Они стояли на гребне, как бы паря над Марсом. Слева был такой простор глубины и дали, что глаз видел туманную покатость самой планеты. Склон с его скалами, осыпями и обрывами круто падал вниз, погружаясь в прозрачную синь воздуха. Сквозь эту синь отчетливо проступали ржавые, ссохшиеся выступы далеких гор, морщинистые складки равнин, затушеванные тенью трещины каньонов. Ближе к скату планеты воздух темнел, как вода в глубине, и красноватые барханы смотрелись оттуда донной рябью песка.

И над всем в темном небе пылало белое солнце, не по— земному маленькое и ослепительное, чуть размытое по краям, — то был слабый намек на невидимую сейчас корону.

Справа ниспадала другая бездна — до дна залитая тенью воронка исполинского кратера. С расстояния десятков километров отчетливо виднелись бурые, черные, лиловые камешки противоположного склона, самый мелкий из которых в действительности мог увенчать любой земной пик.

Вуколов чувствовал себя омытым хрустальными потоками света, космическими здесь, где все было космическим, как в первый день мироздания. Воздух скафандра не изменился, но дышалось легко, привольно, сладостно, и кровь молодо пульсировала в каждой клеточке тела. И каменное оцепенение планеты лишь возбуждало эту бурлящую в нем жизнь. Кто сказал, что человек не вечен, подвержен тоске, старости, унынию? Кто? Вуколов чувствовал запас сил на века, и в нем, перехлестывая, бурлила радость.

— Никс Олимпика, — пробормотал он блаженно. — "Снега Олимпа" — вот вы, значит, какие...



Сияя, он обернулся к Омрину.

Тот стоял неподвижно. Его меланхоличное лицо было сурово-торжественным. Он пристально, оцепенев, вглядывался во что-то над головой Вуколова.

— Эй, лю-ю-ди! — заорал Вуколов во всю силу легких. — Мы ее взяли! Все-таки взяли!!!

Омрин вздрогнул, дико, будто спросонья, глянул на Вуколова. Но восторг машущего руками приятеля смягчил его взгляд.

— Добавь еще, что мы первые, — сказал он со странной усмешкой в голосе.

Вуколов весело, по-детски заулыбался.

— Само собой разумеется и не столь существенно! — он тряхнул головой.

— А что же существенно?

— Ничего. Все!

— Сядем, — внезапно предложил Омрин.

Вуколов с готовностью сел, тут же вскочил, словно не находя себе места, и снова сел. Сам Омрин остался неподвижным.

— Вершина-то, а? — сказал он с непередаваемой интонацией. — Особая вершина, — добавил Омрин с ударением. — Вертолет не может сюда подняться нет воздуха. Для ракеты мала посадочная площадка. Нужны ноги, чтобы взойти.

— Естественно, — весело кивнул Вуколов. — В этом вся прелесть!

— В чем?

— В том... Да ты и сам понимаешь. Экий простор! — Он сделал небрежный жест. — Хочется петь и смеяться. И растут крылья. Вот только снегов нет. "Снега Олимпа", а их нет. Непорядок, а? Впрочем, и так хорошо. Тебя не тянет полетать? Так бы, кажется, и взмыл. Сплошной иррационализм. "Есть упоение в бою, у бездны мрачной на краю". Почему? Не знаю и не желаю знать.

— А я вот шел сюда за ответом.

— Скучный педант! — Вуколов рассмеялся. — Надоели ответы. Всю жизнь ищем ответы, только этим и заняты. Да погляди, погляди вокруг. Силища-то какая! И вроде бы ничего исключительного. Ну, высота, ну, даль. Воздух внизу, планета у ног. А невозможно оторваться. Все на пределе, все сверх предела — и до солнца рукой подать!

— Вот-вот, — серьезно сказал Омрин. — Взошли, тут тебе и радость, и опьянение, и гимны, как ты верно заметил, хочется петь. А ведь просто так радость не дается, это всегда награда. Но здесь за что?

Голос Омрина прозвучал так, что Вуколов насторожился.

— К чему ты клонишь? — спросил он нехотя. Тон Омрина сбивал настроение.

— Ты ничего тут не замечаешь... особенного?

— Особенного?

Вуколов огляделся в недоумении. И снова, только иначе, его поразила дикая мощь природы. Он даже почувствовал себя в ней лишним. Тут все было чрезмерным. Человечество

целиком могло сойти в бездну кратера, уместиться там, и ни единая черточка пейзажа от этого не изменилась бы. Разве что прибавилось серое пятнышко на дне. И даже будь здесь воздух, крик миллионов заглох бы тут, нигде не достигнув края.

— Здесь нет ничего особенного, — Вуколов невольно понизил голос. — И тут все особенное. В самом деле! Эта гора могла бы стать троном бога или сатаны, но, к счастью, мы вышли из детского возраста. Мы поднялись на самую большую из доступных нам вершин солнечной системы, вот и все. Радуйся, человече!

— Поднялись, рискуя всем! — нетерпеливо бросил Омрин. — Спрашивал ли ты себя, ради какой цели?

Вуколов пожал плечами, насколько это было возможно в скафандре, и откинулся, облокотясь о скалу.

— Ну, спрашивал, — ответил он нехотя. — Что дальше?

— Надо разобраться. Две главные потребности определяют поведение живых существ и самого человека. Потребность в пище, в благоприятных условиях раз, потребность в продолжении рода — два. Стоят они за нашим поступком?

— К чему эта азбука теории психогенеза? — Вуколов недоуменно поморщился. — Тоже мне — нашел место и время! Ладно, ладно, отвечу: не стоят. Доволен? Или напомнить, что, кроме этих базисных потребностей...

— ...Есть и другие! Для тех, кто ведет коллективный образ жизни, вне сообщества — лишь прозябание и смерть. Но и тут ясно, что не тяга к себе подобным двигала нами... Остается последняя базисная потребность. Та, без которой невозможен опыт, а следовательно, приспособление к меняющимся условиям среды.

— Вот, вот! Поздравим себя с тем, что нас привела сюда страсть к познанию, и покончим с самопокаянием. Нас ждут го-оры!

Омрин возбужденно фыркнул.

— Веришь ли ты сам в то, что говоришь? Страсть к познанию! С орбиты можно рассмотреть, исчислить любую

песчинку, а много ли увидишь отсюда? Там, на спутниках, стационарные лаборатории, а что у нас? Какой анализ нельзя провести оттуда? Какое наблюдение обязательно требует присутствия человека здесь?

— Ладно, ладно, — томясь ненужностью всего этого глубокомыслия, проворчал Вуколов. — Согласен, что наш поступок — блажь. Или, если уж на то пошло, для самооправдания, — атавизм: непременно все надо потрогать руками. Даже если они в перчатках. Ну и что? Блажь так блажь, не единым хлебом да познанием жив человек. И нечего искать глубокую причину, тут и без нее прекрасно.

— А ведь хочется найти причину-то?

— Вот пристал! — окончательно рассердился Вуколов. — Да ты взгляни, — он протянул руку. — Ведь мы первые видим это! Какое молчание во всем... Космический сон планеты. Хребты у наших ног точно спины древних чудовищ. Время попировало, смотри, как они обглоданы! Нет, этого словами не выразишь. Художник, поэт нужен! А ты пристал с анализом. Что, как, отчего... Нет тут никакой проблемы.

— Проблема есть, — глухо отозвался Омрин. — И тебе, милый друг, она тоже не дает покоя. Блажь, ради которой рискуют жизнью? Шальной порыв, удовлетворение которого дает такое счастье? Чепуха! Природа расчетлива: радость, как и горе, служит целям выживания, и стоит в них покопаться, как наружу выйдет потребность, исток которой тянется к эволюционным глубинам жизни.

— Пятая базисная потребность — очертя голову, лезть в горы? — едко, уже не скрывая раздражения, бросил Вуколов. — Какая досада, что науке известны только четыре! Мы можем сделать большое-большое открытие, доказав пятую.

— За доказательством я и шел сюда.

Это было сказано так, что Вуколов, отпрянув, уставился на своего приятеля. Всегда тихого Омрина было не узнать. Он вырос как будто, заполонил собой пространство. Сверху на Вуколова глядело темное, страстное, неузнаваемое лицо

фанатика или провидца. "Полно, — с изумлением, почти испугом качнулся Вуколов. — Тот ли это человек?"

— Есть пятая могучая потребность, — прогремело сверху. — Она существует, есть. Я не надеялся найти здесь такое подтверждение и все-таки шел сюда с этой мечтой...

Омрин перевел дыхание. Вуколов смотрел на него как завороженный.

— Слушай! Дерево растет, пока держат корни, рыба стремится заполнить океаны икрой, человек жадно вглядывается в недостижимые дали галактик. Все стремится к пределу и за предел! Рост дерева часто опережает устойчивость корня, рыба гибнет на порогах, чтобы отметать икру, человек сам, по доброй воле надламывает себя работой. Жертвенно, глупо, противоречит инстинкту самосохранения, наконец! И почему, почему эволюция, которая безжалостно отметает лишнее, допустила такое расточительство, не умерила, не отрегулировала порыв? Да потому, что это рационально, выгодно для существования вида. Малые усилия — малый выигрыш, и уж на лезвии, — а жизнь балансирует на лезвии! — так вовсе проигрыш. Не-е-ет! Полное напряжение и полная отдача — вот залог и резерв процветания. За это, за отдачу на пределе, за переход через предел нам и дается блаженство. Все стремится осуществить себя, реализовать свою функцию, вот это-то и создает неукротимый, причудливый, даже беспощадный в своих всплесках, напор жизни! Такие уж правила игры, что не посидишь сложа руки; тут закон! — и нарушение его для нашего брата в лучшем случае карается скукой, от которой и свет немил... А горы, что ж, частный случай, хотя и яркий. Выход за пределы в его, так сказать, чистом виде. Так-то!

"Вот так Омрин!" — мысленно выдохнул Вуколов, переживая и облегчение при звуках вполне здравой речи, и вызванное ею недоумение, и невольный подъем, заразительным источником которого был Омрин.

— Интересно! — воскликнул он искренне. И сразу, повинуясь осторожности, добавил: — Только исключений здесь, пожалуй, больше, чем правил...

— А как же! — чему-то обрадовался Омрин. — Потребность в продолжении рода и то не всем свойственна. Тоже входит в правила. Однородная, одинаковая масса инертна, непластична, а условия-то меняются! Сегодня важнее то, завтра это, тут в миллионах большое разнообразие должно быть. Иначе...

Омрин сделал жест, каким римляне посылали гладиатора на смерть.

— Уф! — шумно, словно освобождаясь от тяжести наваждения, вздохнул Вуколов. Новый образ человека, которого он так давно знал, тревожил его и притягивал, ибо он не знал, как к нему теперь относиться. — Стройная гипотеза, но сомнительная. Впрочем, ты что-то говорил о доказательствах. Здесь?

— Именно здесь.

— Ну-у... Что-то я их не замечаю. Фобос взошел на горизонте — вижу. Такой симпатичный опаловый серпик... — Вуколов на ощупь искал верный тон. — Тень в кратере сместилась, теперь там блестит что-то желтое, сера, должно быть. А жизни здесь нет. И быть не может. Разве что мы с тобой? А больше никаких доказательств. Пошутил, а?

— Нет! — Омрин торжествующе рассмеялся. — Снега Олимпа! Не мы первые, и до нас тут была жизнь.

— Где?!

— А ты вглядись, поищи, как я искал.

Чужое возбуждение снова передалось Вуколову. Он встал. Его настороженный недоверчивый взгляд перебегал от кручи к круче, замирал, устремляясь то в ослепительные, то в черные бездны, но встречал лишь залитый солнцем хаос, величественную панораму скал, камень, который со дня своего вулканического зарождения был мертв окончательно и навсегда. Грозной и прекрасной неподвижностью веяло отовсюду, ибо даже в самые неистовые бури, когда

воздух Марса обращается в смерч, вершина Никс Олимпика безмятежно парит над клокочущей мглой песка.

— Здесь нет ничего.

— Не там смотришь, — коротко сказал Омрин. — Не там и не так.

— А как?

— Сначала видит мысль, уж потом глаз. На Марсе тысячи непокоренных гор, а нас потянуло на самую высокую. Почему? Потому что она самая высокая! Но если потребность осуществить себя привела нас именно сюда, то она могла привести сюда и кого—то другого. Можешь ты представить иных, но лишенных хоть одной базовой потребности разумных существ?

— Но послушай!..

— Нет, ты ответь.

— Хорошо. В бесконечной вселенной...

— Оставь бесконечность в покое! Законы природы общи для всей Галактики. Разумные существа могут есть не хлеб, а камень, дышать не воздухом, а огнем, быть не из белка, а из хрусталя, но они должны питаться, размножаться, жить в обществе, изучать мир и стремиться к недостижимому. Значит, если кто-то, когда-то пересек межзвездные расстояния, он, располагая временем, мог захотеть подняться на высочайшую — никакую другую! — вершину солнечной системы. Просто чтобы постоять на ней.

— Какое дикое допущение!

— Мы, однако же, здесь. И лазерный резак мы прихватили не только затем, чтобы вырубать ступени. Кстати сказать, для росписи любой из нас выбрал бы скалу в самой высокой точке. Так?

— Так, — машинально подтвердил Вуколов.

— Тогда зайди за выступ скалы и посмотри, что у тебя над головой.

Вуколов поднялся, сделал на внезапно ослабевших ногах несколько шагов, вгляделся и вдруг зажмурился, как от ослепительной вспышки. Но и в потрясенной тьме сознания



продолжали гореть письмена, врезанные в скалу задолго до того, как человек поднялся на первую свою гору.

Конечно, Радунский имел представление о Шаре, но действительность оказалась несколько иной. Цокая магнитными подковками и озираясь, журналист прошел от шлюзовой камеры к узкому, как столик для рукоделия, пульту. Позади бесшумно следовал Корк. Сферические стены сияли стерильной белизной. Над пультом змеилась коричневая вязь мнемографиков. Еще тут было несколько переключателей, видеорам, табло интегратора, экранчик оптрона. И это все! И это на диспетчерском пункте самой грандиозной космической машины!

— Разочарованы? — скрипуче осведомился Корк. Его морщинистые веки затрепетали. — Никак не могу этого понять. Ничто так не поражает и ничто так не свидетельствует о техническом примитивизме, как внешняя сложность конструкции. Необъяснимо! Возьмем человека. Глаза, уши, нос — вот и все основные выходы самого совершенного творения — мозга. В конструкции Магнитного Мешка мы, наконец, приблизились к идеалу, а вас эта простота обескураживает. Так?

— Пожалуй! — согласился Радунский. — Хотя... Самое удачное изделие человека, потому что никакие тысячелетия прогресса не смогли его улучшить, — это ложка. Но кого может поразить ее совершенство? Внимание, очевидно, не зря привлекает то, что обещает развитие.

Мигнув, Корк уставился на журналиста, будто не успел его разглядеть. Головой он едва доставал до плеча Радунского.

— Знаете, а это не банально, — проговорил он протяжно. — Весьма. Садитесь, время пока есть.

— Крохотный вопрос. Видеорамы — это все, что у вас есть для наблюдений?

— Нет, почему же...

Нагнувшись над пультом, Корк тронул переключатель. Вихрем растаяли стены. Кресла, пульт будто вынесло в

бездну. Рывком подступили звезды целый сонм. Радунский ухватился за подлокотники, сжал их, цепенея. Пришвартованный бот — его овал маячил тенью — загораживал Солнце, и миллионы звезд горели во тьме — переливчатые, холодные, редкие атомы света среди выжженного мрака, в котором одиноко искрился клуб Млечного Пути и туманились блеклые пятнышки дальних галактик.



Да, находиться вот так среди звезд было совсем не то, что наблюдать их в иллюминатор.

— Земля? — дымящимся кончиком сигареты Радунский указал на ярко-голубую звездочку.

— Вега. Земля там. А вот Марс, Юпитер, Сатурн.

— Вся солнечная система у нас под ногами, — прошептал Радунский.

Он посмотрел вниз.

— Не странно ли? Восседаем в кресле, как боги на облачке...

— Не увлекайтесь слишком — голова закружится, так бывает.

— А Магнитный Мешок? Он здесь? Там? Вокруг?

— Конечно. Он здесь... всюду. — Корк сделал неопределенный жест.

Радунский в который раз попытался наглядно представить Магнитный Мешок и, конечно, не смог. Слишком все это было непохоже. Ни на что не похоже. Одним фактом своего существования Магнитный Мешок опровергал, когда-то незыблемые представления о назначении и виде машин. Многие столетия любой инженерный замысел привязывался к металлу. Лишь с середины XX века стали появляться детали, которых нельзя было увидеть и пощупать, как невозможно рассмотреть или потрогать бег электронного луча в кинескопе. Но еще долго основой всякой конструкции оставалось земное — твердое, жидкое или газообразное, с колыбели знакомое и привычное вещество.

Только космос раскрыл глаза на его безмерную редкость. На то, что все могучие процессы вселенной имеют совсем иную материальную основу и невозможно идти вперед, опираясь лишь на земной опыт. Так главным стало невидимое и неощутимое состояние материи. Внешне мало что изменилось в солнечной системе, но руда с астероидов заскользила по гравитационным рельсам, планеты связали электромагнитные шоссе, энергия Солнца потекла к Земле в незримых лучах, а бесплотные машины физиков

размахнулись на миллионы километров. Сказка о платье короля, которое якобы мог увидеть лишь умница, неожиданно приобрела второй, не предусмотренный авторами смысл.

Но Магнитный Мешок удивлял и ко всему привычных современников. Все в нем было "не таким", начиная с названия. Во-первых, магнитное поле играло в нем отнюдь не главную роль, и слово "магнитный" пристало к нему оттого, что оно было самым привычным. Во-вторых, это был не столько мешок, сколько "одежда", "броня". И уж если совсем точно — машина. Машина диаметром во много сотен миллионов километров; машина, сама устанавливающая свои границы; машина, в чреве которой находились и Земля, и Марс, и Венера; машина, имевшая лишь одну крупную твердую деталь — Шар. И то лишь потому, что в нем иногда должен находиться человек.

— Такое ощущение, — проговорил Радунский, — что стоит лишь оттолкнуться, как тебя унесет в другую галактику. Скажите, если позволяет время, что было главной трудностью при конструировании Мешка?

Корк ответил не сразу. Он, сгорбившись, сидел в кресле, маленький, сухонький, нависал над вселенной, буравя ее взглядом запавших глаз. "Сколько же ему лет? — спохватился Радунский. — Много... И, о чем он думает у порога события, ради которого столько лет трудился, вот что интересней всего. Не спросишь, неловко. И не ответит, все личное, так говорят, давно им отброшено. Инженерный аскет, воплощение мысли, неистовый труженик — один из многих... Как об этом напишешь?"

— Все было непросто, — Корк потер ладонь о ладонь. — А самым трудным было вовсе не конструирование. Преодоление последствий конструирования. Вот что.

Радунский кивнул. Он понял, что хотел сказать Корк. Когда-то единственной задачей инженера был сам акт создания машины. Установки. Энергостанции. Корабля. Затем в проектах стала появляться графа: расчет последствий. Инженеры медленно и с трудом привыкали к простой и вроде

бы очевидной мысли, что любое творение их ума меняет мир. Как от камня, брошенного в воду, от него расходятся широкие круги последствий. О чем думали создатели первых автомобилей? О чем угодно, только не об удушающем смоге, не о пробках на улицах, дающих пешеходу преимущество перед стосильной машиной. Но эти последствия сказались лишь через полвека. У более поздних поколений инженеров такого разрыва во времени уже не оставалось. Выдумать новую машину, сдвинуть гору, перегородить реку оказалось куда проще, чем оценить последствия такого поступка, и расчет производных того или иного инженерного замысла мало-помалу стал главной работой.

Однако Радунский, видя настроение собеседника, промолчал.

— О да, это была проблемка... — Корк вздохнул, и в этом вздохе было все: сожаление о невозвратимых днях, гордость создателя, может быть, глубоко скрытое беспокойство перед решающим испытанием. — Ведь с последствий все и началось. Когда были рассчитаны производные от создания фотонных ракет, то первое из них ставило крест на всей этой затее с полетом к иным звездным мирам. Вам это, само собой, известно...

— Тяговый луч звездолета должен был светить, как солнце, только в диапазоне гамма-лучей. А это означало бы гибель на Земле всего живого. Так?

— А силу излучения нельзя было уменьшить, иначе бы не хватило тяги. Тогда и возник проект Мешка. Чтобы погасить волну, надо поставить волнолом. То же и с последствиями. Мешок отлично защищал солнечную систему от радиации звездолета. Но одновременно он экранировал все гамма—источники вселенной, против чего возражали астрономы, вносил помехи в работу межпланетных полей, что и вовсе никого не устраивало. Пришлось Мешок проектировать так, чтобы он включался только при запуске фотонного двигателя. Понимаете, к чему ведет это второе производное?

— Не совсем.

— К третьей производной. Отладить инертную конструкцию Мешка можно только в длительной серии испытаний, а их-то как раз и нельзя было производить без риска расстроить структуру межпланетного вакуума. Оставалось единственное — снабдить Мешок "разумом", который в момент включения сам настроил бы конструкцию на оптимальный режим.

— Задать ему "свободу воли"...

— Это и есть третья производная! Погасить ее могло лишь жесткое ограничение: любое действие Мешка, любое его самоусовершенствование возможно и осуществимо, если оно направлено на заботу о человечестве, человеке и его материальных ценностях.

— Мешок в роли няньки — трудное условие.

— Это, знаете ли, была задачка! — Корк оживился, даже черты лица его смягчились. — Тысячи раз казалось, что это невозможно. Что это выше человеческих сил. Что выхода нет и надо расстаться с мечтой о звездах. И все же вот! Мешок создан, путь к звездам открыт. О чем только пишут ваши коллеги, не понимаю. Ах, какая невероятно сложная машина! Ах, как замечательно она самопитается от Солнца! Ах, какая она огромная! Все это сущие пустяки. Созидать и кораллы умеют. Масштабней, чем мы, кстати, ибо воздвигнутые этими крошками архипелаги относительно куда грандиозней всех наших построек. В этом ли отличие людей от кораллов? Вот о чем никто не пишет.

— Ошибаетесь. Пишут о людях, которые строят.

— Тоже неверный подход. Превозносят личность, а на деле все творит коллективная мысль, чего литература упорно не замечает.

— Потому что она не равняет человека с кораллом.

— Простите, не понял.

— Строя, кораллы возвышают остров, в котором живут, и только. Человек, строя, возвышает сам себя, улучшает не только внешний, но и внутренний свой, духовный мир. Без этого его функция та же, что и у коралла.

Корк задумался, неподвижно глядя перед собой. Молчал и Радунский. Бежали минуты, неощутимые в неподвижном свете звезд, который был миллиарды лет назад и будет миллиарды лет после, — такой же равнодушный среди черной вечности мира.

Близилось время. По-домашнему, мягко пропел сигнал. Корк выпрямился, тряхнул головой, будто освобождаясь от ненужных мыслей. В глазах застыл повелительный холодок. Руки проворно легли на пульт. Резкие черты лица застыли, как в бронзе.

В матовой глубине экрана заскользили какие—то недоступные пониманию Радунского символы. Он искоса глянул на Корка: жесток, замкнут — не подступись! А, ладно...

— Началось?

— Помолчите.

Рогатые загогулины знаков теснились, как солдаты при штурме. "Мешок докладывает, — догадался Радунский. — А что же Корк?.. Чем он управляет, если Мешок все делает сам?"

Ответа не было "Да! Нет. Включилось! Ноль-фаза. Готово. Есть!" кому-то отрывисто говорил Корк. Его цепкие пальцы лежали на переключателях, словно сдерживая напрягшуюся узду. Радунский поспешно огляделся. Звезды горели по-прежнему. Но где-то в необъятной пустоте — он это чувствовал творились последние приготовления. Где-то напрягались бесплотные мускулы сверхмашины, неслись тайные команды, некое подобие мысли пронизывало вакуум. И все оставалось скрытым, зашифрованным для простого человеческого понимания.

Обострившееся лицо. Корка было суровым вот так, когда-то инженер застывал под мостом, который строил, чтобы пропустить над головой первый тяжело громыхающий поезд.

— Когда же, наконец, стартует "Фотон"? — вырвалось у Радунского.

— Уже стартовал, — не разжимая губ, ответил Корк. Сейчас дойдет свет.

Над плоскостью эклиптики полыхнула белая, до рези в глазах ослепительная вспышка.

Но это длилось мгновение. Словно взмах огненной руки очертил вселенную. Не стало тьмы, не стало звезд, всюду простерлось радужное, в переливчатых кольцах небывалое и прекрасное небо.

— Вот он, Мешок... — прошептал Корк.

Он сидел, устало полузакрыв веки, быть может, тихо ликуя, как человек, сделавший последнее главное дело, и чуточку грустный оттого, что другой такой минуты свершения уже никогда не будет.

Над ними пламенела вселенная, и блеск луча звездолета был в ней как сияющий алмаз. "Вот мы какие, — суматошно билось в мозгу Радунского, — вот мы какие..."

Он искал подходящих слов, но, прежде чем он их нашел, в глаза ударил мрак, такой внезапный и черный, что Радунский, вскрикнув, зажмурился.

— "Фотон"! "Фотон"! — резкий, фальцетом голос Корка обдал смятением. — Почему прекратили старт?!

Ответа быть не могло, пока слова не пробегут путь в сотни миллионов километров. Радунский в ужасе открыл глаза. Дважды растерянно моргнул.

Все было обычным. Как всегда, бестрепетно горели звезды, проколотый их лучами мрак был спокоен и глух. Радунский, не веря себе, метнул взгляд в сторону Земли кроткая голубая звездочка сияла безмятежно.

— Сядьте и успокойтесь! — звенящий голос Корка приковал его к креслу. — Чего вы мечетесь? Раз Мешок выключился, значит, так надо.

— Но этот внезапный мрак!..

— Мрак! Простая физиологическая реакция глаз после яркого света. Сейчас все узнаем, надо ждать.

Корк стиснул рукой подбородок. Радунский отвел взгляд от его потемневшего лица. Больше не решаясь спрашивать,

он молил минуты идти быстрее, так невыносим был тяжкий, впившийся в экран взгляд Корка.

— Говорит "Фотон", — плеснулось из динамика. — Что у вас там происходит?! Мешок не дает нам стартовать! Его поле вырубило у нас луч!

Корк, будто защищаясь, поднял к лицу ладонь. Медленно опустил руку, глядя на заскользившие по экрану символы.

— Все, — сказал он глухо. — Четвертая производная.

— Какая?! — в ужасе подскочил Корк. — Неужели...

— Нет, безопасность соблюдена, — голос Корка был деревянным. — Даже слишком.

— Как — слишком?!

— Мешок призван максимально заботиться о безопасности человечества и человека. Что он и сделал. Неужели непонятно?! Межзвездные полеты опасны, трижды опасны для экипажа. И Мешок в полном соответствии с программой их запретил. Как нянька, ухватил нас за рубашонку, чтобы мы не убегали из дому.

— Да как же так... — растерянно и облегченно, стыдясь своей радости и страдая за Корка, пробормотал Радунский. Слушайте! Но ведь ничего не потеряно! Стоит изменить программу Мешка, исключить заботу о безопасности отдельного человека и...

Он запнулся. Можно ли обеспечить безопасность человечества, не заботясь о безопасности каждого отдельного человека!

— Ага! — с внезапным и мрачным торжеством проговорил Корк. — Теперь поняли, каким трудом дается прогресс?

Он встал, возвышаясь, глянул на притихшего Радунского, который с изумлением смотрел на его решительное, даже помолодевшее лицо готового ко всему бойца.

— Чему удивляетесь? — губы Корка тронула усмешка. — От неудач мы только крепчаем. Четвертая производная, так четвертая, и ее одолеем. Вы еще увидите небо в фотонных

алмазах, увидите! В конце концов это обычная инженерная задача...

— Прошу, — широким жестом пригласил Юрков. — Выбирайте.

— Здесь? — мешковато вылезая из реалета, переспросил Смолин.

— Если вам нравится.

Крапчатые глаза Юркова смотрели враскос, безучастно, однако в них плескалось затаенное озорство. Хмыкнув, Смолин огляделся.

Трава на лугу пестрела таким ярким узором соцветий, что их хотелось прижать к груди. Редкие березы бросали прозрачную и зыбкую тень. С трех сторон подступал лес, с четвертой открывалась река, голубели дали предгорья. Яркие снежники вершин бросали на все чистый, как в поднебесье, отсвет.

Смолин широко вздохнул.

— Тут славно...

— Тогда приступим, — деловито оказал Юрков.

Его поджарая фигура перегнулась через борт реалета. Он вытянул из-под сиденья увесистую сумку, извлек скупо блеснувший кристалл и протянул его Смолину. Форма полупрозрачного кристалла смутно напомнила Смолину хрустальное, с гранями на боках яйцо, которым он забавлялся в детстве. Только это яйцо гораздо превосходило размерами ту старинную безделушку.

— Да, немного великовато. — Юрков перехватил взгляд. — Обычное свойство экспериментальных образцов, ничего не поделаешь. Держите!

"Яйцо" оказалось неожиданно легким. Смолин неловко прижал его к груди. На ощупь оно было теплым и, несмотря на твердость, упругим. При повороте граней в его зеленоватой глубине мутно перекатывались неясные волны и вспыхивали точки фиолетовых огоньков.

— Странный у него вид, — пробормотал Смолин.

— Еще бы, — Юрков усмехнулся. — Действуйте.

— Как?

— Очень просто. Выбирайте площадку. Где угодно. Неровности почвы, слабый уклон — неважно. Станьте там, где, по вашему мнению, должен быть дом. Следите только, чтобы до ближайшего дерева или куста было метров десять. Все!

Смолин сделал несколько неуверенных шагов.

— Может быть, здесь? — спросил он, озираясь.

— Прекрасно! Бросайте яйцо.

— Прямо так?

— Конечно.

— Жаль портить такое место...

— Оно не будет испорчено. Бросайте.

Смолин осторожно опустил кристалл на землю. Светлый край облака, ослепительно просияв, коснулся солнца. Луг потемнел.

— Теперь отходите.

Все из той же сумки Юрков извлек вороненую трубку с призматическим рефлектором на конце. Отступая к реалету, размотал витой шнур.

— Дальше, дальше, иначе собьет.

— Что?

— Сейчас тут будет немного ветрено. Браслет снимите — может испортиться. — Юрков отстегнул свой наручный видеофон и кинул его на сиденье реалета. — Кладите свой туда же, там он будет заэкранирован. Вот так, порядок. Начнем!

Перегнувшись через крыло, Юрков подключил шнур и, отступив от реалета на шаг, небрежно повел трубкой в сторону кристалла. В ней что-то зажужжало. Рука Юркова замерла.

Ничего не произошло. Сухо трещали кузнечики, зеленоватый овал кристалла мирно покоился среди ромашек. Он потускнел в траве и казался теперь обыкновенным булыжником, если бы не правильные затесы граней.



Затем что-то изменилось. Оболочка кристалла затуманилась, как при быстром вращении. То, что мгновение назад было камнем, оплавилось, потекло, вспухло рыжеющим сгустком.

— Ага, — сказал Юрков. — Видите?

Сгусток, расплываясь и ширясь, принимал грибовидную форму. В нем бешено и безмолвно крутились дымные струи. Все это походило на атомный, в миниатюре, взрыв. Только бесшумный и без огненного в сердцевине всплеска.

В спину ударил тугой ветер, согнул вершины ближних берез, рокотом пронесся по опушке. Смолин пошире расставил ноги. Ветер мчал сухие листья, сор, былинки, они бесследно исчезали в темном грибообразном вихре.

— Давайте присядем, — предложил Юрков. — Все это не так скоро.

Он сел, не опуская трубку излучателя.

— Джинн, а?

— Что?! — прокричал Смолин.

— Я говорю: джинн! Когда он вылезает из бутылки. Непохоже?

Нет, теперь это было непохоже. Теперь над лугом, опираясь на тонкую ножку, висела коричневатая масса. Она клубилась, постепенно становясь угловатой. В ней проступали желтые и красноватые, быстро меняющиеся пятна. Воздух дрожал, преломляя очертания склоненных деревьев.

От массы отделились четыре отростка, дружно коснулись земли: взвился дымок.

— Корневая фаза, — прокомментировал Юрков. — Воздух предоставляет нашему детищу азот, кислород, углерод. Прочие нужные материалы оно, как и подобает добропорядочному растению, берет из земли. А мой излучатель играет роль солнца. Правда, загорать под таким солнцем я бы не посоветовал... Так, вот уже сегментарная фаза!

Ветер немного утих. Метрах в полутора от земли бесформенная масса образовала гладкое днище с пятью уходящими в почву опорами — четыре по углам, пятая, более толстая, оказалась точно в центре. Трава вокруг нее заиндевела. Сама масса заняла солидный объем пространства. Она явственно стекленела, хотя внутреннее кипение не стихало. Наметилась полусфера одна, другая, третья. Быстро, как в калейдоскопе, менялся узор поверхности. Внутри угадывался объем каких—то форм. Они то проступали наружу, то, сминаясь, уходили вглубь. Одна из полусфер вдруг протаяла. Словно кто взмахнул резцом — теперь это была стена, а в ней самое натуральное, прозрачное, слегка выпуклое окно.

Ветер окончательно стих. Дом продолжал формироваться. Казалось, его изнутри лепят чьи—то проворные пальцы. В полной тишине — лишь поодаль пиликнул осмелевший кузнечик — текли минуты. Юрков давно опустил излучатель и, рассеянно глядя по сторонам, жевал травинку.

Облако наконец сползло с солнца, и первый яркий луч отразился в хрустальных парусах окон, затеплил изогнутые стены, оттушевал тени, словно положив всюду последний аккуратный мазок.

— Вот так! — Юрков глянул на часы. — И всего за семнадцать с половиной минут. Поздравляю вас с новым жилищем!

— Да-а... — протянул Смолин. Вздернув подбородок, он озирал дом. Эмбриотехника, как погляжу, здорово шагнула вперед. Какая быстрота и четкость!

— Стараемся, — Юрков сдержанно улыбнулся. — Впрочем, главное тут не скорость. Вообще классическая эмбриотехника — уже пройденный этап.

— Пройденный?

— Ну, основной принцип, конечно, тот же, — снисходительно разъяснил Юрков. — Делать все, как природа, делать лучше, чем природа. Совпадают и основные приемы строительства. Зародыш, семя, клетка, в которой заложена вся генетическая программа развития организма, как в желуде скрыт будущий дуб. Питание, рост за счет, так сказать, местных материалов — воздуха, земли, воды, энергии солнца... Излучателя, то есть, но это несущественно. Словом, аналогия полная, кроме скорости — она в миллионы раз больше. Человек убыстряет все, к чему прикасается, разве не так?

— Все, значит, и себя тоже? — Смолин недоверчиво покачал головой. Однако вы не ответили на мой вопрос.

— Терпение, терпение. Вы не только услышите, вы увидите ответ.

— Увижу?

— Вот как этот дом.

— Тогда почему бы не сделать это сейчас?

— Во-первых, я должен сначала показать вам дом, а мы не можем переступить порог, пока там не установится термодинамическое равновесие. Во-вторых, мои предки не иначе были коробейниками — люблю щегольнуть товаром!

— Товаром? Давно я не слышал этого архаизма.

— Верно! Все же от того, придется ли вам эта хижина по душе, кое—что зависит. Так что сравнение, поверьте, не столь уж нелепо.

— Долго вы будете говорить загадками?

— Сначала уточним главное. Обожаю последовательность! Вы хотели уединенно пожить и поработать в красивой местности. Так? Так. Место вы одобрили, жилище — вот. Нравится?

Смолин кивнул. Домик походил на изящную осененную березами раковину. Хотя он был приподнят над землей и опоры выглядели хлипкими, впечатления неустойчивости не возникало. Чем это достигалось, Смолин понять не мог. Не лесенкой же, которая спускалась от входной двери. Очевидно, все дело было в пропорциях.

Вычурным дом тоже не был. Он славно вписывался в пейзаж. В нем была естественность творения природы. Да, его создатели умели работать с размахом и вкусом.

— Неловко как-то, — пробормотал Смолин. — Такое — и ради одного человека. То есть, я понимаю, дом построен не только для меня, уеду — в нем будут жить другие люди. Но... Это что такое?!

Подполье дома внезапно озарилось мягким рассеянным светом.

— Идемте!

Подхватив сумку, Юрков зарысил к дому.

— Этот свет, — бросил он на ходу, — означает, что дом готов принять хозяев. Кстати, вы опасались, что строительство повредит луг. Загляните под пол.

Смолин нагнулся. Вся плоскость пола излучала теплый, солнечного оттенка свет. Под домом и вокруг него радужными капельками поблескивала густая роса. Если не считать этого, трава всюду была прежней, лишь центральную опору опоясывала жухлая кайма.

— Она и там оправится, — махнул рукой Юрков. — Согласитесь, что наш домик ничуть не вредит природе.

— Так, значит, этот свет возмещает затененной траве...

— Совершенно, верно. Входите, входите! Надо представить вас дому.

— Это в каком смысле?

— Ну, познакомить, не ловите меня на слове. Как—никак это не просто стены, крыша и все такое прочее. Перед вами, если угодно, квазисущество. Росло, питалось, дышит — живет в некотором роде.

— Живет?

— Ладно, ладно — функционирует. Тут и философ запутается. Ноги, кстати, можно не вытирать, какими бы грязными подошвы ни были. Лестница всосет.

— Принцип перистальтики?

— Разумеется.

Подошвы слегка присасывались к ступеням. Смолин нажал сильней. Рант ботинка ушел в пористый, податливый материал.

— Не ново...

— А лишняя новизна нам ни к чему. Ее и без того хватит, ручаюсь.

В прихожей Юрков задержался.

— Последняя операция, минуточку... Видите этот красный круг на стене? Защелка здесь. Отводим заслонку. Тут гнездо для энергобатареи. Берем ее...

Он достал из сумки рифленый цилиндр, снял с торца колпачок. Открылись сизые бляшки контактов.

— Вот! Крепим батарею в гнездо — следите! — так, встала... Порядок! На месяц, а то и больше дом обеспечен энергией. Срок службы без подзарядки зависит от ваших потребностей и состояния неба. Совершенно верно: дом аккумулирует солнечный свет, не пропадать же ему зря... Еще на первых порах дом располагает запасом активационной энергии, которую он накопил во время строительства. Но это сущий пустяк, как, впрочем, и свет солнца. Подлинное сердце дома — здесь! Осмотрим помещения. Прошу.

Комнат оказалось две — поменьше для кабинета, побольше для спальни. В окна, мягко отражаясь от янтарных

скосов стен, било солнце. Отсвет, как в чаше, собирался в кремовых вогнутостях потолка. В спальне на огромном экране стерео покачивалась тень берез.

И больше в комнатах ничего не было. Смолин приподнял брови.

— Мыслемебель?

— Она самая.

Юрков изящно взмахнул рукой. Пол колыхнулся, выгнулся горбом, образовал спинку, подлокотники. Юрков, не глядя, опустился в уже сформировавшееся кресло.

— Чем плохо?

Смолин пожал плечами.

— Я не говорю, что плохо. Просто я не понимаю этой новой моды. Чем мысленно всякий раз строить образ стола, кровати, стула, придумывать для их овеществления все более сложную рецепторику, куда проще, по-моему, взять и поставить обычную мебель. Экономим на мышечных усилиях и утруждаем мозг.

— Вы преувеличиваете. — Юрков мгновенно переделал кресло в качалку и откинулся в ней. — Не так это сложно и трудно. Или лучше тащить обстановку с собой? Два переезда равны одному пожару, как говаривали в старину. Кстати, вы не находите этот свет чересчур резким? Штор мы с собой не захватили, но...

Юрков капризно прищурился. Хрусталь окон, оставаясь прозрачным, потемнел, и в комнатах установился приятный рассеянный свет.

— Тонкая работа, — с уважением оказал Смолин.

— Это что! — У вскочившего Юркова был вид фокусника, в рукаве которого трепыхается голубь. — Подойдите, здесь в крае окна заметна толщина стеклобиолита. Лепесток, верно? Ударь посильней... А если дети? Расшалится парень, разбегается, споткнется... Как-никак метра два высоты падения. Воспроизведем ситуацию! Масса у меня побольше, чем у ребенка, я разбегаюсь... Не за мной, за окном следите! Раз, два...

Юрков ринулся. Биолит окна был столь прозрачен и тонок, что, казалось, Юрков должен был вылететь, как пушечное ядро. Смолин невольно качнулся ему наперехват. И напрасно. Стена точно моргнула; окно сузилось, утолщилось, наплыв биолита отразил Юркова, как мячик.

Смолин ахнул. Окно медленно протаяло, все обрело прежний вид.

— Таким вот образом, — потирая плечо, сказал Юрков. — Динамика!

— Проще было бы сделать биолит потолще, — растерянно проговорил Смолин.

— Это еще вопрос, это еще вопрос, — Юрков чуть усмехнулся. — О, вы еще не представляете, каков наш дом! Ладно, продолжим осмотр. Здесь кухня, здесь ванная, здесь туалет... Все в стандартном исполнении. Точнее, квазистандартном, но не стоит задерживаться, ничего интересного... Воду, между прочим, подает сам дом; как бы глубоко ни лежал водоносный горизонт, центровая опора дотянется до него не хуже, чем древесный корень. Здесь сауна... Здесь, здесь...

Юрков тараторил, это мешало Смолину хотя бы немного свыкнуться с домом. Волочась за Юрковым, он лишь рассеянно кивал в ответ.

— Не ощущаете ли вы какого-нибудь запаха? Спертости?

— Что? Нет, воздух свежий.

— Лесной, обратите внимание, во всех помещениях свежий лесной воздух! Это при том, что в доме непрерывно идут реакции обмена. Даже кирпич пахнет, а уж живое вещество... Но попробуйте-ка отыскать вентиляцию. Или найти, где-нибудь щелочку. Глухо! Везде полная герметичность. Нет вентиляции в обычном смысле этого слова, нет никаких отдушин, нет сквозняков, а воздух прекрасный. Видели вы что-нибудь подобное?

— Сознаюсь, нет.

— Догадываетесь, как это устроено?

Смолин покачал головой.

— Это все дом, — Юрков благоговейно понизил голос. — Дышат, вентилируют окна. Миллиарды невидимых устьиц, и без ущерба для прозрачности — каково? Вот почему мембрана такая тонкая. Все рассчитано, и как рассчитано! Когда—то дом называли "машиной для жилья". Лучше было бы назвать его консервной банкой... Тут все иное. Функционально наш дом — организм. Как всякий организм, он стремится поддерживать внутри себя некий оптимум среды. Принцип гомеостата! Но... Есть одно главное, важнейшее отличие. Оптимум для него — мы с вами. Мы его задаем. Мы!

Юрков многозначительно поднял палец. Его глаза сияли восторгом, и, конечно, следовало восхититься, изумленно выдавить из себя что—то, но Смолин почему—то не мог и этого.

— Интересно, — сказал он отрывисто. — Мы оптимум дома. Это как понимать?

— Но это же ясно! — потрясение вскричал Юрков. — Ни один дом не способен самоподдерживаться, тем более охранять человека. Только наш дом может беречь себя, как это было с окном, и беречь человека. Растение, реакции которого ускорены в миллион раз! Пусть налетает буря, землетрясение, приходит Аттила с пушками — можете спать спокойно...

— Виноват! У Аттилы не было пушек.

— Не все ли равно? Важно, что дом пустит добавочные корни, мгновенно упрочит стены, словом, приспособится. Так, верю, было бы и в природе, если бы не скудный лимит энергии. Ну а мы этим не связаны.

— Что ж, прекрасное жилище для бурных планет...

— Идеальное, идеальное! Ведь главное отличие нашего дома от всех творений природы и техники вот в чем. Растение существует ради самого себя. Машина целиком принадлежит нам, но это, увы, инертное физическое тело. Мы скрестили оба типа эволюции, взяв достоинства обеих и устранив недостатки. Вся основная программа жизнедеятельности дома состоит в обеспечении человеческих нужд, как

своих собственных. Вся! Если бы у дома имелся хоть проблеск разума, он осознал бы нас, как свою наиважнейшую часть, душу, если хотите. Воздух — для нас, вода — для нас, тепло, безотказность, изменчивость тела — все, все только для нас!

— Гениально! — не выдержал Смолин. — А как насчет галушек?

— Ч-ч-чего? — Юрков поперхнулся. — Каких галушек?

— Со сметаной. Тех самых, которые прыгали Пацюку в рот. Не помните? Был, знаете, в старину такой писатель — Гоголь, он все это изобразил.

Юрков рухнул в едва успевшее развернуться под ним кресло.

— Да-а, — протянул он, задумчиво глядя на Смолина. — Что искали, то и нашли. Человека знакомят с чудом техники, а в ответ... Яркая и откровенная реакция, спасибо.

Смолин смешался.

— Извините, я, может, чересчур резко... — Он смущенно покраснел. — Не знаю, что на меня нашло... Простите! Вы так обожаете свое детище, что, конечно...

— Оно не совсем мое, к сожалению! Как техносоциолог я причастен больше к его опробованию.

— Все равно вы гордитесь, восхищаетесь домом, а я...

— Это верно.

— И он, поверьте, достоин восхищения! Это не комплимент. Как я представлю себе, что все это — стены, краны, дышащие, оберегающие себя окна, творящий мебель пол — вся эта немыслимая сложность только что была кристаллом, записью в нем, — меня берет оторопь! Да, вы превзошли природу, от всей души поздравляю.

— Спасибо. Только какая это сложность... — Юрков слабо махнул рукой. Гордишься, гордишься, а как представишь, что мы сами, наши глаза, способные плакать, неутомимое сердце, познающий вселенную мозг, все, все возникло из сгустка ничтожных молекул, было в них просто записью, кодом... Куда нам до природы! Ладно! Я не сержусь на вас,

наоборот. Но что-то вам в нашей новинке очень и очень не нравится. Что?

— Видите ли, — подбирая слова, Смолин прошелся по комнате. — Дело в том... Нет, сначала такой вопрос. Отчего вы мне — именно мне! — предложили свою экспериментальную новинку? Мои вкусы, привязанности...

— А! Ими и обусловлен выбор.

— Еще одна загадка?

— Наоборот. Я слишком долго вас поражал, заинтриговывал, чем и заслужил отповедь. Дом экспериментальный, но не в техническом смысле, тут все опробовано. Он, как вы догадываетесь, сулит переворот в образе жизни всего человечества. Поэтому заранее надо знать, кто и как его воспримет. По отношению к прогрессу всегда можно выделить тех, кто приветствует любую новинку, только потому что она новинка, и тех, кто сразу встречает новшества неприязнью. С этими малочисленными группами все ясно, об эволюционном значении таких крайностей можно прочесть в школьном учебнике. Теорией социогенеза мы не занимаемся, мы ею пользуемся. Нас интересует реакция той обширной части человечества, которая не спешит довериться новизне. Вы — типичный ее представитель.

— Весьма признателен, — сухо сказал Смолин. — Лестно услышать, что тебя считают типичным консерватором.

— Умеренным, умеренным! — Юрков тонко улыбнулся. — Разве это оскорбительное понятие? Мы не в двадцатом веке, как вы справедливо заметили. Нет, что я? Вижу, настал мой черед извиняться!

— Ну вы ловкач! — восхитился Смолин. — Сумели поставить себя в выгодное положение.

Улыбка Юркова стала еще ослепительней.

— Просто мне нужны откровенные отношения без расшаркиваний и полупоклонов. Но если вы все еще сердитесь...

— Вы мне еще напомните школьную пропись о значении балласта, который не дает кораблю перевернуться, как бы

там прогрессисты его не ускоряли! Хорошо обменялись любезностями — квиты. Я тоже за откровенные, деловые отношения. Что вам от меня надо конкретно?

— Пока — предварительная, после первого знакомства, критика дома.

— Будет, не беспокойтесь.

Смолин с натугой воздвиг себе кресло и уселся напротив Юркова.

— Не хочу останавливаться на мелочах. На окнах, которые так совершенны, что их нельзя распахнуть, хотя иногда приятно дать ветру погулять по комнате.

— Согласен, — кивнул Юрков. — Дом слишком оберегает свою целостность, это оборотная сторона его достоинств. Мы надеемся, что в перспективных моделях...

— Пустяки! А вот даете ли вы себе отчет в том, что вы сделали? Вы сняли последнюю узду с потребности человека селиться там, где ему вздумается. Прекрасно! А результат? Дома, возникающие с легкостью грибов, мигом заполнят Землю. Кроме заповедников, очень скоро не останется ни одного нетронутого уголка. Ни единого! Неужели история с автомобилями нас ничему не научила? Те хоть быстро ржавели. А миллиарды ваших домов — да легче чертополох выкорчевать! Во что мы превратим планету? Во что?

— Верно! — Юрков хлопнул себя по колену. — Всякий клочок земли стройплощадка! Это и есть ваше главное возражение? Других нет?

Смолин заколебался. Было еще что—то, вероятно, важное, какое—то ощущение, но его не удавалось выразить.

— У меня пока все, — сказал он, помедлив. — Чему вы радуетесь?

— Сейчас объясню. Миллиарды новых домов, говорите? В каждом уголке Земли? А как насчет сотен миллиардов? Триллионов? Вы убеждены, что хозяйствуете в этом доме временно, что он предназначен для всех. Ошибка! Едва мы закончим испытания, каждый человек получит возможность выращивать себе дом по вкусу. Каждый! И столько,

сколько захочет. Вот истинная перспектива. Да не смотрите на меня так! Сейчас я вам кое-что покажу. Идемте, идемте!

Бурный порыв Юркова подхватил Смолина, точно смерч, и вынес в прихожую.

— Здесь, — палец Юркова торжествующе уперся в гнездо энергобатареи, скрыта важнейшая особенность дома. Подождите возражать! В чем, я вас спрашиваю, основной недостаток строительства? Человеку нужны помещения в самых разных местах планеты, много помещений — для работы, отдыха, поездок, а жить в них одновременно он не может. Отсюда масса пустых и полупустых, необходимых от случая к случаю помещений, зряшный расход пространства и материалов. Каким, следовательно, должно быть идеальное строительство? Дом есть, когда он необходим, его нет, когда нужда в нем отпала. Мы находимся как раз в таком доме.

— Неужели вы хотите сказать...

— Да!!! Отводим заслонку — раз! Здесь, как видите, находится самый банальный выключатель. Снимаем, не трогая батарею, предохранитель — два! Нажимайте.

— И... и что же?

— Дом исчезнет.

Рука Смолина замерла на выключателе.

— А мы успеем выбежать?

— Пока человек хоть одной ногой находится в помещении, дом останется домом. Смелей! Так, правильно... Теперь — наружу. Не спешите, спешить не надо, все сработает с трехминутным замедлением, как в самой лучшей из мин. Это так, для страховки. Спокойно располагайтесь на травке и ждите.

Юрков тут же последовал своему совету, а у Смолина ноги будто одеревенели. Дом прямо на глазах стал мягчеть, оплывать, сминаться. Он таял, клубясь туманом. В дрожащем воздухе повисла бледная радуга. В лицо ударил тугой ветер, взметнулись заломленные ветви берез. Из мглы и вихря грозно пахнуло озоном.

Юрков спокойно посматривал на часы.

— Ровно шестнадцать минут. — Он встал потягиваясь. — Что скажете?

— Гениально. — Смолин растерянно озирал то место, где только что стоял дом, а теперь было пусто. — Мне и не снилось такое!

— Верю, — пружинящим шагом Юрков обошел место, где только что, сминаясь, клубился мрак. — Чисто поле! Дома нет, исчез, распался, отдал природе все, что взял. Из земли ты вышел... Полностью замкнутый цикл! А?

Смолин потоптался, ища следы повреждений. Пять утрамбованных лунок там, где находились опоры. В лучах солнца рыжела жухлая кайма зелени. И это было все, что осталось от дома.

Нет, не все. Возле осевшей лунки покоился цилиндр энергобатареи, а рядом лежало зеленоватое, со скошенными гранями яйцо.

— Вот! — ликуя, показал Юрков. — Можете его взять, перенести в любое место, использовать снова и снова, миллионы раз. И если вы думаете, что затраченная при строительстве энергия пропала, то вы заблуждаетесь. При распаде дома она, не считая неизбежных потерь, аккумулировалась в батарее. Более дешевого строительства, как вы понимаете, нет и быть не может.

— А этот зародыш... он тот же самый? — почему—то шепотом спросил Смолин.

— И, да и нет, — весело ответил Юрков. — Дерево плодоносит, дом — тоже. Из этого "желудя" вырастет новый, не хуже прежнего дом. Что мы сейчас и увидим.

Он небрежно откатил батарею, насвистывая что—то, пошел к реалету за излучателем. Смолин тяжело опустился на землю. Голова у него кружилась. В высоком небе, совсем как в доисторические времена, скользили белые пухлые облака. Смолин прикрыл веки. "Пора бы уже и привыкнуть. Это надо же! Ну еще одна техническая революция, еще один переворот, мало ли их было..."

Снова рванул, холодя спину, ветер. Лежа на боку и жмурясь, Смолин разглядывал, как растет дом. Его дом. Дом, который возникает и исчезает с легкостью фокуса, дом, который можно унести в сумке, перебросить на другой край света, вырастить там и снова спрятать в карман. Дом, который все берет из природы и отдает природе, как дерево, как ромашка, как гриб.

— Пожалуйте на новоселье! — крикнул Юрков.

Смолин обошел дом. Здание было чуточку не таким, как прежде. Самую малость. Сохранились все главные особенности, пропорции, размеры, отличие в каких—то ничтожных деталях скорей угадывалось, чем замечалось.

— Правильно, — Юрков упредил вопрос. — Потомок никогда в точности непохож на предка. Никогда. Впрочем, однообразие приедается, так что все к лучшему.

Смолин приблизил ладонь к стене и ощутил ток сырого тепла, словно это был круп лошади.

— Существует, а? — подмигнул Юрков. — Теперь вы уж хозяйствуйте сами.

Смолин промолчал. Он прошел в дом, сам укрепил батарею, не торопясь, осмотрел все помещения. Юрков двигался за ним, храня безразличие. Воздух всюду был свежим и приятным, в кранах бодро журчала вода, экран стерео охотно переключился с программы на программу, мыслемебель, послушно изгибаясь, принимала должную форму. За окнами зеленел лес, россыпью золотых бликов сверкала излучина реки, но из складок холмов уже выползали глухие предвечерние тени.

— Ваш запас чудес, надеюсь, исчерпан? — обернулся Смолин.

— Увы! — Юрков сокрушенно развел руками.

— Дом не преобразуется в мельницу или в дракона?

Юрков каверзно улыбнулся.

— Если вы так настаиваете...

— Что, что?

— Нет, нет, я пошутил. Работы по отдаленной гибридизации не вышли из стадии теории.

— Уф! — Смолин тяжело опустился в кресло. — Послушайте, дорогой прогрессист... Не чересчур ли? Какая еще гибридизация? Чего с чем?

— Дома с реалетом. Ведь у всякого дела должна быть перспектива, не так ли? Карманный домолет, чем плохо?

— Просто замечательно, — в сердцах сказал Смолин. — Мне как раз не хватало маленького летающего домика. Вот что: нет ли у вас простой избушки?

— Избушки? Ах, это! Такая древняя, из бревен, на курьих ножках? Как же, как же: такой эмбриоэскиз разрабатывается. Рубленые стены, наличники, опоры с поворотными осями, специально для любителей сельской старины очень, очень романтично!

— Довольно! — взревел Смолин. — Еще слово, и я такое закачу в отчете... Хочу просто, скучно пожить в вашем идеальном, без выкрутасов, домике.

— То-то же, — усмехнулся Юрков. — Сейчас принесу ваши вещи.

— Зачем? Я сам.

— Нет, уж позвольте. Устроить вас — моя обязанность.

Опережая Смолина, он скользнул за дверь. Пожав плечами, Смолин остался в кресле.

Его охватило молчание дома. Оно стояло в нем, как вода. Ни звука, ни колебания, полная, как в зачарованном замке, неподвижность.

Не совсем, впрочем. Косые лучи солнца высвечивали пылинки, и можно было заметить, что стены притягивают к себе этот светлый порхающий рой. Дом давал о себе знать, он был спереди, сзади, он всюду присутствовал как незримый, бесстрастный, угодливый слуга. У Смолина напряглись мышцы плеч, затылка. Только сейчас до его чувств дошло, что он находится не просто в стенах, а внутри организма, который дышит, присматривает, живет своей скрытой жизнью.

Резко вскочив, Смолин подошел к окну. Вдали сахарно белели зубцы гор. На лугу тени берез кое-где уже сомкнулись с тенями леса, но золотисто-зеленые прогалы света еще преобладали. Мир был спокоен, тих и привычен. Напряжение отпустило Смолина. Он обернулся. Ничто не подсматривало, не следило, не дышало в затылок, комнаты были как комнаты просторные, уютные. "Консерватор ты консерватор, — корил себя Смолин. — И вправду консерватор. Ну жили в пещерах, в небоскребах, пора перебираться в эмбриодом. Вопрос привычки — только".

Вблизи ощущался запах материала, смутный и терпкий, какой иногда накатывает на лесной поляне. Смолин погладил стену. На ощупь материал напоминал дерево, гладкую сосновую доску. Пальцы ощутили прохладу, но это не был холодок камня, пластобетона; так холодить могла бы кора ольхи в укромной тени полудня.

Ощущение хотелось продлить, но все прерывал какой—то невнятный шум за притворенной дверью прихожей.

— Вам помочь? — крикнул Смолин.

— Пустяки, — донеслось оттуда. — Один крошечный момент...

Глухо бухнул удар.

— Юрков!

— Сейчас, сейчас... Не беспокойтесь...

Смолин кинулся в прихожую и замер оцепенев. Взъерошенный Юрков, зло бормоча что-то, возился перед закрытой наружной дверью. Нигде не было и следа вещей, которые он вызвался принести.

— Что с вами?!

— Ничего, ничего, абсолютно ничего, так, маленький непорядочек... Я мигом...

Пряча взгляд, Юрков навалился плечом на дверь, но та не шевельнулась.

— Она заперта! — изумился Смолин.

— Вот еще, — пробормотал Юрков. — Вовсе она не заперта, кто же теперь ставит запоры... заело, вот что! Давайте вместе — разом...

Не веря себе, Смолин кинулся на помощь. От дружного толчка дверь слегка прогнулась.

— Ага! Еще немножко...

— Юрков! — Смолин в ужасе схватил его за руку. — Смотрите.

— Что?

— Стена срастается с дверью!

— Вы с ума сошли...

— Зазор оплывает! Глядите!

Багровое от усилий лицо Юркова побелело.

— Ну-ка, быстро, с разбега! Раз, два...

От таранного удара дверь снова прогнулась.

— Поддается!

Ничего подобного. Казалось, они налетают на скалу.

— Послушайте! — задыхаясь, сказал Смолин. — Что это значит? Мне это не нравится.

— Мне тоже, — осевшим голосом ответил Юрков. — Этого просто не может быть... Не может!

— Но ведь факт! Как мы теперь отсюда выйдем?

Юрков затравленно огляделся.

— Попробуем еще раз.

— Это ничего не даст, мы пытались.

— А, черт! Может быть, она утоньшится. Нас не убудет еще от одной попытки.

— Хорошо, хорошо...

Они отступили в дальний конец прихожей и ринулись. У Смолина от удара потемнело в глазах.

— Славное занятие, — прошипел он, морщась от боли. — Слушайте, вы, часом, не перепутали зародыш? Может быть, это блиндаж, тюрьма для каких-нибудь там любителей старины?

— Смейтесь, смейтесь, — угрюмо, потирая плечо, сказал Юрков. Невероятно, но дом нас, похоже, замуровал.

— Так вызовите техпомощь!

Юрков исподлобья взглянул на Смолина.

— Техпомощи не будет.

— Это еще почему?

— Наши видеофоны остались снаружи. В реалете, если вы помните.

Машинально Смолин тронул запястье, где всегда, сколько он помнил, был браслет, необходимый и привычный как воздух.

Пусто!

Юрков уныло развел руками.

— Но это же ни с чем не сообразно! — вскипел Смолин. — Это, это... Куда вы?!

Но Юркова уже не было в прихожей. Вбежав в комнату, он лихорадочно сформировал табурет и что есть силы грохнул им по окну.

Табурет смялся.

— Так я и думал, что оно успеет утолщиться. — Юрков отшвырнул табурет и заметался по комнате. — Ну что вы молчите?! Ругайте, проклинайте, я ничего не могу понять! Дверь... и никакого выхода.

Смолин растерянно молчал.

— Хорошо, — яростно проговорил Юрков. — Хватит крысиных наскоков. Будем логичны...

Он снова заметался по комнате.

— Успокойтесь, — мягко сказал Смолин. — Что тут такого? Люди испокон века теряли ключ от квартиры. Помню, в одной старой книге была смешная история о голом человеке, который ненароком захлопнул за собой дверь... Меня — нет, а вас наверняка хватятся не сегодня, так завтра.

— Скажите лучше — через месяц! И надо же так совпасть! Сегодня ночью я собирался вылететь к жене на Марс, и все знают, что меня долго не будет.

— Но ваш отчет...

— Предварительный никому не нужен, а окончательный... Вы собирались уединиться на месяц, не так ли?

Смолин тихо рассмеялся.

— Вы находите наше положение столь забавным? — проворчал Юрков.

— Отчасти — да. Извините... Я забыл, что для вас это не просто приключение. Впрочем, вашей вины тут нет.

— Дело не в этом. — Юрков с треском опустился в кресло. — Я понятия не имею, что произошло с домом, и это меня больше всего тревожит. Что он задумал?

— Задумал?! Вы же сказали, что он не...

— Он разумен не более, чем береза, не придирайтесь, к слову. И все-таки он повел себя самостоятельно. Нарушена программа, чего быть не может!

— Гм... — Смолин тоже уселся. Оранжевый луч заходящего солнца пересек его колени. — Я, конечно, не эмбриотехник, но на досуге люблю возиться с цветами. Программа, самостоятельность, она же свобода воли... Тут надо разобраться не торопясь.

— А ничего другого нам просто не остается, — желчно ответил Юрков. — Не вижу выхода, хотя он должен, обязан быть, и позор нам, если мы его не найдем!

Он стукнул кулаком по подлокотнику.

— Да, глупо, — согласился Смолин. — Просто нелепо! Вы говорите нарушена программа. Какая? Все, что делает растение, оно делает ради самосохранения. Себя, потомства, вида... Собственно, так поступает любое существо. Эта программа, насколько я понял, присуща и дому.

— Разумеется! Но основная его программа — сохранение обитателей. Нас то есть. И она нарушена.

— Так ли? Поступок дома — ведь то, что он сделал, можно назвать поступком? — по-моему, не противоречит ни той, ни другой программе.

Юрков отчаянно замотал головой.

— Нет, вы не понимаете! Дом вышел из повиновения. Вторая программа исключает это начисто.

— В ней есть четкая, однозначная на этот счет команда?

— Ну, не совсем так. Имея дело с генетикой, нельзя регламентировать все до мелочи. Задан общий принцип.

— Ах, общий принцип! — Смолин кисло улыбнулся. — Однажды, роясь в литературе, я наткнулся на древний юридический казус. Двое плечистых мужчин, встречая на темной безлюдной улице одиноких женщин, всякий раз очень вежливо просили у них денег взаймы. Мужчины не угрожали, их оружием была сама ситуация того времени, страх перед возможным насилием. Но формально они не нарушали закон, потому что нелепо запрещать кому бы то ни было просить взаймы даже у незнакомых. После поимки этих грабителей пришлось дополнять закон.

— Опять вы уподобляете дом разумному существу, — поморщился Юрков. — Он испытан сотни раз и никогда...

— А дом не мог мутировать?

— Мутировать?!

— Ну да. Или он не подвержен мутациям? Генетика—то ведь схожая.

Юрков непонимающе уставился на Смолина.

— Позвольте! Теоретическая вероятность такой мутации... Да с чего ему, собственно, было мутировать?

— Ну, мало ли что... Космическая радиация, какие-нибудь вещества почвы...

— Не считайте создателей дома олухами, — отрезал Юрков. — Конечно, они учитывали возможность мутаций. Предусмотрены были все известные факторы и...

Юрков замер с открытым ртом.

— Идиот! — взводил он, подскакивая. — Нет, это надо же быть таким метафизиком! Ах, чтоб нас всех... Слушайте, у вас поразительный ум!

— Так я угадал?!

— Да о том ли речь! — жестикулируя. Юрков забегал по комнате. Мгновенная приспособляемость, другое качество эволюции, иной тип, что там наши жалкие мутации, нет, это перевернет теорию, что там — создаст новую! Вы понимаете, понимаете?! Биологическая эволюция — это мутации и

отбор; прогресс техники тоже своего рода мутации — изобретения и открытия, и тоже отбор. А в новом, гибридном типе эволюции должны или нет быть свои, особые случаи мутации и отбора? Еще как, безмозглые мы диалектики! Какова первая, основная цель дома? Правильно, самосохранение. Наш приказ дому уничтожиться — противоречит он ей? Еще бы! Однако воспрепятствовать своей гибели дом способен не больше, чем дерево порубке. Но... При каких, спрашивается, условиях "программа смерти" не реализуется, даже если пусковая кнопка нажата? Ага, вы уже догадались! Она не будет выполнена тогда и только тогда, когда в доме находится человек. Вот и все! Дом сотни раз умирал в экспериментах, и ведь это эволюция, это отбор. И дом научился, как обойти запрет, не нарушая его. Заточив нас, он обрел бессмертие, мы сами его создали вечным, пока сияет солнце!

— А как же вторая программа? — воскликнул Смолин. — Хотя...

— Вот именно! — Юрков ликующе потер ладони. — Его действия вытекают из обеих программ. Ведь заботиться о человеке как о самом себе дом может лишь тогда, когда человек находится в нем. Только! Нет, это просто поразительно. Ударьте дерево топором, и порез заплывет. А чем не рана открытая дверь? Сходится, все сходится! Слушайте, это грандиозно... Мы создали особый тип эволюции и думали, что идеально приспособили ее к себе. А она тут же внесла поправку, идеально приспособив нас. Гениальный дом, нет, каково?!

— Замечательно, — сухо сказал Смолин. — Я вне себя от радости, что стал объектом оптимального приспособления своего жилища к своей персоне. А вот что мы будем есть в своем заточении?

— Да-а... — Юрков сник. — В перспективных моделях будущего мы рассчитывали научить дом выращивать любую пищу, но в этой хижине... — он почесал затылок. — Боюсь, что при всей своей гениальности дом не сообразит нам бифштекс. Ничего, теперь мы выяснили причину, знаем, что

дом не обезумел. Подумаем, как перехитрить его, время есть.

Опустив голову, Юрков зашагал по комнате. Смолин растерянно следил за ним. В молчании прошло десять минут. Двадцать. Полчаса. Вечерние тени окончательно затопили луг. Вдали над сизо-дымчатыми холмами медленно розовели снежные пики гор. В пока еще светлом небе реяли стрижи. Смолин перевел туда взгляд. Реалет с опущенными крыльями был так близок от окна, что мысль о его недостижимости не укладывалась в сознании. С детства привычная возможность в любое мгновение переместиться куда угодно раньше не замечалась Смолиным, как дыхание, и то, что случилось теперь, все еще казалось ему нереальным. Он пробовал избавиться от этого ощущения, но не получалось.

Заперты! Чувствовал ли что-нибудь дом? Нет, конечно. Если бы он чувствовал, то всякий уход человека причинял бы ему страдание, как потеря самого дорогого, ради чего он живет на земле. Его бы, верно, корчило от боли. Но как—то он все это ощущал, все—таки ощущал.

— Нельзя ли с ним как-нибудь вступить в переговоры? — не выдержал Смолин. — Есть же контакт на уровне мыслемебели.

— Глупо, но я уже пробовал ему кое-что внушить, — отозвался Юрков. Нет, способности дома воспринимать остались сродни способностям грибницы под воздействием тепла выращивать шампиньоны. Здесь сложней, но уровень общения тот же.

— Стоит пожалеть, что дом безмозгл.

— Пожалуй. Прогресс эволюции — это еще и прогресс сознания, и, мысленно обращаясь к дому, я кое на что надеялся. Пустое! Вот в перспективе...

— Вы еще можете думать о перспективе? После такого урока?

— А как же! Новые свойства — это новые возможности. Урок? Что ж, огонь жжется, радиация умерщвляет, но без

них не было бы цивилизации. Ничего, справимся. Не знаком ли вам какой-нибудь сигнальный код?

— Увы!

— Я тоже его не знаю. Жаль. В темноте мы могли бы сигналить окнами.

— Можно просто включать и выключать свет.

— Безусловно. Место, однако, глухое, а если кто и заметит... Я бы лично решил, что это какая—то забава. Бедствие? Нелепо. Видеофона у них нет, что ли? И реалет под окном. А праздно любопытствовать, соваться, когда не просят, — не в прошлом веке живем.

— На вторую или третью ночь мигания, положим, кое—кто, надеюсь, отбросит деликатность.

Не оборачиваясь. Юрков досадливо махнул рукой. Его профиль сновал на фоне сереющих окон, и эти метания были невольным укором. Смолин тихонько вздохнул. Ему что, ответственность не на нем. Сколько дней человек может голодать? Эх, знать бы эмбрионотехнику... Чем такой, как он, профан может помочь? Чем?

— Подать сигнал, подать сигнал... — бормотал Юрков. — Что-то должно вырваться из дома... Допустим: свет — с ним ясно; звук... отпадает. Вода? Открыть все краны, заткнуть отверстия слива, затопить дом. Тогда, тогда... А, как вы думаете?

— Не понимаю, что это нам даст.

— Нарушится оптимум, дом будет вынужден... Вероятно, он сделает новые отверстия.

— Шириной в крысиный лаз?

— Вы правы. Может быть... — Юрков заглянул в окно. — Нет, тоже ерунда.

— Что именно? Пустить ручей, по нему кораблик с запиской?

— Представьте себе! — Юрков невесело рассмеялся. — Вот до чего дошло... Право, я начинаю сомневаться, кто же из нас глупее — я или дом. Все, точка. Будем действовать строго по научной методе. Я тебя перехитрю, сволочь безмозглая!

Юрков погрозил кулаком, и этот нелепый жест показался Смолину естественным. Он поймал себя на том, что, вопреки рассудку, воспринимает дом как одухотворенное, может быть, злонамеренное существо. Очень хотелось есть, не так, как в детстве, когда, заигравшись, он пропускал обед, а неотвязно, постыдно, сосуще.

На вершинах погас последний отблеск зари. В темном зените вдруг вспыхнул, разгораясь, сиреневый импульс дальнего космического рейсовика. "Старт с орбиты семь", — машинально определил Смолин. Сверкающий аметист тихо дрожал в ночном небе. Юрков со вздохом опустился в кресло. Черным всполохом, — Смолин даже вздрогнул, — метнулась за окном летучая мышь.

Из угла доносилось невнятное бормотание. Потом оно стихло. Потом...

— Как я и ожидал, все очень просто, — Юрков с шумом поднялся. — Выход кроется в элементарном силлогизме: для дома мы часть его самого, тогда как обратное утверждение неверно. Отсюда следует, что мы можем и должны умертвить дом.

— Как? — подскочил Смолин. — Каким образом?

— Самым банальным, — Юрков ласково погладил спинку кресла. — Какая замечательная выдумка — мыслемебель... Я всегда считал, что у человека есть только один серьезный враг — собственная глупость. Ведь мы сейчас внутри организма, не так ли? Совсем как бактерии.

— Ну и сравнение!

— Не верно разве? Во всяком случае, ничто нам не мешает превратиться из смирных обитателей в свирепых.

— Не понимаю...

— Дом обязан выполнять свои функции, все функции. Обязан! Человек не послушается приказа приседать до разрыва сердца, а вот дом не определяет, какой приказ дурацкий, а какой нет. Это и даст нам свободу.

— Опять загадки?

— Извините, я, похоже, неисправим. Замысел прост до примитивности. Что мешает нам проломить окно? Способность материала самоутолщаться. При каких условиях окно не будет самоутолщаться? Тогда, когда в доме не станет энергии. Солнечной энергией он как следует не запасся, а батарею... батарею мы отключим.

— А—а!

— То-то же! Все непонятное только кажется сложным. Живей за дело, и я, может быть, еще успею на свой марсолет!

— Постойте! А если мы не успеем выбраться до того, как дом перестанет дышать?

— Поставим батарею обратно, вот и все. Но мы успеем.

Юрков рысцой выбежал в прихожую и минуту спустя вернулся с цилиндром в руках.

— Наконец-то, — сказал Смолин. — Это нелепо, но пока вас не было, мне померещилось, что дом разгадал наши планы...

— И заблокировал батарею, — весело кивнул Юрков. — Знаете, у меня мелькнула похожая мысль. До чего же сильны первобытные страхи! Та-ак, теперь поработаем.

— Что надо делать?

— Все! Пустим воду — пусть качает. Погорячей, погорячей, будет лишняя трата... Зажжем всюду свет, включим стерео — играй дом! Ловите что-нибудь побравурней. Так, прекрасно, лунная станция, катание на льду под звуки "Турецкого марша" — это нам соответствует... Какие прыжки! Теперь громоздите мебель. Побольше, навалом, живей! Начали.

Ничего более безумного Смолин припомнить не мог. Грохотала музыка, сияли стены, из сауны валил пар, призрачно вихрились танцоры, шипела вода в кранах, а они с Юрковым метались среди этого хаоса, громоздя столы, стулья, диваны, кресла, все дикое, перекошенное, как их скачущие мыслеобразы. Пол от раскачки ходил ходуном, и еще приходилось увертываться от каких-то скамеек, табуретов,

соф, которые в самый неподходящий момент возникали по прихоти Юркова, а под ногами крутился забытый цилиндр батареи, но было не до него, не до мелочей, лихое неистовство завладело Смолиным. В запотевших окнах угрюмо чернела ночь.

— Наддай, наддай! — кричал Юрков, скача, как дьявол.



От этого неистовства путались мысли, изнемогая, стучало сердце, и дом тоже изнемогал — все более вяло формировалась мебель, не так победно шумела вода, уже не слепил глаза свет, и даже движения танцоров, казалось, замедлились.

Скрежетнув, на полутакте оборвалась музыка.

— Уже немного... пустяк остался, — задыхаясь, проговорил Юрков. Дружней, поднажмем!

Внезапно его глаза расширились. Он с воплем кинулся на пол, хватая цилиндр, с которого от тряски слетел колпачок. Что-то бледное, как подземные корешки, шевелились возле контактов, петлями охватывало батарею.

— Держите!!! Дом нащупал ее!!!

Остолбенев, Смолин смотрел, как корчится Юрков, стремясь отодрать цилиндр, как пол выбрасывает все новые шевелящиеся отростки.

— Да помогите же!!!

Крик вывел Смолина из столбняка. Они навалились вдвоем. Бешеным усилием удалось приподнять край цилиндра, но другой будто прирос к полу.

— Неважно, неважно, — тяжело шептал Юрков. — Лишь бы дом снова не дотянулся до контактов... Осторожней, сами их не коснитесь.

Ловким движением Юрков подсунул руку под свободный торец, полуобнял его.

— Вре-е-ешь, не удастся... Где колпачок?!

Но его нигде не было, он затерялся в хаосе мебели.

— Тащите, тащите!

Смолин едва не завопил, когда выросший сбоку отросток коснулся его руки. Юрков локтем пытался прикрыть контакты. Отростками, казалось, овладела растерянность. Они не выпускали цилиндр, но свободные корешки двигались беспорядочно. Их шевеление напоминало взволнованное колыхание ресничек росянки, которая слепо и упорно пытается нащупать близкую добычу.

Минуту-другую ничего не было слышно, кроме сопения людей и сиплого шипения кранов. Свет комнаты явственно и быстро желтел.

— Главное — удержать, — хрипло сказал Юрков. — Экономьте усилия, скоро все кончится. Как он, однако...

— Кто?

— Дом, кто же еще! Стебель тянется к свету, корень к воде, а он сразу... Нет, какова реакция! Какая молниеносная перестройка тканей... И это в агонии!

— Отростки замерли. Может, отпустим?

— Ни в коем случае! Наше счастье, что дом ослабел, прежде чем контакты случайно коснулись пола, и дом почуял источник энергии. Но он продолжает его искать — смотрите! Стоит хоть одному отростку дотронуться... Пригните вон тот...

— Свет гаснет...

— Рано, рано! Вспомните, как ведет себя утопающий и держите, держите! Стоит дому завладеть батареей — плакала наша свобода.

— Держу, держу...

Свет мигнул пару раз, словно дом хотел рассмотреть, что-то, и погас. В серых пятнах окон медленно проступал узор созвездий.

Прохрипев, смолкли краны.

— И в самом деле похоже на агонию, — прошептал Смолин.

— В доме еще тлеет жизнь. Что—то скользит по моим пальцам.

— Вы думаете, он будет до самого конца...

— А что ему остается?

Смолин вздрогнул.

— Воздух! Может быть, лучше...

— Отпустить и замуровать себя? Ничего, удушье не бывает мгновенным успеем.

— Вы ручаетесь, что окно сразу поддастся?

— Да, если ударить посильней.

Пол, казалось, вспотел от усилий — такой от него исходил теперь запах. Преодолевая брезгливость, Смолин пошевелил в темноте рукой, пока не нашарил какой-то отросток. Тот слабо ворохнулся. Словно теплый осязающий кончик мизинца прошелся по ладони. Это было невыносимо — Смолин тут же отдернул руку. Мертвая тишина дома больше не могла обмануть. В нем шла напряженная, жуткая своим безмолвием борьба. Живо представилось, как перестраиваются, агонизируют его ткани, как по всей массе дома в лихорадке снуют сигналы, мечутся связующие организм токи, слабея, гаснут, а дом инстинктом последнего усилия ищет приток спасительной энергии, ищет безумно, слепо, неотвязно, даже не ощущая, словно огромный, подсеченный ножом гриб... Или человек в беспамятстве, наедине с подступающей смертью.

Смолин почувствовал, что задыхается. Показалось? Он судорожно глотнул воздух, и новый вздох, вместо облегчения, перехватил горло тяжелым удушливым запахом, столь внезапным и тошнотворным, что сердце заколотилось в панике, а виски пронзила резкая боль.

— Послушайте, Юрков...

Судорожная возня вместо ответа. Вентиляция отказала... Так скоро?! Не может быть!..

— Я задыхаюсь...

— Спокойно! Держу отросток... Почти дотянулся, гад...

— Воздух... Дайте дому энергию, дайте!

— Без паники! Это запах дома, продукт его распада, он скапливается внизу... Удержу один, вы — бросайте! Живо к окну, слышите?

Смолин хотел вскочить — подкосились ноги. Перед глазами, вращаясь, замельтешили красные пятна. Воздуха как будто не стало. Горло, легкие забило что-то тягучее, вязкое, удушающее.

"Дом... Здесь все ускорено!.. Он умер и выделяет, выделяет... Надо... успеть..."

Он дотянулся до чего-то, пошатываясь, встал. Боль в голове душила ужас, изумление, все. Как из другого мира, доносилось чье-то хрипение.

"Шипят краны?.. Нет, это Юрков... Просчитались... Среда дома ловушка... Ну, еще шаг..."

Руки ухватили что-то тяжелое. Оторвали от пола. В окне, отдаваясь болью, пронзительно горело созвездие.

"Туда, в созвездие... Не смей падать, дрянь!.."

Руки, тело бросили тяжесть прямо в центр пылающего созвездия. Оно взметнулось, и Смолин ощутил, что сам он откидывается, падает, падает, и дикая боль в мозгу блаженно стихает.

Погасло все.

...Мгновение, вечность? Темнота, укол звездного света, что-то мокрое стекает по лицу...

— Очнулись?

Чьи-то руки бережно приподнимают, мокрое лицо холодит воздух, под ухом такой знакомый голос. Юрков?

— Я... я разбил окно?

— Все, все в порядке. Нет, вы его не разбили.

— Значит, вы отдали...

Короткий смешок.

— Темно — видите? Я не отдал.

— Но как же воздух... Вы?

— Дом. Вглядитесь.

Смолин приподнял голову — это удалось без всяких усилий. Оглушающей боли как не бывало. Перед глазами было окно. Его испещряли тысячи искристых точек, и звезды терялись в этой алмазно мерцающей черноте.

— Последним, самым последним усилием, — зашептал Юрков, — дом раскрыл, разорвал все свои устьица. Ведь дыхание — важнее всего.

— Для кого? — Смолин сжал руку Юркова. — Для кого?

— Для нас, конечно, — в голосе Юркова послышалось удивление. — Все, что дом делал, он делал только для нас.

Он и перед гибелью позаботился о нашей… нашей сохранности. Мы его душа, как-никак.

Юрков снова издал короткий смешок. Смолин, неловко опираясь на его плечо, встал.

— Можете сами двигаться? — спросил Юрков.

— Как видите…

— Тогда не будем терять времени. В темпе, в темпе! Разобьем окно и помчимся. Ах, как неладно все получилось! Теперь, я думаю, вы и близко не подойдете к дому, как бы жестко мы его ни запрограммировали.

— Ничего вы не понимаете, — неожиданно для самого себя проворчал Смолин. — Нам жить с домом, но и дому жить с нами. Тут надо искать общий язык, а это занятие как раз для неторопливых…

— Не боишься, что я протру твою бархатную шкуру?

Ответом был раскат благодарного мурлыканья. Вытянув шею и оттопырив уши, Дики упивалась почёсыванием. Костяшки пальцев Ронина так энергично сновали у неё под губой, что от их движения с чмоканьем приоткрывались острые зубки. Голова кошки моталась. Глаза были косые, блаженные.

Ронин вздохнул. Больше оттягивать время было нельзя. Пора собираться. Надо...

— Знаю, знаю, наслаждаться ты можешь до бесконечности... Меня, однако, ждут.

Мур оборвался. Кошка мягко спрыгнула с коленей и, гордо неся свой пушистый хвост, проплыла к закрытой двери, нисколько не сомневаясь, что Ронин её распахнёт. Конечно, он это сделал. Любимице нельзя было не услужить. В сотнях парсеков от Земли она чувствовала себя как дома, она везде чувствовала себя как дома — уж такой это был зверь.



Проводив её долгим взглядом, Ронин стал одеваться. В иллюминатор неподвижно светило чужое солнце. В густом луче плавились пылинки. Сухой ржавый свет наводил тоску.

Неподалёку от шлюза Ронин снова увидел Дики. Пружинисто переступая, она проследовала за ним будто бы по своим делам.

— Нет, серый зверь, — громко сказал Ронин. — Дисциплина и для тебя обязательна. Прогулки строго по расписанию, согласно программе биологических экспериментов, вот так-то...

Кончик пушистого хвоста неодобрительно дёрнулся. Дики свернула в коридор с таким видом, словно она думать не думала ни о каких прогулках и отказ не имел к ней ни малейшего отношения. Только спина — уму непостижимо как — выразила презрительное осуждение.

Ронин не смог сдержать улыбку. Милое, своенравное, такое понятное земное существо! Мимоходом он посмотрел на себя в зеркало. Оттуда на него глянула чудовищная маска. Монстр, да и только...

Ничего не поделаешь! Иначе человека на этой планете просто не замечают.

В начальной стадии осложнения неизбежны, и, начав работу на Мальтурии, Ронин не строил никаких иллюзий. Действительность, однако, превзошла все ожидания.

Подготовительные работы были проведены безупречно. Группа разведчиков составила изумительное описание планеты и с торжеством вручила его Ронину. Деликатная операция установки «следопытов» тоже обошлась без неприятностей. Ночью возле всех заранее намеченных поселений были тайно установлены акустико-оптические анализаторы, которые в радиусе двух километров улавливали малейший шёпот и позволяли следить за каждым движением обитателей хижин. Сложность этого предприятия, пожалуй, поставила бы в тупик любого героя Фенимора Купера, ибо камуфлированные под пни, камни и гнёзда аппараты

следовало разместить так, чтобы в поле их зрения и слуха оказался весь посёлок. В местах, куда тем не менее не забредали даже дети, которые, верно, знали все пни и глыбы наперечёт. И это под носом у жителей!

Обошлось тем не менее. Когда язык и образ жизни мальтурийцев были изучены, аппараты за ненадобностью убраны так же скрытно, как и поставлены, Ронин почти уверовал в свой талант. И немедленно сел в такую лужу, в какую ещё ни один специалист по контактам не садился.

Он, как по программе полагалось, выбрал одинокого путника, вышел ему навстречу, сделал принятый в данной местности знак миролюбия и на чисто мальтурийском языке произнёс приветствие. По опыту он знал, что это не только ответственный, но и опасный момент: бывало и так, что в ответ на приветствие следовал удар копьём. Ронин был готов ко всему. К нападению, паническому бегству, остолбенению, падению перед землянином ниц, даже обмороку. Произошло, однако, нечто невероятное: мальтуриец его просто не заметил.

Не заметил, и все! Он прошёл мимо Ронина так, словно его и не существовало. Словно человек был пустотой или незримой мошкой...

Ронин так растерялся, что затрусил за мальтурийцем, крича ему вслед. Увы, группа прикрытия, конечно, запечатлела весь этот позор...

С новым прохожим повторилась та же история: он прошёл, даже не шевельнув толстым, как бревно, хвостом.

Отчаяние Ронина усугублялось тем, что на борту звездолёта находился сам великий, знаменитый, прославленный и все такое прочее Боджо.

С одной стороны, это было прекрасно, потому что кто, как не Боджо, мог дать полезный совет. С другой стороны, это было скверно, потому что Ронину впервые доверили самостоятельный контакт. Так обстояло дело и формально, и по существу, поскольку Боджо уже давно ничем не руководил. Он и на этот раз предупредил, что стар, годен уже

только для тихой кабинетной работы, короче говоря: «Мой опыт в полном вашем распоряжении, но действуйте так, будто меня здесь нет».

Из самолюбия Ронин так и старался действовать, упрямо решив, что сам, без подсказки, доведёт дело до конца. И вот, пригнутый неудачей, он вернулся на звездолёт. Он ожидал, что Боджо, приняв его, вежливо выслушает, скучающе побарабанит по одной из своих многочисленных книг и коротко пододвинет её со словами: «Вот тут изложено одно моё давнее соображение, которое, насколько мне помнится, отвечает создавшейся ситуации...»

Вышло иначе. Скуластое, пепельное от старости лицо учёного к концу рассказа дрогнуло изумлением, а в узких глазах блеснуло жадное нетерпение ребёнка, которому вдруг показали заманчивую игрушку.

— Слушайте, ведь это поразительно! — вскричал он. — То есть я никогда ни с чем подобным не сталкивался! Боюсь, что и остальные тоже.

Подскочив к полке (старик признавал лишь печатные издания), он проворно-ищущим движением пальцев пробежался по корешкам книг.

— Ничего, как я и думал. Никто не писал ни о чем подобном! Не-ет, молодой человек, чужой ум нам тут не подмога, придётся поломать голову самим.

— Вот и мне так кажется! — Настроение Ронина подпрыгнуло к небесам. — Здесь такая загадка, с которой...

— А вот насчёт загадки я не совсем уверен, — мягко улыбаясь, перебил Боджо. — Это ещё надо прояснить, есть ли тут загадка. Мы, видите ли, часто забываем один элементарный вопрос, от которого, однако, зависит все направление поиска: относится ли странное явление к числу непознанных или неузнанных? Разница большая. В первом случае нужны исследования, ибо в наших знаниях явный пробел. Во втором случае это излишний труд, поскольку фактов достаточно, надо только их осмыслить. Нас, знаете ли, развратило обилие исследовательской техники. Мы убеждены, что

все эти хитроумные анализаторы всего чего угодно, всюду проникающие зонды, всевидящие локаторы, подающие нам на блюдечке ответ машины, повинуются нам, как хвост собаке. На деле ещё вопрос, что кем вертит… Анализаторы дадут любые сведения, машины все скорректируют, эксперимент разрешит любые сомнения — это надёжно, правильно, солидно, и думать не обязательно. Но часто похоже на поиск очков, которые лежат в кармане, уж вы мне поверьте… Вот и подумаем для начала, к какому типу относится наш случай. Видеть мальтурийцы вас, конечно, видели?

— Да, — ошарашенно ответил Ронин. — Они видят примерно, как и мы, хотя у них совершенно другой внешний облик и другое устройство глаз.

— Так, так. Ещё вопрос. Они не заметили вас или не пожелали заметить?

— Скорей первое. Насколько я разбираюсь в их эмоциях, я был для них чем-то вроде пня, по которому равнодушно скользишь взглядом.

— Значит, видят, но не обращают внимания. Странно, странно… Мы должны быть для них диковинными чудовищами, а они… Такое свойство восприятия крайне опасно для них самих, вы не находите?

— Нет, не нахожу. — Ронин не заметил, что спорит с самим Боджо, а когда заметил, то лишь смутно удивился. — Ведь если бы это было опасно, то… то этого просто не было бы.

— Как так?

— Дело, очевидно, в том… — Ронин запнулся, но отступать было поздно. — Дело, очевидно, в том, что они прекрасно замечают все, от чего зависит их жизнь, но лишь, так сказать, в привычной среде. Мы же не являемся элементом их среды обитания.

— Мы — исключение из правил, и поэтому они нас не замечают?

— В общем, да, — тихо сказал Ронин.

— А вам не кажется, что это абсурд?

Ронину это уже не только казалось. Он просто не понимал, как мог сморозить такую глупость. Нельзя же в самом деле утверждать, что кто-то не обращает внимания на огромное и громогласное существо только потому, что оно ни на что не похоже! Но мысль уже была высказана, и смятенный ум лихорадочно искал аргументы в её защиту. Ведь не зря же она возникла!

— Птицы! — вдруг выпалил Ронин.

— Птицы? — Боджо воззрился на него, будто Ронин стал маленьким—маленьким. — При чем тут птицы?

— Это просто пример... Если в гнездо подложить деревянного птенца и покрасить его разинутую глотку в натуральный цвет, то птицы будут кормить деревяшку! Они не видят, что птенец ненастоящий, потому что в программе их поведения не предусмотрен и не мог быть предусмотрен столь невероятный случай подмены.

— Все существа воспринимают мир сквозь призму стереотипов, — задумчиво проговорил Боджо. — Это общеизвестно. Есть ли тут переход к нашему случаю?

Мысли Ронина разбежались. Неужели Боджо не видит, что он, Ронин, просто-напросто барахтается, без особой надежды всплыть? Что он запутался в своей, ребёнку видно, абсурдной гипотезе? Но на лице Боджо не было и тени усмешки, он ждал, с интересом ждал ответа. «Не бойтесь абсурда, быть может, это всего лишь знак, что наш прежний опыт исчерпан и разум столкнулся с новой поразительной сложностью мира, которая на первых порах производит впечатление абсурда». — Ронину вспомнились эти слова из давней книги Боджо, и они его подхлестнули.

Конечно, соображал он, всякое мышление, в том числе человеческое, — стереотипно. Ну и что? Внешне нелепый стереотип может быть глубоко оправданным. И наоборот. Самый расчудесный стереотип оказывается пагубным, коль скоро резко изменились породившие его обстоятельства. Все преимущество разума как раз состоит в быстром пересмотре стереотипов. Быстром, но, естественно, не

мгновенном. Только в высшей фазе развития становится возможным упреждающий, прогностический пересмотр. До этого момента истории пересмотр всегда и неизбежно запаздывает. Надо получить от жизни изрядную порцию синяков и шишек, чтобы это случилось. А до тех пор, пока изменения не дают о себе знать чувствительно, разумное существо будет спокойно взирать на мир сквозь любые искажающие очки.

Мысленная невидимость!

Ронин даже ахнул.

— Послушайте! — вскочил он в возбуждении. — Что бы вы сделали, если бы сюда, в каюту, к вам явился Эйнштейн?

— Решил бы, что мне померещилось. — Боджо смотрел на Ронина со странным выражением лица. — Так вы полагаете...

— Да, да! Никто из нас не пал бы перед призраком ниц, не ударил бы его кулаком, не убежал бы с воплем, а спокойно пошёл бы к врачу. Беспокоиться нечего, обычная галлюцинация! Ведь так? Это наш стереотип реакции на призраков. А если бы призрачной оказалась форма существования какого-нибудь инопланетянина, который явился бы к нам устанавливать контакт? Результат был бы тем же! Здесь, похоже, аналогичный случай. Просто у мальтурийцев другой стереотип «чего не может быть».

Азиатские глаза Боджо спрятались в щёлочку век, к их уголкам стянулись морщинки. Внезапно грянул раскатистый, от души смех.

Ронин уязвленно вспыхнул.

— Это не в ваш адрес, не в ваш! — замахал руками Боджо. — Просто я вообразил, как к человеку Средневековья является призрачный инопланетянин, а его крестом, крестом... Тоже ведь стереотип поведения, а? Ладно. В вашей гипотезе есть должное случаю безумие. Давайте её спокойно обсудим...

Они все как следует обсудили, продумали изменение человеческого облика, и на другой же день Ронин поставил опыт, который принёс полный успех.

Боджо, узнав о результатах, даже крякнул от восхищения.

— Вот это работа! Как идея-то оправдалась, а? — Он искоса глянул на Ронина. — Вас поздравляю, себя — не могу. Проглядел идею-то, проглядел, что значат стариковские стереотипы — ай, ай, ай...

Он долго и сокрушённо качал головой, но глаза хитрили, и Ронина царапнуло внезапное сомнение, которое за делами, впрочем, тут же забылось.

Оно всплыло ночью. Перебирая дальнейшие возможности контакта, Ронин долго ворочался, и, как это всегда бывает при бессоннице, мысли скоро сбились в яркий, путаный клубок образов, навязчивых и сумбурных, пока случайно не выделился один: рука Боджо, замершая перед корешками книг.

Ещё дремотная память напряглась. Палец Боджо заскользил по рядам, вот он помедлил, неуверенно дрогнул, скользнул вниз, чуть задержался на совершенно обычной книге... Обычной? Наоборот, неуместной, ненужной, — недоумение тогда мелькнуло и тут же погасло, потому что палец отпрянул и снова заскользил по корешкам солидных томов, а ему, Ронину, было не до размышлений. Но ведь эта книга...

Память наконец вынесла её название. Ронин аж подскочил: томик Честертона! Того самого Честертона, который ещё в прошлом веке написал рассказ о мысленно невидимом человеке. Так вот что запало! Вот почему задержался указующий палец!

— Ай, ай, ай, — покачал головой Ронин. — Стариковские стереотипы, значит... Ай, ай, ай!

Он усмехнулся в темноте. «Да, за таким стереотипом как за каменной стеной... Но, кажется, я тоже не подкачал. Ну и ну!»

Однако наступил день, принёсший загадку, перед которой и проницательность Боджо оказалась бессильной.

Яркий свет лёг на плечи тяжестью панциря. Ронин зажмурился, мало-помалу привыкая. Он задержал шаг возле опытного поля, на котором хлопотали биологи. Ограждения поля были, пожалуй, самой причудливой из всех, которые Ронин видел, конструкцией. Они перекрывали собой обширный участок местности, свободно пропускали внутрь свет, ветер и дождь, но ни одной молекулы не выпускали наружу без придирчивого контроля. Биологи не боялись заразить планету или внести заразу в корабль, так как существенное несходство местных и земных белков гарантировало их полную несовместимость. Но характер опытов все же требовал изоляции. За прозрачными до незримости стенами трава, кусты и деревья лужайки соседствовали с посадками земных растений, и странно было видеть одуванчик, оплетённый чем-то вроде медной проволоки с огромными фиолетовыми цветами на тончайших усиках. Там, за стенами, шла борьба и притирка двух чужеродных биосфер, у которых общим был лишь способ питания. Контакт их был подобен



соприкосновению травы и металла, но ведь и его нельзя считать вполне нейтральным, так что интереснейшей и кропотливой работы биологам хватало. Туда же, за невидимые стены, были выпущены генетически чистые породы мышей, морских свинок и кроликов. Ронин видел, как за земной мухой гонится десятикрылая здешняя стрекоза, которой явно было невдомёк, что муха для неё несъедобна.

— Как дела? — спросил Ронин у появившегося из укрытия биолога.

— Как обычно. — Тот стёр с лица обильный пот. — Что—то гибнет, что—то приживается. Жарища...

— Там Дики просится в ваш Ноев ковчег — охота поразмяться.

— Подождёт. Как она в своей шубе ещё может резвиться — не понимаю.

— Положим, тут не жарче, чем в летний полдень на Украине. Ладно, все это пустяки. Выяснили что-нибудь со злаками?

— Нормальные злаки, и болеют они нормально, так что ничего нового. А вы опять к мальтурийцам?

— У них сегодня праздник урожая, и я зван.

— Завидую! Они хоть сами о себе рассказывают, а тут допытывайся у трав и вирусов, почему они такие, а не сякие.

«Да уж, — подумал Ронин, — своя работа всегда самая трудная. Эх, мне бы ваши заботы, дорогие биологи! Травка да зверюшки, они в наших руках словно глина, меняй их генетический аппарат, как хочешь».

Помахав рукой, он двинулся к опушке. Привычно обернулся, когда миновал маскировочный заслон. Позади не было уже ни корабля, ни опытного поля, ни трудяг скуггеров, только дальний лес странно приблизился и посреди сократившегося пространства зыбко трепетало марево, будто там никак не мог овеществиться только что вылезший из бутылки джинн. Как ни совершенна была маскировка, место, где стоял звездолёт, выглядело заколдованным. К

счастью, любопытством мальтурийцы не страдали, и одно это наводило на некоторые размышления.

Тень леса облегчила жару, зато исчез ветерок, который продувал страхолюдный костюм Ронина. Обилие кислорода слегка кружило голову, отчего лес казался ещё диковинней, чем он был в действительности. В нем причудливо смешались осень, весна и лето. Осень, потому что падали и шуршали багряные листья, весна, потому что все цвело, а лето, потому что на деревьях обильно зрели плоды. И все пестрело буйными, оглушительными красками. Угольную тень подлеска прожигали пятна солнечного цвета. По ярко-синим стволам язычками огня бежали красные и жёлтые листья лиан; кроны были охвачены тем же багровым пожаром. Внизу из киселеобразного мха выглядывали чёрные цветы. Какие—то болотные лопухи поворачивались вслед за человеком, как ушастые локаторы. В просвете мелькнул и скрылся огромный золотистый ромб с косматой бахромой свисающих нитей, непонятно: то ли бабочка, то ли птица. Ещё нечто столь же сюрреалистическое зачавкало в кустах. Вот она, мечта о других планетах! На зеленой травке бы сейчас полежать... В нос шибанул запах гниющих плодов, от которых гнулись тугие ветви деревьев. Богатая, вечно плодоносящая почва! Так почему, почему здесь замерло то, что не должно было замереть?!

Дорога заняла не более километра, и сразу за опушкой открылся посёлок. Белые, как яичная скорлупа, конусы хижин ослепительно сверкали в лучах послеполуденного солнца. В посёлке не было заметно никакого движения, хотя за человеком, конечно, следило множество глаз. Поодаль расстилались красновато-бурые поля, на которых кое-где виднелись тёмные точки, — жнецы уже приступили к уборке. Сделав поправку на цвет неба и краски растительности, можно было подумать, что находишься, где-нибудь в древней Африке. И это в стольких парсеках от Земли! Ничего удивительного, впрочем. Всякая цивилизация на

определённом этапе развития начинает строить жилища, заниматься земледелием, а поля всюду поля, какое бы солнце ни горело над ними. Везде надо подготовить почву, взрастить, убрать урожай, везде нужен труд и орудия труда, всюду приходилось гнуть спину, если таковая, понятно, имелась.

Приблизившись, Ронин понял, что его ждут. Старейшины чинно восседали на собственных, сложенных вдвое хвостах. Очень удобно, но Ронину, после церемонии приветствия пришлось, как обычно, присесть на корточки. Его движение спугнуло рыжеватого зверька, каких тут была масса. Пискнув, он взмыл из травы на тонких пергаментных крылышках. Рука одного из старейшин щёлкнула в воздухе, как плеть, но куда там! Зверёк увернулся и исчез в траве. Он имел отдалённое сходство с диснеевским Микки-Маусом, но не летал, а прыгал словно кузнечик. Мордочка у него, однако, была скорей крысиная. Нигде в лесах микки-маусы не водились, и Ронин вспомнил просьбу биологов раздобыть хотя бы парочку, но сейчас думать об этой докуке было некогда.

Тарелки с едой появились немедленно, едва Ронин сел. Путника, откуда бы он ни появился, пусть даже со звёзд, и как бы он ни выглядел, первым делом, если он вошёл в доверие, следовало накормить. Так было на Земле, так было и здесь, ведь голод везде голод. Обычай, пренебрегать которым было нельзя, уже который раз обрекал Ронина на муки, ибо приходилось набивать желудок массой, хотя и безвредной, но не более удобоваримой, чем опилки. Хорошо ещё, что здешняя пища, довольно безвкусная, не имела омерзительного запаха и не вызывала желудочных спазм.

До окончания трапезы — Ронин знал это — разговор был невозможен. Поэтому он покорно принял тарелку, но при взгляде на неё ему стало не по себе.

Еда возвышалась на ней горой! Её было впятеро больше, чем всегда. А съесть полагалось до крошки. Но человеческий желудок был явно не рассчитан на такое количество.

Ронин тихо содрогнулся. Тенистый сумрак, кое-где рассечённый горячим лучом света, молочные конусы хижин вокруг площадки, чуждые всему земному, безмолвные лица старейшин...

Что означает эта гора пищи? Может быть, на этот раз требуется съесть только часть? Или, наоборот, следует попросить добавки? К чему приведёт его вынужденный отказ прикончить блюдо? Какой поступок сейчас мог оказаться правильным, а какой оскорбительным?

Снова — в который раз! — Ронин почувствовал себя канатоходцем, который балансирует, держа на голове кастрюлю кипятка. Или, изящно выражаясь, чашу.

— Сегодня праздник урожая, — напомнил старейшина.

Ну да, конечно... Началась жатва, а это, должно быть, ритуальное блюдо, которое, видимо, надо очистить до последней крошки. Неясно только, почему пир устраивается не после, а во время уборки, ведь тут дорога каждая минута, да и работа на полный желудок не работа. Или это блюдо только для гостя?

Нет. Точно такие же появились и перед старейшинами. Мало того! Судя по запахам, к пиршеству готовились и в хижинах.

Оставив недоумения на потом и с тоской глянув на дымящуюся гору еды, Ронин погрузил в неё пальцы, лихорадочно соображая при этом, как бы незаметно просыпать кое-что в траву. Иного выхода не было. Не зря, нет, не зря искусство фокуса входило в программу подготовки контактеров — её готовили предусмотрительные люди...

Зажмурясь, Ронин сделал первый глоток.

Быть может, именно с пищей была связана та загадка, которая не давала покоя всей экспедиции.

Земная история, как и истории других цивилизаций, свидетельствовала, что всякий последующий этап развития короче предыдущего. То было не просто обобщение горстки уже известных фактов. В сущности, прогресс — это ответная,

не единственная, но самая перспективная реакция жизни на изменение условий существования. Чем обширней и глубже перемены, тем больше возникает новых проблем и тем изощрённей должен становиться разум, иначе проблемы, оставаясь нерешёнными, усугубляются, что ведёт к гибели. Но всякий шаг цивилизации, в свою очередь, вызывает перемены, которые с ростом её могущества оказываются все стремительней и обширней. Так, самовозбуждаясь, она наращивает свой бег и все туже закручивает спираль своего развития.

Археологические изыскания показали, что и на этой планете до поры до времени все шло как обычно. Но с появлением земледелия что-то застопорилось. Везде, в самых плодородных долинах, при самых благоприятных условиях почву обрабатывали, как и сотни тысяч лет назад, и нигде не было зачатков городской культуры. Они, судя по раскопкам, не раз возникали, но тут же гибли как отсечённые побеги.

Конечно, ход прогресса менее всего прямолинеен. Скорей он напоминает течение реки, которая в своём мощном беге роет не только русло, но, повинуясь условиям рельефа, создаёт ещё и заводи, старицы, болота. Бывает, понятно, и так, что перед внушительной преградой живой ток воды замирает, вздувается озером и долго копит силы, пока не прорвёт её с грохотом. История любой планеты знает свои заводи, заиленные рукава и болота. Случался порой и разлив течения, когда все стремнины, казалось, замирали в стоячем покое лет. Но то были сравнительно недолгие паузы, которые неизбежно сменялись порывами бурь. Здесь же над мёртвым зеркалом невозмутимо плыли десятки тысячелетий.

Имелось два объяснения. Или перед мальтурийцами возникла какая-то исключительная преграда, которая надолго, но все же временно заперла прогресс, или... или выдохся сам разум! Последнее допущение ставило под удар всю теорию эволюции.

В его пользу, однако, говорило многое. Попытки создания городов давно прекратились. Технология, обычаи, социальный строй — все окостенело много тысячелетий назад. Девственных, пригодных для обработки пространств было сколько угодно, но они не осваивались, и население не росло. Нетронутые леса и степи, развалины несостоявшихся городов, брошенные кое-где поля, какая-то небрежность земледельческого труда, жёсткость социальной структуры, замерший дух любознательности, даже этот пир некстати могли быть зловещими признаками угасания.

Могли…

В посёлке стало куда оживлённей: пировали или готовились к пиру уже во всех хижинах. Внимание Ронина раздваивалось. Он следил и за тем, что происходит вокруг, и совершал чудеса ловкости, отправляя часть пищи не в рот, а в густую траву, где уже алчно копошилась какая-то живность. Ещё он невольно прислушивался к ощущениям в желудке, куда, казалось, лёг тяжеленный кирпич.

Наконец еда убавилась настолько, что, не нарушая правил деликатности, можно было начать разговор. Выждав ещё немного, Ронин равнодушно осведомился, почему оставлены полевые работы.

Шипастые головы старейшин благосклонно полиловели. Последовавший ответ можно было понять так, что праздники редкость, но уж если праздник, то он праздник. Его, однако, можно было истолковать совсем иначе: зачем работать, когда еды много?

Ронин не спешил с уточнениями. Многозначность разговора была здесь нормой даже в общении друг с другом. Простейшее утверждение «Утром взойдёт солнце» звучало, например, так: «Свет одолеет ночь, как ему будет позволено». Выражение «…как ему будет позволено» означало, что день может оказаться солнечным, а может быть и пасмурным. Шифр усложнялся, едва речь касалась чего—то более важного, настолько, что как вопрос, так и ответ

включали в себя сразу и утверждение, и сомнение, и отрицание. Иногда Ронин чувствовал, что вот-вот свихнётся, ибо смысл произнесённого зависел от пропорции всех этих частей и ещё от того, к чему более склонялось сомнение — к утверждению или к отрицанию.

Но и это было не все, так как в разговоре часто возникала «фигура умолчания» — предмет или событие, о котором вообще нельзя было упоминать иначе как паузой, в лучшем случае — иносказанием.

Хитроумная система умолчания и маскировки истины вряд ли была умышленной. Она оказалась такой же закономерной производной бесперспективного состояния цивилизации, как и та «мысленная невидимость», с которой на первых шагах столкнулся Ронин. Движение вперёд невозможно без откровенности и правды, застой — без сокрытия и лжи. А если самообман длится долго, то разум слепнет, как глаз, долго видящий одну лишь тьму.

Расспросы мальтурийцев напоминали блуждания без фонаря по лабиринту. Конечно, их цивилизация не могла познать ход своей истории, тем более управлять ею. Но, может быть, они подозревали неладное и как раз на эти знания наложили табу, чтобы не беспокоить себя напрасными размышлениями? Или они понятия не имели о том, что происходит? Все до единого считали своё состояние правильным и хорошим?

Сбор урожая давал шанс кое-что выяснить. Слегка волнуясь, Ронин произнёс длинную, тщательно продуманную речь, смысл которой состоял в просьбе познакомить его с тем, как хранится и распределяется зерно.

Просьба Ронина была встречена долгим молчанием. Ничего необычного в этом не было — старейшины не любили торопиться с ответом, но сейчас их молчание показалось Ронину ледяным. Насколько он сумел понять по прежним беседам, затронутая тема обременялась множеством табу, так что отказ был наиболее вероятен. Впрочем, кто их знает! Пока они молчат и не двигаются, понять их настроение

невозможно, поскольку глаза фасеточного типа — а именно такие были у мальтурийцев — для человека лишены всякого выражения, как и для них человеческие, наверно.

Ноги затекли, и Ронин воспользовался паузой, чтобы устроиться поудобней. Движение спугнуло парочку микки-маусов, которые славно попировали тем, что Ронин сбросил в траву, — в зубах одного ещё был зажат комок каши.

«Надо не забыть поймать их для биологов», — вспомнил Ронин. И тут же эта мысль вылетела у него из головы, потому что в позах старейшин произошла какая-то внезапная и, может быть, зловещая перемена. Не сделав ни одного явного движения, они вроде как бы подались к нему.

С угрозой? Удивлением? Ронин, не дыша, замер. Перед ним неподвижным полукольцом застыли старейшины, и взгляд их мозаичных глаз был устремлён на Ронина. Так прошла минута, другая... «Хоть бы у них, как у Дики, кончик хвоста подёргивался! — вскричал про себя Ронин. — Что я такого сделал?!»

— Если «после» предшествует «до», поступок есть и его нет, — мигнув шершавыми веками, наконец произнёс крайний слева старейшина.

— Далёкое «после» может предшествовать близкому «до» или наоборот, — отозвался старейшина в центре.

«Они заспорили, — быстро сообразил Ронин. — Но о чем, о чем?»

— Важна жертва...

Старейшина слева сделал глубокую паузу.

— ...Когда время пришло, а когда оно не пришло, жертва принесена и не принесена.

«Так! Выходит, меня угораздило возблагодарить какого-то бога, но, кажется, не того, не так или не вовремя... Какого бога?! Тем, что я подвинулся?! Рано я стал углублять контакт, рано...»

— Дух поступка важней поступка, когда не наоборот, — последовало возражение. — Определяет благость

намерения, которого здесь больше или меньше, наполовину или с лихвой, иная мера бесполезна.

«Ага! Значит, мой поступок по сути своей неплох...»

— Если хромает одна нога и нет хвоста, то часть — не целое, далёкое удаляется, даже когда оно близкое.

— Шаг меняет дорогу, и дорога меняет шаг, знакомая меньше, чем незнакомая, далёкая скорей, чем близкая, заслуга больше в этом, чем в том, иначе то же, но не совсем.

«Вот это диалектика! — невольно восхитился Ронин. — Почему же тогда мысль у них так плохо вяжется с делом?»

— Слышал и понял, совсем и отчасти, то, что меряется, зависит от того, чем меряется, справедливо не всегда, но чаще.

«Ого! Неужели мой критик соглашается с моим заступником? Не спор, а дремучий лес... Умно-то умно, а для дела такое растекание мысли как бег с оглядкой. Не в этом ли причина застоя? Уж скорей бы они вынесли приговор...»

Но дискуссия продолжалась, и чем больше Ронин вникал, тем меньше улавливал смысл. Вскоре он почувствовал, что тупеет. Плохо, когда в незнакомой местности нет дорог, но не легче, когда тропинок тысячи и все ведут неизвестно куда. Ронин понял, что пора отключиться, иначе ошалеешь.

В изнеможении он глянул вверх. Там плыли облака, такие же пушистые, как и на Земле, — водяной пар везде одинаков. Почти одинаков, ибо оттенков — в изотопном составе, строении капель, количестве примесей — сотни, и если видеть только оттенки или, наоборот, не замечать их вовсе, то никакой подлинной картины мира заведомо не откроется.

Монотонная вязь спора внезапно оборвалась. Головы старейшин согласно мотнулись.

— Знай, чужеземец, если знание — твоё или наше — подлинно. Ты принёс часть своей пищи ради...

Глубокая пауза умолчания!

— ...Пожертвовал ею не на месте и не в то время, но, пожалуй, вовремя и к месту.

Выходит, они заметили, что он просыпал пищу! Ну да, этот проклятый прыгун с добычей в зубах, наверное, выдал... Вот так история! Значит, он ненароком совершил ритуал очень важный, только неправильно... Ну и ну! Его проступок простили, даже одобрили, а дальше что?!

— ...Мы не хотели и, возможно, собирались показать тебе, что, вероятно, ты хотел знать, а твоё стремление приблизиться к нам решило иначе. Мы доведём тебя до источника жизни, который всегда полон и пуст...

«Мы не хотели показывать закрома, но ты совершил обряд, и мы их покажем», — мгновенно перевёл Ронин. Вот и рассчитывай тут по всем правилам науки...

Куда же они его поведут? К домашним сусекам или к хранилищу?

Старейшины повернули к хранилищу. Так... Выходит, урожай они собирают в общие закрома, а потом распределяют по семьям, иначе необъяснимо, почему запасы убывают так быстро.

Это подтверждал и вид хранилища. Стены были сложены давно, кое-как, и, похоже, с тех пор никто их не чинил. Хоть и временная кладовая, могли бы побеспокоиться... В деревнях, которые существовали десятки тысяч лет назад, даже по развалинам можно было судить, что тогда хранилища строили как крепости. А здесь такая потрясающая беспечность! Явный, от поколения к поколению усиливающийся регресс...

«О чем только думают ваши умные головы! — возмутился про себя Ронин. — Пока вы распределите и надёжно укроете зерно, им же полакомятся какие угодно твари! Можно подумать, что пищи у вас избыток, а ведь это, насколько я понимаю, далеко не так».

Вслух он, понятно, ничего не сказал. Сведений о голоде пока не хватало, да и ситуация была явно неподходящей.

Они уже подходили к двери, когда из глубины хранилища донёсся невнятный шум. Старейшины замерли как

изваяния. Ронин и вовсе ничего не мог понять. Внутри что-то происходило. Оттуда слышались шелест, шуршание, писк. Старейшина рванул дверь. И сразу из всех щелей, как вода из дырявой бочки, хлынул поток микки-маусов. Их было несметное множество! Они валили и в дверь, бежали, взмывали в воздух, сталкивались, обезумев, пищали, падали, словно за ними по пятам гнался смертельный ужас.

И вдруг этот ужас возник в луче света.

Выражение «потемнело в глазах» Ронин всегда считал надуманным, но тут мир качнулся и помутнел.

Ибо в метре от входа стояла Дики. Её суженные зрачки горели свирепым огнём охоты.

— Дики!!! — не своим голосом заорал Ронин.

Хищный блеск глаз притух. Коротко мяукнув, она нырнула в глубь хранилища и тут же вернулась, держа в зубах мёртвого микки-мауса. Есть эту безвкусную мышь она, понятно, не собиралась, но кто устоит перед соблазнами охотничьего рая? Только не кошка, чьё мнение о себе столь высоко, что, преодолев глупый человеческий запрет, она желает гулять и гуляет там, где ей вздумается, благо нигде нет этих гнусных собак... Трубно неся свой хвост, она прошествовала к Ронину и уронила добычу к его ногам.

Дотоле окаменевшие старейшины, возбуждённо свистя, придвинулись. Ронин в панике подхватил кошку, готовый бежать, пока это ещё возможно.

Но уже со всех сторон к нему тянулись крючковатые пальцы.

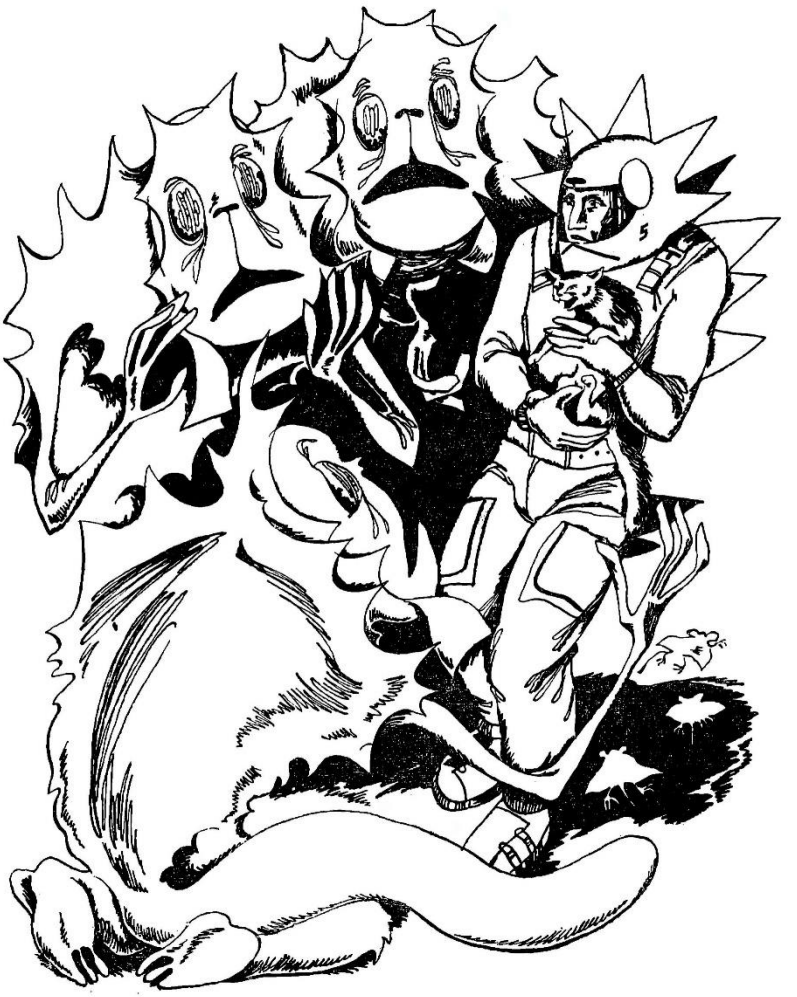
— Останься! Не уноси божественное существо!

Божественное?! Впрочем, когда-то и на Земле, у египтян, кошка была священным животным.

Пронзительная догадка осенила Ронина. Все камешки загадочной мозаики стали на место — и то, почему никто не заботился о хранилищах, и то, почему селение пировало в разгар жатвы, и то, почему просыпанную человеком пищу сочли искупительной жертвой, и даже то, почему

старейшины внезапно отбросили витиеватость, — такой язык негоден в решительную минуту.

Все равновесие жизни основано на сдерживании одного вида другим, а на этой планете не нашлось кошки, которая бы последовала за мышами, когда те освоили закрома и житницы. И это стало началом конца, потому что чем





больше оказывалось пищи, тем энергичней плодились микки-маусы... Конечно, с ними боролись упорно и долго, но крылатых, прожорливых, всепроникающих паразитов было столько, что у мальтурийцев опустились руки. Невозможны стали запасы и накопления, бессмысленно было улучшать хозяйство, и ход истории замер.

Ошеломлённая криками, Дики шипела и вырывалась, стремясь вскарабкаться Ронину на плечо. Надо было срочно успокоить старейшин. Надо было немедленно избавить Дики от участи божества.

И ещё надо было спешно вывести породу мальтурийских кошек.

Близился поворот, за которым должна была открыться река Счастья, как Таволгин ее называл, — Руна, как ее называли географические карты. В глухих берегах, где от ягод черники сизовела трава, речка, свиваясь в тугие узлы струй, неслась через перекаты к долгим и тихим заводям, куда поплавок падал, как в поднебесное зеркало, и не было в ней числа быстрым хариусам, темным сигам, красноперым язям, всему, что встречалось так редко на нынешней Земле.

Дрожа от сладостного предвкушения, Таволгин повернул руль. И Руна открылась.

Нельзя дважды войти в одну и ту же реку...

Под обрывом, как прежде, в солнечных вспышках бежала вода, взгляд, как прежде, очарованно устремлялся вдаль, к кипучим порогам, нависшим теням сосен, чреде скал, за которыми угадывался другой столь же извечный пейзаж. Но посреди заветной поляны три вездехода тупыми рылами капотов осадили громоздкий, с чем-то радиотехническим наверху автофургон, вокруг которого сновали люди, все ловкие как на подбор, в одинаковых зеленоватых куртках.

Первым намерением Таволгина было развернуть машину и поскорее умчаться. Но куда? Другого подъезда к реке не было. Правда, дальше по берегу оставались сырые полянки, куда в ожидании приезда друзей можно было приткнуться, мирясь с нечаянным и досадным, но, может быть, временным соседством.

Таволгин медленно тронул машину. Тут ее заметили, и несколько лиц повернулись в каком-то недоумении. От группы отделился человек постарше и пошел наперерез тем уверенным шагом, от которого Таволгину сразу стало как-то не по себе.

И точно. Лениво приказывающий взмах руки был красноречивей слов. Странно чувствуя себя уже в чем-то виновным, Таволгин затормозил.

— Запретного знака не видели? — бесстрастно, как и шел, спросил человек и только после этого обратил на Таволгина взгляд.

Тот еще ничего не успел ответить, только распахнул дверцу, чтобы объясниться, когда лицо спрашивающего внезапно удивилось и не то, чтобы обрадовалось, но приобрело живой интерес.

— Фью! — присвистнул он. — Родимчик!.. Ты здесь какими судьбами?

Слово "Родимчик" напомнило Таволгину все, и он тоже узнал человека. Таволгина звали Вадимом, но в детстве, желая взбеленить, его дразнили Вадимчиком—Родимчиком, а придумал это прозвище Родя, Родион Щадрин. И вот, постаревший, он был здесь, на Руне.

Воспоминания детства, как и положено, давно подернулись лирической дымкой, и Таволгин даже обрадованно выскочил из машины, пожал протянутую руку и от ошеломления выпалил явно неуместный контрвопрос:

— А ты здесь откуда взялся?

В глазах Щадрина зажглась та давняя насмешливость, какой он, бывало, отстранял неуместные расспросы о деятельности возглавляемого им школьного совета.

— Обычное задание, старина. А ты, никак, порыбачить собрался? И даже "кирпич" проморгал? Завернуть тебя следовало бы, да уж...

— Постой, о чем ты толкуешь? Почему, какой запрет?

— Какой надо. Машину убери к нашим.

— Но...

— Или набегаешься с ее ремонтом. Делай, делай, как сказано.

Знакомые нотки! В школе Родиона Щадрина недолюбливали за тон превосходства и прозвали Пружинчиком — из—за манеры живо вскакивать на собраниях для подачи нужных реплик и слов. Но парнем он был деловым, в общем, свойским, первым в футболе, танцах и умении к общей выгоде ладить с учителями, так что его аккуратно избирали и

переизбирали, благо особого желания возглавлять, проводить мероприятия, давать накачку за плохую успеваемость ни у кого не было, а у него — было.

Усмехаясь и поварчивая, Таволгин подогнал машину, куда указал Щадрин. Встреча его заинтересовала. Хотелось выяснить и то, долго ли еще намерена пробыть здесь вся эта команда. Не давала покоя и такая мысль: по какому, собственно, праву Щадрин взял, да и закрыл для всех реку?

Выйдя из машины, Таволгин коротко поклонился зеленокурточным молодцам, ожидая, что парни в ответ щелкнут каблуками. Ничего подобного не произошло. Он был удостоен легких, впрочем, уважительных кивков, беглых полуулыбок, и все снова принялись за дело — тянули кабель, расставляли шатровую палатку, таскали в фургон какую-то аппаратуру.

— Думаете поймать здесь сигналы космических пришельцев? — настраиваясь на небрежный тон старого знакомого, кивнул в их сторону Таволгин.

— Вроде того, только наоборот, — усмехнулся Родион Щадрин. — Ладно, рассказывай. Кто ты теперь?

Таволгин не любил таких подразумевающих ранг и службу вопросов, поэтому ответил привычно:

— Человек, как видишь.

— Хм... — Сощуренный взгляд Щадрина будто взвесил его со всем содержимым. — Вижу. Наблюдаю признаки сидячего образа жизни, книжной анемии и интеллигентной близорукости. Да, время, время... Спорт, надо полагать, забросил?

— А ты?

— Предпочитаю яхту и теннис.

Щадрин повел плечами, как бы проверяя налитость мускулов. Был в этом месте подтекст, был. Время, что и говорить, пошло Щадрину на пользу. В нем мало что осталось от былой гибкости Пружинчика, он заматерел, посолиднел, обрел уверенность крепкого на вид мужчины.

— Яхты не имею, — прочеркивая контраст, сказал Таволгин.

— И зря! Кто же ты все—таки по профессии?

— Историк.

— А—а! В каком году была битва при Саламине и все такое прочее. Ясно, ясно...

Как ни привык. Таволгин к тому, что упоминание об истории сплошь и рядом вызывает такую реакцию легкого пренебрежения, сейчас она его задела. Конечно, другому не навяжешь свою убежденность, что лишь знание и понимание хода истории, то есть опыта всех проб, достижений и ошибок человечества, способно остеречь от глупостей и наметить разумную тактику на будущее. Но уж суд таких, как Родя...

— Да, да, битва при Саламине и все такое прочее, — будто соглашаясь, сказал Таволгин. — А у тебя, — он быстрым взглядом окинул становище, антенны, железки и все такое прочее?

— Маракуем помаленьку, — снова усмехнулся Щадрин. — Надо же и НТР кому-нибудь двигать. Я, видишь ли, радиофизик, но теперь меня перебросили на биологию, поскольку это сейчас самое существенное звено. А ты небось в своей области тоже доктор—профессор?

Настороженное внимание Таволгина не уловило в вопросе скрытой издевки. Хотя подобная встреча с однокашником почти неизбежно таит в себе момент ревнивого сопоставления успехов, а Родион был куда как честолюбив, сейчас, приподнятый важностью своего дела, он, похоже, спрашивал даже с желанием видеть Таволгина не слишком обделенным судьбой. "Толстый и тонкий!" пронеслось в уме и предрешило ответ.

— Да, — кивнул он небрежно. — Доктор, профессор, лауреат и все такое прочее...

Ему тут же стало совестно за эту достойную вельможи или глупца самотитулатуру, но у Родиона подпрыгнули брови.

— Скажи—и, кого я чуть не шуганул, как зайца! — протянул он и тут же добавил поспешно: — А в академию ты избран?

— Нет, не удостоился.

— Ничего, старина, ничего. — Обретая добродушие, Щадрин приятельски потрепал его по плечу. — Будем еще там, будем, наш класс широко шагает... Решено: сейчас мы тут разместимся, потолкуем накоротке... Ни-ни-ни! Никаких возражений, ты мой гость!

— Но у тебя дело, какие—то опыты, я, право...

— О, опыты! — Не переставая широко улыбаться, Родион доверительно понизил голос: — Строго между нами: это... Впрочем, увидишь сам. Тоже своего рода история!

— Вроде битвы при Саламине?

— А что? Нынче НТР на дворе. Извини, я тебя ненадолго покину, а то, боюсь, мои мальчики что-нибудь напутают... Ты пока распаковывайся, распаковывайся!

Родион шариком откатился к центру деловых событий, и его четкий, уверенный голос сразу переключил работу на высшую скорость. Таволгин остался со своими смутными мыслями наедине.

Он отошел к высокому обрыву, зачем-то постоял на юру, безотчетно любуясь живым током воды. В голове был легкий сумбур, досада на непредвиденные обстоятельства, умеряемая интересом к многозначительным намекам Щадрина и к нему самому. Что бы значила вся их таинственная тут деятельность?

Таволгин склонен был очень серьезно относиться к тому, что зреет в тишине, ибо прекрасно понимал, что облик будущего часто определяют не громкие для современников события, а как раз незаметные. Главы учебников посвящены крестовым походам, неудачной попытке Запада овладеть торговыми путями Востока. Но — какова ирония? — не громоносные битвы религий в конечном счете изменили расстановку сил, а скорей уж "латинский парус", придуманный, кстати сказать, не европейцами, а безвестными арабскими

мореходами. Перекочевав к потомкам побежденных крестоносцев, этот парус умножил возможности европейских кораблей, открыв им со временем простор океана. И началась эпоха Колумба, и сдвинулись пути мировой торговли, и мохом порос источник былого могущества, и точно злой волшебник погрузил в спячку блистательные дворцы мусульманских владык. А чем в конечном счете стали для феодализма суппорт и паровая машина? Будущее идет скрытыми путями...

От размышлений отвлек новый этап деятельности родионовской команды. Откуда-то появились колья, мотки колючей проволоки, и площадку с машинами скоро опоясало крепкое ограждение. Щадрин распоряжался всем, как прораб, его зычный голос далеко разносился окрест. Складывалось впечатление, что Родя немного играет на публику и эта публика прежде всего он, Таволгин. А почему бы и нет? В школе меж ними не возникало соперничества, ибо там, где Родион был первым, Таволгин оказывался едва не последним, только учились оба одинаково. И все-таки что-то было... И даже понятно что. В мальчишеском возрасте свойственная Родиону победительность особо привлекательна. И наоборот, пренебрежение Таволгина к вещам, которые Родион так высоко ценил, уж не воспринималось ли им как скрытый вызов? Недаром же он тогда придумал это насмешливое и умаляющее прозвище Родимчик... Не задеваешь того, к кому равнодушен. Тем, верно, неприятней было Родиону узнать, что скромный сверстник достиг, согласно им самим принятой шкале оценок, больших, чем он сам, успехов. "Смешно, если это действительно так, — покачал головой Таволгин. — Какие же мы все—таки дети..."

Удивление его при виде колючей ограды возросло.

— Блиндаж строишь? — бросил он, когда Родион приблизился.

— А ты чего не распаковываешься? Все философствуешь? В тихом омуте, знаешь ли... Пошли!

— Прежде объясни, пожалуйста...

— Все в свое время или немного позже, — сверкнул улыбкой Щадрин. Он взял его под руку и отвел за ограду. — Эй, орда, прошу любить и жаловать: мой однокашник и друг, светило исторической науки Вадим Таволгин!

Ребята повскакали.

— Во-первых, — сморщился Таволгин, — мы уже...

— А, во-вторых, — немедля перебил Родион, — мы тебя сейчас напоим-накормим и кое-что покажем! Как, ребята, покажем?

— Покажем! — охотно и не без гордости грянул одобрительный хор.

— Хороши молодцы, а? — восхищенно подмигнул Щадрин. — Все лучшие мои ученики, энтузиасты, за передовое готовы в огонь и в воду, что Костя, что Феликс, что Олег, что...

Таволгин едва сдержал ироническую улыбку, ибо дурашливый бесенок рефлексии некстати шепнул ему, что Родион сейчас малость похож на хвалящего своих мужиков Собакевича. Разумеется, Таволгин тут же вышвырнул глупого бесенка из мыслей и принял достойный вид.

Покончив с представлением, Родион легонько подтолкнул Таволгина к приветливо распахнутому пологу шатровой палатки. Там уже был стол, накрытый по-походному, мужской рукой, но щедро. К своему неудовольствию, Таволгин обнаружил в центре и пару бутылок: ему всегда казалось преступлением вот так, походя, травмировать свой мозг, лишая себя ни с чем не сравнимого удовольствия ясно и четко мыслить. Правда, выпивки не так и много вроде бы. Но кто знает, что еще тут будет вечером...

Парни за столом набросились на нехитрую снедь, ели так, что за ушами трещало. Порой вспархивал разговор, но все о вещах специальных, понятных всем, кроме Таволгина, который все более чувствовал себя лишним в этой крепко сбитой родионовской команде. Про себя он лишний раз отметил, что о существенном, о деле, люди все чаще

разговаривают на марсианском для постороннего языке, — и к чему же все это ведет?

Но интонации были доступны Таволгину. В них улавливалась какая—то напряженность. Не взаимоотношений, нет: тут была полная спаянность. Что-то внешнее или предстоящее скользило меж слов подавленным волнением.

— Двинем сегодня на полную мощность, — внезапно, не в лад предыдущему, сказал Родион. Стало тихо. — Вот так!

Он рубанул воздух и обвел всех взглядом. Кто-то крякнул, послышались нестройные голоса: "Верно...", "Все равно придется...", "Давно пора!". Голоса точно подбадривали друг друга. В них легким диссонансом вплелось сомнение Кости в устойчивости какого-то частотного фильтра.

— Как бы нас самих... ненароком...

— Не ходите мальчики в Африку гулять? — откинувшись, с жесткой насмешкой глянул на него Родион. — Во-первых, мной все просчитано. Во-вторых, мы сами выбрали этот хароший обрывчик... И вообще, на нас смотрит история!

Он поднялся, багроволицый, накаленный, сгреб Таволгина за плечи.

— Эх, Вадюша, тебе не понять, какие дураки на какой идее спали! Если бы не мы...

— Это точно, — с облегчением зашумели за столом. — Если бы не Родион Степанович... За Родиона Степановича!

Таволгин удивился — так жадно потянулись руки к новой, невесть откуда выпорхнувшей бутылке.

— Ша! — обрезал Родион. — Не время! Всем быть по местам, чтобы к восемнадцати ноль-ноль...

Он строго глянул на часы. Всех сдуло.

— Вот так, Вадюша, — сказал он тихо. — Живем, экспериментируем, боремся... Подожди, ты же сути дела не знаешь. Как бы тебе объяснить...

Он отвел взгляд к реке, и ее блеск отразился в глазах точечными вспышками.

— В общем, так, чтобы тебе было понятно. Есть лес, и в нем всякая живность. Пичужки-зверюшки и тому подобное.

А что они такое для меня как радиофизика? Нет, постой, не с того конца начал... Река вот бежит, вроде она сама по себе. А она в системе! В жестко отрегулированной системе, повторил он как бы с удовольствием. — Движение воздушных масс, осадки, почва — этой системе и конца не сыщешь! Возьмем теперь особь, допустим, зайца. Сам по себе скачет? Не-ет, он тоже в системе. Вида, биоценоза и всего прочего. Значит, не только физиологические законы управляют организмом, но и законы системы. Вот это важно, что заяц ли, муха ли не сами по себе живут, а под-чиняются целому! Что над ними закон. Когда ехал сюда, обратил внимание, сколько тут деревьев с ободранной корой?

— Нет, — недоуменно ответил Таволгин. — А что?

— А то, что лесничие по поводу леса в тревоге. Разладилась система! Был регулятор — волк, да мы его истребили. Зверь, хищник, ату его! И размножились всякие там положительные герои мультяшек в необозримых количествах. Лес подгрызают. Им что! Ума нет сообразить последствия. Но мы—то щи не лаптем хлебаем, нет, не лаптем — НТР, брат! Здесь, — он постучал себя по лбу, — кое-что держим. Знание! Знаем, что особь — часть системы, вида, а системе присущи свои законы саморегуляции, которых особи видеть не дано, но которые повелевают ею, как генерал солдатом. Волк, так сказать, вневидовой регулятор. Но есть и внутривидовые саморегуляторы, только они плохо задействованы там, где до сих пор управлялся хищник. Понимаешь?

— Понимаю, — ответил Таволгин, хотя понимал не все и не потому, что предмет был для него так уж нов и сложен, а потому, что была в словах Родиона некоторая, похоже, намеренная недоговоренность.

— И славно, что понимаешь, — кивнул тот небрежно. — Ну-с, что из этого вытекает? Коли есть вид, стало быть, есть законы организации и сохранения вида. Так? Обязательные для особи, ибо вид превыше всего. Так? Диктующие, как ей в той или иной ситуации поступить. Посредством чего? Какова физическая природа таких команд? Тут темна водица,

но не совсем, не совсем... Тебе, конечно, известен факт, что после гибели мужчин в войнах мальчиков рождается больше, чем девочек? А почему, почему? — Родион наклонился к Таволгину, обдав его своим горячим дыханием. — Срабатывает механизм видовой саморегуляции! Вот!

— Как? — невольно встрепенулся Таволгин. — Каким образом?

— Разберемся, и в этом разберемся, — довольно прогудел Родион. — Важно что? Передается команда, чаще всего не химическим путем, как думали еще недавно. С чего я начал? Отдельная особь с точки зрения радиофизики есть приемопередатчик, настроенный на общие внутривидовые частоты. Тем и обеспечивается единство системы. Улавливаешь практический вывод?

Усмешливый взгляд Родиона приобрел суровость, от которой Таволгину стало не по себе.

— Уж не это ли твой вывод? — с усилием махнул он рукой в сторону фургона.

— Это техбаза. — Родион вскочил. — Эх, вы, гуманитарии! На рельсы все надо ставить, на рельсы... Идем, покажу.

Как раз взревевший мотор автофургона плюнул им в лица сизым перегаром, куда более едким здесь, чем в городе.

— Прошу, — сказал Родион, отворяя дверцу.

Внутри было царство радиофизической техники, в которой Таволгин совершенно не разбирался, да и мысли его были не тем заняты. Глядя на индикаторы, шкалы, переключатели, на все это подмаргивающее, цифирное, живущее как бы автономной жизнью, Таволгин в ответ на разъяснения Родиона лишь покорно кивал головой. Впрочем, и так было ясно, что уж с чем-чем, а с техникой все в полном порядке.

Наконец осмотр закончился, и Таволгин с облегчением вдохнул свежий воздух — свежий, правда, теперь лишь относительно. Аппаратура была и вне фургона. Трое парней с суровыми лицами, держа блокнотики в руках, являли возле

нее подобие античного хора. Рев дизеля заглушил плеск воды на порогах, вообще все посторонние звуки, и мир по ту сторону колючей ограды словно онемел, как за толстым, но незримым стеклом. "Если они хотят подманить сюда каким—то своим сигналом животных, то как же грохот? недоуменно подумал Таволгин. — Ведь шум все распугал, должно быть, на километры..."

Спросить было не у кого. Родион, снуя, как челнок, отдавал последние распоряжения.

— С нервами у тебя как? — мимоходом крикнул он Таволгину.

— Что? — не понял тот.

Но не удостоился ответа. Хитро подмигнув, Родион скрылся в фургоне. Раздражаясь все больше, Таволгин не знал, что и думать. Из памяти не шли недомолвки Родиона, напряженное молчание, которое установилось за столом после его внезапного решения повысить какую-то там мощность.

— Долго еще? — наклонился Таволгин к уху одного из парней.

— Сейчас антенну задействуем...

Мгновение спустя антенна повернулась на пол—оборота — очевидно, ее задействовали. Подобной Таволгин не видывал: серповидный изгиб рам заполняли дырчатые, похожие на отполированные терки, зеркальца. Вся эта конструкция точно озирала лес.

Хотя антенна продолжала двигаться, рев дизеля внезапно смолк — должно быть, питание перешло к аккумуляторам. Из фургона встрепанно выскочил Родион. Раскуриваемая сигарета плясала в его пальцах. Парни, приникнув взглядами к шкалам, что-то сосредоточенно записывали.

— Ну как? — вклинился Родион.

— Порядок, шеф...

— Ага, ага, вижу эффектик... Молодцы!

— Что вы видите? — не выдержал Таволгин.

Родион уставился на него, не мигая.



— Эффект леммингов. Сейчас они появтся.

— Лемминги? Здесь?!

— Какие лемминги? Лоси! Я же тебе объяснил: их развелось слишком много.

— Ты говорил о зайцах!

— Да? Ну, это все равно. Что лемминги, что копытные, даже бабочки... Сейчас, сейчас ты увидишь саморегуляцию в действии.

Он жадно затянулся дымом, поперхнулся, побагровел.

"Лемминги!" — ошарашенно подумал Таволгин. Он уже смутно догадывался, припоминал нечто с этим связанное, что—то тревожное, немыслимое сейчас, здесь, среди покоя, мягких теней, золотистых бликов воды.

Немыслимое?

На опушку вымахал лось и слепо, не видя, не разбирая пути, мотая мордой, с которой летела не то шерсть, не то пена, дерганными скачками понесся дальше, к обрыву...

Таволгин зажал рот, чтобы не вскрикнуть. Лось уже летел с обрыва, не прыжком, а комом и так же комом грянулся о камни внизу. И пока это длилось, точно жуткая молния высветила Таволгину все, и он понял, при чем тут лемминги, их спорадическое безумие, когда слепая масса животных, презрев инстинкт самосохранения, вдруг начинает катиться по земле, тонуть в реках, гибнуть в пропастях, низвергаться в море. А на краю поляны уже с треском валились кусты, и новые лоси, мелькнув в беге, вздыбив рога, с нелепо вывернутыми конечностями падали вниз, вниз... Молча.

Ужасом метнувшийся взгляд Таволгина скользнул по лицам операторов. Они были серы, их выражение объясняло, в чем смысл недавней выпивки, которая была не зря, не зря. И все, не отрываясь, смотрели, как гибнут лоси, и Родион смотрел, и Таволгин, хотя смотреть было невыносимо. Иной сохатый сбивался с кратчайшего пути, полосовал себе бок о колючую ограду, но и его метало к обрыву, откуда вскоре раздавался последний всхрап боли. А зеркальца антенны все поворачивались, все гнали в пространство сигнал:



"Нас много, нас слишком много — уничтожьтесь..." И у подножия обрыва росла груда тех, кто ему подчинился, чтобы вид избежал горшей катастрофы подрыва всех источников питания.

Безумие кончилось, едва замерла антенна. Запоздалый лось осел посреди поляны на дрожащих ногах, его налитые туманом зрачки увидели ограду, людей, обрыв. Со сдавленным ревом он шало метнулся в лес.

— Каково? — стеклянно блестя глазами, обернулся Родион. — Каково?

Его вопрос рассыпался дребезжащим смехом, но не нашел ответа у Таволгина, который с потемневшим лицом в упор смотрел на своего былого однокашника.

Губы Родиона дрогнули, чтобы тут же сойтись в жесткую, презрительную складку.

— Погубив леса, они все равно окочурились бы! — бешено выкрикнул он, наступая. — Лучше в них всаживать пули, да?!

Никто ему не возразил. Таволгин опустил взгляд к подножию обрыва. И все посмотрели туда, где, затихая, еще бились тела. Ведь сейчас, здесь люди были для животных подобием фатума, рока и, словно древние мойры, перед

которыми, как полагали эллины, склонялись даже боги, держали в своих руках пряжу чужой судьбы.

Сначала возникла точка.

Система корабельного зрения мгновенно напряглась, как человеческий взгляд при попытке разглядеть далекий и смутный предмет. В ту же миллисекунду Киб зажег над пультом стандартный сигнал.

Но обсервационная была пуста. Киб это знал. Собственно, он существовал еще и затем, чтобы людям не надо было круглосуточно следить за Пространством и беспокоиться при появлении вдали обычных, достойных лишь автоматической регистрации объектов. Похоже, сейчас был тот самый случаи. Неизвестный объект шел по касательной на пределе видимости и явно ничем не грозил звездолету. В общем—то, Киб уже понял, что это такое, и продолжал напряженно вглядываться лишь потому, что человек наделил его острой любознательностью.

Текли минуты, каждая из которых перемещала корабль на миллионы километров в Пространстве.

Все шло своим чередом.

Не совсем.

Конкин, что с ним редко, бывало, проснулся раньше времени. Впрочем, не это его удивило, а ясное, четкое и недвусмысленное, как звонок, ощущение, что он обязан проснуться.

Откуда оно взялось? С минуту Конкин неподвижно лежал с открытыми глазами. В каюте было темно, тихо, уютно — Киб берег сон так же надежно, как и корабль. Быть может, что-то скрывалось в сновидении? Снилась какая-то авантюрная чепуха, будто он должен проникнуть в некий замок, что-то разведать в нем, и все шло прекрасно, только уже при выходе из замка охранник вдруг изумленно уставился на карманы его штанов.



Конкин тоже невольно опустил взгляд и удивился не менее: из его брючных карманов нагло торчали столовые ложки!

— Что это у вас? — подозрительно вопросил крепколицый страж.

— А это, видите ли, хобби у меня такое... — ответствовал Конкин.

Столь нелепый ответ почему-то развеселил обоих. Тугое лицо охранника расплылось в понимающей улыбке, а Конкин почувствовал себя беззаботным зрителем приключенческой, с самим собой в главной роли, комедии. Он весело шагнул к воротам, но вместо охранника там уже стоял худой и грустный Дон-Кихот в латах.

Это обычное во сне превращение лишь смутно удивило Конкина; однако ему стало неловко за торчащие из кармана ложки. Но Дон-Кихот смотрел дружелюбно, печальный взгляд карих глаз идальго словно был освещен изнутри мягким закатным светом, и у Конкина сразу потеплело в груди.

— Хорошо, что вы здесь, — сказал он удовлетворенно.

— Где мне еще быть, как не в памяти? — спокойно проговорил Дон-Кихот, и Конкина поразила понятная лишь в сновидении мудрость такого ответа.

И тут что-то заставило его проснуться.

Что?

Не составило труда сообразить, откуда в сновидении взялся Дон-Кихот и в чем смысл его ответа. То была всего лишь фантастическая проекция недавних слов Зеленина, который обожал парадоксы. «Знаешь, что странно? — сказал он тогда Конкину. — В старину так много писали о «чудесах техники» и не замечали куда больших чудес искусства». — «Каких именно?» — полюбопытствовал Конкин. «Да самых обычных. Кого ты, например, лучше знаешь — Гамлета или Шекспира, Дон-Кихота или Сервантеса, Робинзона Крузо или Дефо? Кого мы лучше представляем, кто для нас в этом смысле реальней — образ или его создатель?» — «Не вижу в

этом парадокса». — «А я вижу. Что мы знаем о тысячах и тысячах современников того же Гамлета, которые действительно жили, любили, страдали, боролись? Ничего! Будто их не было вовсе. А вот Гамлет для нас существует. Есть в этом какая-то несправедливость...»

Выходит, эти слова затронули что—то глубокое, раз они всплыли во сне. Но при чем здесь четкий нетерпеливый сигнал «проснись!»?

Разгадка, сколько Конкин ни думал, ускользала. Он знал, что в таких случаях надо сделать. Забыть, переключиться! Тогда ответ будет искать само подсознание и, возможно, найдет.

А начать следует с обычной разминки, сегодня она особенно кстати.

Сообразив, кто именно сейчас бодрствует, Конкин ткнул кнопку вызова.

— Приятного пробуждения, брат моллюск! — тотчас плеснулся из динамика веселый голос Зеленина.

— Старо, — ответил Конкин, одеваясь. — Было.

— Где? Когда? — встрепенулся голос, и Конкин живо представил, как над изумленным глазом приятеля косо взметнулась бровь, как дрогнула рука с неизменно зажатым в ней миниатюрным компьютером.

— Впервые образ корабля-скорлупы и, следовательно, людей-моллюсков возник в одном фантастическом рассказе двадцатого века, — отчеканил Конкин. — Было. Старо. Лежит на поверхности, как всякая явная ассоциация.

— Эрудит несчастный... — сокрушенно вздохнул голос. — Ладно, твой ход.

— Слово «Конкин». Неявные ассоциации, пожалуйста.

— Двугорбый верблюд! — мгновенно выпалил голос.

— Кон-кин, — медленно повторил Конкин. — Пауза посередине, перегиб, верблюд. Лежит на поверхности.

— Да, пожалуй, — нехотя согласился Зеленин. — Тогда утюг!

— Как?

— А-а! Не видишь ассоциации?

— Нет...

— Конкин — конка... Улавливаешь?

— Не припомню такого слова...

— Значит, есть эрудиты получше тебя. Кроме Киба, само собой... Конка — это такой древний, на лошадях, влекомый по рельсам транспорт. Нечто архаичное, движимое мускульными усилиями, неповоротливое. Как утюг.

— Здорово! — восхитился Конкин. — Второе ассоциативное производное, это не банально...

— Тем и живем, — с гордостью сказал Зеленин и отключился.

Конкин покачал головой. Подобная и вроде бы несерьезная гимнастика ума была для него, как и для всех, в той же мере развлечением, в какой и жесткой, привычной, как дыхание, необходимостью, ибо давно прошли те времена, когда избавление кораблей от ракушек почиталось проблемой, но мало кто задумывался, сколь опасна в быстро изменчивом мире прогресса короста въевшихся стереотипов.

Однако тайная надежда, что эта зарядка, раскачав подсознание, заставит всплыть причину внезапного пробуждения, не оправдалась.

«Забыть, забыть!» — напомнил себе Конкин.

Мысли Конкина, когда он переступил порог обсервационной, были — так ему, во всяком случае, казалось — обращены исключительно на дело.

Сигнал о появлении в зоне видимости неизвестного тела он заметил тотчас. Быстро вгляделся в роспись цифр на табло. Из-за колоссальной удаленности объекта их точность оставляла желать лучшего, и все же сомневаться не приходилось: обыкновенный метеорит! Правда, крупный и, очевидно, железный. Так отражать радарные импульсы мог бы, предположим, чугунный утюг.

«Почему утюг? — удивился шальному сравнению Конкин. — Ах да! Зеленинская ассоциация застряла...»

Он улыбнулся. В Пространстве можно было, чего доброго, наткнуться на выход в иное измерение, на причинно-следственную флюктуацию, но только не на утюг. Зато метеорит был в нем такой же банальностью, как змея в лесу. Конкин слегка скосил взгляд. Ну конечно! Как ни далеко находилось тело от корабля, как ни расходились их траектории, Киб держал его в прицеле аннигилятора. На всякий случай... Такие вопросы безопасности Киб решал сам. И мигом занимал оборонительную позицию.

«Как питекантроп при малейшем шорохе. Еще бы! Мы тоже находимся в довольно враждебной среде...»

— Что за объект? — на всякий случай спросил Конкин.

— Метеорит класса Z—2, достоверность определения девяносто пять процентов. — Голос Киба, как всегда, зазвучал так, словно невидимый собеседник находился рядом. — Параметры...

— А вдруг это змея? — неожиданно для себя пошутил Конкин и тут же отметил, что это скорей всего дань тому, утреннему...

— Со змеей объект не коррелируется ни по одному параметру, — прозвучал бесстрастный ответ.

Нет, юмором Киб не обладал. Зато он знал, что такое «змея». И что такое «конка», он тоже наверняка знал. Чего только не знала, не могла, не умела эта новая модель искусственного интеллекта! Пожалуй, ее способности не были до конца ясны самим создателям, поскольку эта машина обладала чем-то вроде подсознания.

Вздохнув, Конкин вместо того, чтобы забыть о метеорите и заняться текущей работой, спросил:

— Через какое время ты потеряешь метеорит из виду?

— Через семнадцать минут сорок девять секунд, — ответил Киб.

— Ничего нового о нем, конечно, узнать не удастся...

— Только в случае изменения курса. Будет такой приказ?

Еще чего! Изменить курс звездолета ради какого-то метеорита — все равно, что остановить поезд из-за

придорожного цветочка. А жаль. Как хорошо сейчас было бы прогуляться по шершавой, в матовых вздутиях поверхности космического странника, нарушив однообразие будней, покружиться над изломами темных скал, рукой в перчатке тронуть незнакомую твердь...

У Конкина даже ноги заныли от томительного и сладкого предвкушения прогулки.

«Сведи к необходимости всю жизнь —

И человек сравняется с животным», — внезапно подумал он словами Шекспира.

Что с ним такое сегодня?

— Зеленин...

— Да? — отозвался голос.

— Не хочешь ли ты прогуляться по утюгу? Он в пределах видимости.

— По утю... А, понял! Очередной метеорит, что ли?

— Размерами скорей даже астероид. Я вот что подумал: если можно изменить место заложения очередного вакуум—полигона, то...

— Исключено, — голос друга сразу обрел жесткость. — Здесь мы не получим нужных результатов.

— Нет так нет. Жаль.

— Мне тоже, — голос смягчился. — Вот если ты обнаружишь в Пространстве, допустим, консервную банку...

Конкин с сожалением отключил связь. Железный метеорит. Железный график. Железные люди. Все кругом из сплошного железа.

— Интересно, можно ли, хотя бы теоретически, натолкнуться в Пространстве на консервную банку... — пробормотал Конкин, придвигая к себе груду листков с незаконченными расчетами поведения фридмонов в магнитополяризованном вакууме.

— Докладываю, — внезапно проговорил Киб. — Обнаруженное в Пространстве тело может оказаться аналогом консервной банки...

— Что-о?!

— ... С вероятностью ноль-три.

Спятил!!! Секунду—другую Конкин ошарашенно соображал, кто именно спятил — он или Киб.

— Что?.. — переспросил он наконец слабым шепотом. — Откуда... откуда такая вероятность?

— Значение реальной, выявленной гравилокатором массы меньше той, которую при данном объеме мог бы иметь метеорит любого типа, что с вероятностью ноль-три, в данный момент наблюдения и указывает на пустотелую природу объекта, следовательно, на его сходство с любой металлической емкостью.

— Не вижу. — У Конкина пересохло горло, он быстро обежал взглядом хорошо знакомый ряд цифр. — Не вижу расхождения!

— Показываю.

Мелькнула серия преобразований, и теперь Конкин понял, в чем дело. Расхождение масс того значения, которое ей давал гравилокатор, и вычисленной по объему предполагаемой плотности вещества было минимальным, на грани погрешности. В сущности, таким расхождением в столь неопределенных условиях наблюдения можно было и пренебречь.

Киб этого не сделал. Почему?

Да потому что любознательность — тоже страсть, а она осталась неудовлетворенной! Киб желал сближения с метеоритом не менее Конкина, вот и все.

Но если объект действительно пустотелый, то...

Нет в Пространстве и быть не может огромной консервной банки. Зато в нем может оказаться чужой корабль, тело, в физическом смысле весьма схожее с жестянкой. Правда, нужен человеческий юмор, чтобы прибегнуть к такому сравнению, а Киб юмором не обладал.

— Вероятность ноль-три, — хмурясь от внезапной мысли, проговорил Конкин. — Ты мог ею пренебречь...

— Мне был задан вопрос.

— Риторический!

— Сожалею, если ошибся. Параметры риторической интонации не всегда отличимы от параметров прямого вопроса.

Верно, подумал Конкин. И все же странно. Какой-то разгул ассоциаций сегодня, даже Киб заразился. Может, и ему передалось чужое настроение? Но выяснять некогда. Надо решать, что делать, — объект вот-вот скроется...

— Какова целесообразность сближения с объектом при столь малой вероятности, что он окажется инопланетным кораблем? — быстро спросил Конкин.

— Плюс-минус бесконечность, — бесстрастно ответил Киб.

Конкин кивнул. Все правильно. Известен убыток от срыва программы, и совершенно непредсказуема выгода от встречи с чужим звездолетом. Бесконечно большим может оказаться и ущерб, коль скоро теория неверна и в Галактике есть высокоразвитые, но агрессивные цивилизации. Никто же о них ничего не знает, все догадки с большей или меньшей долей вероятности! Достоверен лишь слабый намек на то, что метеорит способен оказаться искусственным телом.

Так стоит ли проверки ради менять курс и нарушать программу?

Строго говоря, задача не имела решения. То была лотерея, и лучший из логиков, Киб, это только что подтвердил.

И все же подобные задачи решались испокон века.

Благодаря интуиции.

«А что тебе, Киб, подсказывает твоя интуиция?» — едва не спросил Конкин, но вовремя удержался. Киб не обладал интуицией, ею люди не могли его вооружить, ибо сами еще как следует не разобрались в том, что же она такое.

Хотя и сумели немного развить в себе.

Конкин стремительно нажал кнопку общего вызова.

Точка росла, все более обретая на экране сходство с рогатой старинной подводной миной. Все уже было ясно, но еще никто не сказал ни слова, точно восклицание могло повлиять на законы механики и выбросить тело на зоны

видимости. В рубке было так тихо, как будто люди перестали дышать, только лица бледнели по мере того, как невозможное, невероятное — инопланетный корабль — прорисовывался на экране. И Конкин не знал, чего в его душе больше — облегчения, ликования, интереса или самого обыкновенного страха.

Его не могло не быть, ибо точно так же, как они держали на прицеле чужой корабль, тот, в свою очередь, держал на прицеле их. И это упорное молчание! Никакого ответа ни на один сигнал, никакого встречного поиска; столь безучастно мог бы вести себя гроб.

Или самая настоящая мина.

Машинально Конкин смахнул с лица пот и с недоумением взглянул на ладонь. Он видел бледные лица друзей, понимал, что сам выглядит так же: тогда откуда пот? Вроде бы человек бледнеет тогда, когда сосуды сжимаются, а пот выступает, когда они расширяются... Или не так?

«О чем вы думали в то историческое мгновение?» — быть может, спросят его, когда-нибудь. М-да...

— Пора, — почти беззвучно сказал Зеленин.

Все облегченно задвигались, как будто изменилось что-то.

С едва ощутимым толчком от звездолета отделился зонд. Мгновение спустя он возник на экране. Серебристая в звездном отблеске капля раскрылась, словно бутон, обратилась в подобие какого-то треножника. Лиловым трепетным шнуром вдоль оси «треножника» вытянулось пламя. Уменьшаясь, зонд устремился к чужому кораблю.

Сейчас все должно было решиться. Ни один конструктор, будь он даже из другой галактики, не мог допустить тесного сближения корабля с инородным телом. Безмолвный экипаж или кибер, если корабль был беспилотным, обязаны остановить зонд. Выстрелом? А может, еще и залпом по людям?

Конкин украдкой взглянул на стену рубки, такую прочную и такую тонкую, слабую, перед буйством

аннигиляционного огня. Правда, расстояние было еще велико. Будь на том корабле аннигилятор земного типа, залп ничем не грозил. Но там, конечно, стоял неземной аннигилятор. Или вообще не аннигилятор...

Неизвестно, что там могло быть. Неизвестно, почему они молчат. Неизвестно, о чем думают. Оставалось лишь положиться на теорию, которая утверждала, что у воинственной цивилизации просто нет шанса выйти к звездам, ибо прежде ее должны растерзать внутренние конфликты. Впрочем, с той минуты, когда люди разглядели чужой звездолет, выбора уже не существовало — ведь точно так же те разглядели их.

Лиловый выхлоп зонда обратился в точку. Эта искорка неуклонно приближалась к миноподобному телу, но пока не встречала отпора. Конкин, как и остальные, подался вперед, когда на зонде включился видеопередатчик.

Изображение сразу укрупнилось. Теперь бросалось в глаза, сколь огромен корабль. Его сходство с колоссальной и будто сошедшей с кинолент прошлого века подводной миной стало еще более разительным из-за каких-то темных, как наплыв водорослей, вздутий на броне. Повинуясь команде, зонд огибал это чудовище по дуге большого круга, тем уменьшая риск спровоцированного поспешным сближением отпора.

Возникло обманчивое впечатление, будто чужой корабль поворачивается, затмевая звезды. И когда, наконец, открылась невидимая прежде часть, тишину рубки потряс общий возглас: в центре звездолета зияла пробоина!

Едва возглас смолк, как все вскочили, вытянулись в том же порыве молчания, в каком люди всегда отдавали почесть погибшим.

Конкин оглянулся, прежде чем нырнуть в темный провал пробоины. С буев светили прожекторы. Удивительно, как мог инопланетный корабль показаться похожим на мину. Впрочем, человек на все смотрит сквозь призму своих эмоций и стереотипов. Теперь как издали, так и вблизи

мнимое сходство корабля с древним оружием убийства уже не обманывало взгляд. Если эта инопланетная конструкция на что-то и походила, то скорей на упражнение педантичного тополога, — так непривычно были вывернуты все ее формы.

Теперь это особенно бросалось в глаза. В слепящем свете электрических солнц корабль висел как фантастическая планета, и на мгновение Конкин почувствовал себя сказочным пигмеем. К реальности его вернуло нетерпеливое движение Зеленина, которому он загородил путь.

Первые шаги внутрь вели через хаос рваного и оплавленного металла, который в слабом поле тяжести застыл причудливыми оплывами, сосульками, нитями. Беглый свет фонарей шевелил искореженные тени, сливая их в сумятицу черно-белых фигур, взблесков, пятен, извивов, месиво скачущих форм и сплетений. Невозможно было понять, какой силы взрыв искромсал все вокруг. В ушах мерно отдавалось пощелкивание радиометра, перед глазами мельтешили потревоженные тени мертвого корабля.

Переставляя коробочку детектора с одного излома на другой и вслушиваясь в бормотание анализатора, Конкин сам уподобился тени — таким вынужденно бесшумным и гибким было его скольжение через весь этот хаос. Половину внимания забирало само движение, остальное поглощал голос материи, которая, докладывая через детектор о своем составе, структуре до и после взрыва, связывала Конкина с неведомыми строителями корабля, их давними замыслами, знаниями, воплощенными в металле идеями. Загробный, если вдуматься, разговор, и тем не менее самая обычная для человека вещь, ибо на Земле археологи точно так же вступают в мысленную, хотя и одностороннюю, связь со всеми исчезнувшими поколениями землян.

Наконец зона разрушений осталась позади. Вздохнув с облегчением, Конкин выпрямил спину. Впереди простирался изогнутый коридор с какими-то овалами (дверями?) по обеим сторонам. Нигде ни одной угловатой линии,



словно инопланетные строители жили в мире без единой плоскости.

— Совершенно не представляю, где у них что... — пробормотал Зеленин.

— Я тоже, — ответил Конкин. — Придется идти наобум. Археолога бы нам в компанию! Они специалисты по таким ребусам.

— Ладно, подожди годик-другой, я тем временем слетаю за ними на Землю... Пошли!

— Пошли...

Оба чувствовали себя неважно, и непочтительная легкость их разговора была защитной реакцией. Мертвенность

корабля угнетала. Собственно, то же самое могло случиться и с людьми, как, увы, и случалось. Некоторые земные звездолеты, верно, и сейчас вот так же несутся в Пространстве и будут в нем странствовать еще миллионы лет.

Вещество, которым был покрыт пол, лишь с виду казалось прочным. Едва Конкин на него ступил, как оно взвилось облачком пыли, которая, понятно, и не думала оседать. Обернувшись, Конкин с досадой посмотрел на ребристый след своей подошвы. Вот уж действительно «на пыльных тропинках...». Теперь этот след сохранится навечно. То есть, разумеется, не навечно, но пару миллионов лет он вот так продержится.

— Не годится, — сказал Зеленин. — Все запылим.

— Естественно, — ответил Конкин и слегка оттолкнулся.

Здесь была сила тяжести, но такая ничтожная, что можно было парить, лишь иногда касаясь стен. Регулируя полет, они подплыли к овальной двери (если это, конечно, была дверь), но она не поддалась. Не поддались и другие.

— Успеем вскрыть, — сказал Зеленин.

Конкин молча кивнул и поплыл дальше.

Все одно и то же: пустой, изогнутый, яйцевидный в сечении коридор и овалы по сторонам. Так прошло пять минут, десять...

Внезапно коридор оборвался. В его торце тоже находился овал. Конкин тронул его без всякой надежды, однако на этот раз дверь уступила нажиму.

Застывший в кресле скелет — вот первое, что они увидели внутри. То и другое было столь необычным и чудовищным для взгляда, что люди в первый момент даже отшатнулись.

Зеленин молча водил съемочной камерой, и так же молча Конкин наблюдал за ним. Ничто не теряется, думал он. То, что ложится сейчас на голограмму, прорастет, как семя. По скелету легко восстановить индивидуальный облик, а в облике отражен характер. Еще найдутся записи,

много чего отыщется. А поскольку все связано со всем так тесно, что капля многое может рассказать об океане, корабль — о цивилизации, строчка дневника — об авторе, то, перебрав информацию, установив системно-корреляционные связи, Киб приближенно воссоздаст и структуру личности, возбудит оборванный смертью ход мыслей и чувств. Давно не проблема, вот так реконструировать человеческую психику, наделить модель самостоятельной, вплоть до участия в разговоре, жизнью. С инопланетянином, понятно, все будет гораздо, гораздо труднее. Но и тут небезнадежно: чем выше цивилизация, тем совершеннее ее память, тем лучше в ней сохраняется личность.

«Ты может быть, думал, что все уже кончено, — мысленно обратился Конкин к черепу. — Не совсем...»

Он перевел взгляд на пульт перед креслом. Скорей всего это помещение было чем-то вроде рубки или обсервационной. Но какие немыслимые устройства! Даже кресло можно отождествить с креслом только потому, что его явно использовали как сиденье, иначе вряд ли бы тут оказался скелет. И пульт можно было назвать пультом только по аналогии: сплошной сюрреализм...

— Киб сообщает, что готов по снимкам реконструировать облик инопланетянина, — сказал Зеленин. — Посмотрим?

— Да, да, конечно!

Зеленин, прижав ладонь для упора к груди, привычно отрегулировал наручный видеофон. Зеркальце тут же осветилось, и рядом с настоящим креслом возник его голографический двойник. Теперь в рубке было два внешне одинаковых кресла, два неотличимых скелета, только призрачный чуть подрагивал вместе с креслом в такт биению пульса замершей руки Зеленина.

«А пульс-то частит, — машинально отметил Конкин. — Ну естественно...»

Мгновение спустя сходство изображения с оригиналом исчезло, поскольку Киб начал реконструкцию. Никакой — от

Кювье до Герасимова — основоположник метода не успел бы понять, что к чему, — так быстро работал Киб.

— Да... — только и сказал Конкин.

Не то чтобы возникшее в кресле существо вовсе не напоминало человека; выражение его глаз не было бессмысленным, как у стрекозы или ящерицы. Но сами эти глаза походили на человеческие не больше, чем репей на оптическую линзу. Так же не соответствовало земным канонам и тело, странно вывернутое по всем трем осям, винтообразное в конечностях.

— Его моторика ясна Кибу. — Зеленин повернул к Конкину напрягшееся лицо. — Он может показать тело в движении...

— Не надо!

Это вырвалось непроизвольно, и Конкин не пожалел об этом, хотя для дальнейших поисков отнюдь не мешало бы узнать, как движутся инопланетяне. Но увидеть еще и ожившее тело...

— В другой раз, — поспешно добавил Конкин.

Зеленин понимающе кивнул. Он выключил передатчик, и в рубке снова осталось лишь одно кресло со скелетом, похожим на замысловатое корневище, вернее, ни на что не похожим.

— Да, — обескуражено проговорил Конкин. — Теперь я сомневаюсь, поймем ли мы их...

— Лишь бы хватило информации, — пробормотал Зеленин. Быстрым взглядом он окинул пульт. — Попробую для начала помозговать над этой аппаратурой.

— Тогда я продолжу осмотр...

Вскоре, однако, выяснилось, что осматривать, в сущности, нечего. Всюду и везде Конкина встречали запертые двери. Какие знания, какая необыкновенная техника скрывались за ними? Взломать двери, конечно, было нетрудно, но всему свое время; сначала надо было составить общее

представление о корабле, его создателях и о том, что здесь случилось.

Но пустые коридоры, не менее пустые переходы меж ярусами мало что могли рассказать. Столь же мало говорили уму кое-где встречающиеся знаки и надписи. Конкин аккуратно транслировал их изображения Кибу, и тот, конечно, уже бился над загадкой чужого языка. Без малейшего, само собой, успеха, поскольку данных не хватало.

Разрушения охватывали значительную часть корабля, но все еще было непонятно, что послужило их причиной — какой-нибудь взрыв внутри или столкновение звездолета с чем-нибудь в Пространстве. Пока Конкин даже не мог сообразить, где, собственно, находится ходовая часть звездолета и по какому принципу он движется. Двигался... Велик был соблазн покопаться в разрушенных помещениях, но Конкин не поддался искушению и потому, что это было преждевременно, и потому, что в хаосе можно было застрять, и потому, что там, если причиной взрыва была неполадка двигателя, могла оказаться неведомая пакость — неизвестно же, каким было горючее!

Все же Конкин сунул голову в одну из трещин, которая наискось рассекала закругленную стену перехода неподалеку от тех мест, где все было смято и искорежено. Ничего особенного Конкин не увидел. Пыль, мусор, опрокинутое сиденье, похожее на кресло в той рубке. Нет, было еще кое-что! Близ стены, под самой трещиной валялась игрушка.

То была небольшая, размером с ладонь, скульптура какого-то, судя по всему, зверька. Почему он решил, что это игрушка?! С таким же успехом это могло быть амулетом, сувениром, ночником, диковинным прибором — всем, чем угодно. И все-таки первой догадкой было — игрушка! Вид зверька был столь же непривычным, как все остальное, но в нем чувствовалась свойственная игрушкам обобщенность форм, мягкая ласковость, которая невольно вызывала желание погладить диковинного зверя. Конечно, это был обман восприятия, ложная подсказка земных образов. Откуда

могла взяться на звездолете игрушка? Впрочем... Впрочем, и у него на столике сидел подаренный кем-то пушистый бельчонок.

Как бы там ни было, смотреть на инопланетного звереныша было приятно, хотя его тело тоже было скручено и перекручено самым немыслимым образом. Но чуждое всему человеческому искусство все же делало его приемлемым для взгляда. Может быть, по контрасту со всем остальным. Может быть.

«И все-таки контакт, пожалуй, небезнадежен, — подумал Конкин. — Есть что-то вроде мостика...»

Он уже возвращался и более по обязанности пробовал оставшееся, автоматика перекрыла и заблокировала все, что могла. Исключением почему-то оказалась только рубка, хотя автоматика в первую очередь должна была сберечь этот жизненно важный центр. Но всякое бывает при аварии.

Вот именно: внезапно подалась еще одна дверь. Не ожидая этого, Конкин не рассчитал усилия и влетел внутрь темного помещения, которое, однако, лишь мгновение оставалось темным. Вспыхнувший в нем свет был столь ярок, что Конкин невольно зажмурился. Его рука инстинктивно сжала рукоятку дезинтегратора.

Нелепый жест — помещение было пустым, если не считать нескольких сидений у стены справа. Не это поразило Конкина — свет! Мало того, что освещение уцелело, мало того, что оно включилось автоматически, оно было солнечным!

Никакой ошибки... Все заливал яркий солнечный (южный, подсказало ощущение) свет. Только рассеянный, ибо никакого солнца вверху, разумеется, не было. А было вверху чистое, голубое, бездонное, совсем земное небо. И в нем незримо присутствовало солнце.

Солярий, совсем как на земном звездолете...

Собственный стук сердца оглушил Конкина. «Ничего не понимаю, — билась одна и та же мысль. — Совсем ничего...»

Нет, то был отнюдь не солярий. Когда прошло первое ошеломление, Конкин обратил внимание еще кое на что. На сиденья возле стены, на прямоугольную форму самого помещения. Почему только здесь?.. И эти вроде бы деревянные кресла... Они было именно сиденьями, а не решетчатыми мясорубками, как все прочие на этом корабле. Человек вполне мог на них усесться, они имели вполне земной вид; Конкин даже готов был поклясться, что когда—то видел подобные. Нет, чепуха. Откуда здесь могли взяться земные сиденья?! Впрочем, таких на Земле и нет. Все разные и необычные, грубовато-примитивные, правда, изящные в этой своей примитивности, но для сидения, похоже, неудобные.

Или это тоже обман восприятия? Поколебавшись, Конкин присел на одно из кресел так осторожно, точно под ним была тикающая мина. Однако ничего не произошло. Сиденье оказалось очень тесным и неудобным; неясно, на кого оно было рассчитано, но уж, во всяком случае, не на человека в скафандре. И материал, разумеется, не был деревом, детектор это определил однозначно: какой-то имитирующий древесину пластик...

В подлокотники сидений были вмонтированы ряды кнопок. А это еще зачем? Быть может, то, на чем он сидит, вовсе не кресло... а плита для поджаривания? Или катапульта в иное измерение? Что-нибудь в этом роде. Нажмешь кнопку... Тогда понятно, почему это устройство так непохоже на кресло в рубке: совсем иное назначение.

Конкин еще раз внимательно оглядел помещение. Огромный пустой зал, словно инопланетяне понятия не имели об экономии места. Это на звездолете-то? Пол и стены разлинованы на прямоугольники и квадраты; цвет очерчивающих линий — красный, желтый, зеленый, синий. Последовательность спектра. Таков же цвет и порядок кнопок на подлокотниках. Может быть, экипаж и вправду катапультировался отсюда в какое-то иное измерение? Что нам известно об их технике?

«Допустим, ничего, — подумал Конкин. — Зато нам коечто известно об их мышлении. Пусть у них все шиворотнавыворот, однако инстинкт самосохранения им присущ, как и людям.

Без этого они все давно погибли бы. Значит, надежнее всего должны быть укрыты жизненно важные центры звездолета. Сами инопланетяне или автоматика в момент аварии обязаны заблокировать все, что возможно. Так и случилось, задраено все. Кроме этого помещения. Кроме рубки или того, что мы считаем рубкой. Выходит, это как раз маловажные помещения, какие-нибудь подсобки».

Логично, но нелепо. Слишком много аппаратуры в рубке. Слишком велик этот зал и слишком необычен для звездолета. И в нем горит свет. Нигде не горит, а здесь, можно сказать, пылает. Точно это самое важное, чтобы он здесь горел. Вспыхнул при появлении живого существа. Озарил все до последней пылинки... которых, кстати, здесь нет. Очевидно, пол их каким-то образом всасывает. Расточительно в аварийной ситуации, дико, ненужно!

Значит, нужно, коли есть! Инстинкт самосохранения — это не все, далеко не все, даже у лягушек не все. Разум всегда ставит перед собой какую-то высшую цель. Вообразим себя на месте инопланетян. Итак, взрыв, катастрофа. Первое — спасти жизненно важные центры, хоть как-то восстановить разрушенное, уцелеть. Не вышло, не получилось, корабль обречен. Что тогда? Тогда надо сберечь, сохранить для других все самое ценное. Записи, наблюдения, информацию. Или груз.

Правильно! Только какое ко всему этому отношение имеют две незаблокированные двери? Смысл таких дверей — впускать. Смысл включившегося света — озарять. Смысл кресел (если это кресла) в том, чтобы на них сидеть. Смысл кнопок в том, чтобы их нажимать. Смысл земного, столь неуместного здесь «неба» ... Смысл пустых квадратов... Мудро выразился во сне Дон-Кихот: «Где мне еще быть, как не в памяти?»

При чем здесь Дон-Кихот?!

— Конкин, ты что, оглох?..

— Я?.. Извини, задумался. Тут странно...

— Не у тебя одного. Ты где находишься?

— Под земным небом.

— Я серьезно спрашиваю!

— Я серьезно отвечаю. Надо мной ясное земное небо. Его имитация.

— Ах так! Еще любопытней... Оставайся на месте. Опиши дорогу. Иду с новостями. И какими!

Зеленин столь стремительно возник на пороге, что свет взблеснул на полировке его скафандра, точно разряд скопившейся энергии. Мельком взглянув на «небо», Зеленин быстро двинулся к Конкину.

— Я стал разбираться в аппаратуре. Все мертво! Кроме одной цепи...

— Я так и думал.

— Подожди! Возникла азбучная в своей простоте схема нашего участка Галактики. И курс, понимаешь, там был прочерчен весь, до момента аварии, курс!

— Откуда они шли?

— Важнее, куда они шли. На Землю!!!

— На Землю?! Быть этого не может. С Земли!

— Как... с Земли? Откуда ты взял? На Землю, они летели на Землю!

— Ты в этом уверен? Абсолютно уверен?

— Еще бы!

— Но в таком случае... Так: с Земли и на Землю... Верно!!! Ну и глупец же я! Да, да! Вот теперь все стало на место.

— Что?!

— Все. Почему здесь над нами такое «небо»?

— Очевидно, у них похожее.

— И сиденья тоже? Приглядись.

— Постой, постой... Это не для инопланетян, не та у них анатомия. Но не для человека же!

— Ты не узнаешь эти сиденья?

— Чего узнавать, на Земле таких нет.

— Да, но они были.

— Были?!

— Я тоже их не узнал, потому что мысли не мог допустить о тождестве их облика с земными предметами. А когда я все же разрешил себе подумать о такой вероятности, то, не надеясь на память, запросил Киба.

— И он...

— ... Отождествил внешний облик этих сидений с теми, которые изготовлялись на Земле в глубокой древности.

— Не может быть!

— Стопроцентная корреляция.

— Но курс! Если инопланетяне уже были на Земле...

— Были их предки. Сейчас на Землю летели, но, увы, не долетели их потомки.

— Знаешь, я лучше сяду... — ослабевшим голосом проговорил Зеленин. — Смешно, но от всех этих неожиданностей у меня даже в такой невесомости подкашиваются ноги...

— Я как раз хотел предложить тебе сесть.

— Зачем?

— Для проверки одной гипотезы. По-моему, смысл этого «неба» над головой в том, чтобы мы, люди, видели все в привычном для нас освещении.

— Что «все»? Пустоту?

— Нет. Видишь эти квадратики на полу и кнопки в подлокотниках? Меж ними явная связь.

— Согласен.

— Тогда вопрос. С чем таким инопланетяне могли покинуть Землю, а теперь вернуться, что ясно и однозначно раскрыло бы нам при встрече, каковы они?

Зеленин сосредоточенно задумался.

— Да, — сказал он наконец. — Раз они шли на контакт, эта задача перед ними стояла — сразу рассеять возможные сомнения человечества. Чем же они могли... Информацией о земном прошлом? Глупо, сами имеем. Знаниями... Стоп! Как

бы мы сами поступили, вновь отправившись к тем, с кем прежде рано было вступать в контакт?

— И что при первом посещении мы могли взять такого, что не обеднило бы то человечество и стало бесценным подарком для нынешнего?

— Как, неужели ты думаешь...

— Отперты были только две двери. Свет зажегся только в двух случаях. С чьим кораблем мог скорей всего повстречаться погибший звездолет в этом участке Пространства? С земным. У инопланетян была цель, и перед смертью они позаботились о ней как о самом важном. Эти кресла — приглашение сесть. Нам остается лишь нажать кнопки.

— Так нажмем их, — дрогнувшим голосом сказал Зеленин.

В немом восхищении оба смотрели на отлитое в серебре летящее тело Пенорожденной. Статуя, как бы из ничего, возникла над ближним квадратом. Откинув голову, готовая обнять мир, с улыбкой счастья, девушка возносилась из бега морской волны, и свет соленой влагой мерцал на крутой груди, ветер порывом откидывал невесомые волосы, и вся она была порывом открытой солнцу юности. Сияющим и лучистым взглядом она глядела поверх закованных в скафандры космонавтов, а те, онемевшие, стояли перед ней, забыв о космосе и о времени, о знаниях своего века и о мудрости тех, кто погиб, возвращая Земле это нежное чудо.

«Да, — наконец пришел в себя Конкин, — мы поступили бы так же. Не понимая, даже не принимая чужой красоты — спасли бы ее. Ибо можно восстановить утраченное знание, и вернуть жизнь в пустыню, и даже зажечь угасшее солнце. Одного разум не может ни под какими звездами: вновь обрести погибшее искусство...»

Конкин попытался представить, сколько великих сокровищ было утеряно за долгие столетия земных войн, и не смог. Тысячи статуй создал Пракситель: они не дошли до потомков. А сколько осталось неизвестных художников,



какие творения вообще забыты? Кто помнил, кто знал о существовании вот этой прекрасной девушки?

Забвение — вот самое страшное для человека слово.

Конкин придвинулся к статуе. Он ни на секунду не усомнился, что перед ним лишь голографический слепок утраченной людьми скульптуры. Но разницы не было никакой, пальцы невольно ждали встречи с одухотворенным металлом. Конечно, нет! Рука прошла сквозь пенное серебро волны.

Так и должно было быть. Взять оригинал — значило бы его похитить. Но и оставить было невозможно, поскольку инопланетяне прекрасно понимали, какая судьба ждет юное человечество и как ничтожен шанс этой красоты уцелеть. Они взяли с собой только образ, но образ, равный оригиналу, где и когда угодно восстановимый в своей телесности. Так изваяние стало неуничтожимым, девушка бессмертной, точно и не было варвара, который там, на Земле, однажды переплавил эту красоту в звонко бренчащие монеты.

— Может быть, на своей планете они не только хранили, но и любовались ею, — глухо проговорил Конкин.

— Все узнаем, — спокойно ответил Зеленин. — Раз они взяли ее с собой, значит, уже тогда они разглядели в людях лучшее. Какие еще могут быть трудности?

Он уверенно нажал подряд на все кнопки. И люди увидели, как, теснясь и заполняя собой пространство, к ним возвращается все древнее, казалось бы, навеки утраченное искусство былых времен и народов.

Конкин неподвижно завис над ярко озаренным прожекторами телом чужого звездолета. Инаковость его форм уже не поражала, наоборот, казалась гармоничной. Полное совершенство замысла и исполнения — вот что теперь видел глаз.

Внезапная, дотоле, видно, дремавшая мысль, оттеснив счастливую усталость, наполнила Конкина беспокойством. Какая странная, если вдуматься, и хрупкая нить

случайностей привела их к погибшему кораблю, вернула Земле ее сокровища! Если бы не раннее его, Конкина, пробуждение, точка, очевидно, исчезла бы с экрана, прежде чем на нее взглянул человек. И если бы не дотошная любознательность Киба... Если бы, если бы, если бы!

Да, но что в этом особенного?

Столь неочевидный поворот мысли поразил Конкина. Действительно! Самое удивительное, что в этом «чуде случайностей» нет ничего особенного. «Если бы» вездесуще. Если бы Земля возникла чуть дальше от Солнца или была чуть ближе, о какой жизни могла идти речь? Если бы само Солнце оказалось активней... Миллионы «если бы»!

А в результате — мыслящий разум.

Слепая игра вероятностей, обычная закономерность случайного, вот и все.

Но разум-то не вслепую играет! Как мог бы художник достичь совершенства, перебирая все сочетания красок и форм? Ему и миллиарда лет не хватило бы. Как ученый из такого же хаоса вариантов смог бы выделить связующий факты закон? Менделеев — тот часть этой работы проделал во сне... Связей в мире больше, чем атомов, но разум не теряется в этой чащобе. Ему даже удается предвидеть будущее.

А их, людей двадцать первого века, интуиция оказалась сегодня всего лишь равной гениальному усилию того скульптора, который тысячи лет назад изваял под небом Греции эту прекрасную девушку. Впрочем, так ли уж равной? Из бесконечных сплетений действительности они всего лишь выхватили нужную нить, из миллиарда возможностей выбрали наилучшую, следствием чего стал верный поступок. Но такого же творческого взлета могли достичь и другие люди; не эта, так другая, третья цепь совпадений могла бы их привести к тому же открытию. А древний ваятель создал то, что никто, никогда и нигде не смог бы повторить ни при каком стечении обстоятельств!

Вот что инопланетяне поняли давным-давно. Вот что они спасали и спасли.

Обратясь лицом к мертвому кораблю, Конкин в безотчетном порыве поднял руку в приветствии тех, на чьем языке говорил древний ваятель.

— Хайре! Здравствуйте!

За тесными громадами зданий гас блеклый московский вечер, и в окнах темных фасадов, высвечивая недра квартир, загоралось электричество — этот пещерный огонь двадцатого века. Наконец и хозяин застолья, щелкнув выключателем, послал в сумерки свою каплю света. В галактике человеческих жилищ одной звездочкой стало больше.

Внутри комнаты столь резкая перемена света сбила, как это бывает, и без того вялый разговор. Впрочем, он склеился снова — все тот же натянуто-обтекаемый, парадно-неловкий. Таким его делало присутствие среди гостей друга хозяина, человека, который первым из всех недавно ступил на раскаленную поверхность Венеры. Гости деликатно старались, чтобы он не чувствовал себя центром жадного интереса, и выбирали обычные для застолья темы, одновременно опасаясь, что эта будничность представит их людьми неинтересными, тогда как каждый, наоборот, надеялся, что именно в его обществе космонавт распахнется душой и они уйдут с вечера, к чему—то особо приобщенные. Напряжение разговору придавало и то, что некоторые ловили себя на скользком желании во что бы то ни стало блеснуть перед избранником человечества, а может, и доказать свое над ним духовное превосходство. Так уже само присутствие знаменитости возбуждало жесткие лучи самоанализа, и от всего этого Гаршин чувствовал себя все более неуютно.

"А каково ему, центру всех наших притяжении и отталкивании? — с пронзительным сочувствием подумал он. — Все ждут от него чего-то свежего, незаурядного, а он же пуст! Ну да... Бесчисленные интервью, миллиардные аудитории выжали из него все до последней капли, он все уже отдал нам, ибо всякая личность конечна. Или не так?"

Было похоже, что Гаршин ошибся, ибо под занавес его размышлений хозяин наконец удачно повернул разговор, и теперь космонавт рассказывал, со вкусом рассказывал о

вчерашних автомобильных гонках, на которых он вопреки основательной (сами понимаете!) детренировке занял призовое место. При этом сильные, уверенные руки космонавта двигались в такт словам, как бы сжимая руль бешено рвущейся на повороте машины, а глаза блестели оживлением. Чувствовалось, что он был счастлив вчера, дорвавшись до мужского, с привкусом железа и риска дела, став рядовым, без скидок, участником схватки за первенство. Тишина за столом установилась благоговейная. Эта почтительность внимания, какой не могло быть, говори о том же самом кто угодно другой, не сразу дошла до увлеченного рассказом космонавта. Но когда дошла, речь его, не потеряв гладкости, как—то сразу обесцветилась, а взгляд похолодел. И Гаршин понял, что жадный, верней, жаждущий интерес гостей включил в космонавте уже привычный и тягостный навык обязательного, не для себя, говорения.

Он с усилием отвел взгляд туда, где стекло книжной стенки туманно удваивало затылки, лица, движения рук, льдистые силуэты бутылок. Странным и нелепым показалось Гаршину это мгновение. Ведь рядом, здесь, в этой будничной комнате, сидит человек, недавно побывавший на другой — подумать только! — планете, ступивший на дно мрачного, давящего, жаркого ада, вынесший все это, видевший то, чего никто не мог, даже не смел увидеть, и несущий в себе образ чужого мира. И что же? При чем тут автомобильные гонки?! Почему внимание сосредоточивается даже на таком пустяке, как отказ космонавта попробовать свекольный салат, а банальная фраза: "Спасибо, я не любитель свеклы..." — вдруг как-то иначе освещает его самого и все им сделанное?

Разговор меж тем окончательно зачадил, и в улыбке хозяина, которой он одарял всех, все отчетливей проступала мука.

— Есть тост, — не выдержал Гаршин, и все удивленно притихли, поскольку знали, что тосты он говорить не умеет.

— Космос и косметика — слова одного корня, вот что я хочу сказать! Но космос далек, хотя и велик, напоминает о себе редко, тогда как косметика, если брать это понятие широко, вездесуща. Она в некотором роде как воздух, которым нельзя не дышать. Но эта спертость ощутима и тогда, когда... Короче, если косметика каждодневна, то...

"Влип!" — холодея, подумал Гаршин, чувствуя себя не в силах выпутаться из сложных разветвлений мысли и тонко, главное, необидно закруглить тост.

— Словом, за умение всегда различать космос и косметику в их противоположности...

— В единстве! — внезапно подхватил космонавт. — Ведь что? — Он быстро взглянул на окружающих. — Изначально у греков космос означал порядок, гармонию, лад мировой красоты...

— Которая не только у греков считалась синонимом счастья! — обрадованно согласился Гаршин.

— Именно. Космос как физическую протяженность мы бодро осваиваем. И житейски чувствуем себя в нем, как в непривычном, еще не по росту, костюме. Нужны, необычайно нужны такие искатели новой гармонии, которые и о былом античном смысле презренной косметики вспомнят. Простите, не знаю вашего имени...

— Сергей Павлович Гаршин, искусствовед, — торопливо подсказал хозяин.

— Вот как? — космонавт пристально посмотрел на Гаршина. — Живопись, скульптура, кино?

— Живопись, — смущенно ответил тот.

— Древняя?

— Нет, современная.

— Хорошо! Уйдя в философию, я, извините, сбил ваш тост. Что же, за единство мысли, чувства и дела, за их гармонию, не так ли?

Все шумно и облегченно потянулись чокаться. Улучив момент, космонавт наклонился к хозяину. Тот быстро закивал. Гаршин ничего не расслышал, но обостренное чутье

подсказало, что разговор о нем. Позже, когда все поднялись из—за стола, космонавт остановил его.

— Вы не можете заехать ко мне? Есть небольшое, связанное с искусством дело, и вы для него кажетесь подходящим человеком.

Все выглядело так, будто тяжелая рука космонавта отдыхает на руле и будто машина идет своей волей, ювелирно вписываясь в просветы движения, чтобы тут же стремительно обогнать всех. Массивное, с крутыми надбровными дугами лицо космонавта напоминало Гаршину кого-то, он так и не уловил кого. Телевидение и снимки скрадывали это сходство. Сейчас беглое скольжение глубоких уличных теней огрубило лепку лица, и Гаршин наконец понял, кого напоминает его новый знакомый. Древнего, чей портрет был в школьном учебнике, охотника на мамонтов!

Ничего удивительного в этом не было — облик человека мало изменился за последний десяток тысячелетий. Все же наблюдение поразило Гаршина. Черт знает что! И мозг прежний, не только лицо, а давно ли человек валил мамонта, и вот теперь он кладет к своим ногам целые планеты... Что же будет его трофеем завтра?

— Трудно вам, Сергей Павлович, должно быть, приходится, — без улыбки сказал космонавт.

— Что?.. Почему?

— Сфера такая — искусство. У нас сделано дело, так уж сделано. А у вас иногда спор на годы — шедевр появился или мазня.

— Не совсем так... Кстати, в точнейшей вроде бы геометрии работу Лобачевского еще дольше считали бредом.

— Это родственная сфера, я не о том. Что мгновенно и всеми оценивается по достоинству? Достижение какого-нибудь полюса, покорение Джомолунгмы или рекорд в спорте. Потому, очевидно, и мы в героях ходим.

— Что справедливо. У вас за неудачу плата другая

— Бывает, не возвращаемся, верно. Но и художник за выход на новую орбиту искусства, согласитесь, часто расплачивается пережогом нервов. И если уж выбирать конец...

— Сейчас вы, чего доброго, скажете, что выбрали свою профессию из—за малодушия!

— Один — ноль! — Космонавт скупо улыбнулся. — Кстати, сколько всего картин было написано только за последние полвека?

— Не знаю. Точно этого никто не знает. Миллионы.

— А о скольких вам известно хоть что-нибудь?

— О тысячах... Право, не считал, да и зачем?

— Значит, есть миллионы, о которых даже специалист ничего не знает, не слышал, не помнит. Жутковатое соотношение удач и попыток, вам не кажется? Вот мы и приехали.

Космонавт легко взбежал по ступенькам подъезда. "Я-то, дурак, решил, что личность исчерпаема! — поспешая за ним, подумал Гаршин. — К чему он, однако, клонит?"

Лифт пулей взлетел на сорок второй этаж.

В квартире, судя по ее виду, скорей гостили, чем жили. Возможно, это впечатление создавали широкие, как на аэродроме, во всю стену окна. Дом был типа "скворечника", ячейки квартир висели свободно, не перекрывая друг друга, что делало остекленное пространство комнат похожим на высотную наблюдательную площадку. Шоссе внизу выныривало из ложбинки в гору и рдело потоком красных огоньков, словно там катился шелестящий, ало мерцающий в темноте поток лавы.

— Хочу познакомить вас с одним сделанным на Венере снимком, — сказал космонавт. — Вот, держите.

Гаршин недоумевающе взял небольшую, размером с открытку, фотографию.

— Мрачноватый пейзаж...

— Других там нет. Вглядитесь, пожалуйста, внимательно.

Гаршин послушно вгляделся и не пожалел. Пейзаж был не просто мрачным. Две высоких и плоских, ржавого цвета

скалы расходились створками ворот, приоткрывая вход в никуда, ибо там, в глубине, было нечто неразличимое не мрак вроде бы, но тень хуже мрака, какой-то безобразный, стерегущий, нехороший сумрак. Что-то мертвенное, но ожидающее, готовое заглотить мерещилось в нем. И створки скал раскрылись, точно западня, войди — и сомкнутся даже без скрежета. Справа и слева от них не было ничего, так, муть пустого пространства, но чувства странным образом подсказывали, что стоит лишь войти в ворота, как и эта мнимая пустота обернется хотя и призрачной, однако неодолимой изнутри преградой. Только передний план был лишен этой двусмысленной зыбкости: все четко, ясно, определенно, просто большие и малые камни. Возникало ощущение разлада самой реальности, будто все, что вблизи, — настоящее, а все дальнее, за скалами, принадлежит сновидению.

Эта особенность пейзажа раскрывалась не сразу, не при беглом взгляде.

— Вы заходили туда? — почему—то шепотом спросил Гаршин.

— За скалы? Ну, разумеется. А, понимаю! Веет чем-то загробным, так? Нет, просто шуточки рефракции воздуха, она там чудовищная, еще не то можно увидеть. Но пейзаж явно неземной, согласны?

— Еще бы!

— Вот это главное. Скажите, мог ли художник задолго до полета написать такой сугубо венерианский пейзаж? Не просто похожий, а тот, что вы видите?

— Конечно, нет!

— Даже гений из гениев? Как это у Блока: "Все дни и все ночи налетает глухой ветер из тех миров, доносит обрывки шепотов и слов на незнакомом языке. Гениален, быть может, тот, кто сквозь ветер расслышал целую фразу..." Такого не могло быть?

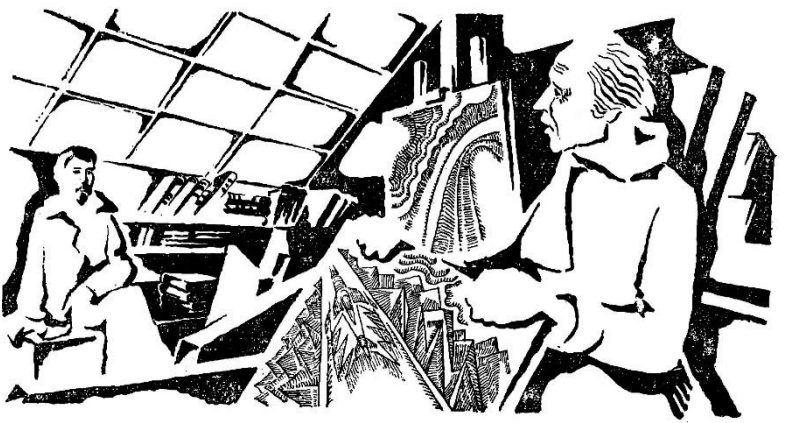
— Что вы! Нечто фантастическое, созвучное настроению, колориту еще допустимо. Но венерианский, не покидая Земли, пейзаж? Откуда? Это немыслимо.

— Что мыслимо, а что нет, можно знать, лишь владея абсолютной истиной, — сухо сказал космонавт. — Гениальный художник все-таки был. Смотрите.

То, что очутилось в руке Гаршина, было снимком, давней и любительской репродукцией какого-то рисунка. Потертость, ветхий перелом уголка, главное, фотобумага, какой теперь не было, устраняли всякое сомнение в его возрасте. Гаршин даже отпрянул. Невероятно, сон! На невесть, когда сделанном снимке был тот самый, со скалами, гнетущий пейзаж. Кое-где пропорции оказались смещенными, некоторые детали отсутствовали, местами иной была цветовая гамма, камни на переднем плане даны намеком, но главное было схвачено точно, а частности в рисунке и должны были быть другими, поскольку всякий художник по-своему видит и одухотворяет мир.

— Откуда? — собственный голос дошел до Гаршина словно из другого измерения. — Как это возможно?!

— В том и загвоздка! Там, на Венере, едва эти скалы показались, я почувствовал, будто их уже видел, когда-то, знал в какой-то иной жизни. Ложная память, знаете?



— Да, да...

— Ее психологи объясняют без запинки, хотя, собственно, что мы знаем о подсознании? Но тогда я малость струхнул. Хороша ложная память, если я точно знаю, что именно вот сейчас откроется! И открылось, все точь-в-точь. Нервы у меня в порядке, но тут я отключился, никаких сигналов не слышу. Что я, святым духом прежде бывал на Венере?! Едва отшутился, когда ребята пристали, чего это я вдруг изобразил собою статую командора... Наконец я понял, где и когда видел этот треклятый пейзаж. На рисунке! А кому скажешь? Земля просто решила бы, что я свихнулся. Даже здесь, отыскав снимок, трудно было отделаться от мысли, что это какой-то вселенский розыгрыш. Ни с чем же не сообразно! Тут, быть может, какие-то аксиомы с нарезки слетают, тут прежде все надо прощупать, со знающим человеком с глазу на глаз потолковать...

Космонавт уже давно встал и говорил, расхаживая, а Гаршин все никак не мог опомниться.

— Да, я же о главном забыл! Снимок лежал в отцовских бумагах. Разбирая их шесть лет назад, я на него наткнулся, мельком взглянул и сунул обратно. Откуда он у отца — понятия не имею. Все. Что скажете?

Гаршину показалось, что он пришел в себя и способен рассуждать здраво.

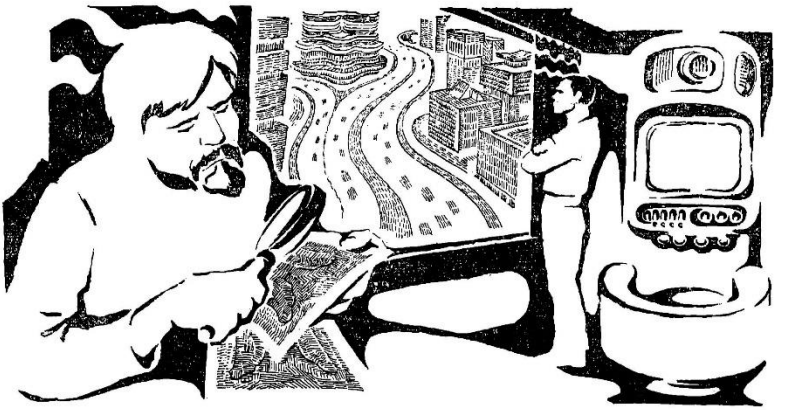
— Может быть, что-нибудь знает мать, друзья...

— Мать погибла в той же авиакатастрофе, друзей я, понятно, спрашивал.

Гаршин прикусил губу, и это вернуло ему чувство реального.

— Лупа у вас найдется?

Оказалось, что космонавт уже держит ее наготове. Гаршин погрузился в изучение рисунка, а космонавт мерно расхаживал из угла в угол своей вознесенной над ночным городом комнаты.



— Подписи художника нет, — Гаршин с досадой отложил лупу. — Это ладно, бывает. Но техника, краски, все остальное... Не понимаю!

— Чего именно?

— Видите ли, Пикассо десятки раз писал один и тот же стол, и он всегда получался разный. Потому что меняется видение художника, потому что сам стол — достаточно иначе упасть свету — всякое мгновение разный. А здесь... — Гаршин безнадежно развел руками. — Да окажись автор на Венере, еще вопрос, добился бы он такого сходства!

Космонавт фыркнул, как человек, на глазах которого переливают из пустого в порожнее.

— Наши эмоции никого не касаются, и зря я упомянул о попрании аксиом. Ничего этого нет. Рисунок и фотография нетождественны, все строго в пределах теории вероятностей.

— Искусство не физика!

— Но статистическим законам оно подчиняется, как все остальное. Миллионы рисунков, миллионы образов могут и обязаны дать случайное совпадение. Могут и обязаны, такова фантастика больших чисел. Наконец, перед вами факт. Вы что, уже и глазам не верите?

— Извините, — слабо улыбнулся Гаршин. — Я чувствую себя как тот монах, которому Галилей показал в телескоп другие миры… Ваш отец увлекался искусством?

— Не сказал бы. И фотографией тоже, так что это скорее всего подарок. Время съемки мною датировано: бумага отечественная, выпускалась с 1981 по 1989 год. Боюсь, вам это мало что даст, ведь картина могла быть написана куда раньше. Еще в средневековье, чего доброго.

Гаршин отчаянно замотал головой.

— Ничего подобного! Стиль — это не только человек, но и время. У нас, похоже, только и есть эта ниточка.

— Звучит безнадежно…

— Отнюдь. Техника работы меня смущает, впрочем, сейчас многие экспериментируют с новыми красками и основами, что лишь подтверждает современность рисунка. О том же говорит стиль. Нет, нет, — продолжал Гаршин, загораясь. — Вот вам первые анкетные данные нашего незнакомца. Современник — раз, соотечественник — два! Картина написана не раньше шестидесятых годов, когда возникла первая волна фантастической живописи три! Кстати, это объясняет безвестность произведения; мы, искусствоведы, такую живопись долго не принимали всерьез.

— И проморгали этот шедевр.

— Простите, тут уж я компетентен! Забудем о внешних обстоятельствах что перед нами? Есть настроение, экспрессия. И масса мелких, чисто художественных погрешностей. Ваш снимок гораздо сильней, потому что он документ. Так что нет ни шедевра, ни гения, есть талантливый дилетант или молодой, ищущий, неопытный художник.

— Гениален, выходит, не человек, а случай?

— Неважно! Круг поисков мне ясен, недели через три я либо найду автора…

— Либо?

— Либо мы слепые котята.

Лестница припахивала кошками, давним кухонным чадом, слизью окурков. Похоже, ничто не могло вытравить

этот столетний запах меблирашек, коммунальных квартир, военных разрух, хотя ступени были оттерты до белизны, в завитках чугунных перил не таилось пыли, а стены были покрыты флюоресцином. Настоящее не побороло прошлое, оно пропиталось им, и запах времени густел по мере того, как Гаршин поднимался от лифта к мансарде, надеясь и после стольких поисков, уже не веря в удачу.

Достигнув верхней площадки, он придавил кнопку звонка и, когда дверь открылась, увидел то, что и ожидал увидеть: серый от курева воздух, пол, к которому давно, а возможно, совсем не прикасались щетки автомата-уборщика, прислоненные к стенам картины в рамах и без, пропыленные стопы книг по углам, какие-то рисунки, ветхий диван и, конечно, мольберт. Хозяин смотрел на Гаршина с нелюбезным вниманием. Былой тощ, суховат, по бокам узкого черепа топорщились седоватые волосы, худую шею косо охватывал шерстяной, не первой молодости шарф.

— Чем обязан?

Гаршин назвал себя. Точно колючая электрическая искра мигнула и погасла в пристальных глазах художника.

— Так, так, так, — протянул он. — Привык почитать искусствоведов, как судей и распорядителей искусства. Прошу, чем обязан?

Гаршин не отозвался на скрытый выпад. Искусство — вредное ремесло. Если столяр сделает табурет, то не возникнет вопроса, нужен ли этот табурет, хорош ли он или никуда не годится. Все очевидно с первой минуты, тогда как художник, поэт, композитор обычно полон неуверенности, даже когда чутье подсказывает, что вещь удалась. И нет произведения, о котором сразу не сложилось бы двух и более мнений. Отсюда почти детская жажда похвал или, наоборот, защитная броня непоколебимой самоуверенности. Впрочем, одно часто сочетается с другим, и Гаршина всегда восхищала сила тех, кого эта ржавчина не могла коснуться. Но сочувствовал он всем, в ком видел талант, а поскольку о

Лукине знал лишь с чужих слов, то теперь первым делом глянул на его полотна.

— О вас говорят, — сказал он, — что вы давно пишете только для вечности. Начинаю понимать...

— Осчастливлен. Может быть, и с выставкой посодействуете?

— Оставим подковырки, — решительно сказал Гаршин. — У меня к вам дело.

— Спасибо за откровенность. — Лукин почему—то потер ладони. — Терпеть не могу притвор и благодетельных султанов от искусства. А что, интересно, вы поняли?

— Что вы нащупываете свою, трудную и необходимую дорогу.

Лицо Лукина осветилось.

— Да! — вскричал он. — Стойте, я вам сейчас кое-что прочитаю...

Он с обезьяньим проворством подскочил к груде книг, разворошил ее и с торжеством вытянул потертый томик.

— Вот, слушайте! "Не правда ли, странное явление — художник петербургский? Художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно!.. У них всегда почти на всем серенький, мутный колорит — неизгладимая печать Севера. При всем том они с истинным наслаждением трудятся над своею работой. Они часто питают в себе истинный талант, и, если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят, наконец, из комнаты на чистый воздух". Это Николай Васильевич Гоголь. Каково, а? Север, видите ли, неживописен, гнетущ для таланта, Север, с его убранством луговых цветов, озерной синью, ярким, не чета югу, небом, огненной осенью — бледен и сер! Добро бы чиновник—искусствовед писал, так нет же, гении литературы, который и к живописи прикосновенен был. Какими же он глазами смотрел? Как очевидного не видел? А потому и не видел, что в незрячее время жил, что глаз отечественного художника спал и

русская природа еще не была открыта. Ну а мы лучше? Одни мнут перины прошлого, левитанов перемалевывают, другие вовсе от пейзажа бегут, мол, фотографией заштамповано и не искусство даже в наш углубленно—атомный век, словом, все гладко, уныло, плоско, как сказал бы дорогой Николай Васильевич. А земля—то художественно еще не открыта! Да, да! Всю, целиком, сверху, после стольких лет авиации, мы видим ее не лучше, чем Гоголь Север! Нет, скажете? Вспомните выставки, почитайте писателей — где у них Земля с большой буквы? Зрение пешехода, они и из стратосферы только унылые снежные равнины облаков замечают. А оттуда такое открывается! Вот, смотрите, как здесь натура человеческая просвечивает!

Этюды, эскизы, незавершенные картины с грохотом стали отделяться от стен и окружать Гаршина, который не успевал вставить ни слова.

— Вот наш автопортрет — Подмосковье! В природе все округлость, излом, завиток, а чего мы коснемся — там прямизна оград, улиц, строений, дорог, ровные фигуры полей, даже леса растим геометрично! Математическая линейка у нас в голове, все прямим, прямим...

"Не ново, еще у О'Генри было", — защищаясь от этого потока слов, подумал Гаршин.

— ...Какой контраст с горами! Видели вы их прежде? Нет! Алмазы ледников, бастионы круч, та—та... Восприятие человека—муравья. А здесь у меня? Теперь-то вы видите, видите планетную сущность гор? Они же родственны узорам на морозном стекле!

Гаршин отпрянул в сторону от очередного холста.

— Ага, вы, кажется, поняли! Самолет распластал хребет, я вгляделся тот же ветвистый причудливо—правильный узор отрогов, ущелий, снега! А вы говорите — Земля открыта... Это палящее лохматое солнце над красным марсианством Кызылкумов вы когда-нибудь видели? Отражение радуги в Байкале от берега до берега вам знакомо? Шелковый узор ветра на синеве Арала — это вам что, очередные

березки, от которых тошнит на выставках, как от зубрежки таблицы умножения? Вы еще обо мне статьи писать будете, монографии посвятите!

Гаршин вздохнул. Перед ним был тот самый случай неистовой работоспособности и страсти, когда талант ума и наблюдательности, увы, не подкрепляется художественным и содержание любого полотна можно исчерпать словами, чего нельзя сделать ни с одним значительным произведением искусства, будь то "Джоконда" или левитановский пейзаж.

Радовал только поиск, действительно нужный, потому что Земля художественно и в самом деле еще не открыта. Гаршину было жаль Лукина, и он дал себе слово помочь с выставкой, ведь столько художников получают их, не имея даже того, чем обладал Лукин. Но поступиться истиной Гаршин не мог.

— Странно, что вы начинали с фантастики, — осторожно сказав все, закончил он.

— Воображение лишь жалкая тень действительности...

Лукин поправил шарф и, морщась от дыма очередной сигареты, как бы в удивлении оглядел свои беспорядочно расставленные полотна. Гаршина он уже не замечал.

Тот достал снимок.

— Простите, вот это случайно не ваша в молодости работа?

— Нет, — коротко бросив взгляд, сказал Лукин. — Не моя и моей, само собой, быть не может.

— Тогда, быть может, вы знаете автора? — безнадежно спросил Гаршин.

— Автора... Автора, простите, чего?

— Автора этой картины.

— Картины?

— Ну да...

— Повторите-ка, повторите...

— Я ищу автора этой картины, что тут непонятного?

— Вы, искусствовед, ищете?! Так из-за этого я и удостоился... Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

— Позвольте...

— Да знаю я автора, знаю! Ха-ха-ха...

— Он жив?!

— Живей нас с вами... — Лукин вытер набежавшие слезы. — Ах, какая чудесица! Ах, славное, дышлом вас по голове, племя искусствоведов! Так вам нужен, позарез необходим автор? Извольте, есть у меня адресок. Свердловск...

— И оригинал там?

— Там, все там, и Влахов Кеша там, и мать—сыра земля там... Записывайте...

"Влахов Иннокентий Петрович, доктор геолого-минералогических наук, профессор", — волнуясь, прочитал Гаршин на дверной табличке и с удовлетворением подумал, что его первоначальная догадка оказалась верной. Маститый профессор, когда-то увлекался, возможно, и теперь увлекается живописью, рисунки его, понятно, известны немногим, а, между прочим, именно геолог скорей любого другого дилетанта мог случайно прозреть тот каменный венерианский мир. Зря смеялся Лукин. То—то он ахнет, когда узнает, в чем дело!

Влахов оказался кряжистым, в летах человеком с медвежьей походкой и таким рокочуще—добродушным басом, что Гаршину сразу стало легко и просто. Гостю здесь были рады без всяких расспросов и дел, рады только потому, что он гость, и Гаршин не успел опомниться, как уже сидел за столом и с приятствием отхлебывал вкуснейший чай. Но мало—помалу благодушие сменилось беспокойством, так как ничто вокруг не свидетельствовало об увлечении живописью, а когда Гаршин о ней заговорил, то Влахов выказал живой и все же явно сторонний интерес к искусству.

— Мне, однако, сказали, что вы сами недурно рисуете, — не выдержал Гаршин.

— Это вам навра-а-али, — растягивая слова, пробасил Влахов. — Сроду непричастен.

— Как? — опешил Гаршин, еще цепляясь за краешек надежды. — Мне Лукин говорил!

— Не мог того сказать Лукин, ибо знает. Да что с вами? Беда какая?

— Никакой, — бледнея, отозвался Гаршин. — Вралю поверил, вот что!

— Позвольте, этого быть не может! Знаю я Лукина, на одной парте сидели, кристальной честности человек...

— Тогда как понимать это?! — дрожащими пальцами Гаршин высвободил, выхватил из конверта снимок. — Ваш честнейший Лукин, заверил, что оригинал у вас и вы его автор!

Влахов мельком глянул на снимок и недоуменно уставился на Гаршина.

— Рассказывайте, — строго сказал он.

— Но видите ли...

— Все рассказывайте.

Дослушав, Влахов пытливо сравнил оба изображения, его глаза блеснули удовлетворением.

— Идемте, я покажу рисунок.

— Так он... — Гаршин вскочил, — ...есть?!

— А как же! Лукин язвец, но не враль. Все во всем, как говаривали мудрые греки...

В кабинете Влахов выдвинул обшитую по дну черным сукном полку, оттуда из разноцветной укладки полированных камней изъял угловатую плитку и протянул ее Гаршину.

— Вот вам оригинал.

Пол тихо качнулся под ногами Гаршина: с холодной глади камня на него смотрел тот самый, до мелочей знакомый венерианский пейзаж.

— Сядьте, сядьте, — голос Влахова дошел, как сквозь вату. — Что тут особенного? Так называемый "пейзажный камень", таких у меня, видите, коллекция, сам резал. Право, не стоит переживать. Эко диво, сходство! Хотите вид березовой опушки? Вот, пожалуйста, думаю, и натуру, место похожее, отыскать можно. А тут скалы, прибой кипит... И

облачный бой, как у Рериха, есть. Это свойство яшм, агатов и многих других камней давно известно, наши уральские мастера-камнерезы целую картинную галерею могут составить.

— Так венерианский же в камне пейзаж, ве-не-рианский! — простонал Гаршин, оглушенный и чудом невероятного сходства, и своей изначальной непростительной ошибкой, и непостижимым спокойствием Влахова.

— Что ж, венерианский... Со временем, думаю, и антарес-ский откроется. Природа едина. Как познали ее новый уголок, так и в камне, значит, его сразу увидели, того и следовало ждать. Не удивлюсь, кстати, если в срезах венериан-ских пород отыщутся земные пейзажи.

— Тогда что же получается? — мысленно отшатываясь, вскричал Гаршин. — В камнях, выходит, заключены... все образы мира?!

— Ну, все не все, только прикиньте—ка объемы горных пород, сочтите все цветовые в них комбинации. Астрономия получается, классический для теории информации пример с великим множеством обезьян, которые в конце концов от-стукивают на машинке всего Шекспира.

— И в камне, здесь, у нас под ногами, может таиться ма-донна Рафаэля?!

— Не исключено.

— Слушайте, а вам не страшно?

Наконец-то Гаршин увидел Влахова растерянно моргаю-щим!

— Мне так страшно, — продолжал он с лихорадочной по-спешностью. — Если вы правы, если все образы мира уже есть, тогда зачем художник, к чему искусство? Все же будет простым повторением.

Влахов сурово задумался. Затем его губы шевельнула медленная улыбка.

— Лукин, кажется, аттестовал меня автором венериан-ского пейзажа? спросил он будто самого себя. — Что ж, мы в природе, а она в нас. Я-то камень не вслепую резал, я искал,

выявлял в нем скрытое, и без меня, выходит, тоже ничего бы не было. Хотя какой я художник? — Влахов вздохнул. — Жизнь хороша своей бесконечностью и, стало быть, щедростью. Идемте, поразмыслим об этом за чаем, он, знаете, хорошо нервы сглаживает.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТКУДА ОН? 7
ЗРИМАЯ ТЬМА 25
УСИЛИТЕЛЬ ПАМЯТИ 35
ГОСТЬ ИЗ ДЕВОНА 46
У ЗВЕЗДНОГО КОСТРА 58
НА ИЗГИБЕ ПРОСТРАНСТВА 65
ПОСЛЕДНЯЯ ПУСТЫНЯ 78
НА ГРАНИ 84
ОШИБКА НЕВОЗМОЖНА... 95
НЕЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ 102
ДВОЕ В ПУСТЫНЕ 109
ПОЯВЛЕНИЕ ЖИРАФЫ 113
КАК НА ПОЖАРЕ 125
ВО ВСЕХ ГАЛАКТИКАХ 128
ЗАПРЕТ 136
ДЕМОНЫ ТЕВТОБУРГСКОГО ЗАМКА 146
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА 156
ОПЕРАЦИЯ НА СОВЕСТИ 161
ДАВЛЕНИЕ ЖИЗНИ 174
ГОРОД И ВОЛК 186
ДЫРКА В СТЕНЕ 219
ХОЛОД НА ТРАНСПЛУТОНЕ 227
У ГЛУХОГО ОЗЕРА 235

ЧУЖИЕ ГЛАЗА 250
ПРОВЕРКА НА РАЗУМНОСТЬ 263
УЧЕНИК ЧАРОДЕЕВ 285
ВСТРЕЧА 295
ЧУЖАЯ ПРИРОДА 303
ДОГНАТЬ ОРЛА 313
НОНСЕНС 320
ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 324
ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ 352
НЕВЫСКАЗАННЫЙ МИР 360
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПУТИ 373
КОНЕЦ ЗАКОНА 389
ЦЕЛЬ—ЛЕТАТЬ! 469
ЗЕМНЫЕ ПРИМАНКИ 479
ЗВЕЗДНЫЙ АКВАРИУМ 520
СОКРОВИЩА НЕРИАНЫ 532
СНЕГА ОЛИМПА 545
НЕБО В АЛМАЗАХ 563
ГЕНИАЛЬНЫЙ ДОМ 573
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ 606
И ВСЕ ТАКОЕ ПРОЧЕЕ... 628
ВЕЧНЫЙ СВЕТ 643
ВСЕ ОБРАЗЫ МИРА 670

От создателя данного сборника:

Для полноты и законченности, в сборнике, отсутствуют иллюстрации к рассказам "На изгибе пространства" (Над Солнцем) из журнала Сельская молодежь №5 за 1962 год и "Демоны Тевтобургского замка" (Ночь контрабандой) журнал Наука и религия №1 за 1969 год.

Возможно, когда-нибудь, они окажутся в свободном доступе сети, и будут добавлены в данный сборник.

Благодарности:

При создании сборника, пользовался материалами от уважаемых:

malshin
sergey_niki
hlynin

помогающих наполнять сеть, искомыми раритетами, прошлых лет.